Алла Марченко

Ахматова: жизнь

AST

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Алла Марченко – известный критик, литературовед, автор книг о Сергее Есенине и Михаиле Лермонтове.

«Ахматова: жизнь» не научная биография поэта. Автор строит вокруг стихов Ахматовой своего рода «расследование». Пытается разгадать, кому они посвящены, кто герой. Стихи свидетельствуют, спорят, опровергают, вынуждают «развязать язык» факты и документы и поведать то, о чем в свое время из осторожности умолчали…

- Алла Марченко
  - Пролог. До всего
    - Предыстория
    - Два детства
    - Дафнис и Хлоя
  - Интермедия первая (1908–1910)
  - «В черноватом Париж тумане»
  - Интермедия вторая (июнь 1910– июль 1911)
  - «Кто ты – брат мой или любовник?»
  - Интермедия третья (1911)
  - В год Льва и Собаки
  - Интермедия четвертая (1913)
  - «Как у меня не было романа с Блоком»
  - Интермедия пятая (1914–1915)
  - Царевич, или Несказка о черном кольце
  - Интермедия шестая (октябрь 1917 – сентябрь 1921)
  - Весенняя осень
  - Интермедия седьмая (1933–1938)
  - «Помощный зверь»
  - Интермедия восьмая (июнь 1941 – декабрь 1942)
  - Мелодия для голоса и азийской свирели
  - Интермедия девятая (1944–1946)
  - Летний сад
  - Катастрофа сорок шестого года
  - Эпилог. Другая жизнь
  - Список литературы
  -
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4

- ○ 5
- ○ 6
- ○ 7
- ○ 8
- ○ 9
- ○ 10
- ○ 11
- ○ 12
- ○ 13
- ○ 14
- ○ 15
- ○ 16
- ○ 17
- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48

- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77

Алла Марченко
Ахматова: жизнь

Пролог. До всего

Предыстория

В начале тридцатых годов прошлого века, в пору эффектных «начал» писателей одесской «южной кучки» (Олеши, Бабеля, Катаева, Багрицкого), из журналов в газеты и наоборот перепархивала летучая фраза: *«Чтобы стать литератором, надо родиться в Одессе».* На склоне лет в мемуарной «Книге прощания» Юрий Карлович Олеша ее выколпаковал и переколпаковал: *«Чтобы родиться в Одессе, нужно быть литератором».*

Случай точь-в-точь ахматовский. Вторая дочь тверской помещицы Инны Эразмовны Стоговой и отставного инженер-капитана второго ранга Андрея Антоновича Горенко родилась 11 (23) июня 1889 года на дачной окраине некоронованной столицы южной России. Сюда, до последней, одиннадцатой остановки Большого Фонтана, еле-еле дотягивал паровой трамвайчик. Улочка, на которой был «прописан» одноэтажный домишко, снятый Горенками в лето 1889 года, – неавантажный, без номера, – называлась Хрустальной, хотя ничего оправдывающего почти дворцовое название здесь не было и в помине. Впрочем, до промышленно-строительного бума конца века на всей приморской стороне жилые строения выглядели не многим лучше. Это потом, когда Анна приедет в Одессу подростком и мать вздумает показать дочери дом, где та появилась на свет, владение Саракини покажется ей мизерабельным. Не дача на взморье, а утлое строеньице, нависшее над отвесным обрывом к морю, невесть как сохранившееся среди кичливо-новеньких загородных особняков.

Свежезастроенные дачные предместья стремительно богатевшей Одессы в первые годы XX века, то есть такие, какими они станут, когда Инна Эразмовна Горенко и ее дочь, строптивая пятнадцатилетняя барышня, отправятся на поиски владения Саракини, описаны в уже упоминавшихся мемуарах Юрия Олеши: «…Я видел загородные дороги, по сторонам которых стояли дачи с розами на оградах и блеском черепичных крыш. Дороги вели к морю. Я шел вдоль оград, сложенных из камня-известняка… Желтоватые стены дуют пылью, розы падают на них, скребя шипами… Там, в блужданиях по этим дорогам, составил я свои первые представления о жизни. Жизнь, думал я, это вечное лето. Висят в лазури балконы под полосатыми маркизами, увитые цветением. Я буду учиться, я способный, – и если то обстоятельство, что я сейчас беден, вызывает во мне горечь, то горечь эта приятна, потому что впереди я вижу день исполнившихся мечтаний. Я буду богат и независим. Я ощущаю в

себе артистичность и знаю, что профессия, которой я овладею, даст мне свободную жизнь в обществе богатых и независимых».

Горечь унижения настоящим в соединении с надеждой на обеспеченное будущее испытывала, похоже, и Аня Горенко, когда разыскивала среди увитых розами особняков место своего рождения. Иначе трудно объяснить следующий пассаж из ее «Автобиографической прозы»: «Когда мне было 15 лет и мы жили на даче в Лустдорфе (то есть гостили у полубогатой тетки со стороны отца Аспазии Антоновны Арнольд. – *А.М.),* проезжая как-то мимо этого места, мама предложила мне сойти и посмотреть на дачу Саракини, которую я прежде не видела. У входа в избушку я сказала: «Здесь когда-нибудь будет мемориальная доска»… Мама огорчилась. «Боже, как я плохо тебя воспитала»». Вспоминая этот эпизод, Анна Андреевна добавляет: «Я не была тщеславна. Это была просто глупая шутка».

Не думаю, чтобы девица Горенко просто шутила. Но ежели и вправду *это была просто глупая шутка,* то наверняка из тех, что приоткрывают таимое в подсознании. Конечно, и дома детства будущей Анны Ахматовой в Царском Селе, куда Горенки переехали в 1890-м, были далеко не респектабельными. У многих ее соучениц куда более удобные и красивые, а главное, собственные, не наемные жилища. Но это были старинные, обветшавшие постройки, не выставлявшие напоказ, как в Одессе, свое богатство.

Разыскивая место для будущей мемориальной доски, инженер-капитанская дочка вряд ли придавала какое-то значение тому, что домик, в котором она родилась, числился по улице Хрустальной, зависшей над крохотной, тоже Хрустальной, бухтой. Первым обратил внимание на этот странный адрес Николай Гумилев. Да и то только потому, что у темноволосой гимназистки, которую он высмотрел в пестрой стайке сверстниц, оказались неожиданно светлые, хрустально-прозрачные глаза. С годами они утратят унаследованную от матери прозрачность, однако в стихах Гумилева само это слово – хрусталь – навсегда свяжется с образом девочки «с прозрачными глазами». Так было в 1907-м, когда «Дева Луны» была его «неверной», «"неневестной" невестой» – «и голос хрустальный казался особенно звонок…». Так было и в 1921-м, когда Анна Андреевна уже несколько лет считалась законной супругой его лучшего друга: «Ты держишь хрустальную сферу в прозрачных и тонких руках…». Не знаю, показывала ли Анна замороченному ее капризами и отказами жениху владение Саракини во время наездов Гумилева в Одессу. Думаю, все-таки показывала.

В «Реквиеме» тень убиенного мужа и память о Хрустальной

бухте навечно связаны единством авторского чувствования:

А если когда-нибудь в этой стране
Воздвигнуть задумают памятник мне,

Согласье на это даю торжество,
Но только с условьем – не ставить его

Ни около моря, где я родилась:
Последняя с морем разорвана связь,

Ни в царском саду у заветного пня,
Где тень безутешная ищет меня…

В «Автобиографических заметках», которые Анна Ахматова стала делать после 1958 года, она подробно перечислила и другие южные свои адреса. Однако, где поселилась госпожа Горенко с тремя детьми – Андреем, Инной и новорожденной малюткой, когда кончился дачный сезон, и почему родившуюся в июне девочку окрестили только 17 декабря, не объяснила. Не потому ли, что крестильные бумаги затерялись, а спросить уже не у кого? В такой ситуации лучше не уточнять. А вдруг крестили не в пушкинской Одессе, а в каком-то другом, не подходящем для славной биографии населенном пункте Черноморского побережья? Например, в Севастополе, где проживали и дед Анны, Антон Горенко, и его дочери – подруги юности матери. Опасения оказались напрасными. Как выяснили архивисты, обряд крещения Анны Андреевны Ахматовой, урожденной Горенко, произведен в Одессе, и не в какой-то окраинной церквушке, а в Преображенском соборе.

По версии, идущей от Инны Эразмовны, Ахматову назвали Анной в честь бабки с материнской стороны, но и у отца, в жилах которого текла греческая кровь, были основания выбрать именно это имя для новорожденной. Ведь она *вздумала родиться* в год, когда Россия торжественно, во все колокола, отмечала тысячелетие брака киевского князя Владимира и византийской царевны Анны. К этой символической дате под Севастополем, у самого моря, на берегу Стрелецкой бухты, неподалеку от останков древнего Херсонеса, был наконец-то достроен храм Святого Владимира. Поскольку в городе уже имелся Владимирский собор, новую церковь в народе называли Херсонесской. На смуглые главы этого храма смотрит с крыльца героиня стихотворения Ахматовой «Стать бы снова приморской девчонкой…».

В послереволюционные годы в ахматовской автобиографии появится и еще один крестильный персонаж: святая Анна Сретенская, то есть Анна Пророчица. Правда, о том, что ее святая не летняя Анна, а Анна зимняя, то есть Пророчица, Ахматова начала упоминать только тогда, когда местом ее *гостевания на земле* стал Фонтанный дворец графов Шереметевых, расположенный неподалеку от церкви Анны Пророчицы.

Все вышеизложенное проще простого объяснить игрой на публику, а то и неадекватностью восприятия действительности. Даже в ближайшем окружении над способностью А.А. наделять «грандиозностью» мелочи быта (пестрый мусор общежития) слегка иронизировали. Она, конечно, догадывалась о пересудах на сей счет, но твердо держала свою линию, продолжая верить, что Провидение метит *дорогу нашей жизни,* расставляя указатели, которые Пушкин называл *«странными сближениями». Странных сближений* в ее судьбе и впрямь необъяснимо много. Анатолий Найман в «Рассказах о Анне Ахматовой» уверяет, что А.А. «притягивала к себе самые невероятные совпадения»: «Она жила тогда… на улице Красной Конницы, прежде Кавалергардской… Это район Смольного, бывшая Рождественская часть. „Если такие живут на Четвертой Рождественской люди, странник, ответствуй, молю, кто же живет на Восьмой!“ – так дурачился Мандельштам, обращаясь к Шилейке, впоследствии мужу Ахматовой» (влюбленный в Анну Андреевну Вольдемар Казимирович Шилейко в начале десятых годов снимал комнатушку на Четвертой Рождественской. – *А.М.).*

«Недалеко, на Таврической, – продолжает Найман, – «башня» Вячеслава Иванова, его квартира, где она бывала в молодости… Недалеко Шпалерная… с тюрьмой, в разное время заключавшей в себе ее мужа, ее сына, последнего ее мужа… В раннем детстве она жила в Царском Селе, на Широкой; местом последней ее прописки была улица Ленина в Ленинграде, бывшая Широкая. Больше тридцати лет провела она в стенах Фонтанного дома, дворца графов Шереметевых; гроб с ее телом стоял в Москве в морге института Склифосовского, бывшего странноприимного Шереметевского дома, с тем же гербом и с тем же девизом "Deus conservât omnia". Бог сохранит все».

К приведенным Найманом совпадениям следует прибавить еще несколько. В районе Смольного, точнее, в самом Смольном институте для благородных девиц Аня Горенко училась. Правда, всего один месяц – с 18 августа 1902-го по 18 сентября того же года. Однако о том, что была «смолянкой» и что форменное ее платье было голубым, не забывала никогда. Что касается Восьмой Рождественской, то здесь в середине двадцатых годов друзья

Анны Андреевны, обеспокоенные ее бездомностью, подыскали для нее подходящую комнату, от которой по причине безденежья она отказалась. Больше того, во время войны в Ташкенте Ахматова поселилась в «белом доме на улице Жуковской». В Петербурге на Жуковской жил после развода ее отец Андрей Антонович Горенко.

Что же касается Фонтанного дома, или Дома (так писала сама Ахматова), то это особый случай. Судьба словно водила ее вокруг этого места. Здесь, в пору отчаяния и бесприютства, в южном садовом флигеле она жила с В.К.Шилейко. Вольдемар Казимирович, до революции домашний учитель детей хозяина дворца, некоторое время и после переворота продолжал квартировать по месту прежней «службы»; его комнаты Анна Андреевна называла «шумерийской кофейней».[1]

Некоторое время спустя в другом, северном, парном, флигеле того же Фонтанного Дома получит жилплощадь Николай Николаевич Пунин, третий муж Анны Ахматовой. Впервые Анна Андреевна перешагнет порог его квартиры в октябре 1922 года; через несколько лет почтовый адрес Пуниных: Фонтанка, 34, – станет местом ее постоянной прописки.

Странными сближениями переполнен не только сам Фонтанный Дом, но и окрестности именитого дворца. Так, совсем рядом находится старинный особняк, в котором в середине пятидесятых годов XIX века снимал квартиру молодой Толстой, привезший в Петербург «Севастопольские рассказы», – а ее, Анны, дед Антон Горенко – участник героической обороны. Прибавим для полного перечня странных сближений и такую подробность. Народная молва приписывала окрестностям Шереметевской усадьбы, где во времена Бирона были придворные службы и царские огороды, недобрую славу. «Люди суеверные, – пишет М.И.Пыляев, автор книги „Старый Петербург“, – видели здесь по ночам тени замученных злым герцогом людей». Вряд ли суеверной Анне Андреевне было сие неизвестно, она всерьез занималась историей Северной Пальмиры. Отзвуки мрачных стародавних преданий можно расслышать в ее стихотворении 1936 года из посвященного Николаю Пунину цикла «Разрыв»:

Только… ночью слышу скрипы.
Что там – в сумраках чужих?
Шереметевские липы…
Перекличка домовых…

В том же микрорайоне находится, как уже упоминалось, и церковь Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы. Заложенная

еще при Петре по случаю тезоименитства цесаревны Анны, она была выстроена «тщанием и попечением» ее брата, царевича Алексея. Как и все, что проектировалось лично Петром для семейной надобности, церквушка была скромной и деревянной. При Анне Иоанновне слишком уж простое строение снесли и на его месте спешно возвели каменное. До постройки Казанского собора церковь Анны Пророчицы была главным придворным храмом столицы, по торжественным дням здесь собирался весь Петербург. Здесь же крещен и будущий Павел Первый. В память об этом событии при восшествии на престол Павел присвоил *своей* церкви орден Святой Анны, имея в виду, конечно же, не Анну Иоанновну, а Анну Петровну, бабку по отцовской линии. Украшение и награждение храма Анны Пророчицы стало для Павла одним из пунктов программы по восстановлению престижа убиенного отца. Впрочем, украшать придворную храмину начала как раз Анна Иоанновна. Это при ней с Васильевского острова на Фонтанку перевезли часы с курантами, ее же волей для *играния* замысловатых курантов отлили двадцать пять колоколов. К началу XX века от исторической церкви осталась лишь память о былом великолепии. И куранты, и колокола исчезли бесследно, а деревянный знак ордена Святой Анны, поставленный по приказу Павла над главным входом, грубо закрасили. Неслучайное сие запустение, а так же то, что на этом именно месте, как в некоем эпицентре, сошлись две роковые драмы русской истории: несчастный царевич (Алексей), задушенный по приказу отца, и царь (Павел), убитый с соизволения сына (Александра Первого), – видимо, делали храм Анны Пророчицы в глазах Анны Андреевны особой, почти своей церковью. Отзвук разговоров о хранительнице «места сего» *еле слышен,* к примеру, в стихотворении «Ответ», опубликованном лишь в 1987-м, да и то не в России, а в Латвии, в самом смелом по раннеперестроечным временам журнале «Даугава»:

И вовсе я не пророчица,
Жизнь светла, как горный ручей.
Просто мне петь не хочется
Под звон тюремных ключей.

На самом деле, конечно же, пророчица, недаром с детства удивляла близких странным даром – видеть то, чего не видит никто. И особенно остро – чуять смерть. Анатолий Найман в «Рассказах о Анне Ахматовой» свидетельствует: «Наши разговоры не раз касались Т.С.Элиота… Она заговорила о нем, а не „по поводу“, за несколько дней до его смерти. Так же беспричинно,

вдруг, завела… речь о Неру накануне его смерти, о Корбюзье, за неделю до разрыва сердца у него». Наблюдение Наймана подтверждает и запись П.Н.Лукницкого, автора дневниковой книги «Встречи с Анной Ахматовой»: «"Анна-провидица". Когда А.А получила известие с Сахалина о том, что ее племянница Ивонна (дочь младшего брата Виктора Горенко. – *А.М.)* заболела, А.А сказала, что Ивонна умрет. Вскоре после этого А.А получила телеграмму с известием о смерти Ивонны. А.А сказала мне, что такое интуитивное знание того, что будет, такие предчувствия – не удивляют ее. «Это то самое чувство, от которого собаки воют на луну», – добавила А.А.».

Акумой, то есть ведьмой, называли ее Шилейко и Пунин, а Гумилев – колдуньей. За *колдунью* Анна Андреевна на мужа не обижалась, а вот когда дразнил «хохлушечкой», слегка топорщилась. Ничего украинского, несмотря на фамилию, доставшуюся от прадеда, черноморского казака, в себе не чувствовала. И Киев, где жили родственники и где она окончила гимназию, и Севастополь, набитый разного рода родней, где подолгу гостила, равно как и Одесса, в дореволюционную пору и были, и слыли городами общероссийскими. Не поэтому ли даже ранний Гоголь, с его сильным «малороссийским» акцентом, прошел мимо А.А., не задев ни единой поэтической струны? Зато о том, что в кроне ее родословного древа есть сильные татаро-монгольские ветви, говорила часто и с удовольствием. Отсюда, дескать, и псевдоним: *Ахматова* – девичья фамилия бабки с материнской стороны, татарской княжны, взятой «русаком» в жены из некогда могущественного клана, основанного в глубокой древности знатным чингизидом Ахматом («последним ханом Золотой Орды»). Позднее в стихотворении 1958 года «Имя» вроде бы отречется от красивой легенды: «Татарское, дремучее, пришло из никогда…» Но через год в «Автобиографических набросках» вернется к прежней версии и тем самым как бы удостоверит невыдуманность «Сказки о черном кольце» (1916–1936 гг.), где говорится о бабушке-татарке, подарившей внучке перед смертью заговоренное на любовное счастье «черное кольцо». В реальности фамилию Ахматова до замужества носила не бабка ее, а прабабка – Прасковья Федосеевна, умершая в год гибели Пушкина. Но, во-первых, у сказки свои законы и свои, иные, чем в лирике, нормы правдоподобия. Во-вторых, какие-то фамильные драгоценности в семье были и по традиции передавались старшей дочери в качестве свадебного подарка. Сохранилось письмо Анны Андреевны к мужу рано умершей Инны Андреевны, в котором она просит прислать на память о сестре какой-то старинный браслет.

У неискушенного читателя может сложиться впечатление,

будто Ахматова сочинила (выдумала) свою автобиографию. На самом деле, как видим на примере той же «Сказки о черном кольце», она лишь литературно обрабатывала дошедшие до нее семейные предания, стирая факты, казавшиеся ей невыразительными, и следуя плану, который ей виделся как задуманный Провидением. Важной составляющей легендарной предыстории были и разговоры севастопольских тетушек о греческих истоках. Одна из них, двоюродная сестра Андрея Антоновича, даже водила племянницу в Греческую церковь на пасхальные богослужения. Видимо, на основании родственных рассказов сначала Аня Горенко, а потом и Анна Ахматова и пришла к выводу: предки со стороны отца – греки, не византийцы, а именно греки, «всего вернее морские разбойники».

И все-таки самой своей Ахматова считала северо-западную Русь, объясняя горькую до боли любовь к этой скудной земле «капелькой новогородской крови», доставшейся ей от бояр Стоговых, изгнанных при царе Иване Четвертом из Великого Города за строптивость (Стоговы, как записал П.Н.Лукницкий со слов Анны Андреевны, при Иоанне Грозном жившие в Новгороде, участвовали в восстании и были сосланы в глухое Подмосковье).

Ни Инне Эразмовне, ни сестрам ее, ни брату от дерзких новгородцев не досталось ни силы, ни воли; природа на них, что называется, отдохнула. Зато дед Ахматовой по матери, Эразм Стогов, как и положено потомку ушкуйников, был отважным полярником: «ходил в Северный Ледовитый океан под парусом». Незаурядной личностью был, судя по всему, и слывший колдуном прадед. Стогов-колдун особенно волновал воображение правнучки, уверенной, что именно от него унаследовала «ведьмячество». Будучи глубоко и искренне православной, Ахматова тем не менее была крайне внимательна к поэзии русского язычества, разделив с культурной элитой увлечение «языческой Русью», сильное на заре Серебряного века. В ее «Записных книжках» сохранилась такая заметка: «Языческая Русь начала 20-го века. Н.Рерих. Лядов. Стравинский. С.Городецкий ("Ярь"). Алексей Толстой ("За синими реками"). Велимир Хлебников. Я к этим игрищам опоздала». К разгару художественной моды на дохристианскую Русь Ахматова и впрямь слегка припозднилась. К 1912 году (год выхода ее первого сборника «Вечер») столичные «нобили» уже пресытились и языческими игрищами, и древнеславянской ярью. Тем знаменательней, что в балетном либретто, написанном Ахматовой по мотивам «Поэмы без героя», есть такой эпизод: «Гости Клюев и Есенин пляшут дикую, почти хлыстовскую русскую… Языческая Русь (Городецкий, Стравинский "Весна

Священная", Толстой, ранний Хлебников). Они на улице…» Больше того, считая своей святой Анну Сретенскую, Ахматова никогда не забывала напомнить и своим эккерманам, и потенциальным биографам, что родилась не в христианский, а в языческий праздник – в ночь на Ивана Купалу и даже под Аграфену Купальницу. По народному, еще дохристианскому Месяцеслову с 23 июня на Руси начинали не только купаться, но и, как метко сказано у Даля, *«закупываться»*. Правда, Купальница праздновалась 23 июня не по новому, а по старому стилю, спустя двенадцать дней после рождения Анюты Горенко. Ошиблась ли Анна Андреевна или слукавила, не так уж и важно, важнее, что всяческую воду воспринимала как родную стихию, поражая и сверстников, и взрослых словно бы врожденным умением плавать и нырять. И не у берега, а в открытом море, с лодки, за что и получила прозвище «дикая девочка» («что-то среднее между русалкой и щукой»). Уверовав в неслучайность всех этих сближений и скрещений, рожденные свои дни Ахматова отмечала не дважды, как все, а трижды. В июне – рождение. В декабре – крещение, в феврале – день святой великомученицы Анны.

Два детства

Но это все предыстория. А история для Ани Горенко, как и для любого ребенка, начиналась с первоначальных впечатлений. В «Автобиографической прозе» они рисуются в идиллически-розовых тонах. Избыток розовых интонаций особенно резко бросается в глаза, когда сравниваешь детские воспоминания Ахматовой о Павловске – с Павловском тех же лет, описанным в «Шуме времени» ее ровесником и другом Осипом Мандельштамом. У Мандельштама все радостные ощущения заглушает запах гниения, плесени, дешевой косметики. Аромат оранжерейных роз и тот отравлен миазмами гниющих парников. Память Ахматовой прокручивает те же самые картинки,[2] но в них нет и намека на «обреченную провинциальность умирающей жизни». Может, даже не отдавая себе в том отчета, Ахматова спорит с Мандельштамом: у ее детского времени иные шумы и иные запахи:

«Запахи Павловского вокзала. Обречена помнить их всю жизнь, как слепоглухонемая. Первый – дым от допотопного паровозика… Salon de musique (который называли "соленый мужик"), второй – натертый паркет, потом что-то пахнуло из парикмахерской, третий – земляника в вокзальном магазине (павловская!), четвертый – резеда и розы (прохлада в духоте) свежих мокрых бутоньерок, которые продаются в цветочном киоске (налево), потом сигары и жирная пища из ресторана. Царское – всегда будни, потому что дома; Павловск – всегда праздник, потому что надо куда-то ехать, потому что далеко от дома. И Розовый павильон (Pavillon de roses)…».

Фрагмент этот часто цитируется, но чтобы его правильно понять, необходимо сделать уточнение: розовый этюд написан в старости; в юности и в зрелые годы Ахматова не любила ни рассказывать, ни вспоминать о детстве. Даже на элементарный и вежливый вопрос Павла Лукницкого, заданный в середине двадцатых годов, любил ли ее отец, ответила уклончиво и кратко: дескать, кажется, все-таки любил. Да и в 1927-м, когда проездом к младшему сыну на Дальний Восток Инна Эразмовна остановилась в Ленинграде, а Павел Николаевич помогал Анне Андреевне встречать и провожать мать, она опять уклонилась от воспоминаний. А ведь, казалось бы, какой удобный повод вспомнить и молодую Инну Эразмовну, и себя маленькую! В трехтомных «Записках» Лидии Корнеевны Чуковской зафиксирована такая подробность: «Я давно уже подозревала, по многим признакам… что детство у Ахматовой было

страшноватое, пустынное, заброшенное… А почему – не решаюсь спросить. Если бы не это, откуда взялось бы в ней чувство беспомощности при таком твердом сознании своего превосходства и своей великой миссии? Раны детства неизлечимы, и они – были». Запись сделана в июле 1955 года, в день, когда А.А. прочла Чуковской только что написанную элегию «О десятых годах», начинающуюся так:

И никакого розового детства…
Веснушечек, и мишек, и игрушек,
И добрых тёть, и страшных дядь, и даже
Приятелей средь камешков речных.
Себе самой я с самого начала
То чьим-то сном казалась или бредом,
Иль отраженьем в зеркале чужом…

Ахматова, как всегда, «стирает случайные черты». В бытовой, а не преображенной реальности у Ани Горенко имелись и тети, вполне заботливые, хотя и без нежностей, и дядья, может, и не совсем приятные, но отнюдь не мнимые. И камешки тоже были, пусть и не речные, а морские. Тем не менее Лидия Корнеевна Чуковская не ошиблась. Детство у Ахматовой было заброшенное. Не из-за теть-дядь или отсутствия дорогих игрушек, а из-за родителей, и прежде всего отца.

Отец Ахматовой, Андрей Антонович Горенко, – человек незаурядный. Умен, «очень высокого росту» и при этом статен и хорош собой. При таких данных он рано, окончив всего лишь штурманскую школу в Николаеве, стал продвигаться по служебной лестнице. Уже в чине лейтенанта флота состоял преподавателем морских юнкерских классов в Николаеве, успешно сотрудничал в здешней прогрессивной газете – «Николаевском вестнике». В южной провинции честолюбивый молодой человек не задержался. В 1878 году его затребовали в Петербург, назначив преподавателем пароходной механики в элитный Морской кадетский корпус. Некоторое время Андрей Горенко был даже инспектором корпуса. И вдруг карьера его застопорилась. В 1880 году при обыске у одного из чиновников Николаева были обнаружены «вредного направления» письма А.А.Горенко. Порывшись в биографии блестящего офицера, *шишки сыска* выявили еще и порочащие репутацию родственные связи: родные сестры инспектора, Анна и Евгения, – участницы народовольческого движения. Возникло дело о политической неблагонадежности, в ситуации 1881 года, после убийства

Александра Второго, достаточно серьезное. До суда не дошло, но от преподавания Горенко отстранили и из Петербурга удалили – отправили как бы в южную ссылку, определив «в качестве флотского офицера на суда Черноморского флота». В период изгнания, на переломе судьбы, в него, видимо, и влюбилась одна из дочерей состоятельного помещика Стогова – Инна.

К моменту встречи с Андреем Антоновичем Инна Эразмовна была уже не девицей на выданье, а вдовой. Ее первый муж покончил с собой при обстоятельствах, о которых семейная хроника умолчала. Не любила разговоров на эту щекотливую тему и Анна Андреевна. Лишь однажды между прочим упомянула, что огромный том Державина, с которого началась для нее золотая русская классика, подарил матери «прежний» муж. Второй домашней книгой детей Горенко был «Мороз, Красный нос» Некрасова. Этими двумя томами детская библиотека Ахматовой исчерпывалась…

Более опрометчивого выбора младшая из дочерей Эразма Стогова, бестужевка и народоволка, сделать, кажется, не могла. Избранник любил нарядных, легких, артистичных женщин. Одна из его приятельниц вспоминала впоследствии: «Горенко служил, насколько помню, в государственном Контроле, дослужился до чина действительного статского советника. Был хороший чиновник и очень неглупый человек. Любил пожить. Ухаживал, и не без успеха, за всеми хорошенькими женщинами, которых встречал. Был большой театрал. Как-то сказал мне: – Я человек не завистливый, а вот тем, кто может у Дузе ручку поцеловать, страшно завидую…» Словом, Андрей Антонович был не просто жизнелюб или, как говаривали в те годы, бонвиван, а еще и «жуан» – не столько по убеждению, сколько по свойству натуры. Оттого и не видел ничего зазорного в том, чтобы срывать невинные цветы удовольствия со всех красиво оформленных клумб. Инна же Эразмовна была женщиной совсем в ином роде. Воспитанная вдовым отцом в строгих правилах, она и курсисткой даже пудру стирала с лица, ежели предстояла встреча с суровым родителем. По свидетельству самой Анны Андреевны, ее мать не только в юности, но и став супругой Андрея Антоновича, наряжаться-фуфыриться не научилась. В «Автобиографических заметках» этот сюжет выделен особо: «Подчеркнуто простая обстановка дома – следствие полного равнодушия отца и народовольческих традиций матери, которая всю жизнь одевалась как старая революционерка».

Наблюдательный Горенко нежелательные подробности, конечно же, заметил сразу, едва познакомился, видимо через сестер, с молодой и интересной вдовой. Но самая любимая дама

его сердца, адмиральша Елена Ивановна Страннолюбская, была замужем, а Инна Эразмовна – свободна, недурна собой и со средствами: восемьдесят тысяч приданого, сумма по тем временам солидная. А главное – старинной дворянской фамилии. Для внука черноморского казака и сына флотского капитана, получившего дворянство по выслуге лет, это было обстоятельством немаловажным. Полуопальный Горенко подумал-подумал, да и женился. И сразу пошли дети: Андрей, Инна, Анна, Ирина, Ия, Виктор. И все как на подбор и те, что в мать, и те, что в отца, – красивые. Анна и лицом, и «расцветкой» – прямые темные изобильные волосы при светлых глазах, в ранние годы походила на мать. И безрассудная доброта, равно как и полнейшая беспомощность в житейских делах и заботах, перешла к ней по материнской линии. Время молодости своих родителей Ахматова описала в первой части цикла «Северные элегии»:

Шуршанье юбок, клетчатые пледы,
Ореховые рамы у зеркал,
Каренинской красою изумленных,
И в коридорах узких те обои,
Которыми мы любовались в детстве,
Под желтой керосиновою лампой,
И тот же плюш на креслах…
Все разночинно, наспех, как-нибудь…
Отцы и деды непонятны. Земли
Заложены. И в Бадене – рулетка.
И женщина с прозрачными глазами
(Такой глубокой синевы, что море
Нельзя не вспомнить, поглядевши в них),
С редчайшим именем и белой ручкой,
И добротой, которую в наследство
Я от нее как будто получила,
Ненужный дар моей жестокой жизни…

В этой красивой «выцветшей картинке» («выцветшими картинками» Ахматова предполагала назвать первую главу «Книги воспоминаний») впрямую автобиографичны лишь портрет молодой Инны Эразмовны да фраза о быте в доме детства: «Все разночинно, наспех, как-нибудь». О том же свидетельствуют и очевидцы, соседи по Царскому Селу. В доме, мол, ужасающий беспорядок. Едят когда придется, прислуги много, а толку чуть. Гувернантки рассеянны, дерзки и занимаются не детьми, а собой. Ни порядка, ни уюта. И не по бедности, а из-за непрактичности хозяйки.

Непрактичность и безалаберность Инны Эразмовны и впрямь переходила все мыслимые границы. Умелые и жизнеспособные золовки, обожавшие единственного брата, втайне считали беспомощность супруги ненаглядного Андрея неприличной, смахивающей на душевное или умственное расстройство. Крайне удивляла бесхозяйственность госпожи Горенко и светских знакомых ее красивого и статного мужа, особенно тогда, когда опала Андрея Антоновича кончилась, служебное положение поправилось (по возвращении в Петербург отец Ахматовой, выйдя в отставку, стал членом Государственного совета по управлению торговым мореходством) и семья обосновалась в Царском Селе. Одна из тогдашних его симпатий и через полвека не забыла впечатления, какое производила на нее, особу отнюдь не светскую, семья ее веселого и умного поклонника: «…Куча детей. Мать, богатая помещица, добрая, рассеянная до глупости, безалаберная, всегда думавшая о чем-то другом, может быть, ни о чем… бродит, как сомнамбула. Как-то, при переезде в другой дом, она долго носила в руках толстый пакет с процентными бумагами на несколько десятков тысяч рублей и в последнюю минуту нашла для него подходящее место – сунула пакет в детскую ванну, болтавшуюся позади воза. Когда муж узнал об этом, он помчался на извозчике догонять ломового. А жена с удивлением смотрела, чего он волнуется, да еще и сердится».

Поскольку Андрей Антонович был господином общительным, то и число приятельниц, удивлявшихся неравному его браку, по мере того как куча детей становилась все больше, а Инна Эразмовна все безалаберней, не уменьшалось. Анна, в детстве сильно привязанная к отцу, в отрочестве была целиком на стороне матери. Ханна Вульфовна Горенко, первая жена младшего ее брата, прожившая со свекровью несколько лет под одной крышей, свидетельствует: Инна Эразмовна много рассказывала ей о муже, но эти воспоминания были «проникнуты горечью из-за того, что он промотал все ее приданое в 80 тыс., а когда оставил семью, то присылал весьма скромную сумму».

Ханна была дружна с Анной Андреевной, особенно в последние годы ее жизни. Когда Ленинградский литфонд «выделил» Ахматовой дачный домик в Комарове, она вела там хозяйство. И если бы А.А. посчитала нужным, наверняка внесла бы в воспоминания невестки соответствующие коррективы.

Словом, удивительно не то, что опрометчивый брак Андрея Горенко и Инны Стоговой в конце концов в 1905 году распался (Андрей Антонович, едва дети стали подрастать, официально развелся с женой, соединившись с женщиной, с которой был связан чуть ли не четверть века), а то, что брачные их отношения

растянулись на столько несчастных лет. Но самой неизлечимой раной детства Ахматовой, а также отрочества и первой юности было то, что дети, рожденные в этом нерадостном браке, не старались, не хотели жить. Анне, едва стала сознавать себя, всерьез казалось, что в их обездоленном доме жизнью управляет смерть. Однажды в сердцах сказала Павлу Лукницкому, что у Гумилевых «никто не умирал». В действительности и эту семью смерть не обходила стороной и в самые мирные годы. Умерла от чахотки двадцатидвухлетняя Машенька Кузьмина-Караваева, внучатая племянница Анны Ивановны Гумилевой, в которую Николай Степанович в период длительной ссоры с Анной Горенко почти влюбился. Внезапно в 1910-м умер его отец. От чахотки же сгорел любимый племянник Коля-маленький (Николай Сверчков был так привязан к молодому дяде, что приятели Гумилева считали этого юношу младшим братом Николая Степановича). Но все эти утраты Гумилев пережил взрослым, Анну же ужас смерти ошеломил в детстве.

Первым потрясением было *исчезновение* четырехлетней Рики, при которой она, семилетняя, исполняла роль маленькой нянюшки. Инна Эразмовна была на сносях, и заболевшую девочку, опасаясь заразы, переправили в Киев, к тетке. Н.В.Королева, автор биографии Анны Ахматовой, предполагает, и, на мой взгляд, справедливо, что с этим эпизодом – болезнью сестренки и отправкой ее в Киев – связано следующее стихотворение:

Всю ночь не давали заснуть,
Говорили тревожно, звонко,
Кто-то ехал в далекий путь,
Увозил больного ребенка,
А мать в полутемных сенях
Ломала иссохшие пальцы
И долго искала впотьмах
Чистый чепчик и одеяльце.

В Киеве Рика и умерла, и хотя беду от детей скрывали, а чтобы не догадались, не дожидаясь лета, отослали в Севастополь, Анна уже тогда, ночью, почуяла смерть.

Через девять лет, летом 1906 года, умерла от скоротечной чахотки ее старшая замужняя сестра Инна. В юности сестры уже не дружили, но в детстве, несмотря на пять лет разницы и несходство характеров и интересов, были все-таки близки. В 1920-м, после смерти ребенка, отравился морфием старший, любимый брат Анны, Андрей. Последней (в 1922 году) умерла и

младшая, Ия, и тоже, как и Инна, от туберкулеза. Вдобавок ко всем семейным бедствиям в неразберихе Гражданской войны пропал и «последыш» – Виктор. Через несколько лет он, к счастью, нашелся – на краю света, на Дальнем Востоке – и даже вызвал к себе мать, оставшуюся без средств к существованию и совершенно раздавленную беспрерывностью утрат. Но Анна Андреевна, проводив младшего брата на большую войну, никогда уже с ним не увиделась. После смерти матери (в 1930 году) Виктор Андреевич каким-то фантастическим способом, кажется через Харбин, перебрался в Америку. Первую весть от него Анна Андреевна получила только после того, как в «железном занавесе» с наступлением хрущевской оттепели появились почтовые щели. Хотя и при Хрущеве благоразумнее было утаить «американских родственников», брат и сестра все-таки обменялись несколькими письмами. Но это все в будущем, а пока растрескавшееся семейное суденышко кое-как держится на волнах моря житейского. Анна учится в царскосельской Мариинской гимназии, без особой охоты, но учится.

К началу века и в Москве, и в Петербурге появились гимназии продвинутого типа, в основном частные. До Царского Села новации не дошли. И Мариинская, женская, и Николаевская, мужская, были, увы, казенными и в прямом, и в переносном смысле. Выпускницы «Мариинки» (Аня Горенко называла ее «бурсой») воспоминаний о своей «альма-матер» не оставили. Но вряд ли она сильно отличалась от Николаевской, несмотря на то что ее директором был образованный филолог и замечательный поэт Иннокентий Федорович Анненский. Вот что пишет в мемуарной заметке о своем старшем однокашнике Гумилеве один из воспитанников:

«В грязных классах, за изрезанными партами, галдели и безобразничали усатые лодыри, ухитрившиеся просидеть в каждом классе по два года, а то и больше. Учителя были под стать своим питомцам. Пьяненьким приходил в класс и уютно подхрапывал на кафедре отец дьякон. Хохлатой больной птицей хмурился из-под нависших седых бровей полусумасшедший учитель математики… Сам Анненский появлялся в коридорах раза два, три в неделю, не чаще… Аненнский был окружен плотной, двигающейся вместе с ним толпой гимназистов, любивших его за то, что с ним можно было совершенно не считаться. Стоял несусветный галдеж…»

Чтобы учиться всерьез в подобной обстановке, надо было обладать комплексом первого ученика. У Ани Горенко этой черты в характере не было, ее честолюбие было столь мощным, что выглядело как полное отсутствие претензий на первенство. В

споры на переменках она не встревала, на уроках не выскакивала, не тянула руки, не старалась оказаться в центре внимания. Оттого и казалась тихой и робкой почти до пятнадцати лет. В пятнадцать стало заметно: кое-что перепало ей и от отца – жадность к жизни, высокий рост, осанка. Про осанку Андрея Антоновича говорили – важная, про осанку дочери, когда она станет Анной Ахматовой, будут говорить – королевская. В дар от отца получила она и четкий, конструктивный, умный ум. Даже в старости Анна Андреевна будет удивлять людей своего окружения врожденным умением находить решения простые и естественные, подсказанные самим ходом вещей. А вот неистребимую свою жизнерадостность Андрей Антонович, обделив старших детей, передал в наследство лишь младшему любимому сыну Виктору и тем, что *последыш* пошел по его стопам, выбрав профессию морского офицера, гордился. Впрочем, самолюбиво конфликтуя со старшим, умным сыном Андреем, книжником и гуманитарием, Анну, при всем своем равнодушии к дочерям, отец все-таки выделял. А может, и любил, хотя как-то уж очень по-своему. Слишком многое ему в ней не нравилось: и чрезмерная нервность, и мечтательность, а особенно то, что фамильная жадность к жизни принимала у дочери вид странной, угрюмой в отрочестве, печальной в первой юности *алчбы* – неутолимой жажды найти и увидеть то, чего нет на свете. Человек земной и практичный, Андрей Антонович подобного рода закидоны считал блажью, чуть ли не декадентством. Декадентов Андрей Горенко-старший терпеть не мог.

Недетская сосредоточенность Анны на чем-то странно-далеком, не имеющем отношения к обтекающей ее повседневности, неприятно удивляла даже старшего ее брата – Андрея. Удивляет эта черта внутренней жизни Анны Ахматовой и нас. Тем более удивляет, что до семи лет она не умела и не пыталась читать. Впрочем, по понятиям конца века это считалось нормальным и вполне педагогичным (великого князя Николая, будущего императора, до восьми лет тоже учили только молитвам, и то с голоса). Зато как выучилась, перепрыгнув *различение слова по слогам,* сразу стала читать бегло, и не что-нибудь, а романы Тургенева и вообще все, что читали старшие родственницы – тетки и кузины – киевские, одесские, севастопольские…

Словом, несмотря на то что само Царское Село – дворцами, парками, водопадами и разного рода ландшафтными затеями – скрашивало отравленную равнодушием и безучастием родителей домашнюю обстановку, царскосельское детство Ахматовой было не только неприкаянным, но и бедным впечатлениями. К счастью,

у нее оказалось не одно, а два детства (в автобиографических набросках Ахматовой одна из главок так и называется: *два детства)*. Переехав вскоре после рождения Анны с юга на север, Горенки почти каждое лето всей семьей возвращались к Черному морю, под Севастополь. Второе – летнее, южное, крымское, приморское – детство с лихвой вознаграждало обездоленного ребенка за нарядную скуку зимнего бытования. Из хмурого и болезненного дичка за какие-нибудь полторы недели она превращалась в вольную и смелую пацанку. В воспоминаниях Корнея Ивановича Чуковского приведен следующий рассказ Анны Андреевны: «Вы и представить себе не можете, каким чудовищем я была в те годы… Вы знаете, в каком виде барышни ездили в то время на пляж? Корсет, сверху лиф, две юбки, одна из них крахмальная, – и шелковое платье. Разоблачится в купальне, наденет такой же нелепый и плотный купальный костюм, резиновые туфельки, особую шапочку, войдет в воду, плеснет на себя – и назад. И тут появлялось чудовище – я, в платье на голом теле, босая. Я прыгала в море и уплывала часа на два». За процитированным фрагментом следует следующий комментарий: «В каких бы царскосельских и ленинградских обличьях ни являлась она в своих книгах и в жизни, я всегда чувствовал в ней ту «кудлатую» бесстрашную девчонку, которая в любую погоду с любого камня, с любого утеса готова была броситься в море – навстречу всем ветрам и волнам».

Облюбованное севастопольским истеблишментом дачное предместье Севастополя – неподалеку от города, вблизи развалин древнего Херсонеса – «кудлатой» девчонке не очень-то нравилось, то есть не нравилась публика, особенно барышни, плескавшиеся у самого берега в купальниках, похожих на обуженные пеньюары.[3]

Однако пока отец не ушел из семьи, приходилось снимать дачу именно здесь. Анна дулась, а мать объясняла: Горенкам нанимать что-нибудь попроще не по положению. Отец, мол, морской чиновник очень высокого ранга – член Государственного совета по управлению торговым мореходством, в его ведении – все южные порты России.

Инна Эразмовна не преувеличивала заслуги мужа. Андрея Антоновича на черноморском юге ценили и уважали. Когда, не поладив с великим князем Александром Михайловичем, курировавшим морские промыслы, Горенко вынужден был оставить свой пост и занимал далекую от пароходства скромную должность в городском самоуправлении Петербурга, к нему и тогда, как к компетентному и со связями специалисту, в затруднительных случаях обращались черноморские пароходчики. Чаще других за советом к Горенко прибегали

корабельщики Николаева. К началу века этот портовый город, заложенный Потемкиным-Таврическим с широким заделом на великую будущность, начал наконец-то оправдывать надежды сиятельного основателя. Две мощные судостроительные компании, набирая объемы, расширяли «ассортимент». Один за другим спускались на воду броненосцы, вылетали на простор морской волны канонерские лодки, испытывались минные заградители. Мировое сообщество насторожилось. Накануне войны с Германией в Николаеве было уже более десятка иностранных представительств. Николаевцы, фланируя по новеньким бульварам и набережным, цитировали Пушкина: «Все флаги в гости будут к нам…» Еще недавно вполне захолустный, город стремительно европеизировался, спеша стать с веком наравне. В 1907-м заботами просвещенных судопромышленников распахнул двери городской музей искусств и краеведения имени В.В.Верещагина – факт многозначительный, если учесть резко отрицательное отношение официального Петербурга, особенно царя и великих князей, к личности замечательного художника – антимонархиста и пацифиста.

Возвращаясь из города своей юности, Андрей Антонович привозил детям почтовые карточки с видами построенных в Николаеве кораблей. На более основательные подарки денег у бонвивана никогда не хватало. Да Анна и не ждала от отца других презентов. В фанерной шкатулке, обклеенной ракушками, купленной теткой Фросей на базаре на оставшуюся от продуктовых трат мелочь, хранилась фотография самого красивого из николаевских броненосцев – «Двенадцати Апостолов». Даря Анне карточку «Апостолов», отец сказал: «Этот красавец твой ровесник, доча» – и пообещал в следующий раз взять ее с собой в Николаев. Но и в следующий раз и вообще – всегда уезжал один. А ей из года в год – полукурортная сухомятина.

Впрочем, кроме неприятной публики под Севастополем были таинственные развалины античного Херсонеса. Антиками увлекался Андрей, и когда Анна, еще совсем маленькая, нашла покрытый письменами мраморный обломок, велел подарить его музейщикам. По такому важному случаю ей вымыли голову, красиво заплели косы, выгладили нарядное единственное городское платье и повели в здешний музей. В Царском Селе тоже на каждом шагу античность, но другая, уже переведенная с древнегреческого на царский вкус. Здешняя была подлинной. Это семилетняя Аня Горенко поняла сразу, как только на ее узкой ладошке засияла самая первая находка – крошечный, меньше ногтя, лазоревый черепок. После захода солнца, когда взрослые

пробовали новое вино и сумерничали, она убегала в свой Херсонес и шептала на ухо камню, похожему на спящего буйвола (Андрей называл его «руиной»): «Я последняя херсонидка!» Но Фрося, двоюродная сестра отца, та, что водила на Пасху в Греческую церковь, говорила: от настоящего Херсонеса здесь ничего уже не осталось, кроме мертвых камней, и чтобы представить, какой когда-то в Крыму была живая жизнь, надо ехать к Георгию, под Балаклаву.

Свято-Георгиевский монастырь, хотя официально и назывался Балаклавским, в народе слыл Херсонесским. По преданию, это изумительное по дикой красоте место открыли в 891 году греческие мореплаватели, «скорее всего морские разбойники». Страшная буря: норд-ост, бора, бич здешних рыбных промыслов, – понесла их на прибрежные скалы… Спас моряков святой Георгий, великомученик и Победоносец, явившись на плоском камне в десяти саженях от берега. Он и утихомирил бурю. Когда буря кончилась, мореходы, отдохнув на камне Георгия, вплавь добрались до берега, где и устроили в честь своего спасителя пещерный храм. В начале X1X века на месте древнего пещерного храма построили новую – *нижнюю церковь*, а старую разобрали. К празднованию тысячелетия крещения Руси ее восстановили, но уже в другом месте. Что касается монастыря, то в ахматовские времена и знатоки крымских древностей были убеждены, что монастырь основан в незапамятные времена «усердием кого-либо из последних живших в городе иерархов Херсонесской епархии или жителей Херсонеса» *(Бертье-Делагард А.Л.* К истории христианства в Крыму. Одесса, 1910).

Особенно почитали Георгиевский монастырь крымские греки, видя в нем «уголок общения греков-христиан». В день весеннего Георгия, что праздновался в апреле, они съезжались сюда со всего полуострова. Эта традиция, возникшая в глубокой христианской древности, сохранилась и в начале XX века. Трудно допустить, чтобы набожная двоюродная тетка Ани Горенко этой традицией пренебрегла. К тому же у нее, как и у многих урожденных севастопольцев, особенно детей и ближайших родственников ветеранов Севастопольской обороны, проблем с гостиницей не было. Монастырь Святого Георгия еще со времен адмирала Лазарева находился под покровительством военно-морского севастопольского ведомства. Монастырская братия пополнялась уходящими на покой корабельными священниками; здесь же, у Георгия, жили они и «между походами». Стараниями Лазарева было произведено и обустройство обители, включая строительство монастырской гостиницы. Знаменитый адмирал так полюбил это место, что выстроил здесь два каменных

двухэтажных дома, что-то вроде семейного пансионата для летнего отдыха офицеров Черноморского флота. Построил также небольшой, крошечку, домик и для себя. Короче: если в день весеннего Георгия мест в монастырской гостинице не оказывалось, в этом как бы пансионате всегда можно было к кому-нибудь присоседиться, а то и подкинуть стародавним знакомым столичных племянниц, чтобы подышали целебным воздухом. Да и в Балаклаве, и в ближайших ее окрестностях полно своих: дешево и удобно – из Севастополя регулярно ходит мальпост, цена проезда – десять чашечек турецкого кофе в рыбацких тавернах…

По всей вероятности, именно здесь снимали дачные помещения небогатые золовки Инны Эразмовны. После развода она и сама прожила в Балаклаве два сезона с младшими детьми. Анна наезжала из Севастополя. След от ее последнего балаклавского лета сохранился в мемуарных записях Льва Горнунга, запомнившего, что Анна Андреевна в юности «переплывала балаклавскую бухту». Память о лете в Балаклаве осталась и в ее собственных стихах, написанных в 1908 году, напрочь забытых и выплывших из забвения ровно через полвека – в 1958-м:

Улыбнулся, вставши на пороге,
Умерло мерцание свечи.
Сквозь него я вижу пыль дороги
И косые лунные лучи.

Балаклава недаром притягивала внимание «последней херсонидки», выманивая из любимого, но слишком уж цивильного, с сильным имперским акцентом Севастополя. К началу XX века это был последний «оригинальнейший уголок пестрой русской империи» с «исконным древнегреческим населением». Здесь и только здесь, как пишет Куприн в очерке «Листригоны» (1908–1911 гг.), у каменных древних колодцев еще можно было встретить «худых, темнолицых, длинноносых гречанок, странно и трогательно похожих на изображение Богородицы на старинных византийских иконах». Балаклава, как и вольные друзья «приморской девчонки», которая станет главной героиней первой поэмы Ахматовой «У самого моря», жила рыбой. Листригоны кормили дарами моря всю округу. В октябре, к началу Большого лова, сюда первыми приезжали скупщики рыбы из Севастополя. И тогда все как один «паруса убегали в море», а в нижней церкви Георгиевского монастыря, в нескольких верстах от Балаклавы расположенного, «служили молебны» за их счастливое

возвращение. Георгий для балаклавских мореходов был не только своим монастырем, то есть морским и греческим, он служил еще и своеобразным навигационным ориентиром. Вот что пишет Куприн в «Листригонах»: «У каждого атамана (капитана рыбачьего баркаса. – *А.М.)* есть свои излюбленные счастливые пункты, и он их находит в открытом море, за десятки верст от берега так же легко, как мы находим коробку с перьями на своем письменном столе. Надо только стать таким образом, чтобы Полярная звезда очутилась как раз над колокольней монастыря св. Георгия, и двигаться, не нарушая этого направления, на восток, до тех пор, пока не откроется Форосский маяк».

«Маяк с востока» в качестве верной путеводительной приметы назван и в поэме Ахматовой: «А я уплывала далеко в море, на темных, теплых волнах лежала. Когда возвращалась, маяк с востока уже сиял переменным светом…»

Ни старший брат, ни Инна Эразмовна не одобряли опасные заплывы Анны. Андрей еще и подкалывал: «А что это у тебя с ногами, Анечка? Уж не превращаются ли они в рыбий хвост?» Один только Виктор, когда подрос и тоже занедужил морем, великодушно признавал, что Аннушка плавает едва ли не лучше его.

Летом 1897 года, то есть в том самом году, когда Анна прожила целый год в Севастополе, в маленьком поселке, раскинувшемся у подножия Георгиевского монастыря, произошли два события, легшие, на мой взгляд, в основу сюжета поэмы «У самого моря». Здесь на расстоянии версты от дикого пляжа находилась подводная скала, которая поднималась над поверхностью воды приблизительно метра на два. Среди местных пловцов считалось особым шиком достигнуть камня, вскарабкаться на него и, отдохнув, быстро плыть к берегу. Точно на таком же расстоянии от низкого берега сушит намокшие волосы и героиня поэмы («А я сушила соленую косу за версту от земли на плоском камне»). На этом-то месте и именно летом 1897 года чуть было не утонул некий молодой человек. Случилось сие ЧП после сильного летнего шторма. На море стояла мертвая зыбь. Местные рыбаки, а они, несмотря на опытность и бесстрашие, никогда не пускались в море, если «погода не пускает», еще с вечера вытянули лодки на берег и, пользуясь передышкой, занялись починкой сетей. Но неведомый пловец, видимо, был пришлецом. Он вошел в море и поплыл к камню, не сообразив, что при сильной послештормовой зыби на нем не только невозможно удержаться, приближаться и то опасно. Более часа сражался безрассудный молодой человек с морем и, обессилев, стал тонуть. Уже на обратном пути, почти у самого берега.

Кончилось, по счастью, благополучно. Балаклавские «одиссеи» вытянули захлебнувшегося утопающего на безопасное место, а потом вынесли из воды на руках.

Согласитесь, что эпизод, взятый мной из надежного мемуарного источника, чрезвычайно похож на аналогичную сцену в ахматовской поэме. Настолько похож, что воспринимается как «взятый из действительного происшествия»:

Передо мною,
По пояс, стоя в воде прозрачной,
Шарит руками старик огромный
В щелях глубоких скал прибрежных,
Голосом громким зовет на помощь…

И далее:

Вижу – в руках старика белеет
Что-то, и сердце мое застыло…
Вынес моряк того, кто правил
Самой веселой, крылатой яхтой,
И положил на темные камни.

Там же, у Георгия, и в то же самое лето произошло и еще одно событие, оставившее след в первой поэме Ахматовой. Я имею в виду странноватую для героини южной поэмы мечту: выстроить шесть броненосцев и шесть канонерских лодок:

И я говорила сестре сердито:
«Когда я стану царицей,
Выстрою шесть броненосцев
И шесть канонерских лодок,
Чтоб бухты мои охраняли
До самого Фиолента».

От кого намеревается, став царицей, охранять свои бухты *дикая девочка?* Времена вроде мирные? И почему хочет выстроить шесть военных кораблей, а, скажем, не семь? Сказке приличнее число «семь»: семеро козлят, семь богатырей. Сама Ахматова на сей счет промолчала, однако ключ к этому *шифру* по невероятной случайности не утонул в *реке времен,* а чудом вынырнул, и в таком месте, где никто из искателей ахматовского клада его не искал и искать не собирался.

В лето 1897-е (за семь лет от трагической гибели при взрыве на броненосце «Петропавловск») из Москвы в сторону крымскую двинулся с женой и двумя детьми знаменитый художник В.В.Верещагин (по той же, кстати, причине, по какой Горенки старались вывозить детей в Крым: Верещагины только что потеряли дочь, умершую от туберкулеза мозга). Старший мальчик, Василий, тогда пятилетний, до глубокой старости не забыл этого лета. Вот что он пишет в мемуарах (глава «В Крыму. У Георгиевского монастыря»):

«…Отец давно уже собирался отдохнуть с семьей где-нибудь на южном побережье Крыма. Как всегда, он искал для отдыха уединенное место, которое было бы достаточно удалено от переполненных крымских курортов… Этим условиям вполне удовлетворяло место вокруг Георгиевского монастыря, расположенного недалеко от Севастополя, между мысом Фиолент и Балаклавой. Монастырь был расположен на горе, высоко над уровнем моря.

Дорога от него к берегу спускалась по склону горы многочисленными серпантинами. На половине пути, на небольшой естественной террасе стоял принадлежащий монастырю одноэтажный домик, имевший три комнаты, кухоньку с чуланом и окруженный кипарисами и кустами роз. В этом-то домике и поселилась на полтора летних месяца наша семья».

Жили московские дачники тихо и уединенно, художник работал в комнате с окнами на море. Он первым и заметил, что со стороны Севастополя к Георгиевской бухте приближается миноносец. За первым из-за мыса показался второй, потом третий, четвертый… *всего шесть.* «Миноносцы, – вспоминает Верещагин-сын, – шли в кильватерной колонне, выровненной как по линейке, что нам с высоты хорошо было видно. От быстрого хода перед их носами поднимались белые, пенистые буруны, а из труб валил густой дым, лентой тянувшийся за колонной… Зрелище было очень красивое».

Налюбовавшись красивым зрелищем, Верещагины хотели было вернуться к прерванным занятиям, но флотилия вдруг остановилась – и как раз напротив монастыря! Затем, развернувшись так, что каждый из миноносцев описал дугу в четверть круга, двинулись к берегу. В расстоянии около километра от берега машины были застопорены, со всех шести миноносцев в лодки спустились офицеры: с головного три, а с остальных – по одному. Матросы подняли весла и по команде как один опустили их в воду. Лодки рванулись и понеслись стрелой.

Дальнейшего Верещагины уже не могли разглядеть. Кипарисы и высокий розовый кустарник заслоняли от них как раз

то место, куда спущенные с миноносцев лодки (числом шесть!) направлялись. Зато жителям поселка, расположенного ниже, а значит и сестрам Горенко, было прекрасно видно, что лодки высадили на берег великолепную, в ярко-белой с золотом летней форме офицерскую восьмерку (причем высадили в том самом месте, куда, по расчетам героини поэмы, только и могла причалить крылатая яхта царевича). В монастыре, расположенном много выше верещагинской дачки, эскадру тоже заметили и переполошились. От самого основания обители не случалось здесь ничего подобного! Решив, что в Севастополе произошло какое-то бедствие, настоятель приказал набатом созвать всех монахов, а нескольких, помоложе, послал навстречу взбиравшейся по георгиевским серпантинам офицерской группе. Каково же было их, монахов, удивление, когда адмирал, возглавлявший восьмерку (шесть командиров миноносцев плюс его собственный адъютант), попросил указать дорогу к живущему где-то около монастыря художнику Верещагину.

Дело объяснилось как нельзя проще. Контр-адмирал А.К.Сиденсер, потомственный флотоводец и весьма образованный человек, узнал из газет, что возле Свято-Георгиевского монастыря отдыхает его однокашник по Морскому кадетскому корпусу. Выведя свою флотилию якобы на учебную прогулку, он решил нанести знаменитому современнику визит дружбы, обставив его буквально по-царски.[4]

Словом, впечатлений, какими одаривало Аню Горенко второе крымское детство, Анне Ахматовой хватило на целую поэму. Не исключено также, что море, в котором она в отличие от сестер, что старшей Инны, что младшей Ии, почти жила, помогло ей преодолеть, казалось бы, неизбежную угрозу туберкулеза. Однако при всей, как бы сейчас сказали, спортивности у «дикой девочки» долго, лет до пятнадцати, бывали приступы лунатизма (поэтому-то Гумилев и называл ее «Девой Луны»). Она вставала ночью, уходила, в бессознательном состоянии, на лунный свет. Отыскивал ее отец и приносил на руках домой. Андрей Антонович любил хорошие сигары, папирос не признавал. Этот отцовский запах, запах дорогой сигары, с тех пор навсегда связался с лунным светом. Старая нянька твердила барыне: вся беда оттого, что в комнате, где спит девочка, забыли занавесить окно. Окно зашторили, но Анна тайком, дождавшись восхода луны, занавески раздергивала. Ей нравилось следить за игрой лунных лучей с вещами и предметами ее спаленки:

Молюсь оконному лучу —
Он бледен, тонок, прям.

Сегодня я с утра молчу,
А сердце – пополам.

На рукомойнике моем
Позеленела медь,
Но так играет луч на нем,
Что весело глядеть…

Сердце Ани Горенко и впрямь разрывалось *пополам.* Между жалостью к матери и ревностью к отцу, к его скрытой от детей и жены жизни в ином, не похожем на их неухоженный дом праздничном мире. В том мире были красивые женщины, рестораны, постоянный абонемент (половина ложи!) в Мариинский театр, и полы в светлых и теплых комнатах целые, не такие, как здесь, не щелястые. Нянька подозревала: в щель-то и замели, не заметив, крестильный *Аничкин крестик.* Крестика было жаль до слез, но Аня не плакала. Мать, у которой глаза всегда на мокром месте, с недоумением приглядывалась к самой непонятной из своих дочерей…

Ахматову принято считать типичной петербуржанкой, ссылаясь на популярное стихотворение 1929 года: «Тот город, мной любимый с детства…» Между тем первое петербургское, да и то временное, жилье появилось в ее жизни только в 1913 году. В детстве она редко бывала в городе, только тогда, когда отец брал ее с собой в театр или водил по выставкам. Многие мемуаристы отмечают и отмечают как малопонятную для горожанки странность: Анна Андреевна панически боялась переходить улицы с сильным автомобильным движением, терялась в сутолоке больших вокзалов, словно провинциалка. Между тем ничего странного в этом нет, ведь она росла пусть и недалеко от столицы, а все-таки не в городе – в «узорной тишине» дачного предместья. Столь же провинциальными, не похожими на модные курорты южнокрымского побережья, были в годы ее детства и дачные окраины Севастополя и Одессы…

В десять лет Анна заболела корью, и такой тяжелой, с бредом и судорогами, что все решили: и эта не *жилица,* и эта *уйдет* вслед за Рикой. Но она выжила. Худая, голенастая, остриженная наголо, гадкий утенок, да и только. От хождения в «бурсу» ее освободили: пусть, мол, пропустит год, здоровье дороже. Но и купаться не разрешили: корь дала осложнение на уши (последствия поздней кори обернутся сильным, в старости почти до глухоты понижением слуха). Чтобы утешиться, Анна научилась развлекать

себя. Самой лучшей игрой был «китайский чай». Бросишь в банку с водой чаинку, и там появляются таинственно-яркие подводные цветы, а среди цветов – *Зевсова рыба.* О *Зевсовой рыбе* среди балаклавских рыбаков ходили легенды: плоская и с синим всевидящим оком…

И вдруг все-все надоело: и переводные картинки, и китайский чай с водяными сюрпризами. Ей было одиннадцать, когда она написала *первое стихотворение*…

Сюда ко мне поближе сядь,
Гляди веселыми глазами:
Вот эта синяя тетрадь —
С моими детскими стихами.

Синяя тетрадь Ани Горенко осталась только в стихах Анны Ахматовой. Детские свои сочинения она уничтожила. «Мне кажется, я подберу слова, похожие на вашу первозданность…» Из всех посвященных ей стихов Анна Андреевна особо выделяла именно эти: Борис Пастернак назвал по имени то, что интуитивно всю жизнь делала она сама, – подбирала слова, похожие на врожденную первозданность. Даже тогда подбирала, когда и слова-то такого *первозданность* не знала. Потому и сожгла синюю тетрадь. Спокойно, с твердой уверенностью, что стихи, вписанные ее рукой, противным, ужасным почерком в красивую тетрадку, сочинены не ею, а какой-то другой, пустой и капризной девочкой, а она, Анна, – *не то,* за что эти ничтожные стихи ее выдают. У нее, в отличие от присвоившей ее имя царскосельской барышни, воображающей себя «декадентской поэтессой», «есть еще какое-то тайное существование и цель». И все-таки продолжала писать, точнее, записывать с внутреннего голоса. Она и чужие стихи, изданные типографским способом, не видела, а слышала и понимала лучше на слух, а не когда читала глазами.

Правильные, похожие только на нее слова не подбирались еще и потому, что поэты, которых проходили в «бурсе», слишком серьезно относились к чему-то такому, что ни имело прямого отношения к ее *тайному существованию.* А те сочинители, что печатались в «Ниве», единственном журнале, который от случая к случаю приносил домой отец, писали почти так же плохо, как и она сама. Когда начинало *звучать внутри,* Анна переставала разговаривать – «Сегодня я с утра молчу…». Про то, что выходило из *молчания,* знала одна Валя, Валечка, Валерия Тюльпанова, подруга, почти сестра, больше сестра, чем родные сестрицы.

Познакомились девочки еще в 1894 году – Анне пять, Валерии чуть больше – на модном эстонском курорте под Нарвой.

Никаких особых отношений меж ними тогда не возникло. И по причине непригодного для дружбы возраста. И потому что были уж очень разными: Аня – тихая, замкнутая, ничем не примечательная, Валя – бойкая, прехорошенькая, общительная. Подружились они позже, подростками, когда Тюльпановы сняли низ в том же доме, где наверху жили Горенки. Валерия еле узнала курортную знакомку. Талия – тростинка, волосы длинные, прямые, но не грубые, а мягкие, шелковые, сама высокая, на голову ее выше, а руки и ноги маленькие, изящные. Валечка Тюльпанова с досадой рассматривала свои умелые и крепкие ладони и пальцы. Они казались ей некрасивыми, не то что у Ани, у Ани – как у Мадонны в Эрмитаже, не кисти рук, а произведение искусства! Окажись на ее месте самолюбивая и вздорная девица, наверняка возненавидела бы «верхнюю» соседку. Но Валя была существом добрейшим, из тех женских натур, какие нуждаются в предмете обожания. Предметом пожизненного обожания и стала для нее Аня. Впрочем, и Анна Андреевна на всю жизнь привязалась к Валерии Сергеевне. Рядом с ней она чувствовала себя защищенной от «низкой жизни», в которой Валя держалась так же уверенно, как Анна – в воде. Не боялась ни наглых приказчиков в галантерейной лавке, ни грубых извозчиков. Эти мужланы с нее никогда не запрашивали лишнего и вежливы были до ласкательства. А кроме всего прочего, Валя умела слушать. Немо, преданно, не ушными раковинами, а всем своим ладным и крепеньким телом, всем лицом, до последнего волосочка на круглых прелестных бровках. И все-таки теперь, когда появилась синяя тетрадь, Валечкой и подаренная, в настоящие собеседники она не годилась. Со всем соглашалась, всем восхищалась, ластилась, мурлыкала, как котенок, сияла милыми, преданными, пушистыми глазами, заучивала наизусть, старательно – все делала старательно! Да и еще и в альбом переписывала. Про самые неудачные ахала: «гениально»! И ничегошеньки не понимала – ни в гениальности, ни в стихах. Анна пробовала сунуться со своими проблемами к брату Андрею, но тот отмахнулся. Ласково, шутливо, но отмахнулся, вникать не стал. Дескать, «наша Анечка удивительно умеет совмещать бесполезное с неприятным». Обиделась, но не очень. У Андрея своих проблем невпроворот. Он так часто болел, что пришлось уйти из гимназии и сдавать курс экстерном.

Остриженные в корь волосы давно отросли; чтобы заплести их в косы, аккуратно и ровно, как требовали в «бурсе», приходилось вставать чуть не на час раньше. Вставать рано Анне, сове и полуночнице, ох как не нравилось. На нее уже стали поглядывать и гимназисты, и студенты, приезжавшие в Царское

на уикенды, а у нее все еще не было выходного платья. Даже в театр приходилось надевать мерзкую гимназическую форму. Ни мать, ни Валя помочь не могли. У Тюльпановых детей тоже одевали во что придется: «разночинно». Анна стала присматриваться к приятельницам отца, особенно пристально к самой элегантной; отец в шутку величал эту даму Ариадной Великолепной. Ариадна Владимировна Тыркова – беллетристка, литературный критик и видная деятельница кадетской партии – в ту пору жила в Царском Селе. В ее мемуарах, написанных уже на склоне лет, есть такой эпизод: «…Я год прожила в Царском Селе. Анна была тогда гимназисткой. Она с любопытством прислушивалась к разговорам старших обо мне. Это было еще до моего писательства, но около молодых женщин, если они не уроды, всегда вьются шепоты и пересуживания. "Я вас в Царском и на улице все высматривала, – рассказывала она мне. – Папа вас называл Ариадна Великолепная. Мне это слово ужасно нравилось. Я тогда же решила, что когда-нибудь тоже стану великолепная…" Она имела право сказать: "Так и вышло. Только я вас перегнала". По благовоспитанности своей она никогда мне этого не сказала».

Ахматовой Великолепной Анюта Горенко стала, конечно, много-много позже, но в старшем классе гимназии, уже в Киеве, даже в мелочах, отличалась от остальных гимназисток. Ее одноклассница запомнила, что у Горенко была почему-то какая-то другая форма. Не такая, как у всех. Из мягкой и дорогой ткани. И покрой особый, чтобы сидела не мешком, а *как влитая.* Да и цвет не коричнево-школьный, а густо-шоколадный, приятного оттенка. Как раз такой, чтобы при ее бледности и прозрачных глазах «личил», а не «убивал». А однажды произошел такой случай. На урок рукоделия велено было принести материю на ночную рубашку. Весь класс приносит скромный коленкор, а фасоня Горенко – прозрачный батист, да еще и *развратного* нежно-розового цвета. Учительница в смущении: «Это неприлично!» Ответ ученицы Горенко еще *неприличнее,* чем супермодный батист: «Вам – может быть, а мне нисколько». Происшествие замяли, но по рукоделию все-таки не аттестовали. Впрочем, не только по рукоделию. Как свидетельствует аттестат, дочь статского советника девица Анна Горенко не ходила и на уроки танцев. Она и в детстве не пробовала танцевать, хотя, ничуть не стесняясь, могла заявить малознакомому человеку: «Посмотрите, какая я гибкая», и через мгновение ноги ее соприкасались с головой. Восхищенный гибкостью дочери, отец хотел записать ее в балетную школу (театр, напоминаю, был его слабостью), но Анна наотрез отказалась, заявив, что *татарские ее ноги* отказываются танцевать. *Татарские ноги* Ани Горенко

отказывались не только от уроков танцев. Им почему-то не нравилось обуваться и в конькобежные ботинки. В лыжные – «за ради бога», как говорила тюльпановская наглая кухарка; сразу вскакивали, готовые втиснуться в любую обувку – чужую, трепаную, на три размера больше. На лыжах – бежишь себе и бежишь, одна, куда хочешь, бежишь, как плывешь. А на катке? Круг, один, второй, третий, и ничего не видишь, кроме исцарапанного льда да задницы впереди бегущего. Валечка Тюльпанова с трудом вытягивала Анну на каток. На катке-то и высмотрел ее младший из братьев Гумилевых – Николай.

Дафнис и Хлоя

Валерия Тюльпанова, по мужу Срезневская, вспоминает: «Мы вышли из дому – Аня и я с моим братом Сережей – прикупить какие-то милые украшения для елки. Был чудесный солнечный день. Около Гостиного двора мы встретились с „мальчиками Гумилевыми“, Митей (старшим, тогда морским кадетиком) и Колей-гимназистом… Встретив их на улице, мы уже дальше пошли – я с Митей, Аня с Колей за покупками, и они проводили нас до дому. Аня ничуть не была заинтересована этой встречей, я тем менее, потому что с Митей мне всегда было скучно, – он не имел никаких достоинств в моих глазах. Но, очевидно, не так отнесся Николай Степанович к этой встрече. Я часто, возвращаясь из гимназии, видела, как он маячил вдали в ожидании появления Ани».

Валя-Валечка и права и не права. В высокомерного с виду и очень неуверенного в себе гимназиста *ее Аня,* конечно же, «не влюбилась». Страстных влюбленностей от единственной *до гробовой доски* подруги Анна Андреевна не скрывала. А вот то, что встреча с младшим из мальчиков Гумилевых ее все-таки заинтересовала, утаила. Навсегда запомнил эту встречу и Николай Гумилев; в стихотворении «Современность» она описана так:

Я закрыл Илиаду и сел у окна,
На губах трепетало последнее слово,
Что-то ярко светило – фонарь иль луна
И медлительно двигалась тень часового…
……..
Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя,
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

Ничего не забыла, как выяснится через полвека, и Аня Горенко: ни лип в морозном серебре, ни *алмазную,* первую, их с Николаем Степановичем зиму, и самый важный в 1903 году день – под Рождество: «24 декабря познакомилась с Н.С.Гумилевым в Царском Селе» (помета в «Записной книжке» от 1959 г.). Эта дата вошла в личный хронограф Анны Ахматовой как *незабвенная.*

В разбросанных по всем «Записным книжкам» «заметках о Гумилеве», из которых Анна Андреевна не успела сделать книгу

прозы, она характеризует свои отношения с первым мужем как «особенные и исключительные», как непонятную «связь, ничего общего не имеющую с влюбленностью». Ей хочется при этом верить, что точно так же относился к ней и Гумилев. В доказательство цитирует его стихотворение «Вечное», где Николай Степанович называет жену «тот, другой», тот, кто «положит посох, улыбнется и просто скажет: "Мы пришли"». И далее, в том же автобиографическом фрагменте: «Чувство именно этого порядка заставило меня в течение нескольких лет (1925–1930) заниматься собиранием и обработкой материалов по наследию Гумилева. Этого не делали ни друзья (Лозинский), ни вдова, ни сын, когда вырос, ни так называемые ученики (Георгий Иванов). Три раза в одни сутки я видела Николая Степановича во сне, и он просил меня об этом».

Спору нет: на расстоянии прожитой жизни события юности и чувства, с ними связанные, видятся яснее, четче, однако многие важные подробности все-таки забываются. Во всяком случае, юношеские стихотворения Гумилева, обращенные к Анне Горенко, в ее истолкование не укладываются. В дальнейшем, после фактического разрыва «брачных отношений» (1914 г.), а особенно после официального развода (1918 г.) Николай Степанович, видимо, и впрямь относился к бывшей жене иначе, по-другому, чем к прочим героиням бесчисленных своих романов. И тем не менее в набросанном накануне гибели автобиографическом отрывке он вспоминает о первой любви как о чувственной страсти:

Я рад, что он уходит, чад угарный,
Мне двадцать лет тому назад сознанье
Застлавший, как туман кровавый,
Схватившемуся в ярости за нож;
Что тело женщины меня не дразнит,
Что слава женщины меня не ранит,
Что я в ветвях не вижу рук воздетых,
Не слышу вздохов в шелесте травы…

Тот же мотив – в балладе о деве-птице: печальная и странная дева-птица («такая красивая птица, а стонет так горько») вызывает у встретившего ее пастуха не любовь-нежность, а грубое плотское вожделение:

Пастух вдыхает запах
Кожи, солнцем нагретой,
Слышит, на птичьих лапах

Звенят золотые браслеты.

Вот уже он в исступленьи,
Что делает, сам не знает,
Загорелые его колени
Красные перья попирают…

Откровенность этой сцены, конечно же, замаскирована аллегорической условностью и сюжета, и персонажей, однако аллегория достаточно прозрачна, поскольку отсылает к стихам юной Ахматовой, где она сравнивает себя с птицей печали: «Я птица печали, я – Гамаюн». И золотые браслеты на птичьих лапах упомянуты не случайно: именно браслеты, и притом причудливые, привозил Гумилев Анне из африканских своих путешествий; браслеты же пыталась она ему и вернуть, когда ссорились. А ссорились они отчаянно – и до свадьбы, и после. Гумилев из деликатности об этой стороне их отношений промолчал, Анна Андреевна невзначай проговорилась:

И когда друг друга проклинали,
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не знали,
Что земля для двух людей мала…

Они вообще еще ничего не знают ни о себе, ни о жизни, ни о гибельности угарного чада. Дафнису и в золотом сне не приснится, что через десять лет о робкой и трогательной Хлое, чью скрытую красоту не замечает даже умная его мать, станут говорить как о самой прелестной женщине Петербурга. Да и Хлоя мысли не допускает, что смешной и неуклюжий ее обожатель станет классическим «жуаном», бесстрашным кавалеристом и большим, до сих пор не понятым и по-настоящему не прочитанным поэтом.

Впрочем, о том, что «приклеившийся» к ней гимназистик пишет стихи, Анна узнала уже в день знакомства. В отличие от нее он говорил об этом ничуть не стесняясь. Это ей не понравилось. Настоящие поэты *такое* первому встречному не говорят. Оказалось, однако, после нескольких долгих прогулок, что чопорный и немного деревянный мальчишка и в самом деле поэт. Родившийся поэтом, как рождаются актерами или художниками. Да еще и стихолюб, и стихоман. Стихи, соображения о стихах, имена поэтов, ей неведомых, сыпались из него как из рога изобилия. А как-то, ближе к весне, замерзнув,

Дафнис и Хлоя сели в поезд, доехали до города и тем же паровичком вернулись. И всю дорогу не замолкая Гумилев объяснял, что такое символизм, а у ворот ее дома, впервые сильно смутившись, признался, что и он – символист, выбравший в учителя (гимназист говорил: мэтр) Валерия Брюсова. (Вспоминая тогдашнего Гумилева, Ахматова скажет: «Он поверил в символизм как в Бога».)

Через несколько дней брюсовский очередной шедевр «Tertia Vigilia» лежал у нее под подушкой. Глазами Анна книжку вождя символистов прочла с интересом. Нашла там, кстати, и идеал, на который равнялся, с которого, кажется, *делал себя* ее новый, а честно говоря, первый и пока единственный поклонник:

Да, я моряк! Искатель островов,
Скиталец дерзкий в неоглядном море.
Я жажду новых стран, иных цветов,
Наречий странных, чуждых плоскогорий.

Куда больше нечаянной радости доставил Анне второй Колин подарок: торжественно врученный Блок, «Стихи о Прекрасной Даме». Чтобы не расставаться на целых полдня со златокудрой Дамой и прекрасным ее рыцарем, она взяла сборничек в «бурсу». Ясно и честно смотрела в глаза madame, на уроках французского ученицу Горенко оставляли в покое (по французскому языку она шла первым номером – ах, какое произношение, словно вы, Горенко, родились в Париже!), а внутри звучало:

Предчувствую Тебя. Года проходят мимо —
Все в облике одном предчувствую Тебя.
Весь горизонт в огне – и ясен нестерпимо,
И молча жду, – тоскуя и любя.

На перемене к задней ее парте подошла первая ученица, рыжая веснушчатая толстуха, взяла книгу, полистала и фыркнула: «И ты, Горенко, можешь всю эту ерунду прочесть до конца?»

Алмазная зима 1903 года еще и потому так запомнилась Ане Горенко, что это была последняя зима перед японской войной. С ней всегда будет так: каждая война поворачивала ее жизнь, как реку, меняя русло. С японской кончилось отрочество, с германской – юность. И 1941-й оказался пограничным. Хотя в первом военном июне Анне Ахматовой исполнилось всего пятьдесят два, в 1944-м она вернется в свой город не зрелой женщиной, в судьбе которой еще многое может случиться, даже

новое и вполне благополучное замужество, а пожилой дамой, у которой все в прошлом.

Но мы перепрыгнули через целых сорок лет! Ведь на дворе трагическая весна 1904 года, во всех столичных газетах крупным шрифтом на первой полосе – экстренное сообщение: «31 марта броненосец «Петропавловск» наткнулся на японскую мину и в полторы минуты затонул. Находившиеся на борту адмирал С.О.Макаров и знаменитый художник В.В.Верещагин вместе с семьюстами офицерами и матросами погибли». Вот как отозвалось известие о гибели броненосца «Петропавловск» в поэме Ахматовой «Русский Трианон»:

> Прикинувшись солдаткой, выло горе,
> Как конь, вставал дредноут[5] на дыбы,
> И ледяные пенные столбы
> Взбешенное выбрасывало море —
> До звезд нетленных – из груди своей,
> И не считали умерших людей.

В 1928 году Павел Лукницкий, автор двухтомника «Встречи с Анной Ахматовой», сделал в Дневнике такую запись: «Вечером в семь часов собиралась пойти со мной в Цусимскую церковь, чтобы показать ее мне…»

В 1965-м, составляя конспект для расширенной автобиографии, незадолго до последнего инфаркта, Анна Андреевна как самостоятельный сюжет обозначит все ту же «незабвенную дату» – «год Цусимы»: «Потрясение на всю жизнь, и так как первое, то особенно страшное». Страшное, видимо, еще и потому, что у первой ее войны потрясения *на всю жизнь:* было два прекрасных человеческих лика – художника Верещагина и адмирала Макарова.

О Степане Осиповиче Макарове, коменданте Кронштадтского порта, с одинаковым восхищением говорили и отец Анны, и Коля Гумилев, гордившийся тем, что родился в Кронштадте. Коля и потом продолжал туда ездить, иногда вместе с ней; навещали дядюшку, Колиного крестного отца контр-адмирала Льва Ивановича Львова. Бездетный Лев Иванович, отпуская жену на *большую землю* погостить у родичей, частенько столовался в береговой кают-компании. Крестник, как только заходили в Морское собрание перекусить, обалдевал, как если бы оказывался в пещере Аладдина. По стенам аванзала – чуть ли не полное собрание картин Айвазовского, а гостиные все в разном стиле: китайская, индийская, африканская, – декорированные дарами моряков, побывавших в экзотических странах. И как только у

Гумилева появилась своя комната, превратил ее в морское дно. Выкрасил стены под цвет морской волны, на стенах попросил приятеля нарисовать русалок, разных морских чудовищ, а посреди комнаты устроил фонтан, обложив его диковинными раковинами и камнями. Он и позднее, будучи совсем взрослым, разукрашивал свои «ателье» по образцу экзотических гостиных кронштадтской кают-компании.

Особенно часто ездили Дафнис и Хлоя в Кронштадт в последние морозные дни предвоенной зимы. Гумилев, предусмотрительно захватив коньки, уверенно резал лед, а она с ревнивым удивлением следила за лихой адмиральшей: жена кронштадтского коменданта бегала на коньках по-фински, азартно и сурово. И почти так же необыкновенно хорошо, как Анна плавала.

Весь Кронштадт провожал Макарова на войну: адмирал, назначенный командующим Тихоокеанским флотом, увозил с собой пятьсот рабочих – корабельных дел мастеров, объяснив журналистам, что везет с собой золото и что без них воевать нельзя. Да и в семье Анны, как только заходила речь об адмирале Макарове, мать, поправляя пенсне, уточняла: дескать, Степан Осипович – не просто военный моряк и флотоводец, а еще и полярник, как и мой отец, а твой, Анна, дед Эразм Иванович Стогов.

Еще сильнее потрясла Анну смерть Верещагина. Она, как уже упоминалось, видела его восьмилетним ребенком, когда художник отдыхал под Севастополем, около Георгиевского монастыря. Сам Верещагин ее не очень-то интересовал; воображение поразили приплывшие к нему морские гости. Но, проходя мимо верещагинской дачки, она пристально разглядывала сквозь кипарисы и путаницу плетистых роз его молодую и нарядную, всегда в чем-то розовом, жену. А еще ревнивей следила за их детьми, когда тех приводили к морю. Уж очень чудно и чудно были одеты и мальчик и девочка: вроде бы просто, а не так, как наряжали отпрысков царскосельские и севастопольские богатеи. И что же теперь та красивая дама – вдова, а те дети – сироты?

Осенью 1904-го в Обществе поощрения художеств открылась посмертная выставка Верещагина. На ней побывал весь Петербург. Не отставали от петербуржцев и царскоселы. Публику привлекала не столько живопись, сколько слухи о необычности экспозиционного декора. По желанию вдовы залы оформлялись так, как это делал сам художник, выставляя картины за рубежом. Стены задрапированы бархатом темного бордо – чтобы лучше смотрелись холсты в золотых рамах и предметы этнографических

коллекций. Восточные ковры. Оружие. Украшения. Амулеты. Ткани. Утварь. Все, что, не считаясь с расходами, Верещагин привозил из своих экзотических путешествий. Была воспроизведена в мельчайших подробностях и обстановка московской мастерской художника. Об этой огороженной забором чуть ли не средневековой конструкции и оттого похожей на крепость московской усадьбе за Серпуховской Заставой ходило множество слухов и пересудов. При жизни Верещагина вход в семейную цитадель посторонним, даже великому князю Владимиру Александровичу Романову, президенту Академии художеств, был строго воспрещен.

Интерес к выставке подогревал и ажиотаж зарубежных коллекционеров. Экспонировалось 426 работ. Аукцион обещал миллионы, но вдова, помня, как огорчался муж, когда лучшие вещи уходили за границу, продала их за гроши Придворному ведомству – в «казну». Денег от продажи еле-еле хватило на покрытие выставочных расходов. Даже в царскосельской «бурсе» шли толки о шикарной выставке. Жалели сирот, оставшихся без средств к существованию. Анну разговоры о потерянном миллионе не трогали. Она думала о другом, о том, что волшебного, сказочно красивого дома, где так счастливо жили тот мальчик и та девочка, нет и никогда не будет – он, так же как картины и коллекции их отца, продан чужим людям. Она потому лично и страстно сочувствовала сиротам Верещагиным, что и у нее отнимали дом детства. В ту же самую осень наследники купчихи Шухардиной, домовладелицы, заявили жильцам Горенко, чтоб те сыскали к весне другое помещение, поскольку дом решено продать. Это был бедный и совсем не красивый дом, бывший трактир, ветхий, в полуподвалах – мелочная лавочка и зловонная сапожная мастерская. Но это был почти ее дом. Зимой его заносило снегом, летом дворик буйно зарастал репейниками, из которых она с сестрой Ией лепили корзиночки… Анна сразу почуяла: быть беде. Так и случилось. Едва переехали, прибежал Сережа фон Штейн, муж Инны, он только что говорил с врачом: надежды на облегчение нет, последняя стадия чахотки. Не помня себя от нового горя, мать проговорилась: Андрей Антонович попросил у нее согласие на развод, и она согласилась.

Анна замолчала. Ни Андрей, брат, ни Валя Тюльпанова не могли ее разговорить, а Колю Гумилева она избегала. Но он все-таки ее находил, нарочно подружился с Андреем, ради нее уговорил родителей устроить на Пасху домашний бал. Уж лучше бы не устраивал! Едва войдя к Гумилевым, Анна сразу поняла – в этой семье все иначе, чем у них. Здесь дети – и свои мальчики Митя и Коля, и внуки от старшей вдовой дочери отца – главные

люди. Николай и раньше рассказывал, что отец не только разрешил ему не ехать на дачу, когда открывали в Царском Селе памятник Пушкину, но и сам отвез на тот праздник, хотя что ему, корабельному врачу, кроме книг про путешествия, ничего не читавшему, Пушкин? Теперь-то Гумилев и сам перезнакомился со всеми столичными книжниками, а когда был маленьким, родители, заметив у младшего сына страсть к чтению, договорились со знакомым букинистом, чтобы тот за небольшую плату давал им книги «с возвратом». Возвращали не все, стоящее непременно приобреталось и содержалось в отменном порядке, где бы Гумилевы ни жили. А места жительства приходилось менять часто, и все из-за сыновей. Когда выяснилось, что Николай по состоянию здоровья не может учиться в казенной гимназии, продали дом в Царском Селе и переехали в Петербург, чтобы мальчик мог ходить в частную гимназию с щадящим режимом. А вскоре опять перебрались, и не куда-нибудь, а в Тифлис (у старшего сына Дмитрия врачи обнаружили туберкулезный очаг в легком). В Тифлисе Степан Яковлевич, хотя было ему сильно за шестьдесят, устроился на службу, чтобы оплачивать теплую, с удобствами, квартиру. То же с дачами: сначала приобрели Поповку, маленькое, без хозугодий, имение под Петербургом. Лошадей тем не менее держали, и только для того, чтобы Коля с товарищами мог играть в ковбоев!.. Едва наладили дачный быт, опять вмешались врачи: дескать, в Петербургской губернии сыро и холодно, надо переменить климат. Гумилевы, люди и немолодые и небогатые, тут же продали Поповку, чтобы купить дачу под Рязанью. Не для себя, для детей…

Матери Николая, Анне Ивановне, читать некогда. На ней дети, дом, огород, оранжерея, сад. Но все равно: каждую книжку на столе у сыновей просмотрит – чтобы, не дай бог, ерундой голову не забивали и глаза попусту не транжирили, у младшего и так со зрением нелады, астигматизм. И если б только о здоровье пеклись – любую искорку увлечения не гасили, а изо всех сил раздували, как воскресный самовар! Чуть увлекся Коля зоологией, а в дому – целый зверинец. И белка, и белые мыши, и птицы, и морские свинки!

После того «бала» Анна стала возвращаться из гимназии другой, тайной, долгой дорогой. Она не завидовала «мальчикам Гумилевым», но видеть их, особенно Колю, не хотелось: такие благополучные, ухоженные, залюбленные, пироги-соленья, пышки-варенья… Гумилев ее все-таки выследил, подкараулил в парке, выскочил из кустов, как бог из машины, оживленный, веселый, и говорил, говорил… О Париже, в который поедет, как только кончит гимназию. Об Африке. О сборнике стихов, для

которого уже и название придумал – «Путь конквистадоров». А деньги на издание дает мать. И вдруг сделался прежним – чопорным и торжественным, взял за руку, повел к *своему вечному дубу* и… сделал старорежимное, словно героине семейного романа, предложение: «Я прошу вас, Анна…» И тут уж она заговорила. Его женой? Да как он смеет? У него и так есть все: и свой дом, и отец, и у него никогда никто не умирал! Париж? Африка? Какая Африка, когда столько горя? Стреляют, вешают, бросают бомбы… Путешествовать хорошо, если в душе – тишина, а когда взрывают, следует сидеть на месте, забиться в угол и замереть. Чтобы все забыли, что ты – есть.

Он повернулся и ушел. И не сказал ни единого слова.

Мгновение назад она ненавидела его: сопляк, начитавшийся Ницше! А сейчас ненавидела себя: черная, злая, вздорная. И если бы он обернулся… Он не обернулся.

В год гибели, перед самым арестом, в стихотворении «Мои читатели» Николай Гумилев вспомнит первую свою беду и обиду: они определили стиль его поведения и в жизни, и в творчестве:

Много их, сильных, злых и веселых,
……
Верных нашей планете,
Сильной, веселой и злой,
Возят мои стихи в седельной сумке,
Читают их в пальмовой роще,
Забывают на тонущем корабле.
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевной теплотой,
Не надоедаю многозначительными намеками
На содержимое выеденного яйца.
Но когда кругом свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать что надо.
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во всей Вселенной,
Скажет: я не люблю вас, —
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.

Не простит себе своей первой женской вины и бессмысленной, безответственной жестокости и Анна Ахматова. В «Поэме без героя», начатой в сороковом году, в возрасте, какой почитаемый ею Данте называл *серединой дороги жизни,* она,

вспоминая себя в юности, скажет сурово, просто, бесслезно: «С той, какою была когда-то… снова встретиться не хочу».

11 июня 1905 года Ане Горенко исполнилось шестнадцать лет. А первого августа, проводив мать и малышей в Киев, к старшей сестре, Анна и Андрей уехали к родственникам в Евпаторию. Ехали долго, почтовым, экономили деньги. Андрей пытался утешать сестру. Вот кончат гимназию, начнут зарабатывать, купят дом и опять соберутся все вместе. Как в Царском. И даже лампу отыщут такую, какая была в детстве, желто-керосиновую, а не масляную. И кажется, верил в то, что говорил. Но она-то знала: и рассеяние, и бездомность навсегда. Горько саднила и еще одна утрата – разлучение с Царским Селом, а значит, и с Петербургом. Судьба вдруг и разом отняла у нее все: отца, свой дом, свой сад, пусть с лопухами и крапивой, но сад, свою комнату, а главное – отечество, в том самом пушкинском смысле слова: «Нам целый мир чужбина, отечество нам Царское Село». А это как дышать одним легким.

Мы почти ничего не знаем о том, как складывалась жизнь Анны Горенко после ее вынужденного возвращения к самому морю. Целое пятилетие – с августа 1905-го по апрель 1910-го – покрыто пеленой тумана, сквозь которую смутно просвечивают мало связанные между собой подробности. Судя по ее письмам к мужу старшей сестры Сергею фон Штейну, Анна пыталась «наложить на себя руки». А вот о том, что толкнуло ее на такой странный при ее жизнелюбии поступок, и ему не рассказала. Ситуацию могли бы прояснить стихи кризисных лет, но они, как уже упоминалось, уничтожены. Сожжена и многолетняя – с 1906-го по 1910-й переписка с Гумилевым. И все-таки попробуем, собрав по крупице обрывки фактов, реконструировать предполагаемые обстоятельства.

Летом 1906 года, получив аттестат зрелости и издав на средства родителей «Путь конквистадоров», Николай Степанович перед отъездом в Париж успел повидаться со старшим братом Анны. О чем говорили молодые люди и возникало ли в беседах имя Примаверы (под этим именем Анна фигурирует в ранней прозе Гумилева), мы не знаем. Но, видимо, Андрей, приехав в Киев, где Анна сдавала вступительные экзамены в здешнюю гимназию (евпаторийская оказалась хуже некуда), посоветовал сестре сделать шаг к примирению. Этот шаг Анна сделала лишь осенью. Летом ей было не до Гумилева: 15 июля 1906 года умерла Инна. К горю примешивалось унижение: чтобы похоронить жену, Сережа Штейн вынужден был подать прошение о вспомоществовании в счет жалованья. Мать умершей ничем не могла ему помочь.

Гумилев письму, первому после объяснения в Екатерининском парке, обрадовался несказанно, завязалась переписка. В конце апреля 1907 года проездом из Парижа в Царское Село он появился в Киеве, где теперь у своей двоюродной сестры Марии Александровны Змунчилло жила Анна. Отношений на этот раз они, кажется, не выясняли: Хлоя сдавала выпускные экзамены, Дафнис спешил пройти медицинскую комиссию на предмет отбывания воинской повинности. Кроме того, планировал, завернув в Москву, нанести визит Брюсову, с которым регулярно обменивался литературными соображениями. Договорились, что встретятся летом или осенью в Севастополе. Получив вольную (был признан «неспособным к армейской службе по причине врожденного астигматизма глаз»), Николай тут же двинул на юг к Анне. Снова сделал устное предложение, в подтверждение многочисленных письменных, но вновь получил отказ, правда, не столь резкий, как в Царском под дубом. Для Гумилева реакция Анны было неожиданностью. Неожиданной кажется она и нам, поскольку, благодаря счастливой случайности известно, что писала «неневестная невеста» Гумилева всего несколько месяцев назад, в феврале 1907-го, Сергею фон Штейну. Как видно из этих писем, Анна очень ждала встречи с Гумилевым.

2 февраля 1907. Киев

Милый Сергей Владимирович… я решила сообщить Вам о событии, которое должно коренным образом изменить мою жизнь… Я выхожу замуж за друга моей юности Николая Степановича Гумилева. Он любит меня уже 3 года. И я верю, что моя судьба быть его женой. Люблю ли его, я не знаю, но кажется мне, что люблю… Не говорите никому о нашем браке. Мы еще не решили, ни где, ни когда это произойдет. Это – тайна, я даже Вале ничего не писала.

Февраль 1907. Из Киева

Мой дорогой Сергей Владимирович, я еще не получила ответа на мое письмо и уже снова пишу. Мой Коля собирается, кажется, приехать ко мне – я так безумно счастлива. Он пишет мне непонятные слова, и я хожу с письмом к знакомым и спрашиваю объяснение. Всякий раз, когда приходит письмо из Парижа, его прячут от меня и передают с великими предосторожностями. Затем бывает нервный припадок, холодные компрессы и общее недомогание. Это от страстности моего характера, не иначе. Он так любит меня, что даже страшно. Как Вы думаете, что скажет папа, когда узнает о моем решении? Если он будет против моего брака, я убегу и тайно обвенчаюсь с

Nicolas… Скорее бы кончить гимназию и поехать к маме. Здесь душно!»

Следующее, от *13 марта 1907 года,* письмо Ани Горенко к Сергею Владимировичу также наполнено Гумилевым. На этот раз обсуждается издаваемый Николаем Степановичем журнал «Сириус» и опубликованное в нем ее стихотворение «На руке его много блестящих колец…». О чувствах речи не то чтобы нет, но их затушевывает нетерпеливая надежда на перемену скитальческой судьбы. Впервые Анна открыто говорит о том, что ей хочется в Петербург, «к жизни, к книгам», что южные ее города, еще недавно казавшиеся романтическими и поэтическими, грубы и грязны. На мартовское письмо Анны Сережа Штейн не ответил. Переписка оборвалась. Но поздней осенью, а может быть, и ранней зимой 1907 года, письмо без даты, уже в Севастополе, у нее вновь появилось желание поговорить со своим конфидентом, на этот раз не о Гумилеве, а о своей странной болезни и о намерении убежать за границу: «…Не знаю, слышали ли Вы о моей болезни, которая отняла у меня возможность счастливой жизни. Я болела легкими (это секрет), и, может быть, мне грозит туберкулез. Мне кажется, что я переживаю то же, что и Инна, и теперь ясно понимаю состояние ее духа.

Так как я скоро собираюсь покинуть Россию очень надолго, то решаюсь побеспокоить Вас просьбой прислать мне что-нибудь из Инниных вещей на память о ней… Не говорите никому о моей болезни. Даже дома – если это возможно. Андрей с 5 сентября в Париже, в Сорбонне. Я болею, тоскую и худею… Очень боюсь горловую чахотку. Она хуже легочной. Живем в крайней нужде. Приходится мыть полы, стирать…»

Тяжелая легочная болезнь – бронхит, перешедший в плеврит, при семейной предрасположенности к туберкулезу – вполне реальная причина вспышки отчаяния. И все-таки, думается, корень беды не в физическом недуге, а душевном потрясении, истинная причина которого утаена и от Сергея Владимировича, и от Николая Степановича. Видимо, в Севастополе, куда Анна Горенко уехала сразу же после окончания гимназии, и именно летом, пока Гумилев утрясал свои проблемы в Москве и Петербурге, с ней произошло нечто такое, что круто изменило и жизненные ее планы, и взятые на себя обязательства. Когда Николай Степанович, как и договаривались в письмах, приехал в Крым, ни о свадьбе, ни о возможности брака речи уже не было. Это печальное для обоих свидание у самого моря запечатлено

Гумилевым в стихотворении «Отказ»:

Царица иль, может быть, только печальный ребенок, —
Она наклонялась над сонно-вздыхающим морем,
И стан ее, стройный и гибкий казался так тонок,
Он тайно стремился навстречу серебряным зорям.
Сбегающий сумрак. Какая-то крикнула птица,
И вот перед ней замелькали на влаге дельфины,
Чтоб плыть к бирюзовым владеньям влюбленного принца,
Они предлагали свои глянцевитые спины.
Но голос хрустальный казался особенно звонок,
Когда он упрямо сказал роковое «не надо»…
Царица иль, может быть, только капризный ребенок,
Усталый ребенок с бессильною мукою взгляда.

Гумилев вернулся во Францию (июль 1907 г.) с опечаленным сердцем. О его состоянии свидетельствует стихотворение, написанное в Париже 19 сентября того же года:

На камине свеча догорала, мигая,
Отвечая дрожаньем случайному звуку.
Он, согнувшись, сидел на полу, размышляя,
Долго ль можно терпеть нестерпимую муку.
Вспоминал о любви, об ушедшей невесте,
Об обрывках давно миновавших событий,
И шептал: «О, убейте меня, о, повесьте,
Забросайте камнями, как пса задавите!»
В набегающем ужасе странной разлуки
Ударял себя в грудь, исступленьем объятый,
Но не слушались жалко повисшие руки
И их мускулы, дряблые, словно из ваты.
Он молился о смерти… навеки, навеки
Успокоит она, тишиной обнимая,
И забудет он горы, равнины и реки,
Где когда-то она проходила живая!
Но предателем сзади подкралось раздумье,
И он понял: конец роковой самовластью.
И во мраке ему улыбнулось безумье
Лошадиной оскаленной пастью.

Нестерпимая мука от *странной разлуки* усугублялась беспросветной нищетой. Все деньги, врученные ему матерью,

Николай истратил на поездку в Севастополь. Не видя иного выхода, он решил утопиться, для чего пешком отправился в Нормандию: уж если топиться, то не в вонючей Сене, как клошары, а в открытом море. Утопиться Гумилеву не удалось. Его арестовали за бродяжничество. По возвращении в Париж он занял денег у полузнакомого ростовщика и снова отправился в Киев, твердо решив, что на этот раз добьется вразумительного и прямого решения – либо «да», либо «нет». Анна сказала: «нет». Через двадцать лет, рассказывая историю первого своего замужества Лукницкому (Лукницкий, напоминаю, собирал материалы для биографии Гумилева), Анна Андреевна назовет этот отказ *окончательным* («Так продолжалось до 1908 г., когда, приехав к А.А, получил окончательный отказ…»). И хотя, как мы знаем, окончательным *отказ* не стал – через два года Аня Горенко станет женой Николая Гумилева, – и Ахматова не оговорилась, и Лукницкий не ослышался. *Тому* Коле, каким Аня Горенко его знала по Царскому Селу, *та* Аня и впрямь отказала *окончательно.* Не кокетничая, не играя роль жестокой царицы, не прикидываясь капризным ребенком. Больше того, чтобы отрезать путь к отступлению, призналась: в ее жизни есть мужчина, с которым она была близка. И хотя, испугавшись страшных Колиных глаз, спохватилась и принялась уверять отставного жениха, что ничего такого не было, что оговорила себя нарочно, Гумилев ей не поверил. После его смерти томимая чувством вины, А.А. призналась Лукницкому, что по малодушию долго морочила Николаю Степановичу голову: то признавалась, что *с тем человеком все было* (уж если выходить замуж за друга юности, то надо рассказать о своих грехах честно, как на исповеди), то лукавила, уклоняясь от слишком уж прямого ответа на прямой вопрос.

Об обстоятельствах, при которых происходило расставание Дафниса и Хлои, мы можем составить некоторое представление, вчитавшись в стихотворение Ахматовой «Протертый коврик под иконой…». Конечно, это не зарисовка с натуры и не дневниковая замета. И все же характер отношений в момент «окончательного отказа» изображен, именно изображен, а не просто назван, на редкость откровенно. Видимо, именно поэтому Анна Андреевна и не называла «Протертый коврик…» среди вещей, посвященных Гумилеву:

Протертый коврик под иконой,
В прохладной комнате темно,
И густо плющ темно-зеленый
Завил широкое окно.

От роз струится запах сладкий,
Трещит лампадка, чуть горя.
Пестро расписаны укладки
Рукой любовной кустаря.

И у окна белеют пяльцы…
Твой профиль тонок и жесток.
Ты зацелованные пальцы
Брезгливо прячешь под платок.

А сердцу стало страшно биться,
Такая в нем теперь тоска…
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака.

Из бедной этой комнаты вышел *шатаясь,* чтобы *не возвращаться больше,* нелепый и нескладный гимназист, автор осмеянного критикой «Пути конквистадоров», золотой рыцарь, трогательно влюбленный в «Деву Луны». Он покончит с собой в Париже в декабре 1907 года. А тот Гумилев, которого случайно подобрали в Булонском лесу возле глубокого рва, окружавшего старинное крепостное сооружение, и чудом возвратили к жизни, был совсем, совсем другим. Решительно не похожим ни на отчаявшегося бродягу, за которого его приняли полицейские в Нормандии, ни на «мальчика веселого», помогавшего Ане Горенко выбирать елочные игрушки в алмазный сочельник 1903 года. В знаменитом стихотворении «Память» Гумилев писал:

Только змеи сбрасывают кожу,
Чтоб душа старела и росла.
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.

Возвращение почти с того света освободило его душу от детских одежд, мешавших стареть и расти. Гумилев сбросил их, как змеи старую кожу. В январе, несмотря ни на что, вышел его второй поэтический сборник «Романтические цветы» с посвящением Анне Горенко. Посвящение было вписано в наборный экземпляр до событий лета – осени 1907 года, но Гумилев не стал его вымарывать, тем паче что, едва придя в себя, получил от Анны жалкое и виноватое письмо (Андрей Горенко, которого Гумилев заманил-таки в Париж, телеграммой известил

сестру о драме в Булонском лесу). На обратном пути в Россию, на этот раз насовсем, Николай Степанович неожиданно для себя сошел с поезда в Киеве, видимо, истолковав вспышку вины и жалости «ушедшей невесты» как отмену «окончательного отказа», и напоролся на очередной «окончательный отказ».

Пора было начинать другую жизнь. Жизнь без Анны.

Интермедия первая (1908–1910)

Дал Ты мне молодость трудную.
Столько печалей в пути…

Анна Ахматова

Вернувшись в Царское, Николай Степанович немедленно, чтобы не терять год, подал прошение о зачислении в Петербургский университет. Съездил также в Тверскую губернию, в наследственное имение Львовых сельцо Слепнево. После смерти крестного Л.И.Львова Слепнево унаследовали сестры адмирала, в том числе и мать Гумилева Анна Ивановна. Тогда же, видимо, Николай познакомился с внучками старшей своей тетки Марией и Ольгой. Так и не решив, в которую из двух влюбиться, воротился в Царское, где между делом приволокнулся за самой пикантной из «девочек Аренс» (у адмирала Евгения Аренса, военного коменданта Царского Села, было несколько хорошеньких дочерей). Родители были так счастливы, что блудный сын наконец-то при них, да еще и поступил в университет, что сделали ему дорогой подарок: дали деньги на турпоездку в Египет. На обратном пути из Африки Гумилев опять задержался на сутки в Киеве, но, кажется, для того только, чтобы показать Анне, что наступил-таки конец ее «роковой» над ним власти. Говорили в основном о написанных ею стихах. Гумилев слушал внимательно, но хвалить не стал. Во-первых, текстов было слишком мало. Во-вторых, стихи были наивнее и младше нынешней Анны минимум на пять лет. Ей скоро двадцать, а вирши пятнадцатилетней.

Перед самым отъездом из Парижа, жаркой весной 1908 года, этого нового, сбросившего тесную кожу Гумилева видел Алексей Николаевич Толстой. Он и оставил его замечательный по выразительности портрет:

«"…Они шли мимо меня, все в белом, все с покрытыми головами. Они медленно двигались по лазоревому полю. Я глядел на них – мне было покойно, я думал: "Вот она, смерть". Потом я стал думать: "А может быть, это лишь последняя секунда моей жизни? Белые пройдут, лазоревое поле померкнет"… Я стал ждать этого угасания, но оно не наступало, – белые все так же плыли мимо глаз. Мне стало тревожно. Я сделал усилие, чтобы пошевелиться, и услышал стон. Белые поднимались и плыли теперь страшно высоко. Я начал понимать, что лежу навзничь и гляжу на облака. Сознание медленно возвращалось ко мне, была

слабость и тошнота. С трудом я наконец приподнялся и оглянулся. Я увидел, что сижу на траве на верху крепостного рва в Булонском лесу. Рядом валялся воротник и галстук… Опираясь о землю, чтобы подняться, я ощутил маленький, с широким горлышком пузырек – он был раскрыт и пуст. В нем, вот уже год, я носил большой кусок цианистого калия, величиной с половину сахарного куска. Я начал вспоминать, как пришел сюда, как снял воротник и высыпал на ладонь яд, я знал, что, как только брошу его с ладони в рот, мгновенно настанет неизвестное. Я бросил его в рот и прижал ладонь изо всей силы ко рту. Я помню шершавый вкус яда. Вы спрашиваете, – зачем я хотел умереть? Я жил один, в гостинице, – привязалась мысль о смерти. Страх смерти мне был неприятен… Кроме того… была одна девушка…"

Мы сидели в кафе, под каштанами… Гумилев рассказывал мне эту историю глуховатым медлительным голосом. Он, как всегда, сидел прямо – длинный, деревянный, с большим носом, с надвинутым на глаза котелком. Руки его лежали на набалдашнике трости. В нем было что-то павлинье: напыщенность, важность, неповоротливость. Только рот у него был совсем мальчишеский, с нежной и ласковой улыбкой… В этом кафе под каштанами мы познакомились и часто сходились и разговаривали – о стихах, о будущей нашей славе, о путешествиях в тропические страны, об обезьянках, о розысках остатков Атлантиды на островах близ Южного полюса, о том, как было бы хорошо достать парусный корабль и плавать на нем под черным флагом… Обо всех этих заманчивых вещах Гумилев мне рассказывал глуховатым голосом, сидя прямо и опираясь на трость… Часто проходили дожди. И в лужах на асфальтовой площади отражались мансарды, деревья, прохожие и облака, – точно паруса кораблей, о которых мне рассказывал Гумилев… Так я никогда и не узнал, из-за чего он хотел умереть. Теперь окидываю взглядом его жизнь. Смерть всегда была вблизи него, думаю, его возбуждала ее близость. Он был мужественен и упрям. В нем был налет печали и важности. Он был мечтателен и отважен – капитан призрачного корабля с облачными парусами…»

Воспоминания Толстого приоткрывают крайне важную черту в характере Гумилева: он никогда и ни с кем не был до конца откровенен. Почти шапочному знакомому в мельчайших подробностях описал свое состояние в момент попытки самоубийства, а из-за чего хотел умереть, не счел необходимым объяснить. Даже Анна Андреевна и та считала, что у ее первого мужа был какой-то особый вид скрытности. В записи П.Н.Лукницкого это мнение Анны Андреевны сформулировано

так: «Николай Степанович никогда – это его особенность – не давал другим узнать своей сущности, своих мыслей, своих мнений, своих знаний, своей биографии». Как это ни странно, в числе *других* оказывалась и Анна, даже тогда, когда Гумилев утверждал: во всем мире его интересует только то, что так или иначе связано с ней. К примеру, он никогда ничего не говорил жене ни о Машеньке Кузьминой-Караваевой, ни о своих чувствах к ней. Лукницкий, как биограф Гумилева, очень интересовался этим романом своего героя. Но Анна Андреевна ничем не могла ему помочь, несмотря на то что эта история развертывалась у нее на глазах в течение почти двух летних сезонов и не втайне от нее Гумилев ездил к больной Маше в *санаторию,* где та умирала от чахотки. Ничего не скрывал – и тем не менее умудрился оставить самое пристрастное и внимательное лицо в полном неведении относительно сущности происходящего!

Тайной за семью печатями остался для Ахматовой и другой добрачный роман Гумилева, хотя он еще более важен для его биографии, чем романтическая влюбленность в смертельно больную кузину. Я имею в виду историю отношений Николая Степановича с поэтессой Елизаветой (Лилей) Ивановной Дмитриевой, вошедшей в историю Серебряного века под псевдонимом Черубина де Габриак. Долгие годы Елизавета Ивановна тщательно скрывала правду о своем романе с Гумилевым. И потому, что у нее был официальный жених. И потому, что правда не вписывалась в ее давние отношения с Максимилианом Волошиным. Истина чуток приоткрылась лишь в 1926 году. В письме Елизаветы Ивановны к критику и библиографу Евгению Архипову, страстному поклоннику ее поэзии! «В первый раз, – пишет Дмитриева, – я увидела Н.С. в июле 1907 года в Париже в мастерской художника Себастьяна Гуревича, который писал мой портрет. Он был еще совсем мальчик, бледный, мрачное лицо, шепелявый говор, в руках он держал голубую змейку из голубого бисера. Она меня больше всего поразила. Мы говорили о Царском Селе, Н.С. читал стихи (из "Романтических цветов"). Стихи мне очень понравились. Через несколько дней мы опять все втроем были в ночном кафе, я первый раз в моей жизни. Маленькая цветочница продавала большие букеты пушистых гвоздик. Н.С. купил для меня такой букет… Вот и все. Больше я его не видела, но запомнила. Запомнил и он. Весной уже 1909 года в Петербурге я была с большой компанией на какой-то художественной лекции в Академии художеств, – был и Максимилиан Волошин, который казался мне тогда недосягаемым идеалом во всем. Ко мне он был очень мил. На этой лекции меня познакомили с Н.С., но мы

вспомнили друг друга. Это был значительный вечер моей жизни. Мы поехали ужинать в «Вену», мы много говорили с Н.С. об Африке, почти в полусловах понимая друг друга… Он поехал меня провожать, и тут же сразу мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это «встреча» и не нам ей противиться. Это была молодая, звонкая страсть». «Не слушаясь и не кроясь я смотрю в глаза людей, я нашел себе подругу из породы лебедей», – писал Н.С. на альбоме, подаренном мне».

Добавим: весной 1909 года Елизавета Ивановна не могла не вспомнить полузабытого парижского знакомца. Ведь ее заново знакомили не просто с «юношей бледным со взором горящим», а с сотрудником самого модного в Петербурге журнала «Аполлон»! В ту весну впервые за много лет Гумилев чувствовал себя почти свободным от «самовластья» бывшей невесты. Оттого и держался свободнее, смелее и даже развязнее. В знак освобождения вписал в альбом новой своей пассии стихи, использовав сочиненную для Анны дарственную…[6]

Как и многие поэты, Гумилев частенько переадресовывал стихи. Дабы произвести впечатление на очередную даму сердца, одаривал любовным посланием, написанным для другой женщины. Случай Лили Дмитриевой сложнее. Окрестив новую возлюбленную поэтическим именем («подруга из породы лебедей»), никому, кроме Анны, не принадлежавшим, Гумилев не просто отрекался от невесты и тем самым отрезал пути к возвращению. Все тогдашние его пассии, за исключением, разумеется, Примаверы, в подруги *конквистадору не* годились. Одна Лиля была существом особой, как и Гумилев, породы. Ничуть не смущаясь, она рассказывала ему о том, о чем «кавалерам» не рассказывают. И смотрела при этом прямо в глаза, как если бы читала в его уме: «Люди, которых воспитывали болезни, совсем иные – особенные». Как и Николай, она в детстве и отрочестве тяжко хворала. Как и он, силой воли сумела преодолеть недуг и, несмотря на некрасивость и хромоту (последствия костного туберкулеза), имела массу поклонников.

Анна Андреевна, обсуждая этот таинственный роман с Лукницким, призналась, что ее всегда удивлял странный выбор Николая. Но это чисто женский взгляд. Мужчины воспринимали Дмитриеву в другом ракурсе, потому и замечали другое: «Она была среднего роста, скорее маленькая, довольно полная, но грациозная и хорошо сложена. Рот был слишком велик, зубы выступали вперед, но губы полные и красивые. Нет, она не была хороша собой, и флюиды, исходившие от нее, сегодня, вероятно, назвали бы "сексом"» (из воспоминаний И.Гюнтера, немецкого поэта и переводчика, работавшего в «Аполлоне»).

Еще интереснее выглядит двадцатидвухлетняя Елизавета Ивановна на литературном портрете, сделанном Максимилианом Волошиным в 1908 году: «Тонкий профиль, маленьким бледным треугольником выдвигающийся из-под спущенных волос. Змеистый рот с немного поднимающимися углами и так же скошенная стремительная линия и в очерке лба и постановке глаза». В то время ни Волошин, ни Дмитриева еще не предполагали, что их отношения зайдут настолько далеко, что Максимилиан затеет бракоразводный процесс, чтобы на законных основаниях соединить свою жизнь с жизнью некрасивой девушки с сияющими глазами и змеящимся ртом, а она, правда не без колебаний, вынуждена будет ему отказать. Но все это в будущем, пусть и не слишком далеком, а в настоящем – странноватый треугольник. Известный поэт, человек солидный и женатый, покровительствует начинающей поэтессе, девице экзальтированной и ученой – знает староиспанский, изучает греческий, собирается осилить премудрости санскрита, славно переводит, да и сама, кажется, сочиняет стихи… За девицей не прячась волочится Гумилев, но Гумилев волочится за каждой юбкой. Девица не сводит восторженных глаз с Волошина, Волошин глядит далеко и мимо, а главное, торопится в свой Коктебель. Ни у кого нет ни повода, ни охоты следить за развитием «молодой и сильной страсти», чем любовники и пользуются. «Мы стали часто встречаться, – вспоминая весну 1909 года, пишет Дмитриева, – все дни были вместе и друг для друга. Писали стихи, ездили на «Башню» и возвращались на рассвете по просыпающемуся розовому городу».

Словом, роман как роман, в формате начала века, равно как и совместная, вдвоем, поездка в Коктебель, к Максу. «Все путешествие туда, – продолжает Дмитриева, – я помню как дымно-розовый закат, и мы вместе у окна вагона. Я звала его «Гумми», не любила имени "Николай", – а он меня, как зовут дома, «Лилей» – "имя, похожее на серебристый колокольчик", как говорил он».

Высадившись в Феодосии и предусмотрительно пообедав (у Волошиных, как язвили в Петербурге, принимают радушно, но кормят травой на воде), наняли линейку под парусиновым навесом и добрались до Коктебеля лишь на закате. Максимилиана дома не оказалась. У него был очередной, после вчерашнего шторма, приступ «каменной болезни». Даже не переодевшись, вышли на пляж, и Лиля была сражена. Волошин бродил по пустынному пляжу, показавшемуся ей самым красивым в мире, – в белом полотняном балахоне, на босых ногах – сандалии, борода – колечками, на лбу – тонкий ремешок, концы

которого прячутся в золотом буйстве волос. В закатном солнце он был как две капли воды похож на златокудрого Зевса. Ошеломление довершил осмотр дома. Как и петербургская квартира Иванова, жилище Зевса именовалось Башней, но это была истинная Башня. Поначалу на самом берегу моря Волошин выстроил большую и светлую мастерскую, потом пристроил второй этаж, затем террасу, заказав местным плотникам соответствующую мебель. Получилось нечто среднее между средневековой крепостью и архаическим маяком. Если сидеть за столом, земли не видно – только море и Карадаг. Стены увешаны акварелями хозяина, а ложе, именно ложе, а не диван или кровать, покрыто рыжей, нарочито грубой выделки шкурой. А когда по узкой лестничке взобрались на второй этаж, восхищения не сдержал даже Гумилев: тысячи томов на разных языках! Оценил *Гумми,* как зорко подметила Лиля, и собранную Волошиным коллекцию сувениров: баскский нож, самаркандские четки, кастаньеты, купленные в Севилье, и, разумеется, яшмы и аметисты Карадага, выброшенные волнами на коктебельские пляжные просторы. Были тут и отполированные морем затейливые, похожие на чертенят корни деревьев. Гумилев усмехнулся, Лиле они понравились. Максимилиан это заметил и сказал тихо, чтобы третий, уже явно лишний, не расслышал: «Как я рад, что тебе полюбились мои „габриаки“». С этого *тебе* все и началось. Лето, море, солнце, присутствие соперника взбудоражили Зевса. На втором году знакомства он вдруг разглядел в некрасивой хромоножке и чересчур восторженной поклоннице своих многочисленных талантов вполне привлекательную и отчаянно смелую женщину. И недели не прошло, как перед Елизаветой Ивановной вопрос был поставлен *ребром:* либо я, либо Гумилев. Дмитриева предпочла бы сохранить обоих, любовь втроем представлялась ей соблазнительным вариантом, но этот номер не прошел.

Вторую часть этой истории излагать в интерпретации Е.И.Дмитриевой нет никакого смысла: правды там не наскребешь и на два гроша. Елизавета Ивановна, к примеру, старается доказать, что Гумми ни о ком, кроме нее, не думает и не вспоминает, тогда как он ежедневно, с утра пораньше, бегает на почту, не скрывая, что ждет какого-то важного письма. Действительно, уезжая в Коктебель, Николай просил Анну сообщить ему туда о своих планах на лето. Вопреки обыкновению, слегка, видимо, задетая «равнодушием» отставного жениха при их последнем свидании в Киеве, девица Горенко ответила не мешкая. Дескать, после экзаменов на юридических курсах поедет с матерью в Одессу, но у кого они там остановятся, пока не

решено. Не получив обещанного уточнения, Николай Степанович в нетерпении пишет ее брату – заметьте, из Коктебеля! В самый разгар тутошних амурных переплетений! Письмо сохранилось: «Есть шанс думать, что я заеду в Лустдорф. Анна Андреевна написала мне в Коктебель, что вы скоро туда переезжаете… Я ответил ей в Киев заказным письмом, но ответа не получаю… Если Анна Андреевна не получила моего письма, не откажите передать ей, что я всегда готов приехать по ее первому приглашению телеграммой или письмом».

И хотя приглашения не последовало, по получении от Андрея телеграммы с адресом Анны, не попрощавшись, по-английски, Николай Степанович исчезает из Коктебеля, чтобы через пару суток оказаться в Лустдорфе.

Спокойно переждав приступ «законного гнева», спокойно же разъяснил: заглянул, мол, ненадолго, потому как уезжает сегодня же вечером. Женится брат, Митя, свадьба – 5 июля. Анна смилостивилась и даже вызвалась проводить непрошеного гостя на железнодорожный вокзал. В трамвайчике он все-таки спросил, без обычного, впрочем, надрыва: уж не любит ли она его, если потащилась по этакой жаре в город. Слегка растерявшись, Анна ответила неожиданно для себя серьезно: не любит, но считает выдающимся человеком. Гумилев расхохотался. Она обиделась и из паровичка не вышла, хоть и обещала поужинать с ним в привокзальном ресторанчике. Николай Степанович, не дожидаясь, пока трамвайчик увезет единственно дорогое ему лицо обратно к самому морю, властно помахал сомлевшему от зноя извозчику. Жест был уверенным, мужским, точным. Машинист дал отходной гудок. Паровичок закряхтел. С натугой завертелись колеса. Заскочивший на ходу франт, по виду приезжий, вертел головой, прикидывая, как бы половчее приклеиться к хорошенькой барышне. А барышня беззвучно шевелила губами: строка была слишком длинной, хотелось сделать короче, короче не получалось:

А, это снова ты! Не отроком влюбленным,
Но мужем дерзостным, суровым, непреклонным…

От стихов отвлекала загаданная Николаем очередная загадка. Почему не упомянул об «Аполлоне»? В Одессе с весны разговоры идут: в Петербурге затеяли новый «шикарный» журнал. Сергей Маковский, художественный критик и искусствовед, нашел богатого мецената. *Аполлонята* всюду держатся кучкой. На вернисажах. Премьерах. В ресторанах. И поглядывают так, как будто говорят граду и миру: отныне парадом искусств будем

командовать мы. Молодые. И сильные.

Александр Митрофанович Федоров, дачный сосед приютившей Горенок тетушки, успешный литератор и бонвиван, божится, что это не молвь, а чистой воды явь. Своими глазами видел. Своими ушами слышал. И между прочим, Анечка, юный ваш обожатель, господин Гумилев, в «Аполлоне» не на последних ролях. Корней Чуковский пронюхал, обижен, хоть виду и не подает. Почему не он будет отвечать за поэзию? Или, скажем, Вячеслав Великолепный? Имя! Или: Волошин? Авторитет! О Корнее даже злодей Суворин речет: надежда нашей критики. А что такое ваш Гумилев? «Романтические цветы»? Чуковский хихикает: чушь собачья. А у нашего Чука нюх собачий. Простите за плохой каламбур, прелесть моя…

Эстетическая программа новорожденного «Аполлона» мало заботила литературную Одессу, зато сильно возбуждало выловленное в желтой прессе заявление учредителей: журнал начинается с парадной лестницы. Мы объявляем войну редакционным хижинам и прокуренным шалашам!

Несмотря на свои почти сорок, Александр Митрофанович был живчик. Крепкий, всегда красиво и ровно загорелый, ростом, правда, не вышел. Но в море роста не видно. Выныривая, она кричала: «Федоров, сознайтесь, вы тоже немножечко грек?» «Какой я грек, – хохотал Федоров, подплывая до неприличия близко и делая вид, что хочет утопить ее, – я, мамзель Наяда, до гробовой доски – Митрофаныч!»

Стряхнув его руку, мамзель Наяда, стоя в воде и заглядывая негреку в глаза, подначивала; «Ежели Митрофаныч, так почему же они, ну эти, ваши вчерашние гости, говорили про вас: как молодой бог?» – «А потому, деточка, что в море я и впрямь – молодой бог…»

Почти молодой бог пробовал подкатываться к ней и на суше, но Анна ежилась и от поцелуйчиков уклонялась: на суше от него всегда пахло обедом.

Девица Горенко, характеризуя своего первого взрослого «ухажера», попала в яблочко: по гастрономической части Митрофаныч тоже был почти бог. Вера Николаевна Муромцева, познакомившаяся с Федоровым в апреле 1907 года, так описывает прием, который тот устроил своему знаменитому другу Ивану Бунину на даче за Большим Фонтаном: «Позвали к заставленному всяческими закусками и бутылками столу. Ян, быстро окинув стол глазами, сказал с упреком:

– А красного-то вина нет!

Через пять минут перед ним поставили бутылку Удельного ведомства (то есть извлеченную из царских винных погребов. –

А.М.). Он схватил ее и поцеловал. Хозяева были в отличном расположении духа. Александр Митрофанович недавно вернулся из столиц, где удачно устроил свои дела: новый роман печатается в «Современном мире», только что вышла отдельным изданием «Природа» (где выведены одесские художники)… Теперь он, – вообще большой оптимист, возлагал на будущее особенно радужные надежды, собирался, между прочим, совершить новое путешествие. Я никогда не видела такого счастливого человека, как Федоров, – ему все свое казалось самым лучшим и самым прекрасным».

А.М. Федорову посвящено стихотворение пятнадцатилетней Ани Горенко «Над черной бездной я с тобою шла…». Поскольку ни в одном комментарии к нему нет никаких указаний на обстоятельства места, в которых оно возникло, процитирую еще один фрагмент из воспоминаний Веры Николаевны Муромцевой-Буниной. Из него следует, что этот «самый счастливый человек» обожал прогулки при луне и упоминаемая в стихотворении «черная бездна» – всего лишь высокий морской берег.

«– Пойдем посмотрим на море, – предложил Ян.

И когда мы с радостью вышли на воздух, воскликнул:

– Боже, как хорошо! И никогда, никогда, даже в самые счастливые минуты, не можем мы, несчастные писаки, бескорыстно наслаждаться! Вечно нужно запоминать то или другое, чувствовать, что надо извлечь из него какую-то пользу…

Мы… прошли вперед. Немного спустились к морю и очутились около сквозной беседки. Вокруг было так хорошо, что несколько минут мы молчали; ночь была мутная, нежная. Слабый шум моря доносился до нас».

Гумилев не был «несчастным писакой». И в Африку ездил не затем, чтобы извлечь из *африканской охоты* «какую-то пользу». И Сергей Константинович Маковский, доверив юнцу поэзию и критику «Аполлона», эту разницу между ним и, скажем, Вячеславом Ивановым или Максимилианом Волошиным если и не осознавал, то интуитивно чувствовал. Вот как много лет спустя объяснил он свой неожиданный, удививший литературную общественность обеих столиц выбор: «Я познакомился с Гумилевым 1 января 1909 года на вернисаже петербургской выставки „Салон 1909 года“. Гумилев вернулся перед тем из Парижа – он поступил на романо-германское отделение филологического факультета. Он был в форме: длинном студенческом сюртуке „в талию“, с высоким темно-синим воротником. Подтянутый, гладко причесанный, с пробором, совсем не отвечал он обычному еще тогда типу длинноволосого „студиозуса“. Он был нарядно независим в движениях, в манере

подавать руку. С Гумилевым сразу разговорились мы о поэзии и о проекте нового поэтического кружка. Гумилев стал ежедневно заходить ко мне и нравился мне все больше и больше. Нравилась мне его спокойная горделивость, нежелание откровенничать с каждым встречным, чувство достоинства. Мне нравилась его независимость и самоуверенное мужество. Чувствовалась сквозь гумилевскую гордыню необыкновенная его интуиция, быстрота, с какой он схватывал чужую мысль, новое для него разумение, все равно – будь то стилистическая тонкость или научное открытие, о котором он прежде не знал, – тотчас усвоит и обратит в видение упрощенно-яркое и подыщет к нему слова, бьющие в цель без обиняков».

Сразу же после свадьбы Митя с женой укатили в Слепнево. Митина Анна, тоже, кстати, Андреевна, от свадебного путешествия в Европу наотрез отказалась. То ли по скромности, то ли от жадности. Засобиралась и матушка, обустраиваться в наследном дворянском гнезде. Степана Яковлевича оставили в Царском: совсем *обезножел.* Да он и не рвался. Жениных родичей сын сельского дьячка не то чтобы стеснялся, а по возможности сторонился – слишком уж часто о столбовом своем дворянстве вспоминали. Николай, чтобы не бросать отца на прислугу, решился было доживать злосчастное лето в городе, благо нежаркое, и в «Аполлоне» дел невпроворот. Через несколько дней выяснилось, что его материалы в полной боевой готовности – хоть завтра вези в типографию. Пошатавшись по книжным лавкам и поймав себя на неотвязных мыслях об Анне, отправился вслед за родичами в Тверскую губернию. Еще две ночи тоски, и двинется, рассудку вопреки, по накатанному маршруту – в сторону южную. Ну, нет, только не это! Набил книгами привезенную из Египта огромную суму и взял билет до Бежецка.

Измотанный бессонницей, едва оказался в вагоне, Гумилев отключился, а когда кондуктор его растолкал, никак не мог сообразить, где он и зачем. Полупроснулся только тогда, когда, уже на ходу, ему выбросили из окна забытую в поезде сумку. Собрав выпавшие книги, огляделся в ночи: в самом дальнем углу привокзального пятачка дремал, притулившись к облучку, владелец диковинного экипажа. Разбудив мужика, Гумилев убедился, что коляска почти антикварная. На таких, похоже, еще Александр Сергеевич по Тверской губернии с барышнями прогуливался…

С антикварной, пушкинских времен коляски и началось…

Анне Ахматовой, когда летом 1917 года по стечению обстоятельств оказалась в Слепневе, почудится, будто ненароком села не в поезд, а в прикинувшуюся поездом машину времени:

Течет река неспешно по долине,
Многооконный на пригорке дом.
А мы живем, как при Екатерине:
Молебны служим, урожая ждем.
Перенеся двухдневную разлуку,
К нам едет гость вдоль нивы золотой,
Целует бабушке в гостиной руку
И губы мне на лестнице крутой.

О том, что и он, запрыгнув в не тот трамвай, «заблудится в бездне времен», напишет и Гумилев, но позднее. В «Заблудившемся трамвае». Первое же свое путешествие в иной век он пережил в Слепневе летом 1909 года…

По случаю нечаянной радости (Анна Ивановна уже смирилась с тем, что младший сын в деревне не появится) для утреннего чаепития достали из бабушкиного сундука праздничный сервиз. Принимая из рук матери стародавнюю, с легкой трещинкой, невесомую чашечку, Николай легко и радостно включился в игру, вмиг догадавшись: спектакль под девизом «Месяц в деревне» затеян еще до его приезда и в ожидании его. Все роли разобраны и выучены, кроме той, какая в домашнем театре отведена лично ему. Надлежало лишь угадать фигурантку, назначенную Провидением на роль героини. Осторожно, медленно, словно старинный, в сафьяне, альбом, он перелистал обращенные к нему девичьи лица. И, разумеется, угадал, хотя и не без некоторой досады: Маша! Будь он автором и режиссером, предпочел бы партнерствовать с младшей из калужских кузин – у Ольги дивный, оперной силы голос. Но это была бы совсем-совсем другая пьеса, не та, в которую он зачем-то угодил, прикатив в Слепнево в коляске пушкинской поры…

Вспоминая свое медовое лето, жена Дмитрия Гумилева утверждала, что деверь был без ума от старшей из девочек Кузьминых-Караваевых: «Помню, Маша ("высокая тоненькая блондинка с большими грустными голубыми глазами, очень женственная") всегда одета была с большим вкусом в нежно-лиловые платья. Она любила этот цвет, который был ей к лицу. Меня всегда умиляло, как трогательно Коля оберегал Машу. Она была слаба легкими, и когда мы ехали к соседям или кататься, поэт всегда просил, чтобы их коляска шла впереди, "чтобы Машенька не дышала пылью". Не раз я видела Колю сидящим у спальни Маши, когда она днем отдыхала. Он ждал ее выхода с книгой в руках».

Что муж относился к калужской кузине не по-родственному,

не отрицала и Анна Ахматова. Не опровергала и семейных преданий об обаятельной женственности Машеньки, несмотря на сохранившиеся фотографии, преданию явно не соответствующие. И, думаю, не только потому не опровергала, что слишком хорошо знала, как часто фотографии лжесвидетельствуют. Шестое чувство подсказывало: в этой истории есть нечто, трезвому рассудку не открывающееся…

Уезжая в середине июля 1909 года из Петербурга, Гумилев договорился с Маковским, что поэтический отдел в первом номере «Аполлона» будут открывать стихи Иннокентия Анненского, в ту пору широкой публике не известного. Маковскому стихи не слишком нравились, и вряд ли бы он согласился с предложением самого юного из сотрудников, если бы не хотел насолить Валерию Брюсову – своему главному в журнальном деле сопернику, редактору московских «Весов» (Брюсов подборку И.Ф.Анненского зарубил, чем сильно снизил свой рейтинг в глазах Гумилева, пока лишь в мыслях и планах). Иннокентий Федорович, по образованию античник, по роду деятельности переводчик и педагог, по месту жительства – царскосел, был счастлив и растроган вниманием поэтической молодежи. Но пока Гумилев, твердо убежденный, что директор его гимназии – большой поэт, прохлаждался в Слепневе, ситуация на Мойке, 24, где обосновался «Аполлон», решительно переменилась. «Аполлоновцы» в полном составе как одурели от русских стихов испанской аристократки Черубины де Габриак, присылаемых в редакцию в раздушенных конвертах. Первым потерял голову главный редактор.

«Лето и осень 1909 года, – вспоминал впоследствии Сергей Константинович, – я оставался в Петербурге – совсем одолели хлопоты по выпуску первой книжки «Аполлона». В одно августовское утро пришло письмо, подписанное буквой "Ч.", от неизвестной поэтессы, предлагавшей «Аполлону» стихи – приложено было их несколько – на выбор. Стихи меня заинтересовали… Поэтесса как бы невольно проговаривалась о себе, о своей пленительной внешности и о своей участи, загадочной и печальной. Впечатление заострялось и почерком, на редкость изящным, и запахом пряных духов, и засушенными травками богородицыных слезок, которыми были переложены траурные листки. Адреса для ответа не было. Но вскоре сама поэтесса позвонила по телефону. Голос у нее оказался удивительным, никогда, кажется, не слышал я более обворожительного голоса. Не менее привлекательна была и вся немного картавая, затушеванная речь: так разговаривают женщины, привыкшие нравиться, уверенные в своей

неотразимости. Я обещал прочесть стихи и дать ответ после того, как посоветуюсь с членами редакции… Промелькнуло несколько дней – опять письмо: та же траурная почтовая бумага и новые стихи, переложенные на этот раз другой травкой… Вторая пачка стихов показалась мне еще любопытнее, и я на них обратил внимание своих друзей по журналу. Хвалили все хором, сразу решено было: печатать».

Сделаем уточнение: хором решили не просто печатать, а немедленно, непременно в первом же номере – вместо уже одобренных, уже подписанных в набор стихов Анненского! Гумилев был в бешенстве, несмотря на то что загадка Черубины заинтриговала и его. Раздушенные письма все продолжали и продолжали поступать, продолжались и телефонные беседы. Никто уже не сомневался, что она несказанно прекрасна, и требовали от главреда, чтобы тот непременно разыскал обольстительную госпожу Ч.

Между тем обладательница обворожительного голоса и бронзоватых кудрей, а также автор стихов, плениших «аполлоновцев», минимум раз в неделю появлялась в редакции. И не одна, в почтительном сопровождении соавтора, Максимилиана Волошина. Представляя сотрудникам журнала госпожу Дмитриеву, Волошин сообщил, что его протеже в некотором роде тоже испанка, ибо переводит со староиспанского поэзию св. Терезы. Увы, влюбленные в Черубину господа на подсказку не прореагировали и на Елизавету Ивановну внимания не обращали.

По плану, разработанному еще в Коктебеле, где и были сочинены совместными усилиями Макса и Елизаветы творения Черубины де Габриак, через два месяца испанке надлежало исчезнуть. К исходу сентября Маковский получил в раздушенном конверте горестную новость. Черубина де Габриак уведомляла дорогого С.К.М., что по состоянию здоровья срочно уезжает за границу. Может, месяца на два, а может, и навсегда.

На этом история первого в России коллективного секса по телефону наверняка бы и закончилась, если бы не одно непредвиденное, не предусмотренное Волошиным обстоятельство. Бедная Лиза, кажется, впервые в жизни самым обыкновенным образом, по-бабьи влюбилась. И в кого? В самого неромантического из очерубиненных «аполлоновцев» – Сергея Константиновича Маковского. Дело, однако, осложнялось тем, что эту не литературную, а самую что ни на есть банальную влюбленность надо было тщательно скрывать. Во-первых, от Маковского, господина счастливо женатого и вполне респектабельного. Во-вторых, от Макса Волошина, уверенного, что Лиля, как и в Коктебеле, ослеплена его необычайностью. В-

третьих, от жениха. А главное, от Гумилева, пристально и с большим удивлением наблюдавшего за загадочным поведением героини весеннего своего романа. Однажды на редакционной вечеринке Николай Степанович, не сводя глаз с рыжеватых кудрей, с Елизаветы Ивановны, прочел якобы обращенные к Черубине стихи:: «Твой лоб в кудрях отлива бронзы, Как сталь, глаза твои остры…» Лиля замерла, последняя строфа ее почти испугала:

И близок бой, рога завыли,
Сверкнули золотом щиты.
Я вызван был на поединок…

Уходила Елизавета Ивановна почти в панике: в капризных секс-откровениях Черубины не было ничего, что вызвало бы в мужчине, «самце», как про себя определила она реакцию *Гумми,* столь сильные, воинственные, явно мстительные эмоции! *Я вызван был на поединок… И близок бой?* Надо что-то срочно предпринимать! Не придумав ничего более умного, бедная Лиза пустила по кругу безотказный сюжетик. Дескать, Николай Степанович несколько раз делал ей брачное предложение, а она… За первым слушком, с перерывом в неделю, последовал второй. Якобы Гумилев, когда у него в мужской компании спросили в упор, правда ли это, ответил, увы, совсем не по-рыцарски. Поиметь, мол, поимел, а замуж не звал, на сексопатках порядочные люди не женятся. Следующим актом сценария, сочиненного экс-подругой «из породы лебедей», была сцена очной ставки. Гумилев, явившись в назначенное место без опоздания, на задаваемые *адвокатами* Дмитриевой вопросы отвечать отказался. Конфиденты возмутились и объявили: молчание обвиняемого квалифицируется как добровольное признание вины. Елизавета Ивановна успокоилась. Успокоился и Волошин. И вдруг неожиданно, по собственному почину, в дело Гумилева вмешался Алексей Толстой. Коктебельский проект «обкатывался» втайне от него, но при нем, а нюх у будущего «красного графа» был гениальный. Включившись в ситуацию, он без особого труда узнал в эротических опусах Черубины стихи, читанные Елизаветой Ивановной в приморской Башне. Естественно, слегка переиначенные, однако ж вполне различимые. Угадал и руку редактора, о чем, возмущенный происходящим, и доложил Маковскому. Дескать, кабы не Макс, хромоножка на столь рискованную авантюру ни за что б не решилась. Посовещавшись, постановили: Дмитриеву не нервировать, а Волошину от дома, то бишь журнала, категорически отказать.

Решив, что Маковского науськал Гумилев, Максимилиан заявился в мастерскую художника Александра Головина, где по случаю выхода первого номера «Аполлона» был объявлен «большой сбор». Волошина, естественно, не приглашали, но так как все были уже подшофе, то и сделали вид, что ничего неприличного в его появлении нет. Воспользовавшись ситуацией, Зевс подошел к Гумилеву вплотную и, хорошо размахнувшись, дал пощечину, да такую увесистую, что Николай Степанович от неожиданности еле удержался на ногах. Кончилось вызовом на дуэль. По счастью, оба остались живы, хотя стрелялись всерьез и в нехорошем, по выбору потерпевшего, месте – на Черной речке. Вот как описал этот последний в «некалендарном» XIX веке литературный поединок Алексей Толстой:

«Мистификация, начатая с шутки, зашла слишком далеко… Но я знаю и утверждаю, что обвинение, брошенное ему (Гумилеву. – *А.М.)* в произнесении им некоторых неосторожных слов, – было ложно: этих слов он не произносил и произнести не мог. Однако из гордости и презрения он молчал… Для него, конечно, из всей этой путаницы, мистификации и лжи не было иного выхода, кроме смерти… Выехав за город, мы оставили автомобили и пошли на голое поле, занесенное снегом… Когда я стал отсчитывать шаги, Гумилев, внимательно следивший за мной, просил мне передать, что я шагаю слишком широко. Я снова отмерил пятнадцать шагов… и начал заряжать пистолеты. Пыжей не оказалось, я разорвал платок и забил его вместо пыжей. Гумилеву я понес пистолет первому. Он стоял на кочке, длинным черным силуэтом различимый во мгле рассвета. На нем был цилиндр и сюртук, шубу он сбросил на снег…

Передав второй пистолет В., я по правилам в последний раз предложил мириться. Но Гумилев перебил меня, сказав глухо и недовольно: "Я приехал драться, а не мириться". Тогда я попросил приготовиться и начал громко считать: раз, два (Кузмин, не в силах стоять, сел в снег и заслонился цинковым хирургическим ящиком, чтобы не видеть ужасов)… три! – крикнул я. У Гумилева блеснул красноватый свет и раздался выстрел. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. Тогда Гумилев крикнул с бешенством: "Я требую, чтобы этот господин стрелял!" В. проговорил в волнении: "У меня была осечка". – "Пускай он стреляет во второй раз, – крикнул опять Гумилев, – я требую этого… " В. поднял пистолет, и я слышал, как щелкнул курок, но выстрела не было. Я подбежал к нему, выдернул у него из дрожащих рук пистолет и, целя в снег, выстрелил. Гашеткой мне ободрало палец. Гумилев продолжал неподвижно стоять. "Я требую третьего выстрела", – упрямо проговорил он. Мы начали

совещаться и отказали. Гумилев поднял шубу. Перекинул ее через руку и пошел к автомобилям».

ЧП на Черной речке произошло 22 ноября 1909 года. Через три дня Гумилев, прихватив Алексея Толстого, еще не перешедшего в прозу, и двух поэтов, Петра Потемкина и Михаила Кузмина, уехал в Киев – авторский вечер «Аполлона» под эгидой «Острова искусств», назначенный на 26 ноября, был оговорен заранее.

Когда Гумилев, приоткрыв занавес, оглядывал зал, первое женское лицо, остановившее его внимание (при наведении на резкость), оказалось лицом Ани Горенко. В третьем ряду. Второе кресло справа. Не дожидаясь окончания вечера, вышел в фойе и ловко перехватил ее на выходе. Шли молча и быстро. Перед ярко освещенным подъездом гостиницы «Европейская» Николай Степанович слегка замедлил шаги: «Может, зайдем? Хотя бы на чашку кофе…» Кофе почему-то не несли невероятно долго. Анна не подымая глаз знакомым движением вертела на пальце тоненькое золотое колечко. Гумилев пригляделся: то самое! Первый его жениховский подарок! Только бы не нарваться на очередное «не надо…». Не удержался. Она подняла глаза, но смотрела мимо и куда-то далеко. Николай повернул голову: к их столику мерзейшей походкой профессионального гомика направлялся черно-белый официант. «Нет или да?» – полушепотом, но быстро и легко, как в детстве, при игре в шарады, переспросил Гумилев. Не меняя позы и не переводя взгляда, Анна ответила: «Да».

Через много лет, рассказывая Павлу Лукницкому о встрече с Николаем Степановичем осенью 1909 года в Киеве на вечере «Острова искусств», Анна Андреевна сошлется на письмо Николая Степановича. О том же письме упоминает и в «Записных книжках» (запись по случаю пятидесятилетней годовщины кофепития в гостинице «Европейская»): «Письмо (Н. Ст. Гум.), которое убедило меня согласиться на свадьбу (1909). Я запомнила точно одну фразу: "Я понял, что в мире меня интересует только то, что имеет отношение к Вам"». Аргумент, скажем прямо, не убедительный. Обстоятельства, в которых Н.С. неожиданно получил согласие на сто первое брачное предложение, самым решительным образом его дискредитируют, ибо уже 29 ноября 1909 года он снова, прямо из Киева, уехал в Африку. Любой другой в его положении либо отказался бы от поездки, либо хотя бы повременил с отъездом. Гумилев не сделал ни того, ни другого. Даже оставшиеся дни осчастливленный жених носился по городу как угорелый, закупая нужное для двухмесячного путешествия снаряжение. Тюки оказались столь увесистыми, что друзья-поэты

решили проводить африканца до Одессы и собственноручно погрузить на пароход. Это ли не доказательство, что Николай заблуждался, уверяя неневестную свою невесту, что в мире его интересует лишь то, что имеет отношение к ней? Нет, нет, Ахматова не лукавит. Она лишь смещает акценты. На самом деле убедило ее не содержание письма, а день его получения.

Накануне этого дня тетка, вручая племяннице деньги (если завтра не заплатить за курсы, исключат), сказала: «Твой отец, Анна, верен себе, пришлось по сусекам наскребать…» – «Ну и пусть исключают, какой из меня юрист!» – «Тогда в монастырь иди, – взвизгнул дядюшка. – Или хотя бы замуж. За какого-нибудь богатого сахарного дурака». Деньги за курсы Анна все-таки отнесла с утра пораньше, но к тетке, хотя и обещала, не вернулась, шаталась по Киеву. Вымотавшись и спустив пары, порылась в карманах, наскребла на десяток самых дешевых папирос и, выбрав скамейку поукромней, закурила.

У кладбища направо пылил пустырь,
А за ним голубела река.
Ты сказал мне: «Ну что ж, иди в монастырь
Или замуж за дурака…»

Тетка встретила ее как ни в чем не бывало:

– Ася[7] без тебя два раза заглядывала, просила зайти, вчера из Парижа вернулась…

Голос у Анны Эразмовны был добрый до отвращения. Ох уж эта проклятая стоговская фамильная доброта, рассердиться и то не умеют!

Собираясь к Экстерам, Анна попыталась распутать любимые бусы, единственное свое украшение, после того как вернула Николаю все его презенты. И обомлела: на дне шкатулки, в самом уголочке, среди черных агатов сверкнуло малиново-алым глазком золотое, с рубином колечко! То самое?

И я отдал кольцо это Деве Луны
За неверный оттенок разбросанных кос…

Как же такое могло случиться? Она же вернула его? И вообще не носила. Даже не примеряла, Коля ошибся размером. Попробовала – получилось! Правда, лишь на безымянный палец левой руки… Неужели еще похудела?

…Ася хохотала и делала все сразу: курила, пила кофе, натягивала на себя привезенные из Парижа экстравагантные

тряпочки, распаковывала и прислоняла к стенам стильной гостиной написанные во Франции холсты. На женских курсах ей обещали персональную выставку, потому и вернулась. «Ты только взгляни, Анюта, до какого безобразия французы докатились – разве такое в Киеве можно носить? Ну, как вы здесь живете? Ты – как?» И, не дожидаясь ответа, взрезала очередной тюк. «Посмотри, что я там, в Париже, у антикваров высмотрела. Ерунда, конечно, и стоило ерунду, а знаешь, почему купила? Нет, нет, приглядись – это же твой двойник! Такой ты будешь лет через семь…»

Анна вгляделась. Смуглая дама с опахалом, в чудно-старинном бело-серебряном платье, если прищуриться и при свечах, и впрямь чуточку похожа. Не на нее, конечно, а на одну из ее удачных прошлогодних фотографий.

Сжала тебя золотистым овалом
Узкая, старая рама;
Негр за тобой с голубым опахалом,
Стройная белая дама.

Тонки по-девичьи нежные плечи,
Смотришь надменно-упрямо;
Тускло мерцают высокие свечи,
Словно в преддверии храма.

Возле на бронзовом столике цитра,
Роза в граненом бокале…
В чьих это пальцах дрожала палитра,
В этом торжественном зале?

И для кого эти жуткие губы
Стали смертельной отравой?
Негр за тобою, нарядный и грубый,
Смотрит лукаво.

Эти стихи Аня Горенко напишет через год, а в тот день она ежилась, чувствуя себя «нищей и потерянной» в шикарной квартире Экстеров, стесняясь даже Асиного лакея. И было от чего стесняться! Этот наглый Иосиф носил свой черно-желтый жилет с таким превосходством, как если это о нем писал Блок: шотландский плед, цветной жилет, презрительный эстет…

«Как вы здесь живете?» Это Ася Экстер, самая ярая из «амазонок русского авангарда», живет во весь дух! Париж, Италия, Фернан Леже…

А она?

Окончив гимназию, в самом конце мая 1907 года Анна укатила в Севастополь. Инна Эразмовна с детьми была уже там. Жили сначала в городе, но не у тетки, снимали квартиру (отец, узнав, что у Анны подозревают туберкулез, выслал деньги).

В начале июня мать с Виктором и Ией переехала на дачу, а Анна осталась, ей назначили еще один курс в грязелечебнице Шмидта. Но вот и лечение кончилось, а она не трогалась с места, объясняя тетке, что ожидает важного известия из Петербурга. На самом деле никто, кроме Николая, в то лето ей не писал, а письма от Гумилева приходили раньше, чем начинался приступ панического ожидания. Андрей в таких случаях цитировал Пушкина: «Она ждала кого-нибудь…»

Вскоре и тетка увезла своих в Балаклаву. Квартира на Екатерининской опустела, только фикусы в кадках да глухая прислуга, и Анна переселилась туда. Впервые в жизни восемнадцатилетняя дочь статского советника А.А.Горенко была одна в городе, где ее никто не знал, и совершенно свободна. Через неделю свобода опостылела, и она решила: все. И бросила монетку: ежели решка – к маме, в Херсонес, ежели орел – в Балаклаву, к теткам. Двугривенный упал орликом. Расписания мальпостов на Балаклаву Анна не знала. Чертыхаясь (когда чертыхаешься, злость выходит через ноздри и уши, как пузырьки зельтерской), знакомым проулком, через Графскую площадь, вышла на пристань. Мальпост ушел перед самым носом. Возвращаться к фикусам не хотелось. Что бы такое выкинуть? Поставила на раскаленный булыжник саквояжик и сделала полузмею: пятки вместе, носки врозь, все остальное – раскинутые, как для полета, руки, спина, шея – распласталось по влажному соленому граниту. Волна высокая, а вот та, самая сильная, сейчас подпрыгнет выше других и поцелует в губы! Тут-то он и появился. Откуда? И пристань была пуста, и площадь пустынна! Я-то думал: барышня утопиться решила, спасать надо, а вы, оказывается, гуттаперчевая! Акробатским толчком девица Горенко выпрямилась, опять по-змеиному выгнулась, коснувшись затылком земли, правой рукой ухватила саквояж и пошла, не оглядываясь, через площадь, к увитому глициниями проулку. Но и не оглядываясь, знала: незнакомец стоит где стоял. На перекрестке двух узеньких улочек, пытаясь припомнить, справа или слева был питьевой фонтанчик, замедлила шаг. Он сидел на скамейке (той самой, под шелковицей, с которой Андрей в детстве подсаживал ее на дерево, когда наступал шелковичный сезон) и ярко-белым платком промокал темный от пота, пыли и

крымского загара лоб. Некрасиво морщась, не глядя на нее и явно борясь с одышкой, буркнул: «А ходите вы скверно, девочка, в цирк не примут». Потом все-таки глянул из-под утратившего ослепительную белизну платка и добавил. Совсем другим тоном: «Да не огорчайтесь так! Лебеди тоже ходить не умеют. Только летать и плавать».

И был понедельник. И Новороссийск. Во вторник у него были дела, в четверг – тоже. А в субботу все кончилось. Он остановил извозчика за квартал до Морского вокзала. Вот здесь и попрощаемся.

Ночью в гостинице она придумала пять сцен прощания. Самая простенькая выглядела так. Он высаживает ее из пролетки, подводит к цветочному киоску и покупает шесть роз: маленькую, белую, в бутоне; полураскрывшуюся палевую; две одинаковые почти черные; роскошно-бесстыдную красную и роняющую лепестки желтую. Улыбаясь, она загибает пальцы: белая – понедельник, черная – вторник, палевая – среда, четверг – опять черная, красная – пятница. Суббота… Но почему опадает желтая? «Потому что вы забудете обо мне раньше, чем она завянет…»

Какие розы! Ничего, кроме досады, не было на отодвинувшемся озабоченном лице. Что же ей теперь делать? «Если позволите, я напишу вам. Севастополь, до востребования». Так? Она долго-тупо смотрит на сверкающие носки его лакированных ботинок и вдруг спрашивает не своим, толстым и сдавленным, голосом: «Сколько?» – «Что сколько?» – «Сколько дней я должна ждать это письмо?» – «Как в сказке про царевну Лебедь: тридцать лет и три года!»

И она ждала. Из Херсонеса, по жаре, на почту таскалась. В Севастополе зазимовала. На другой год денег, чтобы снять дачу в Херсонесе, у них уже не было, жили в Балаклаве. Так и оттуда… Через день. Старичок в окошке «До востребования» был все тот же, прошлогодний, все в той же до неприличия наглаженной чесучовой паре. «От кого же вы, милая моя барышня, письма ждете?» И в 1909-м, когда жила с матерью под Одессой, в Лустдорфе, – ждала. Ия от тесноты и суматохи в Севастополь уехала. Провожая сестру, попросила: «Зайди на почту, что тебе стоит, фамилия та же. И отчество. Если не отдадут, телеграмму пришлешь…»

Ждала. Ждала. Ждала.

Она поднимется по этим ступенькам, придвинет лицо к тому же окошку и через семь лет. В 1916-м. В ту осень даже здесь, в Севастополе, уже пахло войной. Утром, заслыша что-то вроде взрыва, Ия выглянула в окно. Городской юродивый пытался о чем-то рассказать. О чем, сестры не поняли. Выбежали из дома,

встретили плачущего боцмана. Бросились на Графскую пристань. Примчался Колчак. Не выходя из автомобиля, смотрел, как уходит под воду красавица «Мария». Самолеты, видимо, высматривая диверсантов, летели низко, над самым рейдом. Никаких диверсантов не было, флагман Черноморского флота взорвался из-за каких-то мелких неполадок в оружейном отсеке. Ия молилась, а Анна не могла оторвать глаз от перевернутой шлюпки – волны раскачивали ее, словно люльку, из которой украли младенца. Какое счастье, что отец не дожил до такого позора! Броненосец «Императрица Мария» был гордостью николаевского завода «Россуд». Летом 1914-го, получив специальное приглашение на торжество спуска «Марии», он наконец-то предложил поехать в Николаев вместе с ним. Анна не поехала: дел по горло, успеется. Не успелось…

Чесучового старичка в окошке «До востребования» уже не было. Батистовая почтовая барышня старательно и виновато трижды пересмотрела невостребованную корреспонденцию…

Стихи застали Анну на обочине ускользающего сновидения, то яркого, то смутного. Сон слил *в одно* два лица, два моря и две ее любви к чужому человеку, когда из всех печалей и радостей дарована только одна – радость-страдание бесконечного ожидания:

По неделе ни слова ни с кем не скажу,
Все на камне у моря сижу,
И мне любо, что брызги зеленой волны,
Словно слезы мои, солоны.
Были весны и зимы, да что-то одна
Мне запомнилась только весна.
Стали ночи теплее, подтаивал снег,
Вышла я поглядеть на луну,
И спросил меня тихо чужой человек,
Между сосенок встретив одну:
«Ты не та ли, кого я повсюду ищу,
О которой с младенческих лет,
Как о милой сестре, веселюсь и грущу?»
Я чужому ответила: «Нет!»
А как свет поднебесный его озарил,
Я дала ему руки мои,
И он перстень таинственный мне подарил,
Чтоб меня уберечь от любви.
И назвал мне четыре приметы страны,
Где мы встретиться снова должны:
Море, круглая бухта, высокий маяк,

А всего непременней – полынь…
А как жизнь началась, пусть и кончится так.
Я сказала, что знаю: аминь!

Ждала, ждала, ждала…

Не от чужого того человека, нет-нет, не от него, и не письма или нечаянной встречи, а чтобы загадка ее жизни разрешилась! И зиму, и весну, и лето… А осенью кинулась к Богородице с безумными врубелевскими глазами. Молила освободить, отпустить, на волю, к жизни. Знака просила, знака, что молитва услышана.

Вернувшись из храма, сразу и увидела – в прихожей, на зеркале, ребрышком. Ребрышком тетка ставила только Колины письма…

На обратном пути из Африки в феврале 1910 года Гумилев задержался в Киеве всего на сутки, вывалил кучу подарков – сами выберете кому что понравится. И ты, Аничка, и вы – Наничка[8]… Анна попробовала надуться, но, встретившись с Николаем глазами, осеклась.

5 февраля Гумилев был уже в Царском. Тревога, трепавшая его от самой Одессы, оказалась напрасной: дома все было в порядке. А утром, чуть свет, мать осторожно, как в детстве в гимназию, его разбудила: *проснись, Коленька, отец умер.*

Степан Яковлевич Гумилев, несмотря на свои полные семьдесят четыре и запущенный ревматизм, старым не выглядел. И вдруг… Уснул и не проснулся.

Не смея оставить мать наедине с невосполнимой утратой, Николай дал телеграмму в Киев. Анна, уже догадываясь, что суженый из тех сыновей, кто считает: возлюбленных много, а мать одна, – тут же приехала. И узнала то, что уже знала: ни смерть отца, ни приезд невесты не могут отменять ни одного из намеченных Николаем дел. Университетские лекции, литературно-критические статьи для «Аполлона», созданная при журнале «Академия стиха», стихи, множество литературных проектов и знакомств… Гумилев уже чувствует, что в символизме по Брюсову ему «тесно». Слово «акмеизм» еще не найдено и не произнесено, но группа единомышленников сколочена и, в отличие от эстетствующей и «праздно болтающей» «Академии стиха», мыслит себя «Цехом поэтов». Рядом с постоянно действующим генератором литературных идей Анна ощущала себя бездельницей. Вдобавок будущая свекровь достаточно резко, при ней напомнила сыну: до истечения траура разговоры о

свадьбе неуместны. Николай промолчал. Внутренне готовая к тому, чтобы отпустить милого друга Колю на свободу, Анна тайком от него наскребла на почтовый до Киева. Даже с Валей не попрощалась. На вокзале опомнилась и бросила в почтовый ящик записку: «Птица моя, сейчас еду в Киев. Молитесь обо мне. Хуже не бывает… Вы все знаете, единственная, ненаглядная, любимая, нежная. Валя моя, если бы я умела плакать…» Валерия Сергеевна, переполошившись, разыскала Гумилева и чуть не плача показала «страшное письмо». Николай хмыкнул.

«Вы все знаете…» – «С каких пор?» – «Что с каких пор?» – «С каких пор вы с Анечкой стали выкать? Чем выкать, гляньте, Птица, не наляпал ли я ошибок».

Валерия Сергеевна глянула и рассмеялась.

Прошение Н.С.Гумилева

Ректору С.-Петербургского университета.

Имею честь покорнейше просить Ваше Превосходительство разрешить мне вступить в законный брак с дочерью статского советника Анной Андреевной Горенко.

Апреля 5 1910 г.

Царское Село, Бульварная, дом Георгиевского.

– Ошибочка, Николай Степанович. Сегодня не 5 апреля, а 4 марта.

– А я не сегодня, а 5 апреля и вручу. Сдам сессию и вручу. Нужно же еще и свидетельство об увольнении Гумилева Н.С. в отпуск за границу у них выудить.

Экзамены Гумилев все-таки перенес, но отпускное Свидетельство получил и, еле дождавшись сигнального экземпляра сборника «Жемчуга», первой своей книги, изданной не за собственный счет, 16 апреля 1910 года умчался в Киев. Мать, ни о чем не спрашивая, сказала: «Деньги можешь взять. Свою часть. По завещанию».

Анна встретила жениха скверной новостью. Родственники, посоветовавшись, объявили, что на венчание не явятся. «У тебя, Анна, семь пятниц на неделе. То на курсы, то в монастырь, то замуж». И Андрей молчит. Он у мамы, в Севастополе. Не отвечают на телеграммы. Гумилев слушал и улыбался. «Да они устали тебя за меня замуж отдавать. И не верят, что не передумаешь. Я и то побаиваюсь. Смотри, даже Брюсову написал, что женюсь на А.А.Горенко. Свадьба в воскресенье, потом уезжаем в Париж. К июню вернемся в Царское Село. Адрес старый. Теперь – все, не отвертишься».

Схватил Наничку за руку, а ей; «Ты сиди, красоту береги и телеграмму из Севастополя не прозевай, а мы с Марией

Александровной поедем церковь выбирать – маленькую, нарядную, деревенскую. Да смотри, в окошко, как Подколесин, не прыгай, хоть и первый этаж, да высокий. Как, кстати, сказать по-французски? Rez-de-chaussee?»

На этот раз Анна не передумала, и 25 апреля 1910 года в Николаевской церкви села Никольская Слобода состоялся обряд венчания. Свадьбу молодые решили не устраивать по причине траура, а вместо свадебного подарка Гумилев преподнес жене Париж. Киевская кузина постаралась, чтобы Анечка не выглядела провинциалкой, и ей это удалось. На фотографии, сделанной для выездных документов, новобрачная Гумилева, направляющаяся в свадебное путешествие в столицу Франции, и причесана, и одета *по моде и к лицу*.

«В черноватом Париж тумане»

Париж 1910 года не оставил в поэзии Ахматовой ни одной резкой зарубки. На удивление невыразительна – по части зарубежных впечатлений – и ее автобиографическая проза конца пятидесятых – начала шестидесятых годов. Первая в биографии Анны Андреевны *иноземная столица* кажется скопированной с почтовых открыток эпохи Дягилевских сезонов: «То, чем был тогда Париж, уже в начале двадцатых годов называлось „vieux Paris“ или „Paris avant la guerre“ (старый Париж или Париж довоенный). Еще во множестве процветали фиакры. У кучеров были свои кабачки, которые назывались „Au rendez-vouz des cochers“ (Встреча кучеров), и еще живы были мои молодые современники, которые скоро погибли на Марне и под Верденом».

Правда, в очерке «Амедео Модильяни» Ахматова вписывает в этот же год (и именно в месяц свадебного вояжа) начало и завязку своего легендарного парижского романа с Амедео Модильяни. Иосиф Бродский, прочитав этот текст, пошутил: «Да это же "Ромео и Джульетта" в исполнении особ королевского дома!», и Анна Андреевна, кажется, оценила «веселость едкую литературной шутки». Но шутки шутками, а как же было на самом-то деле? В живой жизни, а не в легенде? Для того чтобы пробиться сквозь легенду, внимательно прочитаем этот очерк, и не только беловой текст, но оставшиеся в черновике варианты.

«В 10-м году, – пишет А.А., – я видела его (Модильяни. – *А.М.)* чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее он всю зиму писал мне». Процитированные фразы – блистательный образец тайнописи, недаром работа над очерком (с 1958 по 1964 гг.) двигалась параллельно с доработкой «Поэмы без героя». Первая фраза абзаца свидетельствует: во время свадебного путешествия (в 1910 г.) госпожа Гумилева не встречалась с художником, а всего лишь видела его несколько раз. И это почти наверняка истинная правда. Не то что нескольких – и одного раза достаточно, чтобы заметить и запомнить удивительного итальянца, выделить из пестрой богемной толпы: «у него была голова Антиноя и глаза с золотыми искрами». Впечатление, судя по воспоминаниям современников, точное. Весной 1910-го Модильяни, только что вернувшийся из родного Ливорно, где прожил в родственной заботе и домашнем уюте четыре месяца, выглядел молодым и сияющим. Во всяком случае, издалека. И на весьма неравнодушный к мужской красоте глаз двадцатилетней провинциалки. А вот фраза вторая: «…он всю зиму писал мне» – вряд ли соответствует действительности. Об этом

свидетельствуют изданные в 1961 году мемуары Ильи Эренбурга. Ссылаясь на рассказ самой Ахматовой, Илья Григорьевич относит ее знакомство с Модильяни не к 1910-му, а к 1911 году. Цитирую: «Комната, где живет Анна Андреевна Ахматова, в старом доме Ленинграда, маленькая, строгая, голая; только на одной стене висит портрет молодой Ахматовой – рисунок Модильяни. Анна Андреевна рассказывала мне, как она в Париже познакомилась с молодым чрезвычайно скромным итальянским юношей, который попросил разрешения ее нарисовать. Это было в 1911 году. Ахматова еще не была Ахматовой, да и Модильяни еще не был Модильяни. Но в рисунке (хотя по манере он отличается от более поздних рисунков Модильяни) уже видны точность линий, их легкость, поэтическая убедительность».

Впрочем, и текст ахматовского эссе (если, разумеется, знать и помнить, что многие подробности вписаны в него, как и в «Поэму без героя», симпатическими чернилами) не подтверждает регулярной – всю зиму! – переписки. Не случайно никто из биографов Модильяни ни разу не высказал сожаления об утрате столь важного, уникального документа. Дескать, прекрасная старая дама перепутала грезы с реальностью, но будем, господа, тактичными, промолчим. Из уважения к высокой славе. Из снисхождения к почтенному возрасту Великой Княгини Русской Поэзии.

Как и многие люди, от природы одаренные хорошей памятью, Анна Андреевна слишком долго была уверена в том, что никогда ничего не забывает («Как можно забыть?»). Получилось, что можно. *Прожектор памяти* оказался не таким уж надежным устройством, как предполагалось в самонадеянной юности: «Человеческая память устроена так, что она, как прожектор, освещает отдельные моменты, оставляя вокруг неодолимый мрак». Забывались и стихи, и даты, и события. Утверждая, к примеру (все в том же мемуаре о встречах с Модильяни): «Его не знали ни А.Экстер, ни Б.Анреп (известный мозаист), ни Н.Альтман, который в те годы (19141915) писал мой портрет», – Анна Андреевна явно запамятовала, что в один из ранних планов автобиографической книги собственноручно внесла такой пункт: «Ася Экстер про Моди».

Впрочем, *провалов памяти* в очерке не так много. Своеобразие его сюжета и хронологии объясняется не забывчивостью автора, а эстетической установкой на тайнопись. Как и «Поэму без героя», парижскую лав стори Ахматова компонует по принципу *укладки (шкатулки с секретом)* с двойным, а то и тройным дном. И тайный замок, и ключ, с помощью которых затейливая шкатулочка запирается, по

обыкновению просты и посему безотказны. Например, в основной текст вносится следующая информация, точнее, дезинформация под видом информации: «Я ни разу не видела его пьяным, и от него не пахло вином. Очевидно, он стал пить позже, но гашиш уже как-то фигурировал в его рассказах». Затем в сноске (сноска оставляется в черновике, но не вымарывается) приводятся сведения, ставящие под сомнение достоверность приведенного выше свидетельства (что наркотики всего лишь фигурировали в рассказах Модильяни): «Я еще запомнила его слова: „Sois bonne – sois douce“.[9] Это он мне сказал, когда находился под влиянием гашиша, лежал у себя в мастерской и был почти без сознания. Ни «bonne», ни «douce» я с ним никогда не была».

Характерен и такой ход. О том, что *Моди* писал ей всю зиму, Ахматова упоминает между прочим, мельком, не разъясняя, по какому адресу приходили парижские письма и куда они все подевались. А через несколько строк, и тоже вроде бы мимоходом, как бы без всякой связи с предыдущим сообщением пишет: «В 1911 году он (то есть Модильяни. – *А.М.)* сказал, что прошлой зимой ему было так плохо, что он даже не мог думать о самом ему дорогом». Читатель не слишком внимательный с легкостью перепрыгнет через столь незначительное противоречие – и логическое, и психологическое. Зато внимательный непременно запнется. Да как же, мол, так? Ежели золотоглазому Антиною всю зиму было настолько плохо, а ему и впрямь было скверно, что даже думать о самом дорогом не мог, то какие уж тут письма? Да и с какой стати Модильяни, при его-то гордости, стал бы говорить «чужой» и «не очень понятной» ему женщине (слова Ахматовой) о том, как тяжело прожил минувший год, если, повторяю, переписка была интенсивной, а адресатка умела «читать между строк», «угадывать мысли» и даже «видеть чужие сны»? К тому же юная эта дама страдала тяжелой хронической формой аграфии, то есть совершенно не умела писать письма, да еще и находилась в достаточно странных отношениях с грамматикой, как русской, так и французской. Изъяснялась почти совершенно. А писать побаивалась, поскольку свой первый иностранный язык выучила на слух, присутствуя, пятилетней, на уроках французского, которые приходящая «мадам» давала старшим детям Горенко, Андрею и Инне. Наверняка с голоса, а не из воображаемых писем запомнила Анна Андреевна и те *подлинные* фразы *Моди,* которые цитируются в мемуарах: «Vous etes en moi comme une hantise» (Вы во мне как наваждение) и «Je tiens votre tête entre mes mains et je vous couvre d'amour» (Я держу вашу голову в руках и окутываю вас любовью). Согласно принятой в очерке «шифровальной системе», цитаты из *Моди*

приводятся как подлинные, но со страхующей подлинность оговоркой: «Все французские фразы в этой статье – подлинные слова Модильяни, как я их запомнила». Больше того. Французские фразы вмонтированы в рассказ о том, как, придя однажды в мастерскую Модильяни, застала хозяина в бредовом состоянии – мало ли что может померещиться художнику под влиянием гашиша? Ситуация, согласитесь, для переписки, тем паче интенсивной, в течение всей зимы, слишком уж неподходящая. Особенно если учесть, что и Модильяни, почти в той же степени, что и Ахматова, был не способен к эпистолярному общению. Даже на письма обожаемой матери откликался с большими опозданиями и всегда кратко, почти формально. А чтобы матушка не обижалась, напоминал: «Я и писание писем – две вещи несовместимые».

Требует «раскодирования» и утверждение Ахматовой, что стихов, посвященных Модильяни, у нее нет и что и «Надпись на неоконченном портрете», и «Прогулка» («Перо задело о верх экипажа…»), и датированное маем-июлем 1911 года «Мне с тобою пьяным весело» к нему не относятся. Названные тексты и впрямь посвящены совсем другому человеку, о полуутаенном романе с которым речь впереди. Однако есть, на мой взгляд, достаточно веские основания предполагать, что именно с Модильяни, точнее, с известием о его смерти в больнице для бедных связано известное стихотворение 1921 года:

> На пороге белом рая
> Оглянувшись, крикнул: «Жду!»
> Завещал мне, умирая,
> Благостность и нищету.

Связано, разумеется, не впрямую. Анна Андреевна с юности, с первых поэтических опытов, умела *сливать в одно много-много жизней.* Правда, в комментариях к последнему изданию, и не только там, утверждается, что стихи обращены к поэту и критику Николаю Владимировичу Недоброво. Но это предположение решительно не соответствует содержанию. Николай Недоброво никогда не был проповедником аскетизма. Наоборот. И в поэзии, и в быту культивировал идеал эстетически организованного (не на медные деньги) жизненного пространства. *Завещать, умирая,* он мог многое и разное, но только не «благостность и нищету». К тому же о его смерти Ахматова узнала не летом 1921-го, как сказано в комментарии, а годом ранее. Модильяни же, как выразился его друг Жак Кокто, «позволял себе роскошь быть бедным». Нищета для него была и образом жизни, и линией

творческого поведения, и даже философией. Словом, тем богатством, той роскошью, какую и впрямь можно и завещать, и получать по завещанию. Если бы не эта установка, на те деньги, какие художнику регулярно высылали из дома, он мог хотя бы не голодать.

По той же системе (сделать два снимка на одну пластинку) зашифрована и история ее легендарного портрета. В очерке «Амедео Модильяни» она изложена так: «Рисовал он меня не с натуры, а у себя дома, – эти рисунки дарил мне. Их было шестнадцать. Он просил, чтобы я окантовала их и повесила в моей комнате. Они погибли в царскосельском доме в первые годы революции. Уцелел один, в нем, к сожалению, меньше, чем в остальных, предчувствуются его будущие "ню"». Просьбу художника Ахматова не исполнила – ни один из современников, из тех, что бывали у супругов Гумилевых в их царскосельском доме, даже такие глазастые, как Тэффи и художница Делла-Вос-Кордовская, о знаменитом рисунке (а тем паче рисунках!) не упоминает. По-видимому, Анна Андреевна не удосужилась окантовать и его. Это, кстати, ничуть не удивительно, ведь она была уверена: герой ее парижской авантюры сгинул, как десятки других неудачников. («Мне долго казалось, что я никогда больше о нем ничего не услышу…») И когда ее свекровь Анна Ивановна Гумилева (в начале 1916 г.) продала дом, рисунки остались в отнесенном на чердак сундуке среди прочих бумаг. В том числе и таких реликвий, как письма Блока и Гумилева. В течение пяти лет Ахматова о брошенных бумагах не вспоминала. А вот в самом начале августа 1921-го вдруг собралась и поехала в Царское Село, чтобы эти самые бумаги забрать. И произошло это до смерти Блока, до расстрела Гумилева, однако вскоре после того как Анна Андреевна (в феврале!) была зачислена в издательство «Всемирная литература» в качестве переводчицы с французского, «работающей на дому». По-видимому, именно в эти месяцы ей и попал в руки французский художественный журнал, где было написано, что Модильяни, умерший в январе 1920-го, – художник мирового класса: «Кто-то передал мне номер… Я открыла – фотографии Модильяни… Крестик… Большая статья типа некролога; из нее я узнала, что он – великий художник XX века (помнится, что его там сравнивали с Боттичелли)». Рисунки второго Боттичелли стоили того, чтобы попытаться разыскать их в брошенном на произвол судьбы архиве!

Сундука на чердаке не оказалось, а содержимое было разбросано по полу. К счастью, кое-что все-таки нашлось. Письма Блока, которому жить осталось несколько дней. Письма Гумилева, который будет казнен через три недели. И

единственный из рисунков Модильяни. (По-видимому, в остальных пятнадцати явственней предчувствовались будущие «ню», что и оценили новые хозяева добротного сундука.) Вот только вряд ли это были те самые «ню», что наделают столько шума, когда на лондонском аукционе появится альбом с рисунками Модильяни, изображавшими юную обнаженную женщину, поразительно похожую на Анну Ахматову. Модильяни был слишком хорошо воспитан, чтобы просить замужнюю даму повесить *такое* в своей комнате. Наверняка были выбраны промежуточные варианты. Те самые, о которых вскользь упоминает и Ахматова: «…Рисовал мою голову в убранстве египетских цариц и танцовщиц… Говорил: „Les bijoux doivent être sauvages“[10] и рисовал меня в них». Что же касается самого, с обывательской точки зрения, пикантного, а именно: являются ли страшно похожие на Ахматову ню зарисовками с натуры или созданы в воображении, то лично мне представляется более правдоподобным первый, отвергаемый Ахматовой вариант. Прямых доказательств у меня, естественно, нет, зато косвенное имеется. В 1926 году Павел Николаевич Лукницкий сделал в своем дневнике такую запись: «Пунин… сфотографировал А.А на ковре в ее акробатической позе – когда она ногами касается головы (голая). И получилось очень хорошо, и нельзя говорить о неприличии и т. д.: это – как бронзовая фигурка, как скульптура, это эстетично…» (запись от 22 января 1926 г.).

Впрочем, даже если в столь «неприличном» виде Анна Андреевна позировала и Модильяни, это еще ни о чем «неприличном» не свидетельствует. В Париже по неписаному, но строго соблюдаемому закону отношения между художником и обнаженной моделью были прежде всего профессиональными. Вот как описывает традиционный бал художников один из русских путешественников, оказавшийся в Париже летом 1911 года: «На этом балу, в этом апофеозе наготы, было *все* и, в сущности, *ничего не было.* Бесстыдство было доведено до предела, но оно не волновало толпы, не возбуждало ее. Маскарад остался маскарадом и не стал оргией. Вот почему, когда какой-то иностранец или провинциал слишком увлекся одною из натурщиц, парижские «вавилоняне» поспешили развести их в разные стороны. Это было на моих глазах. Парижане знают точно, что можно и чего нельзя. И улыбающийся и как будто бездействующий полицейский среди голых натурщиц – это символ, красноречивый и убедительный. Как, в сущности, приличен был этот неприличный бал! Что же это? Культура? Моральная дисциплина?» *(Чулков Г.И.* Годы странствий).

Но все эти события – бал художников, позирование, визиты в

мастерскую с охапками красных роз, ранние прогулки в Люксембургском саду и поздние по ночному Монмартру – относятся к лету 1911-го. И следовательно, не имеют касательства к чувствам юной супружеской четы, которую редактор «Аполлона» С.К.Маковский, оказавшийся в одном поезде с возвращавшимися из свадебного путешествия Гумилевыми (в начале июня 1910 года), отпортретировал: «Я встретил молодых… в Париже… На обратном пути… случайно оказались мы в том же международном вагоне… Анна Андреевна… меня сразу заинтересовала, и не только как законная жена Гумилева… весь облик тогдашней Ахматовой, высокой, худенькой, тихой, очень бледной… был привлекателен. По тому, как разговаривал с ней Гумилев, чувствовалось, что он полюбил ее серьезно и горд ею».

Ставя под сомнение существование переписки (между Ахматовой и Модильяни) в зиму 1910 года, а значит, и выстроенную в легенде хронологию их парижских встреч, я вовсе не утверждаю, что красивый роман выдуман от начала и до конца и что рассказ Анны Андреевны о ссорах с Гумилевым из-за *Моди* (факт, зафиксированный в книге П.НЛукницкого «Встречи с Анной Ахматовой») – плод женского тщеславия и поэтического воображения. Больше того, не исключаю, что в один из майских вечеров 1910 года, когда интересная незнакомка в интригующем одиночестве[11] прогуливалась по живописным закоулкам «острова искусств», Антиной и впрямь «бродил за ней». В воспоминаниях его дочери Жанны, со слов греческого художника Галаниса, зафиксирован такой эпизод: «Как-то утром госпожа Галанис возвращалась домой с покупками. К ней галантно, „по-итальянски“, подошел красивый молодой человек, предложил помочь донести сумку и проводить до дому. Он настойчиво уговаривал ее, хотя она сообщила ему, что замужем. Когда они пришли в мастерскую, Модильяни увидел Галаниса, который к тому времени был уже достаточно известным художником и гравером. Грек простил итальянцу эти „галльские штучки“, они быстро подружились».

Все-таки вероятнее предположить, что ночных прогулок с Антиноем в 1910 году не было, и не случайно объясняя (в 1926 г.) Павлу Лукницкому причины своих ссор с Гумилевым из-за Модильяни, Ахматова датирует их не 1910-м, а 1911 годом. Дескать, «бедствия» начались только после внезапного ее *побега* в Париж, хотя ничего предосудительного в ее отношениях с Амедео и в то лето не было. Борис Носик, автор переизданного несколько лет назад документального романа «Анна и Амедео», счел это признание ложным. В сочиненной им истории тайной любви

Ахматовой и Модильяни их молодой, упоительно короткий и до сих пор «неразгаданный союз» превращен в драму роковой и все возрастающей страсти. Не спорю: *такая* история сильно украсила бы обе биографии. Но если бы с Анной Андреевной и впрямь случилось столь романтическое ЧП, она наверняка не стала бы оттягивать свидание с *Моди* на год, а ринулась бы в Париж уже осенью, сразу же после того как Гумилев (в сентябре 1910 года) уехал на полгода в Африку. Но она не ринулась, а всю зиму моталась меж Петербургом и Киевом – неделя здесь, месяц там. На деньги, истраченные на это малокаботажное кочевье, можно было бы с комфортом объехать четверть Европы. Носик, защищая свою версию, задает поддерживающие ее бытовые вопросы. Кто, мол, оплатил поездку? Кто снял комнату? Да не было бытовых проблем у Ахматовой ни осенью, ни зимой 1910 года! Перед свадьбой Гумилев открыл на ее имя счет в банке на 2000 рублей – сумма по тем временам солидная. Напомним для сопоставления цен – изданный за авторский счет первый сборник жены «Вечер» (тираж 300 экземпляров) обошелся Николаю Степановичу всего в сто рублей. Кроме того, в апреле же, перед отъездом во Францию, Гумилев выдал Анне еще и личный вид на жительство. Следовательно, никаких затруднений и с выездными документами у Ахматовой не было. И комнату незачем было снимать заранее, да еще просить об этом посторонних людей. Интеллигентные и небогатые туристы из России издавна останавливались в скромно-приличных пансионах в районе Монпарнаса. (Крутая, деревянная, винтовая лестница. От нее на каждом этаже – коридоры. Вдоль общего коридора – двери маленьких комнат. При комнате – закуток с умывальником и шкафчиком для одежды.) Адреса таких типовых пансионов и фамилии их хозяек имелись про запас в любой петербургской семье.

Нет уж, позвольте, рассердится дотошный читатель. Если не было, как вы доказываете, ни писем, ни роковой страсти, ни молодого «секса» – то что же тогда было? Прежде чем отвечать на этот вопрос, дополним перечень того, чего не было. Увы, не было даже того, что «сильнее страсти, больше чем любовь», то есть мгновенного, поверх барьеров, творческого взаимопонимания. Модильяни не читает и не понимает по-русски, а художественные вкусы тогдашней Ахматовой не отличаются от среднеинтеллигентских: художники группы «Мир искусства», старые гравюры с изображением аристократических выездов в Булонском лесу… Над такими *изысками* Амедео, как честно признается Ахматова, «откровенно смеялся». И вряд ли мефистофельский смех *Моди* не задевал или хотя бы не царапал

самолюбие его русской подружки. Слишком уж независимо и вольно разговаривал с судьбой и роком этот нищий принц!

Скрытый вызов был, видимо, и в его обещании показать Анне *настоящий* Париж. Во всяком случае, В.Я.Виленкин в своей последней работе о Модильяни явно держит в уме ахматовские воспоминания: «Какой же ему нужен был Париж? Легче всего представить себе, какой был ему не нужен или, вернее, от какого он отворачивался с презрительной, отчужденной или саркастической усмешкой: это Париж светский, биржевой, крупноторговый и крупнококоточный – средоточие развлечений и мод, Париж Елисейских полей и Больших бульваров, с ума сводящих витрин, шикарных ресторанов, изысканных литературно-артистических салонов и громких премьер Дягилевского балета. Париж ежегодных Гран-при на ипподроме, новейших автомобильных марок и элегантных кавалькад в Булонском лесу». Конечно, и Анне Андреевне Гумилевой светский Париж не по карману и не по вкусу. Однако ж с одним исключением, для Модильяни принципиальным. Ни одну из громких дягилевских премьер Ахматова в 1911 году не только не пропустила, но и до конца жизни помнила, что была свидетельницей триумфов русского балета. Ничуть не шокировали ее и блестящие кавалькады в Булонском лесу. Как и многие русские туристки, она не устояла перед соблазном прокатиться по прославленному лесу в фиакре (извозчик и лошадь – из XIX века). А как же иначе? Даром, что ли, к белой широкополой шляпе приделано привезенное мужем из Африки страусовое перо? «Перо задело о верх экипажа…»

Словом, в рассуждении изящных искусств почвы для взаимопонимания, а значит, и охоты к размену чувств и мыслей между двадцатидвухлетней Анной (пока еще не Ахматовой) и двадцатишестилетним Амедео (пока еще не совсем Модильяни) практически не было. Даже спустя полвека, имея в своем распоряжении множество искусствоведческих исследований, Анна Андреевна не в состоянии сказать что-нибудь интересное или хотя бы внятное о тех работах, какие видела в его мастерской и на выставке в галерее в 1911 году.

Не думаю также, чтобы Ромео и Джульетта в исполнении особ царского дома часами простаивали в египетском отделе Лувра, как утверждает А.А. Дотошные искусствоведы выяснили, что увлечение Модильяни Египтом относится к более позднему времени. В 1910 и 1911 годах он если и *бредил,* то негритянскими скульптурными примитивами, а они были выставлены не в Лувре, а в этнографическом музее. Вряд ли Анна Андреевна могла разделить эту страсть. Африкой и африканскими примитивами

она была сыта по горло у себя в Царском Селе. Гумилев завалил ими весь дом, две картинки, за неимением свободного места, пришлось повесить даже в ее комнате. Впрочем, и египетский отдел Лувра не исключается: надо же было убедить молоденькую русскую, что тот Египет, от которого после устроенной Рябушинским московской выставки Ван Донгена пришли в восторг ее соотечественники, не настоящий. Вот как описывает юная племянница Владислава Ходасевича, начинающая художница Валентина, впечатление, произведенное на нее, да и на всех москвичей, ван-донгенской «Египтянкой»: «Картина меня поразила… Все остальное на выставке вдруг исчезло… Я видела вкомпонованную в прямоугольник холста женщину с головой, повернутой в профиль, с огромным, обведенным черной чертой египетским глазом, дальше – шея, плечо и из чего-то пламенеющего оранжево-желтого (может, это задранная причудливо юбка) нога в оранжевом чулке, видная от выше колена до икры. Все так скомпоновано, что и не на йоту не переместишь! Чудо! Но это же был Ван Донген, которого в Париже сразу «угадали» и закупали торговцы и вскоре признал весь мир».

Столь же бурно восхищалась Валечка Ходасевич и живописью «мирискусников», особенно их признанными *всем миром* театральными шедеврами: «Мои русские друзья меня совершенно забаловали: в «Гранд-опера» объявлены спектакли балетной труппы Дягилева – и, как это ни было трудно, раздобыли три билета. Какая радость! Танцевали и Анна Павлова, и Нижинский, и Карсавина, и этого было достаточно, а все окружение, постановка, художники! Непревзойденный тогда творец балетного костюма – Бакст…» И нет, повторяю, никаких оснований предполагать, что художественные предпочтения Анны Андреевны Гумилевой-Горенко были более «продвинутыми»! А если это так, то чем же все-таки задержала внимание художника чужая и наверняка, согласимся с самооценкой А.А., малопонятная ему русская дама? Вначале, похоже, тем, что была выразительной моделью для его «скульптурных рисунков». Современники в один голос утверждают, что Модильяни часами просиживал и в «Ротонде», и в других монпарнасских кафе в бесконечном ожидании подходящей натуры. «Жадной погоней за интересной натурой» объясняют мемуаристы и его постоянные блуждания по ночному Парижу. Не исключается, конечно, и банальный мужской интерес, но это наверняка лишь приправа, поскольку в чем в чем, а в *этом* (в красивых и опытных женщинах для необременительного секса) недостатка у него в те годы не было, а вот избыток наверняка был. Несмотря на строгое домашнее

воспитание, попав в Париж, Модильяни моментально раскрепостился, дабы не отличаться от типичных представителей интернациональной богемы. В очерке Ахматова упоминает, что ей известны воспоминания одного из друзей *Моди* – Фрэнсиса Карко. Правда, не уточняет, почему из множества свидетельств запомнились именно эти. На мой же взгляд, эти мемуары потому и запомнились, что объяснили то, чему Анна объяснения не находила. Вот что писал Фрэнсис Карко об отношении Модильяни к женщинам:

«Женщины, на которых производила сильное впечатление его замечательная красота, очень быстро в него влюблялись. То были большей частью иностранки или совсем простые девушки. Но Моди бросал их раньше, чем они успевали привязать его к себе. Он рвал все, что ему казалось цепью…» Стать исключением из этого правила удалось, как известно, только двум его возлюбленным. Эксцентричная англичанка Беатрис Хестингс, дама состоятельная и самостоятельная, поэтесса, журналистка, певица, циркачка, почти три года удерживала Модильяни «бездны мрачной на краю». К этой же поре относится, кстати, и расцвет его творчества. Затем появилась юная художница – тихая девушка из приличной французской семьи Жанна Эбютерн. На ней-то Амедео де-факто и женился, хотя не успел оформить этот союз де-юре. Судя по всему, Ахматова, работая над воспоминаниями, ревниво сравнивала себя с обеими. С Жанной тайно, с экстравагантной и отчаянно смелой англичанкой – открыто. Беатрис Хестингс удостоилась в ахматовском очерке характеристики столь уничижительной и несправедливой, что В.Я.Виленкин вынужден был это мнение оспорить, при всем своем пиетете к авторитету Ахматовой. И соперничество, и ревность задним числом были, скажем честно, беспочвенными. Ни на ту, ни на другую роль – властной и сильной подруги (вариант Беатрис) или тихой, навсегда влюбленной жены (вариант Жанны) – мадам Гумилева не годилась. Зато у нее было то, чего у них не было и быть не могло.

Есть у Гумилева удивительные стихи – про таинственное «Шестое чувство»:

> Так век за веком – скоро ли, Господь? —
> Под скальпелем природы и искусства
> Кричит наш дух, изнемогает плоть,
> Рождая орган для шестого чувства.

Век за веком… Его жене не нужно было ложиться под *скальпель* «природы и искусства»! Анна-провидица родилась с

органом для шестого чувства, чувства поэзии. И Модильяни, видимо, это учуял, ибо не только любил поэзию, но и владел тем, что называют «чувством огня над словом». Мог, например, ночью ворваться в семейный дом, в котором когда-то приметил сборник Верлена, и до утра читать его. И не про себя – вслух! Да так громко, что соседи чуть было не вызвали домовладельца, дабы сдать нарушителя спокойствия в полицейский участок. Трудно назвать мемуариста, который не отметил бы (с разной степенью удивления) эту странноватую для нелитератора особенность. Вот два факта, но число аналогичных свидетельств можно с легкостью увеличить.

Илья Эренбург: «Меня всегда удивляла его начитанность. Кажется, я не встречал другого художника, который бы так любил поэзию. Он читал на память и Данте, и Вийона, и Бодлера, и Рэмбо…»

Жак Лившиц: «Когда я теперь думаю о Модильяни, он почему-то всегда ассоциируется у меня с поэзией. Потому ли, что меня с ним познакомил поэт Макс Жакоб? Или потому, что когда Макс нас знакомил… Модильяни вдруг начал в полный голос читать наизусть „Божественную комедию“?.. И позднее, когда мы были уже давно знакомы, Модильяни часто поражал нас своей любовью к поэзии, иной раз в самые неподходящие для этого моменты».

Никогда больше Амедео Модильяни не встретит человека, который столь же твердо, как эта малопонятная ему чужестранка, был бы убежден, что нет и не может быть жизненной ситуации, для стихов неподходящей. А если этот человек еще и женщина, и притом юная и прелестная, и к тому же явно неравнодушная, пусть и не к его живописи, но к нему… Этого более чем достаточно – и для того, чтобы влюбившись, – «не слишком, а слегка», сдаться в плен, и столь же легко – вырваться из плена. Русская Анна нисколько не походила на скучающих иностранок, на которых производила сильное впечатление его замечательная красота, но Модильяни разорвал и эту цепь, причем, судя по всему, до того, как поэзия жизни обернулась жизненной прозой, то есть банальной связью. Конечно, это только предположение. В воспоминаниях о художнике есть смутное указание на то, что летом 1911 года Модильяни вдруг пропал. Оставил свои холсты в какой-то гостинице, неподалеку от мастерской, той самой, куда Анна Андреевна приходила с охапкой маленьких красных роз, и растворился в парижском тумане. Вынырнул он из тумана неизвестности лишь в августе 1911-го в маленькой нормандской деревушке, где его тетка по матери Лора Гарсен сняла дом в надежде, что осень у моря поправит здоровье любимого племянника. Вот только вряд ли внезапное исчезновение *Моди*

имело какое-то отношение к Анне Гумилевой. Госпожа Гарсен вспоминала впоследствии, что в то лето родные трижды высылали ему деньги на дорогу, а Дэдо никак не мог вырваться из Парижа из-за вцепившихся в него кредиторов…

Словом, на поверхности – сплошная разность. Но ежели копнуть глубже и глянуть дальше, окажется: в чем-то главном Анна и Амедео страшно похожи. Как и Модильяни, Ахматова почти на равных будет зачислена в круг открывателей новых путей в искусстве (по определению Ю.Н.Тынянова – новаторов). Но при этом, как и Модильяни, сохранит «архаический» ненасытный интерес к *не общему всем* переживанию. Да и с формальной стороны (старомодная наивность в сочетании со сложной простотой) резко выделят именно эту пару в агрессивно-футуристическом искусстве начала века. Они в нем оба – *беззаконные кометы.* Даже отношение коллег во многом подобно. В человеческом плане – почти любовное («О, как меня любили ваши деды!..»); в творческом – слегка снисходительное. Ахматова, к примеру, утверждала, что критики стали глядеть на нее более-менее внимательно только после того, как «Вечер» затвердила наизусть читающая публика. Впрочем, в дальнейшем снисходительное полувнимание критики, словно по воздуху, стало передаваться и *читателям стиха.* Да, ее любили, но – «почти стыдясь любви своей».[12]

Впрочем, все это – и книга, и критики, и слава – в будущем. А пока, повторимся, и Ахматова не Ахматова, и Модильяни еще не совсем Модильяни. И что бы ни развело в 1911 году «возлюбленную пару» после месяца более чем приятного для обеих сторон общения, «развод» был настолько бесповоротен, что Модильяни ни разу не поинтересовался у приезжавших из России художников и поэтов о судьбе героини своего летнего увлечения. Ни у Александры (Аси) Экстер, ни у Максимилиана Волошина, ни у того же Эренбурга, с которым, как следует из воспоминаний Ильи Григорьевича, регулярно общался с 1912-го по лето 1917 года. Предполагаю, что и Анна Андреевна преспокойненько «вынула» бы из своей памяти романтическое приключение, если бы… Если бы этот воздушно-платонический роман, совпавший с ее внезапной и длительной, почти на три месяца, отлучкой в Париж, и в самом деле не стал причиной слишком многих ее бедствий.

Интермедия вторая (июнь 1910–июль 1911)

И когда друг друга проклинали
В страсти, раскаленной добела,
Оба мы еще не понимали,
Как земля для двух людей мала…

Анна Ахматова

Напрягите воображение и представьте себе положение Гумилева в лето 1911 года. Он только что вернулся домой после полугодового путешествия в Африку. Обрадовал жену тем, что наконец-то расхвалил ее новые стихи, объявил, гордясь, что она поэт и нужно делать книгу, а она… Вместо того чтобы эту книгу делать, а также сдавать экзамены на историко-филологических женских курсах, куда по его настоянию записалась еще осенью, укатила в город, в котором почти скучала всего год назад…

Узнав, что супруга «дядюшки» в Париже, слепневские барышни зашептались. Хорошо, что хоть матушка ни о чем не спрашивает, видимо, решив, что *нравная* невестка *наказывает* ее сына «за Африку». В этом отношении Анна Ивановна была на стороне Анны Андреевны и очень-очень надеялась, что ночная кукушка в конце концов выбьет из сына опасную дурь. Но дни летели, надвигался день рождения Анны, и Николай, уверенный, что жена приедет хотя бы к 11 июня, завалил ее светелку белой сиренью. Уже в начале июня писал приятелю: «Аня, наверно, скоро вернется» (письмо к В.И.Иванову из Слепнева в Петербург от 3 июня). Миновал июнь, катился к макушке лета июль – но ни Анны, ни писем от нее не было…

Словом, если поступки и эмоции Модильяни нам более-менее понятны, то понять Анну Андреевну труднее. Чтобы понять, естественно, на уровне психологического допущения, потому что настоящей, последней правды мы все равно не узнаем, попробуем собрать и сопоставить все то, к сожалению, очень немногое, что известно о жизни Ахматовой в промежутке между двумя ее Парижами – с первых чисел июня 1910 года, то есть с возвращения из свадебного путешествия, по 13 июля (по старому стилю) 1911-го – в этот день беглянка наконец-то доберется до тверского имения Гумилевых.

По некоторым сведениям, на обратном пути из Франции, в начале июня 1910 года, Анна задержалась в Киеве, а Николай Степанович отправился в Слепнево. Биографы Ахматовой предполагают: разлучение молодоженов – следствие взаимных разочарований. Результат тайных неудовольствий, будто бы начавшихся уже во время медового месяца. Вряд ли это соответствует истине, иначе Ахматова не стала бы говорить Лукницкому, что в Париже они с Колей были очень дружны. Никаких трений, как уже упоминалось, не заметил между ними и С.К.Маковский, один из главных свидетелей по делу Черубины де Габриак, после которого среди «аполлоновцев» за Гумилевым закрепилась репутация «повесы из повес». О том, что разлучение было мнимым (любимое словцо Ахматовой), свидетельствуют и ее стихи свадебного года, обращенные к киевской кузине Марии Александровне Змунчилло. Мария Александровна, Наничка, хорошо относилась к Гумилеву и очень старалась, чтобы брак все-таки состоялся. Кому-кому, а уж ей наверняка было приятно узнать, что Аннушка (в стихах) вспоминает месяц своей свадьбы с удовольствием и даже с несвойственной ей растроганностью:

Весенним солнцем это утро пьяно,
И на террасе запах роз слышней,
А небо ярче синего фаянса.
Тетрадь в обложке мягкого сафьяна;
Читаю в ней элегии и стансы,
Написанные бабушке моей.

Дорогу вижу до ворот, и тумбы
Белеют четко в изумрудном дерне.
О, сердце любит сладостно и слепо!
И радуют пестреющие клумбы…

Вероятнее предположить, что разлучились «молодожены» по причине будничной, но по тем патриархальным временам немаловажной. Николаю Степановичу надо было как-то загладить перед матерью свое ослушание, объяснить, почему самовольно, не получив полагающегося родительского благословения, слишком поспешно женился. Во всяком случае, расстались они мирно, а проявлять свой «трудный характер» Анна стала позднее, после Киева, когда пришлось, как и было договорено, не сидеть в Царском, а ехать в Слепнево.

Началось, как водится, с мелочи, которую она тут же возвела в превосходную степень: Николай Степанович по совету матери, препоручив доставку жены в Слепнево своему племяннику Коле

Сверчкову, даже не встретил их в Бежецке! Ничего нарочитого, направленного против «нежеланной невестки» в распоряжении свекрови наверняка не таилось. Анна Ивановна Гумилева – человек разумный. Что сделано, то сделано. Поживем – увидим. А что золотую карету за «новобрачной» не выслала, так нету кареты, а лошади все в поле – страда. Да и какие это лошади – клячи рабочие. Зато бежецкие ямщики мигом домчат. С ветерком и колокольцами. Опять же неизвестно, с каким поездом господа прибудут, а Николай дома нужен: свадьба не свадьба, а объявили большой родственный сбор. Слава богу, погода наладилась, столы для парадного обеда можно на вольный воздух вынести – столовая маленькая, а на большой террасе еще сыро.

Все вроде бы правильно, но Анна надулась. Народу незнакомого тьма, и все заняты чем-то своим, непонятным и неинтересным. Вдобавок как стали рассаживаться, Николай почему-то не к ней, а к кузинам присоединился. И вообще – что за порядки? Чинно, степенно… У них в семье, да и у родичей, что маминых, что отцовых, все наспех, по-быстрому: как-нибудь. А здесь? Сонное царство какое-то!

У Гумилевых, особенно летом, в деревне, и в самом деле жить не торопились и «как-нибудей» не уважали. «Жизненный уклад в большом доме, – вспоминает Екатерина Чернова, внучка одной из сестер первой свекрови Анны Андреевны, – был несколько старомодный и даже торжественный. Все члены семьи собирались в столовой, но не садились на свои каждому определенные места, пока не входила Варвара Ивановна. Она была старшая, и разница в возрасте между ней и Анной Ивановной была большая. Анна Ивановна рассказывала, что на свадьбе Вареньки она сидела у невесты под юбкой. Варвара Ивановна немножко стилизовала себя под Екатерину Вторую, и в семье любили отмечать это сходство. Была она ниже ростом, чем Анна Ивановна, полная, но не расплывшаяся, держалась прямо и величественно, волосы седые, совершенно белые, и на них черная наколка; когда она входила в столовую, к ней подходила Анна Ивановна, старшая сестра обнимала ее, а остальным делала общее приветствие. Тогда можно было садиться за стол. Разговор был общий, но младшие не начинали его, а только отвечали на вопросы старших».

В старости и в Анне Андреевне начнут находить сходство с импозантной императрицей, и она, хотя и не совсем всерьез, будет обыгрывать, а иногда и разыгрывать королевствующий образ – стилизуя себя под Екатерину Вторую. Подчеркнуто прямая спина. Чересчур яркие и обильные седые волосы. Слишком величественные повороты головы и полужесты

маленьких изящных рук… Не вспоминала ли при этом Анна Андреевна слепневские торжественные обеды и королевствующую сестрицу свекрови? Если и вспоминала, то наверняка с удовольствием, не то что в молодости, при первых встречах с новыми родственниками…

Еле-еле дождавшись «перемены декораций» (чай решено было пить в столовой), Анна улизнула по-английски в свою светелку. В сердцах с грохотом задвинула щеколду. И чемодан распаковывать не стала. Николай, часа через три, поднялся по шаткой лесенке. Потоптался перед запертой дверью, да так и ушел – несолоно хлебавши. На цыпочках, стараясь не скрипеть рассохшимися ступеньками. А из сада, большого, фруктового, что за дорогой, долго еще доносился красивый девичий голос. Свежий, влажный и немного насмешливый:

На заре ты ее не буди,
На заре она сладко так спит…

Кто же из барышень Кузьминых-Караваевых так хорошо поет? Ольга или Маша? Кажется, все-таки Ольга…

Будить Анну к завтраку не пришлось. Проснулась сама. Ни свет ни заря. Но из-под одеяла не вылезла: ждала. Николай не появился. А когда внизу засуетились, очнувшись от покойного, по-слепневски сладкого сна, навела красоту, спустилась и с порога, полусолгав свекрови, что надо срочно показаться дантисту, приказала Коле-маленькому отвезти ее к петербургскому поезду. Гумилев, с утра пораньше ускакавший к соседям – звать в гости *на вечер,* вернувшись к обеду, жены не застал. Хотел было ехать за ней, но умная мать отсоветовала: пережди день-другой, пускай остынет и вылечит зуб. Пережидал. Анна не вернулась. Пришлось ехать мириться. Помирились. Даже съездили вместе в Павловск. Но мир продолжался недолго.

К Гумилеву, воспользовавшись отсутствием «старших», съехалась картежная холостая компания. Играли всю ночь, потом весь день отсыпались. Николай Степанович, сильно проигравшийся, был не в духе. К тому же с утра пораньше, пока другие «отдыхали», обложился книгами и картами. Осень-де не за горами, а осенью, мол, непременно уедет в Африку. Книги про Африку все больше французские. Во французском Гумилев, несмотря на два парижских года, не силен. То и дело приходилось лезть в словари. Анна могла бы помочь, но закапризничала и отказалась. Муж обиделся и стал насмешничать. Не зло, добродушно, дескать, лень прежде тебя

родилась. А тут еще Кузмин, как выигравший, послал за шампанским. Шампанское развязало ему язык, и он, чтобы не скучала, решил повеселить молодую хозяйку рассказом о прошлогоднем романе ее мужа с легендарной Черубиной де Габриак.

Про приключение Гумилева с мадемуазель Ч. Анна Андреевна впервые узнала от Толстого. Еще в Киеве. До свадьбы. Но Алексей изображал происшествие в комических красках: хромоножка и дурнушка заварила кашу, перессорила порядочных мужиков. И быть бы кровавой дуэли, ежели б Волошин не потерял калошу. А стреляться без калош, как человек осмотрительный и отчасти немецкого происхождения, наш коктебельский башневладелец, сама знаешь, Аннушка, не мог…

Кузмин рассказывал иначе. Мол, все было настоящим. И роман. И дуэль. А Елизавета Дмитриева, она же Черубина де Габриак, хотя и с изъянцем, в разврате толк знает.

Попытавшись выяснить у Николая, какая из версий больше похожа на правду, Анна неожиданно для себя нарвалась на такой бешеный взрыв ненависти, что даже оробела. Что должна была натворить та странная женщина, чтобы ее Коля, никогда ничего дурного не сказавший ни об одной из своих пассий, так взорвался? Однако задать мужу этот вопрос не посмела. Да у него и часа свободного не было, по уши в делах.

Так и не дождавшись этого свободного часа, Анна, осердясь, укатила в Киев. Коротая бессонную ночь, пыталась сочинять стихи, но перестук колес не совпадал с внутренним ритмом. А на рассвете, в полудреме, привиделось: Николай на чужом, сером в яблоках, жеребце, холеном, гладком, не чета слепневским рабочим меринам. Красуется. И не перед ее окном! Из ее боковушки Анна Ивановна называет эту клетушку светелкой – лица всадника не видно. Однако со спины, на высокой лошади, муж красив, даже слишком красив! «А ты думал… я тоже такая… Что можно… забыть… меня… Что я брошусь, моля и ры-да-я… под копыта твое-го ко-ня…»

…В коридоре засуетились. Поезд притормозил. Стихи остановились. До самого Киева, как ни старалась, – ни строчки. И в Киеве то же самое: *обезголосела.* Так и просидела весь август, забившись с ногами в угол дивана, букой и несмеяной. Ссорилась с сестрой, дерзила матери. Словно заколдовали, и из замужней элегантной дамы стала пятнадцатилетней дурындой. И боялась смотреть в зеркало. Как только вошла в переднюю, снимая новую шляпку (Наничка, насмешничая, назвала сие французское изобретение «шаплеткой»), глянула победоносно в зеркало и испугалась. Кожа несвежая. Под глазами круги. Губы в

запекшейся шершавости. Попробовала пошутить: фу, какой морд! И на такой морд Париж оборачивался? Не получалось. Сидела и ждала. Наконец принесли письмо, короткое, как телеграмма: «Если хочешь меня застать, возвращайся скорее, я уезжаю в Африку». Все. Ни просьб, ни сантиментов. Если хочешь… Ну, что ж, хочу. По приезде выяснилось, что Николай слукавил, до отъезда еще почти месяц. Отъезд запланирован, оказывается, на 15 сентября. Тринадцатого устроили прощальный вечер, но Гумилев сдал билет: Анна Ивановна, приболев, задерживалась в Слепневе. Не простившись с матерью, Николай Степанович уезжать не хотел, слишком помнил, чего стоил отцу его предыдущий африканский вояж…

Наконец и Анна Ивановна добралась до Царского, и двадцать второго, неделей позже намеченного, все-таки уехал. Минимум на четыре месяца. А скорее всего на полгода. Про четыре месяца сказано было Анне. Матери Николай назвал другой срок: не раньше марта.

Как же прожила Анна Андреевна, пока еще не Ахматова, эти бесконечно длинные полгода? Судя по стихам, правда, поздним, написанным на склоне лет, в начале «плодоносной осени», – беспечально:

Он не траурный, он не мрачный,
Он почти как сквозной дымок,
Полуброшенной новобрачной
Черно-белый легкий венок.
А под ним тот профиль горбатый,
И парижской челки атлас,
И зеленый, продолговатый,
Очень зорко видящий глаз.

В той же беспечальной тональности описаны месяцы «соломенного вдовства» и в «Автобиографических заметках», начатых во второй половине пятидесятых: «Осенью 1910 г. Гумилев уехал в Аддис-Абебу. Я осталась одна в гумилевском доме (Бульварная, д. Георгиевского). Как всегда, много читала, часто ездила в Петербург (главным образом к Вале Срезневской, тогда еще Тюльпановой), побывала и у мамы в Киеве, и сходила с ума от „Кипарисового ларца“. Стихи шли ровной волной, до этого ничего похожего не было. Я искала, находила, теряла… Чувствовала (довольно смутно), что начинает удаваться. А тут и хвалить начали… 25 марта 1911 г. старого стиля (Благовещенье) Гумилев вернулся из своего путешествия в Африку… В нашей первой беседе он между прочим спросил меня: „А стихи ты

писала?“ Я, тайно ликуя, ответила: „Да“. Он попросил почитать, прослушал несколько стихотворений и сказал: „Ты поэт – надо делать книгу“».

На самом деле возвращение Анны Андреевны из провинции в столицу, равно как и творческая история «Вечера», было роковым образом омрачено, окрашено в цвет траура полугодовым «соломенным вдовством». А особенно тем, что и первое замужнее Рождество, и первый семейный Новый год ей пришлось встретить в амплуа «полуброшенной новобрачной». Анна Андреевна суеверно относилась к такого рода датам. Максима любимого ею Лермонтова – «Во всякой жизни промелькнуло чувство, пробежало событие, которое никто, никогда и никому не откроет, а оно-то самое важное и есть, оно-то и дает по обыкновению направление и мыслям, и поступкам» – наверняка приложима к той ситуации, в которой она оказалась осенью 1910 года. Сказать, что утаенное Анной чувство – обида, а событие – отъезд мужа, – еще ничего не сказать, поскольку чувство было сложносоставным, а событием стал не столько сам отъезд, сколько отъезд в сочетании с множеством сопутствующих ему открытий. А что, если Николай – прирожденный бродяга и из их брака ничего не выйдет? Не получится даже такого странного союза, как у четы Блоков? Если бы провидческая догадка не промелькнула в жизни Анны Андреевны, вряд ли в ее записной книжке появилось бы такое горькое семистишие:

Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
…А я была его женой.

Наверняка доходили до Анны Андреевны и домашние толки о влюбленности Николая Степановича в Машеньку Кузьмину-Караваеву. Нет, она не ревновала или почти не ревновала, скорее, терялась в догадках. Ее четкий и здравый ум никак не мог совместить одновременность (а выходило именно так!) мужниных любовных историй. С Черубиной де Габриак. С Машенькой. И с ней, Анной. Спать с одной, слыть красиво влюбленным в другую, добиваться руки третьей? Да еще и уверять ее: «Я понял, что в жизни меня интересует только то, что имеет отношение к вам…» Вдобавок Валя Тюльпанова, знать ничего не знавшая ни о мнимой испанке, ни о слепневских амурах Гумилева, в припадке

откровенности назвала и еще одно имя – своей товарки по царскосельской гимназии, Лиды Аренс. Анна не поверила. О трех дочерях адмирала Аренса – Анне, Зое и Верочке – Николай ей и вправду что-то говорил, а об адмиральской племяннице Лиде – никогда. Ни единого слова. Но Валя клялась-божилась: все наши знают, Лида из-за романа с Гумилевым даже из дома ушла. Так кто же на самом деле тот, за кого она выходила замуж? Не по любви-страсти, а в надежде на опору, защиту и постоянство? Любовник Черубины, соблазнитель Лиды Аренс, нежный воздыхатель несчастной Машеньки Кузьминой-Караваевой?

Не будем забывать и о сугубо бытовых и крайне щекотливых оттенках ситуации, в какую Николай Степанович поставил жену своим отъездом: без родных, без друзей, в чужой среде и без какого-либо твердого занятия. Конечно, Анна Андреевна и виду не подает, что обижена, оскорблена и растеряна, но именно эти чувства определяют направление ее поступков и осенью 1910-го, и зимой-весной 1911-го…

Хотя Ахматова и утверждала в процитированной чуть выше «Автобиографической прозе», что после отъезда мужа осталась в его доме в полном одиночестве, это не соответствует истине. Вместе со свекровью, одной семьей, постоянно жила вдовая ее падчерица Александра Сверчкова с двумя детьми, семнадцатилетним Николаем и тринадцатилетней Марусей. А как только Николай Степанович уехал, в доме прочно осел его старший брат Дмитрий. И с Колей-маленьким, и с Марусей Анна Андреевна поладила. А вот с Дмитрием, особенно с супругой его, тоже, напомним, Анной и тоже Андреевной, вся разница в масти, отношения сразу же и навсегда не сложились. Старшая, белокурая, невестка, особа недалекая и педантичная, инстинктивно выдавливала младшую, черную худую овцу, из общесемейного распорядка, из-под «уютного домашнего кустика», сообщая (всему свету по секрету): «В дом влилось много чуждого элемента». Обратим внимание: не просто чужого – чуждого. Хотя вся вина «элемента» заключалась лишь в том, что «элемент» поздно вставал, войдя в столовую, говорил: «Здравствуйте все», за столом как бы отсутствовал, а вечером либо что-то писал, запершись в своем «будуаре», либо уезжал в Петербург и ночевал незнамо где, то ли у отца, то ли у подруги детства. Сильно не нравились Анне-блондинке и частые отлучки Анны-брюнетки в град Киев. Сколько денег на ветер! А деньги-то не ее – Колины, то есть общие, из-под *уютного кустика,* из семейной копилки!

Поведение Анны-брюнетки в зиму 1910/11 года и впрямь странновато для новобрачной. Даже для «полуброшенной». Уж очень «эмансипировалась»! Полгода назад от мужа ни на шаг не

отходила, а после его отъезда что ни вечер – в гости, а ежели на Башню, к Вячеславу Иванову, так и до утра. До того расхрабрилась, что самостоятельно, за десять дней до возвращения Гумилева, 16 марта 1911 года, не имея в активе ничего, кроме публикации стихотворения «Старый портрет» (Всеобщий журнал литературы, искусства, науки и общественной жизни. 1911. № 3), обратилась к влиятельному критику Г.И.Чулкову с письменной просьбой поговорить с Вячеславом Ивановым о ее приеме в «Общество ревнителей художественного слова» при редакции журнала «Аполлон». Да и в Киеве А.А. не просто побывала, а практически прожила более трех месяцев – с середины октября до начала декабря, затем весь январь. Ностальгических эмоций ни к городу горькой своей юности, ни к тамошним родственникам Анна Андреевна не испытывала. Зато они, родственники, теперь, когда *бедная Аня* заявлялась из столицы, нарядная и с подарками, внезапно нахлынувшей семейственной приязни не скрывали. К тому же все здесь было дешевле, чем в Царском. А главное, теплее. Позднеосенний и раннезимний Петербург она, мерзлячка, выносила с трудом. Имелось про запас и еще одно сугубо киевское преимущество: если родственные объятия становились слишком тесными и мешали стихам, можно было снять на неделю-другую комнату. Даже ту самую, с отдельным выходом в сад, откуда прошлым апрелем они с Николаем уезжали в Париж. Лучшей в ее жизни уже не будет. Особенно уютно в ней осенью – благодатной, изнемогающей от обилия цветов и фруктов.

Я говорю сейчас словами теми,
Что только раз рождаются в душе.
Жужжит пчела на белой хризантеме,
Так душно пахнет старое саше.

И комната, где окна слишком узки,
Хранит любовь и помнит старину,
А над кроватью надпись по-французски
Гласит: «Seigneur, avez pitié de nous».

Ты сказки давней горестных заметок,
Душа моя, не тронь и не ищи…
Смотрю, блестящих севрских статуэток
Померкли глянцевитые плащи.

Последний луч, и желтый, и тяжелый,
Застыл в букете ярких георгин,

И, как во сне, я слышу звук виолы
И редкие аккорды клавесин.

В стихах про комнату с букетом георгин речь идет о золотой покойной осени. Зиму же, диктуя Лукницкому хронику своей жизни, Ахматова назовет «беспокойной». Не объяснив, правда, причины беспокойства. Зачем? Дескать, об этом уже рассказали стихи!

В ахматоведении стало хорошим тоном считать, будто автобиографичность и дневниковость поэзии А.А. мнимая, не более чем прием. И это в принципе верно. Или почти верно, но лишь в приложении к поздней ее лирике. К тому же в отличие, например, от Цветаевой Ахматова и в поздние свои годы не создавала нечто из ничего. И не потому, что не хотела, а потому, что не умела. Могла выстроить воздушный, почти миражный замок, но – на фундаменте действительного, пусть и незначительного, на посторонний взгляд, происшествия. Даже пустяка. Оттого непоправимо и мучительно зависела от тонуса и наполнения «личной жизни». Причем особенно сильно зависела не столько в старости, когда главным содержанием ее внутренней жизни стали поиски прошлого, а именно в юности. Даже в первый замужний год:

Я живу, как кукушка в часах,
Не завидую птицам в лесах.
Заведут – и кукую.
Знаешь, долю такую
Лишь врагу
Пожелать я могу.

К счастью для нас, судьба избавила Анну от такой «доли». Она как-то сразу, не умом-рассудком, а чем-то, что умнее ума и практичней здравого смысла, сообразила: то, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они любят или не любят друг друга, тоже театр. Весь мир – театр, но в том, главном, где роль сценариста берет на себя Любовь, всегда и везде, во всем подлунном мире, играется одна и та же драма. Меняются костюмы и декорации, свет и машинерия, неизменны лишь амплуа. Мужских не так уж и много: ухажер, жених, муж, любовник, старый друг, милый друг. Зато женских не счесть, и ей, Анне, назначено – не выбирать, а принять все. Чтобы, выйдя на подмостки, иметь высшее право сказать *многим:* «Я голос ваш, жар вашего дыханья…»

Интуитивно, шестым чувством, тогда же сообразила: женский опыт, с таким трудом («Дал Ты мне молодость трудную…») нажитый к двадцати годам, годился лишь для двух эпизодических, не подходящих для примадонны Серебряного века ролей: провинциальной мечтательницы, невпопад влюбившейся в случайного прохожего потому только, что «пришла пора», да «неневестной невесты», зачем-то выскочившей замуж за хорошего, но совсем не созданного для семейной жизни и нелюбимого человека. И тот и другой сюжет требовали честной и точной, мужской, чеховской выделки прозы, не модной, не соответствующей духу времени. Стихи же из этого уже отработанного «сора» или не росли вовсе, или вырастали столь несовременными, что законодатели поэтической моды иронически улыбались: «Какой густой романтизм…» Даже Гумилев смутился: «Аннушка, ну зачем тебе это? Займись лучше балетом, ты же такая гибкая!»

Танцами? Как бы не так! И она сделала то единственное, что гарантировало успех: выбрала для дебюта самые банальные, и казалось бы, совершенно не подходящие, не отвечающие ее данным амплуа – амплуа молоденькой любовницы записного донжуана для большой столичной сцены Театра поэзии и Миньоны в полубалетной пасторали для его царскосельского филиала.

О «стройном» и «странном» мальчике, сыгравшем в царскосельской полубалетной пантомиме роль партнера Коломбины, то есть о лирическом герое и «Маскарада в парке», и «Алисы», и двух кокетливых миниатюр («Над водой» и «Я сошла с ума, о мальчик странный…»), мы знаем очень мало. Имя – Михаил Александрович Линдеберг. Место и дата его самоубийства «на романтической почве» – Владикавказ, ночь на 23 декабря 1911 года в казарме 3-й батареи 21-й артиллерийской бригады. А еще то, что вольноопределяющийся Линдеберг был сыном директора Санкт-Петербургского кадетского корпуса. Это сообщение разыскал в подшивках газеты «Новое время» Роман Тименчик, естественно, по наводке Ахматовой, после того как в черновиках прозы о «Поэме без героя» была обнаружена следующая запись: «Первый росток (росточек, толчок), который я десятилетиями скрывала от себя самой, – это, конечно, запись Пушкина: "Только первый любовник производит впечатление на женщину, как первый убитый на войне"! Всеволод (персонаж "Поэмы без героя" – *А.М.)* был не первым убитым и никогда моим любовником не был, но его самоубийство было так похоже на другую катастрофу… что они навсегда слились для меня». Ссылка на Пушкина дорогого стоит. Исказив и текст, и мысль Пушкина,

Ахматова невольно сказала гораздо больше, чем хотела сказать. У Пушкина *про это* сказано совсем не так: «Первый несчастный воздыхатель возбуждает чувствительность женщины, прочие или едва замечены, или служат лишь… Так, в начале сражения первый раненый производит болезненное впечатление и истощает сострадание наше…» (Материалы записных книжек. Т. 7. С. 301). На том же листке, на полях, написано и имя первого из ахматовских «воздыхателей» – Михаила Линдеберга, и, судя по контексту, заключающая фраза: «Никогда моим любовником не был» – относится не только к Всеволоду Князеву, но и к Линдебергу. А вот об адресате других стихотворений, написанных в те же месяцы: «Сжала руки под темной вуалью…», «Как соломинкой, пьешь мою душу…», «Надпись на неоконченном портрете», «Я и плакала, и каялась…», «Высоко в небе облачко серело…», «Сердце к сердцу не приковано…» – такого, при всем желании, уже не скажешь.

О том, что отношения с прототипом лирического героя рискованных лирических откровений, по моему предположению – Георгием Ивановичем Чулковым, были отнюдь не платоническими, Анна Андреевна упомянула задолго до «Поэмы без героя», еще в 1926 году, в откровенном разговоре с П.Н.Лукницким. Со слов Ахматовой Лукницкий, кажется, слегка шокированный откровенностью А.А., вписывает имя Чулкова в ее «донжуанский список» (перечень мужчин, с которыми она была близка); фиксирует и такой факт: «1915–1916. Встречи с Г.И.Чулковым, который живет в Царском Селе на Малой улице – в расстоянии одного квартала от дома Гумилевых». Ни Модильяни, ни Линдеберга в перечне «действительных любовников» нет, и это, кстати, еще один аргумент в пользу того, что на этот раз Анна Андреевна не лукавит и не темнит. Одно дело – легкий и красивый роман с бедным художником, и совсем другое – связь со взрослым женатым человеком и влиятельным критиком. Особенно если учесть, что у Чулкова было известное всему Петербургу свойство, принимавшее порой род недуга. Он славился тем, что с «неистовым энтузиазмом» продвигал юные дарования в печать. А так как в те годы он слыл фигурой такого ранга, что и впрямь мог сделать литературное имя (а мог не захотеть и не сделать), связь с ним, даже намек на вероятность связи, в моральном отношении предосудительна.

«Кто ты – брат мой или любовник?»

Не утверждаю, что Анна Андреевна сие обстоятельство не учла, вот только бросил ее «в объятия» влиятельного критика интерес совсем иного сорта. Георгий Чулков был неизменным спутником Блока в его хмельных шатаниях по кабакам с сомнительной репутацией и даже наставником по части блуда. Недоброжелатели взахлеб злословили. Дескать, Чулков выводит поэта чуть ли не за ручку из уединенного, на отшибе, отшельничества в мир тайной жизни столицы с ее «ночными бабочками» и отдельными кабинетами. В более узком кругу кое-что знали и о скандальном романе Георгия Ивановича с Любовью Дмитриевной Блок в зиму 1907/08 года. Вот как описала жена поэта своего партнера той зимы в книге «И были, и небылицы о Блоке и о себе»: «Пришедшая зима 1906–1907 года нашла меня совершенно подготовленной к ее очарованиям, ее „маскам“, ее „снежным кострам“, легкой любовной игре, опутавшей и закружившей всех нас. Мы не ломались, нет, упаси Господь! Мы просто и искренне все в эту зиму жили не глубокими, основными, жизненными слоями души, а ее каким-то легким хмелем… Мой партнер этой зимы, первая моя фантастическая „измена“ в общепринятом смысле слова, наверное, вспоминает с неменьшим удивлением, чем я, нашу нетягостную любовную игру. О, все было, и слезы, и театральный мой приход к его жене, и сцена à la Dostoevsky. Но из этого ничего не получилось, так как трезвая NN (жена) в нашу игру не входила и с удивлением пережидала, когда мы проснемся, когда ее верный, по существу, муж бросит маскарадную маску. Но мы безудержно летели в общем хороводе: „бег саней“, „медвежья полость“, „догоревшие хрустали“. Какой-то излюбленный всеми нами ресторанчик на островах с его немыслимыми, вульгарными „отдельными кабинетами“ (это-то и было заманчиво!). И легкость, легкость, легкость… Георгий Иванович, кроме того, обладал драгоценным чувством юмора, который верно удерживал нас от всякого „пересола“. Когда он несколько лет назад вернул мне мои „письма“ – вот это был уж пересол, тут чувство юмора ему изменило! Но я была им рада и с умилением перечитывала этот легкий, тонкий бред…»

В отличие от Любови Дмитриевны, Анна Ахматова, хотя и «рассекретила» свои отношения с Чулковым, вряд ли предполагала, что дневник Лукницкого будет издан при ее жизни. Не распространялся на сей счет и Чулков, видимо, связанный данным обещанием сделать все, чтобы никто не узнал об их отнюдь не платоническом романе. По этой причине в

биографических сочинениях об Анне Ахматовой Георгий Иванович хотя и присутствует, но совсем в ином амплуа – пожизненно верного друга. Однако, прежде чем выяснить детали крайне важной в реальной жизни Ахматовой коллизии, позволим себе небольшое отступление.

Твердо убежденная в том, что у поэта, как и у всякого человека, есть полное право скрыть то, что он по тем или иным причинам не хотел бы сделать общественным достоянием, Анна Андреевна сознательно утаила многие и многие подробности своей достаточно богатой личной жизни. Оставим пока вопрос, почему Анна Андреевна, весьма откровенная в одних случаях, скрытничает в других, ничуть не более щекотливых, и озаботимся другой проблемой: а имеем ли мы, читатели в потомстве, моральное право допытываться до истины? И не смахивает ли наше желание знать о любимом поэте если не все, то как можно больше на элементарное бытовое любопытство? Разумеется, каждый волен выбирать, но лично я считаю, что имеем, хотя бы уже потому, что сама Ахматова в своих пушкинских расследованиях с расхожими табу ничуть не считается. А кроме того, работая с пушкинскими документами, А.А. на своем опыте убедилась: нет ничего тайного, которое в конце концов не стало бы явным, и этого не надо бояться, ибо на суде истории «в оценке поздней оправдан будет каждый час».

Ну а теперь вернемся в осень 1910 года. Как уже упоминалось, Георгий Чулков о своем увлечении юной Ахматовой как бы умолчал. Не сделал их отношения достоянием молвы. И тем не менее не устоял перед соблазном оставить хотя бы еле заметный след, заметный только им двоим, в своих мемуарах, вышедших отдельным изданием в 1930 году («Годы странствий»): «Освобождаясь от декадентства, я освобождался вместе с тем от того петербургского романтизма, коим душа моя была надолго отравлена. Впрочем, мне предстояло еще раз припасть к этой хмельной чаше в 1911 году». Сделав после намеренно туманной фразы еще более туманный стилистический ход, дабы хотя бы формально *развести* «хмельную чашу» и Анна Андреевну Ахматову, Чулков рассказывает далее именно об этом, последнем ярком событии петербургской своей бурной «личной жизни»:

«Однажды на вернисаже выставки "Мира искусства" я заметил высокую стройную сероглазую женщину, окруженную сотрудниками «Аполлона», которая стояла перед картинами Судейкина. Меня познакомили. Через несколько дней был вечер Федора Сологуба. Часов в одиннадцать я вышел из Тенишевского зала. Моросил дождь, и характернейший петербургский вечер

окутал город своим синеватым волшебным сумраком. У подъезда я встретил опять сероглазую молодую даму. В петербургском вечернем тумане она похожа была на большую птицу, которая привыкла летать высоко, а теперь влачит по земле раненое крыло. Случилось так, что я предложил этой молодой даме довезти ее до вокзала: нам было по дороге. Она ехала на дачу. Мы опоздали и сели на вокзале за столик, ожидая следующего поезда».

Поскольку далее у Чулкова следует абзац, в котором, по моей гипотезе, сконтаминированы две беседы с Ахматовой, обе на Царскосельском вокзале, но в разное время, прервем его исповедь и предоставим слово героине. Стихи написаны во Франции, летом 1911-го, но, судя по деталям (ранняя осень, пожелтевшие вязы), речь в них идет все о том же сентябрьском синеватом вечере, когда Георгий Иванович, сделав вид, что им по пути, подвез приглянувшуюся даму. В тогдашнем Петербурге это было не «ухаживанием», а нормой поведения для мужчины, относящего себя к разряду «порядочных».

Мне с тобою пьяным весело —
Смысла нет в твоих рассказах.
Осень ранняя развесила
Флаги желтые на вязах.

Оба мы в страну обманную
Забрели и горько каемся,
Но зачем улыбкой странною
И застывшей улыбаемся?

Мы хотели муки жалящей
Вместо счастья безмятежного…
Не покину я товарища
И беспутного и нежного.

Ну а теперь опять вернемся к Чулкову и продолжим цитировать его вроде бы не имеющий никакой тайной «заначки» рассказ:

«Среди беседы моя новая знакомая сказала, между прочим:

– А вы знаете, что я пишу стихи?

Полагая, что это одна из тогдашних поэтесс, я равнодушно и рассеянно попросил ее прочесть что-нибудь. Она стала читать стихи, какие потом вошли в ее первую книгу "Вечер".

Первые же строфы… заставили меня насторожиться.

– Еще!.. Еще!.. Читайте еще, – бормотал я, наслаждаясь новою, своеобразною мелодией, тонким и острым благоуханием

живых стихов.

– Вы – поэт, – сказал я совсем не тем равнодушным голосом, каким просил ее читать свои стихи. Так я познакомился с Анной Андреевной Ахматовой. Я горжусь тем, что на мою долю выпало счастье предсказать ей ее большое место в русской поэзии в те дни, когда она еще не напечатала, кажется, ни одного своего стихотворения. Вскоре мне пришлось уехать в Париж на несколько месяцев. Там, в Париже, я опять встретил Ахматову. Это был 1911 год».

«Годы странствий», повторю, создавались в конце двадцатых, и Чулков, по понятным соображениям, навел тень на плетень. Тем не менее его жена Надежда Григорьевна после смерти Георгия Ивановича сочла своим долгом приоткрыть ровно полвека таимый секрет. Рассказала о том, что в мае 1911-го юная и очень красивая Ахматова появилась в Париже одновременно с ее мужем и в течение почти трех месяцев Георгий Иванович регулярно с ней виделся: «Я впервые встретилась с Ахматовой в Париже в 1911 году. Она приехала туда в одно время с моим мужем, а я приехала месяцем раньше… Г.И. писал мне из Петербурга, что открыл нового поэта… Он присылал мне ее стихи…»

Мемуары Надежды Григорьевны – еще одно, пусть и не прямое, свидетельство того, что Георгий Иванович в целях конспирации «слил в одно» несколько встреч с Ахматовой. Первое знакомство с интересной сероглазкой в редакции «Аполлона» (ранней осенью 1910-го) на вернисаже прижурнальных «мирискусников». Нечаянную встречу с ней же на петербургской, уже городской, выставке «Мира искусства», открывшейся для прессы 30 декабря 1910-го. И еще одну, видимо, уже не случайную, а оговоренную заранее, на вечере Федора Сологуба 1 марта 1911-го в концертном зале Тенишевского училища. Чулков как бы по забывчивости не уточняет даты, смазывает их, но в главном не лжесвидетельствует. Упоминаемый им первомартовский вечер Сологуба действительно состоялся «спустя несколько дней» после вернисажа художников «Мира искусства». Вот только не петербургского, а московского. Московская выставка открылась 26 февраля, и Г.И. был на ее открытии. Однако к первому марта вернулся в Петербург и присутствовал на вечере Сологуба. По-видимому, именно в тот весенний вечер Ахматова и прочитала Георгию Ивановичу стихи, составившие ядро книги «Вечер». При первой с ним встрече ранней осенью 1910-го ей пока нечем поразить неожиданного поклонника. Эффектными были разве что «Змея» да «Синий вечер». Даже «Сероглазый король» в сентябре еще не написан. Зато к 1 марта 1911 года уже создан зимний любовный цикл.

Вчитаемся же в эти строки (привожу лишь самые выразительные фрагменты входящих в него стихотворений):

8 января 1911. Киев:

Сжала руки под темной вуалью…
«Отчего ты сегодня бледна?» —
Оттого, что я терпкой печалью
Напоила его допьяна.

Как забуду? Он вышел, шатаясь,
Искривился мучительно рот…
Я сбежала, перил не касаясь,
Я бежала за ним до ворот.

Задыхаясь, я крикнула: «Шутка
Все, что было. Уйдешь, я умру».
Оглянулся спокойно и жутко
И сказал мне: «Не стой на ветру».

10 февраля 1911. Царское Село:

Как соломинкой, пьешь мою душу.
Знаю, вкус ее горек и хмелен.
Но я пытку мольбой не нарушу.
О, покой мой многонеделен.

Когда кончишь, скажи. Не печально,
Что души моей нет на свете.
Я пойду дорогой недальней
Посмотреть, как играют дети.

На кустах зацветет крыжовник,
И везут кирпичи за оградой.
Кто ты: брат мой или любовник,
Я не помню, и помнить не надо.

Как светло здесь и как бесприютно,
Отдыхает усталое тело…
А прохожие думают смутно:
Верно, только вчера овдовела.

Как видим, Анна Ахматова сразу же, на лету подхватила,

присвоила и мастерски обыграла изобретенный Чулковым образ: его увлечение женой Гумилева подобно *хмельной чаше.* Спустя два года в цикле «Смятение» она использует и еще одну находку Георгия Ивановича. Выражение «А я не могу взлететь, хоть с детства была крылатой…» фактически дублирует тот фрагмент из книги «Годы странствий», где Чулков сравнил Анну Андреевну с птицей, влачащей по земле раненое крыло.

Георгий Чулков, хотя вроде бы жил нараспашку, был человеком скрытным. Это видно даже по тому, как он пишет о себе в «Годах странствий» – всегда словно в третьем лице. А люди скрытные сплошь и рядом проговариваются, если уверены, что никто и никогда не догадается, что спрятано, что таится за их невнятными (вроде бы!) показаниями. Скажем, такой сюжет. Известно, например, что в первой юности Анна Горенко, к месту не к месту, дабы щегольнуть сказочной гибкостью, делала «змею». Об этом, кстати, вспоминает и Надежда Григорьевна Чулкова все в тех же парижских заметках о знакомстве с Ахматовой, но вряд ли Н.Г.Чулкова впрямую связывает этот факт со следующим пассажем из парижской корреспонденции мужа, отправленной в Петербург ранним летом 1911 года (абзац этот, заметим, совершенно не вяжется с темой корреспонденции – отчетом о заседании палаты депутатов, на котором оппозиция жестко критиковала какое-то постановление правительства): «Я часто захожу в Jardin des plantes, в этот прелестный уголок Парижа, сохранивший очарование прошлых дней. Мимо «Martin» (обезьянника. – *А.М.),* возле которого всегда стоит толпа зевак, мимо невероятных павлинов, мимо гиппопотама с мордой, похожей на чемодан, я спешу пройти к помещению, где дремлют змеи. Меня влекут к себе почему-то эти странные существа, с таким сильным и гибким телом, с таким изысканным рисунком на коже и такими непонятными глазами, влюбленными в какую-то нам неведомую тишину. Я всегда жду с волнением, когда проснется одна из этих индийских красавиц и обратит на меня свой загадочный и чарующий взгляд». Тот же, кстати, змеиный образ – изысканность внешнего «рисунка» и тайно смертельный яд волшебного напитка – мелькнет и в рецензии Чулкова на одну из публикаций А.А. в газете «Утро России»: «Изысканность поэтического дара Ахматовой… в утонченности переживаний… Почти в каждом стихотворении… как в бокале благоуханного вина, заключен тайно смертельный яд иронии…» Отметим: отзыв Чулкова – первая восторженная рецензия на ахматовские публикации. До Чулкова рецензенты лишь мельком упоминали ее имя.

Словом, познакомился Г.И.Чулков с Анной Ахматовой не

совсем так, как это описано в «Годах странствий». Зато другое его свидетельство – «Я горжусь тем, что на мою долю выпало счастье предсказать ей (Ахматовой. – *А.М.)* ее большое место в русской поэзии в те дни, когда она еще не напечатала, кажется, ни одного своего стихотворения» – истинная правда. Конечно, и оно могло бы показаться тщеславным, и притом задним числом преувеличенным, если бы не повесть Чулкова «Слепые», вышедшая в одиннадцатом, за 1910 год, номере «Вестника Европы», то есть действительно в то время, когда Анна Андреевна Гумилева-Горенко еще не печаталась (ее первая публикация в России – февраль 1911-го).

«Слепые» имели шумный, почти сенсационный успех, так как Чулков рассказал в этой маленькой повести историю своего романа с Любовью Дмитриевной Блок (в «Слепых» она выведена под именем Любови Николаевны Бешметьевой). Между тем эта безлюбая с обеих сторон *лав стори* занимает в ней отнюдь не центральное место. Куда больше страниц отведено в «Слепых» страстно-романтическим отношениям Лунина[13] (то бишь Чулкова) с женой инженера Полянского Анной, с которой он знакомится вскоре после отъезда ее супруга в экспедицию. Любовь Николаевна всего лишь большая розово-белокурая кукла, Анна же подается как женщина страстная, «красоты необычайной», созданная не для забавы, а для великой земной любви. К тому же талантливая и загадочная. Даже младшая сестра госпожи Полянской, хотя и сама неравнодушна к Лунину, влюблена в нее. Вот этот фрагмент.

«– А вам нравится Анна? – неожиданно спросила Наташа, наивно и доверчиво заглядывая в лицо Лунина.

– Нравится.

– Да. Да. Она – необыкновенный человек!.. Если бы я была мужчиной, я бы сказала ей, что пусть она прикажет мне – и я брошусь в огонь, умру за нее. Но я боюсь ее… она жестока. Она никого не жалеет. Она только красоту любит… Если человек слабый и бесталанный будет гибнуть у нее на глазах, она не пожалеет его никогда. А вот над стихами Пушкина она плачет. Прочтет: "Когда для смертного умолкнет шумный день", – и слезы, слезы… А как она красива!.. У нее лицо меняется как небо. Тень такая серебристая пробежит – и все черты, все краски делаются новыми, неожиданными… А какие брови у нее умные и строгие. И тишина в них какая. А где-то в глубине глаз – черная буря».

Лунин, а он художник-портретист, пленен, очарован, он хотел бы написать Анну, но ее прелесть неуловима. К тому же муж Анны – человек непредсказуемый и «одержимый» («похож на

автомобиль… и в нем рычаги какие-то», по характеристике Наташи, опять же совпадающей с мнением Валерии Сергеевны о Гумилеве) – вот-вот должен вернуться из экспедиции, кажется алтайской. Что-то будет? Любовь-страсть, чтобы длиться, должна верить, что ей нет конца, а Анна живет сегодняшним днем: «И когда Лунин увидел ее распустившиеся волосы и глаза, потемневшие от страсти, он богомольно прижался к ее ногам… Они вышли на террасу, и Анна, простирая руки, громко кричала:

– Здравствуй, апрель!

И вот, когда она так стояла с поднятыми к небу руками, изнемогая от любви,[14] Лунин вдруг сделался мрачным, как будто вспомнил что-то.

– Когда приедет муж? – спросил Лунин сухо, стараясь не смотреть в глаза Анны.

– В июле, вероятно. Он сам не знает, должно быть…»

Интрижка с графиней Бешметьевой (Менделеевой) кончается легким конфузом. Графу (Блоку) не до измен жены, у него свои роковые страсти и свои снежно-звездные умопомрачения. С машиноподобным ревнивцем этот номер не прошел: кончилось дуэлью со смертным исходом. Но не смерть инженера-путешественника разводит любовников, а внезапный триумф Анны. Сменив фамилию, она становится знаменитой актрисой.

Герои расстаются, портрет Анны с воздетыми к небу руками и глазами, потемневшими от страсти, остается недописанным…

Согласитесь, что Чулков-Лунин имел право гордиться тем, что предсказал Гумилевой-Полянской внезапную славу, а у Анны Ахматовой-Томилиной были некоторые основания сделать «надпись на неоконченном портрете». Вот эту:

О, не вздыхайте обо мне,
Печаль преступна и напрасна,
Я здесь на сером полотне,
Возникла странно и неясно.
Взлетевших рук излом больной,
В глазах улыбка исступленья,
Я не могла бы стать иной
Пред горьким часом наслажденья.

Подозреваю: и госпожа Чулкова, прилежно читавшая все, что выходило из-под пера супруга в рукописи, обратила внимание на замеченные нами «странные сближения». А если и нет, то у нее наверняка имелись и более веские доказательства того, что у Г.И. очередной припадок влюбленности. Во всяком случае, вернувшись из путешествия по Европе, в Петербург, к его

хмельным чашам Чулковы не вернулись. Обосновались в Москве. Георгий Иванович в мемуарных записках объяснил перемену места жительства тем, что после Европы захотелось тишины и покоя. Но вряд ли это объяснение исчерпывает сложность ситуации… Сомнительно, чтобы Надежда Григорьевна, зная способность мужа заново и по-новому влюбляться в дам своего выбора (он и в нее, по его же словам, раз восемь влюблялся, и все по-разному), совсем уж забыла об Анне Андреевне. Чувствуя это, Георгий Иванович, приезжая в Питер, неизменно сообщал жене, где именно в данный момент находится не только госпожа Гумилева, но и господин Гумилев.[15]

Женский расчет Надежды Григорьевны (с глаз долой – из сердца вон!) оказался верным: хмель постепенно выветрился, и когда весной 1913-го Чулков вновь замелькал на столичном небосклоне, об очаровании прошлых дней речи уже не было.

Ахматову это задело. Лишний поклонник ей был теперь не так уж и нужен, но то, что милый, добрый и любезный Георгий Иванович вяло, без прежнего восторга реагирует на появляющиеся в периодике стихи из «Четок», приводило в недоумение.

Совокупность вышеуказанных обстоятельств, видимо, и послужила тем жизненным импульсом, тем «сором общежития», на котором вырос чудо-цветок – знаменитое «Сколько просьб у любимой всегда, у разлюбленной просьб не бывает…» (февраль 1913 г.). Во всяком случае, в окружении Ахматовой в 1913 году не было человека, чью биографию она могла бы назвать «славной» («В биографии славной твоей разве можно оставить пробелы…»).[16]

Георгий Чулков, как и следовало ожидать, поспешил исправиться. 11 ноября 1913 г. Н.Г.Чулкова сообщает мужу такую пикантную новость: «Белкину дали иллюстрировать твой рассказ. Он хочет изобразить тебя, меня и Ахматову. Не правда ли – очень мило?»

Не думаю, чтобы умную Надежду Ивановну сильно заботило любопытство «молвы», а вот непредсказуемости Гумилева, только что (30 сентября 1913 г.) вернувшегося из Африки, памятуя о дуэли его с Волошиным, она наверняка опасалась. А ну как они оба, муж и этот африканский охотник, по дурости сцепятся и что-нибудь натворят? К тому же той осенью 1913-го у супругов Чулковых появились куда более серьезные причины для нешуточной тревоги. Вернувшись в Петербург (февраль 1913 г.), Георгий Иванович, как и десять лет назад, азартно «ввинчивается» в культурный неугомон столицы. Он снова – в центре и в курсе и, как и встарь, – нарасхват. Не забывает и себя. Издает один за

другим романы, повести, стихи, ввязывается в дискуссии и бывает везде, поражая энергией коллег. О Чулкове предвоенной поры модная беллетристка Тэффи вспоминает как об очень красивом, любезном и талантливом человеке. Он и в самом деле в полном расцвете творческих сил и физических возможностей. И даже при очень хороших деньгах, настолько хороших, что обзаводится собственной квартирой – большой и по соседству с ахматовской Тучкой. (Тучкой Гумилев называл комнатушку, которую снимал на Тучковой набережной, поступив в университет.) Но уже в ноябре здоровье Георгия Ивановича стало сдавать. К концу зимы врачи поставили диагноз: резкое обострение хронического туберкулеза, может быть – скоротечная форма. Пришлось в срочном порядке, не дожидаясь опасной для легочников петербургской гнилой весны, уехать в Швейцарию. Диагноз, видимо, был не совсем точным, развитие болезни удалось приостановить. Георгий Иванович вновь воскрес и, как и пять лет назад, очарован навестившей супругов художницей Зинаидой Серебряковой. Однако об Анне не забывает. И сердится, что та не отвечает на его послания. «А ты письма мои береги,/ Чтобы нас рассудили потомки…»

Писем Г.И.Чулкова Ахматова не сберегла. Да, видимо, и не берегла, а из ее писем к нему сохранилось всего два. Одно нейтральное (1930 г.), в котором она благодарит старого друга за заботы во время ее визита в Москву. А вот письмо, отправленное из Слепнева в Лозанну в июле 1914 года, имеет самое непосредственное отношение к нашему сюжету. Анна Андреевна только что вернулась из Киева, где у нее состоялось тщательно продуманное и давно запланированное свидание с Николаем Владимировичем Недоброво. Однако о поездке в Киев в письме к Чулкову ни слова. Хотя, казалось бы, почему не сообщить доброму другу, засыпавшему ее письмами и изнывающему от безделья среди швейцарских красот, об этом пусть и небольшом, но событии? Не потому ли, что не так уж приятно сознаваться самой себе в том, что Киев стал в ее женской судьбе чем-то вроде города для тайных свиданий? Конечно, ни Георгий Иванович, с которым Анна Андреевна, по моему предположению, «свиданничала» в древнем городе на Днепре в январе 1911 года, ни Николай Владимирович Недоброво, с которым она повторит аналогичный «проект» в июне 1914-го, об этом никогда не узнают, но…

Предвижу вопрос: а какие у меня основания для столь рискованного предположения?

Прежде всего, конечно, более чем красноречивые строки из ахматовского стихотворения «Высоко в небе облачко серело…»

(февраль 1911 г.):

О нем гадала я в канун Крещенья.
Я в январе была его подругой.

И в канун Крещенья (то есть 6 января 1911 г.), и весь тот январь Анна Андреевна прожила в Киеве, и никаких других претендентов на ее внимание, кроме Георгия Ивановича, у нее в те месяцы еще не было. Даже Линдеберг, судя по датам обращенных к нему стихотворений, замаячит на ее горизонте только после того, как Чулков в феврале 1911 года уедет в Москву на выставку «Мира искусства».

О том, что в январе 1911-го и именно в Киеве Анна встречалась с Чулковым, свидетельствуют не только процитированные строки. Но для того чтобы это доказать, придется переместиться из зимы 1911-го в лето 1914 года. Чулков все еще в Швейцарии. Анна Андреевна, вернувшись в Слепнево из Киева, получает от Георгия Ивановича письмо, в котором тот просит прислать ему хотя бы новые стихи. Анна Андреевна, усовестившись, обещает: «Когда будут стихи, пошлю Вам непременно», и даже успевает отослать в Швейцарию киевские лирические зарисовки. Через несколько дней война отрежет Георгия Ивановича от родины. Стихи, в которых Ахматова живописует любимые с отрочества киевские церкви, станут последней весточкой. И от Анны, и из России.

Древний город словно вымер,
Странен мой приезд.
Над рекой своей Владимир
Поднял черный крест.

Липы шумные и вязы
По садам темны,
Звезд иглистые алмазы
К Богу взнесены.

Путь мой жертвенный и славный
Здесь окончу я,
И со мной лишь ты, мне равный,
Да любовь моя.

* * *

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога,
Где бы она ни вилась.

То слышали ангелы золотые
И в белом гробу Ярослав.
Как голуби, вьются слова простые
И ныне у солнечных глав.

И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек на ней.
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.

Чулковы вернулись в Россию в начале 1915-го. Пробирались через Румынию и Украину. Оказавшись в Киеве, Георгий Иванович сразу же отправляется в Софийский собор – смотреть мозаики, с юности восхищавшие Ахматову. Затем идет в Кирилловскую церковь. Тут-то и начинается мысленный спор с Анной. Цитирую этот фрагмент из книги «Годы странствий»: «Из Румынии мы поехали в Киев. Там пошел я в Софийский собор смотреть мозаики… Из Софийского собора отправился я на противоположный конец смотреть Врубеля в Кирилловской церкви… Я не хочу умалить Врубеля… Но всмотритесь в эту живопись, сравните ее хотя бы с мозаиками Софийского собора, и вы убедитесь, что у Врубеля стилизованная монументальность. Конечно, это не слащавые красивости Васнецова, которыми восхищаются обыватели во Владимирском соборе. У Врубеля все серьезно и убедительно. Но тем страшнее. Я не в первый раз был в Кирилловской церкви. Должен признаться, что ранее я не сознавал с такой отчетливостью опасности Врубеля. Теперь же, когда шумела мировая война, я почувствовал историю. Я стал различать в ней, в истории, все «реальности» и все «мнимости» с зоркостью, до тех дней мне не свойственной. Я понял, что Врубель опасен… В стенописи Кирилловской церкви можно уже угадать будущих «демонов», коими соблазнился художник».

Как видим, предмет спора – собор Святого Владимира и Врубель. У Ахматовой в стихах – полное согласие с «обывателями», ее не возмущают «слащавые красивости Васнецова». Для нее Владимирский собор и его вознесенный над древним городом черный крест – такая же святыня, как и легендарная София. Но спор о Васнецове не главное. Главное –

продолжение разговора о Врубеле, не сегодня, в январе 1915-го, начавшегося, и не с неким абстрактным собеседником, а именно с Анной. Мысль о том, что Врубель – демон, что «от него все демоны XX века», – ее любимая, затверженная, задушевная мысль. И вот что интересно. Как следует из текста, Чулков в Киеве не в первый раз, но единственный храм, который он осматривает не впервые, – это любимая Анной Андреевной Кирилловская церковь с росписями Врубеля, его знаменитая Богородица «с безумными», по ее определению, глазами. Однако и на этот счет у Чулкова другое, отличное от ахматовского, мнение. Дескать, уже то, что Врубель писал апостолов с «несчастных сумасшедших» (пациентов ближайшей лечебницы для душевнобольных), «указывает на духовную слепоту» художника. Не нравится ему и Богородица: «На первый взгляд торжествует дивный монументальный стиль Византии», свободный от психологизма, а ежели всмотреться – стилизация. Чтобы с такой дотошностью оспаривать соображения, высказанные не в специальной искусствоведческой работе, а всего лишь в лирических стихотворениях да разговорах с их автором, надо, согласитесь, быть очень задетым. И не профессионально – по-человечески.

О многом говорит, на мой взгляд, и вот какой факт. Вернувшись в Россию, Чулков снимает квартиру в Царском Селе. Заглохший было роман начинает растепливаться,[17] но, так и не разгоревшись, угасает, ибо судьба Георгия Ивановича делает неожиданный поворот, амурным приключениям не способствующий. Надежда Григорьевна после пятнадцати лет бесплодного супружества вдруг забеременеет и благополучно родит своему верному, в сущности, донжуану долгожданного сына.

Допустим, полусогласится дотошный читатель, стихи, которые *людская молвь* связывает с Модильяни, относятся не к нему. Но какое отношение имеют собранные вами факты (предположим, что это и в самом деле факты) к тому сюжету, который и впрямь является в судьбе Ахматовой роковым – ее внезапному, «рассудку вопреки, наперекор стихиям», побегу в Париж? Ведь по совокупности обстоятельств инициатору этого якобы засекреченного романа выгоднее было спрятать концы в воду, утаить от жены очередное опьянение чужой юностью и красотой? Не против же желания господина Чулкова Анна приехала в Париж одновременно с ним?

Что касается возражения первого, то в нем есть резон. Многие поэты, в их числе Александр Пушкин и Иосиф Бродский, утверждали, что жизнь и творчество – вещи несовместные. Однако другие авторы, в том числе и знаменитые,

придерживаются прямо противоположной точки зрения. Гете, например, считал лучшей критической работой о себе исследование, автор которого самостоятельно, без подсказок и наводок поэта, обнаружил самую непосредственную связь между знаменитыми «Римскими элегиями» и теми сугубо житейскими обстоятельствами, в каких Гете оказался в годы их создания. Сходную позицию занимал, кстати, и Константин Батюшков: только тот стихотворец – истинный поэт, кто живет, как пишет, и пишет, как живет. Такой тип творческого поведения он называл «пиэтической диетикой». Ахматова строжайшей «диетике» следовала далеко не всегда. Порой и впрямь могла превратить пойманную на лету фразу в стих. Однако подобного рода «присвоений» у нее совсем немного. К тому же пойманные в воздухе, в шуме времени, в гомоне общежития импульсы укоренялись, давали побег и шли в рост только тогда, когда оказывались сочувственными, соответствующими состоянию-положению-переживанию, уже забродившему в творческом тигле, но еще не нашедшему «первого» слова, еще не умеющему сказаться. И что бы ни утверждали теоретики и критики, читатель интуитивно, по инстинкту, выбирает (для личного пользования!), запоминает наизусть, присваивает, использует как добавку к собственному сердечному опыту прежде всего произведения, обеспеченные реальным, взятым из действительного происшествия, а не сочиненным (выдуманным) переживанием.

Что же касается положения второго – по какой такой причине Анна Андреевна в мае 1911 года оказалась в Париже, – то этот вопрос из тех, на какие документы по своей воле не отвечают. Чтобы заставить их *заговорить,* придется, следуя путем исторических реконструкций Ю.Н.Тынянова, автора «Кюхли» и «Смерти Вазир-Мухтара», не побояться сделать лишний шаг в указанном им направлении: «Я начинаю там, где кончается документ».

Сделаем же этот шаг…

1910 год. Последняя декада сентября. Осень выдалась ранняя, но не по-петербургски яркая и теплая. Справившись с делами, Георгий Иванович завернул в любимый их с Блоком кабак на Мойке. Вышел уже в первых сумерках и удивился: к дверям поселившегося под той же аркой новорожденного «Аполлона» подъезжали стильные экипажи, из которых выпархивали столичные жар-птицы, декольтированные, в вечерних туалетах, в сопровождении соответствующих черно-белых, офраченных, «в шик опроборенных» господ. Чулков, хоть и был подшофе, присоединился. Выяснилось, что в журнале вернисаж – пробный

показ художников группы «Мир искуства» перед большой, приуроченной к Новому году выставкой в музее Первого кадетского корпуса. К этой выставке Зинаида Серебрякова писала его, Чулкова, портрет. Портрета среди выставленных в журнальной галерее работ Георгий Иванович не обнаружил и, чувствуя себя не совсем уютно среди разнаряженной публики, хотел было подвинуться к выходу, но не ушел. Перед картиной Сергея Судейкина стояла юная высокая и стройная темноволосая женщина, плотно и почтительно окруженная сотрудниками «Аполлона». Заметив, что на нее смотрят, она сильно смутилась. Неловко протиснувшись сквозь стерегущую незнакомку живую изгородь, Георгий Иванович шепотом попросил ближайшего из «охранников» – познакомь, дескать. И осекся: протянув маленькую руку с массивным обручальным кольцом, дама не произнесла ни слова. Раздосадованный, он снова стал медленно продвигаться к выходу. В дверях все-таки оглянулся и встретился с женой африканца глазами: глаза у новоиспеченной мадам Гумилевой были светлые.

Дойдя фланирующим шагом до самого Невского, Чулков неожиданно для себя повернул обратно, и уже не шел, а почти бежал. Интуиция не подвела: перед подъездом маячила одинокая женская фигурка… Он замедлил шаги, соображая, как объяснить свое возвращение, но объяснение не понадобилось. Не зная, с чего начать, начал с самого банального, с Сережи Судейкина. Анна перестала топорщиться и, как-то по-детски сбиваясь, призналась, что с художником не знакома, а про фамилию эту – Судейкин – знает от своего отца. За отцом, мол, следили. Он заметил и пошел в жандармское управление к Судейкину, отцу художника, сказал: если хотят следить, пусть делают это незаметно, а то нервирует и мешает работать. Судейкин вызвал кого-то и приказал привести того сыщика. Когда сыщик явился, Судейкин спросил, ему ли поручено следить за А.А.Горенко, и, получив утвердительный ответ, показал кулак. А совсем скоро Судейкина-старшего убили, а ее отца все-таки выслали из Петербурга.

Многозначительно помолчав, Чулков стал рассказывать о своих сыщиках и жандармах. И о ссылке в Сибирь, о том, как добирался до места назначения: целый месяц плыли по Лене в лодке, якуты пьяные, как доплыли, непонятно. И как прожили с Надей, женой, два года в юрте. Знаете, Анечка, там вечная мерзлота, и луговая клубника, как в леднике, до весны ни вкуса, ни аромата не теряет.

Когда шесть лет спустя, в 1916-м, Георгий Иванович уезжал на фронт и попросил Анну проводить его (Надежда Григорьевна

не могла, заболел маленький), она призналась, что в тот первый их вечер ужас как боялась, что Чулков начнет к ней «приставать». Поутихшие к той поре толки о его романе с женой Блока были для нее, провинциалки, наисвежайшей столичной сплетней. Шла рядом, улыбалась, а думала: неужели этот долговязый красавец, этот специалист по женам поэтов, и ее, как Любовь Дмитриевну, пригласит в какой-нибудь мерзкий ресторан?

А он никуда не приглашал, даже не придерживал из учтивости под руку, просто шел рядом и похож был не на коварного соблазнителя, а на протестантского пастора. И до вокзала не проводил, остановил извозчика. Правда, прощаясь, предложил: приезжайте ко мне в Павловск, мы с Надей там дачку снимаем. Жена уже в августе норовит в город удрать, а я – до ноября. Работа срочная, в Питере – суета сует. Анна замялась, и Чулков тут же перевел стрелки: «Послезавтра, на Башне, у Вячеслава Иванова, надеюсь, увидимся». На Башне, в понедельник, и передал, точнее, передвинул по столешнице записку: «В среду. Днем. Буду ждать на платформе. С подругой и без. С часу до трех. Г.И.». И, не дожидаясь ответа, исчез по-английски. Переполошившись, Анна кинулась к Вале. Валя отнеслась к рассказу подруги на удивление спокойно. А почему бы нам, Анюта, не погулять в Павловске? Сколько лет ты не была там осенью? Осень в Павловске – диво дивное. Если не сидеть в ресторане…

В отличие от Анны Валерия Сергеевна Тюльпанова, пока еще не Срезневская, опаздывать не любила, чем крайне обрадовала Григория Ивановича. «И с чего ты взяла, что он похож на пастора? По-моему, на благородного разбойника!» Вале-Валечке благородный разбойник понравился, и его избушка на курьих ножках тоже. Кончался сентябрь, а осень все еще улыбалась почти по-летнему. На небе ни облачка. Георгий Иванович декламировал Тютчева:

> И льется чистая и теплая лазурь
> На отдыхающее поле.

И так – до середины октября. А в октябре в договоренное воскресенье у головного вагона Валя не появилась. Потом объяснила: Срезневский не отпустил. Анна, поколебавшись, поехала одна и по обыкновению перепутала расписание. На перроне в Павловске никого не было. Хотела вернуться в Царское, но уж очень хорош был день – классическое бабье лето. Несмотря на топографическую тупость, легко отыскала чулковскую избушку среди полутора десятка почти одинаковых «коммерческих» дачек.

Но не успела открыть калитку, как хлынул дождь. И какой – будто июльский! Сдернув щегольскую шляпку, только вчера купленную специально для воскресной прогулки, и кое-как укутав ее косынкой, уже не спеша, – какой смысл прятаться, ежели льет как из ведра, – дернула входную дверь. Георгий Иванович, присев на корточки, раздувал огонь в круглой финской печке. «А я так и знал, что промокнете. Скидывайте-ка башмаки и залезайте с ногами в кресло. Сейчас тепло будет, и волосы распустите, не ровен час простудитесь. И чай заварим, как это у Лермонтова? „О Боге, о вселенной, о том, как пить – ром с чаем или голый ром“. Одет был Георгий Иванович по-разбойничьи, эдаким Карлом Моором: свитер грубой вязки, кожаная безрукавка и – кудри черные до плеч. Седины в полумраке избушки на курьих ножках почти не было заметно. Минут через десять и впрямь стало уютно теплеть. Анна вынула шпильки, наклонила голову. Чулков, оглянувшись, вдруг подошел, снял с кресла как куклу и поставил лицом к окну. „Постойте так и поднимите руки“. – „Зачем?“ – „Затем, что я пишу срочно в номер повесть. Герой – художник, влюблен в женщину с длинными, до пят, волосами, ее, как и вас, зовут Анна, и она тоже замужем. За человеком, уехавшим в какую-то экспедицию. Перед самым вашим приходом перебеливал сцену их тайного свидания. В старом загородном доме, который художник снимает у местного священника“. – „А дальше?“ – „А дальше уже написано: любовь, ревность, дуэль, смерть, прощание навеки. Хотите прочесть? Только, чур, сначала вы. Валечка мне давеча по секрету поведала: с детства пишете стихи“.

Свои стихи Анна читать отказалась, да и рукопись вернула хозяину, дескать, почерка не разбираю. Георгий Иванович открыл печную дверцу, раздул задремавший было огонь и, надев очки, начал читать. Читал он по-актерски, «выразительно» и «моветонно». Анна настроилась иронически, но, вслушавшись, насторожилась.

«– Итак, на пятнадцати шагах, – сказал граф, ни к кому не обращаясь.

Он отломал две сухие ветки и поставил барьер.

Когда Полянский и Лунин взяли пистолеты и разошлись, граф сказал холодно и сухо, как заученный урок:

– Господа! Вы доказали вашу готовность драться… Господин Полянский, я считаю своим долгом предложить вам отказаться от выстрела и примириться с господином Луниным.

– Я не хочу примирения, – сказал Полянский твердо.

Первым выстрелил Полянский.

– А… О… А! – крикнул Лунин и уронил пистолет.

Полянский опустил руку и спокойно стоял у барьера. Лицо

его не изменилось. Своими пустыми серыми глазами он смотрел на Лунина, побледневшего от боли, как будто не замечая его.

– За вами выстрел, если можете стрелять, – сказал граф Лунину.

– Хочу, хочу, – сказал Лунин, улыбаясь, и, неловко нагнувшись, взял пистолет. Он выстрелил, не подходя к барьеру…

Когда доктор, чтобы нащупать сердце, повернул Полянского на спину, глаза его, неподвижные, были, как всегда, пусты; лицо было похоже на маску».

Анна смотрела на Георгия Ивановича с недоумением: неужели он осмелится такое напечатать? Ведь это же почти дословный, исключая финал, пересказ дуэли Гумилева с Волошиным! А это про Николая Степановича: «Он – неудержимый, и в нем рычаги какие-то». Да это же из гумилевских стихов: «Я словно идол механический среди фарфоровых игрушек»?

Чулков пробовал защищаться:

– Гумилев поэт, а Полянский инженер, и Лунин не литератор, а художник, и героиня не поэтесса, а актриса и даже дочь деревенского священника! Вот увидите, на первую часть повести никто и внимания не обратит, накинутся, как на клубничку, на роман Лунина с Любовью Николаевной, то бишь Дмитриевной…

– А жена?

– А жена ежели и догадается, вида не подаст, она у меня умная. Тем более что я в «Слепых» и с ней объяснился. Вот, читайте сами, у меня голос сел.

«Жену свою я люблю и уважаю, но бывают у меня какие-то припадки странные – иначе мои безнравственные поступки затрудняюсь назвать. Вдруг что-то загорится на сердце при иной встрече, и тогда пиши пропало: непременно спутаюсь и что-нибудь натворю.

Потом это проходит. И даже как-то нежнее и болезненнее после этого жену любишь…»

– И что же, и при встрече со мной, тогда, в «Аполлоне», *загорелось?*

– И с вами…

– И тоже пройдет?

– Все проходит.

Ночью в Царском, дождавшись, пока в доме все успокоится, Анна, изорвав в клочки, сожгла в пепельнице записочку Георгия Ивановича, переданную ей на Башне. Но заснуть не получалось. Мерещилось: тающий мартовский снег, на снегу пистолет, растерянное лицо живого Чулкова и спокойное и важное –

мертвого Коли. Чтобы отделаться от этого ужаса, почти заставила себя выкликнуть первую строчку. Главное – первая строчка, а потом слова и чувства сами собой соединятся друг с другом, сплетутся и защитят от леденящего душу страха. Стихи пришли, но от страха не освободили:[18]

Если в небе луна не бродит,
А стынет – ночи печать…
Мертвый муж мой приходит
Любовные письма читать.

В шкатулке резного дуба
Он помнит тайный замок,
Стучат по паркету грубо
Шаги закованных ног.

Сверяет часы свиданий
И подписей смутный узор.
Разве мало ему страданий,
Что вынес он до сих пор?

Проснувшись, Анна выглянула в окно: вчерашнего почти летнего ненастья как не бывало. Легкий ночной морозец вычистил и выгладил раскисшую землю. И от ночных страхов – ни следочка. Как всегда «с пересыпа» ломило в висках, но на душе было покойно, впервые с тех пор как оказалась в этом нежилом доме. Она попробовала как можно точнее, ничего не прибавляя, записать словами неожиданное состояние – тревожного покоя – и почти испугалась: слова сами, словно под диктовку кого-то незримого, складывались в строчки, ломкие и прозрачные, будто первый ледок:

Я написала слова,
Что долго сказать не смела.
Тупо болит голова,
Страшно немеет тело.

Смолк отдаленный рожок,
В сердце все те же загадки.
Легкий осенний снежок
Лег на крокетной площадке.

Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!

Я не хотела мешать
Тому, кто привык веселиться.

Милым простила губам
Я их жестокую шутку…
О, вы приедете к нам
Завтра по первопутку.

Свечи в гостиной зажгут,
Днем их мерцанье нежнее,
Целый букет принесут
Роз из оранжереи.

Роз из оранжереи… Роз из оранжереи… ро-ра-ре… Неужели началось?

Только бы не спугнуть удачу…

Митина половина, Анна Андреевна Гумилева – старшая, в кружевном передничке и нитяных перчаточках, распределяла по вазам предусмотрительно, еще с вечера срезанные свекровью поздние розы…

Листьям последним шуршать!
Мыслям последним томиться!

…Через два дня Анна была уже в Киеве, но остановилась не у родственников, сняла комнату. Неподалеку от своей любимой Врубелевской церкви.

Каждое утро хозяйка дома и сада ставила ей на крылечко глиняный горлач со свежими белыми хризантемами. Иногда добавляла и несколько маленьких желтых и темно-красных георгин. На закате георгины начинали пылать. За стеной робко пробовала голос скрипка – мадам пополняла свой скудный вдовий бюджет частными уроками музыки.

И наступил ноябрь. И все кончилось: хризантемы, тепло, груши. Последними спрятались от тоски и непогоды стихи. И опять стали сниться нехорошие сны, почти в каждом – Николай, мертвый или израненный. Убегая от навязчивых кошмаров, Анна переехала к кузине, но и здесь, в Наничкином нарядном уюте, не жилось и не пелось. А в Царском что? Чужой, неприветливый, не ее дом… Но она вернулась. Вот так в бессонницу вертишься-крутишься, с правого боку на левый, со спины на живот, а сна нет как нет. Вале хорошо, чуть что – и в слезы, а она, Анна, бесслезная. И все-таки и она разрыдалась, позорно, при всех,

навзрыд. В Рождество. Как стали обмениваться подарками, Маруся с торжествующим видом поставила перед тетушкой коробку. Буржуйскую, обтянутую материей в цветочек. Оказывается, перед отъездом Гумилев договорился с племянницей, что та будет держать язык за зубами, дотерпит до Рождества и лично вручит Аннушке *его* подарок. Чего там только не было! Николай словно подслушал все ее невысказанные «хочу это». Шесть пар шелковых чулок, духи «Коти», два фунта шоколада от Крафта, черепаховый гребень с шишками. И еще томик Тристана Корбьера «Les amours jaunes».[19]

Сколько просьб у любимой всегда… А вот киевские стихи прочесть некому. Маковский, которому она отнесла «Сероглазого короля», только кивнул, дескать, будем печатать, и в «Вестнике искусств» – то же самое: недурно для начала. Разве ей это надо?

Анна столкнулась с Чулковым у входа на выставку, от него и узнала, что «Аполлон», в полном составе, присутствовал на открытии выставки «мирискусников». Отметился и только что, всей «бандой», отбыл в «Вену», а он, увы, задержался по срочной надобности, из-за статейки о выставке. Прошлись по полупустой зале. Выйдя, стали выглядывать извозчика, Георгий Иванович явно спешил и, когда Анна предложила почитать новые стихи, с трудом сдержал раздражение. Правда, после кофе с коньяком в вокзальном буфете чуток оттаял, но слушал рассеянно, и вдруг лицо его стало странно меняться.

Хочешь знать, как все это было?

– Еще.

Свечи в гостиной зажгут…

– Еще!

Тетрадь в обложке мягкого сафьяна…

– Еще…

– А еще я уезжаю в Киев.

– И где же и когда мы там встретимся?

– В Киеве? Крещенским утром, в Кирилловской церкви, у врубелевской Богородицы.

Всю дорогу Анна торжествовала и только дома сообразила: она опять в круглых дурах! Воленс-ноленс придется тащиться в Киев, а господин первый критик наверняка решил, что его просто отшили.

В том, что его не отшили, Георгий Иванович был отнюдь не уверен, но почему бы не прокатиться? К тому же ему действительно нужно посмотреть киевского Врубеля. Он начал писать о нем большую работу.

Когда потом, после всего, Анна Андреевна попыталась

разобраться в своих отношениях с Чулковым, она спрашивала себя: почему этот лишний роман – вот уж воистину «тепл, а не горяч и не холоден» – так долго длился? Угасал на годы и снова растепливался, чтобы так и не разгореться? Ведь и про себя с ним, и про него с ней, про них двоих – все-все поняла уже в крещенские киевские недели! «Кто ты, брат мне или любовник, я не помню, и помнить не надо»… И еще тогда же о тех же летучих и легких днях:

О, как вернуть вас, быстрые недели
Его любви воздушной и минутной!

В его присутствии *дух тяжести* покидал ее душу и тело, и при этом почему-то ничто не изменялось. «Карл Моор» ничему не мешал. Ни стихам, ни чувствам, и линия судьбы ни разу из-за него не дрогнула, не отклонилась от предначертанного. Возвращаясь с «тайных свиданий», Анна открывала тетрадку и торопясь записывала:

Ива на небе пустом распластала
Веер сквозной.
Может быть, лучше, что я не стала
Вашей женой.

И не испытывала ни стыда, ни угрызений совести. И в страшный год «Реквиема», у мрачных ворот Крестов, она будет вспоминать себя такой, какой была в воздушные чулковские недели: «Рассказать бы тебе, насмешнице и любимице всех друзей, царскосельской веселой грешнице…» Даже злясь, а злилась она всякий раз, когда исподтишка, словно тайная сыщица, складывала впрок, в сокровищницу памяти, «его слова, улыбки и движенья». Сравнивала и злилась:

Отчего же, отчего же ты
Лучше, чем избранник мой?

Они и разъехались весело: Георгий Иванович в Москву, Анна – домой, в Питер. Расставались на месяц – до марта:

Высоко в небе облачко серело,
Как беличья расстеленная шкурка.
Он мне сказал: «Не жаль, что ваше тело

Растает в марте, хрупкая Снегурка!»

Как и было условлено, Георгий Иванович вернулся в столицу утром 1 марта и объявился на вечере Федора Сологуба. Сославшись на головную боль, Анна выскользнула из зала. Опять взяли извозчика. На этот раз Чулков никуда не спешил, а если бы и спешил, наплевал бы на все дела. Стихи, которые Снегурка написала в феврале, пока он бражничал и бездельничал в Москве, ударили в голову, сделали ватными ноги, он словно захмелел, и, как всегда во хмелю, тихо-тайно заныла, казалось бы, давно зарубцевавшаяся рана. Нет, не зависть, завидовать Чулков не умел, каждому свое, и этого *своего* у него, удачника, куры не клюют. А сердце ныло. А испуганные глаза глядели на него строго, как будто сероглазка читала в его душе то, что и для него было «надписью на непонятном языке»…

За Колиным письменным столом, Колиной «аглицкой ручкой», на его голубоватой, с водяным знаком дорогой бумаге, не своим, с наклоном и нажимом почерком Анна старательно, словно на уроке чистописания, перебелила разбросанные по тетрадкам, записанные абы как, задом наперед, сочиненные после сентября стихи. Сначала по числам-датам, потом перетасовала как колоду игральных карт. Георгий Иванович не преувеличил: это была книга! Ее первой книге не хватало совсем-совсем немногого: имени, предисловия и еще нескольких горьких, драматических нот.

Той же ночью Анна их отыскала – в потемках своей совести, там, куда всю зиму старалась не заглядывать:

Я и плакала и каялась,
Хоть бы с неба грянул гром!
Сердце темное измаялось
В нежилом дому твоем.

Утром перечитала и, затвердив наизусть, снова засунула в самый темный угол «подвала памяти». И Чулкову не прочитала. Вале, правда, показала, но Валерии Сергеевне, занятой предсвадебными хлопотами, в ту весну было не до Аничкиных стихов. Да и Георгий Иванович занят выше головы: выколачивает деньги из «Шиповника» за собрание сочинений (Чулковы всем семейством – жена, сестры – собирались за границу, во Францию, и надолго). Иногда, между прочим, он полуспрашивал, полуприглашал: «Может, и вы, Анна, рискнете? На прекрасную Францию, как на красивую женщину, надо смотреть не в будни, а

в праздники! В день Бастилии, например. Ваш сумеречный остров искусств, облюбованный нищими художниками, разве это настоящий Париж? Это задворки Парижа!..»

Встречались они теперь только на Башне, по понедельникам. Лишь в самом конце марта, проводив жену и старшую сестру в Париж, Чулков наконец-то пригласил Анну «на острова»… Когда добралась до Царского, начинало светать. Увидев сквозь неплотно задернутую гардину свет от большой гостевой лампы, Анна слегка струхнула: неужели не спят? В гостиной в Колином кресле сидел кто-то не свой. Оказалось, и впрямь не совсем свой! Андрей Антонович Горенко смотрел на блудную дочь с ироническим любопытством: «Вот так вы, бабы, и попадаетесь! Муж вернулся, а жена в нетях…» Ей бы промолчать, а она, сбиваясь, понесла: Валя, ее денежный жених, «Астория»… Отец улыбался все так же иронически, но смотрел мимо, поверх ее головы. Анна оглянулась. В проеме, у раскрытой двери в столовую, стоял Николай Степанович с маленьким кофейником в левой руке и с коньячной «заначкой» в правой… Слышал или не слышал, как она нагло, в расчете на отцовские уши, лгала?

Прислонясь спиной к остывающей печке, Анна почти спала стоя. Кукушка в старинных часах тоже дремала, в суматохе ее забыли завести. Николай рассказывал про свою Африку – подробно, глухим, простуженным голосом. 22 сентября выехал из Петербурга в Одессу. В октябре был уже в Африке. В ноябре прошел через пустыню Черчер, достиг Аддис-Абебы. Новый, 1911 год встречал там… Аддис-Абеба… Пустыня Черчер…

Скучно… Тоска… Но отцу почему-то не скучно. Он даже пропустил первый поезд. Анна вызвалась провожать, оттягивая неизбежный тет-а-тет с мужем. Тет-а-тета не получилось. Пока она отсыпалась и чистила перышки, Гумилев успел превратить весь нижний этаж дома чуть ли не в цирк. Коля-маленький перетаскивает «бебехи» из передней в столовую. У всех домашних на лицах выражение детского, почти рождественского любопытства и предвкушения: что там в чемоданах? Но Коля их не распаковывает, велит Шурочке растопить камин: а ну-ка, сестричка, докажи царским истопникам, что только у Гумилевых камины никогда не глохнут и не чадят. Анна Ивановна пробует остановить сына: у камина средь бела дня не сидят, – но маменькин баловень водружает на стол какую-то странную косматую емкость. Разливает всем, даже Марусе, «волшебный напиток» и страшным голосом чревовещателя объявляет:

– Внимание! Внимание! Первое и единственное представление! 1910 год в Абиссинии, или Трогательные приключения поэта-охотника на африканских гиен!

Маруся, взвизгнув от восторга, бросается задергивать занавески, а Анна, резко отодвинув чашу с «волшебным напитком», поднимается и, грохнув стулом, уходит. И только в дверях, вполоборота, произносит самым ледяным из своих стервозных голосов: «Когда кончишь представление, Марусю пошли, у меня от твоей Африки несварение чувств».

По окончании «представления» Николай заявился сам. Присел за ее рабочий столик, то ли письменный, то ли туалетный, педантично заточил карандаши и, выбрав чернильный, бегло, явно не сочиняя, а записывая отшлифованный в уме текст, вручил:

Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.

А думал – забавницу,
Гадал – своенравницу,
Веселую птицу-певунью.

Покликаешь – морщится,
Обнимешь – топорщится,
А выйдет луна – затомится,
И смотрит, и стонет,
Как будто хоронит
Кого-то – и хочет топиться.

Твержу ей: «Крещеному,
С тобой по-мудреному
Возиться теперь мне не в пору.
Снеси-ка истому ты
В днепровские омуты,
На грешную Лысую гору».

Молчит – только ежится,
И все ей неможется,
Мне жалко ее, виноватую,
Как птицу подбитую,
Березу подрытую,
Над очастью, Богом заклятую.

С неделю Анна крепилась, отвечала вежливо, улыбалась приветливо, даже завтракала со всеми. И вдруг, проснувшись среди ночи и увидев, что в мужниной комнате все еще горит

лампа, сказала себе вслух, правда, не очень громко, так, чтобы Николай не услышал: *ни на Лысой горе, ни на тебе, таком занятом, свет клином не сошелся.*

На Башне, улучив удобный момент, легко, небрежно спросила Чулкова:

– А вы еще не забыли, что приглашали меня в Париж?

В первое мгновение Чулков растерялся, но тут же нашелся: «Как можно забыть: две Анны на шее приятнее, чем одна! Я ведь не один еду, а с сестрицей младшей, Анной Ивановной. Она вам понравится, вот увидите».[20]

Надежда Григорьевна Чулкова, увидев мужа, идущего к ней от вагона с двумя дамами, одна другой краше, была несколько шокирована. Но Георгий Иванович весело объяснил, что госпожу Гумилеву поручили их совместной заботе и опеке питерские друзья. Прошу любить и жаловать, я же тебе писал, Наденька…

Ни одной парижской фотографии Анны Ахматовой, к сожалению, не сохранилось. Воспоминания Надежды Григорьевны несколько восполняют этот пробел: «Ахматова тогда была очень молода… На ней было белое платье и белая широкополая соломенная шляпа с большим белым страусиным пером – это перо ей привез только что вернувшийся тогда из Абиссинии ее муж – поэт Н.С.Гумилев. Мы посетили однажды какой-то ресторан на Монмартре и дивились на увеселения иностранцев в этом злачном месте. Вышли оттуда под утро и любовались Парижем, просыпающимся… и готовящимся к наступающему дню. Бесконечные обозы со свежими продуктами направлялись к Центральному рынку – то был деловой утренний Париж. Несмотря на ранний час, мы почему-то зашли на молочную ферму и пили парное молоко. Приятно было освежиться от ночного пьяного дурмана в шумном собрании Монмартра. Эти ночные увеселительные места посещаются главным образом иностранцами – парижан там не увидишь. Но маленькие кафе, которыми изобилует Париж, совсем другого стиля. Здесь за столиком французы проводят время за чашкой кофе и скромной выпивкой, иногда целой семьей или компанией друзей. На маленькую эстраду выходят рассказчики и певцы и незатейливо и простодушно развлекают посетителей своими песенками и остротами, слегка приправленными нескромными словечками и намеками».

На автопортрете, который Анна Ахматова напишет в мае 1913 года, она в том же платье и в той же шляпе, но выражение лица у нее здесь другое – скорее грустное и растерянное, чем победительное:

Перо задело о верх экипажа.
Я поглядела в глаза его.
Томилось сердце, не зная даже
Причины горя своего.
……
Бензина запах и сирени,
Насторожившийся покой…
Он снова тронул мои колени
Почти недрогнувшей рукой.

Судя по концовке стихотворения, Чулков в Париже, даже если они оставались вдвоем, не выходил из наскоро сочиненного сценария (гид-опекун восходящей звезды), а Ахматова была слишком молода и самолюбива, чтобы сочувственно войти в то крайне затруднительное положение, в какое Георгий Иванович по легкомыслию поставил и ее, и себя, а главное, жену.[21] Естественно, она «отомстила». Н.Г.Чулкова вспоминает, что когда они ужинали в кафе, какой-то француз, сосед по столику, незаметно положил Анне записочку в туфлю (башмаки, как вспоминала Ахматова, были новокупленные и жали, и она украдкой – под скатертью кто заметит – их скинула…). По-видимому, зазывная и не слишком скромная записочка была не единственной. Во всяком случае, в «донжуанском списке», сохраненном Лукницким, рядышком с Чулковым присутствует под индексом NN и некий французский адвокат. Приключение, как и следовало ожидать, кончилось разочарованием, подозреваю, что обоюдным, иначе в ахматовских парижских черновиках за май-июль 1911 года не оказалось бы следующего текста:

В углу старик, похожий на барана,
Внимательно читает «Фигаро».
В моей руке просохшее перо,
Идти домой еще как будто рано.

Тебе велела я, чтоб ты ушел.
Мне сразу всё глаза твои сказали…
Опилки густо устилают пол,
И пахнет спиртом в полукруглой зале.

И это юность – светлая пора
……
Да лучше б я повесилась вчера
Или под поезд бросилась сегодня.

Ни вешаться, ни бросаться под поезд Анна Андреевна Гумилева не собиралась. А вот о том, чтобы сесть в поезд и заявиться в Слепнево как раз ко дню своего рождения (11 июня), в невеселое то утро в пустой «Ротонде», видимо, подумывала, тем паче что червонцев, при ее неумении экономить, оставалось в обрез. И парижская атласная челка, и маленькие, на манер чалмы, «шаплетки», и узкие с разрезом юбки, которыми пришлось срочно заменить неудобно-маркое белое платье и широкополую шляпу с полумаскарадным страусовым пером, стоили денег, и немалых. Думаю, что Анна (не Каренина) так бы и сделала, когда бы из розоватого парижского тумана не выплыло невероятно, неправдоподобно прекрасное лицо прошлогоднего «приставалы». Впрочем, очередная таинственная встреча могла бы обернуться очередной невстречей, если бы Антиной, не выпуская из своих неожиданно крупных и властных ладоней ее рук, не заговорил стихами. Нет-нет, не читал, не декламировал – он говорил стихи, и говорил так, как если бы был совершенно уверен: ни один человек во всем белом свете, кроме этой испуганной чужестранки, не догадается, кто же их написал. Не договорив последней строфы, Модильяни приоткрыл ладони и прижался губами к ее пальцам. Последняя строфа в любимом стихотворении Верлена была самая главная, Анна помнила ее наизусть…

Когда они вышли из «Ротонды», туман уже рассеялся. Люксембургский сад, умытый ночным ливнем, сиял от счастья, любители ранних утренних прогулок толпились перед пунктом проката за раскладными стульями, но Антиной, поймав ее вопрошающий взгляд, скинул странную свою курточку и бросил на не просохшую еще скамью. Догадавшись, что у него нет денег, Анна повела его к себе – завтракать. Как хорошо, что хозяйственная Надежда Григорьевна заставила ее сделать неприкосновенный запас: бутылка красного вина, яблоки, сыр.

– Вот, – сказала она, опростав корзинку, – завтракать будем по-итальянски, ни кофе, ни спиртовки у меня нет.

Антиной выбрал самое круглое – красно-бело-зеленое яблоко и протянул ей:

«J'ai oublie de vous dire que je suis juif…» (Я забыл вам сказать, что я еврей.)

Интермедия третья (1911)

Боль я знаю нестерпимую,
Стыд обратного пути…

Анна Ахматова

По сравнению с тем, что испытала «изменница» на обратном пути из Парижа в июле 1911-го, терзания прошлогодней зимы – *змеи сердечной угрызенья* – казались какими-то ненастоящими, мнимыми. Не заезжая в Царское, переночевала у отца и первым же поездом отправилась в Слепнево. В вагон не вошла, курила в тамбуре, сочиняя (на всякий случай) две разные оправдательные версии. Одну для Николая, вторую для свекрови. Как и многие нелегко и неловко лгущие женщины, Анна еще в отрочестве догадалась: больше всего похожа на ложь истинная правда. Сочинив и отредактировав обе, почти перестала нервничать, собралась и из вагона вышла «победительницей жизни». С новой прической – парижская атласная челка. И в новом парижском туалете. Прощай, белое старомодное платье, в котором три месяца назад щеголяла в столице европейской моды! Глубоко запрятанное смятение и нарочитая победительность выглядели, видимо, столь непонятно, что горбатенькая прислужница при дамской комнате в Бежецке, знавшая всю округу в лицо, отказалась признать в заграничной штучке молодую барыню, приезжавшую к сестрам Львовым еще прошлым летом. И даже сказала кому-то: «К слепневским господам хранацужанка приехала». Анна рассмеялась, развеселилась, но на подъезде к усадьбе опять запаниковала. Паника оказалась напрасной: ни одна из придуманных версий не пригодилась. Анна Ивановна встретила беглую невестку почти благодушно, как если бы та воротилась всего лишь из Киева. Да и Гумилев ни капельки не походил на измученного черной ревностью обманутого мужа. Скользнул глазами по ее узкому, в облипочку, платью, по фасонистой челке – и то и другое ему явно понравилось. А после обеда подвесил в сиренях привезенный из Африки затейливый гамак, уселся по-турецки на пожухлую от затянувшегося зноя траву и долго-долго читал стихи. Свои, чужие. Анна чуть было не задремала. И если б не проклятая записочка от Антиноя, которую впопыхах засунула в купленный у букинистов томик Теофиля Готье, для Николая же и купленный… Пораженная перекошенным, как от зубной боли, лицом мужа, Анна не сразу и вспомнила, что за крамола таилась в клочке дешевой

рисовальной бумаги. Попыталась объясниться, но тот как отрезал: отношения, которые приходится выяснять, не стоят того, чтобы их выяснять. О том, как это произошло, Ахматова пятнадцать лет спустя достаточно подробно рассказала Лукницкому. «По возвращении из Парижа, – записывает Павел Николаевич, – А.А подарила Н.С. книжку Готье. Входит в комнату – он белый сидит, склонив голову. Дает ей письмо… Письмо это прислал А. один итальянский художник, с которым у А. ничего решительно не было».

Запись, к сожалению, дефектная, Лукницкий записывал с голоса, а главное, не уточнил, был ли поразивший Гумилева текст письмом или всего лишь запиской. Предполагаю, однако, что почтовый конверт в тоненькой книжице не заметить трудно, фактически невозможно. А вот клочок рисовальной бумаги легче легкого сунуть в первый попавший на глаза томик и начисто о нем позабыть.

Впрочем, остренькое сие шильце вылезло из мешка не сразу, не в день приезда, и Анна Андреевна успела вдосталь наудивляться на своего «рыцаря бедного». От петербургского Гумилева, культивирующего «уверенную строгость», в Слепневе не осталось и следа. Николаю вроде и в голову не приходило, что установленная здесь иерархия, согласно которой главенство наследуется по старшинству, ущемляет его самолюбие. Он с удовольствием принимал порядок, заведенный испокон веку. Еще больше дивилась Анна легкости, с какой этот чопорный в общении с коллегами человек находил общий, какой-то птичий язык с юнцами и юницами. Сочинял нелепые скетчи, заполнял прабабушкины альбомы рифмованными комплиментами… Одно оставалось неизменным: ни минуты без дела. Лошади, крокет, теннис, цирк-театр…

Как и прежний хозяин тверского «дворянского гнезда» Лев Иванович Львов, и Анна Ивановна Гумилева, и старшие ее сестры считали унаследованное от покойного родителя владение общесемейной дачей. Ни на старый фруктовый сад, ни на ученого садовника не тратились. Зато и теннисный корт, и крокетную площадку обновляли к каждому сезону, своими силами, по-домашнему. Лучшим теннисистом среди здешней молодежи считался Гумилев. И как это ему удается, при его-то астигматизме?

Вера Неведомская, самоуверенная супруга богатого соседа, единственного достаточного помещика на всю округу, описав в мемуарах слепневские июли как череду театрализованных развлечений, изобретателем которых был Гумилев, замечает не без злорадства, что жена Николая Степановича выглядела на этом

нарядном фоне смешно и даже нелепо: «У Ахматовой строгое лицо послушницы из староверческого скита. Все черты лица слишком острые, чтобы назвать его красивым. Серые глаза без улыбки. Ей могло быть тогда 21–22 года. За столом она молчала, и сразу почувствовалось, что в семье мужа она чужая. В этой патриархальной семье и сам Николай Степанович, и его жена были как белые вороны. Мать огорчалась тем, что сын не хотел служить ни в гвардии, ни по дипломатической части, а стал поэтом, пропадает в Африке и жену привел какую-то чудную: пишет стихи, все молчит, ходит то в темном сарафане, то в экстравагантных парижских туалетах».

Ахматова недаром пришла в ярость, наткнувшись в каком-то эмигрантском журнале на воспоминания бывшей соседки. Неведомская возвела напраслину даже на первую ее свекровь! О гвардии или дипломатической карьере для сыновей, тем паче для Николая, умная их матушка никогда не мечтала. Да и она, Анна, вовсе не собиралась шокировать приятелей и приятельниц мужа несуразными туалетами. Темный сарафан, сочиненный киевской кузиной и забытый в Слепневе прошлым летом, хотя и сшит на живую нитку, да ладно скроен, как и все, что мастерила рукодельная Наничка. Но это была ее единственная деревенская вещь, и когда темно-синий, в блеклых букетиках, сарафан приходилось стирать, натягивала дорожное парижское платье, узкое и чересчур дорогое. За два месяца европейских каникул она разгадала секрет французского стиля: если одеваться, то так, чтобы все, от носка и до виска, играло и пело, как в удавшемся стихотворении. А ежели не одеваться, то и ходи в чем попало, потому как на нынешний день у тебя заботы другие. А у нее действительно заботы другие, Неведомской неведомые. Дачники? Само это слово Анна терпеть не могла. Позднее она напишет: «Слепнево для меня как арка в архитектуре… сначала маленькая, а потом все больше и больше и наконец – полная свобода (это если выходить)».

Про то, что открывалось взору, когда жена младшего сына хозяйки большого дома выходила за ворота, прозой Анна Ахматова написать не успела. Осталось лишь несколько этюдов к этой удивительной панораме. Все они выполнены не в дачном, а в усадебном стиле (конец XVIII – первая треть XIX века):

Пристяжная косила глазом и классически выгибала шею

Бабы выходили на работу в домотканых сарафанах, и тогда старухи и топорные девки казались стройнее античных статуй

Я носила малахитовое ожерелье и чепчик из тонких кружев

В моей комнате (на север) висела большая икона – Христос в темнице… Над диваном – …небольшой портрет Николая Первого не как у снобов в Петербурге – почти как экзотика, а просто, сериозно, по-Онегински («Царей портреты на стене»)… В шкафу – остатки старой библиотеки, даже «Северные цветы», и барон Брамбеус, и Руссо

Я ждала письма, которое так и не пришло – никогда не пришло. Я часто видела это письмо во сне; я разрывала конверт, но оно или написано на непонятном языке, или я слепну

Чтобы представить себе «натуру», с которой Ахматова на склоне лет писала свои сельские картинки, пытаясь отнять у забвения возведенное в символ Слепнево, приведу еще один отрывок из воспоминаний уже знакомой нам Екатерины Черновой, внучатой племянницы Анны Ивановны Гумилевой; ее, еще девочкой, привезли сюда в 1911 году: «Я впервые в жизни видела русскую деревню, меня поражали избы и бесконечные поля, поражали воротца при въезде в деревню, которые бросились нам открывать белоголовые ребятишки, мы давали им пакеты с пряниками и мелкие деньги. Дорога была пыльная, солнце пекло, мне показалось, что ехали мы долго. И вот Слепнево… Проезжая дорога разрезала усадебный участок и проходила очень близко от „барского дома“. Если ехать от Бежецка, то дом оказывается справа, а слева был фруктовый сад. Дом был большой, со старинной мебелью».

Я ждала письма, которое так никогда и не пришло.

В то лето в Слепневе писем не ждали. Один Николай в почтовый четверг старался не уезжать из дома. Заслыша колокольчик, выбегал на дорогу и, на ходу разрывая засургученные пакеты, взлетал к ней, и пока все полученное не было прочитано, увеселения отменялись. Но Гумилев читал быстро, раз в пять быстрее, чем она, и до следующей почты опять упивался ролью души общества. Вера Неведомская, флиртовавшая с Николаем Степановичем, как-то спросила, уж не собирается ли в монастырь его неулыба – ходит, словно монашенка, и голову повязывает по-деревенски. Гумилев передал эти слова Анне. На следующий день, вытянув из саквояжа экстравагантную, с разрезом до бедра юбку, купленную в Париже и еще ни разу не надеваную, откромсала лиф от привезенного Гумилевым африканского балахона и, навертев все это на себя, явилась незваной на репетицию очередного циркового шоу. Придумала, дескать, для себя номер: женщина-змея. И тут же

продемонстрировала (фигушки вам монастырь!) сказочную свою гибкость. За змеей последовали стихи про змею:

В комнате моей живет красивая
Медленная черная змея;
Как и я, такая же ленивая
И холодная, как я.

Вечером слагаю сказки чудные
На ковре у красного огня,
А она глазами изумрудными
Равнодушно смотрит на меня.

Ночью слышат стонущие жалобы
Мертвые, немые образа…
Я б иного, верно, пожелала бы,
Если б не змеиные глаза.

Только утром снова я, покорная,
Таю, словно тонкая свеча…
И тогда сползает лента черная
С низко обнаженного плеча.

Григорий Иванович Чулков, когда она в Париже, неумело копируя расфуфыренных любовниц киевских сахарных королей, читала эти «змеиные» стихи, долго смеялся: оставьте в архиве, книжку они не украсят, а будущим вашим биографам пригодятся.

Гумилев отнесся к «змеиному» шоу почему-то всерьез. Впрыгнул в освещенный костром круг и… Но предоставим слово одному из свидетелей семейного поединка – дальнему родственнику Кузьминых-Караваевых художнику Дмитрию Бушену: «Его попросили читать стихи, он повернулся к Анне Андреевне и сказал: "Аня, ты позволишь?" Она сказала: «Да». И он прочел:

Из логова змиева,
Из города Киева…»

Никто из присутствующих подспудного смысла прочитанного, конечно же, не уловил. Компания была ориентирована на сплошную театрализацию, у каждого в слепневской «бродячей труппе» уже имелась назначенная Гумилевым роль. Но Анна была «новенькая», и то, что Николай,

при его-то скрытности, прилюдно распахнул дверь в их спальню (она так и скажет ему, теми же словами: *дверь в супружескую спальню),* до того озадачило, что в первый момент Анна даже не обиделась. Неужели не понял, что с этих нехороших, безлюбых стихов все и началось? Что ни в какой Париж она б не поехала, если б не жгло, не саднило: *Обнимешь – топорщится… И все ей не можется… И хочет топиться…* Неужели и у Николая, как и у Валерия Брюсова, «все в жизни лишь средство для ярко-певучих стихов»?

В тот злополучный змеиный вечер, всё одно к одному, и случилась беда с засунутой в Готье запиской Модильяни. Может, и обошлось бы, но муж, как всегда, вслушивался в голос, а не в слова, уверявшие, что с красивым итальянцем ничего *такого* у нее не было. Слова были ее, собственные, а голос – чужой, вульгарный, крикливый. Николай закрыл распахнутое сквозняком окно.

– Знаешь, на кого ты сейчас похожа? На дикую, затравленную помоечную кошку.

Убежденный собачник, кошек Гумилев не любил, кошками он брезговал.

Были бы деньги, она бы уехала. Вывернула сумки, обшарила карманы – ни гроша. К счастью, после единственной во все лето грозы пошли грибы. Колосовики, объяснил Коля-маленький. И появился благовидный предлог – пить кофе, пока все спали, и обедать, когда все отобедали. И так две недели: Гумилев сам по себе, она сама по себе. Он – к Неведомским, она – по грибы. Грибная охота – те же лыжи, идешь-идешь по лесу, а лес делает тебе подарки.[22]

В начале августа, получив в почтовый день какой-то важный конверт, Анна Ивановна засобиралась в Петербург. Уезжала напряженная и рассеянная, вернулась умиротворенная. За обедом доложила: купила в Царском Селе особняк. Малая, 63. Сад, дворик. Высокий первый этаж. Прикупила и флигель, чтоб было где летом остановиться и Мите, и Коле. А большой дом придется сдавать питерским дачникам. С мая по сентябрь. Иначе концы с концами не свести. И ремонт нового дома не осилить. Ремонт нужен *сериозный* – ни ванной, ни электричества.

Вечером прямо в столовой стали делить нарисованные на плане комнаты. Анна поднялась, чтобы уйти к себе, но ее, уже в дверях, задержал твердый хозяйский голос Николая: «А вот эта комната будет Аничкина».

Подойти? Глянуть? Не подошла. Однако утром, когда мужики грузили на подводы слепневскую, для нового дома, прадедовскую мебель, сказала:

– Мама, а мне можно вон тот, что в углу на террасе, – столик? И еще шкатулку. Большую. Из прихожей?

Николай Степанович разбирал и паковал книги.

– А я стихи написала. Кошкины. Хочешь, прочту?

Целый день провела у окошка
И томилась: «Скорей бы гроза».
Раз у дикой затравленной кошки
Я такие заметил глаза.

Верно, тот, кого ждешь, не вернется,
И последние сроки прошли.
Душный зной, словно олово, льется
От небес до иссохшей земли.

Ты тоской только сердце измучишь,
Глядя в серую тусклую мглу.
И мне кажется – вдруг замяучишь,
Изгибаясь на грязном полу.

– Мне кажется, я могу переменить свое отношение к кошкам. Но, чур, к чужим, подзаборным.

А тебе на новоселье лучше подарю собаку. Девочку или мальчика?

– Девочку, – сказала Анна, – бульдожку.

В то трудное лето долгий и сухой зной кончился резко и безвозвратно в середине августа. Анну дожди и непогодь в деревне ничуть не смущали. Дров здесь не жалели, и дом на глазах хорошел, обуютивался. У каждой печки стелили свежие яркие рогожи – сушили мокрые яблоки. Николай уезжать в Царское без жены не хотел, но свекровь распорядилась по-своему: первыми едут мужчины – оба Коли и Митя, – Александра, Маруся и Анны, тоже обе, останутся в деревне до конца сентября.

Когда Анна вернулась в Царское, ремонтные работы были в разгаре. Чтобы не путалась под ногами, ее тут же отослали в Киев. До середины октября. К октябрю отделали низ, но в ее комнате (Николай сам выбирал обои – синие, под цвет глаз, «в синем и на синем они у тебя почти синие!») еще работал столяр, прихорашивал привезенные из Слепнева кушетку и туалетный столик. Мебели, старинной, красного дерева и карельской березы, хватило бы на весь дом, но Гумилев от красного дерева отказался: для африканской гостиной нужна в стиле модерн. Здесь же устроил и собрание «Цеха поэтов». Был весел, бодр, самоуверен,

наслаждался произведенным на «цеховиков» впечатлением. Африканские штучки-дрючки, со вкусом и умело расставленные, и впрямь смотрелись. Даже Анна, не любившая экзотики, тайком погладила слоновий клык, хитроумно ввинченный в каминную стену.

Проводив гостей до перрона, еще долго сидели, пили вино, смотрели в огонь. Внезапно смертельно устав, она поднялась наверх, в Шурочкину с Марусей комнату (Сверчковы все еще оставались в Слепневе). Коля пристроился в гостиной, на модерновом диванчике, коротком, ноги торчат.

Шурочкина – прабабушкина – кровать была чудо как хороша. Впервые за многие месяцы Анна уснула сразу – *блаженно отошла ко сну*, не перекрутив одеяло и не измучив подушку. А утром нашла на диванчике, поверх аккуратно сложенного пледа, мужнину записку: «Если хочешь меня проводить, приезжай к пяти на Финляндский».

Свекровь, не входя, в дверях, сказала:

– Можешь ванну принять. Воды горячей много.

Потом подошла, искоса глянула и объяснила:

– От Кузьминых-Караваевых человек заходил. Маша совсем плоха. Хотели в Италию, да побоялись: не довезут. Решили: в санаторию. Финскую. Если Николай Степанович в городе, пусть проводит. А на вокзал тебе, Аня, не надо. Это он так написал, не знал, как сказать. И еще велел печнику печку переделать, ту, что в твою комнату боком выходит. Тяга плохая, зимой холодно будет.

Ну что за человек ее Коля? И как это все в нем помещается? И совмещается? Африка и «Аполлон»? Смертельная болезнь Машеньки и дымящая печка?

Приняв ванну, Анна опять забралась в постель: ее знобило. Простыла или нервы? И стихи пришли. Они всегда приходили, когда ей было плохо.

Муза-сестра заглянула в лицо,
Взгляд ее ясен и ярок.
И отняла золотое кольцо,
Первый весенний подарок.

Муза! ты видишь, как счастливы все —
Девушки, женщины, вдовы…
Лучше погибну на колесе,
Только не эти оковы.

Знаю: гадая, и мне обрывать
Нежный цветок маргаритку.

Должен на этой земле испытать
Каждый любовную пытку.

Жгу до зари на окошке свечу
И ни о ком не тоскую,
Но не хочу, не хочу, не хочу
Знать, как целуют другую.

Завтра мне скажут, смеясь, зеркала:
«Взор твой не ясен, не ярок…»
Тихо отвечу: «Она отняла
Божий подарок».

Ни завтра, ни послезавтра в зеркала Анна не заглядывала, ее лихорадило, и температура подскочила. А через неделю, когда гостивший у них Миша Кузьмин-Караваев, двоюродный брат Машеньки, постучал, напомнив, что пора ехать на Башню, где будут и Блоки, и Городецкие, по его вспыхнувшему лицу поняла: сегодня даже там, на Башне, она будет «победительницей жизни», не делая для этого никаких усилий. И почему ей так везет на Михаилов? Лозинский – Михаил. Линдеберг – Михаил. Кузьмин-Караваев – Михаил. Три претендента на одну вакансию: «влюбленного не слишком, а слегка»? И просто Кузмин, без мягкого знака – Мишенька. Этот, правда, влюблен не в нее, а в ее стихи, и только пока она сама их читает. У Михаила Четвертого не девочки, а мальчики на уме. Надо запомнить: 1911 год, 7 ноября. Не запомнила. Напомнил, жизнь спустя, Блок. Не сам Блок – дневник, изданный посмертно: «А.Ахматова читала стихи, уже волнуя меня… Стихи чем дальше, тем лучше. Все было красиво, хорошо, гармонично».

Да, было и хорошо, и гармонично. Жаль, Коли не было.

На самом деле 7 ноября 1911 года гостям Вячеслава Ивановича было гармонично как раз потому, что Гумилев отсутствовал. Трещина, наметившаяся между ними еще весной, стремительно углублялась и расширялась. По возвращении Николая Степановича из Африки Иванов накинулся на его маленькую поэму «Блудный сын» так злобно, что все опешили. Уж очень не похоже на «мэтра». Как и Гумилев, хозяин Башни хотя и видел, что его время на исходе, был все-таки «вежлив с жизнью современной». Во всяком случае, старался быть вежливым. И вдруг сорвался. Валя-Валечка говорит: нервы. Она теперь, как за своего доктора по нервным болезням замуж вышла, все нервами объясняет. А по мнению Анны – банальная ревность. Ну кто из

башенных краснобаев и пророков способен в одиночку, как Коля, пройти пустыней Черчер? Андрей Белый попробовал – и что? Дальше туристического Каира и носа в африканскую глубинку не сунул. Да и вообще, здесь, на Таврической, в этом подозрительном ковчеге, в этой богатой ночлежке, после внезапной смерти супруги хозяина жизнь идет на ущерб. Что-то ущербное появилось и на личике падчерицы хозяина – Верочки Шварсалон. Эту загадочную девочку Анна и жалела, и не понимала. Давно и безнадежно любит «голубого» Мишу (Кузмина), а спит с отчимом. Не понимала и Верочкиного сожителя. Тоже мне Фауст! Высшие интересы! Философические изыски! Не успел обожаемую жену похоронить, дочку ее совратил. Когда выяснилось, что Вера беременна, все и открылось. Анна догадалась о сути происходящего гораздо раньше. Она чуяла запах кровосмесительного греха так же хорошо, как героиня ее южной поэмы – подземельную воду:

Знали соседи – я чую воду,
И, если рыли новый колодец,
Звали меня, чтоб нашла я место
И люди напрасно не трудились.

Анна Андреевна вполне отдавала себе отчет в том, что судит о людях Башни криво, с гневом и пристрастием, по-обывательски, как сказал бы Чулков. Но переиначить себя, настроиться на беспристрастие не умела, хотя и не пропускала, как вернулась в Петербург, ни одного башенного приемного дня. Здесь же впервые увидела и юного Осипа Мандельштама. Того, что прочел, – не запомнила, да она и не вслушивалась, наблюдала: ресницы, как опахала, буржуазного кроя костюм и ландыши в петлице…

Открыл Мандельштама Николай, затащил в «Аполлон», уверял, что мальчик с ландышами умнее и старше эстетских своих стихов и о литературе и думает, и говорит интересно. Может быть, гениально. В этом Анна и сама убедилась, когда Гумилев, кажется это было уже зимой, пригласив Осипа в Царское, весь вечер рассуждал с ним про умное. В умные разговоры тогдашняя Анна из осторожности не встревала, ни дома, ни на Башне. На вопросы отвечала уклончиво, но видела все, все замечала и запоминала навсегда. Лучшей формы литературного образования в ее персональном случае не было. И когда Гумилев стал настаивать на Высших историко-филологических женских курсах, отказалась. Незачем попусту тратить силы и деньги. У нее свои университеты. Свой

индивидуальный самоучитель.

…Вернулся Николай из Финляндии только в середине ноября. Желтый, некрасивый, худой. О Маше – ни слова. Первым делом про печку спросил. Потом: *а стихи писала?* И сразу же про «Цех».

Узнав, что «цеховики» собирались и без него, протрубил большой сбор. Опять дым коромыслом и вино рекой. И стихи. Даже Лозинский читал. И Миша Зенкевич осмелился. У Михаила Леонидовича Лозинского стихи обыкновенные, у Михаила Александровича Зенкевича – неожиданные. Звука, правда, не хватает, да не в том дело. Кудрявый, златоглавый, тихий-тихий – и такие стихи? Одно подарил ей – по ее просьбе, не сам. Про городскую бойню. И вселенскую:

И чудится, что в золотом эфире
И нас, как мясо, вешают Весы,
И также чашки ржавы, тяжки гири,
И также алчно крохи лижут псы.

И как и здесь, решающим привеском
Такие ж жилистые мясники
Бросают на железо с легким треском
От сала светлые золотники.

Прости, Господь! Ужель с полдневным жаром,
Когда от туш исходит тяжко дух,
И там, как здесь, над смолкнувшим базаром
Лишь засверкает стая липких мух?

Как часто и в войну, и потом, *после всего,* Анна Андреевна будет вспоминать эти неуклюжие вещие строки! Наизусть они почему-то не запоминались, но «Дикая порфира», единственный сохранившийся у нее сборник Зенкевича, сам собой раскрывался на этой кровавой странице. А иногда, не часто, А.А. разламывала «Порфиру» и еще на одном развороте. Эти стихи Михаил Александрович тоже читал в ноябрьский вечер 1911 года у камина в Колиной африканской библиотеке, а она, вслушиваясь, пугалась: уж не с нее сделал златокудрый Мишенька страшный портрет змеиной Матки? Много раз, уже на склоне лет, Ахматова готова была задать «последнему акмеисту» этот вопрос, и каждый раз что-то ее останавливало.

Ресницы – как пыльцою черной
Тычинки маков кровяных,

И как в божнице у святых,
Печально-строг твой взор упорный.

Но воинств преисподних сила
Венец тяжелый, огневой,
Из тусклой лавы, возложила
Над этой гордой головой.

И если бы в средневековье,
Как у колдуний, прядь волос
Твоих, обрызгав свежей кровью,
Зарыли вечером в навоз, —

То отогретые полуднем,
Бесстыдные, влачась в пыли,
Раздувшимся кровавым студнем
Как змеи, косы б поползли;

И чернь среди потехи грубой,
Их толстой обувью топча,
Звала б со смехом палача
С плетьми к вертящемуся срубу.

А тогда, осенью одиннадцатого, насторожился и Николай Степанович. Вскинулся, вслушался. С тем мнимо-туповатым выражением, какое появлялось на его плоском, как бы гипсовом лице, когда сталкивался с неразрешимой, но требующей немедленного разрешения задачей. Потом повернул голову, так, чтобы ломаный, искаженный астигматизмом видоискатель засек в кадре и ее. Но, разумеется, ничего подозрительного не обнаружил. Белые узенькие манжеты, белый, тоже узкий, воротничок, аккуратная челка – сходила-таки к парикмахеру, а то все сама да сама, чуть не садовыми ножницами. Стиль англез в царскосельском исполнении. Ну откуда Зенкевичу, провинциалу и ученому малому, догадаться, на какие дикие выходки и змеиные выкрутасы способна сия молодая и почти стильная дама?

Через минуту Гумилев уже рассыпал любезности перед только что вошедшей Валечкой Тюльпановой, теперь уже Срезневской, а та, разматывая бесконечный – последний писк зимнего сезона – шарф и стараясь закинуть его на плечо Николая, объясняла. Приезжала, мол, в Царское, навестить знакомую одинокую старушку, увидела в окнах у них электрический пожар,

вот и заглянула на огонек.

В год Льва и Собаки

1912 год был первым дарующим, а не отнимающим годом в жизни Анны Андреевны Ахматовой. Тот, кому был известен Замысел ее Судьбы, соблаговолил дать передышку. До сих пор жизнь только то и делала, что отнимала: сестер, отца, дом. И вдруг стала одаривать. Да как щедро! Не знаешь, что и делать с привалившим богатством. Своя собака, своя комната в собственном доме, первая книга, впервые Италия. И сын: Гумильвенок. Или если раскладывать дары Судьбы не по порядку получения, а в порядке удивительности: Левушка, «Вечер», Италия, Дом, синяя комната, собака. Вообще-то комната, как и бульдожка, появилась чуть раньше, но впервые они с Молли беспечально уснули в своей постели лишь 1 января 1912 года. Печали, по Высшему Указанию, остались в 1911-м.

23 декабря 1911 года во Владикавказе «внезапно скончался» (покончил с собой) Михаил Линдеберг, тот самый «мальчик странный», с которым она от скуки и с досады слегка поиграла в царскосельскую пастораль.

29 декабря того же года, и тоже вдали от Петербурга, в Италии, в крохотном городишке Сан-Ремо, умерла Мария Александровна Кузьмина-Караваева.[23]

Как встретишь Новый год, таким год и будет. Помня об этой верной примете, Анна с тревогой ждала 31 декабря. Тревога, плавающая, изматывающая, оказалась напрасной: впервые они встретили Новый год вместе. Правда, не дома, а в новооткрывшемся литературном кафе «Бродячая собака» (официальное название – «Художественное общество интимного театра»).

Незадолго до Рождества Анна, приехав из Царского в Петербург за подарками и заглянув мимоходом в «Аполлон», встретила там друзей Николая – Михаила Лозинского и Вольдемара Шилейко. Втроем и отправились на Михайловскую площадь поглядеть, что же делается в арендованном под кафе подвальчике. Николай Степанович, побывавший там еще утром, сказал, провожая: «Собаку» откроют под самый Новый год.

Как скоро выяснится, «Художественное общество интимного театра» окажется для Ахматовой настоящим подарком судьбы. Однако при первом знакомстве с будущим «интимным театром» она фыркнула. До объявленного открытия всего десять дней, а здесь и конь не валялся! Мусор, опилки, эстраду только сколачивают. И из чего? Из грубых, плотницким рубанком причесанных досок. Сергей Судейкин, главный декоратор, еще

возится с дебелой своей полуню (про себя Анна называла голозадых судейкиных бабищ «нюшками»). И пахнет отвратительно: прачечной. Лозинский усаживает ее на единственный не заляпанный известкой стул. Здесь, мол, и была прачечная. Выветрится, на ходу бросает Борис Пронин, директор-распорядитель. Господин директор, продолжает Михаил Леонидович, и днюет, и ночует в своем заведении, в обнимку с разлюбезной дворняжкой. В ее честь подвальчик и окрестили «Бродячей собакой».

Ввалились, румяные и прилизанные, какие-то совсем мальчики, еле удерживая на вытянутых руках огромную, от Елисеева, корзину с вином и фруктами, почти точную копию намалеванной на стене. Лозинский с Шилейкой, уже одевшиеся, при виде бутылок с шампанским снова сняли пальто. Анна потихоньку ушла. В поезде, устраивая половчее коробку с хрупкими рождественскими цацками, впервые за свою нелепую замужнюю жизнь поймала себя на том, что возвращается в Царское Село с удовольствием, представляя, как и муж, и свекровь тайком друг от друга сверяют часы с расписанием поездов. Так и оказалось. Анна Ивановна сама открыла ей дверь, а Николай, заслышав их голоса, выскочил из своей комнаты и даже расшнуровал ей ботинки, чего раньше никогда не делал. И сразу же потащил к себе: сначала кофе, про «Собаку» потом. (Чтобы не беспокоить домашних, они рано ложились, Гумилев за вечерним чаем сам заваривал себе кофе. В хитроумном английском термосе *эликсир бодрости* до утра оставался горячим.)

Плотно прикрыв дверь и распахнув форточку, они закурили – курить на глазах у матери Николай ей запретил. Обсудили «проблему "Собаки"» и даже заключили пари. Если Пронин сдержит слово, Анна не украдет из мужнина портсигара ни одной папиросы – за всю новогоднюю ночь; если нет, пусть загадает три желания, он все три исполнит.

Три желания жены Гумилеву исполнять не пришлось: «Бродячая собака» распахнула двери за полчаса до Нового, 1912 года. Правда, в первую ночь здесь было почти по-домашнему, может, и интимно, но отнюдь не театрально. Но уже недели через две выяснилось: «Собака» и впрямь театр, только особого толка, потому что каждый спустившийся в тесный подвальчик становился актером, играющим самого себя.

Мода на литературные кафе, вспыхнувшая в России в начале XX века, не угасла и в первые послереволюционные годы (вспомним хотя бы «Стойло Пегаса», связанное с именем Сергея Есенина). Однако войти в легенду довелось лишь «Бродячей

собаке». Жизнь у подвальчика (во втором дворе дома Жако, где во времена автора «Русских ночей» Владимира Одоевского жили знаменитые меломаны братья Виельгорские) оказалась и впрямь собачьей, то есть обидно короткой: чуть больше трех лет. Но если собрать под одну обложку воспоминания и судьбы ее завсегдатаев, получится огромный роман, своего рода вторые «Русские ночи», в зеркале которых уместился – *отразился довольно верно* – Серебряный век.

Чтобы передать атмосферу «собачьих ночей», процитирую два мемуарных отрывка, пересказу они не поддаются.

Сергей Судейкин, художник:

«…Вечер Карсавиной, этой богини воздуха. Восемнадцатый век – музыка Куперена… "Элементы природы" в постановке Бориса Романова, наше трио на струнных инструментах. Среди зала с настоящими деревянными амурами 18-го столетия, стоявшими на дивном голубом ковре той же эпохи при канделябрах. Невиданная интимная прелесть: 50 балетоманов (по 50 рублей место!) смотрели, затаив дыхание, как Карсавина выпускала живого ребенка-амура из клетки, сделанной из настоящих роз».

Георгий Иванов, поэт:

«"Бродячая собака" была открыта три раза в неделю: в понедельник, среду и субботу. К одиннадцати часам, официальному часу открытия, съезжались одни «фармацевты». Так на жаргоне «Собаки» звались все случайные посетители… Они платили три рубля за вход, пили шампанское и всему удивлялись… Директор, Борис Пронин, "доктор эстетики гонорис кауза"… носится по «Собаке», что-то переставляя, шумя. Большой пестрый галстук летает по его груди… Комнат в "Бродячей собаке" всего три. Буфетная и две «залы» – одна побольше, другая совсем крохотная. Это обыкновенный подвал… Теперь стены пестро раскрашены Судейкиным, Белкиным, Кульбиным. В главной зале вместо люстры выкрашенный сусальным золотом обруч. Ярко горит огромный кирпичный камин, на одной из стен овальное зеркало. Под ним – длинный диван – особо почетное место. Низкие столы, соломенные табуретки. Все это потом, когда «Собака» перестала существовать, с насмешливой нежностью вспоминала Анна Ахматова:

Да, я любила их, те сборища ночные, —
На низком столике – стаканы ледяные,
Над черным кофеем пахучий, тонкий пар,

Камина красного тяжелый, зимний жар,
Веселость едкую литературной шутки…

Есть еще четверостишие Кузмина, кажется, нигде не напечатанное:

Здесь цепи многие развязаны —
Все сохранит подземный зал.
И те слова, что ночью сказаны,
Другой бы утром не сказал.

Действительно, сводчатые комнаты «Собаки», заволоченные табачным дымом, становились к утру волшебными, чуть «из Гофмана». На эстраде кто-то читает стихи, его перебивает музыка или рояль. Кто-то ссорится. Кто-то объясняется в любви. Пронин в жилетке (пиджак часам к четырем он неизменно снимал) грустно гладит свою любимую Мушку, лохматую злую собачонку… Ражий Маяковский обыгрывает кого-то в орлянку. О.А.Судейкина, похожая на куклу, с прелестной, какой-то кукольно-механической грацией танцует «полечку» – свой коронный номер. Сам «мэтр» Судейкин, скрестив по-наполеоновски руки, с трубкой в зубах, мрачно стоит в углу. Его совиное лицо неподвижно и непроницаемо. Может быть, он совершенно трезв, может быть, – пьян, – решить трудно».

Словом, если чуток переиначить слова Ахматовой о персонажах маскарадных сцен «Поэмы без героя»: «На этом маскараде были все. Отказа никто не прислал», – можно сказать, что и в «Бродячей собаке» побывали все, хотя некоторые все-таки «прислали отказ». Самым чувствительным для престижа подвальчика был отказ Блока. Год *собачники* терпеливо ждали: а вдруг? Не дождавшись, в канун первого юбилея, в декабре 1912-го, подослали агитатора, выбрав для деликатной миссии Николая Ивановича Кульбина. Того самого Кульбина, имя которого упоминает в своем мемуаре Георгий Иванов в числе художников, расписавших под руководством Судейкина «собачьи» стены. Ему же принадлежит и портрет дворняжки Мушки, ставший фирменным знаком «Бродячей собаки».

Военврач высокого ранга, Кульбин был своим человеком в закрытом для посторонних доме Блоков. Однако на этот раз даже обаяние Николая Ивановича не сработало. Блок остался при своем особом мнении: полукабак, полупубличный дом в стиле французских заведений конца века. По уходе депутата от партии дворняжек Александр Александрович сделал такую запись:

«Вечером пришел Ник. Ив. Кульбин… Говорил, что "нельзя засиживаться": от засиживания на своем месте, на которое посажен «признанный», приходит "собачья старость". Рекомендовал к аристократизму прибавить «дворняжки». Тщетно восстанавливал в моем мнении "Бродячую собаку", кой-что я принимаю, но в общем – мнение мое неколебимо» (запись от 14 декабря 1912 г.).

Конечно, низкопробность тут ни при чем. Большинство *собачников* – сотрудники или авторы аристократического «Аполлона», где, как вспоминает Георгий Чулков, был культ классического дендизма – без прибавления дворняжки.[24]

Предубеждение Блока было тем более обидным, что *собачники* прекрасно знали: когда у Александра Александровича наступала полоса загула, он «опускался» в такие подвалы блуда, в сравнении с которыми непотребство «Бродячей собаки» – всего лишь веселая литературная игра. Но именно этого, веселой любительской театральности, Блок и не принимал. В том слаженном коллективном действе, что трижды в неделю три с лишним года с неизменным аншлагом игралось в подвальчике дома Жако, ему, убежденному и урожденному эгоцентрику, не было роли. А каждый, кто не умел или не хотел включиться в игру, оказывался либо *фармацевтом*,[25] либо свадебным генералом от литературы и искусства.

Впрочем, и среди *своих* отношение к учрежденному Борисом Прониным интимному театру было разное. Огромному Маяковскому в подвальчике «жмет», он мечтает о площади. Гумилеву – скучновато; самой любимой из его муз – Музе дальних странствий – здесь нечего делать. Трудоголику Лозинскому утомительно, хотя он и скрывает, что для него самое удобное место на земле – домашний кабинетный письменный стол. Мандельштаму сильно мешают *фармацевты.* Устный жанр – не его жанр, он не смотрится на условной, почти домашней эстраде и субботним ночам предпочитает тихие понедельники, когда можно, состязаясь в остроумии с Шилейкой, сочинять античные глупости для пародийной летописи «Бродячей собаки», для которой предусмотрительный Пронин с помощью Кульбина смастерил огромную, в обложке из свиной грубой кожи, книгу записей.

Одной Ахматовой здесь, в «Собаке», на крохотной сценической площадке, в самый раз. Она поняла это сразу же, на вечере, посвященном 25-летнему юбилею поэтической деятельности Бальмонта, когда впервые прочла стихи не через столик, как в редакции «Аполлона» или на Башне Вячеслава Иванова. Все нужное враз нашлось: и интонация, и поза

(«вполоборота, о, печаль…»), и даже сценический костюм: узкое черное шелковое платье и старинная шаль. Шаль – прабабкину, кружевную, из слепневских наследных сундуков – извлекла свекровь, наблюдая, как Анна, волнуясь, перебирает парижские приобретения. Принесла еще и камею – тяжелую, в золотой оправе и тоже старинную – *бери, бери, к поясу пришпилишь,* и, оглядев невестку, кажется, впервые осталась почти довольна ее наружностью.

Не разделяла новоявленная примадонна «Бродячей собаки» и легкого пренебрежения, с каким и Николай, и Осип, и Шилейко поглядывали на гостевые дальние столики. Будь ее воля, Анна Андреевна сослала бы высокомерцев на галерку, а *фармацевтов* усадила в партер, за ближние столики. И на заседаниях «Цеха поэтов», и на сходках в редакции «Аполлона», и на посиделках у Вяч. Иванова она чувствовала себя немного дворняжкой, незваной среди избранных. Когда сидишь или стоишь – еще ничего, терпимо, но если нужно пересечь комнату, от робости и смущения, словно глухонемая и слепорожденная, цеплялась за мужнин рукав – и лица, и голоса сливались в одно – чужое. Пообтесавшись, сообразила: среди патентованных умников и затейливых говорунов *ее* читателей не было. Иное дело «Собака». Здесь что ни ночь – новые восхищенные глаза. Соперничать с питомицами Терпсихоры, что с богиней воздуха Карсавиной, что с прелестной плясуньей Оленькой Судейкиной, было бессмысленно. Но Анна и не воспринимала их как соперниц. Среди гостей «Собаки» куда больше читателей стиха, чем балетоманов. Впрочем, и число своих, то есть поэтов, тоже росло.

Однажды появился Маяковский. Юный, еще, как скажет потом Ахматова, «добриковский», то есть широкой публике практически неизвестный. По счастливой случайности, у нас есть возможность представить Маяковского таким, каким он возник почти из ниоткуда в дверном проходе «Бродячей собаки». Портрет этот списан с натуры симферопольским жителем и поэтом-любителем, писавшим футуристические стишки под псевдонимом Вадим Баян. По выразительности, во всяком случае на мой вкус, он превосходит работы классиков мемуарного жанра.

«28 декабря (1913 г. – *А.М.)* старого стиля, в 11 часов утра, по прибытии с севера курьерского поезда, у меня в квартире раздался настойчивый звонок и в переднюю бодро вошли два высоких человека: впереди, в черном – Северянин, а за ним весь в коричневом – Маяковский. Черного у него были только глаза да ботинки. Его легкое пальто и круглая шляпа с опущенными полями, а также длинный шарф, живописно окутавший всю нижнюю часть лица до самого носа, вместе были похожи на

красиво очерченный футляр, который не хотелось ломать. Но… Маяковский по предложению хозяев быстро распахнул всю свою коричневую «оправу», и перед нами предстала худая с крутыми плечами фигура, которая была одета в бедную тоненькую синюю блузу с черным самовязом и черные брюки и на которой положительно не хотелось замечать никаких костюмов, настолько личная сила Маяковского затушевывала недостатки его скромного туалета. Он был похож на Одиссея в рубище. По ту сторону лица таились пороховые погреба новых идей и арсенал невиданного поэтического оружия».

Одиссея в рубище представили Ахматовой. Она протянула руку – для поцелуя. Маяковский подержал ее в ладонях – «какие пальчики…».

Успех, пусть пока и не громкий, стянул с нее «лягушечью кожу», Анна перестала «топорщиться». Получив какой-то гонорар, купила дорогущие билеты на Итальянскую оперу и пригласила свекровь. Анна Ивановна, явно тронутая, от предложения невестки не отказалась. Гумилев, высаживая своих дам из извозчичьей пролетки, с удивлением следил за женой. Дикая провинциальная девочка в новой котиковой шубке (его подарок к Рождеству) выглядела стопроцентной петербуржанкой.

Михаил Кузмин, весной 1912 года зачастивший в Царское к Гумилевым (он писал предисловие к ахматовскому «Вечеру»), отметил в Дневнике такую подробность: «Поехал в город вместе с А.А. Пришлось долго ждать. Проезжали цари. С Гумилевой раскланивались стрелки и генералы…» (запись от 22 февраля 1912 г.).

Тот же Кузмин той же зимой, и опять же не без удивления, заметил, что Анне и Николаю хорошо вдвоем, в уюте собственного, стильно отремонтированного дома, с электричеством и бульдогом. Настолько дружно-сочувственно, что, при всем своем гостелюбии, они тяготятся его присутствием: «У Гумилевых по-прежнему, но, кажется, я стесню их несколько». Стеснение, разумеется, не буквальное: дом большой, Кузмин ночует в библиотеке, никому не мешает ни поздно ложиться, ни рано вставать.

Вскоре после встречи первого «*собачьего*» года Гумилев отвез в типографию рукопись жениного «Вечера», выложив за 300 экземпляров всего сто рублей (цена двух билетов на вечер с Карсавиной!) Обложка, увы, типовая – чертеж лиры на блекло-голубом фоне. Простенький логотип срочно сочинил для поэтической серии «Цеха» поэт и художник-любитель Сергей Городецкий. Зато фронтиспис, эксклюзивный, рисовал профессионал – «мирискусник» Евгений Лансере. При легком

портретном сходстве с Анной Ахматовой Лансере придал и прическе, и позе «русской девы», и форме ее лба, и повороту головы нечто античное. Зато пейзаж, в который вписана фигура одинокой мечтательницы: речная заводь, полузатопленные ивы, – среднерусский, почти слепневский.

Не подвел и Михаил Кузмин. Не выходя из рамок жанра предисловия, охарактеризовал своеобразие молодого дарования столь точно, что без оглядки на первый эскиз к портрету Анны Ахматовой не обходится ни один из исследователей ее поэтики. «Можно любить вещи, как любят их коллекционеры… или в качестве сентиментальных сувениров, но это совсем не то чувство связи, непонятной и неизбежной, открывающейся нам в горестном или в ликующем восторге… Нам кажется, что в отличие от других вещелюбов Анна Ахматова обладает способностью понимать и любить вещи именно в их непонятной связи с переживаемыми минутами. Часто она точно и определенно упоминает какой-нибудь предмет (перчатку на столе, облако, как беличья шкурка, в небе, желтый свет свечей в спальне, треуголку в Царскосельском парке), казалось бы, не имеющий отношения ко всему стихотворению, брошенный и забытый, но именно от этого упоминания более ощутимый укол, более сладостный яд мы чувствуем. Не будь этой беличьей шкурки, и все стихотворение не имело бы той хрупкой пронзительности, которое оно имеет».

Тираж тоненького «Вечера» крохотный, деньги Гумилев выложил авансом, и уже 7 марта 1912 года Михаил Зенкевич вывез из типографии и ахматовский «Вечер», и свою «Дикую порфиру», изданную в аналогичном оформлении и под той же маркой: «Цех поэтов». Отпраздновать это *событие* решили в шикарной квартире жены «стряпчего» «Цеха» Елизаветы Юрьевны Кузьминой-Караваевой, урожденной Пиленко. Вообще-то парадиз на Манежной был собственностью матери будущей героини французского Сопротивления, но по особо торжественным дням госпожа Пиленко-Делоне-Нарышкина предоставляла апартаменты в распоряжение дочери. На сей раз случай был незаурядный: новорожденные акмеисты демонстрировали (граду и миру) доказательства своей конкурентоспособности. В «Поэме без героя» Анна Ахматова отдаст дань восхищения организаторскому таланту Гумилева, врожденному его умению подчинять хаос законам упорядоченного космоса:

Не обманут притворные стоны,
Ты железные пишешь законы,
Хаммураби, ликурги, солоны

У тебя поучиться должны.

Пространство бунта против диктата символистов Гумилев и в самом деле организовал *железно*. Ядро (штаб, интеллектуальный центр) – шестерка убежденных акмеистов: Гумилев, Городецкий, Мандельштам, Зенкевич, Ахматова, Нарбут. Ближайшее окружение (и укрепление) – открытое литературное объединение «Цех поэтов» с подвижным составом. Группа поддержки – авторский коллектив «Аполлона», в котором Гумилев, ведущий критик и хозяин отдела поэзии, определяет линию наступления на литературном фронте. Друг и соратник лидера «цеховиков» – Михаил Лозинский, формально к ним не примкнувший, литературный редактор издательства «Цех поэтов», а также главред полужурнала, полуальманаха «Гиперборей». Издательской марки «Цех поэтов» на нем нет, но де-факто это его печатный орган. Словом, линия обороны, которую в любой момент можно развернуть в линию наступления, Гумилев выстроил безупречно. Учел все, даже то, что собственный сборник «Чужое небо» нецелесообразно издавать в той же серии и под тем же грифом, что и книги Ахматовой, Зенкевича, а некоторое время спустя «Скифские черепки» Лизы Кузьминой-Караваевой. «Чужое небо» выйдет в свет как издание журнала «Аполлон» в самом конце марта 1912 года.

Не последним пунктом задуманного Гумилевым проекта была и презентация «Вечера» и «Дикой порфиры»: гости строго по выбору, шампанское лучшей марки, героев торжества Анну Ахматову и Михаила Зенкевича увенчали настоящими, в олимпийском стиле, лаврами. Венки смастерили под наблюдением рукодельного Городецкого, ветки закупила в павловских оранжереях и привезла в город Ахматова. Она же оставила краткое описание этого шоу:

«…Когда одновременно вышли "Дикая порфира" и «Вечер», их авторы сидели в лавровых венках. Веночки сплела я, купив листья в садоводстве А.Я.Фишера. Хорошо помню венок на молодых кудрях Михаила Александровича…»

Запомнился Анне Андреевне и *налог* на первую творческую радость – *налог на радости судьба берет всегда.* От лучшего в столице шампанского ее вдруг так замутило, что еле досидела до конца триумфа. Почти месяц тревожили ее внезапные приступы дурноты и разные прочие непонятности, но Валя, посоветовавшись с мужем, успокоила. Ты просто нервничаешь, Анечка, из-за книги, ну и весна, со мной тоже было, но, видишь, пронесло. К великому огорчению Срезневского: спит и видит себя

окруженным целым выводком наследников и наследниц.

Анну не пронесло.

Гумилев отнесся к случившемуся по-деловому, как будто это не Анна, а бульдожка Молли *понесла.* Доложив об ожидаемом прибавлении семейства Анне Ивановне, в неделю обеспечил «Аполлон» материалами на два выпуска вперед, а жене приказал – ну, почти приказал – немедленно собираться в дальнюю дорогу. За теплом и солнцем. *Мать все беременности просидела в волглом Кронштадте, а потом мучилась с нашими хворями.* Позаботился и о книгах в дорогу – привез только что вышедшие томики Павла Муратова «Образы Италии». «Надеюсь, этого хватит надолго». И оказался прав: муратовской Италии Ахматовой хватило даже на «Поэму без героя». Николай, знакомый с Муратовым по публикациям в «Аполлоне», вчитываться не стал: потом, потом, сначала сами будем смотреть и думать. Даже маршрут наметил не по Муратову. «Образы Италии» начинаются и кончаются Венецией. А мы, Аника, начнем с захолустья, с итальянской Ривьеры, и обязательно «попробуем парохода». А дальше так: во Флоренции, Риме и Венеции останавливаемся надолго. Остальное мимоездом.

Ехали медленно, с пересадками и только к середине апреля оказались в Сан-Ремо, где у родственников покойной Маши Кузьминой-Караваевой была не бог весть какая богатая недвижимость. Прожив неделю, сели на допотопный пароходик и через Пизу добрались до Флоренции. По плану Николая Степановича следующим пунктом назначения был Рим, но Анна от Рима отказалась, предпочла вечный город с его громкой мужской славой лишней неделе на родине Данте. Муж уехал один, взяв с нее слово, что будет не только бродить по сумрачным музейным залам, но и кормить сына солнцем. В том, что у них родится сын, Гумилев был почему-то твердо уверен. Он теперь, после «Чужого неба», стал каким-то уж очень уверенным. Анна даже вспомнила блоковское, презрительное: *шли уверенные и женщины уверенных.* К женщинам уверенных в себе мужчин Анна себя не причисляла:

Помолись о нищей, о потерянной,
О моей живой душе,
Ты, в своих путях всегда уверенный…

Стихи получились нехорошие, самоуничижительные, а значит, не совсем искренние. Чувство своего пути и пути уже найденного было в ней настолько сильным, что про себя она называла его – шестым чувством. А вот Коля… Так ли он в себе

уверен, как кажется со стороны и вчуже? Почему ни разу не спросил, что она думает о «Чужом небе»? Может, считает, что и эта книга, уже четвертая, все еще обещание чего-то большего?

Среди прекрасного чужого изобилия Анна чувствовала себя обездоленной. Вот и Блок после Италии вернулся не просто в Россию, на родину, а в нищий рай:

Россия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые
Как слезы первые любви.

Когда эти стихи Ахматова прочла впервые, они показались слишком уж экзальтированными. Ну, прямо культ убожества. Но здесь, в Италии, и особенно во Флоренции, где каждый камень свидетельствовал: великое прошлое не умирает, а продолжает жить в настоящем и, может быть, превращается в будущее, – она поняла Блока. Не умом, пуповиной. *Через пуповину,* как однажды выразился брат Андрей. Чтобы справиться с проклятием обездоленности, с черно-белой завистью к чужому богатству, надо полюбить обездоленность, сладость обездоленности. Блаженны нищие духом.

Николай с ней не согласился.

– Благороднее полюбить чужое как свое. Трудно? Трудно от слова «труд». Ты когда-нибудь задумывалась, почему? Да потому что каждый из нас, русских, немножко или множко Илья Ильич Обломов. Лень думать, лень действовать, лень работать. Лень – мать всех русских пороков и даже мачеха нашего изобретательства. Заметила? Самые изобретательные люди – лентяи. А почему? А потому, что труднее всего оправдать свою лень. Что ты говоришь себе, если чувствуешь, что тебе лень поднять с пола упавший журнал? Или положить на место платяной веничек?

– Говорю: все равно все пропало. А ты?

– А я ничего не говорю, потому что ни книг, ни журналов на пол не роняю.

Ни Оспедалетти, ни Сан-Ремо восхищения Анны Андреевны не удостоились – унылая итальянская Ривьера, ничуть не лучше Одессы. И в Генуе больше думала о Тютчеве, чем о здешних красотах (о Тютчеве, об его итальянских терзаниях, о тайном романе с будущей второй женой ей много и интересно рассказывал Чулков). Даже Пиза со знаменитой башней оставила почти равнодушной. Впрочем, и Николай сильных эмоций не выражал, хоть и застоялся дольше обычного у мрачно-блестящего

«Триумфа смерти». И когда потом, на обратном пути, в хорошую минуту прочел стихи о Пизе, Анна в который раз поразилась его скрытности. Имя художника, написавшего «Триумф», Анна запамятовала, а вот о том, что Колин «сатана» взят с той фрески, догадалась. «Пиза» была, кажется, первым стихотворением Гумилева, которое Анна Андреевна целиком запомнила с голоса:

Солнце жжет высокие стены,
Крыши, площади и базары.
О, янтарный мрамор Сиены
И молочно-белый Каррары!

Все спокойно под небом ясным:
Вот окончен псалом последний.
Возвращаются дети в красном
По домам от поздней обедни…

Все проходит, как тень, но время
Остается, как прежде, мстящим,
И былое, тяжкое бремя,
Продолжает жить в настоящем.

Сатана в нестерпимом блеске,
Оторвавшись от старой фрески,
Наклонился с тоской всегдашней
Над кривою пизанской башней.

Зато Флоренция… И день был пасмурный, и время утреннее, но Анна уже через час рухнула. *Похоже на солнечный удар.* Гумилев сказал это небрежно, как о простуде – похоже на грипп. И добавил: в твоем положении желательны солнечные ванны, а не солнечные удары.

Оставшись на неделю одна во Флоренции, пока Николай Степанович изучал Рим, а как потом признался, и Неаполь, Анна Андреевна очень-очень старалась отделаться стихами от завораживающих воображение флорентийских достопримечательностей. И не могла отделаться: тяжесть культурного слоя в городе Данта не просто давила, как в Пизе, а подавляла, хотя ничего, кроме общих мест, ни об авторе «Божественной комедии», ни о милом городе его Анна не знала. Немые древности не складывались в картину, образы Италии расплывались, линии исчезали. Четким, как в перевернутый бинокль, она видела лишь свое Слепнево, бедное и смиренное:

Когда шуршат в овраге лопухи
И никнет кисть рябины темно-красной…

Еще более тяжкое бремя былого навалилась на нее в Венеции. Не в подъем! Дать можно только тому, кто в состоянии взять. И удержать. Она – не в состоянии. Пока не в состоянии. Вот разве что вышить бисерным почерком бытовую картинку, подобрать закатившуюся на ярко-зеленый газон пеструю – голубую с золотом, стеклянную бусину:

Золотая голубятня у воды…

Впрочем, к концу путешествия даже Николай выдохся. Венецию изучал методично, по частям, сначала сам город, потом окрестности, но как-то вяло, без всегдашнего энтузиазма. А вот Анна только в Венеции и очнулась. Случилось с ней это в самый последний день, когда совершенно случайно оказалась в том месте, куда хотела попасть еще до того, как оказалась в Италии. Когда у Муратова прочла про венецианские карнавалы:

«Маски, свечи и зеркала – вот что постоянно встречается на картинах Пьетро Лонги. Несколько таких картин украшают новые комнаты музея Коррер, заканчивая стройность этого памятника, который Венеция воздвигла наконец своему XVIII веку. Здесь есть ряд картин, изображающих сцены в Ридотто. Этим именем назывался открытый игорный дом, в котором дозволено было держать банк только патрициям, но в котором всякий мог понтировать. Ридотто был настоящим центром тогдашней венецианской жизни. Здесь завязывались любовные интриги, здесь начиналась карьера авантюристов. Здесь заканчивались веселые ужины и ученые заседания. Сюда приходили после прогулки в гондоле, после театра, после часов безделья в кафе на Пьяцце, после свиданий в своем казино. Сюда приходили с новой возлюбленной, чтобы испытать счастье новой четы, и часто эта возлюбленная была переодетой монахиней. Но кто бы мог узнать ее под таинственной «бауттой», открывающей только руку, держащую веер, да маленькую ногу в низко срезанной туфельке. Когда в 1774 году сенат постановил закрыть Ридотто, уныние охватило Венецию… На картинах Лонги перед нами Ридотто в дни его расцвета. В зале сумрак, несмотря на блеск свечей в многочисленных люстрах… Кое-где слабо мерцают зеркала. Толпы масок наполняют залы. «Баутты» проходят одна за другой, как фантастические и немного зловещие ночные птицы. Резкие тени подчеркивают огромные носы и глубокие глазницы масок…

большие муфты из горностая увеличивают впечатление сказки, какого-то необыкновенного сна. Среди толпы «баутт» встречаются женщины-простолюдинки в коротких юбках и открытых корсажах, с забавными, совершенно круглыми масками коломбины на лицах. Встречаются дети, одетые маленькими арлекинами, страшные замаскированные персонажи в высоких шляпах и люди, напоминающие своими нарядами восточные моря. Все это образует группы неслыханной красоты, причудливости и мрачной пышности. Наш ум отказывается верить, что перед нами только жанровые сценки, аккуратно списанные с жизни».

Венеция не самого славного из веков ее славы, отнятая у забвения тщательно-аккуратной кистью отнюдь не самого знаменитого из ее живописцев, была сродни ахматовскому Петербургу. Царь-плотник восхотел выстроить на Васильевском острове российский Амстердам. Разумная супруга безумного Павла укоренила в своей резиденции идеальный образ Центральной Европы, какую помнила и обожала, – ухоженной и обихоженной, соразмерной с необходимым и достаточным. И все, потеснившись, сроднилось, подчинившись жеманному, но верному вкусу Марии Федоровны. Русский фарфор и французские гобелены. Персидские ковры и итальянская керамика. Английские акварели и монастырские вышивки. Анна любила и европейскую смесь Павловска, и петровские сны о Голландии, и все-таки самым-самым был тот Петербург, который на венецианский манер построили для двух знаменитых императриц великие итальянцы! В «Поэме без героя», в ее первой маскарадной части, Ахматова не забудет напомнить нам об этом:

> И как будто припомнив что-то,
> Повернувшись вполоборота,
> Тихим голосом говорю:
> «Вы ошиблись, Венеция дожей —
> Это рядом…» Но маски в прихожей…

Из *Венеции дожей* супруги Гумилевы выехали в двадцатых числах мая 1912 года самым кратким и дешевым путем: Вена, Краков, Киев. Оставив жену в Киеве (до конца июня появляться в Слепневе свекровь запретила, в губернии Тверской настоящего лета хватает на один июль), Николай Степанович, вернувшись в Петербург, распустил «аполлоновцев» по курортам и дачам, а сам отправился в Слепнево. Общество матери никогда не тяготило его. Тем летом их отношения были особенно теплыми. Гумилева (втайне) умиляла нежность, с какой Анна Ивановна кроила, шила, расшивала чепчики и распашонки. Часть умиления перепала и

жене: «Мама нашила кучу маленьких рубашечек, пеленок и т. д.» (Н.Гумилев – А.Ахматовой, из Слепнева в Литки, конец мая 1912 г.).

Как Анна и предполагала, лучшим местом для будущего ребенка оказалось летнее Слепнево. Будь ее воля, она бы и родила здесь. Но ее воли не было. 12 августа, за месяц до предполагаемых родов, свекровь прямо-таки выставила сына и невестку в Питер: береженого Бог бережет. А ну как роды будут не срочные?

Тревоги и ее собственные, и бабкины оказались преувеличенными. Капризничая и паникуя по мелочам, в серьезных случаях Анна Андреевна смолоду проявляла недюжинную выдержку. Даже в конспективной записи П.Н.Лукницкого от 23 марта 1925 года рассказ роженицы, да еще и «первородки», удивляет именно этим – выдержкой:

«А.А и Николай Степанович находились тогда в Ц.С. А.А проснулась очень рано. Почувствовала толчки. Тогда А.А заплела косы и разбудила Николая Степановича: "Кажется, надо ехать в Петербург". С вокзала в родильный дом шли пешком, потому что Николай Степанович так растерялся, что не догадался взять извозчика или сесть в трамвай. В 10 часов утра были уже в родильном доме на Васильевском острове. А вечером Николай Степанович пропал. Пропал на всю ночь. На следующий день все приходят к А.А с поздравлениями, и А.А узнает, что Николай Степанович дома не ночевал. Потом наконец приходит и Николай Степанович с «лжесвидетелем». Очень смущен».

Валерия Сергеевна Срезневская объясняет неожиданное исчезновение Гумилева тем, что его соблазнили приятели, направляющиеся в места своих обычных увеселений. Дескать, подвернись ему в тот момент другие сотоварищи, менее подверженные таким «веселиям», Коля мог бы поехать в монастырь и отстоять монастырскую вечерню с «переполненным умилением сердцем». Мол, все дело было в его внутренней тревоге, которую нужно было как-то заглушить. Доля истины в этом объяснении есть, но только доля, ибо с внутренними тревогами Николай Степанович справлялся, не прибегая к помощи сотоварищей. По-видимому, он и впрямь растерялся. Уже то, что не догадался взять извозчика или сесть в трамвай, свидетельствует о не свойственной ему непрактичности. Ведь для того чтобы добраться пешком от Царскосельского вокзала до Васильевского острова, надо было затратить не менее полутора часов. И это при условии, что роженица могла идти достаточно быстро. А что было бы, если бы схватки начались по дороге? По-видимому, Анна Андреевна понимала состояние мужа, иначе

десятилетие спустя не вспоминала бы нелепое его поведение с легким сердцем и юмором.

К счастью, как уже говорилось, в 1912 году судьба была на редкость благосклонна и к Анне, и к Николаю, и к Льву Гумилевым. Роды прошли благополучно, и уже через несколько дней мать с младенцем торжественно встретили в Царском Селе.

Первые два месяца, отказавшись от кормилицы, Анна не отходила от сына. Свекровь не возражала, хотя и видела, что материнского молока мальчику не хватает. По ее разумению, в течение восьми недель мать и дитя все еще единое и неделимое целое. Но как только неразлучные недели миновали, Анну стали полегоньку отодвигать от *Гумильвенка*. То золовка, то свекровь. Сначала это ее даже обрадовало, потому что снова начали появляться стихи. Пока еще совсем-совсем домашние. Одно о сыне. Второе о муже.

Загорелись иглы венчика
Вкруг безоблачного лба.
Ах! улыбчивого птенчика
Подарила мне судьба.

В стихотворении, обращенном к Гумилеву, *улыбчива* лишь первая строфа, написанная в те недолгие недели, когда Николай Степанович, искупая странное поведение во время родов жены, не столько в глазах Анны, сколько матери, хотя и отлучался по делам в Питер, ночевал в Царском. Наводил порядок в библиотеке, охотно топил печи, не убегал к себе, если Анна Ивановна, помогая невестке купать и пеленать младенца, вспоминала, каким веселым был Николай в детстве:

В ремешках пенал и книги были;
Возвращались мы домой из школы.
Эти липы, верно, не забыли
Нашей встречи, мальчик мой веселый.

Вторую строфу Ахматова написала уже в конце октября, когда Николай Степанович снова стал под любым предлогом оставаться в городе:

Только, ставши лебедем надменным,
Изменился серый лебеденок.
А на жизнь мою лучом нетленным
Грусть легла, и голос мой незвонок.

Пока еще ничего серьезного. Никаких трещин в обшивке новенького семейного корабля. Просто Гумилев восстановился в университете и, чтобы не терять дорогое время на дорогу, снял гарсоньерку в Тучковом переулке. И эту перемену Анна восприняла как счастливую. Наконец-то у нее в Петербурге появилось законное спальное место и она может бродить по обожаемому городу хоть ночь напролет, не рискуя опоздать на последний поезд, не обременяя отца или Валерию неожиданными ночевками. Оставлять надолго мальчика она не решалась, отлучки в Питер были краткосрочными, да и погода к прогулкам не располагала. Зато будущим летом она прочитает весь Петербург по шагам! К тому же хотя Николай и перекочевал в город, основная его жизнь была в Царском. Здесь устраивались собрания «Цеха», сюда наезжали столичные гости – комнатенка на Тучке была такой тесной, что и двух визитеров усадить некуда. И все-таки, и все-таки… Стихи про лебеденка, ставшего лебедем надменным, возникли не на пустом месте. Уж очень Гумилев был занят. Чем-то таким, что не имело отношения ни к старофранцузскому, которым он вздумал заниматься в университете, ни к «Аполлону» и даже к его собственным стихам. Так занят, что даже в «Собаку» охотно отпускал Анну одну. А если и появлялся в подвальчике, то перед самым разъездом и только в те дни, когда она засиживалась там до рассвета – чтобы доставить загулявшую жену либо на Тучку, либо на Царскосельский вокзал.

Решив возбудить ревность мужа, Анна Андреевна напропалую кокетничала с его друзьями, успешнее всего с Лозинским. Гумилев не реагировал. Не отреагировал даже на откровенные провокации – стихи и строки, напичканные недвусмысленными намеками на отношения с воображаемыми любовниками. Пока воображаемыми. А тут еще болезнь. С наступлением холодов выяснилось, что новый дом, несмотря на капитальный ремонт, трудно хорошо натопить. Еще холоднее было на Тучке. Испугавшись ее трудного кашля, свекровь забрала мальчика к себе и тут же нашла кормилицу. За грудным молоком на соседнюю улицу исправно бегала Маруся.

Выздоровела Анна так же внезапно, как занедужила, – с первым снегом. И так же неожиданно похорошела. Последствия не замедлили сказаться: Сергей Судейкин положил на нее глаз. Через неделю она выскользнула из сомнительного приключения – легко и беспечально, как в отрочестве выныривала из-под лодки. Даже Вале ничего не рассказала, вроде как сон приснился, противный, хотя и соблазнительный. Слава богу, что и Судейкин

сделал вид, что промеж них ничего такого не было. А вот с женой «полуголубого» Сереженьки Ольгой Афанасьевной подружилась. В «Поэме без героя» Анна Андреевна скажет об Ольге Судейкиной: «Ты одна из моих двойников…» Какой смысл вкладывала в это слово Ахматова, осталось не разъясненным, ибо в человеческом отношении Ольга Афанасьевна и Анна Андреевна не двойники, а антиподы. Ольге при рождении феи даровали все то, чем обделили Аню Горенко. Она пела, танцевала, играла на сцене драматического театра, мастерила затейливых кукол, талантливо расписывала фарфор. Назвав Ольгу Афанасьевну в «Поэме» «Коломбиной десятых годов», Ахматова, похоже, имела в виду ее недворянское происхождение («деревенскую девку-соседку не узнает веселый скобарь»). Не исключаю, что в каком-то из первых (незаписанных) вариантов на маскараде в Белом зале Фонтанного Дома ей отводилась та же роль, какую исполняют красотки «из низов» на картинах Пьетро Лонги. Напоминаю: «Среди толпы «баутт» встречаются женщины-простолюдинки в коротких юбках и открытых корсажах, с забавными, совершенно круглыми масками коломбины на лицах». Этот вариант остался нереализованным. Подруга поэтов, белокурое чудо и т. д. – это уже не «деревенская девка». Пьетро Лонги отставлен, его место занял Боттичелли:

Вся в цветах, как «Весна» Боттичелли,
Ты друзей принимала в постели…

Возвращаясь в Царское, уже в декабре, первым утренним поездом после бессонной и пустой *собачьей* ночи, Анна, чтобы самым пошлым образом не задремать – терпеть не могла клюющих носом загулявших царскоселов, – почти заставила себя «слагать стихи». Стала их прямо-таки делать из подхваченной на лету в подвальчике шутливой фразы: «Да все мы тут бражники да блудницы». Вспоминала и усталое мимозное личико танцующей Ольги… Последняя строфа, Ольгина, уладилась, когда свернула на Малую. Николай не спал, объяснил, что заработался, придумывая первый, на 1913 год, номер «Аполлона». Объяснял как-то уж очень подробно, как будто опасался, что жена догадается об истинной причине его бессонницы. Но Анне было не до подробностей. Ей очень-очень хотелось прочесть сочиненные в вагоне стихи. Не ошибается ли она, думая, что перешагнула границу, отделяющую сине-голубой, девический «Вечер» от новой взрослой книги?

Все мы бражники здесь, блудницы.
Как невесело вместе нам!

На стенах цветы и птицы
Томятся по облакам.

Ты куришь черную трубку,
Так странен дымок над ней.
Я надела узкую юбку,
Чтоб казаться еще стройней.

Навсегда забиты окошки:
Что там, изморозь или гроза?
На глаза осторожной кошки
Похожи твои глаза.

О, как сердце мое тоскует!
Не смертного ль часа жду?
А та, что сейчас танцует,
Непременно будет в аду.

Кончила и вопросительно поглядела на мужа.

– Если такого наберется на целый сборник, его придется продавать в зеленных лавках.

– Это хула или хвала?

Вместо ответа Гумилев протянул лист бумаги:

– Садись за стол и запиши. И не карандашом. Чернилами. Когда ты это все придумала? Сегодня? В вагоне? Так и подпиши: 19 декабря. В вагоне. У меня в «Аполлоне» для первого номера изюминки нету.

Еще в ноябре, когда Анна перестала кормить, они с Николаем решили, что на Рождество вместе поедут в Киев. Заранее предупредили об этом мать. Но Гумилев, сославшись на неотложные дела, от семейной поездки отказался. Анна не обиделась. Как ни раскладывай, а без его зарплаты в «Аполлоне» не то чтобы жить – существовать не на что. Особенно теперь, когда Левушке нужны и няня, и кормилица. Она бы и сама не поехала, но отменить обещание невозможно. В Киев, и тоже на Рождество, собирался приехать Виктор. Теперь ее младший братец высокий, красивый морской кадетик, отец не может на него налюбоваться. Виктор вполне мог отгулять каникулы в Петербурге, но он так мечтал, что в первый его курсантский отпуск вся семья соберется у елки…

Вернулась Анна домой в самый последний день счастливого *Собачьего* года. И в этот день, точнее, вечер получила еще один предновогодний презент. В поздний час 31 декабря 1912 года ее

визави в царскосельском почти пустом поезде оказался Николай Владимирович Недоброво. Шапочно они были знакомы давно. Обменивались улыбками на Башне, не раз сталкивались на одних и тех же аллеях в Екатерининском парке. А вот разговорились впервые. Прощаясь у сворotки на Малую, Недоброво церемонно поцеловал ей руку. Чуть ниже запястья. А вот смотрел – они были одного роста – не церемонно, глаза в глаза. Глаза у Николая Владимировича были редкостного фиалкового цвета.

Интермедия четвертая (1913)

Вечерний и наклонный
Передо мною путь.
Вчера еще влюбленный,
Молил: «Не позабудь».
А нынче только ветры
Да крики пастухов,
Взволнованные кедры
У чистых родников.

Анна Ахматова

Свиданий они не назначали. В «Собаке» Недоброво не бывал, ночные бдения с «примесью дворняжки» были не в его вкусе. Однако как-то само собой получалось, что, случайно пересекшись, то Анна Андреевна, то Николай Владимирович невзначай сообщали, когда и каким поездом планируется поездка в Петербург. У Недоброво были слабые легкие, и он, если позволяли служебные обстоятельства, даже зимой неделями жил в Царском Селе, на даче. Дача была собственной. Супруга изящного господина с фиалковыми очами обладала состоянием, и немалым. Детей у них не было.

Свидания начались позже, ближе к весне, в марте, когда Недоброво вплотную занялся организацией «Общества поэтов» и у него появился предлог сделать общение с Анной Андреевной более тесным. Как-никак, а жена Гумилева была не просто супругой лидера акмеистов, но и входящей в моду поэтессой. О том, чтобы завлечь Ахматову в свой эстетический клан, Недоброво разговоров не заводил, но даже молчаливое, скромное присутствие примадонны «Бродячей собаки» на собраниях «Общества» поднимало его престиж в глазах публики. К тому же, по плану Недоброво, его предприятие должно было отличаться и от гумилевского «Цеха», и от прочих литературных собраний тем, что его украшением будут самые элегантные и модные дамы столицы.

Однажды их прощание, впрочем, вполне благопристойное, под уличным фонарем, засек Гумилев и потом с неделю изводил «неверную жену» насмешками. Недоброво Николай Степанович не жаловал. Дескать, господин сей не просто комильфо, а какой-то преувеличенный комильфо. Действительно, культивируя и демонстрируя высокий образ мыслей, Николай Владимирович был чрезвычайно щепетилен «в отношении чистой обуви и

перчаток». Правда, Гумилев (по воспоминаниям современников) и сам питал старомодное уважение к правилам хорошего тона, однако в его «джентльменстве» было что-то нарочито несерьезное, что-то от манеры юного провинциального актера, которому в столичном театре вручили роль на вырост. Недоброво же джентльменствовал всерьез. Всерьез доказывал стремительно опрощавшемуся и быту, и бытию, как важно быть серьезным и благовоспитанным даже в мелочах. Благовоспитывал Николай Владимирович и Анну Андреевну. Не обидно, как ребенка, и, видимо, достаточно умело. Ее это забавляло, тем паче что ученицей она была способной. Но время от времени Анна взбрыкивала – какого черта, она такая, какая есть! И выдавала, словно вынимала из потайного кармана, свой коронный жест, еще девочкой подсмотренный у лихой молодухи на одесском базаре. Об этих взбрыках через три четверти века, опираясь на обмолвки и проговорки Ахматовой, рассказала ее младшая подруга, Надежда Яковлевна Мандельштам: «Первые свои уроки, как должна себя вести женщина, А.А. получила от Недоброво. Какая у него была жена, спрашивала я; оказалось, что его жена очень выдержанная дама из лучшего общества. Сам Недоброво тоже был из "лучшего общества", и его влияние сказалось на некоторых жизненных установках Анны Андреевны. "Аничка всем хороша, – говорил он, – только вот этот жест, она ударяла рукой по колену, а затем, изогнув кисть, молниеносно подняла руку ладонью вверх и сунула мне ее почти под нос. Жест приморской девчонки, хулиганки и озорницы"».

Таким жестом, судя по всему, было и знаменитое «Стать бы снова приморской девчонкой…», написанное (скорее всего) после 4 апреля 1913 года.

Напомню этот текст:

Вижу выцветший флаг над таможней,
И над городом желтую муть.
Вот уж сердце мое осторожней
Замирает и больно вздохнуть.

Стать бы снова приморской девчонкой,
Туфли на босу ногу надеть,
И закладывать косы коронкой,
И взволнованным голосом петь.

Все глядеть бы на смуглые главы
Херсонесского храма с крыльца
И не знать, что от счастья и славы

Безнадежно дряхлеют сердца.

Почему я предполагаю, что процитированное стихотворение написано после 4-го, но не позже 7 апреля 1913 года, а не осенью, как датировала их сама Ахматова, и не в феврале, как полагают составители шеститомного собрания ее сочинений? Потому, что 4 апреля в петербургской квартире Недоброво состоялся литературный обед по случаю открытия «Общества поэтов». Городская квартира Николая Владимировича и Ольги Александровны Недоброво, в которую А.А. попала впервые 4 апреля 1913 года, была не просто богатой или стильной. Она была подчеркнуто, с вызовом эксклюзивно-антикварной. И мебель, и сервировка – музейных кондиций. Хозяин, офраченный и опроборенный, – в черно-белом. Хозяйка – в фамильных бриллиантах. Словом, антураж оказался до того чужеродным, что *приморской девчонке* очень-очень захотелось, хлопнув по коленке и вывернув ладонь, сунуть им всем прямо под нос свое – *Hate*!

Блок, приглашенный на открытие, прочитав, как было договорено, «Розу и крест», откланялся. Была ли это реакция на фамильные бриллианты супруги приятеля, Анна не поняла, но таким равнодушным, душевно уставшим от своей «признанности» и не по возрасту дряхлым она его еще никогда не видела…

Обед незаметно перешел в ужин, разумеется, при свечах, свечи – в канделябрах итальянского XVI века… Вернулась Анна Андреевна в Царское поздно, а утром наконец выяснилось, чем же все последние месяцы был так таинственно занят ее муж. Оказывается, подготовкой к очередной африканской экспедиции! На сей предмет милый его племянник, по настоянию обожаемого дядюшки, совершенствовался в фотографии, учился стрелять и т. д. и т. д. Анна кинулась к золовке. Шурочка расплакалась. У них все готово – и бумаги, и деньги, и патроны. Военное ведомство выдало пять ружей, тыщу патронов, а от Академии наук еще и 600 рублей. Я ему… А он мне… Ты случайно не знаешь, что такое амок? Амок? При чем тут амок? Да это Коля, мой, так говорит: африканский амок.

Воистину – амок, влеченье, род недуга. Но это у Коли-маленького – амок. Николай Степанович на одержимого не похож. Тут что-то другое, посложней.

Весна была ранней. У соседей справа мыли окна, и кто-то очень юный пел под гитару:

Белеет парус одинокий
В тумане моря голубом.
Что ищет он в краю далеком?

Что кинул он в краю родном?

… И не от счастия бежит? И счастия не ищет? «Я конквистадор в панцире железном…»? Как же поздно она догадалась, откуда у Колиного «конквистадора» «железный панцирь»! «Нет на устах моих грешных молитвы, нету и песни во славу любезной, помню я только старинные битвы, меч мой тяжелый да панцирь железный». А как могла позабыть про его отроческий Кавказ? Он же говорил, рассказывал, что исходил с ружьем заросшие диким лесом окрестности Тифлиса! У нее – Крым. Ясный. Античный. Пушкинский. У него – Кавказ. Лермонтовский. «Тот чудный мир тревог и битв»! Сколько разговоров, толков, соображений о Брюсове, Анненском, Пушкине! О Лермонтове ни слова. Ну, прямо по Блоку: чем реже на устах, тем чаще в душе. У нее и Царское – пушкинское. У него – лермонтовское. У нее – «смуглый отрок». У него – маленький гусар. И не от Лермонтова ли у Гумилева кавалерийские мечтания? Свекровь на днях вспоминала, как младший сын, восьмилетний, услышав краем уха, что отец собирается купить маленькую усадьбу, заявил: не стану там жить, если не будет лошадей. Все с ума сходят, мечтают об автомобилях, запах бензина слаще шартреза. А ему – кони-лошади и обязательно верховые. Впрочем, не все. Зенкевич тоже вздумал заняться верховой ездой. Но тот в степи вырос, при табунах и табунщиках, а Коля? Внук рязанского дьячка, сын корабельного врача, племянник контр-адмирала…

Из филологических расследований Анну вывела Ольга Судейкина. В Царском Оленька почти не бывала – не любила пригородных поездов. И если преодолела железнодорожное предубеждение, значит, что-то случилось. И впрямь случилось. С Всеволодом Князевым, ее поклонником. Попытка самоубийства. Причастие к смерти Князева Ольга решительно отрицала, доказывая Анне, что Всеволод просто запутался, хотел вырваться, уйти от кузминских «юрочек», стать нормальным, не «голубым», а как вернулся в полк, там такие же педерасты накинулись на него, мерзавцы. Вот и не выдержал. Но про них-то здесь никто не знает, обвинять меня будут. Родные уж точно будут.

Ахматова Коломбине не поверила. «Юрочки» так на женщин не смотрят, как Князев на Ольгу смотрел. Это с ним она в ресторане была, когда Блок послал ей черно-красную, почти черную розу… «Я послал тебе черную розу в бокале золотого, как небо, Аи…»

– Насмерть? Совсем?

– Пока жив, но безнадежен.

Сведения, которыми располагала Ольга Афанасьевна, оказались верными. В Вербную субботу, 6 апреля 1913 года, из Риги на адрес О.А.Судейкиной пришла телеграмма с сообщением о смерти Всеволода Князева, поэта и офицера. А на следующий день, 7 апреля, Николай Степанович уехал на полгода в Африку.

Георгий Иванов – мемуарист из принципа недобросовестный. Однако ситуация отъезда Николая Гумилева в последнюю африканскую экспедицию отражена в его воспоминаниях и верно, и выразительно; в умении ставить слово после слова ему не откажешь:

«Последняя его экспедиция (за год перед войной) была широко обставлена Академией наук. Я помню, как Гумилев уезжал в эту поездку. Все было готово, багаж отправлен вперед, пароходные и железнодорожные билеты давно заказаны. За день до отъезда Гумилев заболел – сильная головная боль, 40 температура. Позвали доктора, тот сказал, что, вероятно, тиф. Всю ночь Гумилев бредил. Утром я навестил его. Жар был так силен, что сознание не вполне ясно: вдруг, перебивая разговор, он заговаривал о каких-то белых кроликах, которые умеют читать, обрывал на полуслове, опять начинал говорить разумно и вновь обрывал. Когда я прощался, он не подал мне руки: "Еще заразишься" – и прибавил: "Ну, прощай, я ведь сегодня непременно уеду". На другой день я вновь пришел его навестить, так как не сомневался, что фраза об отъезде была тем же, что и читающие кролики, т. е. бредом. Меня встретила заплаканная Ахматова: "Коля уехал"».

Иванов не преувеличивает, Анна и в самом деле не могла остановить слез… Ночью бредил, горел, а за два часа до отъезда, потребовав горячей воды для бритья, побрился и стал укладывать то, что было еще не уложенным. Анна в присутствии свекрови попробовала уговорить его поменять билет, но он продолжал укладываться… Среди еще не уложенного были, как всегда, и книги в дорогу. Растерянная Анна Андреевна сунула в одну из них листок бумаги с переписанными для «Гиперборея» стихами про приморскую девчонку.

Получив от Коли-маленького телеграмму, данную сразу же по приезде в Одессу: *Добрались живым Обнимаем Николаи,* – Анна стала собирать вещи. Тифозных в Одессе держали в барачном карантине, надо ехать, договариваться с врачами. Свекровь невестку не отпустила: повременим день-другой, может, не тиф, а предотъездная горячка. Предполагаемый тиф, к счастью, оказался всего лишь гриппом. В поезде Николай отоспался, и через несколько дней Анна получила от мужа письмо, отправленное

срочной почтой 13 апреля 1913 года.

Анна Ахматова, хотя и *заводила архивы*, обращалась с ними небрежно. В советское лихолетье несколько раз сжигала свои бумаги. Однако на апрельское письмо мужа не посягнула ни после расстрела Гумилева, ни после арестов сына. Хотя могла бы и сжечь, ибо запомнила его на всю оставшуюся жизнь: «Милая Аника, я уже в Одессе и в кафе почти заграничном… В здешнем магазине просмотрел Жатву. Твои стихи очень хорошо выглядят… Я весь день вспоминаю твои строки о приморской девчонке, они мало что нравятся мне, они меня пьянят. Так просто сказано и так много, и я совершенно убежден, что из всей послесимволической поэзии ты да, пожалуй (по-своему), Нарбут окажетесь самыми значительными».

В альманахе «Жатва» были опубликованы, казалось бы, куда более эффектные и куда более «популярные» строки Ахматовой («Безвольно пощады просят…», «И кто-то во мраке деревь незримый…», «Протертый коврик под иконой…»). Но о них Николай Степанович упоминает вскользь, дескать, «хорошо выглядят», а сам снова возвращается к стихам о приморской девчонке, где «так просто сказано и так много». Так много эти стихи говорили Гумилеву прежде всего лично. С отрочества, с первых зимних прогулок он удивлял Анну звериным нюхом на стихи, позволявшим вмиг, не раздумывая, выхватить из нескольких текстов самый удачный. На этот же раз Гумилев не просто удивил, а поразил ее дьявольской интуицией. В двенадцати строчках про приморскую девчонку ни слова про любовь, а он, надо же, догадался: Анна наконец-то проговорилась о том, что случилось с ней семь лет назад, ранним летом 1907 года, между радостным обещанием обвенчаться тайно, если отец будет против их брака (в зимних письмах из Киева), и холодно-равнодушным отказом через неполных два месяца в Севастополе… «Милая Аня, ты не любишь и не хочешь в этом признаться…»

Прозой о том, о чем ненароком проговорилась в стихах приморская девчонка, Анна Ахматова поведает двенадцать лет спустя, в разговорах с Павлом Лукницким: «В течение своей жизни любила только один раз. Только один раз. Но как это было! В Херсонесе три года ждала от него письма. Три года каждый день, по жаре, за несколько верст ходила на почту и письма так и не получила. Закинув голову на подушку и прижав ко лбу ладони, с мукой в голосе: "И путешествия, и литература, и война, и подъем (точно ли это слово, не ручаюсь, но смысл тот), и слава – все, все, все, решительно все, только не любовь… Как

проклятье… (одно слово, не помню)… эта, одна, единственная, как огнем, сожгла все, и опять ничего"» (запись от 3 марта 1925 г.).

Впрочем, и Гумилев не очень-то спешит признаться, что и его чувство к «милой Анике» за три года несчастливого и странного их брака утратило юношеский пыл. Зачем? Ведь Анна Андреевна об этом уже знает, и доказательства *несравненной* ее *правоты* неоспоримы. Если бы любил, как тогда, когда приезжал в Одессу и Севастополь, не влюблялся бы в других женщин, не волочился бы за *Музой дальних странствий.* На этот довод Гумилеву возразить нечего. Его страсть к покровительнице всемирных путешественников пожизненна, и связь с другой женщиной имеет место быть, и любви, о какой он, «мальчиком странно влюбленным», мечтал как о рае золотом, не получилось. Все так, а ему при этом почему-то «не только радостно, но и необходимо» сказать Анне главное. И про себя, и про нее: «По мере того как ты углубляешься для меня как женщина, я хочу укреплять и выдвигать в себе мужчину».

Словом, чем более женскими и глубокими становятся стихи Ахматовой, тем упрямее, от противного, Гумилев укореняет в свой поэзии (и в жизни) культ воина и «конквистадора».

Впрочем, в письме есть и еще одна фраза, звучащая несколько странно после вышеприведенных признаний: «Любопытно, что я сейчас опять такой же, как тогда, когда писались Жемчуга, и они мне ближе Чужого неба». Третий сборник Н.С.Гумилева «Жемчуга», напоминаю, вышел в свет 16 апреля 1910 года. Получив сигнальные экземпляры, Николай Степанович в тот же вечер уехал в Киев, чтобы преподнести их Анне Горенко в качестве свадебного подарка. Про следующую книгу мужа «Чужое небо» Ахматова (в «Записных книжках», то есть через полвека) скажет так: «Самой страшной я становлюсь в "Чужом небе" (1912), когда я в сущности рядом ("влюбленная в Фауста Маргарита, женщина-вамп в углу, Фанни с адским зверем у ног, просто отравительница, киевская колдунья с Лысой горы – "А выйдет луна, затомится…"). Там борьба со мной! Не на живот, а на смерть!» Анна Андреевна по обыкновению несколько драматизирует ситуацию, но суть конфликта («борьба со мной!») определяет верно. Даже восхищенный свежестью и простотой пленительного стихотворения, Гумилев не упускает случая напомнить строптивой жене, что его Луна, в отличие от ее Луны, не сосуд с приворотным зельем, а алмазный щит мудрой и мужественной Афины Паллады.

Допускала ли Ахматова, что Гумилев именно так, глубоко и лично, поймет эти стихи? Вряд ли. Иначе не сделала бы мужу на

долгую, минимум на полгода, опасную дорогу *страшный подарок*. Видимо, думала, что Николай Степанович, как и Лозинский, отнесется к стихам о приморской девчонке как к изящной севастопольской зарисовке. Ведь и наши, читательские глаза «проросли в глубину» лишь после того, как в переложении Павла Николаевича Лукницкого стал известен приведенный чуть выше рассказ Ахматовой о своей первой и единственной любви.

Что ответить на такое письмо? Тем более ответить человеку, который сам отправил себя в трудную экспедицию, дабы доказать, что «только сумма преодоленных препятствий служит истинно правильным мерилом подвига и человека, его совершившего»? Сказать, что Николай заблуждается, полагая, будто она просто боится посмотреть правде в глаза: зная, что не любит мужа (и не полюбит никогда), не хочет в этом признаться. Ни себе. Ни ему. А как реагировать на слова Гумилева о том, что, несмотря на трехгодичный опыт брачного союза, он все такой же, как тогда, когда писались «Жемчуга»?

Время шло, письмо не складывалось. Анна Андреевна уже сочиняла в уме текст телеграммы, но тут произошло непредвиденное. Разбирая по просьбе свекрови бумажные завалы в кабинете Николая Степановича, она обнаружила пачку женских писем. То, что муж у нее на глазах оделяет вниманием всех «хорошеньких», ее не слишком беспокоило, таков был стиль мужского поведения, принятый в их полубогемном кругу и особенно процветавший в «Бродячей собаке». Но письма свидетельствовали о совсем ином типе отношений…

После этой находки у нее было полное право не написать «африканцу» ни единого слова. Приняв это решение, Анна Андреевна уехала к отцу, и лишь переждав неделю, отправилась в Слепнево. Там и успокоилась: стихами. Если так и дальше пойдет, к осени будет готова новая книга.

Из творческой отрешенности ее вывела тревога, охватившая все население слепневского дома. В течение полутора месяцев ни от Коли-большого, ни от Коли-маленького ни письма, ни телеграммы. Теперь и за обедом, и за вечерним чаем не было иных толков, кроме как о пропавших экспедициях. Прежде всего, конечно, об африканской, но и не только о ней. Дмитрий Степанович Гумилев с нетерпением ждал газет, чтобы узнать, нет ли вестей о его бывшем однокашнике по Морскому кадетскому корпусу Георгии Брусилове, капитане парового парусника «Святая Анна» и начальнике первой в России полярной экспедиции, организованной на частные средства. «Святая Анна», простоявшая все прошлое лето у Николаевского моста, и ее двадцативосьмилетний капитан были в те месяцы первым

сюжетом всех российских газет.

Анна Ахматова полярного ажиотажа не застала. Она, как мы помним, уехала в Италию за два дня до прибытия в Петербург «Святой Анны», а вернулась (на роды) спустя два дня после того, как красавица-шхуна отшвартовалась от Невского причала. Прошли мимо ее ушей и осенние сообщения о том, что связь с брусиловцами потеряна. И вдруг выяснилось, что судьбой экипажа «Святой Анны» интересуется даже ее отец. Правда, прогнозы Андрея Антоновича были оптимистичны: судно вмерзло в береговые льды и теперь находится в дрейфе. Надо ждать июля, открытия навигации. Когда Анне приходилось ночевать у отца, постель ей стелили в его кабинете. Раздеваясь, она заглянула в раскрытый на письменном столе журнал «Речное судоходство» и прочла отмеченное отцом: «Шхуна производит весьма благоприятное впечатление в смысле основательности всех деталей корпуса. Материал первоклассный. Обшивка тройная, дубовая. Подводная часть обтянута листовой медью». Прочла и улыбнулась: вот и у меня внешность русалочья, а *«подводная часть»* обтянута листовой медью. Все Анны такие.

Прошел июль. Наступил август. Анна Ивановна замолчала. Перестала кудахтать и ее падчерица, мать Коли-маленького. Теперь разговоры о странствующих и плавающих заводила одна лишь Ольга Кузьмина-Караваева. Ее тоже волновала судьба «Святой Анны», правда, по иной, романтической причине. Среди членов пропавшей экспедиции по воле случая оказалась женщина. И не какая-нибудь грэзерка, как в модных стихах Северянина про яхту из березы карельской, а серьезная девушка, генеральская дочка, подруга сестры капитана. Отец отпустил ее под честное слово: доплыв до Копенгагена, девятнадцатилетняя Ерминия Жданко должна была сойти на берег и вернуться в Россию. Она ослушалась и осталась.

Выудив в пачке прошлогодних газет описание торжественных проводов «Святой Анны», Ольга ворвалась к Анне Андреевне с потрясающей новостью. Оказывается, Пуанкаре, когда в прошлом году приезжал в Петербург, спросил у капитана царской яхты, как назывался прежде брусиловский парусник. (О том, что «Святая Анна», которой императорская «Стрела» сигналит «Счастливого плаванья!», выстроена не в России, будущий президент Франции догадался с первого взгляда.) «Пандора», – подсказал кто-то из окружавшей высокого гостя свиты. Пандора? Чудаки англичане, давшие судну, предназначенному для плаванья в полярных морях, такое имя! Но и русские не лучше. Покупать старье, да еще и с приносящим несчастье именем? Смелость, граничащая с безрассудством… Анна, гася нарастающую тревогу, скомкала

газетный лист и бросила его в печку – пригодится на растопку. А Ольге сказала: «"Пандора" по-гречески значит «всезнающая». Да, выпустила из своего ящика все мыслимые и немыслимые несчастья. Но надежда, вспомни, Оленька, осталась. На самом дне. Так что давай и мы будем надеяться».

Ольгу она успокоила, себя – нет. Еле дождалась утра, чтобы отправить Мише Лозинскому еще вчера начатое письмо. Лозинский был единственным человеком в ее окружении, у которого были приватные знакомства в академических кругах.

«У меня к Вам, Михаил Леонидович, большая просьба… Так как экспедиция послана Академией наук, то самое лучшее, если справляться будут оттуда. Может быть, Вы можете пойти в академию и узнать, имеют ли они известия о Коле».

Конечно, Анна Андреевна могла пойти в академию и сама, но она, как всегда, была *не в курсе,* не могла даже припомнить, в какой мере императорское Географическое общество задействовано в гумилевских проектах. Лозинский был образцом обязательности. Уже через три дня до Слепнева долетела телеграмма, удостоверявшая, со ссылками на информированные источники, что самодеятельные исследователи живы. Три дня неизвестности показались Анне Андреевне бесконечностью.

С африканскими путешественниками и на обратном пути ничего несовместимого с жизнью не случилось. Внезапно, без телеграммы, они объявились 20 сентября 1913 года. Правда, измученные, больные и налегке. Встречавший их Зенкевич отвез громоздкий багаж к себе, денег на извозчика до Царского ни у кого не было.

Первым делом Анна попыталась выяснить, как же отнесся Николай к ее полугодовому молчанию. Оказалось, не заметил, что в их переписке образовался катастрофический пробел. Даже оправдываться не стал. Хотя мог бы и оправдаться. Их маленький экспедиционный отряд чуть не погиб, выжили чудом. А ведь надо было не только самим выбраться из дебрей, но и донести-довезти в целости бесценный груз: альбомы с натурными зарисовками, карты, фотопластинки, несколько тюков, набитых африканскими диковинками. Иначе за выданные академией авансы не рассчитаться… Все это рассказал Анне не сам Гумилев, а Коля-маленький. Его, как и Колю-большого, трепала африканская лихорадка. Правда, Николай Степанович уже через день после возвращения стал на ноги и пытался работать, Сверчкова же пришлось прочно уложить в постель и вызвать врача. Врач задерживался. Анна Ивановна попросила младшую невестку отнести *мальчику* малиновый отвар. Тогда-то Коля-маленький ей

все и выложил…

Несмотря на смягчающие вину обстоятельства, семейное счастье отважного путешественника, и до года 1913-го не слишком-то прочное, дало такую трещину, что ни склеить, ни залатать. Анна, при всей своей гордости, не в силах была забыть про найденные весной женские любовные излияния и по той же причине никак не решалась признаться мужу, что способна читать чужие письма. Впрочем, тогда, в мае, она их и не читала, всего лишь проглядела – наискосок. Прочла уже после приезда «изменщика». Подписи на посланиях не было, но в одном из конвертов оказалась фотография – девушка с велосипедом. Стройная. Спортивная. И кажется, белокурая. Ну да, Ольга Высотская, маленькая актрисуля из мейерхольдовской труппы. В «Собаке» мейерхольдовки, наезжая из Териок, где у Всеволода Эмильевича был как бы свой театр, всегда садились за самый дальний столик.

Вообще-то пристойный выход из щекотливого положения был: дождавшись, пока Николай окрепнет и начнет по обыкновению исчезать из дома, положить злосчастную пачку в какое-нибудь незаметное место. Но, борясь с болезнью, Гумилев домоседничал так долго, что Анна не утерпела. В пересказе П.Н.Лукницкого эпизод выглядит почти светским: «Когда Н.С. уехал в Африку в 13-м году, мать Н.С. как-то попросила А.А разобрать ящик письменного стола. А.А, перебирая бумаги, нашла письма одной из его возлюбленных. Это было для нее неожиданностью: она в первый раз узнала. А.А за полгода не написала в Африку Н.С. ни одного письма. Когда Н.С. приехал, она царственным жестом передала письма ему. Он смущенно улыбался. Очень смущенно». Как правило, в разговорах с Лукницким Анна Андреевна от истины либо не прячется, либо сжимает ответы на его деликатные вопросы до плотности, исключающей оттенки смысла. В данном случае плотность сжатия не слишком велика: Николай Степанович отнесся к случившемуся почти спокойно. Молча принял из рук жены доказательство измены и незаметно, без вызова, исчез до утра. Утром, явившись как ни в чем не бывало к завтраку, долго чаевничал, пока не опустошил вазу с конфетами. Она фыркнула: «Все зубы на конфетках проешь!» Гумилев не обиделся, улыбался милой своей улыбкой, всегда его красившей.

Освободившись от писем, Анна слегка успокоилась: сама, мол, не без греха. К тому же Николай все еще не оправился от подхваченной в Африке хвори. Но год был недаром – тринадцатым! В конце октября до Ольги Судейкиной, а через нее и до Анны Андреевны долетела загулявшая по театральному

Петербургу молва: красотка Высотская родила. От кого – скрывает. Одни говорят, от Мейерхольда, другие – что от Гумилева. Известно только, что сын и что назван Орестом. Анна не знала, что и думать. В найденных письмах и намека не было на то, что Николай Степанович ненароком сделал белокурой девице «ребеночка». Вот только сильно смущало данное младенцу имя. Во всем Петербурге никому, кроме Николая, не могла прийти в голову столь мрачная фантазия. Орест! Сын Агамемнона, отомстивший матери за убийство отца! На всякий случай она все-таки устроила Николаю сцену. Естественно, с *привкусом дворняжки.* А потом всю ночь поедом себя грызла: зачем? Ведь знала же, знала: ничего не объяснит! И ни о чем не расскажет. Впрочем, все-таки объяснил. Но очень уж по-своему. И не сразу – дня через три. Молча положил перед ее прибором исписанный чистовым почерком лист голубоватой почтовой бумаги. И тут же, прихватив термос, поднялся к себе.

Я счастье разбил с торжеством святотатца,
И нет ни тоски, ни укора,
Но каждою ночью так ясно мне снятся
Большие ночные озера…

И новое солнце заблещет в тумане,
И будут стрекозами тени,
И гордые лебеди древних сказаний
На белые выйдут ступени…

Все правильно: ни тоски, ни укора. Анна поймала себя на том, что чуть ли не впервые читает стихи мужа без снисходительного, сверху вниз, «злого торжества». Ночные озера? Настоящего, большого озера, чтобы и волны, и лебеди, в ее жизни не случилось. Да и большой и таинственной реки тоже. Днепр не в счет. Простор, блеск, сила и никакой тайны. В Днепре ей почему-то не хотелось ни нырять, ни плавать. Киевские кузины удивлялись, а она важничала: не выношу пресную воду. Тиной воняет. Какая в Днепре тина? А вот Коля понял. Ты права, Анюта. Днепр как опера. В роскошной постановке. И певцы голосистые. А тебе Оку надо показать. Вот это река! Специально для русалок задуманная… И это она, Анна, говорила болтуну Чуковскому, что Коля несчастный, потому что пишет хуже ее, оттого и страдает? Правда, раньше, до злосчастного лета тринадцатого года, не высказывалась. Скромно потупившись, молчала, если при ней отзывались неодобрительно. Дескать, не женино это дело вступаться за мужа. Припомнив в деталях нехороший летний

разговор с вездесущим Корнеем, почувствовала, что краснеет. Хорошо, что в столовой, как всегда, полутемно и горничная, убирающая посуду, не видит ее лица. *И будут стрекозами тени…* А как точно о несказанном, о чем мыслим тенями мыслей!

Анна поднялась наверх, чтобы сказать Николаю Степановичу про его стихи, чего прежде не делала. Ждала, чтобы спросил: «Ну как тебе, Аничка?» И отводил глаза. На этот раз Николай даже не обернулся на поскрипывание ступенек. Знал, что это она, слух у него охотничий, но так и остался сидеть в любимом своем прадедовском кресле, уткнувшись в книгу. Пришлось сделать вид, что пришла за журналом.

Знали бы, где поскользнутся, соломку бы подстелили, но что сделано, то сделано. А может, и у всех так? Может, мир, пусть и худой, все-таки лучше ссоры? Кажется, и Николай того же мнения. Во всяком случае, старается, чтобы и мать, и Лозинский, и Осип ничего не заподозрили, и всегда радуется, если Анна остается ночевать на Тучке.

Георгий Иванов, в этой комнатенке, в этой почти корабельной каюте никогда не бывавший, изобразит ее в своих псевдовоспоминаниях о петербургских зимах и неверно, и непохоже. У Мандельштама получилось точнее, хотя он и перекрасил знаменитое синее платье Ахматовой, то самое, в котором ее отпортретирует Натан Альтман, в зеленый цвет. Зато все остальное вышло замечательно. Особенно нравился Анне Андреевне зависший в табачном тумане призрак фрегата. Николай в тот вечер и впрямь был похож на героя своих «Капитанов», хотя и занимался вполне будничным делом: пытался отыскать среди сваленных в угол африканских трофеев коробку с турецким табаком и курительными трубками, привезенную из Африки по заказу друзей-курильщиков. Коробка не находилась, курили какую-то дешевую дрянь, Анну от нее бил кашель.

Нет, не поднять волшебного фрегата:
Вся комната в табачной синеве —
И пред людьми русалка виновата —
Зеленоглазая, в морской траве!

Она курить, конечно, не умеет,
Горячим пеплом губы обожгла,
И не заметила, что платья тлеет
Зеленый шелк и на полу зола…

Так моряки в прохладе изумрудной
Ни чубуков, ни трубок не нашли,

Ведь и дышать им научиться трудно
Сухим и горьким воздухом земли!

Перестав ревновать Мандельштама к Гумилеву, Анна Андреевна с Осипом подружилась. Сначала просто по-человечески. После того как Мандельштам сказал: «Ваши стихи можно удалить из моего мозга только хирургическим путем». А подружившись, почти поняла, почему Николай с таким вниманием относится к его стихам. Мальчик с ландышами в петлице извлекал музыку из шума времени каким-то иным, недоступным ей способом, и предметы земных вещей соединялись в его поэтическом мире по неведомым ей законам. Нет-нет, она не завидовала и не соперничала. Она была целиком занята своей новой книгой.

А все-таки не думать о девушке с велосипедом не получалось…

В «Записных книжках» Ахматова называет Ольгу Николаевну Высотскую бедной и милой («…от бедной милой Ольги Николаевны Высотской <Гумилев> даже родил сына Ореста»). Как о существе робком и незначительном отозвалась о ней и Лидия Корнеевна Чуковская, познакомившаяся с Высотской в Фонтанном Доме у Анны Ахматовой в годы Большого террора: «Пришла ожидаемая дама. Тоненькая, старенькая, все лицо в мелких морщинах. Углы узкого рта опущены» (запись от 21 июля 1939 г.). Но вот что пишет о той же старенькой даме отец Лидии Корнеевны двадцать с лишним лет спустя: «Сейчас была у меня Ольга Николаевна Высотская; принесла воспоминания о Мейерхольде, с которым жила в Териоках. Бывшая красавица, сейчас ей не меньше 80, и все же остались повадки и манеры красавицы. После Мейерхольда сошлась с Гумилевым и имела от него сына Ореста, который теперь… заведует мебельной фабрикой… О.Н. говорит, растягивая гласные; моталась при большевиках в разных городишках и селах, ставя самодеятельные спектакли, получает 33 рубля ежемесячной пенсии».

На самом деле правы и Корней Иванович, и его дочь. Летом 1939-го Ольга Николаевна была в таком состоянии, что и знающие ее прошлое не смогли бы разглядеть в ней хоть что-то от бывшей красавицы. Она приехала в Ленинград хлопотать об арестованном сыне. Оба сына Гумилева, Лев и Орест, сидели в Крестах, но Анна Андреевна, пусть теоретически, все-таки могла рассчитывать на помощь и сочувствие влиятельных друзей, да и возвращалась из тюремной очереди к себе домой. У Ольги же

Николаевны жилья в Ленинграде не было. Даже остановиться, кроме как у Анны Андреевны, не у кого… У нее в ту пору уже ничего и никого не было, кроме сына. Мотаясь по самым глухим углам империи, она, видимо, думала, что таким образом спрячет его от всевидящих глаз НКВД, и до поры до времени ей это удавалось. В 1938-м не удалось. Не удалось уберечь и от знакомства с единокровным братом (Орест Высотский познакомился с Львом Гумилевым несколькими годами ранее). По чистой случайности младшего сына поэта неожиданно выпустили, уже перед самой войной. Ольга Николаевна в случайность не поверит, будет считать: если б не ее хлопоты, Орест получил бы, как и Лев, минимум десять лет ИТЛ – исправительно-трудовых лагерей. Ухаживая за Анной Андреевной, убирая, стряпая, она пыталась отблагодарить за оказанное гостеприимство. (А.А. говорила Лидии Корнеевне, что не может есть; лишь Высотской удается приготовить что-то такое, что она способна проглотить, да и то под Ольгины уговоры.) В те страшные годы Ахматовой и в голову не приходило видеть в матери Ореста пусть и бывшую, но соперницу. Она совершенно спокойно объяснила Чуковской, что у младшего брата Левушки «совсем Колины руки». Однако о том, что Гумилев впервые открыто и гласно изменил ей именно с этой женщиной, не забыла. Михаил Ардов, исполнявший при Ахматовой роль посыльного, когда та, приезжая в Москву, останавливалась в квартире его родителей, на легендарной Ордынке, рассказывает в своих воспоминаниях, как однажды его отправили за Высотской якобы по важному и неотложному делу. Выяснилось, однако, что никакого важного дела не было. Просто Анне Андреевне сшили на редкость удачное платье, и ей не терпелось *утереть нос* бывшей разлучнице. Ольга Николаевна этого не поняла, приняв за чистую монету на ходу сочиненный липовый предлог. Михаил Ардов подает пересказанный эпизод с сильным ироническим акцентом, не замечая, что свидетельствует не только о женском тщеславии, хотя и об этом, к сожалению, тоже. Роман мужа с красавицей актрисой, которую весь Петербург привык видеть рядом с Мейерхольдом и в окружении целой свиты поклонников (и его, и ее), был для Анны Андреевны тяжким ударом, куда более тяжким, чем можно подумать по ее репликам в диалогах с П.Н.Лукницким. Недаром в «Записных книжках» Ахматова называет осень 1913 года трагической. Не будем забывать и о том, что именно эта связь, разрешившаяся рождением ребенка, резко повысила мужской рейтинг Гумилева и в кругу «милых прелестниц», и в мнении приятелей. После териокской истории о Николае Степановиче перестали говорить как о поразительно

некрасивом неудачнике, который корчит из себя супермена.

Сохранились два литпортрета, запечатлевших Николая Гумилева в предвоенный год, когда по возвращении из последнего путешествия в Африку он стал человеком, о котором говорят, знакомства с которым ищут. Первый принадлежит перу беллетристки Тэффи:[26]

«Встречаться с ним я любила для тихих бесед. Сидеть вдвоем, читать стихи. Гумилев никогда не позировал. Не носил байроновских воротников с открытой шеей и блузы без пояса, что любил иногда даже Александр Блок, который мог бы обойтись без этого кокетства. Гумилев держал себя просто. Он не был красив, немножко косил, и это придавало его взгляду какую-то особую «сторожкость» дикой птицы. Он точно боялся, что сейчас кто-то его спугнет. С ним можно было хорошо и просто разговаривать».

Второй, поэтический и резко контрастный портрет Николая Степановича в 1913 году, не слишком мастеровитый, зато, как иногда случается с работами дилетантов, на редкость похожий на оригинал, написал сосед Гумилевых по Царскому Селу, литератор Эрих Голлербах:

Не знаю, кто ты – набожный эстет
Или дикарь, в пиджак переодетый?
Под звук органа или кастаньет
Слагаешь ты канцоны и сонеты.
Что, если вдруг, приняв Неву за Ганг,
Ты на фелуке уплывешь скользящей
Или метнешь свистящий бумеранг
В аэроплан, над городом летящий?
Тебе сродни изысканный жираф?
Гиппопотам медлительный и важный?
Иль в чаще трав таящийся удав,
И носорог, свирепый и отважный?
Они нашли участье и приют
В твоих стихах узорных и чеканных,
И мандрагоры дышат и цветут
В созвучьях одурманенных и странных.
Но в голосе зловещем и хмельном,
В буддоподобных очертаньях лика
Сокрытая тоска о неземном
Глядит на нас растерянно и дико.
И как порыв к иному бытию,
Как зов нетленный в темном мире тленья,
Сияют в экзотическом раю
Анжелико безгрешные виденья.

И перед ними ниц склонясь, поэт
На каменном полу кладет поклоны,
Сливая серых глаз холодный свет
С коричневатым сумраком иконы.

Эриха Голлербаха Анна Андреевна недолюбливала. Сын владельца самой вкусной и популярной в Царском Селе немецкой кондитерской, для нее он так и остался парвеню. Что бы тот ни делал, в том числе и для нее лично, например альбом «Образ Ахматовой», все казалось ей вульгарным. Даже на его лице, красивом и благопристойном, она замечала лишь следы всемирной пошлости. Особых талантов за сыном кондитера не водилось, но он был прирожденным коллекционером, и этой его страсти мы обязаны сохранением и публикацией писем Анны Горенко к Сергею фон Штейну. Но это мы, читатели Ахматовой, убеждены, что без девичьих писем ее биография будет неполной. Сама Ахматова так не считала и до конца жизни не смогла простить соотечественнику по Царскому Селу этой бестактности.

Но вернемся к истокам «трагической осени». По воспоминаниям Ореста Высотского, его мать навсегда рассталась с Гумилевым ранней весной 1913 года, еще до отъезда того в Африку, и что разрыв был для влюбленного Николая Степановича обескураживающе неожиданным. Версия красивая, но, на мой взгляд, не соответствующая действительности, даже если широко известное стихотворение, где Гумилев сравнивает себя с «несчастным Налем», «проигравшим» свою Дамаянти, и впрямь посвящено Высотской, а не Ахматовой. Вряд ли Гумилев, с его-то обостренным чувством мужского достоинства, стал бы спрашивать (письменно) у женщины, с ним порвавшей, «куда привезти» обещанную «леопардовую шкуру». А он об этом спрашивал в открытке, посланной по прибытии в Африку в мае 1913 года. Это во-первых.

Во-вторых. Поскольку доподлинно известны и дата появления на свет Ореста (20 октября 1913 г.), и день отъезда Гумилева из Петербурга (7 апреля того же года), реальнее предположить, что причина разрыва – неожиданная реакция Гумилева на сообщение Ольги Николаевны о своей беременности (не отменил отъезд, не пообещал немедленно развестись с законной женой и т. д.). Анна Андреевна всех этих подробностей смягчающих вину обстоятельств наверняка не знала, – Гумилев по обыкновению не снизошел до объяснений, – и потому никак не могла сообразить, что же ей-то делать. Разводиться? А Анна Ивановна? А Левушка? Единственный выход – убедить себя, что причудливая «личная

жизнь» мужа не имеет к ней «решительно никакого отношения». Честно говоря, это решение было всего лишь хорошей миной при проигранной игре в семейное счастье, но иной возможности сохранить лицо у нее в ту осень не было. К тому же Николай продолжал вести себя так, как если бы ничего особенного не случилось. Вот только никак не хотел ехать в Царское, и когда Анна жаловалась, что на Тучке и холодно, и тесно и что Анна Ивановна сердится – бросили, дескать, мальчишку, – отмахивался: дела, дела, дела. Наконец уговорила.

Хотели приехать пораньше, но припоздились. Мальчик уже спал, свекрови нездоровилось, Шурочка, накрыв чайный стол, от совместного чаепития отказалась, ушла к себе.

Только уснули, как тут же проснулись: на половине Анны Ивановны криком кричал Гумильвенок. Николай Степанович не выспался, встал мрачный и тут же стал собираться. Анна тоже хотела ехать в город, но свекровь сказала почти сердито:

– К сыну ступай, у него уши болят. Коля до Тифлиса тоже маялся. Нет, не плакал. Сидит в кроватке и качается как китайский болванчик. А Лева орет словно резаный. Иди потаскай, у нас с Шурой руки отваливаются. И няньку надо менять, эта раззява и простудила. Отпросилась к своим на вечер, третий день глаз не кажет…

От неожиданности Анна, доставая носовой платок, выронила сумочку. Но свекровь уже смягчилась: да не волнуйся ты так, утрясется.

И в самом деле утряслось. Привезли сухие березовые дрова, Александра Степановна привела новую, добрую няньку, Коля-маленький стал спускаться в столовую к обеду, Дмитрий со своей немочкой куда-то упорхнули, Анна Ивановна перестала хвататься за поясницу, а Левушка орать по ночам.

Согнав с кушетки Молли, Анна перестелила постель, а сама все прислушивалась к кукушке в часах. А вдруг Николай все-таки приедет – с последним или, наоборот, первым утренним поездом, каким они в прошлом году обычно возвращались из «Бродячей собаки»? Кукушка прокуковала шесть раз. Значит, и сегодня не будет. На цыпочках пробралась в мужнин кабинет, куда не заходила с тех самых пор. Пачку разлучных писем Николай демонстративно оставил на прежнем месте. Рядом – заложенный голубой бисерной змейкой Баратынский.

Задернув штору и включив верхний свет, она забралась с ногами в кресло. Читала глазами, но стихи сами перекладывали себя на голос – не ее, Колин:

Решительно печальных строк моих

Не хочешь ты ответом удостоить,
Не тронулась ты нежным чувством их
И презрела мне сердце успокоить!
Не оживу я в памяти твоей,
Не вымолю прощенья у жестокой!
Виновен я: я был неверен ей;
Нет жалости к тоске моей глубокой!
Так! но когда их слух предубежденный
Я обольщал игрою струн моих,
К тебе летел я думой умиленной,
Тебя я пел под именами их.
Виновен я: на балах городских,
Среди толпы, весельем оживленной,
При гуле струн, в безумном вальсе мча
То Делию, то Дафну, то Лилету
И всем троим готовый сгоряча
Произнести по страстному обету;
Касаяся душистых их кудрей
Лицом моим; объемля жадной дланью
Их стройный стан; – так! в памяти моей
Уж не было подруги прежних дней,
И предан был я новому мечтанью!
Но к ним ли я любовию пылал?
Нет, милая! когда в уединеньи
Себя потом я тихо поверял:
Их находя в моем воображеньи,
Тебя одну я в сердце обретал!
Приветливых, послушных, без ужимок,
Улыбчивых для шалости младой,
Из-за угла Пафосских пилигримок
Я сторожил вечернею порой;
На миг один их своевольный пленник,
Я только был шалун, а не изменник.
Нет! более надменна, чем нежна,
Ты все еще обид своих полна…
Прости ж навек! Но знай, что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В стихах моих, в преданиях любовных.

Растроганная, Анна услышала предпесенный гул. Еле дождавшись, когда из гула вылупятся слова, схватила Колин безупречно отточенный карандаш:

Простишь ли мне эти ноябрьские дни?

В каналах приневских дрожат огни.
Трагической осени скудны убранства.

Гул затих. Анна подняла соскользнувшие с кушетки малахитовые четки, засунула Баратынского под подушку. Молли, поколебавшись, вскарабкалась на свое законное место, уткнувшись мордой в хозяйкины пятки.

Книга, главная ее книга, была готова к выходу в свет. У нее теперь было все.

Имя: Четки.

Концовка:

Простишь ли мне эти ноябрьские дни?
В каналах приневских дрожат огни.
Трагической осени скудны убранства.

И даже эпиграф:

Прости ж навек! Но знай, что двух виновных,
Не одного, найдутся имена
В стихах моих, в преданиях любовных.

Как все завязалось! Трехстишие в начале, трехстишие в конце! В этом было что-то античное, что-то от золотого сечения.

Утром, снаряжая Левушку для прогулки, свекровь сказала: «Тебе, Анна, Тыркова звонила. Та самая, Ариадна, за которой батюшка твой прежде ухаживал. На Бестужевских курсах вечер какой-то. Блок, заманивала, обещал быть».

«Как у меня не было романа с Блоком»

Тот загадочный силуэт…

Анна Ахматова

Ни в юности, ни в зрелые годы, ни в пору «плодоносной осени» Анна Ахматова никогда и никому не говорила, что в «Четках» есть любовные стихи, тайно обращенные к Блоку. Дескать, все это досужие вымыслы. А ей все равно не верили. Даже люди ближайшего окружения. Соломон Волков в диалогах с Иосифом Бродским («Вспоминая Ахматову») хотя и не утверждает впрямую, но не исключает, что к сотворению романтической легенды об утаенной любви – то ли Блока к Ахматовой, то ли Ахматовой к Блоку – А.А. сама «приложила руку». Дескать, чтобы убедиться в этом, достаточно перечитать ее стихи. Иосиф Бродский, хотя и слышал от А.А., что это «народные чаяния», Волкову не возражает. По всей вероятности, и В.М.Жирмунский не на «молву» ориентировался, когда властью своего авторитета присоединил к якобы ахматовской блокиане две любовные миниатюры предвоенных лет: «Безвольно пощады просят…» и «Покорно мне воображенье…». Словом, впечатление создается такое, будто А.А. опять чуточку слукавила. И все-таки утверждаю: и сюжет, и фабула таинственной истории («Блок плюс Ахматова») намного сложнее.

Но прежде чем распутывать головоломные сложности несостоявшейся книги, необходимо сделать несколько уточнений в жанре уговора перед разговором.

Уточнение первое. Ахматова строго различала стихи узко биографические, изначально, в замысле обращенные к тому или иному лицу, от вещей, написанных хотя и *по личным мотивам,* но *об общем быте.* Так, составляя для Лукницкого список текстов, посвященных Гумилеву, назвала всего шесть, хотя стихотворений, в той или иной мере связанных с ним, гораздо больше.

Уточнение второе. Характеризуя свой способ *выращивания* стиха из пестрого мусора общежития, А.А. писала: «Я не даю сказать ни слова никому (в моих стихах, разумеется). Я говорю от себя, за себя все, что можно и чего нельзя. Иногда в каком-то беспамятстве вспоминаю чью-то чужую фразу и превращаю ее в стих». Из-за неукротимого желания Ахматовой говорить *от себя все, что можно и чего нельзя,* возникали и продолжают возникать

недоразумения. Михаил Леонидович Лозинский, когда редактировал «Белую стаю», отказался включать в сборник стихотворение «Земная слава как дым…». Нетрудно представить себе доводы редактора. Стихи датированы 1914 годом, автору нет и двадцати пяти. Как тогда прикажете понимать такое: «Любовникам всем моим / Я счастие приносила. / Один и сейчас живой… / И бронзовым стал другой / На площади оснеженной…»? В минувшем, 1913 году в России поставлен лишь один памятник – адмиралу Макарову. Вы что же хотите, чтобы славного флотоводца заподозрили в совращении малолеток?

Уточнение третье. В начале 1900-х *блококружение* и *блокослужение* было не только массовым, но и обоюдополым, а значит – как бы бесполым. Старших современников это шокировало. Иннокентий Анненский, которого Ахматова считала своим учителем, оставил в бумагах почти уничижительную реплику:

> Под беломраморным обличьем андрогина
> Он стал бы радостью, но чьих-то давних грез.
> Стихи его горят – на солнце георгина,
> Горят, но холодом невыстраданных слез.

Наблюдение Анненского: «обличье андрогина» – не памятью, а *в каком-то беспамятстве* включено в состав двуликого образа Блока в «Поэме без героя»: «Демон сам с улыбкой Тамары…» Этот холодно-отчужденный взгляд («радость давних грез») не оспаривается ни в триптихе, ни даже в «Четках». Отсутствуя, Блок присутствует в этой книге как один из героев времени, как некий условный театральный «король», образ которого играет свита его «незнакомок», «астральный» шлейф из «звезд десятой величины с неопределенной орбитой», по выражению самого Блока.[27]

Дабы уточнить ситуацию, как она складывалась в ноябре-декабре 1913 года, в интересующий нас сюжет следует ввести и вот еще какой деликатный момент.

Ахматовой в ту пору доподлинно известно, что три красавицы из ее дружеского окружения удостоились мужской заинтересованности Блока: «Свой роман с Блоком мне подробно рассказывала Валентина Андреевна Щеголева. Он звал ее в Испанию, когда муж сидел в Крестах. Были со мной откровенны еще две дамы: О.Судейкина и Нимфа Городецкая».

Уточнение четвертое. Хотя от задуманной книги в «Записных книжках» остались всего лишь вариативные наброски плана, но и по ним можно догадаться, что книга мыслилась еще и как род плацдарма, как поле сражения с теми, кто упорно продолжал

наряжать музу Анны Ахматовой в лиловеющие шелка женской страдающей и безответной любви. На заре Серебряного века, когда в русском поэтическом сводном хоре внезапно открылась вакансия на природно поставленный и красивый женский голос, Анна Ахматова немало гордилась тем, что пустующая вакансия досталась ей, а не Марине Цветаевой. Лишь после того как могучие обстоятельства «подменили» ей жизнь («мне подменили жизнь»), то есть после «Реквиема» и «Поэмы без героя», широкой публике не известных, ее стало решительно не устраивать пусть и тронное, но специфически женское место в истории российской поэзии. В унизительной ситуации, когда главные стихи невозможно извлечь из подвала памяти, интерес читающей публики к ранней любовной лирике не радовал, а раздражал. Особенно сильно, до ярости, с середины пятидесятых, когда стал подогреваться модой на Блока. Блока, единственного из *ее поэтов,* публикуют в формате классика, многотиражно и многотомно, а Мандельштам… а Гумилев… О них – молчание…

Ярость всегда несправедлива. Ахматова в ярости несправедлива вдвойне, ибо знает, что несправедлива. Утверждая, что сказка *о ее безответной любви к Блоку* возникла в воображении неосведомленных людей, пришедших в литературу из провинции в двадцатых годах, она прекрасно знает, что «людская молвь» зародилась гораздо раньше. Уже в середине двадцатых архивисты показывали ей письмо матери Блока А.А.Кублицкой-Пиоттух (Ахматова пересказывает его содержание в «Записных книжках» на с. 671), в котором раздражающая легенда цветет пышным цветом. Вот этот текст в оригинале:

«Я все жду, когда Саша встретит и полюбит женщину тревожную и глубокую, а стало быть, и нежную… И есть такая молодая поэтесса, Анна Ахматова, которая к нему протягивает руки и была бы готова его любить. Он от нее отвертывается, хотя она красивая и талантливая, но печальная. А он этого не любит. Одно из ее стихотворений я Вам хотела бы написать, да помню только две строки первых:

Слава тебе, безысходная боль, —
Умер он – сероглазый король.

Вот можете судить, какой склон души у этой юной и несчастной девушки. У нее уже есть, впрочем, ребенок. А Саша опять полюбил Кармен».

Читать про себя *такое,* даже десятилетие спустя, не слишком приятно, еще неприятнее думать, что мать поэта, лично с «несчастной девушкой» не знакомая, описывает ситуацию со слов

самого Блока. На самом деле, судя по некоторым деталям, первоисточник душещипательного мифа не Блок, а Ариадна Тыркова, в те месяцы часто бывавшая в семье Блоков. Вообще-то госпожа Тыркова язык за зубами держать умела, Анна Андреевна могла убедиться в этом на собственном опыте. В ее автобиографических заметках зафиксирован такой эпизод: «Ариадна Владимировна Тыркова… Ей Блок сказал что-то обо мне, а когда я ему позвонила, он сказал по телефону (дословно): „Вы, наверное, звоните, потому что от Ариадны Владимировны узнали, что я сказал ей о вас“. Сгорая от любопытства, я поехала к Ар. Вл. (в какой-то ее день) и спросила: „Что сказал Блок обо мне?“ АВ ответила: „Аничка, я никогда не передаю моим гостям, что о них сказали другие“».

Но одно дело – пересуды – и совсем другое – задушевный доверительный разговор в семейном кругу, за чайным столом. Во всяком случае, интерпретация А.В.Тырковой почти дословно совпадает с версией А.А.Кублицкой-Пиоттух. Сравните:

«Из поэтесс, читавших свои стихи в Башне, – утверждает Ариадна Великолепная, – ярче всего запомнилась Анна Ахматова. Тоненькая, высокая, стройная, с гордым поворотом маленькой головки, закутанная в цветистую шаль, Ахматова походила на гитану… темные волосы… на затылке подхвачены высоким испанским гребнем… Мимо нее нельзя было пройти, не залюбовавшись ею. На литературных вечерах молодежь бесновалась, когда Ахматова появлялась на эстраде. Она делала это хорошо, умело, с сознанием своей женской обаятельности, с величавой уверенностью художницы, знающей себе цену. А перед Блоком Анна Ахматова робела. Не как поэт, как женщина. В Башне ее стихами упивались, как крепким вином. Но ее… глаза искали Блока. А он держался в стороне. Не подходил к ней, не смотрел на нее, вряд ли даже слушал. Сидел в соседней, полутемной комнате».

И Ахматова, и Блок не раз и не два обыгрывали образ круга.

Блок:

И душа моя вступила
В предназначенный ей круг…

Ахматова:

Мы что-то знаем друг о друге
Ужасное… Мы в адском круге,
А может, это и не мы.

Нечто похожее, на мой взгляд, происходило и между Блоком и Ахматовой, как только волею случая они вступали в *предназначенный* им *круг*. Поэт и поэтесса вели себя так, словно и впрямь *что-то знали друг о друге,* что-то такое, что житейским опытом не поверяется и ничего общего не имеет с сентиментальной сказкой для взрослых, какую Александра Андреевна Кублицкая-Пиоттух и Ариадна Владимировна Тыркова-Вильямс, соотнеся непонятную им ситуацию с нравами своей юности, сначала сочинили, а потом пустили гулять по свету.

Впрочем, не только в тех сферах, где возникают *адские* энергии притяжения и отталкивания, но и в пространстве быта отношения Блока и Ахматовой складывались крайне неординарно. Уже по Дневнику и «Записной книжке» Блока видно, что поэт, по крайней мере в первые годы знакомства, до тяжкой распри с акмеистами, слушал выступления юной Анны вполне внимательно: *«Стихи чем дальше, тем лучше».* Да и линия ее поведения, вызывающе независимая, отличалась от *общего всем.* Нравилось это Блоку или не нравилось, вопрос отдельный и вряд ли разрешимый, а вот задевать задевало. О Блоке после «Двенадцати» Ахматова говорила Чуковской, что его в те годы волновало только то, что его ничто не волнует. В 1913-м, несмотря на сезонные обострения неврастении и приступы сплина и скуки, Блока пока еще многое волновало, в том числе и ничем не обеспеченная, вроде как врожденная дерзость Анны Андреевны. Чтобы не быть голословной, приведу один факт. Согласно свидетельству Ахматовой, записанному Лукницким, А.А. впервые увидела Блока ранней весной 1911 года в редакции «Аполлона». Галантный Маковский тут же предложил познакомить ее с живым классиком, а она отказалась. Вторая встреча произошла осенью. А.А. и на сей раз горячего желания обратить на себя внимание знаменитого современника не обнаружила. Да, робела, но не только перед Блоком. И тогда Блок, привыкший, что молодые дарования, а их в десятые годы расплодилось несметное множество, только и делали, что пытались с ним познакомиться, сам подошел к Гумилеву и попросил представить его.

Новобрачная Гумилева скоро научилась скрывать и застенчивость, и «провинциальную необразованность», взяв за правило «хранить молчанье в важном споре», прикрываясь, как веером, улыбкой, почти «джокондовой»: «У меня есть улыбка одна: / Так, движенье чуть видное губ…» Тогда же выбрала и пару эффектных статичных поз.[28]

Декоративные «укрепления» духа: позы, улыбки, шали,

испанские гребни и африканские браслеты – хорошо смотрелись издалека, условно, с эстрады. А вот при общении с глазу на глаз становились слегка смешными, хуже того, провинциальными. От провинциальных выходок Ахматова долго не могла избавиться. Легендарное комильфо далось ей не вдруг. Л.С.Ильяшенко-Панкратова, исполнительница роли Незнакомки в спектакле В. Мейерхольда, вспоминает: «С Ахматовой я встречалась только в "Бродячей собаке"… Разойдясь, Ахматова показывала свой необыкновенный цирковой номер. Садилась на стул и, не касаясь ни руками, ни ногами пола, пролезала под стулом и снова садилась. Она была очень гибкой».

Блок в «Бродячей собаке», как уже упоминалось, не бывал из принципа, а вот Любовь Дмитриевна захаживала, и частенько, так что о происходящем в подвальчике, в том числе и о «змеиных» проделках примадонны «собачьего» кабаре, он знал с подробностями. И они, проделки, его наверняка раздражали, и Анна об этом догадывалась. В подтверждение осмелюсь ввести в «змеиный» сюжет еще одну деталь.

Открытие «Бродячей собаки», напомним, было приурочено к *зимним праздникам* 1912 года. 13 января Ахматова впервые читала там стихи. В феврале того же года Блок окончил начатое еще осенью 1911-го стихотворение «О, нет! Я не хочу…». Формально оно обращено к Наталье Скворцовой. В письме к матери (март 1912 г.), сообщив, что к нему приехала из Москвы Скворцова, поэт описывает двадцатилетнюю претендентку на его сердце чуть ли не как идеал «комильфо»: «Во всем до мелочей, даже в костюме, – совершенно похожа на Гильду» (Гильда – главный женский персонаж пьесы Ибсена «Строитель Сольнес». – *А.М.)*. Между тем именно в этом стихотворении, которое, повторяю, комментаторская традиция связывает с Н.Н.Скворцовой, есть одна странноватая фраза, образу *бонтонной* героини, во всяком случае, какой она виделась Блоку весной 1912 года, решительно не соответствующая: «Но твой змеиный рай – бездонной скуки ад». Не утверждаю, что сия сентенция впрямую связана со «змеиными» упражнениями Анны Андреевны. Блок, как и Ахматова, был мастер делать *несколько снимков на одну пластинку,* с этим его свойством нам еще придется столкнуться. Не думаю также, чтобы и Ахматова воспринимала подобные выпады как именно к ней персонально обращенные, но так как была чрезвычайно наблюдательна, то не могла не заметить хорошо скрываемое напряжение, с каким Александр Александрович реагировал и на ее стихи, и на нее самое. Оттого, видимо, и тушевалась в его присутствии. Впрочем, и вполне земная причина для некоторого смущения при встречах с Блоком

в узком кругу, и именно осенью 1911 года, после возвращения из Парижа, у А.А. имелась. Она, увы, не могла быть совершенно уверенной, что Георгий Иванович Чулков не проболтался Блоку, разумеется под честное дружеское слово, о своем отнюдь не платоническом романе с ней.

Вот как описывает Павел Лукницкий, со слов Ахматовой, ситуацию, при которой ее наконец-то почти вынудили познакомиться с Александром Александровичем:

«В то время была мода на платье с разрезом сбоку, ниже колена. У нее платье по шву распоролось выше. Она этого не заметила. Но это заметил Блок».

Не думаю, чтобы Блок позволил себе «заметить» непозволительно смелый разрез, кабы не был наслышан о парижских приключениях мадам Гумилевой. Не исключаю, что тем же мужским экспериментаторским любопытством объясняется и его совет А.А. прочесть на поэтическом вечере на Бестужевских курсах в ноябре 1913 года рискованное (для первого выступления в большой женской аудитории) стихотворение «Все мы бражники здесь, блудницы…». В автобиографических набросках Ахматова сделала к нему любопытное примечание: дескать, это стихи капризной и скучающей девочки, а вовсе не заматеревшей в бражничестве «блудницы». Догадывался ли об этом Александр Александрович? По всей вероятности, вопрос, хотя и *праздный,* оставался открытым. Даже после намеков Чулкова и испытания эстрадой…

Словом, запись, сделанная Блоком 7 ноября 1911 года: *«А.Ахматова читала стихи, уже волнуя меня»,* – фиксирует, похоже, не момент, а состояние, и отнюдь не мимолетное. Если бы Блок не испытывал *волнения,* слушая, как читает стихи Ахматова в актовом зале Бестужевских курсов 25 ноября 1913 года, он вряд ли пригласил бы ее в гости, а он – пригласил. Вот только это было совсем не то волнение, какое вызывали роковые женщины его эротического выбора или прекрасные дамы его мечты. Жена Гумилева если и волновала Блока, то так, как художника будоражит, напрягает и раздражает не поддающаяся ему модель – материал, сопротивление которого он не в состоянии преодолеть. К тому же к осени 1913-го Блок, и может быть, на том же самом вечере (эстрада обнажает!), инстинктом охотника («за молодыми, едва распустившимися душами») почуял: в хорошенькой провинциалке появился не свойственный ей прежде «задор свободы и разлуки».

Ахматова к концу 1913 года, закончив и широко распечатав в периодике «Четки», и впрямь освободилась от многих скреп и пут. Даже от самого страшного своего страха – что успех «Вечера»

случаен, что второй, главной, книги не будет. Беременность, роды, беспокойство за младенца изменят состав ее существа, и стихи пропадут, внезапно и непонятно, – пришли ниоткуда и уйдут в никуда. К тому же роман Гумилева с Ольгой Высотской почти успокоил ее совесть, освободив от смущавшего душу чувства греха. Она наконец-то перестала каяться, поедом себя есть и *виноватить.* И за то, что без страстной любви под венец шла, и за то, что невинность для него, единственного, не «соблюла». Потом все это вернется – «кто по мертвым со мной не плачет, тот не знает, что совесть значит». Но все это будет потом. *После всего.* А пока она вновь, как в диком своем отрочестве, «была дерзкой, злой и веселой».

Короче, Ахматовой осенью тринадцатого года было хорошо, потому что чем хуже ей было, тем лучше становились стихи. А Блоку было плохо, потому что чем хуже было ему, тем мертвее и суше делались его «песни». Он почти перестал пытаться их писать. Стал дотягивать, доводить до ума старые, застрявшие в черновиках наброски, сделанные пару лет назад. И хотя делать это, по собственному признанию, *слишком умел,* из *умения* выходили лишь рифмованные и нерифмованные строчки. Чтобы получились стихи, надо было *оживить* «законсервированные» в черновиках переживания. «Искусство, – писал Блок 6 марта 1914 года, – радий (очень малые количества). Оно способно радиоактировать все – самое тяжелое, самое грубое, самое натуральное: мысли, тенденции, «переживания», чувства, быт. Радиоактированию поддается именно *живое,* следовательно, грубое, *мертвого просветить нельзя».*

Позапрошлогодняя цыганщина, отголосок увлечения цыганкой Ксюшей, «радиоактированию» не поддавалась. И тогда Блок сместил «видоискатель» и на старую *пластинку* («На Приморском вокзале цыганка дала мне поцеловать свои длинные пальцы, покрытые кольцами») сделал еще один снимок: откинутые назад плечи и невероятные мавританские браслеты, которые вез и вез своей похожей то ли на испанку, то ли на испанскую гитану жене «африканец» Гумилев…

Про автомобиль, на котором Александр Александрович провожал ее после их совместного, с участием Игоря Северянина, второго (весной 1914 г.) вечера на все тех же Бестужевских курсах, А.А. охотно рассказывала. А вот о том, как добиралась до дома после вечера первого, верхарновского, 25 ноября 1913 года, промолчала. Не думаю, чтобы Блок отпустил молодую женщину – в ночь, темноту, непогодь, да еще зная, что это из-за него она не пошла с Гумилевым в модный и дорогой ресторан, где столичный бомонд угощал осчастливившего литературный Петербург

Верхарна глухарями да рябчиками. Во всяком случае, пронзительное «Седое утро» после сеанса радиоактирования ожило ровно через три дня после их прощания под позднеосенним мокрым снегом в ноябре 1913 года.

При первой публикации в «Седом утре» было еще одно четверостишие, оставшееся от первоначального, конкретно-цыганского варианта: «Любила, барин, я тебя… Цыганки мы – народ рабочий…» При перепечатке Блок его вымарал – уж очень, видимо, не связывалось, не рифмовалось с типажом изображенной здесь женщины, вполне светской и только играющей в цыганку:

Утреет. С Богом. По домам.
Позвякивают колокольцы.
Ты хладно жмешь к моим губам
Свои серебряные кольцы.
И я – который раз подряд
Целую кольцы, а не руки…
В плече, откинутом назад,
Задор свободы и разлуки.
Но еле видная за мглой
За дождевою, за докучной…
И взгляд, как уголь под золой,
И голос утренний и скучный…
Нет, жизнь и счастье до утра
Я находил не в этом взгляде!
Не этот голос пел вчера
С гитарой вместе на эстраде!..

Как мальчик, шаркнула; поклон
Отвешивает… «До свиданья…»
И звякнул о браслет жетон
(Какое-то воспоминанье)…
Я молча на нее гляжу,
Сжимаю пальцы ей до боли…
Ведь нам уж не встречаться боле…
Что ж на прощанье ей скажу?..

Уникальные, во всем Петербурге таких не было, браслеты Анны Андреевны были сплошь с «воспоминаньями». При каждой размолвке с Гумилевым она, как уже упоминалось, их ему возвращала, а он пугался: «Не отдавайте мне браслеты…»

На прощанье 25 ноября 1913 года Анна Андреевна, думаю, и получила приглашение «к поэту в гости». Вот только

воспользоваться лестным и неожиданным приглашением смогла спустя почти три недели. После выступления у бестужевок Блок захворал. Впрочем, он и выступал полубольным и не отказался только потому, что вечер был благотворительный, в пользу неимущих курсисток, а одним из организаторов женских курсов был его дед по матери – профессор ботаники Андрей Бекетов.

…Итак, 15 декабря 1913 года. Последний месяц последнего года некалендарного XIX века. Вопреки обыкновению, Анна Андреевна не опоздала ни на минуту – дверной звонок раздался в тот самый момент, когда старинные часы в квартире Блоков пробили полдень.

Александр Блок, как правило, педантично в дневнике или в «Записной книжке» отмечал, кто, когда и по какой надобности появлялся в его крайне замкнутой цитадели. В случае с А.А. биографам крупно не повезло: все дневниковые записи, относящиеся к осени и началу зимы 1913 года, поэт уничтожил. Сама же Ахматова, когда расспрашивали о подробностях, говорила (а потом и писала), что запомнилось лишь одно любопытное для «оценки поздней» высказывание: «Я между прочим упомянула, что поэт Бенедикт Лифшиц жалуется на то, что он, Блок… мешает ему писать стихи. Блок не засмеялся, а ответил вполне серьезно: "Я понимаю это. Мне мешает писать Лев Толстой"».

И эта криптограмма до сих пор не расшифрована, хотя крайне важна для понимания сущности взаимоотношений Блока и Ахматовой. Поставив себя в один ряд с Толстым, и не в шутку, а вполне серьезно, Блок сразу же установил дистанцию. А это априори исключало возможность не только диалога на равных, но и вообще дружеского общения. Анна Андреевна думала, что приглашена в гости пусть и к знаменитому, но современнику, а ее встретил чуть ли не «памятник».

Чтобы понять состояние А.А. в день декабрьского визита, надо принять во внимание и еще одно обстоятельство. Среди ее знакомых, если не считать Георгия Чулкова, не было ни одного литератора, какового Блок осчастливил бы своей дружбой. Приятель Гумилева поэт Владимир Пяст свидетельствует: «Многие мои друзья… очень интересные и достойные во всех отношениях люди, с трудом, по большей части даже с полной безуспешностью добивались разрешения на общение с ним».

Словом, добиваться (и соблазнять!) Александра Александровича в качестве «аматера на час» в конце 1913 года было уже почти вульгарным, зато попасть в число немногих избранных, тех, кто допущен к общению, считалось чуть ли не

знаком избранности. При таких больших ожиданиях явление тени графа Толстого, конечно же, обескураживало. Однако и Блок в явившейся точно в назначенный срок визитерше не узнал облюбованную модель. Капризная, не без вульгарности, змейка, работавшая под гитану, осталась где-то там, внизу, на углу Мойки и Пряжки. А эта – в дверном проеме – была слишком уж проста («"Красота проста", – Вам скажут…»). Если и сквозило в ней что-то не петербургское, южное, то опять-таки в слишком уж простом, балаклавском варианте. Что-то от прямых, высоких, длинноносых причерноморских гречанок, трогательно похожих на византийских мадонн. Этот тип, пленявший Куприна, «голландцу» Блоку был чужд и даже неприятен; как художнику ему нечего с ним делать.

Итак, разочарование и вызванное им замешательство было, видимо, обоюдным, и Блоку ничего не оставалось, как воспользовался давно отработанным для приходящих с улицы либо *по записке* начинающих поэтов сценарием. Ритуал подобного приема известен нам и по рассказам Есенина, и по воспоминаниям Рюрика Ивнева и Надежды Павлович. Не умевший и не любивший проявлять себя в разговоре, Блок сначала предлагал визитерам что-нибудь почитать. Затем следовало предложение рассказать о себе, и так как хозяин молчал и только смотрел ясно и просто, юные дарования переставали смущаться и дергаться.

Рюрик Ивнев: «Мы прошли через две комнаты в третью… Блок не задал мне ни одного трафаретного вопроса… и вышло как-то естественно, что я без всякого прямого вопроса… рассказал почти всю свою биографию…»

Надежда Павлович: «Блок позвал меня в свой маленький кабинет… увидел, что я побледнела, подошел и спросил, что со мной. Внимательно посмотрел на меня, понял и тихонько сказал: „Отдыхайте! Не торопитесь никуда и рассказывайте мне о себе“. И я рассказала ему все самое главное, внутреннее, важнейшее, как можно рассказывать только самому близкому человеку. Сидела я у него до часу ночи».

Ивнев был *на приеме* у Блока в 1909 году, Павлович – одиннадцать лет спустя, а сценарий не изменился, и у нас нет оснований предполагать, что был изменен 15 декабря 1913 года: сначала стихи, немного, потом – «Рассказывайте о себе…».

Что А.А. могла рассказать о себе, чего бы Блок и о ней, и вообще не знал? Была, впрочем, одна тема, которую и он, и она могли обсуждать хоть «до часу ночи». Блок, как и Ахматова, страстно-застенчиво любил море. Море было единственным предметом, который заставил бы его разговориться и на целых

три часа забыть о впустую растраченном времени. Тем более что в ту пору, кроме Ахматовой, в его окружении не было ни одного человека, от которого не нужно было прятать эту детскую, смешную, трогательную любовь…

Образ моря, морской стихии во всех его ипостасях, ассоциативных связях и смысловых оттенках в поэзии Блока, даже в период его «преданности» символизму, всегда конкретнее, чем символ. Впечатление такое, будто в его сознании русское *море, о море, о, море!* тайно срифмовавшись с итальянским amore (любить), не поддавалось символизации. Как ни обобщай, все равно остается некий несказанный остаток. Чисто морских мотивов, сюжетов, ландшафтов у Блока не так уж и много (в основном в итальянском цикле), но морской гул («Словно с моря мне подан знак») чуткое ухо расслышит и в сухопутных его стихах, особенно в стихах о любви и страсти. Что-то явно не сухопутное было и в облике поэта. Надежда Павлович рассказывает в своих воспоминаниях, что при первой встрече с живым Блоком он чем-то напомнил ей «матроса, вернувшегося из дальнего плаванья». При более близком знакомстве выяснилось, что Блок не просто любил море, а любил его как-то по-детски. Например, часто рисовал корабли. У него даже был альбом, куда он наклеивал различные картинки, снимки, заметки. «Больше всего там было кораблей». Приведенная запись сделана Н.А.Павлович в августе 1920 года, в день именин Блока. Через два месяца ему стукнет сорок, а он все еще вклеивает в альбом фотографии кораблей!

Почти детская любовь к морю тем удивительнее, что по складу натуры Блок был безнадежным «сиднем». Его заграница, курортная и комфортабельная, – продолжение пригородов Петербурга, а Россия кончалась за околицей подмосковного Шахматова. До страны своей мечты, Италии, поэт добрался уже взрослым, почти тридцатилетним, а пушкинское и лермонтовское Черное море так и осталось для него всего лишь географическим понятием. Даже плавать Александр Александрович почему-то не выучился, хотя Любовь Дмитриевна плавала хорошо и в любую погоду, чем вызывала открытое восхищение и легкую тайную зависть мужа. Он мгновенно реагировал на самое легкое напоминание о море: крайне, например, удивился, поймав на слух неожиданное в филологических и женских стихах Павлович слово «корвет», а крошечной дочери друга подарил огромный игрушечный корабль только потому, что родители назвали ее Мариной. Павлович, приводя этот факт, добавляет: «Надо знать все пристрастие Блока к морю и кораблям, чтобы оценить выбор именно этого подарка – вот уж от полноты сердца».[29]

Добавим и мы: зная пристрастие Блока к морю и кораблям, нетрудно представить себе, как должно было удивить Александра Блока стихотворение Анны Ахматовой «Вижу выцветший флаг над таможней……

Бесспорных доказательств у меня, разумеется, нет, но я убеждена, что хозяин и гостья, после того как А.А. прочитала стихи про приморскую девчонку, – а она не могла их не прочитать, помня, как высоко оценил это стихотворение Гумилев, – обменялись воспоминаниями. О море и кораблях.

Сначала наверняка о том, что военные корабли (миноносцы) иногда почему-то появляются совсем не там, где им полагается швартоваться. Во всяком случае, фраза Ахматовой о том, что она в поэме «У самого моря» *почуяла железный шаг войны,* перекликается, аукается с аналогичной по смыслу фразой Блока в письме матери от 14 августа 1911 года. В этом письме поэт рассказывает Александре Андреевне, как в маленькую бухту курортного городка Авервракa, где он с женой отдыхал, вошла военная эскадра: «На днях вошли в порт большой миноносец и четыре миноноски… кильватерной колонной… Я решил, что *пахнет войной,* что миноносцы спрятаны в нашу бухту для того, чтобы выследить немецкую эскадру… стал думать о том, что немцы победят французов, жалеть жен французских матросов и с уважением смотреть на довольно корявого командира миноноски… Когда миноносцы через несколько часов снялись с якоря и отправились к Шербургу, наступило всеобщее разочарование».

В крошечном курортном поселке близ Георгиевского монастыря также случился переполох, когда миноносцы неожиданно появились в здешней маленькой бухте.

Почти совпадало и число военных кораблей. У Блока в письме к матери миноносцев – пять, в стихотворении «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…» – четыре («четыре серых»); у Ахматовой в поэме «У самого моря» – шесть: «Когда я стану царицей, Выстрою шесть броненосцев…»

В столь уникальной ситуации, тем паче что после чтения стихов гостям Блока, напоминаю, полагалось рассказывать о себе, Анна Андреевна Гумилева наверняка не упустила случая развернуться и выложить все-все! И про свое второе, дикое, языческое херсонесское детство, и про приморскую юность, и про дружбу с лихими балаклавскими *листригонами,* и про камень в версте от берега, до которого восьмилетней пацанкой доплывала. И конечно же, про те шесть миноносцев, приплывших из Севастополя к Георгиевскому монастырю, чтобы поприветствовать художника Верещагина, так страшно, при

взрыве броненосца «Петропавловск», погибшего в японскую войну. Наверняка не преминула похвастать, что прадед ходил под парусом в Северный Ледовитый океан, дед – участник Севастопольской обороны, отец – капитан второго ранга, а младший брат, курсант петербургского Морского корпуса, через год распределится на миноносец «Зоркий», там у него практика…

Миноносцы, похоже, и отогнали тень великого старца, чуть было не омрачившую «малиновое» воскресенье, и беседа все-таки состоялась. А в ходе беседы еще и прояснилось, что имел в виду Блок, говоря о Толстом. В декабре 1913 года, когда он, попробовав вернуться к отложенному «Возмездию», огромной поэме о судьбе одного дворянского рода, начал, как и Толстой при работе над «Войной и миром», уточнять семейные предания, великий Лев действительно очень сильно ему *мешал*. Зашел, в связи с прочитанной Блоком поэмой Гумилева «Актеон», и разговор о поэме как жанре, о том, какой должна быть современная поэма.

По окончании беседы Ахматова вышла на набережную. Бесснежный ветер, раскачивая оледеневшие ветки, подсвистывал какой-то неожиданный, новый для нее эпический поэмный мотив. Слова на этот мотив нанизывались сами. Получилось что-то вроде предпоэмы пути. Туда, к Блоку, в полдень – обратно, домой, на закате (в декабре вечер в Петербурге начинается в три часа пополудни):

Смеркается, и в небе темно-синем,
Где так недавно храм Ерусалимский
Таинственным сиял великолепьем,
Лишь две звезды над путаницей веток…

Прогулка («мне странною в тот день была прогулка») – с Офицерской улицы до Васильевского острова – минимум сорок минут спорым шагом; так что выйдя «из гостей» еще засветло, на закате «малинового солнца», А.А. добралась до своей Тучки уже в сумерках. Чтобы отважиться на такое путешествие в мороз («а на улице мороз»), ей, мерзлячке, надо было находиться в особо приподнятом настроении. Так, похоже, и было:

И я подумала: не может быть,
Чтоб я когда-нибудь забыла это.
И если трудный путь мне предстоит,
Вот легкий груз, который мне под силу
С собою взять, чтоб в старости, в болезни,
Быть может, в нищете – припоминать

Закат неистовый, и полноту
Душевных сил, и прелесть милой жизни.

(Концовка предпоэмы дописана в 1940-м, то есть уже на «пороге старости», в «нищете» и «болезни».)

О морозном воскресенье 15 декабря 1913 года, и тоже только со слов Ахматовой, известно еще и то, что, уходя, она оставила Блоку его сборники – «чтобы он их надписал». На двух первых томах поэт написал просто: «Ахматовой – Блок». А вот в третий вписал сочиненный в ночь после ее ухода мадригал:

«Красота страшна» – Вам скажут, —
Вы накинете лениво
Шаль испанскую на плечи,
Красный розан – в волосах.

«Красота проста» – Вам скажут, —
Пестрой шалью неумело
Вы укроете ребенка,
Красный розан – на полу.

Но, рассеянно внимая
Всем словам, кругом звучащим,
Вы задумаетесь грустно
И твердите про себя:

«Не страшна и не проста я;
Я не так страшна, чтоб просто
Убивать; не так проста я,
Чтоб не знать, как жизнь страшна».

Л.К.Чуковская как-то призналась Ахматовой, что не понимала раньше, до ее рассказов о неромане с Блоком, это стихотворение. А.А. ее утешила: «А я и сейчас не понимаю. И никто не понимает. Одно ясно, что оно написано вот так, она сделала ладонями отстраняющее движение: „не тронь меня“».

А.А. несправедлива. В стиле «не тронь меня» написан отзыв Блока на «Четки», об этом ниже. Портрет же Ахматовой в испанской шали, хотя и смахивает на эскиз театрального костюма, особенность ее поведения – сочетание внешней декоративности и внутренней простоты – фиксирует на удивление точно. Вдобавок А.А. не сказала Лидии Корнеевне главного: до появления в печати шлягера Игоря Северянина

«Ананасы в шампанском» (1915), в котором «король поэтов» вышел на публику «в чем-то испанском» («Весь я в чем-то норвежском, весь я в чем-то испанском…»), стихи Блока не казались ей ни отстраняющими, ни слишком уж, невпопад, театральными. На верхарновском вечере 25 ноября 1913 года она почти потеряла голос от ужаса перед большой аудиторией, а потом три недели мучилась: как же тогда и там, на эстраде, выглядела? А Блок, оказывается, все понял и в стихах успокоил: хорошо, дескать, выглядела, эффектно.[30] И держалась правильно. Как и положено на большой сцене.

Впрочем, ничего такого, чего бы Анна Андреевна о себе не знала, не выразил словом в испанском мадригале и Блок. Стихи свидетельствовали: он по-прежнему воспринимает ее как среднекрасивую женщину, которая, притягивая, не притягивает достаточно сильно. Этот специфический ракурс осенью-зимой 1913/14 года Ахматовой, успевшей привыкнуть к тому, что в литературном Петербурге ее считают одной из самых прелестных женщин, совсем не льстил, как три года назад. Она уже догадывалась, что *после смерти им, ей и Блоку, стоять почти что рядом,* а он и мысли подобной не допускал. Так и ушел из жизни в уверенности: жена акмеиста Гумилева всего лишь одна из претенденток на открывшуюся на театре русской поэзии вакансию – срочно требуется красивое меццо-сопрано. Голос несильный, тембр приятный, школы никакой, для большой сцены не годится, для эстрады сойдет и даже будет иметь успех – при нынешней желтой, вульгарной моде на раздушенные перчатки и шляпы с перьями…

…Мадригал в испанском стиле, как уже упоминалось, Блок написал сразу же после визита Анны Андреевны 15 декабря. И даже сам доставил подписанные книги в дом на Васильевском острове, где Гумилевы снимали маленькую комнату. Хотел вручить лично, но, сообразив, что время позднее, передал пакет дворнику и при этом неверно назвал номер квартиры. Получив книги и стихи, Ахматова не без труда (с эпистолярной прозой у нее были весьма натянутые отношения) подобрала приличные случаю слова искренней благодарности.

«Петербург, 6 или 7 января 1914 г.

Знаете, Александр Александрович, я только вчера получила Ваши книги. Вы спутали номер квартиры. И они пролежали все это время у кого-то, кто с ними расстался с большим трудом. А я скучала без Ваших стихов. Вы очень добрый, что надписали мне так много книг, а за стихи я Вам глубоко и навсегда благодарна. Я им ужасно радуюсь, а это удается мне реже всего в жизни. Посылаю Вам стихотворение, Вам написанное, и хочу для Вас

радости (Только не от него, конечно. Видите, я не умею писать. Как хочу)».

Стихотворению, вложенному в процитированное письмо, суждено было стать знаменитым:

Я пришла к поэту в гости.
Ровно полдень. Воскресенье.
Тихо в комнате просторной,
А за окнами мороз

И малиновое солнце
Над лохматым сизым дымом…
Как хозяин молчаливый
Ясно смотрит на меня!

У него глаза такие,
Что запомнить каждый должен;
Мне же лучше, осторожной,
В них и вовсе не глядеть.

Но запомнится беседа,
Дымный полдень, воскресенье
В доме сером и высоком
У морских ворот Невы.

А через десять дней Ахматова получила, на этот раз в почтовом конверте, еще одно письмо от Блока. Александр Александрович просил позволения: «Позвольте просить Вас позволить (именно так: «Позвольте позволить»! – *А.М.)* поместить в первом номере этого журнала (речь идет о журнале Мейерхольда «Любовь к трем апельсинам». – *А.М.)* Ваше стихотворение, посвященное мне, и мое, посвященное Вам».

Что было дальше? Дальше, в том же январе, Блок, в дополнение в мадригалу, адресованному Анне Ахматовой, сделал подарок и Анне Андреевне Гумилевой. Я имею в виду стихотворение «О нет, не расколдуешь сердце ты…» (декабрь 1913). Того же мнения придерживается, кстати, и известный литературовед В.А.Черных: «Почти совершенно не изученным остается чрезвычайно интересный вопрос, отразился ли образ Ахматовой в поэзии Блока (помимо посвященного ей в декабре 1913 года мадригала). Между тем нельзя не отметить, что в один день с мадригалом "Красота страшна" – Вам скажут… " Блок написал еще одно стихотворение – "О нет! Не расколдуешь сердце ты…". Между обоими стихотворениями имеются текстуальные

соответствия. Причем ключевые слова, общие для обоих стихотворений, в стихотворении «О нет! не расколдуешь сердце ты…» подчеркнуты Блоком. Так, строки:

Упоена красивыми мечтами,
Ты укоризны будешь слать судьбе…
……
И ты простой возжаждешь красоты…

прямо соотносятся со стихом: «Красота проста» – Вам скажут…"» (см.: Переписка Блока с А.А.Ахматовой. ЛН. Т. 92, книга четвертая, с. 574).

В какой мере (в процентном отношении истины и допущения, факта и его истолкования) процитированное соображение достоверно? Не знаю, тем не менее убеждена, что именно так восприняла его Анна Андреевна, когда впервые услышала в «Бродячей собаке» на вечере современной лирики 26 января 1914 года. Блок, как уже сообщалось, уничтожив почти все записи с ноября 1913-го по февраль 1914-го, упоминание о вечере в «Бродячей собаке» почему-то оставил: «Люба читает мои ненапечатанные стихи на вечере лирики в "Бродячей собаке"».

Любовь Дмитриевна любила читать, точнее, играть стихи Блока, сыграла их и на вечере лирики 26 января 1914 года:

О, нет! не расколдуешь сердце ты
Ни лестию, ни красотой, ни словом.
Я буду для тебя чужим и новым,
Все призрак, все мертвец, в лучах мечты.

И ты уйдешь. И некий саван белый
Прижмешь к губам ты, пребывая в снах.
Все будет сном: что ты хоронишь тело,
Что ты стоишь три ночи в головах.

Александр Александрович, напомним, давно, целый год, ничего не писал. И вдруг одно за одним…

И тень моя пройдет перед тобою
В девятый день и в день сороковой
Неузнанной, красивой, неживою.
Такой ведь ты искала? Да, такой.

Любовь Дмитриевна, упоенная и своим успехом, и тем, что «Саша» наконец «расписался», не задумывалась, к кому в действительности обращены новые стихи мужа. А уж того, что стихи, написанные за одну бессонную ночь, с 15 на 16 декабря, как-то связаны с визитом «колдуньи», и предположить не могла. Здравомыслящая дочь великого Менделеева в чудеса не верила и над Гумилевым, когда тот читал обращенное к Анне Андреевне «Из города Киева, из логова змиева я взял не жену, а колдунью», втайне посмеивалась. Тем не менее чудо произошло. Ахматова словно расколдовала Блока: стихи вернулись, а вместе со стихами оживало и сердце.

Чтобы отпраздновать выздоровление, Блок решил сходить с Любой в оперу. На «Кармен». Все, что происходило с Блоком и с Блоками, после того как 12 января 1914 года в партии Кармен Александр Александрович впервые услышал меццо-сопрано Андреевой-Дельмас, к Анне Андреевне Ахматовой отношения не имело. Но теперь, когда до прихода поэмы «У самого моря» оставались считанные месяцы, это не сильно ее занимало. Того, что он, сам того не заметя, уже подарил ей, ни одна земная женщина отнять не могла…

Даже ее броненосцы окажутся прочней, чем те, что строились на Николаевских верфях, включая флагмана Черноморской флотилии броненосца «Императрица Мария», спущенного на воду в те самые дни, когда Анна Ахматова в Слепневе переписывала набело первые сто пятьдесят строк поэмы «У самого моря». Он взорвется ровно через два года – осенью 1916-го…

Но так победительно выходило в итоге, после поэмы «У самого моря». А в марте 1914-го, после выхода «Четок», Блок окатил «победительницу жизни» ушатом холодной воды. Думая, что теперь, после публикации в «Трех апельсинах» их поэтического диалога, Блок наконец-то стал относиться к ней как коллеге по «святому ремеслу», А.А., посылая дорогому Александру Александровичу сигнальный экземпляр «Четок», сделала на нем опрометчивую дарственную: «От тебя приходила ко мне тревога и уменье писать стихи». Блок отозвался не мешкая, 26 марта, – но как! «Вчера получил Вашу книгу, только разрезал ее и отнес моей матери… Сегодня утром моя мать взяла книгу и читала, не отрываясь: говорит, что это не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски, подлинно».

В.А.Черных называет январское послание Блока к Ахматовой с просьбой позволить опубликовать ее стихи в «Трех апельсинах» «сухо-официальным» и «подчеркнуто деловым». И даже противопоставляет его отзыву Блока о «Четках» от 26 марта того же года. Дескать, мартовское письмо Блока «значительно мягче и

душевнее, чем его письмо к ней от 18 января». Смею утверждать, что реакция Ахматовой была прямо противоположной. На январское, торжественное, как и следует меж поэтами (своего рода договор о сотрудничестве), А.А. отозвалась с удивительной открытостью. А вот в отместку за отзыв на «Четки» при первом же удобном случае поставила Блока на место, о чем в свое время и сообщила К.И.Чуковскому:

«Как-то мы с ним выступали на Бестужевских курсах… И вот в артистической Блок захотел поговорить со мной о моих стихах и начал: "Я недавно с одной барышней переписывался о ваших стихах". А я дерзкая была и говорю ему: "Ваше мнение я знаю, а скажите мне мнение барышни…"»

И «окаянство» Ахматовой, и смущение Блока станут понятнее, если прочитать отзыв Блока на «Четки» так, как могла и должна была воспринять его А.А. Тут нам придется задержаться и заняться арифметикой, точнее, сопоставлением «умных чисел».

Уже известное читателям письмо матери Блока, то самое, где Кублицкая-Пиоттух сообщает приятельнице, что ее сын от Ахматовой «отвертывается», датировано 29 марта 1914 года. Следовательно, если ввести в «меню» записку Блока к Ахматовой от 26 марта того же года, в которой он сообщает, что, получив 25 марта «Четки», тут же, не читая, а только разрезав, передал матери, а утром Александра Андреевна «взяла книгу и читала не отрываясь» (27 марта), следы неотрывного чтения в письме (от 29 марта) должны отпечататься. А их нет! Почему, якобы внимательно прочитав «Четки», мать поэта цитирует стихи, датированные 1910 годом, когда могла бы отметить в только что прочитанной книге куда более веские доказательства того, что интересная поэтесса *готова любить ее сына?*

Заподозрить прямодушного Блока в дипломатической увертке как-то неловко, и тем не менее отзыв, приписанный матери: «не только хорошие стихи, а по-человечески, по-женски, подлинно», – конечно же, личное мнение Блока, точнее, его первое, беглым взглядом зафиксированное впечатление. Разрезать тонюсенькую, в 52 лирические пьесы, поэтическую книгу и сделать это аккуратно, а Блок был аккуратист, не «сфотографировав» в краткий миг ее образ, профессионалу невозможно, и захочешь – не получится.

Того, что Блок выдал свое мнение за мнение матери, А.А., разумеется, не знала. Но о том, что на ее счет и думает, и чувствует с матушкой *ровно,* догадывалась. То же самое, хотя и другими словами, Александр Александрович говорил Е.Ю.Кузьминой-Караваевой. Елизавета Юрьевна в ту пору была, можно сказать, подругой Ахматовой, и Блоку это было известно…

На этом не-роман с Блоком наверняка бы и кончился, если бы, приехав в середине мая в Слепнево, Анна Андревна не получила сразу два номера «Русской мысли». Свежий, пятый, с его итальянскими морскими стихами -

С ней уходил я в море.
С ней забывал я берег…

и предыдущий, четвертый, со стихотворением «Ты помнишь? В нашей бухте сонной…». Ранним летом 1914 года Анна Ахматова была почти уверена, что эти стихи обращены к ней. Точнее, не к ней, а к той девчонке, которая, сбежав с крыльца Херсонесского храма, через три месяца вбежит в поэму:

Как мало в этой жизни надо
Нам, детям, и тебе, и мне.
Ведь сердце радоваться надо
И самой малой новизне.

Что это, если не отзвук их зимней «беседы» о море и кораблях? Об их, одной на двоих, детской ко всему морскому страсти? Вмиг забыты и кислый отзыв на «Четки», и все прочие блоковские «брезгливости»…

Анна планировала просидеть в Слепневе все лето, но неожиданно собралась и укатила в Киев, где уже ждал ее Николай Владимирович Недоброво. Дождливый июнь 1914 года, от которого Анна Андреевна убежала в киевскую благодать, обернулся дикой июльской жарой.

В начале того же месяца французская эскадра привезла в Петербург президента Франции Пуанкаре. Город вмиг офранцузился. Лоточники нарасхват торговали французскими флажками, студенты, в обнимку с подвыпившими гостями, распевали «Марсельезу», мастеровые меняли картузы на военные береты с помпоном, и все чем-то размахивали – флажками, платками, шляпами, солнечными зонтиками… Газетчики сквозь платок, накинутый на роток, проговаривались: дескать, братаемся и с французами, и с англичанами неспроста, но обыватели газетчикам не очень-то верили. Какая тебе война? Орали, надрывая связки: «Ура! Вив ля Франс!»

Никаких дурных предчувствий не было и у А.А. Наоборот. Было ощущение полноты душевных сил, доверие к жизни и вера в то, что жизнь сама выберет тропу и даст знак. Так и случилось. «Летом 1914 года, – вспоминала Ахматова незадолго до смерти, –

я была у мамы в Дарнице, в сосновом лесу, раскаленная жара… и про то, что через несколько недель мимо домика в Дарнице ночью с факелами пойдет конная артиллерия, еще никто не думал… В начале июля поехала к себе домой, в Слепнево. Путь через Москву… Курю на открытой площадке. Где-то у какой-то пустой платформы паровоз тормозит – бросают мешок с письмами. Перед моим изумленным взором вырастает Блок. Я от неожиданности вскрикиваю: "Александр Александрович!" Он оглядывается и, так как он вообще был мастер тактичных вопросов, спрашивает: "С кем вы едете?" Я успеваю ответить: «Одна». И еду дальше… Сегодня, через 51 год, открываю "Записную книжку" Блока, которую мне подарил В.М.Жирмунский, и под 9 июля 1914 года читаю: "Мы с мамой ездили осматривать санаторию на Подсолнечной. – Меня бес дразнит. – Анна Ахматова в почтовом поезде". (Станция называлась Подсолнечная)».

В 1914 году А.А., конечно же, и мысли не могла допустить, что Александр Александрович, увидев ее в тамбуре почтового поезда, заподозрит заговор «нечистой силы», однако сама восприняла встречу на станции Подсолнечная как некий вещий знак.

Софийские и московские колокольные звоны… Дни, полные гармонии… И эта чудесная встреча… Нет, Блок совсем не понял слова, которые она, не смея произнести вслух, написала на подаренных ему «Четках»: «От тебя приходила ко мне тревога и уменье писать стихи»… Пока ехала, сами собой, словно их кто-то и впрямь диктовал, сложились стихи, нет, не стихи, а молитвословие – как перед Богом!

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Припав к солее, я тебе поклялась,
Что будет моею твоя дорога.
Где бы она ни вилась…
И если слабею, мне снится икона
И девять ступенек на ней.
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышится голос тревоги твоей.

(8 июля 1914 г.)

Это стихотворение Ахматова при жизни не публиковала. Хотела напечатать в 1917-м, в «Белой стае», но после обсуждения состава сборника с М.Л.Лозинским раздумала. Не потому ли, что в текст «вживлена» дарственная Блоку, и следовательно, и самому поэту, и в ближайшем окружении Ахматовой ясно, кому оно посвящено? В пользу данного предположения свидетельствует, на

мой взгляд, и то, что повествование об истории возникновения этого текста находится внутри фрагмента, герой которого – Александр Блок. Цитирую по «Записным книжкам»:

«III-е киевское стихотворение в 1914. М. б., оно и не в 14 г., но относится к этим дням:

И в Киевском храме Премудрости Бога,
Упав на колени, тебе я клялась.
Что будет твоею моя дорога.
Где бы она ни вилась.
……..
И в голосе грозном софийского звона
Мне слышался голос тревоги твоей.

Когда мы шли в театр, кто-то из знакомых на улице крикнул: «На блокослужение идете?»»

И далее, через абзац, воспоминание о том, как Блок спросил про испанскую шаль, об интервью, данном в блоковские дни «Литературной газете», а в конце многозначительная фраза: «Лучше не надо: Тайна тайн».

Но вернемся в лето 1914-го. 10 июля 1914 года Ахматова была уже в Слепневе. Вот теперь она уже точно напишет о своем Херсонесе, о дикой девочке, которая знает о море все, и напишет так, как хочет! Уже известный читателям В.А.Черных, публикуя переписку Блока с Ахматовой, обратил внимание на последнюю фразу ее письма Блоку от 6/7 января 1914 года: «Видите, я не умею писать, как хочу». С его точки зрения, это *ответ* Ахматовой на слова Блока во время их воскресной беседы, которые, по предположению публикатора, «могли звучать приблизительно так: „Вы умеете писать, как хотите“». Замечание тонкое, вот только, думается, речь шла не вообще о поэтических возможностях молоденькой гостьи, а о том, что она сможет, если захочет, написать большую морскую вещь.

Завтра!

Но завтра стала ВОЙНА.

Из памяти, как груз отныне лишний,
Исчезли тени песен и страстей.
Ей – опустевшей – приказал Всевышний
Стать страшной книгой грозовых вестей.

Как груз отныне лишний отодвинулся и замысел морской поэмы. Гумилев, проявив чудеса изобретательности (в первые дни

войны освобожденных медкомиссией еще браковали), поступил добровольцем именно туда, куда хотел: рядовым в лейб-гвардии уланский полк. И в эти же дни А.А. был дан еще один вещий знак – как бы указание, что она неправильно истолковала приказ Всевышнего: война не отменила *ни песен, ни страстей.*

В августе 1914 года Ахматова и Гумилев обедали на Царскосельском вокзале. И вдруг неожиданно, как и месяц назад на платформе Подсолнечная, над их столиком навис Блок. И хотя на этот раз ничего сверхъестественного в его появлении в неожиданном месте не было – Александр Александрович вместе с другом Евгением Ивановым обходил семьи мобилизованных для оказания им помощи, – сам факт Ахматову потряс. Наскоро перекусив, Блок попрощался. Проводив взглядом его прямую, в любой толпе одинокую и отдельную фигуру, Гумилев сказал: «Неужели и его пошлют на фронт? Ведь это то же самое, что жарить соловьев».

Снарядив мужа в поход, пока еще не на передовую, а в Новгород, где стояли уланы, Анна Андреевна вернулась в Слепнево и почти набело, на одном дыхании, написала первые сто пятьдесят строк «У самого моря». Она очень спешила, предчувствуя, что вернется не только в столицу другого государства, но и в другой век.

27 апреля 1915 года Блоку был отослан оттиск поэмы «У самого моря». Ну а потом случилось то, что случилось… Получив весной 1916-го полуположительную рецензию на поэму «У самого моря» в форме письма к подающему надежды автору, А.А. решила, что Блок все забыл. «Я сегодня не помню, что было вчера, / По утрам забываю свои вечера»… Но ей, *задуманной так надолго* («Кто бы мог подумать, что я задумана так надолго?»), Бог дал долгую память. Долгую память и позднюю мудрость: не в том сила, что прошло, а что прошло, да было. Так ведь было? *«С ней уходил я в море, с ней покидал я берег»?*

Л.К.Чуковская сумела сделать себе имя безукоризненной репутацией. В силу этого внушения все, что сказано ею в трехтомных «Записках об Анне Ахматовой», автоматически возводится в безусловность. Найман, правда, попробовал намекнуть: дескать, сходство копии, сделанной Чуковской, с оригиналом весьма отдаленное. Лукницкий работал тоньше – но как-то уж очень мягко, расшаркиваясь и извиняясь, намекал. Между тем «Записки…» Чуковской – это тот случай, когда нельзя принять ни одно суждение Анны Андреевны без поправки на художественные возможности Лидии Корнеевны. Летучие, крылатые, легкокасательные, со множеством смысловых и интонационных полутонов, реплики Л.К. словно обводила

старательно-грузной, ровно-нажимной линией. Лукницкий, тот понимал, как много в его передаче теряет речь Ахматовой и в сложности, и в точности: «Когда А.А говорит о ком-нибудь – говорит, всегда глубоко понимая человека… И если в таком разговоре по свойственной А.А тонкости ума и способности к иронии ("озорство мое", "мое окаянство") попадается сатирическая фраза, то она способна вызвать в собеседнике веселый смех, как всякая остроумная шутка».

Лидия Корнеевна подобных оговорок почти не делала. Конечно, и она чувствовала «перепад высот», но разность между собой и Ахматовой не представлялась такой уж значительной: «Как я боюсь, что я – Есенин относительно Блока. Лобовое и упрощенное раскрытие того, что у нее сложно».

Впрочем, не исключено, что, беседуя с Чуковской, Ахматова слегка адаптировала самое себя, чего в разговорах с Лукницким не было.

Все это я говорю вовсе не для того, чтобы умалить подвижнический труд Лидии Корнеевны, а для того, чтобы объяснить, почему не считаю корректным пользоваться без психологической экспертизы приведенными в «Записках…» суждениями Ахматовой о Блоке. Взять хотя бы такой фрагмент. «Этот человек, – записывает Л.К. мнение А.А. о Блоке, – очень не импонировал мне. Презирал, ненавидел людей. Как у него в «Дневнике» сказано про соседку: кобыла! Уровень коммунальной квартиры. Единственными людьми были для него мама, тетя. Люба. Безвкусные, мещанские… Если уж ты Лара, Манфред – сиди в башне, дохни, гори и не возись с людьми…»

Эта поздняя оценка, казалось бы, зачеркивает зафиксированный Лукницким рассказ Ахматовой о том, что она пережила смерть Блока как личную утрату: «Говорила о том ужасе, который она пережила в 1921 году, когда погибли три самых близких ей духовно человека – А.Блок, Н.С. и Андрей Андреевич Горенко». На самом деле – не зачеркивает, ибо и у Ахматовой было два Блока. Блок Первый – покорный сын, племянник и муж – ей, похоже, действительно *не импонировал*. Зато Блок Второй, поэт и человек, был одним из самых важных людей ее судьбы. А что получилось в передаче Чуковской? Блок-поэт выпал в осадок, в результате и соображение в целом спустилось на уровень выяснения отношений в «коммунальной квартире».

И все-таки дыма без огня не бывает. И «Дневник» Блока, и его «Записные книжки» ошеломили многих блокопоклонников. Сошлюсь на эссе Б.Алперса (впервые опубликовано в «Исканиях новой сцены»): «Люди, связанные в жизни давними отношениями

с Блоком, наверное, были уязвлены тем, что они прочитали о себе в его интимных записях. В этих записях нет ничего оскорбительного. Но от них веет таким глубоким равнодушием, таким ледяным холодом, словно поэт пишет о букашках». В сравнении со многими униженными и оскорбленными Ахматова могла чувствовать себя и избранной, и отмеченной. Тем не менее и она, как явствует из записей Чуковской, уязвилась, хотя все, что открылось Алперсу только после прочтения дневниковой прозы, ей было известно и раньше. «У него глаза такие, / Что запомнить каждый должен; / Мне же лучше, осторожной, / В них и вовсе не глядеть…» Не остереглась, заглянула:

Ты первый, ставший у источника
С улыбкой мертвой и сухой,
Как нас измучил взор пустой,
Твой взор тяжелый – полуночника.

Испугавшись, должно быть, того, что нечаянно увидела, Ахматова эти страшные стихи, написанные вскоре после 15 декабря 1913 года, от самой себя скрыла и при жизни Блока не печатала.

Однако ж Блок, похоже, что-то неладное все-таки заподозрил. Через два дня после визита «ведьмы с Лысой горы» написаны более чем странные стихи:

Тем и страшен невидимый взгляд,
Что его невозможно поймать;
Чуешь ты, но не можешь понять,
Чьи глаза за тобою следят.

Не корысть – не влюбленность, не месть;
Так – игра, как игра у детей:
И в собрании каждом людей
Эти тайные сыщики есть.

Ты и сам иногда не поймешь.
Отчего так бывает порой,
Что собою ты к людям придешь,
А уйдешь от людей – не собой.

«Мотив поднятых и опущенных глаз», как заметил В.А.Черных, и в самом деле повторяется в поэтическом диалоге Блока и Ахматовой в декабре-январе 1913–1914 годов. Вот только

диалог сей – не любовный роман «вприглядку». Не серый бархат очей примадонны «Бродячей собаки» волнует Блока, а «очень зорко» видящий глаз Дианы-охотницы. Не думаю, что поэт сразу же, в малиновое воскресенье, заподозрил, что за ним *следят* и что у воскресной визитерши есть какая-то *тайная цель.* Насторожился уже потом, после ее ухода, после того как написал портрет «гитаны гибкой» и поиграл со стеклярусом пестрой ее шали в «Итальянских стихах» (которые, кстати, как свидетельствует Чуковская, Ахматова называла «гениальными»). Да и кто вмиг догадался бы, что смущающаяся, скромная до застенчивости, вмиг оробевшая дама-девочка – *тайная сыщица?* И вошла осторожно, и взгляды уклоняла, а сама, усыпив его напряженное, всегда начеку – не подходи ко мне так близко, «не тронь меня!» – внимание, следила за ним? «Есть игра: осторожно войти, / Чтоб вниманье людей усыпить: / И глазами добычу найти; / И за ней незаметно следить». Только тогда, похоже, и сообразил, когда вспомнил: даже при мимолетных, на людях, встречах с этой женщиной, к которой ничего похожего на влюбленность не испытывал, стихов которой не любил, хотя и отмечал с «тайным холодом», что они «чем дальше, тем лучше», становится «не собой».

Но все это, повторяю, стало замечаться меж ними после 15 декабря 1913 года, а в тот морозный и солнечный день А.А. и сама наверняка не догадывалась, что явилась в строгий дом *у морских ворот Невы* с «нехорошей» целью. Хищно надышаться закрытой на семь ключей душой Блока, похитить тайну его «чары», сделать эскиз, по которому несколько десятилетий спустя будет написан его *полный,* врубелевского размаха, портрет в «Поэме без героя»:

На стене его твердый профиль.
Гавриил или Мефистофель
Твой, красавица, паладин?
Демон сам с улыбкой Тамары,
Но такие таятся чары
В этом страшном дымном лице:
Плоть, почти что ставшая духом,
И античный локон над ухом —
Все – таинственно в пришлеце.
Это он в переполненном зале
Слал ту черную розу в бокале,
Или все это было сном?

Впрочем, это уже совсем другая история, до которой мы

доберемся не скоро и в которой у Блока уже не будет главной роли. А эта, морская, которую они: он – уже почти мертвый, и она – живая, – разыграли и спели дуэтом на шарманочный приморский мотив, кончилась еще при жизни молчаливого хозяина тихой и просторной комнаты. Точку в ее конце, волею или капризом случая, зафиксировал Корней Чуковский в своем Дневнике: «Мы встретили ее и Шилейку, когда шли с Блоком и Замятиным из «Всемирной». Первый раз вижу их обоих (Ахматову и Блока. – *А.М.)* вместе… Замечательно – у Блока лицо непроницаемое, и только движется, все время зыблется, «реагирует» что-то неуловимое вокруг рта. Не рот, а кожа возле носа и рта. И у Ахматовой то же. Встретившись, они ни глазами, ни улыбками ничего не выразили, но *там* было сказано много».

Интермедия пятая (1914–1915)

Сердце к сердцу не приковано,
Если хочешь – уходи.
Много счастья уготовано
Тем, кто волен на пути.

Анна Ахматова

Визит к Блоку был последним радужным проблеском на низком небе хмурой осени 1913 года. В воспоминаниях, сильно преувеличивая, Ахматова назовет ее трагической. А вот год следующий, 1914-й, оказался трагическим всерьез, без преувеличения.

Началось с личных неприятностей. По закону *странных сближений* 6 января в «Бродячей собаке», в тот самый день, когда Анна получила новогодний подарок – томики Блока с дарственной и стихи «"Красота страшна" – Вам скажут…», Гумилев познакомился с Татьяной Адамович. Татьяна Александровна, сестра одного из «учеников» Николая Степановича, маленькая брюнетка с яркими синими глазами, была некрасива, но выразительна. А главное, умела себя подать. Ее ученицы, в том числе и Нина Берберова, на уроках Адамович превращались в обожающие изваяния (Т.А. преподавала французский язык в элитной женской гимназии). Видимо, сумела она правильно поставить себя и в отношениях с Гумилевым. Роль официальной любовницы женатого человека Татьяну Адамович не устраивала. По ее настоянию Николай даже заговорил о разводе. Анна, конечно же, сказала «да», но поставила условие: сына заберет, мачехи у него не будет. Узнав об этом, Анна Ивановна рассвирепела: «Я тебе дам развод! Гумилевы своих детей не бросают!» Николай Степанович сделал вид, что расстроен, но Анна Андреевна сразу поняла, что мать ненароком помогла Николаю вывернуться из затруднительного положения. Больше к проблеме «Татьяна и развод» они не возвращались, хотя Гумилев продолжал всюду появляться с синеглазой Адамович.

Казалось бы, невелика беда! Нелюбимый муж ищет женщину, готовую его полюбить, непризнанный поэт считает влюбленность источником поэтической энергии. Ей-то что до этого? У нее своя богатая личная жизнь и где-то совсем рядом – «славы высокий порог», как будет сказано в «Китежанке».

Однако с дежурившей у порога славой были, что называется, проблемы. Незадолго до смерти Анна Андреевна напишет, что

хотя критика и считает выход «Четок» началом ее славы и даже триумфа, она этого не заметила. На самом деле, конечно же, заметила, иначе не появились бы в одном из стихотворений тех лет такие строки: «А наутро притащится слава / Погремушкой над ухом трещать». И тем не менее Ахматова не лукавит. Один только отзыв Блока о «Четках» – *по-женски, подлинно* – выбивал почву из-под ног («Как будто под ногами плот, а не квадратики паркета»). Многие современники, включая наблюдательного Корнея Чуковского, утверждают, что А.А. слишком уж часто и с апломбом произносила это слово. Но есть и другие мнения. Георгий Иванов, к примеру, свидетельствует: к литературному успеху А.А. в молодые годы относилась сдержанно и даже смущенно. Дескать, куда больше ее волновал успех «по женской линии». Наблюдение Георгия Иванова совпадает с суждением Н.Я.Мандельштам. Ссылаясь на рассказы Анны Андреевны, Надежда Яковлевна замечает не без язвительности, что голову подруге, вообразившей себя великой, вскружила не столько слава, сколько бежавшая впереди славы молва о ее красоте и шарме. Понять этот перекос можно. Во-первых, внезапной славы, такой, о какой в старости Ахматова скажет: «Молитесь на ночь, чтобы вам вдруг не проснуться знаменитым», ни в юности, ни потом у нее все-таки не было. Во-вторых, к знаменитости Аня Горенко (втайне) готовилась с отрочества, с тех пор как завела «синюю тетрадь» с полудетскими стихами. В-третьих, за выход каждой книги судьба брала с нее слишком высокий налог. На презентации «Вечера» она догадалась о своей беременности, почти на год исключившей ее из литературной жизни. Через четыре месяца после выхода «Четок» началась Первая мировая война. «Белая стая» появилась накануне Октябрьской революции. Не успела Ахматова нагордиться и сборниками 1921 года – «Подорожником» и «Anno Domini», смерть Блока и Гумилева отменила и этот триумф. Следующей настоящей книги пришлось ждать, как в сказке, – тридцать лет и три года. Но и «Бег времени» вышел лишь перед самым закатом – за несколько месяцев до смерти. Словом, Ахматова недаром назвала свою славу двусмысленной, ибо никогда не забывала, что первыми и заметили, и признали ее читатели, а не высоколобая критика. Критика только уступила «народному выбору». При всей своей «толерантности», по отношению к авторам критических работ, даже к таким авторитетам, как Б.М.Эйхенбаум, Ахматова была и нетерпима, и несправедлива. И даже мстительна. В 1925 году Корней Чуковский написал знаменитую статью «Ахматова и Маяковский». Работа сложная, тонкая и, как все ранние критические работы Чуковского, с подтекстом. Анна Андреевна

прочитала ее как донос в ЦК, хотя ничего подобного в тексте не было, в подтексте тем паче. Но мнение было составлено раз и навсегда – на всю оставшуюся жизнь. Составлено и спрятано столь далеко и надежно, что дочь не угодившего критика Лидия Корнеевна Чуковская, многие годы дружившая с Анной Андреевной, о содержимом тайника не подозревала. До такой степени не подозревала, что не догадалась, кого Ахматова в разговоре с Игнатием Ивановским,[31] дав наконец выход застарелой неприязни, назвала господином в «шапочке с кисточкой».[32]

Да и с богатой личной жизнью дело обстояло, увы, «не совсем благополучно». И тут, если вдуматься, имелась какая-то двусмысленная примесь. Дожить почти дурнушкой до двадцати двух годов, *прокуковать первую юность* и свежесть при одном-единственном поклоннике, ненавистном уже потому, что единственный, и вдруг увидеть себя окруженной стайкой воздыхателей:

> Пленник чужой – мне чужого не надо,
> Я и своих-то устала считать…

Есть от чего закружиться и куда более трезвой головушке! К счастью, головокруженье от успехов по дамской части было хотя и сильным, но недолгим – с января 1913-го по март 1915-го. Возведенная «воздыхателями» в сан «одной из самых прелестных „юных жен“ предреволюционного Петербурга», Ахматова почти перестала скрывать свидания с Николаем Недоброво, кокетничала на глазах у завсегдатаев «Бродячей собаки» то с графом Зубовым, то с Зенкевичем и Шилейко и чуть было не затеяла почти настоящий роман с Артуром Лурье.

Валентин Платонович Зубов в тогдашнем Петербурге слыл персоной номер один: богач, коллекционер, меценат, основатель Института искусств. Граф присылал примадонне «Бродячей собаки» корзины роз, катал на «роллс-ройсе», но любви ни большой, ни крохотной так и не получилось, хотя весь свет был почему-то уверен, что самые смелые стихи из этой книги посвящены именно ему. Видимо, в том же уверен был и Георгий Иванов, когда много лет спустя написал по памяти портрет Анны, играющей с «лохматым псом» графа:

> В пышном доме графа Зубова
> О блаженстве, о Италии
> Тенор пел. С румяных губ его
> Звуки, тая, улетали и…

……..
Абажур светился матово
В голубой овальной комнате.
Нежно гладя пса лохматого,
Предсказала мне Ахматова:
«Этот вечер вы запомните».

Пикантные слухи оказались столь долговечными и упорными, что доползли до Лукницкого почти в той же редакции. Но когда Павел Николаевич в 1925-м впрямую спросил ее о графе, Анна Андреевна почему-то от ответа уклонилась. Дескать, когда писались «Четки», она с Зубовым и знакома-то не была. На самом деле Валентин Платонович присутствовал на открытии «Бродячей собаки»; под следующий Новый год подарил А.А. каталог своей коллекции. А в 1914-м они были уже настолько хорошо знакомы, что Зубов вложил приглашение на новогодний бал в корзину роз. В черно-мраморный его дворец в том декабре Ахматова не поехала, была не в форме, а графу передала с нарочным записочку, из тех, какие малознакомым мужчинам не передают. В стихах, конечно.

Как долог праздник новогодний,
Как бел в окошках снежный цвет.
О Вас я думаю сегодня
И нежный шлю я Вам привет.

Пускай над книгою в подвале,
Где скромно ночи провожу,
Мы что-то мудрое решали,
Я обещанья не сдержу.

А Вы останьтесь верным другом
И не сердитесь на меня,
Ведь я прикована недугом
К моей кушетке на три дня.

И дом припоминая темный
На левом берегу Невы,
Смотрю, как ласковы и томны
Те розы, что прислали Вы.

Быть просто *верным другом* Валентин Платонович не пожелал. Но все это случится потом, в марте 1914-го, после того как Зубов,

договорившись в типографии, чтобы сделали для него уникальный экземпляр в парче, под XIX век, явится в «Собаку» с эксклюзивными «Четками».

Артур Лурье был по-своему фигурой не менее заметной (среди «собачников», разумеется). Бенедикт Лифшиц вспоминает: «Едва ли не на лекции Шкловского неутомимый Кульбин свел меня с Артуром Лурье, окончившим Петербургскую консерваторию. К музыке… у меня никогда не было особенного влечения: в этой области мне до конца моих дней суждено быть профаном. Я должен был поэтому верить на слово Кульбину и самому Лурье… что не кто иной, как он… призван открыть новую эру в музыке. Скрябин, Дебюсси, Равель, Прокофьев, Стравинский – уже пройденная ступень. Принципы «свободной» музыки (не ограниченной тонами и полутонами, а пользующейся четвертями, осьмыми и еще меньшими долями тонов), провозглашенные Кульбиным еще в 1910 году, в творчестве Лурье получали реальное воплощение. Эта новая музыка требовала как изменения в нотной системе… так и изготовления нового типа рояля – с двумя этажами струн и двойной (трехцветной, что ли) клавиатурой. Покамест же, до изобретения усовершенствования инструмента, особое значение приобретала интерпретация. И Лурье со страдальческим видом протягивал к клавишам Бехштейна руки с короткими, до лунок обглоданными ногтями, улыбаясь, как Сарасате, которому подсунули бы трехструнную балалайку».

Анна, как и Лифшиц, ни в теории свободной музыки, ни вообще в музыке ничего не понимала. Оставалось верить на слово Кульбину. К тому же этот вундеркинд, этот «второй Джордж Браммель»

был столь красноречив и так уверен в своей гениальности, что, слушая его, она слегка тушевалась. С ней это бывало. В Институте искусств, у Зубова, где собиралась столичная элита, – особенно часто. Блеск эрудиции, если блистание касалось предмета ей незнакомого, в первый момент словно бы ослеплял. Впрочем, в случае с Лурье было и еще что-то. Пока самоуверенный юнец бойко и сложно докладывал о принципах новой гармонии, она почти по-матерински жалела его. Носина на двух евреев, подбородок скошен и маленький, волосы слабые, годам к тридцати облысеет. Но когда компания ближе к ночи переместилась в «Собаку», непригожесть доморощенного денди и без пяти минут гения перестала бросаться в глаза – к ее столику легко, красиво, ритмично двигался молодой леопард! Как это у классика? Что бы ни говорили о родстве душ, первое прикосновение решает все? Этот не прикасался, а надвигался,

крался и медленно раздевал ее глазами. Не наглыми, нет, нет… Николай Степанович в ту ночь впервые открыто уехал с Татьяной Адамович, по-дружески передоверив жену Лозинскому. Михаил Леонидович ее и провожал. Лурье выскочил на мороз без шубы, так и стоял в метели, под фонарем. Обернувшись, она помахала ему. А Гумилев явился лишь к вечеру третьего дня, напряженный, готовый к контратаке.

Про «что потом» она даже Вале Тюльпановой не рассказывала, только Ольге Судейкиной, да и то вынужденно. Первый раз для Лукницкого, чтобы в сплетнях не запутался, стала вспоминать по порядку.

«Познакомилась 8 февраля 1914-го. Несколько свиданий было, потом расстались. О том, что это произошло в 1914-м, а не позднее, и о том, что не прошло «безнаказанно», почти никто не знает. Потом уехала в Слепнево. А он мужем Ольги Судейкиной был, долго. Оля его бросила. Но это уже было потом, после революций, когда я у своего второго мужа, Владимира Казимировича Шилейко, жила. Он меня на ключ запирал, а я второй нашла и к Ольге на Фонтанку убегала. Плакалась. Лурье возмутился и решил вырвать меня от Шилейко. Приехала карета "скорой помощи", увезли Володю в больницу. Держали месяц. За этот месяц мы с ним и тряхнули стариной. Лурье предложил перебраться к ним, они с Ольгой хотя и разошлись, а вместе жили. Переехала. Потом поступила на службу в библиотеку Агрономического института. Получила казенную квартиру. Потом? Потом Артур заставил бросить службу. Говорил: если не брошу, будет приходить на службу и скандалы устраивать. Не хотел, чтобы я служила, я больная была. Ко мне очень хорошо относился. Он хороший, Артур. Только бабник страшный. Потом решил ехать за границу. Я очень спокойно к этому отнеслась. 14 писем написал, ни на одно не ответила. Мать его приходила узнавать обо мне. Матери я сказала: "У нас свои счеты". Она стала говорить: "Да, конечно, я знаю, он эгоист" – и ушла. А я написала стихотворение и совсем, навсегда успокоилась».

Кое-как удалось разлучиться
И постылый огонь потушить.
Враг мой вечный, пора научиться
Вам кого-нибудь вправду любить.

Я-то вольная. Все мне забава,
Ночью Муза придет утешать,
А наутро притащится слава
Погремушкой над ухом трещать…

Про дальнейшее не рассказала. А могла бы рассказать и такое.

…И еще стихи были. Я Николая Степановича на Западный фронт проводила и пешком к подруге на Боткинскую иду. Весной семнадцатого. Тащусь по Невскому, туфли жмут, а навстречу они: Артур и Ольга. Легкие. Идут, как танцуют. Пошли в «Вену». "Собаку" помянули. Артур при деньгах был. Кутили. Стихи читал. Мои. Будто бы – про него. Ольга так и поняла. "Я с тобой не стану пить вино…" И еще: с малиновым платком. Но это, с платком, до него написано. Мне стыдно стало, я другие написала. "И друга первый взгляд беспомощный и жуткий…" Артур… он такой, глаза завидущие, руки загребущие, все «Четки» себе присвоил. А про злые, из "Белой стаи", даже не вспомнил. Ольга весной четырнадцатого меня к своему врачу устроила. Холодно, ветер. Зашли к Артуру. У него «гарсоньерка» была. Мы кофе просим, а он шутить начал. Ольга осталась. Я ушла. Он за мной. Через перила перегнулся и аукает. Аннушка! Где ты? Не горюй. Обойдется! Ничего лучшего не придумал. А мне хоть в Неву кидайся, не из-за *этого,* нет, а как я Коле в глаза погляжу? Сразу и про Высотскую забыла, и про Адамович. И вправду обошлось. Не до того было. Война началась, и у Гумилева новая затея-идея. Во что бы то ни стало добиться отмены «белого билета» и попасть на фронт не корреспондентом, солдатом. В августе это было не так-то просто. Всеобщую мобилизацию еще не объявляли. Николай Степанович развил «бурную деятельность». Кончилась как всегда: победой над неблагоприятными обстоятельствами. А стихи от последней предвоенной весны остались, я их в Слепневе, удрав туда раньше всех, еще в пустом доме написала:

Не в лесу мы, довольно аукать, —
Я насмешек твоих не люблю…
Что же ты не приходишь баюкать
Уязвленную совесть мою?..
У тебя заботы другие,
У тебя другая жена…
И глядит мне в глаза сухие
Петербургская весна.

Трудным кашлем, вечерним жаром
Наградит по заслугам, убьет.
На Неве, под млеющим паром
Начинается ледоход».

Все как на духу выложила Анна Андреевна Павлу Николаевичу Лукницкому, а самое главное по обыкновению утаила. Не закрути Николай Степанович роман с Адамович, прилюдно, на глазах у завсегдатаев «Бродячей собаки», она бы на Артура и внимания не обратила. Но в том феврале, когда Гумилев даже в «Аполлон» являлся в сопровождении Татьяны, ей нужен был реванш. В стихах выходило лучше некуда:

Мне не надо счастья малого,
Мужа к милой провожу
И довольного, усталого
Спать ребенка уложу.

В жизни концы с концами не сходились. Спать Левушку укладывала Анна Ивановна, а если той нездоровилось – Шурочка. Обе одинаково, словно наседки, вслушивались в ее «нехороший», трудный кашель и прямо-таки расцвели, когда Анна объявила, что поживет на Тучке, – здесь, в Царском, холодина. На Тучке было еще холоднее, но ни свекровь, ни золовка этого не знали, Коля убедил их, что снял чудную теплую комнату. Простуда осложнилась затяжным бронхитом, бронхит – затемнением в легких. А тут еще болезнь и смерть отца… Головокружение от успехов как рукой сняло. Но прежде чем распустить штат поклонников, Анна Андреевна нежданно-негаданно «подцепила» еще одну золотую рыбку – только-только объявившегося в столице Сергея Есенина. Самого главного своего соперника, хотя именно его никогда соперником не считала. История эта стоит того, чтобы на ней остановиться подробнее.

25 декабря 1915 года Николай Клюев, заранее сговорившись с приехавшим с фронта Гумилевым, по настойчивой просьбе Есенина познакомил его с Ахматовой. Одна из тогдашних приятельниц Сергея Александровича, дочь литератора Иеронима Ясинского, пишет в воспоминаниях, что, собираясь, Есенин очень волновался. «Говорил о ее стихах и о том, как он ее себе представляет и как странно и страшно увидеть женщину-поэта, которая в печати открывает сокровенное своей души». Вернувшись, «был грустным и заминал разговор». Когда же спросили напрямик, чем же не понравилась ему Ахматова, принявшая его ласково и гостеприимно, смешался и выпалил: «Она совсем не такая, какой представлялась мне по стихам».

Либо Ясинскую подвела память, либо Есенин был недостаточно внятным (с ним это бывало). Он потому и волновался накануне предназначенной встречи, что уже видел и

слышал Ахматову в огромном Зале Армии и Флота на благотворительном концерте «Поэты воинам» 28 марта 1915 года. В тот вечер Ахматова читала сразу после Блока, а после нее пела Любовь Дельмас. Программа была известна заранее, и Анна Андреевна сильно постаралась, чтобы выглядеть эффектнее рыжей и «толстой» Кармен, и, по воспоминаниям Нины Берберовой, ей это удалось:

«Ахматова была в белом платье со «стюартовским» воротником… стройная, красивая, черноволосая, изящная… "Вестей от него не получишь больше… " читала она, сложив руки на груди, медленно и нежно, с той музыкальной серьезностью, какая была в ней так пленительна».

«Стюартовский» воротник был выбран не случайно и не в угоду капризам моды: на эстраде после «Четок» Ахматова имела полное право чувствовать себя королевой. В сравнении с ней Любовь Александровна Дельмас выглядела театральной тумбой. Блок, конечно, думал иначе. У него, острила А.А., фламандские вкусы. А вот Есенин, при всей зачарованности Блоком, оперную его музу не приметил и почти год добивался от Клюева, чтобы тот представил его Ахматовой – королеве русской поэзии. Наконец добился и был разочарован. Чем? Тем, что встретила его не королева, а усталая зябкая женщина, недавно похоронившая отца и еще не оправившаяся от тяжкой утраты? Вряд ли. Биографы Есенина предполагают, что избалованный лестью столичных неонародников, Есенин ожидал того же и от Ахматовой и, не дождавшись, расстроился. Но на какой особый энтузиазм в декабре 1915-го мог рассчитывать начинающий поэт, напечатавший в периодике несколько голосистых стихотворений, со стороны первой лирической пары русского Парнаса? К тому же Есенин приходил не один, а с Клюевым, которого Гумилев когда-то чуть было не завлек в свой «Цех». Естественно, что к нему в первую очередь и было обращено внимание хозяев. Словом, ситуация для Есенина хотя и не выигрышная, но привычная, и ее легче легкого «выразить словом»! Ахматова, мол, вовсе не такая красивая, как все говорят, да и стихи мои ей не показались. А вот какими словами расскажешь про такое? Хозяин – после госпиталя. Встречен литературным нобилитетом как герой. Награжден *Георгием* за храбрость. И уже в офицерском звании, хотя на войну солдатом уходил, добровольно, вольноопределяющимся. Хозяйка хозяином гордится. Любит она его или не любит, это ее бабье дело, но мужем перед ними хвастает. А он, Есенин, считает: война чужая, за чужой интерес, – и потому делает все, чтобы получить отсрочку от призыва, и ничуть этого не стыдится.

Есенин и на сей раз угодил в прицел: в глазах патриотично настроенной Ахматовой *отлынивание от войны* деревенского здорового парня не украшало. Она даже с Георгием Чулковым рассорилась из-за его «пацифизма». Чулков аж Блоку на нее пожаловался. И стихи, свежеопубликованные, показал. Вот эти:

Дай мне горькие годы недуга,
Задыханья, бессонницу, жар,
Отыми и ребенка, и друга,
И таинственный песенный дар —
Так молюсь за Твоей литургией
После стольких томительных дней,
Чтобы туча над темной Россией
Стала облаком в славе лучей.

Вслух, естественно, ничего обидного для гостя сказано не было, но подразумевалось, и Есенин это наверняка почувствовал. И еще почуял знакомый запах, едва переступил порог гумилевского дома. Небогатого. Неухоженного. Присевшего на фасад. Дощатый забор и тот сгорбился под тяжестью снега. Похоже, и здешних дворников перевели на пушечное мясо, даром что под самым боком у царя-батюшки. Запах был такой же, что и в квартире Блока, – снисходительно-дворянский. И взгляд на мужика тот же: «народ талантливый, но жулик».

Россия… Царщина… Тоска…
И снисходительность дворянства…

Есенин в ярости унижения хватанул через край – синдромом «сословного превосходства» Ахматова не страдала. И тем не менее: *не подлое свое* происхождение охотно подчеркивала, а о родословии по отцовской линии говорить не любила. Дескать, со стороны матери потомственное дворянство, со стороны отца сплошной туман, хотя, как уже упоминалось, никакого тумана не было. Прадед – причерноморский казак, дед получил дворянство по выслуге лет. В этом отношении они с Гумилевым ровня. Николай Степанович тоже охотно рассказывал про колдовское детство в наследственном имении в Рязанской губернии, а о деде никогда и ничего. На самом деле у Гумилевых родовых имений не было и быть не могло. Степан Яковлевич, отец поэта, сын бедного деревенского рязанского дьячка, в университет (на медицинский факультет) поступил против желания родителя, отмаявшись два года в рязанской семинарии. Учился на «казенные деньги»,

распределился в Кронштадт и, лишь прослужив четверть века судовым военврачом, смог на выходное пособие приобрести нечто вроде дачи под Рязанью, где Николай Гумилев подростком и прожил два или три лета. Заметим кстати: то, что Степан Гумилев купил «имение» не где-нибудь, а именно в Рязанской губернии, да еще и неподалеку от тех мест, где родился и вырос, крайне характерно для выходцев из «подлого сословия», добившихся на волне демократизации общественных отношений нового социального статуса. Точно так же поступила, к примеру, приятельница Клюева и Есенина, исполнительница народных песен Надежда Плевицкая, когда стала знаменитой. Купила земельные угодья рядом с родимой деревней, именно тот клин, что граничил с землями местной барыни, дочерям которой в бедном своем деревенском детстве смертно завидовала. Вот что пишет царица русской песни в ностальгических воспоминаниях: «В 1911 году осуществилась моя заветная мечта: Мороскин лес, по краю моего родного села, куда я в детстве на Троицу бегала под березку заплетать венки, стал моей собственностью… Моя усадьба граничила с имением М.И.Рышковой, и мои северные окна выходили на чудесную поляну Рышковых… Это была та самая поляна, на которой дед Пармен, сторожевший сенокос барыни Рышковой, не раз собирался нам, деревенским девчонкам, ноги дрекольем переломать, чтобы неповадно было сено топтать… В то время когда на моей лужайке, помолясь Богу, застучали плотники топорами, а с вокзала обозы подвозили красный лес из Ярославской губернии, Рышкова уже не жила в своем барском доме, за прудом, у плотины, а поселилась в саду, в двух небольших домиках, под соломенной крышей. В одном жила сама с пятью дочерьми, а другой сдала мне внаем на летнее время».

Я позволила себе неэлегантно пространную цитату не только для того, чтобы показать, как хорошо помнили талантливые «выходцы из народа», откуда они вышли, но и каким болезненно острым еще в начале XX века был вопрос о социальном происхождении. Даже слава, причем всенародная, проблемы урожденного неравенства не снимала. Ничто, кроме материально осязаемого реванша, не могло эту незаживающую трофическую язву излечить. Не отсюда ли «скаредность» Шаляпина, жадное коллекционерство Горького, лакированные башмаки и английские костюмы Есенина? А сама Плевицкая? Даже настойчивые, хотя и вполне деликатные замечания царя: дескать, туалеты госпожи Плевицкой слишком шикарны для исполнительницы народных песен, – не могли остудить страсти Надежды Васильевны к вызывающе богатым и сценическим, и

повседневным нарядам. И вообще к «богачеству».

На свой манер, в весьма специфической форме, изживал комплекс социальной недополноценности и Николай Гумилев. Обязанный поздним благоденствием «царю и отечеству», Гумилев-отец был искренне верноподданным. По всей вероятности, этическую установку на лояльность разделяла и его жена, а по наследству и дети. В этом смысле Николай Степанович среди питерской интеллигенции, настроенной антимонархически, выглядел белой вороной. Его декоративный «монархизм» («Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя»…) и столь же демонстративный «аристократизм» воспринимались как чудачество, что-то вроде эскимосской дохи или африканской сумы заместо портфеля. Ирина Одоевцева вспоминает: «Был он (Гумилев.-*А.М.),* безусловно, очень умен, с какими-то иногда даже гениальными проблесками и, этого тоже нельзя скрыть, с провалами и непониманием самых обыкновенных вещей… Помню, как меня поразила его реплика, когда Мандельштам назвал одного из сотрудников «Всемирной литературы» «вульгарным».

– Ты ошибаешься, Осип. Он не может быть вульгарным, он столбовой дворянин.

Я думала, что Гумилев шутит, но он убежденно добавил:

– Вульгарным может быть только разночинец, а не дворянин, запомни.

Мандельштам обиженно фыркнул и покраснел. Сам он, понятно, дворянином не был».

Для сына разночинца и гуманитария в первом поколении убеждение, казалось бы, странноватое.

Тем не менее у Гумилева сей пунктик – дворянское происхождение гарантирует невульгарность! – был не только позой, как предположила Одоевцева, но и формой поведения, а значит, и отношения к окружающим.

Словом, 25 декабря 1915 года у Есенина были основания считать свой визит в Царское Село напрасной тратой времени. Но сама Ахматова, судя по всему, произвела на него впечатление. Во всяком случае, в июне 1916 года он вдруг написал стихи «про нее». Подарить, правда, не осмелился и даже друзьям не намекнул, к кому стихотворение обращено, тем не менее постарался, чтобы в стилизованном портрете Анна Андреевна себя узнала. Для этого повторил, с небольшими вариациями, строфу из ахматовского стихотворения, а главное, дал понять, что ему известна причина ее грусти-печали (о романе супруги Гумилева с живущим за морем русским офицером Анрепом в 1916 году сплетничали в семье поэта Сергея Городецкого, где

Есенин был в ту пору своим человеком):

В зеленой церкви за горой,
Где вербы четки уронили,
Я поминаю просфорой
Младой весны младые были.

А ты, склонившаяся ниц,
Передо мной стоишь незримо,
Шелка опущенных ресниц
Колышут крылья херувима.

Но омрачен твой белый рок
Твоей застывшею порою,
Все тот же розовый платок
Застегнут смуглою рукою.

Все тот же вздох упруго жмет
Твои надломленные плечи
О том, кто за морем живет
И кто от родины далече.

И все тягуче память дня
Перед пристойным ликом жизни.
О, помолись и за меня,
За бесприютного в отчизне!

Читай Анна Ахматова стихи Есенина повнимательней, непременно узнала бы во второй строфе полузашифрованного послания спрятанную в ней свою:

Так я, Господь, простерта ниц:
Коснется ли огонь небесный
Моих сомкнувшихся ресниц
И немоты моей чудесной.

И на то, что тайна ее сердечная известна благодаря сплетникам всему свету, наверняка подосадовала бы. Но Анна Андреевна на Есенина если и поглядывала, то бегло, вполглаза. Она и позже, когда его стихи твердила вся Россия – от красноармейца до белогвардейца, продолжала считать автора «Кобыльих кораблей» непомерно раздутым стихотворцем. *Ни при какой погоде* не читала она и «Анну Снегину»! Иначе непременно

возмутилась бы, не заметив, что главный герой поэмы, бывший холоп, а ныне «знаменитый поэт», зачем-то трогает «перчатки» и «шаль» снегинской барыни. Перчатки и шаль? Да это же ее, Анны Ахматовой, а не Анны Снегиной поэтические регалии! «Значные», узнаваемые, всей читающей и пишущей публике известные! Сколько подражательниц тщетно пытались натянуть на неумелые руки знаменитые ее *перчатки,* накинуть на хилые сутулые плечи ее легендарную кружевную *шаль!*

Предположение, что в «Анне Снегиной», пусть и в сильно преображенном виде, отразились сложные *несказанные («что не выразить просто словом и не знает назвать человек»)* отношения, какие, поверх всех барьеров, связывали «крестьянина» Есенина и «барыню» Ахматову, основано не на умозрительных допущениях. Достоверно известно, что в июле 1924 года Сергей Александрович преподнес Анне Андреевне вышедший в Ленинграде сборник «Москва кабацкая». Экземпляр Ахматова не сохранила, но то, что Есенин дарил ей эту книгу, запомнила. Потеря чудом нашлась, автографа на ней не оказалось, вместо него рукой Ахматовой сделанная помета: «Эту книгу подарил мне Есенин, когда приходил летом 1924 года».

О том, что Есенин приходил к ней, Анна Андреевна рассказывала Лукницкому дважды и по-разному, но скорее всего, если вынести за скобки нестыковки и противоречия, дело обстояло примерно так. 19 июля 1924 года Сергей Александрович, трезвый, прихватив для солидности непьющих Клюева и Вольфа Эрлиха, ездил по Питеру, раздаривая нужным людям только что вышедшую «Москву кабацкую». Заехал и к друзьям Ахматовой Щеголевым, оставив знаменитому пушкинисту книжечку с дарственной: «Павлу Елисеевичу с уважением и воспоминаниями о Москве кабацкой С.Есенин. 1924 19/VII».

Щеголевы, видимо, и дали ему новый адрес Ахматовой. Прямо от Щеголевых Есенин на Фонтанку, 2, не поехал, а сделав круг, навестил еще нескольких нужных людей. По дороге к ним, видимо, и прилип порядком подвыпивший поэт и приятель Есенина Иван Приблудный. Ни Эрлиха, ни Клюева общество пьяного Приблудного не устраивало. Доставив «Сергуньку» на Фонтанку, они, естественно, откланялись, а еле державшийся на ногах прилипала рухнул на постель. Есенин остался тет-а-тет с Анной Андреевной.

О чем они говорили, мы, конечно, не знаем. А вот о чем могли говорить, предположить все-таки можно. Во-первых, о книге, которую Есенин вручил и которую Ахматова, конечно же, не заглянув внутрь, поставила на полку. После чего гость спросил

(никак не мог не спросить): «Хотите, я вам почитаю стихи про кабацкую Русь?» (В то лето он других стихов никому не читал.)

За стихами последовали воспоминания – все-таки какое-то общее прошлое у них было: Блок, Гумилев, заснеженный сочельник 1915 года… От воспоминаний перешли к дням сегодняшним. «Ругал власть, ругал все и вся», – записал со слов Ахматовой Павел Лукницкий. За что Есенин ругал советскую власть, Ахматова Лукницкому не разъяснила. И так понятно. Не думаю, однако, чтобы Анна Андреевна поддержала навязанную непрошеным гостем *сворotку*. После казни Гумилева этот сюжет был запретным. Есенин, сообразив ситуацию, «перевел (разговор) на другое». Вот-де собираюсь в деревню, у родителей изба сгорела, надо уладить постройку нового дома.

Но и эта тропинка оказалась с колдобинами!

У него-то будет свой дом, наверняка думала Ахматова. Где стоял, там и отстроятся, а у нее – никогда. Тот, в Царском Селе, продан в войну, а слепневский кон-фис-ко-ва-ли. И снесли. И на что позарились? Ни пахотной земли, ни скотных дворов, так, полухутор, полудача. Где стол был яств, там гроб стоит. Сама не видела, свекровь и золовка ездили. И поблизости, у соседей, руины. Ну, им уже не больно, они далече, а я без Слепнева – все равно что вы без своей рязанской деревни. Ну, разорили, а дальше что? Лебедой да репейником заросло…

«Скажите,
Вам больно, Анна,
За ваш хуторской разор?»
Но как-то печально и странно
Она опустила свой взор…

Задавал ли этот вопрос Сергей Александрович Есенин константиновской помещице Лидии Ивановне Кашиной, которую комментаторская традиция считает прототипом Анны Снегиной? Вряд ли. Односельчане Есенина, «национализировав» угодья и большой господский дом, хутор бывшим владельцам все-таки оставили. К тому же константиновская усадьба, в отличие от гумилевского Слепнева, не была их родовым гнездом. Константиново прикупил по случаю отец Кашиной, темный делец и миллионщик, хозяин Хитрова рынка, с которым Лидия Ивановна порвала, выйдя замуж за скромного учителя гимназии. В отличие от Гумилева мужа Кашиной не убили, да и в войне он не участвовал (работники просвещения в царской России были освобождены от воинской повинности)?

Кабацкий цикл Ахматовой «не показался», о чем автору,

предполагаю, и было заявлено, когда, через дипломатический промежуток, Есенин вновь появился на Фонтанке, чтобы узнать мнение А.А. «Мнение», судя по всему, совпадало с зафиксированным в Дневнике Лукницкого монологом Ахматовой: «Сначала, когда он был имажинист, нельзя было раскусить, потому что это было новаторство. А потом, когда он просто стал писать стихи, сразу стало видно, что он плохой поэт. Он местами совершенно неграмотен. Я не понимаю, почему так раздули его». [33] И далее: «Он был хорошенький мальчик раньше, а теперь его физиономия! Пошлость!» Характеризуя (в тот же день) внешность Есенина, Ахматова, не без брезгливости, произнесла и такое: «гостинодворский».

Больше всего Есенина, видимо, задел, должен был задеть, намек, прямой или косвенный, на его неграмотность («Он местами совершенно неграмотен»). Об этом свидетельствует рассказанный Ю.Н.Либединским эпизод. Либединский (в 1925 году) заметил Есенину, что в его стихотворении «Грубым дается радость… «слово «эфтой» («только вот с эфтой силой в душу мою не лезь») оборот не литературный («вульгаризм»). Есенин спорить не стал, отмахнулся:

– А как иначе скажешь? С «этою» силой?

Однако через несколько дней сам вернулся к затронутому Либединским сюжету:

– Помнишь, ты говорил о нарушении литературных правил?.. Ну а тебе известны эти строки:

> Сегодня я вижу, особенно грустен твой взгляд,
> И руки особенно тонки, колени обняв…

– Гумилев?

– Мастер, верно? А ведь тут прямое нарушение грамматики. По грамматическим правилам надо было сказать: «И руки, которыми ты обняла свои колени, кажутся мне особенно тонкими». Ну, что-то в этом роде… Но «обнявшие колени» – ничего не видно, а «колени обняв» – сразу видишь позу.

Споря с Либединским, Есенин наверняка мысленно спорил и с Ахматовой. Недаром выбрал для примера мнимой «поэтической неграмотности» стихи Гумилева, ей посвященные. Кстати, по части грамотности ей гордиться было нечем. Из трех гимназий настоящей можно считать только киевскую. Но в Киеве Анна Горенко проучилась всего год. Есенин же, с отличием окончив церковно-учительскую школу, два года проучился на историко-филологическом факультете народного университета им. А.И.Шанявского. Во всяком случае, писал он по-русски грамотнее

Анны Андреевны. И не только по-русски. Мог, например, без запинки проспрягать старославянские глаголы, не путая прошедшее несовершенное с прошедшим совершенным.

Записанная Лукницким фраза Ахматовой: Есенин *раньше,* то есть тогда, когда в декабре, под Рождество 1915 года, приходил к ней вместе с Клюевым, «был хорошенький мальчик», – наверняка была сказана не только Павлу Николаевичу, но и бывшему когда-то «красивым и юным» гостю. Был хорошенький – стал *нехороший* и «Москва кабацкая» тому подтверждение? (Вспомним реплику Анны Снегиной: «Сергей, вы такой нехороший».)

До конца своих дней Ахматова продолжала утверждать, что Сергей Есенин совсем плохой поэт. Тем не менее именно она, единственная среди плакальщиков и плакальщиц, пропела *песнь отмщения* за его гибель:

Так просто можно жизнь покинуть эту,
Бездумно и безвольно догореть.
Но не дано Российскому поэту
Такою светлой смертью умереть.

Всего верней свинец душе крылатой
Небесные откроет рубежи,
Иль хриплый ужас лапою косматой
Из сердца, как из губки, выжмет жизнь.

По всей вероятности, на уровне подсознания все-таки чувствовала, что не права, хотя почему-то предпочитала не замечать главного. А именно того, что этот молодец не ее выбора, с внешностью и повадками «гостинодворца», по строчечной сути куда ближе ей, чем, скажем, интеллектуал Мандельштам, не говоря уж о Пастернаке с его многосложными хитросплетениями. В стихах, настаивал Есенин, надо уметь сесть и снять шляпу. Никто, кроме него да Анны Ахматовой, этого не умел.

Есенин: «А теперь я хожу в цилиндре и лакированных башмаках…»

Ахматова: «Я надела узкую юбку, чтоб казаться еще стройней…»

Нигде, кроме как у никуда «негодного» поэта Есенина Сергея, нет такого количества строк, строф, поразительно похожих на ахматовские.

Ахматова:

Хорошо здесь, и шелест, и хруст;
С каждым утром сильнее мороз,

В белом пламени клонится куст
Ледяных ослепительных роз.

1922
Есенин:

Хороша ты, о белая гладь,
Греет кровь мою легкий мороз,
Так и хочется к сердцу прижать
Обнаженные груди берез.

О сознательном заимствовании и речи быть не может, скорее надо вспомнить о поразительном свойстве А.А.: поймав на лету обрывок пленительной поэтической мелодии, сделать из нее стих. Однако ж ловит из воздуха Ахматова только то, что приятно уху ее и глазу. Вот и тут: присвоила ландшафтную часть и интонационный напев и отсекла как чужеродное «обнаженные груди берез». Впрочем, кое-какие из «фирменных» есенинских метафор, как выясняется, вовсе не казались серебряной королеве слишком уж экзотическими. Допустим, такие.

Есенин: «Как васильки во ржи, цветут в лице глаза…» (1920)

Ахматова: «Там милого сына цветут васильковые очи…» (1922)

Есенин: «Режет сноп тяжелые колосья как под горло режут лебедей…» (1921)

Ахматова: «А к колосу прижатый тесно колос с змеиным свистом срезывает серп…» (1917) В последнем примере приоритет изображения жатвы как побоища, массового убийства, принадлежит не Есенину, а Ахматовой, и хотя источник образа фольклорен (сражение – кровавая жатва), его истолкование и применение сугубо индивидуальны. В народной поэзии жатва ежели и убийство, то ритуальное – род жертвоприношения, а смерть на поле брани жертва не напрасная («за Землю Руськую»). Ни у Ахматовой, ни у Есенина этого мотива, искупающего в народном творчестве *суровую жестокость* государственного насилия над живой жизнью *(«где весь смысл – страдания людей»),* нет. Антиимперский образ в «военной поэзии» Ахматовой тем более интересен, что в первые годы русско-немецкой войны она, как уже упоминалось, была настроена «патриотично» за войну до победы. Ежели миллионы русских людей отправили под немецкие пули умирать, нельзя отнимать у обреченных на смерть последнее – веру в то, что воюют они не за «чей-то чужой интерес», а «за отечество»!

И все-таки куда характернее то, что первой поэтической реакцией Ахматовой на 19 июля 1914 года была бесхитростная зарисовка проводов вчерашних крестьян, а ныне рекрутов, на большую и страшную войну, сделанная наверняка с натуры (известие о войне с «германцем» застало Анну Андреевну в Слепневе):

Над ребятами стонут солдатки,
Вдовий плач по деревне звенит.

С редкостным единочувствием откликнулись Ахматова и Есенин и на великую сушь лета 1914-го: по народному поверью, такая засуха бывает лишь перед общенародной бедой. Единочувствие тем поразительнее, что в 1914-м ни Есенин об Ахматовой, ни Ахматова о Есенине еще не знали. Сравните:

Ахматова:

Пахнет гарью. Четыре недели
Торф сухой по болотам горит.
Даже птицы сегодня не пели
И осина уже не дрожит.

Стало солнце немилостью Божьей
Дождик с Пасхи полей не кропил.
Приходил одноногий прохожий
И один на дворе говорил:

«Сроки страшные близятся.
Скоро Станет тесно от свежих могил.
Ждите глада, и труса, и мора,
И затменья небесных светил…»

Есенин:

Заглушила засуха засевки,
Сохнет рожь и не всходят овсы,
На молебен с хоругвями девки
Потащились в комлях полосы.

Собрались прихожане у чащи,
Лихоманную грусть затая,
Загузынил дьячишко ледащий:
«Спаси, Господи, люди твоя».

…Но вернемся на год назад. После «последствий», которыми пришлось расплатиться за короткую связь с Артуром Лурье, Анна резко сократила численность своей свиты. И Лурье, и Зубов, и Зенкевич получили пусть и почетную, но отставку. Пощажен был практически один лишь Николай Владимирович Недоброво – за то, что хорошо приспособился к роли старшего друга. Разумеется, с элементом эротического влечения. И все-таки эротика, или, как говорила Ахматова, «телесность», в их романе, во всяком случае со стороны А.А., не была доминирующим элементом. Главное – «души высокая свобода, что дружбою наречена». У Недоброво масса свободного времени, и он никогда не стал бы, как Гумилев, иронизировать: дескать, «с тобой по-мудреному возиться теперь мне не в пору». Что-то в этом роде присутствовало и в ее отношениях с Чулковым. Но Чулков – господин непостоянный и слишком уж контактный. Даже в самые нежные моменты влюбленной их дружбы Анна не смела претендовать на постоянное место в сфере его интересов. К тому же она уважала Надежду Григорьевну Чулкову куда больше, нежели ее легкомысленного и скорого на «возгорания» мужа. Чувства, какие вызывала у А.А. мадам Недоброво, проблему нравственного препятствия снимали начисто. Однажды, уже в старости, на вопрос, знает ли она, что такое ненависть, и если *да,* то кто же из ее окружения был ненавидим, – Анна Андреевна назвала имя супруги второго из своих Николаев. Не думаю, чтобы источником столь сильной эмоции были лишь личные свойства хорошо воспитанной и богатой дамы, *императрицы,* как называл ее муж. Ахматову доводила до тихого бешенства ее власть над супругом, природу которой она не понимала и, не понимая, объясняла «имущественным неравенством». И даже своеобразной корыстью, то есть тем, что богатство «императрицы» давало Николаю Владимировичу возможность вести жизнь просвещенного дилетанта, не обременяясь необходимостью зарабатывать профессиональным трудом. Делая хорошую мину при не слишком удачной игре, Ахматова пыталась отделаться от неприятного во всех отношениях положения стихами:

А мы живем торжественно и трудно
И чтим обряды наших горьких встреч,
Когда с налету ветер безрассудный
Чуть начатую обрывает речь.

Но ни на что не променяем пышный
Гранитный город славы и беды,

Широких рек сияющие льды.
Бессолнечные, мрачные сады
И голос Музы еле слышный.

В стихах, как всегда, получалось красиво. И не обидно. В каждодневности чтить обряды слишком редких встреч после сокращения штата пленников было и обидно, и досадно, и унизительно. В сердцах она укатила в Киев, а оттуда в имение родственников – Деражню. Недоброво перепугался и сделал нерешительный шажок: вырвался из золоченой своей клетки, из душных своих антикварных тенет. Нашел Анну в Деражне. И тетка, и мать, и сестра Ия обомлели. Но он так мило, так тонко объяснил: вот, мол, захотелось хлебнуть южного воздуха, я ведь, знаете, урожденный харьковчанин, в Петербурге мне зябко…

Утренним поездом решили вместе, взяв для конспирации сестру, ехать в Киев. Дескать, Николай Владимирович желает видеть врубелевскую Богоматерь. Анна стала уговаривать Ию. Ия заколебалась. Бело-розовое фарфоровое лицо Недоброво сделалось грубо-белым, фаянсовым. Туристская прогулка втроем его не устраивала, а дольше чем на сутки задержаться он не мог. Анна, скрывая досаду, настаивала и перегнула палку. Ия не любила, когда ее принуждали, в этом единственном сестры были похожи. В результате вышло так, как хотел Недоброво, спешивший вернуться в Петербург, чтобы встретить отдыхавшую в Европе жену. В отместку за «подкаблучность» Анна с наслаждением весь день его мучила. Дразнила. Капризничала. Ночью в гостинице совсем осатанела от раздражения. Пытаясь склеить «черепки», Николай Владимирович осенью заявил жене, что остается на зиму в Царском Селе, – здесь, мол, в уединении, лучше работается. На самом деле, чтобы быть поближе к Анне. Ближе-то ближе, на соседней улице, но «императрица» удвоила бдительность. За всю зиму только раз и убежали из-под надзора, да и то на лыжах. Пришлось обмениваться письмами, за перепиской мужа мадам почему-то не следила. Все, что осталась Анне, – дуться да злиться на заседаниях «Общества поэтов», которые теперь устраивались в Царском Селе, а не как прежде, в Петербурге.

«Общество поэтов» было задумано Николаем Недоброво как оппозиция «Цеху поэтов» – цитадели акмеизма. Акмеизм Николай Владимирович не признавал ни практически, ни теоретически, а Гумилева как поэта презирал за дурновкусие, декоративность и буржуазную страсть к дешевой экзотике.

Да и в человеческом отношении их взаимная холодноватая

вежливость, чуть ли не учтивость, плохо скрывала непреодолимую антипатию. Тайную неприязнь питала не только влюбленность Недоброво в Анну Андреевну и естественное в такой ситуации мужское соперничество. Эти два человека не выносили друг друга, потому что были слеплены из разной глины.

Николаю Гумилеву мала Земля.

Николаю Недоброво вполне достаточно комфортабельного и покойного кабинета. В этом-то кабинете Анна Ахматова впервые увидит человека, который на долгие годы займет ее воображение.

Царевич, или Несказка о черном кольце

С Борисом Васильевичем фон Анрепом Анна Андреевна Ахматова, по ее собственным словам, познакомилась в марте 1915 года в доме их общего друга Николая Владимировича Недоброво («С Анрепом я познакомилась в Великом посту в 1915 в Царском Селе у Недоброво»). Правда, сам Анреп в своих воспоминаниях «О черном кольце» утверждает, что знакомство состоялось почти на год раньше: «Н.В.Недоброво познакомил меня с А.А. в 1914 году, по моем приезде из Парижа, перед моим отъездом на фронт». Август 1914-го, сославшись на Бориса Васильевича Анрепа, называет и Глеб Струве в очерке «Ахматова и Недоброво». Авторитет Струве настолько вне подозрений, что даже такой пунктуальный ахматовед, как В.Черных, приводит в своей «Летописи жизни и творчества А.А.Ахматовой» обе даты: август 1914-го и март 1915-го. С появлением в русском переводе книги снохи Анрепа Аннабел Фарджен «Приключения русского художника»[34] у нас появилась возможность снять досадное противоречие.

Документы, сохранившиеся в семейном архиве, свидетельствуют: вернувшись в августе 1914-го на родину (из Лондона, а не из Парижа), Анреп так спешил принять участие в боевых действиях, что задержался в Петербурге всего на несколько суток, даже не экипировался: кроме пистолета и непромокаемого плаща, ничего не успел купить. С Недоброво, видимо, все-таки пересекся. Вот только как раз в эти дни Николаю Владимировичу было и не до Ахматовой, и не до Анрепа. Война застала его жену в Германии, и он сходил с ума от беспокойства за ее судьбу.

Да и у Ахматовой в *том августе* («тот август, как желтое пламя…») заботы другие, тоже семейственные и тоже связанные с войной. Гумилев, напоминаю, рвался на фронт, и все эти *быстрые недели* (с 5 по 24 августа) она не расставалась с мужем и его друзьями. Не могла состояться романтическая встреча и в другие месяцы четырнадцатого года.

Письма, которые Борис Васильевич отправлял в Англию Хелен Мейтленд, матери своих детей и законной (с 1919 г.) супруге, удостоверяют: с конца августа по середину декабря 1914-го он неотлучно находился в действующей армии, в Галиции.

В Петербурге, для свидания с родителями, появился в конце декабря – под Рождество, когда Анны Андреевны в городе уже не

было: проводив мужа до Вильны, она уехала к матери в Киев, где и встретила 1915 год.

С мемуарами Б.В.Анрепа вообще произошло нечто странное: они словно загипнотизировали биографов Ахматовой. Наконец-то таинственный герой «Белой стаи» и «Подорожника», о котором в «Ахматовке» очень долго почти ничего не знали,[35] рассекретил себя! Все словно запамятовали, что о событиях пятидесятилетней давности повествует человек, тщетно пытающийся вспомнить то, о чем на протяжении полувека не вспоминал. Сначала за ненадобностью, потом за недосугом.

Больше того. Хотя Анреп в мемуарах и утверждает, что благодаря Глебу Струве регулярно читал почти все, что Ахматова «печатала и что печаталось за границей», это всего лишь кажимость. Аннабел Фарджен прекрасно помнит, что свекор заинтересовался посвященными ему стихами Ахматовой лишь в 1966 году. Имя русской поэтессы мелькало в его рассказах и раньше (Аннабел вышла замуж вскоре после войны, в разгар острого любопытства Европы к победителям Гитлера, тогда же стала брать уроки русского языка), но только мелькало. Даже приезд ее в Лондон в 1965-м заметных следов в семейных преданиях не оставил. На оксфордский триумф Ахматовой Анреп не явился, а при коротком свидании в парижской гостинице летом того же года, кляня себя за «бесчувственность», внутренне отшатнулся от грузной и одышливой старухи. Острый приступ ностальгии настигнет его позднее, в марте 1966-го, – по получении известия о смерти «пиковой дамы».

Анна Андреевна опять предсказала точно: «Когда человек умирает, изменяются его портреты». «Те три года, – свидетельствует Фарджен, – что легли между смертью Ахматовой и его собственной, Борис был одержим идеей определить, какие из ее стихов посвящены ему, а какие – другим возлюбленным или мужьям. Он испытывал танталовы муки, пытаясь найти ответы на эти загадки. Когда однажды он обнаружил стихотворение, написанное как акростих с его именем, это был настоящий триумф».

Борис Васильевич фон Анреп и в старости, и в болезни неразрешимых проблем не признавал. И одержимость идеей фикс – в его характере. И все-таки в данном конкретном случае без усугубляющих проблему сантиментов не обошлось. Американская миллионерша, с которой Анреп сошелся на старости лет, по свидетельству родственников, сильно ревновала его к Ахматовой. От сцен ревности Борис Васильевич обычно зверел, но теперь они его не трогали, он был далеко, в небытовом измерении – в иных годах и краях. Фарджен слегка иронизирует над причудами

свекра. Дескать, «как одержимый» пишет «русские стихи», предаваясь «воспоминаниям о призрачной любви полувековой давности». Но и, иронизируя, сочувствует: по неизвестной причине «старику» надобно разгадать загаданную Анной Андреевной загадку, ключик к которой спрятан в ее стихах. Но как же его отыскать? Теперь, когда почти все свидетели отошли в мир иной? Имевшиеся у Бориса Васильевича сборники А.А. («Вечер» и «Четки», оба с дарственной) изданы до знакомства с ним, а «Белую стаю» Ахматова скорее всего не успела ему подарить: книга вышла за месяц до «окончательной разлуки», но осенью 1917-го они виделись редко. В том октябре Анреп был слишком уж обременен массой неотложных семейных дел, крепко повязан секретностью служебных обязанностей,[36] да и уехал внезапно, не простившись – накануне Октябрьского переворота. Точнее, пришел проститься и, не застав Анну, передал привет и целование через Валерию Сергеевну Срезневскую, в квартире которой Ахматова в те месяцы проживала. Словом, прощания навеки, – а именно для таких душераздирающих мгновений Анна Андреевна приберегала символические дары, – не состоялось. Впрочем, даже если «Белая стая» и оказались бы у Бориса Васильевича в руках, это вряд ли б облегчило «танталовы» его «муки». Многие из обращенных к Анрепу стихов А.А. не включила и в «Белую стаю». Даже упоминаемый Аннабел Фарджен акростих, получивший в дальнейшем название «Песенка», впервые напечатан лишь в «Подорожнике» (1921). Нет в «Белой стае» и знаменитого «Эта встреча никем не воспета…», написанного 17 мая 1916-го, когда А.А. ждала вести от уехавшего в Англию Анрепа:

Ты, росой окропляющий травы,
Вестью душу мою оживи, —
Не для страсти, не для забавы,
Для великой земной любви.

Не попало в «Стаю» и еще одно хрестоматийное стихотворение, в герое которого Борис Васильевич легко мог бы узнать если не себя, то свое отражение в одном из ахматовских зеркал:

По твердому гребню сугроба
В твой белый, таинственный дом
Такие притихшие оба
В молчании нежном идем.
И слаще всех песен пропетых

Мне этот исполненный сон,
Качание веток задетых
И шпор твоих легонький звон.

В своих книгах, начиная с «Вечера» и кончая «Бегом времени», Ахматова хронологии из принципа не придерживалась, считая, что в строгой последовательности издавать следует только классиков.[37]

Компонуя книгу, она тасовала стихи, как карточную колоду. Точно так же составлена и «Белая стая». Стихи к Анрепу перемешаны с любовными посланиями и страданиями, касательства к нему не имеющими. Вдобавок анреповский цикл завершает стихотворение, открыто и, видимо, с намеком обращенное не к самому Анрепу, а к его первой, *брошенной* в России жене Юнии, на крымской даче которой А.А. гостила в декабре 1916 года. Что мог вычитать из этого текста Борис Васильевич в октябре 1917 года? Всего лишь сообщение о том, что сказка о безответной любви, в которой ему предназначалась роль заморского гостя, снята с репертуара, поскольку у автора сей лирико-драматической пьесы началась другая – безлюбовная жизнь:

По-новому, спокойно и сурово,
Живу на диком берегу.
Ни праздного, ни ласкового слова
Уже промолвить не могу.

Разумеется, стихи датированы, и каждая из дат – *какое-то воспоминанье,* вот только Анрепу, в отличие от Ахматовой, числа, даже умные, ни о чем не говорят. Такие мелочи не задерживались в мужской его памяти и в молодые годы. Борису Васильевичу, к примеру, смутно помнится, что и заветное черное кольцо, и «Вечер»[38] Анна Андреевна подарила ему в один и тот же день, 13 февраля 1916 года, перед его возвращением в Лондон. Но это очередной сбой памяти. Исходя из ситуации, достовернее предположить, что *тайный перстень* – не последний, а первый подарок, сделанный при первом же свидании после годовой разлуки, в январе 1916-го. «Вечер», купленный и прочитанный Анрепом четыре года назад, для столь торжественного случая, как свидание на людях, во время которого надобно было подать избраннику «тайный знак», не годился. Иное дело – золотое, старинной работы, с чернью и с маленьким бриллиантом кольцо. Тем паче что сделать столь дорогой (и в прямом, и в переносном

смысле) подарок надлежало ловко и скрытно, дабы никто из присутствующих в «салоне» Недоброво ничего не заметил. В «Сказке о черном кольце» этот эпизод сдвинут в сторону вымысла и красоты:

И, придя в свою светлицу,
Застонала хищной птицей,
Повалилась на кровать
Сотый раз припоминать:
Как за ужином сидела,
В очи темные глядела,
Как не ела, не пила
У дубового стола,
Как под скатертью узорной
Протянула перстень черный,
Как взглянул в мое лицо,
Встал и вышел на крыльцо.

Анреповский мемуар «О черном кольце» гораздо реалистичнее: «Н.В. открыл рукопись „Юдифи“, сидя за красивым письменным столом чистого итальянского ренессанса… Несмотря на безукоризненное стихосложение и его прекрасное чтение, я слушал, но не слышал… Внезапно что-то упало в мою руку: это было черное кольцо. „Возьмите, – прошептала она, – это вам“. Я хотел что-то сказать. Сердце билось. Я взглянул вопросительно на ее лицо. Она молча смотрела вдаль. Я сжал руку в кулак… Подали чай. А.А. говорила с Л.А. (женой хозяина дома. – *А.М.)*. Я торопился уйти. А.А. осталась».

С кольца вялотекущая *исторья,* похоже, и стала набирать обороты. Анреп умел ценить широкие, многозначительные, с подтекстом, жесты. «Уезжая, подарил вывезенный из Галиции деревянный крест[39] и оставил на хранение автограф своей поэмы «Физа». В том же году Анна Андреевна получила от него открытку. Пообещавший вернуться в Россию через несколько недель, Анреп уведомлял, что приехать не может. Однако приехал (по Лукницкому – осенью 1916-го) и даже (якобы в письме!) сообщил день и час прибытия в Петроград, чтобы Ахматова его встречала на вокзале.

Считается, что Лукницкий что-то перепутал. Согласно «Летописи», А.А., уехав в июне 1916-го в Крым, вернулась в Россию в середине декабря; следовательно, встречи осенью быть не могло. И даже письма, мол, не было. Иначе Анреп не упомянул бы в воспоминаниях, что писем от Ахматовой не получал и сам ей никогда не писал. На самом деле перепутаны только детали.

Свидание состоялось в слякотном декабре, а про день и час прибытия было, видимо, сообщено телеграммой, посланной из российского порта Романов. Поздней осенью 1916 года Анреп был командирован туда, под Архангельск, дабы наблюдать за разгрузкой снаряженного союзниками корабля с грузом селитры, необходимой для производства пороха.

Прибыв в Романов и убедившись, что все складские помещения забиты военными грузами, которые не вывозятся по причине аварийного состояния железнодорожной линии и малочисленности подвижного состава, Анреп, отправив на имя военного министра телеграмму, выехал в Петроград. Заодно с длинной служебной телеграммой была, видимо, выслана и короткая – Анне.

Рассказал ли ей Анреп о катастрофическом состоянии русской армии, о том разложении, что вверху, что внизу, каким ужаснул его порт Романов, неизвестно, но, похоже, кое-что все-таки рассказал. Патриотично (все еще патриотично!) настроенной Ахматовой это наверняка не понравилось, ей по-прежнему мнится: все поправимо. Без учета вышеизложенного злые ее стихи, написанные в ночь под Новый, 1917 год и обращенные к Анрепу, – необъяснимы.

Цитирую:

Высокомерьем дух твой помрачен,
И оттого ты не познаешь света.
Ты говоришь, что вера наша – сон
И марево – столица эта.

Ты говоришь – моя страна грешна,
А я скажу – твоя страна безбожна.
Пускай на нас еще лежит вина, —
Все искупить и все исправить можно.

Впрочем, в том декабре расстались они ненадолго. В январе 1917-го Анрепа вновь командировали в Архангельск, все по тому же селитровому делу, усугубленному самоубийством военного коменданта порта Романов, и уже 3 февраля 1917 года он вновь появился в Петрограде. Неделю приходил в себя, а когда, перейдя под пулями Неву, вошел к Срезневским, Анна едва узнала в нем прежнего победительного Бориса: «А ты теперь тяжелый и унылый, отрекшийся от славы и мечты…» Как и Гумилев, за два фронтовых года Анреп до омерзения устал от бессмысленности происходящего: не военная кампания, а машина по перемалыванию пушечного мяса. В столь непривычном для него

подавленном состоянии духа поддерживать рыцарские отношения с требовательной и капризной дамой трудновато, но еще хлопотнее их не поддерживать. Формально «роман» все еще длится, а по сути – полегоньку выдыхается. В разговорах с Лукницким отношения с Анрепом в год двух революций А.А. охарактеризовала так: «Когда началась революция, он под пулями приходил к ней на Выборгскую сторону – „и не потому, что любил, – просто так приходил. Ему было приятно под пулями пройти“.

Я: "Он не любил вас?"

А.А: "Он… нет, конечно, не любил… Это не любовь была… Но он мог все для меня сделать, – вот так просто"».

Не любил, но мог все для меня сделать – это тот упрощенный вариант, который до фольклорной безупречности отшлифован в «Сказке о черном кольце» (июль 1917-го – февраль 1936-го). В *несказке* выходило и проще, и сложнее. Причем с самого начала.

Внимательное прочтение написанного Ахматовой в течение 1915 года наводит на мысль, что «заморский гость» пока еще не занимает в жизни ее сердца центрального места и что некоторые из шедевров этого года выросли на лирической грядке, вскопанной для другого посева.

Я, к примеру, не уверена, что знаменитое «Из памяти твоей я выну этот день…», датированное 4 апреля 1915 года, обращено к Анрепу, как, со ссылкой на автора, утверждают комментаторы. Верят на слово и не замечают, что упоминаемые здесь персидская сирень и ласточки не соотносятся с Анрепом, поскольку знакомство, напоминаю, состоялось ранней весной и до 4 апреля 1915 года А.А. с ним не виделась. Следовательно, общих *сиреневых* воспоминаний у них не было.

Вряд ли до февраля 1916-го написано и «Я не знаю, ты жив или умер…», где есть такая строфа: «Все тебе: и молитва дневная, / И бессонницы млеющий жар, / И стихов моих белая стая, / И очей моих синий пожар». Под стихотворением проставлена, согласно авторской воле, нужная «Белой стае» дата: лето 1915-го, вот только вряд ли она верна.

После «Четок» стихи Анны Ахматовой шли нарасхват, тем паче со столь сильным патриотическим акцентом, а этот текст опубликован спустя полгода, в 1916-м, в коллективном сборнике «Пряник осиротевшим детям». Куда больше, на мой взгляд, соответствуют ее состоянию в марте 1915-го следующие строки:

Перед весной бывают дни такие:
Под плотным снегом отдыхает луг,
Шумят деревья веселосухие,

И теплый ветер нежен и упруг.
И легкости своей дивится тело,
И дома своего не узнаешь,
А песню ту, что прежде надоела,
Как новую, с волнением поешь.

Дух легкости не задержался ни в теле, ни в душе, ни в доме. Сразу после Пасхи, а Пасха в 1915 году пришлась на 22 марта по старому стилю, житейские обстоятельства А.А. переменились к худшему, что никак не способствовало вспышке пылких чувств и синему пожару очей. В апреле Гумилев с угрожающим воспалением почек угодил в госпиталь, а свекровь впервые не смогла выгодно сдать под дачу царскосельский особнячок и еле-еле сводила концы с концами; каждый вечер шли разговоры о том, что дом придется продавать. По причине безденежья июнь и июль Анна безвыездно просидела в Слепневе, лишь в августе вырвалась в Петербург, да и то по трагической надобности: из-за болезни и смерти отца.

В то же сырое лето у нее обострился хронический бронхит, осенью врачи обнаружили еще и затемнение в верхушке левого легкого. Диагноз был настолько тревожным, что Гумилев перед очередным отъездом в действующую армию вынужден был изыскивать средства, чтобы отправить жену в хороший (финский) санаторий.

В столь удручающих обстоятельствах влюбленно-дружеские отношения с Недоброво были единственным утешением. По-видимому, и Недоброво был твердо уверен в ее привязанности, иначе вряд ли бы стал знакомить с Анрепом в 1915-м и приглашать в гости (опять же *на Анрепа!)* в 1916-м: подружившийся с Борисом Васильевичем еще в старших классах харьковской гимназии, Николай Владимирович слишком хорошо знал, каким успехом пользовался тот у особ женского пола. Когда именно Недоброво догадался, что же на самом деле происходит между Анной и его лучшим (фактически единственным) другом? По моему разумению, лишь в феврале 1916-го. Можно попробовать и уточнить: в ночь с 10 на 11 февраля. Эта дата *(Недоброво 11.2.16),* выделена в «Записных книжках» и вставлена в мемуарный фрагмент, в котором Ахматова сравнивает свой Рим 1964 года с Бахчисараем, куда она приезжала в 1916 году:

«Подъезжаем к Риму. Все розовело. Похоже на мой последний незабвенный Крым 1916 года, когда я ехала из Бахчисарая в Севастополь, простившись навсегда с Н.В.Недоброво, а птицы улетали через Черное море».

По-видимому, почти целый год Анне Андреевне удавалось скрывать от «незабвенного и нежного друга» увлечение Борисом Васильевичем, что, впрочем, было не так уж и трудно. Весной 1915-го, через два дня после знакомства с новой Сафо, Анреп вернулся на фронт. А когда приезжал осенью, с Анной Андреевной не виделся, поскольку та была в санатории. Недоброво, писавший ей ежедневно, об этом, конечно же, знал, иначе бы в заснеженном феврале 1916-го не устроил *изменщикам* злосчастную встречу. Известно также (из дневниковых записей П.Н.Лукницкого), что за четыре дня до отъезда в Лондон, 10 февраля 1916 года, Борис Васильевич закатил прощальный пир, по-анреповски щедро и красиво обставленный, в модном и дорогом ресторане «Pirato».

Предполагаю, что именно в тот прощальный вьюжный вечер в заснеженном том феврале Анна Андреевна, расслабившись, перестала контролировать и взгляды свои, и жесты, что и открыло Николаю Владимировичу глаза. Словом, есть основание считать, что подчеркнутое А.А. число *11.2.16* – не что иное, как дата решительного объяснения с Недоброво. *Всей правды* Анна Андреевна наверняка *не доложила,* но и отнекиваться не стала – куда от стихов денешься? Тем паче когда отбоя нет от альманахов, газет и журналов, желающих их немедленно опубликовать.

Недоброво трагически пережил двойную «измену». Порвать с А.А. у него не хватило духу, но отношения с другом, мимоходом, вовсе того не желая, «отбившим» любимую женщину, были немедленно прекращены. Будь Николай Владимирович здрав и благополучен, друзья в конце концов, может быть, и помирились (они и гимназистами не поссорились, влюбившись в одну и ту же девочку). Но Недоброво был болен, и болен давно. Правда, болезнь (ТБЦ) развивалась медленно, и вдруг весной 1916-го, сразу после двадцатидневного пребывания соперника в Петербурге, дала резкое, катастрофическое обострение. Оказалось, что задеты не только легкие, но и почки. Близкие Недоброво убеждены: Николая Владимировича заразила госпожа Гумилева, что, конечно, неправда. Чахотка А.А. никогда не давала открытой заразной формы, иначе ее не приняли бы осенью 1915-го в финский санаторий Хювинккя. Тем не менее Анна Андреевна и спустя полвека продолжала думать, что она и Анреп – убийцы, поскольку виновны в обострении болезни, а значит, и в смерти Николая Владимировича. Что их связывает братоубийство, сказала даже Анрепу при последнем свидании в летнем Париже 1965 года.

Борис Васильевич посчитал навязчивую сию идею симптомом

старческого маразма, позабыв, что А.А. и в 1915-м считала их поведение «греховным»: «Ну, теперь иди домой, / Да забудь про нашу встречу, / А за грех твой, милый мой, / Я пред Господом отвечу». В контексте любовного быта той поры, с его, как говаривала Ахматова, «проклятой легкостью», слово *грех* применительно к невиннейшим знакам внимания, какими русский европеец *обвораживал* модную поэтессу (цветы-букеты, рестораны-экипажи), и впрямь может показаться нелепым. Если, разумеется, вынести за границы любовного треугольника смерть Недоброво и *беспокойную* совесть Ахматовой.

Что до Анрепа, то он вины за собой не предполагал и, когда через много лет узнал, что «в последние годы своей жизни Недоброво перестал чувствовать дружеское расположение» к нему «из-за ревности к А.А.А.», был поражен безосновательностью *перемены.* Как мог Николай Владимирович ревновать, если его «преклонение перед Ахматовой было исключительно литературное и платоническое»?

Но, может быть, Борис Васильевич невольно лжесвидетельствует, утверждая, будто открытое ухаживание за одной из самых знаменитых женщин предреволюционного Петербурга было чисто литературным? Не думаю. Впечатление от сборника «Четки» в его воспоминаниях – «прекрасные, мучительно-трогательные стихи» – выразительнее, чем впечатление от их автора (дамы с четками): «волнующая личность», не более того. Вот только кто поручится, что линия поведения Анрепа при редких встречах с Анной и в 1915-м, и в 1916-м, и в 1917-м во всех ситуациях вполне, до мельчайших деталей, соответствовала установке на литературный роман? Одно дело – общая установка и совсем иное – сложившийся к тридцати двум годам навык. Впрочем, Анреп и в юности действовал как невольный соблазнитель даже тогда, когда это вовсе не входило в его планы. Не по разуму, по инстинкту. Это-то и сбивало с толку и более опытных, нежели Ахматова, его пассий. У Анны Андреевны с опытом подобного рода было негусто. Все прежние ее поклонники вели себя иначе: либо требовательно и страстно влюблялись, либо благоговейно преклонялись. Анреп вроде из благоговеющих, но слишком уж заметно, что в непривычном амплуа платонического обожателя ему и неловко, и жмет. Через полвека Ахматова внесет в одну из последних записных книжек такой текст: «"Она была бы Сафо, если бы не ее православная изнеможденность" (Анреп в письме Н.В.Недоброво). А мне он сказал: "Вам бы, девочка, грибы собирать, не меня мучить"».

Согласитесь: процитированную А.А. фразу нельзя ни

придумать, ни истолковать иначе, чем досаду уверенного в своих чарах мужчины, которому отказывает в близости женщина, казалось бы, влюбленная и отнюдь не «неприступная» (Недоброво не скрывал от приятеля, что его «дружба» с Анной Андреевной вовсе не платоническая).

Впрочем, в те два с половиной года, в которые укладывается его якобы литературный роман с А.А., Анрепу, женолюбу и гедонисту, не устающему убеждаться в своей «сексуальной привлекательности», было не до романтических волнений. Даже секс *из высших наслаждений жизни* перешел в разряд удовлетворения естественных потребностей. Анреп никак не мог развестись с первой женой, а сделать это было необходимо. Его вторая жена, пока незаконная, Хелен Мейтленд, кроме дочери родила своему русскому почти мужу сына, которого он еще не видел. К тому же Хелен, получив в наследство небольшой капитал, не могла распорядиться им до официально оформленного замужества. В результате, пока Борис Васильевич выполнял в далекой России патриотический долг, его английская семья существовала практически на грани бедности. Конечно, Анреп-старший, человек состоятельный, либеральных взглядов и отнюдь не прижимистый, мог бы по такому случаю и раскошелиться. Но Борис не решался признаться суровому и строгому отцу, что преподнес ему «незаконнорожденного внука».

Была и еще одна тонкость. Хотя Анреп сошелся с прелестной островитянкой по взаимной любви, к началу войны страсть успела слегка увянуть. Вынужденная разлука неожиданно для обеих сторон разогрела остывающие чувства. Фронтовые письма Бориса к Хелен на удивление нежны и ничуть не похожи на предвоенные небрежные весточки. Он даже сердится, что жена никак не соберется прислать фотографии детей. Разумеется, семейные обстоятельства не мешали Анрепу заводить неопасные мимолетные связи. Вот только Анна Андреевна на такую роль не годилась, да и вообще была не совсем в его вкусе. Не то чтобы фон Анреп предпочитал красавиц посвежее и без шестых чувств, ни одну из его женщин «прекрасной без извилин» не назовешь. Но его явно не возбуждала любая разновидность «немощности» (это слово он употребляет в посвященных Ахматовой стихах «По немощной я только руки слал…»). Патологический здоровяк, он инстинктивно выбирал здоровье и силу. Взять ту же Хелен. При кажущейся хрупкости у нее хватило мужества и расторопности, чтобы с двумя детьми, на подводе, почти без денег, выбраться из охваченной войной Франции, добраться до Лондона, а там, узнав, что отец ее детей умчался в Россию бить немцев, не растеряться, не пропасть с голода, да еще и писать беглому мужу

мечтательные письма с самыми радужными надеждами. Вот окончится война, и они построят на берегу большой русской реки замечательный дом с персиковым деревом под окном его кабинета…

Большой дом над Волгой, с собаками и детьми, мерещится и Анрепу, но его сильно смущает невозможность зарабатывать на родине своим ремеслом. В одном из писем к Хелен Мейтленд (1915 г.) он признается: «Я чувствую себя таким беспомощным в России, не работником, а человеком из общества. И тогда все вокруг кажутся мне такими умными, что сам я в своих глазах становлюсь гораздо менее образованным и совсем тупым. В Англии я чувствую себя гораздо свободнее. Кроме того, положение художника, которое есть у меня в Англии, совершенно не признается в России, здесь требуется совсем другая фигура, которая бы способствовала развитию нашего русского искусства…»

Признание удивительное! Анреп окончил лучшую петербургскую гимназию с серебряной медалью и школу правоведения – тоже с отличием. Эта престижная Школа по традиции открывала выпускникам путь наверх, в высшие эшелоны власти. Борис же Васильевич, отбыв воинскую повинность, предпочел университет, сдав экстерном за двенадцать месяцев четырехгодичный курс. Поступил и в аспирантуру – и вдруг решительно переменил жизненный курс: до двадцати двух годов не бравший в руки ни рисовального карандаша, ни кисти, никогда не заходивший в Эрмитаж, уехал в Париж и всего за пять лет освоил почти забытое в Европе искусство византийской мозаики. Больше того, переместившись в Англию, не прилагая особых усилий, нашел общий язык с английскими интеллектуалами – писателями, художниками.

Словом, к 1915 году наш бонвиван образовал себя настолько, что с полным на то основанием мог не тушеваться в родном Петербурге. И тем не менее тушевался… Внимание Ахматовой, конечно же, ему льстило, поскольку не мог же он не понимать, что автор «Четок», возможно, и есть та самая *другая фигура, способствующая развитию русского искусства.* Льстила, но одновременно слегка уязвляла, а может, и раздражала. Отсюда и покровительственное «девочка», и снисходительное «грибы». Как-никак, а Анрепу уже тридцать два! Да, он уверяет Хелен, что в Англии у него достаточно прочное положение, но на самом деле положение профессионального художника ему еще предстоит завоевать. Предвоенные английские «триумфы» (выставка живописных и акварельных работ, публикация стихов и рисунков в одном из лондонских художественных журналов, первые опыты

монументального дизайна и т. д.) организованы приятелями и ничего общего с общественным признанием не имеют.

Рассказанная Аннабел Фарджен история *приключений русского художника* воспринимается как биография баловня судьбы, который сам себя сделал работником. Аннабел Фарджен такой задачи перед собой не ставила. Ее книга слажена по западным лекалам: максимум внимания к любовным авантюрам и успехам героя *в высшем лондонском кругу*. В том числе и по творческой части. Но это всего лишь парадный фасад (если воспользоваться любимым Анрепом суждением маркиза де Кюстина: «В России одни фасады»). За победительным и блестящим фасадом – десятилетия черной изнурительной работы. Художественные достоинства его грандиозных мозаик отнюдь не бесспорны, а вот мастером в средневековом смысле этого слова Анреп безусловно стал. На качество выделки, похоже, и откликались осторожные англичане, испокон века умевшие ценить добротно сделанные вещи, – и служители культа, и банкиры, и администрация Национальной галереи. Ни больших денег, ни европейской славы мастер Анреп не добился, палат каменных для себя, украшая чужие «пышные дома», не выстроил. Зато от унижающей бедности, душившей первую эмиграцию, и себя, и свой домашний очаг застраховал. Но это все в будущем. А пока (в предвоенные годы и в период Первой мировой войны) островитяне относятся к блудному сыну профессора медицины Василия Константиновича Анрепа, состоятельного помещика, члена Третьей Государственной думы, создателя и первого директора института Пастера, как к русскому «богатырю», как к чудаку, оригиналу, как к экзотической, из ряда вон диковинке. Англичан интригует аристократическое происхождение фон Анрепа (отдаленное родство со шведскими Анрепами, носящими титул графов Эльмптских). Им нравится его русская широта в непривычном сочетании с нерусской энергичностью, им импонирует его победительная сексуальность, магнетически притягивающая особей как мужского, так и женского пола.

Война и революция изменили не только привычки, вкусы и навыки, но и устремления его духа. Из состоятельного землевладельца, человека с пожизненно обеспеченным тылом фон Анреп силою вещей превратился в пролетария творческого труда. Как и Ахматова, он мог бы теперь сказать о себе: «Мне подменили жизнь, в иное русло и по-иному потекла она…» К счастью, перемена не обессилила, а, наоборот, активизировала его недюжинную энергию и почти «марсианскую жажду творить». Анрепу и в ранней юности глагол *уметь* нравился больше, нежели глагол *иметь*, и все-таки неизвестно, сумел бы он сделать

то, что сделал, если бы судьба не поставила его перед необходимостью в поте лица зарабатывать свой хлеб.

Мастеру Анрепу было за семьдесят, когда ему предложили грандиозный проект – оформительские работы в Вестминстерском соборе. Требовалось покрыть мозаикой стены и сводчатый потолок огромной капеллы Святого Причастия. На эту работу, по плану заказчика, отводилось целых семь лет. Аннабел Фарджен оставила нам портрет восьмидесятилетнего мастера в день ее окончания:

«Он был еще высокий и сильный… Он поднимался под сводчатый потолок капеллы: он лез по лестнице, и свет отражался от его розовой, почти совсем лысой головы. В одной руке он держал маленький изогнутый молоточек, долото и небольшое ведерко с мокрым цементом. Он взобрался по первой длинной лестнице, перешел по лесам ко второй, потом по доскам, скрипевшим и прогибавшимся под его тяжестью, дальше, вверх по третьей лестнице к центру сияющего розового неба. Там, стоя на лесах, высоко, под самым потолком, он, отклоняясь назад, постучал молотком по единственному золотому камешку звезды. Отколол кусочек, мазнул цементом и с силой прижал тот же малюсенький кусочек на старое место, но под другим углом, потом протер его и начал медленно спускаться. Вниз он сошел, пыхтя и задыхаясь. Но, посмотрев на потолок, где мерцал золотой квадратик, улыбнулся со словами: "Надо было поменять угол, чтобы камешек отражал свет"».

Вестминстерские мозаики – и самый почетный в творческой жизни Анрепа, и самый выгодный, в денежном отношении, заказ. Вот только по иронии судьбы в деньгах в ту пору он уже не нуждался. В начале пятидесятых годов Бориса Васильевича накрепко привязала к себе баснословно богатая дама, немолодая, но все еще стильная. Поскольку иных занятий у мадам не было, то смыслом ее существования стала забота об удобствах Анрепа.

Борис Васильевич заботы ценил, но роскошь его утомляла. Во дворцах заботливой миллионерши этот странный человек чувствовал себя словно в западне и с великим облегчением, встав раньше слуг, почти убегал в *свой* собор. А когда работы были закончены, затосковал. Тоска и прежде настигала его, как только рядом не оказывалось мозаики, которая целиком занимала бы и его ум, и его руки. После Вестминстера мастером овладела иная тоска – безвыходная. И он стал стремительно стареть. Парижская встреча с Ахматовой застала Анрепа именно в этот период. И нам остается только вообразить, что бы почувствовала Анна Андреевна, окажись она в Лондоне не в 1965-м, а чуть ранее, в год окончания работ в Вестминстере, то есть в 1963-м, когда у нее

была возможность увидеть своими глазами, как восьмидесятилетний Борис поднимается под купол капеллы Святого Причастия. Для того, чтобы изменить угол золотой звездочки!

Что касается меня, то в этом почти ритуальном *(в знак окончанья жатвы)* восхождении Анрепа под купол мне видится что-то общее с восхождением Ахматовой по каменной лестнице славы в старинном сицилийском дворце, где осенью 1964 года состоялась, как мы все помним, церемония вручения Великой Княгине Русской Поэзии престижной премии Этна-Таормино:

«В тот день все спустились вниз, на площадь, сели в давно ожидавшие нас автомобили и поехали в здание парламента – палаццо Урсино – средневековый замок с глухими стенами и круглыми угловыми башнями. Машина въехала через низкие каменные ворота внутрь прямоугольного замкнутого двора и остановилась около крутой высокой каменной лестницы. Когда я узнала, что никакого другого входа нет, я замерла. Акума меня одернула и, впившись в мою руку, начала подниматься с решительностью, которую проявляют люди, готовые к любому рискованному шагу» (из воспоминаний Ирины Пуниной «Анна Ахматова на Сицилии»).

Словом, даже вынужденно упрощенный мозаичный силуэт Бориса Васильевича Анрепа, как его ни обрезай, не укладывается в ту узкую малоформатную рамку, в какую Анна Андреевна вставила его портрет, созданный ею в 1924 году, в семилетнюю годовщину их последнего, накануне Октябрьской революции, свидания: «Веселый человек с зелеными глазами, любимец девушек, наездник и игрок». Поскольку эти стихи из-за оценки, какая дается здесь «прославленному Октябрю», в доперестроечных изданиях Ахматовой отсутствуют, цитирую их без изъятий:

Я именем твоим не оскверняю уст.
Ничто греховное мой сон не посещает,
Лишь память о тебе, как тот библейский куст,
Семь страшных лет мне путь мой освещает.

И как приворожить меня прохожий мог,
Веселый человек с зелеными глазами,
Любимец девушек, наездник и игрок.
……

Тому прошло семь лет. Прославленный Октябрь,
Как листья желтые, сметал людские жизни.

А друга моего последний мчал корабль
От страшных берегов пылающей отчизны.

Стихотворение не окончено и, как и многие крамольные тексты, запрятано в темный угол «подвала памяти». Отчасти, видимо, из-за Николая Николаевича Пунина, о романе с которым речь впереди. Отчасти, вероятно, потому, что образ *Октября,* сметающего, как желтые листья, человеческие жизни, был невольным заимствованием из отчаянных «Кобыльих кораблей» Сергея Есенина (в этой поэме Есенин осмелился назвать Великий Октябрь «злым»: «Злой октябрь осыпает перстни с коричневых рук берез…»)

Не исключено также, что стихи оборваны на середине еще и потому, что и спустя семь лет А.А. не умеет (или не хочет?) подробно объяснить, почему же память о прохожем, о чужом человеке подобна несгорающему библейскому кусту. Даже в адском пламени злого Октября не сгорающему. Она и позднее якобы не удосужилась впрямую ответить на этот вопрос. Ни новым подругам, ни молодым друзьям «последнего призыва». Элен Файнштейн, английская поэтесса, автор книги об Анне Ахматовой, сетует, что ни Евгений Рейн, ни Анатолий Найман не смогли растолковать ей «природу этой привязанности». Дескать, что-то вроде трубадурской «дальней любви», вечно желанной и никогда недостижимой. «Остается только гадать, – продолжает Элен Файнштейн, – что же такое сделал Анреп, чего Ахматова не смогла забыть…»

На самом же деле Ахматова, конечно же, позаботилась о том, чтобы мы, читатели, могли не только гадать, но и угадывать. Затем и оставила почти на виду, словно связку ключиков к очередной шкатулке с двойным дном, несколько проговорок в излюбленном ею жанре: когда «ничто не сказано в лоб», когда «сложнейшие и глубочайшие вещи изложены не на десятках страниц, а в двух стихах», а то и в двух-трех словах. Иначе, думаю, и быть не могло. Без истолкования – с учетом *сложнейших вещей,* – казалось бы, обыкновенной любовной истории поэтическая биография Ахматовой будет неполной, а в самых важных ее книгах – в «Белой стае» и «Подорожнике», не говоря уж о «Поэме без героя», – останется слишком много темнот. Анна Ахматова, хотя и не уставала напоминать коллегам, что стихов без тайны не бывает, в рассуждении читателя придерживалась другого мнения:

Не должен быть очень несчастным
И главное скрытным. О нет! —

Чтоб быть современнику ясным,
Весь настежь распахнут поэт.

Противоречие? Нестыковка? Нет и еще раз нет. Как и в отношениях влюбленных, в отношениях *читателя стиха* со *стихом Анны Ахматовой* есть некая «заветная черта», которую – «не перейти». Зато все остальное пространство стиха организовано так, чтобы все здесь было *ясным* – и современнику, и читателям в потомстве. Разумеется, быть ясным по-ахматовски не значит быть простым той общедоступной простотой, что хуже воровства. Ясность ее речи подобна не ясному дню, а ясному месяцу в окружении ясочек-звезд. Чтобы при столь специфическом освещении разглядеть еле видные путеводные знаки, с помощью которых проясняется казавшийся темным (а то и зашифрованным) текст, интеллектуальных усилий не требуется. Требуются лишь терпеливое внимание да желание прислушиваться к авторским подсказкам. Четко артикулированным, хотя и произносимым *еле слышным голосом* ахматовской Музы.[40] Взять хотя бы финальное двустишие последней строфы стихотворения «Я именем твоим не оскверняю уст…»: *«А друга моего последний мчал корабль / От страшных берегов пылающей отчизны».* Эти две строки – пример поразительного умения изложить сложнейшие вещи в нескольких словах.

Семь лет назад, в июле 1917-го, Ахматова высокомерно оскорбила Бориса Анрепа, назвав отступником и обвинив в том, что «за остров зеленый отдал, отдал родную страну, наши песни и наши иконы и над озером тихим сосну», хотя Анреп в первых же числах августа 1914-го покинул «остров зеленый», дабы сражаться за честь и свободу родной страны. Он и после Октябрьского переворота в течение многих лет не принимал британское подданство, надеясь, что большевики не удержат власть и можно будет вернуться. Больше того. Единственный из офицеров Южной армии, кавалерийский капитан Б.В.Анреп, пользуясь передышками между боями, с риском для жизни, по ночам со своей отчаянной казачьей командой собирал иконы и предметы культа в разрушенных галицийских церквах, да еще и сумел переправить собранное в Петербург. Об этой стороне фронтовых будней Анрепа А.А. могла бы и догадаться: подаренный ей Борисом большой деревянный крест того же происхождения, что и вывезенные им из Галиции иконы. Но, видимо, не догадывалась, во всяком случае в июле 1917-го не догадывалась. Война была делом мужским, а Анреп, как человек светский,

откровенных разговоров с дамами о делах не затевал. После отъезда Анрепа-отца в Лондон спасенные его сыном реликвии оказались в запасниках Русского музея, о чем в 1924-м Анне Андреевне наверняка уже было известно. Причем из первых рук: в двадцатых годах Николай Николаевич Пунин заведовал там отделом древнерусского искусства. В результате «отступнику» даровали прощение и он снова был возвращен *в друзья.*

Еле слышные ахматовские подсказки позволят предложить гипотетический ответ и на заданный Элен Файнштейн и зависший в безответности вопрос – *что же такое сделал Анреп, что Ахматова не смогла его забыть?* Ничего судьбоносного он, разумеется, не сделал. Не обидел, не предал, не обманывал, уверяя, что любит. Всего лишь ухаживал, как тогда выражались, причем делал это красиво, с размахом. Даже в угрюмом феврале 1917-го сумел раздобыть дефицитные билеты на генеральную репетицию лермонтовского «Маскарада», поставленного Вс. Мейерхольдом. Непредвиденных сюрпризов культпоход в Александринку не обещал, кроме тщеславного удовольствия оказаться в числе избранных. Анна Андреевна кинулась к портнихе за новым платьем… А вот на выходе, в час театрального разъезда, зрителей уже поджидала Судьба («На пороге стоит – Судьба»). По пушкинскому закону, закону *странных сближений,* число, проставленное в билетах на культовый спектакль, вошло в историю России как день Февральской революции, а в творческую биографию Ахматовой как начало (исток) «Поэмы без героя», с которой она не расстанется до конца жизни. Об этом не прямо, а по обыкновению в двух-трех словах сказано в прозе о поэме: «Определить, когда она („Поэма без героя“) начала звучать во мне, невозможно. То ли это случилось, когда я стояла с моим спутником на Невском (после генеральной репетиции „Маскарада“ 25 февраля 1917 г.), а конница неслась по мостовой…»

В этом крошечном отрывке – множество скрытых, но отнюдь не утаенных смыслов. Мейерхольд затеял «Маскарад» еще в 1912-м, в надежде, что управится за два года и покажет пьесу осенью 1914-го, в дни празднования столетия со дня рождения Лермонтова. Война скомкала и юбилей, и театральные планы, и финансы. Однако ни режиссер (Всеволод Мейерхольд), ни художник (Александр Головин) и не подумали в связи с форс-мажорными обстоятельствами упростить и удешевить постановку. Получилось, по воспоминаниям современников, нечто феноменальное, нечто такое, чего на русской сцене не бывало и уже никогда не будет. Февраль отменил и этот праздник. То же самое, кстати, произойдет с Лермонтовым и летом 1941 года.

Подготовленные к столетию гибели поэта издания пролежат без движения до окончания войны. Декорации, костюмы и весь архив Головина пропадут при переправке в Москву из осажденного Ленинграда. Выставка, которую в течение нескольких лет готовили объединенными силами музейщиков всей страны, будет открыта всего один день, затем снята и упакована столь небрежно, что повторить ее уже не удастся.

150-летие рождения (осень 1964 г.) вновь совпадет с поворотным моментом в истории России – «падением» Никиты Хрущева. Об этих мистических совпадениях ныне рассказывают, не таясь, экскурсоводы лермонтовских музеев. Иногда поминают и 19 августа 1991-го, но почему-то то ли не знают, то ли запамятовали, что на скрещенье лермонтовских юбилеев и российских социальных катастроф впервые обратила внимание Анна Ахматова. Давно, еще в феврале 1917 года, после того как история «страны рабов, страны господ» вторично вломилась в посмертную судьбу Поэта.

О том, что «Поэма без героя» берет начало в ареале головинско-мейерхольдовского «Маскарада», свидетельствует и первая ее часть – «Петербургская повесть». Зеркала здесь расставлены по той же системе, что и у Мейерхольда, – для восполнения объема! Арапчата, появляющиеся во дворе Фонтанного Дома в новогоднюю ночь, – оттуда же:

> Видишь, там, за вьюгой крупчатой,
> Мейерхольдовы арапчата
> Затевают опять возню.

Цитируя фрагмент, связующий «Поэму без героя» с мейерхольдовским «Маскарадом», я с умыслом оборвала его на середине. В полном виде он выглядит так: «Определить, когда она („Поэма без героя“) начала звучать во мне, невозможно. То ли это случилось, когда я стояла с моим спутником на Невском (после генеральной репетиции „Маскарада“ 25 февраля 1917 г.), а конница неслась по мостовой, то ли когда я стояла уже без моего спутника на Литейном мосту, в то время, когда его неожиданно развели среди бела дня (случай беспрецедентный), чтобы пропустить к Смольному миноносцы для поддержки большевиков (25 октября 1917 г.). Как знать?»

Существует и другой вариант того же сюжета, тоже авторский: «25 октября я жила на Выборгской стороне у своей подруги Срезневской. Я шла оттуда на Литейный, и в тот момент, когда я очутилась на мосту, случилось нечто беспримерное: среди бела дня развели мост. Остановились трамваи, ломовики,

извозчики и пешеходы. Все недоумевали».

Комментаторы, правда, утверждают, что 25 октября 1917 года Литейный мост не разводили. Но даже если неурочный развод произошел в какой-то другой смежный день, в памяти А.А. начало «Поэмы без героя», конец юности и ужас русских революций, Февральской и Октябрьской, слились неразделимо:

На разведенном мосту
В день, ставший праздником ныне,
Кончилась юность моя.

Разлом судьбы на *до* и *после всего* по воле «величайшего романиста мира Случая» (Оноре де Бальзак) свершается в два захода: первый (25 февраля) в присутствии Анрепа, второй (25 октября) в присутствии его отсутствия. О том, что в этот роковой для России день она стояла на разведенном мосту *уже без спутника,* Ахматова упоминает как бы между прочим, но это особый фирменный прием, назначение которого намекнуть, подсказать, что отсутствующий спутник упомянут не всуе.

В последний свой приезд, в октябре 1917-го, Борис Васильевич уже не водил Анну Андреевну по ресторанам и не тратился на лихачей. Они либо бродили по одичавшим улицам, либо коротали вечера в семейном кругу. Тогда он наконец-то и познакомил А.А. со своими домочадцами. Огромный собственный дом Анрепов находился на Лиговском проспекте. По этому проспекту и далее по Литейному мосту Борис Васильевич провожал Анну к Срезневским, на Выборгскую сторону.

После его отъезда, а он уехал, напоминаю, накануне переворота – *последним кораблем,* ей, видимо, захотелось перечесть по шагам его маршрут – пройти тем же путем, каким Анреп возвращался от Срезневских, не застав ее дома. И не смогла этого сделать…

В июне 1916-го, когда роман с заморским гостем был еще в зените, Ахматова начерно обозначила формат, в который он, может быть (как знать?), впишется в состав ее судьбы. И творческой, и женской:

Я ведаю, что боги превращали
Людей в предметы, не убив сознанья.
Чтоб вечно жили дивные печали,
Ты превращен в мое воспоминанье.

Боги хорошо постарались, чтобы окрест *предмета* ее

увлечения сгрудилось слишком много печалей, и отнюдь не дивных. Незадолго до смерти Ахматова вернется к этому сюжету: «Всего прочнее на земле печаль…»

Но так вышло в конце, в итоге, в результате. Начало же, в марте 1915-го, долгодействующих печалей не предвещало. В том марте А.А. и в вещем сне не приснился бы разведенный средь бела дня мост. Мост – вещий знак, мост – символ насильственного разъединения и вечной разлуки – с любимым, с любовью, с юностью, со всей прежней жизнью. Начало сулило живую жизнь и даже земную любовь. Об этом с почти «бесстыдной» откровенностью, нараспашку, «рассказали стихи» – знаменитые, зацитированные, но до сих пор не отрефлектированные «Ждала его напрасно много лет…».

Авторская датировка этого шедевра – 1916. Комментаторы утверждают, что дата мнимая, что стихотворение написано в 1918-м, поскольку здесь говорится, что встреча с Анрепом произошла три года назад. На мой же взгляд, это как раз тот редкий случай, когда Ахматова не по обыкновению точна: в 1918-м страстно-ликующих стихов к Анрепу она уже не писала.

Что касается временных реалий, то в этой песне торжествующей крови смысловой нагрузки они не несут: и *апрельский тонкий лед,* и *тому три года* ловчее укладываются в счастливый найденный размер, нежели *мартовский лед* и *год назад.* Короче, по моему убеждению, стихи написаны в промежутке между апрелем 1916-го и маем того же года, когда Анна Андреевна со дня на день ждала приезда Анрепа (уезжая в середине февраля 1916 года, он обещал вернуться через пять, максимум шесть недель).[41]

Прочитаем же этот текст внимательно, и не отдельно, а в связке с малоизвестным стихотворением раннего Блока – «Вербная суббота».

Нынче другу возвратиться
Из-за моря – крайний срок.

Блоковская «Вербная суббота» – не только красивый литературный *задник,* на котором Ахматова разыгрывает сказку о черном кольце. В этом стихотворении спрятан ответ на вопрос, до сих пор смущающий и биографов ее, и комментаторов, – откуда взялась в «Поэме без героя» тема *Гостя из будущего.* Откуда? Ну, конечно, из блоковской «Вербной субботы»! Это у него в Вербную субботу в сонном, будто заколдованном московском царстве появляются влюбленные «заморские» гости, приехавшие не только из-за моря, но еще и из будущего – *из «поздних веселых*

времен».

Цитирую оба текста, выделяя курсивом строки, связанные по принципу переклички, в отношении: тема и вариация.

Анна Ахматова

Ждала его напрасно много лет.
Похоже это время на дремоту.
Но воссиял неугасимый свет
Тому три года в Вербную субботу.
Мой голос оборвался и затих —
С улыбкой предо мной стоял жених.

А за окном со свечками народ
Неспешно шел. О, вечер богомольный!
Слегка хрустел апрельский тонкий лед,
И над толпою голос колокольный,
Как утешенье вещее, звучал,
И черный ветер огоньки качал.

И белые нарциссы на столе,
И красное вино в бокале плоском
Я видела как бы в рассветной мгле.
Моя рука, закапанная воском,
Дрожала, принимая поцелуй.
И пела кровь: блаженная, ликуй!

Александр Блок

Вечерние люди уходят в дома.
Над городом синяя ночь зажжена.
Боярышни тихо идут в терема.
По улице веет, гуляет весна.

На улице праздник, на улице свет,
И свечки и вербы встречают зарю.
Дремотная сонь, неуловленный бред —
Заморские гости приснились царю…

Приснились боярам… Проснитесь, мы тут…
Боярышня сонно склонилась во мгле…
Там тени идут и виденья плывут…
Что было на небе – теперь на земле…

Весеннее утро. Задумчивый сон.

Влюбленные гости заморских племен
И, может быть, поздних, веселых времен.
……

Прозрачная тучка. Жемчужный узор.
Там было свиданье. Там был разговор…
И к утру лишь бледной рукой отперлась,
И розовой зорькой душа занялась.

Тщательное вслушивание в переборы и перезвоны переклички двух поэтов – задача специальной литературоведческой статьи, я же отмечу лишь некоторые, не требующие тонких доказательств смысловые, содержательные соответствия («сигнальные звоночки»).

Первое. В «Записных книжках», для себя, Ахматова пишет, что познакомилась с Анрепом в Великом посту. В стихах и в разговорах с Лукницким, явно оглянувшись на Блока и приглашая и нас оглянуться, уточняет: не просто в Великом посту, а в Вербную субботу.

Второе. Лейтмотив блоковской «Вербной субботы» – *дремотная сонь* – проясняет умысел второй строчки первой строфы ахматовского рассказа о чудесной, как бы предсказанной встрече с суженым в Вербную субботу. Без подключения блоковской «Вербной субботы» к этой строке («похоже это время на дремоту») она кажется проходной, подрифменной *(дремоту – субботу),* истинности страстей и правдоподобию обстоятельств не отвечающей (чего-чего, а «дремотной сони» в реальной жизни Анны Ахматовой отродясь не было).

Третье. По «Вербной субботе»: «Что было на небе – теперь на земле» – разрешается и любовная коллизия ахматовской вариации на заявленную Блоком тему: девичий сон (мечта, греза, предчувствие) оказывается сном в руку:

С улыбкой предо мной стоял жених…

Боярышня у Блока впускает заморского гостя в свою светелку, он выходит оттуда лишь на рассвете. То же и у Ахматовой. У сцены встречи с женихом откровенно чувственный (грешный!) окрас, ликует не душа ее лирической героини, а кровь:

Моя рука, закапанная воском,
Дрожала, принимая поцелуй,
И пела кровь: блаженная, ликуй!

Встреча с фон Анрепом была возведена в ранг Предназначенного судьбой еще и потому, что Борис Васильевич и в самом деле неожиданно для А.А. оказался в некотором роде «царевичем». *«Царевичем* из поэмы «У самого моря», – записывает с ее слов Павел Лукницкий, – А.А. предсказала себе настоящего царевича, который явился потом". И не когда-то «потом», а в Вербную субботу, как и в поэме:

А вечером в Вербную субботу,
Из церкви придя, я сестре сказала:
«На тебе свечку мою и четки,
Библию нашу дома оставлю.
Через неделю настанет Пасха,
И мне давно пора собираться, —
Верно, царевич уже в дороге,
Морем за мной он сюда приедет».

Но почему А.А. называет Анрепа не просто царевичем, а «настоящим царевичем»?

С помощью приводимых Аннабел Фарджен фактов и эта загадка разъясняется. Оказывается, согласно домашней легенде Анрепы стали набирать силу, после того как Екатерина Великая выдала за одного из молодцов небогатого служилого шведско-эстонского рода фон Анрепов свою внебрачную дочь, присовокупив к свадебным подаркам имения в Ярославской и Самарской губерниях. Кроме того, по капризу судьбы царицын прапраправнук прожил отроческие годы в настоящем царском дворце, в том самом, который Потемкин выстроил для его прапрапрабабки в Харькове и где за сто лет ничего не изменилось, не исчезли даже золотые обеденные тарелки с алмазами и рубинами.

Не думаю, что об этой «тайне рода» Ахматовой поведал сам Анреп, он не придавал никакого значения своим «аристократическим корням». Скорее всего проболтался Недоброво, про которого злые языки говорили, что он женился не на Любови Александровне Ольхиной, а на ее ренессансной мебели. Своими глазами золотых тарелок с алмазами и рубинами Николай Владимирович не видел – у семейства Недоброво в Харькове была дурная репутация, и матушка Анрепа не разрешила сыну приглашать мальчика из вульгарной семьи в их почтенный дом. Потом, в Петербурге, когда Николай Владимирович заделался истинным комильфо, этот конфликт

рассосался, Анреп-старший даже помог приятелю сына устроиться на службу в секретариат Госдумы. Но раны обиды и зависти первой юности не забываются…

Все вышеизложенное вовсе не означает, что увлечение Анны Андреевны Борисом Анрепом и те тридцать лирических новелл, которыми оно так счастливо разрешилось, было сугубо литературным проектом. Слишком уж отличался этот «лихой ярославец», этот приплывший из-за моря «настоящий царевич» от окружавших ее «пленников». Формально принадлежа к космополитической богеме, Анреп при всем своем бонвиванстве был настоящим мужчиной, то есть человеком с врожденным чувством ответственности если не за слова, то за поступки. В народе про таких говорят: за его спиной как за каменной стеной. Надежной мужской спины у Анны никогда не было – ни в отцовом, ни в мужнином доме, а ей эта стена ой как была нужна! Нужнее, чем несравненный дар свитских ее кавалеров вести тонкие любовные игры по принципу: ты мне крючок, а я тебе петельку…

Примеров тому в книге снохи Б.В.Анрепа множество. Приведу самый поразительный. Из предпоследней командировки из Англии в Петербург Б.В. по просьбе приятеля вывез в Лондон и устроил на службу в Русский Комитет дальнюю его родственницу, молоденькую девушку по имени Маруся Волкова. Девица, которую Анреп увидел впервые на морском вокзале, оказалась прехорошенькой, а путь долгим… Банальнее не придумаешь? Не банальное началось чуть позже. Когда, после Октября, комитет расформировали, Маруся осталась без работы – одна, в чужом городе, без языка, без профессии. Анреп, не видя иного выхода, поскольку и сам оказался безработным, привел ее в свой дом. Так она при нем и осталась. На всю оставшуюся жизнь. Хелен, когда дети подросли, нашла себе другого, более удобного супруга. Анреп после тщетных попыток сохранить семейный очаг впал в такое уныние, что и сын, и невестка стали уговаривать его жениться на одной из своих молоденьких помощниц. Борис, поколебавшись, отказался, а огорчившейся снохе сказал всего четыре слова: «А как же Маруся?» От чернобровой Марусиной прелести к той поре уже ничего не осталось, она была тяжело больна – и физически, и психически.

Словом, если что и потянуло Анну Андреевну к «чужому человеку», то отнюдь не бесплотная мечта о влюбленном царевиче и «трубадурской дальней любви, недоступной и потому вечно желанной». Может быть, это вообще самый земной, самый «телесный» и самый нелитературный из ее романов. Осип Мандельштам утверждал: поэзия Ахматовой состоит в кровном

родстве с русской прозой XIX века. Не уверена, что эта мысль исчерпывает проблему. «Поэма без героя», к примеру, в жанровом отношении имеет куда больше свойства с «Опавшими листьями» Розанова, чем с классическим русским романом. Однако ранние ее книги, и прежде всего тридцать стихотворений к Анрепу, если собрать их под одной обложкой и расположить в хронологическом порядке, и впрямь можно рассматривать как психологический роман в стихах. И притом роман, который, имея дело с незавершенной действительностью, не имеет конца. Вернее, предлагает четыре возможных варианта продолжения.

Вариант первый. По стихотворению «Ты – отступник».
Он эмигрирует, она остается и осыпает его проклятьями:

Так теперь и кощунствуй и чванься,
Православную душу губи,
В королевской столице останься
И свободу свою полюби.

Вариант второй.
Он уезжает и зовет ее с собой:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: «Иди сюда,
Оставь свой край глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда».

Она наотрез отказывается:

Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Вариант третий.
Он уезжает, она остается. И вдруг, спохватившись, устремляется вслед за ним:

Просыпаться на рассвете
Оттого, что радость душит,
И глядеть в окно каюты
На зеленую волну,

Иль на палубе в ненастье,
В мех закутавшись пушистый,
Слушать, как стучит машина,
И не думать ни о чем,
Но предчувствуя свиданье
С тем, кто стал моей звездою,
От соленых брызг и ветра
С каждым часом молодеть.

Вариант четвертый.

Он эмигрирует. Она остается, убедившись, что он ее не любит, но через некоторое время тоже оказывается в иноземной столице:

Это просто, это ясно,
Это всякому понятно,
Ты меня совсем не любишь,
Не полюбишь никогда.
Для чего же так тянуться
Мне к чужому человеку,
Для чего же каждый вечер
Мне молиться за тебя?
Для чего же, бросив друга
И кудрявого ребенка,
Бросив город мой любимый
И родную сторону,
Черной нищенской скитаюсь
По столице иноземной?
О, как весело мне думать,
Что тебя увижу я!

Какой из четырех вариантов ближе к реальному? Думаю, второй. Во всяком случае, Анреп вполне мог устроить Анне Андреевне отъезд в Лондон. Больше того, как раз в эти дни А.А. получила от мужа письмо из Парижа, в котором тот писал: «Я остаюсь в Париже, в распоряжении здешнего наместника от Временного правительства. Через месяц, наверное, выяснится, насколько мое положение прочно. Тогда можно будет подумать и о твоем приезде сюда, конечно, если ты сама этого захочешь».

Ахматова колебалась – вернувшийся еще летом из Франции приятель деверя рассказал жене по секрету, что у Гумилева в Париже очередная высокая любовь к русской парижанке – девушке с газельими глазами, естественно, без взаимности:

девица – невеста богатого американца. Через день секрет стал достоянием всех обитателей Слепнева.

Анна, хотя и не придала неприятной новости серьезного значения, уехала в Петербург. Там это письмо из Парижа и получила… И тут же переслала его свекрови – как Анна Ивановна решит, так она и поступит. Но письмо шло так долго, что решать, ехать или не ехать, уже не имело смысла: кончалась третья декада октября 1917 года…

Интермедия шестая (октябрь 1917 – сентябрь 1921)

Я улыбаться перестала,
Морозный ветер губы студит,
Одной надеждой меньше стало,
Одною песней больше будет.

Анна Ахматова

После отъезда Анрепа Анна с ужасом осознала, что осталась совсем одна. Недоброво в Крыму, и от него ни писем, ни телеграмм. Гумилев за границей и тоже не подает о себе вестей. Царскосельский дом продан, свекровь с Левушкой пока еще в Слепневе, но там неспокойно. Мужики взяли за обыкновение врываться в дом, грозя пустить петуха, дабы выкурить барское отродье: дескать, на наших костях ваши хоромы стоят.[42]

Шурочка в серьезность угроз не верила. Грозятся, чтоб не помешали господский луг выкосить. Не напугал ее даже рассказ молоденького мичмана, товарища Коли-маленького, о кронштадтских ужасах весны семнадцатого года.

Двадцать шестого февраля в Кронштадте, рассказывал мичман, был большой парад. Встречали нового, назначенного Временным правительством начальника порта адмирала Вирена. Двадцать седьмого Вирен приказал выдать из флотского НЗ продукты для детей портовых рабочих. А на следующий день в Морском собрании адмирал давал ужин офицерскому составу. Матросы в белых перчатках и белоснежных куртках ловко курсировали между столиками, обнося гостей жареными фазанами и сибирской нельмой. Вино соответствующее, из царских погребов. Мичман, отвыкший от изобилий, и пил и ел за четверых. Утром его растолкал знакомый боцман. Дескать, ночью матросы ворвались во дворец Вирена, выволокли адмирала раздетым на мороз и, надругавшись, пристрелили. А на судах и пуль на офицерье не тратят – живьем под лед спускают. Боцман самосуды не одобрял, признался, что собрался тикать, к своим, на Урал. Мичман дал боцману денег, и часа через два тот приволок узел штатской одежды: делай-де, барин, ноги, береженого Бог бережет.

Шурочка ахала, но удирать из деревни не собиралась. Кронштадт не Слепнево, мужиков здесь раз-два и обчелся. Анна Ивановна молчала, но когда мальчики поднялись к себе, сказала:

завтра же начнем потихонечку перевозиться в Бежецк. Лишнего не брать, только памятное и необходимое. А невестку отослала в город. Авось раздобудет денег.

С деньгами было туго. С жильем еще хуже. В газетах и журналах, даже в тех, что еще не закрылись, гонорар не платили. Срезневский, конечно, и вида не подает, что подруга жены их стесняет. Но сколько можно злоупотреблять благородством и добротой? В смятении Анна бродила по Питеру в надежде встретить кого-нибудь из знакомых и никого не встречала. Все знакомые или бывали в таких местах, куда она отродясь не заглядывала, либо пережидали смуту в собственных квартирах. Порывшись в памяти, как в записной книжке, выяснила, что никогда не знала домашнего адреса даже Мандельштама. Осип нашел ее сам и стал регулярно бывать у Срезневских. Анна обрадовалась. У Мандельштама было странное свойство: его мозг вырабатывал какой-то особый вид энергии, которая передавалась собеседнику беспроволочно. В его присутствии скорость обращения крови удваивалась. Вскоре, однако, закручинилась, заметив, что Осип подозрительно регулярно заявляется к обеду. Квартира у Вали казенная, при клинике, и Вячеслав Вячеславович столуется дома в одни и те же, больничным распорядком установленные часы. Отобедав, Мандельштам отзывал в сторону хозяина и шепотом просил одолжить немного денег, на которые тут же, едва они оказывались на улице, брал извозчика. В отличие от Анны он всегда знал, где и в котором часу состоится поэтический вечер и в какой газете еще не отказываются печатать стихи. Наблюдая, как ее гениальный друг глотает, не жуя, все, что Валерия Сергеевна мечет на стол, Анна с грустью и жалостью вспоминала их довоенные ленчи по-русски в маленьком ресторанчике на Васильевском острове. Николай заказывал, не заглядывая в меню, всегда одно и то же: мясо с кровью и сладкое. Осип привередничал, ел медленно, смакуя, не скупился на чаевые и гардеробные и никогда не позволял Гумилеву заплатить за троих…

Вернувшись как-то далеко за полночь, она заметила, что на кухне все еще горит свет. Валя, с опрокинутым лицом, сидела на полу перед грудой мерзлой и гнилой картошки. На следующий день, сказав, что обедать не будет, потому как спешит по неотложному делу, Анна Андреевна перехватила Осипа на подходе к дому и, заморочив ему мозги, намекнула, что им не следует часто встречаться ни на людях, ни у Срезневских. Дабы не дать сплетникам «материал для превратного толкования наших отношений». Мандельштам, и в мыслях ничего подобного не державший, сильно обиделся, перестал заходить на

Боткинскую, а вскоре, не простившись, исчез из Петербурга. Но прежде чем исчезнуть (переехал в Москву и поступил на службу в газету левых эсеров «Знамя труда») в конце ноября 1917 года, успел затащить Аннушку на очередной митинг и даже уговорил выступить. Ахматова прочла «Молитву», явно не угадав настроение митингующих. Толпа требовала хлеба и свободы печати, а она читала: «Дай мне горькие годы недуга…»

Ей не шикали, не свистели, но смотрели с таким насмешливым удивлением, что Анна, не оглядываясь на Осипа, стала с яростью продираться сквозь толпу. Толпа была плотной, во гневе она влепила кулак в преграждающую проход спину. Спина обернулась и воссияла.

С обладателем спины Вольдемаром Казимировичем Шилейко Анна была знакома давным-давно. Гумилев представил его жене вскоре по возвращении из Африки в 1911-м. Николай в приятельских отношениях почти со всем литературным Петербургом, но настоящих друзей у него только двое – Миша Лозинский и этот, Шилей. Лозинского Анна приняла сразу и навсегда. А Вольдемар ее раздражал. Она сердилась на себя за это раздражение, зная, что злится главным образом потому, что даже с ней он разговаривал, перепрыгивая с языка на язык – с латыни на немецкий, с немецкого на иврит. Была и еще одна причина, тайная, о которой никто, кроме Вали и Николая, не знал: она с детства боялась людей с нестандартной, как выражалась Валечка, психикой. Сама Анна *это* никак не называла, она *это* чуяла. Потом, когда Николай написал противные стихи про ведьму с Лысой горы, сравнив ее с березой, подрытой над *очастью,* нашлось и слово. Таинственным словом *очасть* в тех местах, где у Гумилевых была рязанская дослепневская дача, называли черную, заросшую гиблым кустарником топь. Оступишься, и затянет. С годами страх не прошел, наоборот, усилился, спрятался куда-то в живот. Если, забежав на самовар к Ольге Судейкиной, она заставала там Хлебникова, молчком забивалась в дальний угол. Скукоживалась, когда в Башне, наездами из Москвы, витийствовал Андрей Белый. Объясняться на сей счет с мужем смысла не было, и так знала, что Гумилев скажет: гениальность – уже ненормальность. Шилея Николай Степанович считал гением. В чем, кроме знания множества языков, выражалась гениальность, ни муж, ни Михаил Леонидович объяснить ей не могли. Да, вундеркинд, да, полиглот, а сверх того? Однажды, засидевшись до рассвета в «Собаке», разговорилась с Витенькой Шкловским. Шкловский Шилея не жаловал и с удовольствием сообщил, что из университета гений уволился не по болезни, как уверяет; его-де просто-напросто выставили за неуспеваемость, за длиннющие, аж

с первого курса, хвосты. Анна слегка обиделась, все-таки Вольдемар был своим, а Шкловский чужим, а обидевшись – отбрила, вспомнив чью-то пойманную на лету фразу: «Можно не любить Шилейко, но в остроумии ему не откажешь». Шкловский ехидно скривился: «Остроумие – это маргаритки, которые растут у подножия эверестов гениальности. А мы что имеем? Маргаритки в наличии, эверестов что-то не вижу». К тому же Анне Андреевне решительно не нравились и шилейковские стихи, и упорство, с каким Вольдемар разносил их по дружественным редакциям. Гумилев и Лозинский были другого мнения: «Высокое косноязычье тебе даруется, поэт!» Не смея спорить со знатоками прозой, Анна попыталась сделать это стихами. Вырезала из гумилевского пафосного преувеличения – *высокое косноязычье* – фальшивый эпитет *высокое.* Получилось так:

Косноязычно славивший меня
Еще топтался на краю эстрады.
От дыма сизого и тусклого огня
Мы все уйти, конечно, были рады.

Потом устыдилась. Вспомнила, как Валя, придя откуда-то, где Корней Чуковский читал лекцию о Чехове, восхищаясь, рассказывала:

– А знаешь, Анечка, почему Чехов отвечал на все письма? Потому что у него в Таганроге был любимый учитель, которому Антон Павлович, тогда еще юнец, сын разорившегося лавочника, протянул руку, а тот не ответил на рукопожатие. И ему было так больно…

Сделать Шилею *так больно* Анна не хотела и прибавила еще две строфы:

Но в путаных словах вопрос зажжен,
Зачем не стала я звездой любовной,
И стыдной болью был преображен
Над нами лик жестокий и бескровный.

Люби меня, припоминай и плачь.
Все плачущие не равны ль пред Богом.
Прощай, прощай! меня ведет палач
По голубым предутренним дорогам.

…Сейчас, на площади, под дождем и ветром лицо Шилея не показалась ей жестоким. Вцепившись в рукав его вонючей

солдатской шинели, она с радостью пошла с ним, оступаясь в снеговую кашу, не решаясь даже попросить, чтобы шагал не так широко. Нырнули в арку на Литейном и очутились во внутреннем дворе Фонтанного Дома. Оказалось, что именно здесь, в правом садовом флигеле шереметевского парадиза, находится его берлога, пожалованная еще в ту пору, когда Шилей был домашним учителем младших сыновей графа. Про берлогу Анна что-то слышала от Лозинского, но подробности пропустила мимо ушей. Шилей невыносимо долго возился с ключом, она промокла до нижнего белья. Неужели и здесь, как и всюду, не топят? К счастью, тепла в секретном жилище Казимировича оказалось достаточно. И какого тепла! Сухого и вкусного. Дворец отапливался по-старинному, из подвалов, откуда по вделанным в стены трубам горячий воздух разбегался по всем его залам, комнатам и закоулкам.

Кроме потрясающего тепла в берлоге обнаружилось кофе. Очень много кофе. И тоже графских кондиций: уходя на фронт, Вольдемар устроил тайник, набив его кофейными пачками, купленными по дешевке у дворцового буфетчика. Хвастаясь своим богатством, Шилей обнаружил в загашнике еще и початую бутылку коньяка. Анна развеселилась: не дом, а шумерийская кофейня, и с любопытством наблюдала за ее хозяином. Со спиртовкой Шилейко обращался ловчее, чем с ключами и прочими бытовыми предметами. Осторожно разлив и кофе, и коньяк по неожиданно стильным, от графских щедрот, чашечкам и коньячным рюмкам, зажег настольную лампу. И снял очки. Лицо без очков выглядело молодым и почти красивым.

…Часы пробили полночь. Анна забеспокоилась: Срезневские будут волноваться. Записав телефонный номер, Шилейко сбегал к истопникам, дозвонился Вале и вернулся с кульком горячей печеной картошки и шматком пересоленного прогорклого сала. Снова запалили спиртовку и вытрясли в кофе остатки коньяка. К утру снегодождь перестал. Вышли вместе. Шилей в бега по делам, Анна – на Боткинскую, к Вале. Звонить она ему не разрешила. Дескать, если захочется, приду сама.

Про то, что Шилей, демобилизованный по болезни, в Питере, Анна Андреевна узнала от Лозинского еще в сентябре 1917-го, когда заходила к нему в Публичную библиотеку за авторскими экземплярами «Белой стаи». Забирала сборники в два захода, в конце сентября и в начале октября. По просьбе Михаила Леонидовича подписала «Стаю» и для Шилея. Экземпляр этот сохранился в архиве Лозинских:

Владимиру Казимировичу
Шилейко

В память многих бесед
(Белая стая)
с любовью
Анна Ахматова

… И жар по вечерам, и утром вялость,
И губ растрескавшихся вкус кровавый…
Так вот она, последняя усталость,
Так вот оно, преддверье Царства Славы!

7 октября 1917
Петербург

Автор публикации И.В.Платонова-Лозинская пишет, что сборник с вышепроцитированной дарственной был получен Шилейко. На мой же взгляд, по неизвестной нам причине сборник до адресата не дошел, и через четыре месяца, 13 февраля (по новому стилю) 1918 года, Вольдемар Казимирович получил в подарок другой экземпляр «Белой стаи» с другой, куда более выразительной дарственной: «Моему солнцу. Анна».

Судя по содержанию второй дарственной, можно, думаю, с достаточной вероятностью предположить, что к февралю 1918-го Шилейко добился у Анны Андреевны согласия на брак – случайные поклонники таких солнечных признаний никогда не удостаивались. Даже Анреп. О нем сказано гораздо сдержанней: «Ты – солнце моих песнопений». В песнопениях, адресованных Вольдемару Казимировичу, с самого начала и до самого конца их романа ни солнца, ни ясной погоды не будет.

И полугода не прошло, как Анна переместилась с Боткинской улицы в шумерийскую кофейню, а от того, что померещилось в дождливый ноябрьский вечер, и следа не осталось. Эротический гипноз («проклятый хмель») полегоньку улетучился, и она пришла в оторопь от того, что по глупости наделала, ибо ни разводиться с Гумилевым, ни сочетаться законным браком с Шилейкой не собиралась, но он, хитрец, поставил ультиматум: если дашь слово, буду свою чахотку лечить и путевку на юг в санаторию выкуплю, не дашь – не поеду. Кивала ласково, да-да, и по головке гладила, а сама посмеивалась. Интересно, что он сделает, когда она, после юга, скажет: думала я, Володенька, думала и вот что решила: сначала с прежней, венчанной женой разведись. И чтобы справка с печатью была. А там видно будет.

Человек полагает, Бог располагает. Еще в декабре, в их вроде бы медовый месяц, после дикой вспышки ревности Анна сочинила для Шилея жалкие, послушные стихи. Перебеливать не решилась: авось уладится. Не уладилось. Приступы грубой, ничем

не мотивированной ревности стали повторяться, причем с какой-то странной, пугающей регулярностью. И становились все грубее. И длились все дольше. Уходя, Шилей запирал ее на двойной поворот ключа. Анна пробовала шутить: зря, мол, стараешься, я ведь все равно в такую холодину никуда не пойду. И гнать будешь, с места не сдвинусь. Даже к Срезневским не побегу. Они теперь сами на кухне живут, в столовую по праздникам гулять ходят. Валя еще осенью все поленья пересчитала: если только плиту раз в сутки разжигать, до весны, может, и хватит.

Шутка подействовала, но когда Анна, уже в марте, решилась хотя бы побродить по саду, уж очень хорош был день, то старенького своего котика на вешалке не обнаружила. Разозлившись, она старательно перебелила те декабрьские вирши и сунула их в рабочую тетрадь своего тюремщика.

Ты всегда таинственный и новый,
Я тебе послушней с каждым днем.
Но любовь твоя, о друг суровый,
Испытание железом и огнем.

Вечером в тот день Вольдемар не работал, а утром… Железом и огнем, говоришь? Ну, что ж! И железо будет, и огонь.

Зажег свечу, прихватил щипцами для снятия нагара злополучный листочек и, осторожно поворачивая, сжег, сдул пепел, рукавом рубахи протер стол и утонул в своих тетрадках. И так всю неделю. Кофе теперь варился на одного, правда, печеный картофель и полумерзлые луковицы, которыми исправно снабжали графского учителя сердобольные истопники, честно делил пополам и приносил ей в кровать на маленьком медном подносе. От лука Анну воротило, картошку же съедала сразу, прямо с перепачканной золой шкуркой. Еще один такой пыточный день, и она бы сдалась. К счастью, первым сдался Шилей. Вытащил из кровати, заставил одеться, силком усадил за свой стол, на котором уже стояла огромная кружка горячего кофе, и, еле дождавшись, пока она справится с ненормированной порцией, стал диктовать с листа какой-то неведомый ей античный перевод. Вечером они даже прошлись по Невскому. Вольдемар был в ударе – острил и как бы между прочим сообщил, что в Эрмитаже его наконец-то берут в штат и в университете наклевывается. Нынешние товарищи на дипломы плюют, им знания подавай. Вот увидишь, лет через пять ты будешь женой многоуважаемого профессора, а через десять – академика. Признайся как на духу: ты же всегда чуток завидовала Валерии Сергеевне. Анна с удовольствием подыграла:

– Профессоршей так профессоршей, но завтра, учти, я пойду к Вале, у нее все мои летние вещи, нестираные и неглаженые, так что вечером не жди, может, ночью в больнице помыться хорошенько удастся, а то пурзуюсь, как бродяжка, под рукомойником.

Попрошайчивать у больничных мойщиц не пришлось, мылись дома: в клинике порушили какой-то деревянный забор и сделали сотрудникам весенний подарок. И даже мыло у Вали нашлось – довоенное, французское.

Когда Анна, расчесав волосы, сушила их полотенцем, Валя сказала:

– Утром Гумилев заходил, на минутку, только вчера приехал, обещал вечером позвонить, я ему соврала, что ты все еще у нас живешь. Что же теперь будет?

– Когда позвонит, тогда и решу.

Гумилев не позвонил – ни вечером, ни утром. Позвонил Шилей. Анна к телефону не подошла. Валя врала весело и легко:

– У нас банный день, Володичка, Аннушка голову моет, потом стирать будем, если воды хватит.

Воды, разумеется, не хватило.

– Если до десяти не придет, разведусь.

Валя ахнула:

– Да что ты, Анюта, разве так можно!

– Можно – не можно…

Гумилев объявился в половине двенадцатого и не придумал ничего лучшего, как с порога объявить: пришел-де, чтобы передать привет и презент от Анрепа – прекрасно сохранившуюся монету времен Александра Македонского. Профиль, отчеканенный на монете, был женский и чем-то напоминал ахматовский. Кроме монеты Борис Васильевич, провожая, всучил Гумилеву еще и «шелковый матерьял на платье». Монету Николай Степанович довез в целости и сохранности, а сверток с «шелковым матерьялом» сунул в первый же ящик для уличного мусора. Ни о чем не спрашивая и ничего не объясняя, Анна Андреевна ледяным голосом попросила у мужа согласие на официальный развод.

Валерия Сергеевна в своих воспоминаниях рассказала об этом событии крайне лаконично: только факты, без сопутствующих соображений:

«…Сидя у меня в небольшой темно-красной комнате, Аня сказала, что хочет навеки расстаться с ним. Коля страшно побледнел, помолчал и сказал: "Я всегда говорил, что ты совершенно свободна делать все, что хочешь". Встал и ушел».

В дневнике П.Н.Лукницкого зафиксирована более

пространная версия, из которой следует, что Николай Степанович все-таки спросил: «Ты выйдешь замуж? Ты любишь?» А.А. ответила: «Да». – «Кто же он?» – «Шилейко». Николай Степанович не поверил: «Не может быть. Ты скрываешь, я не верю, что это Шилейко». Анна Андреевна повторила: да, замуж, да, за Вольдемара Казимировича. Обескураженный Гумилев тут же ушел, хотя Валя уговаривала остаться: с набережной слышалась пальба. Утром, однако, заявился как ни в чем не бывало. Видимо, заподозрил, что жена куражится, наказывает за парижские грехи, а заодно, задним числом, за Татьяну Адамович и Ларису Рейснер. Был весел, достал из внутреннего кармана плаща букетик мятых подснежников. Включившись в игру, Анна предложила проверить сказанное у жениха. Трамваи отсутствовали, шли пешком. Всю дорогу дурачились. Гумилев предлагал себя в шаферы, Анна обещала, что пригласит на свадебный пир, если он раздобудет фунт довоенного шоколада.

Шилейки дома не оказалось. Сели на скамейку, закурили. Гумилев запрокинул голову:

– Как ты думаешь, здешние липы ровесницы наших, царскосельских, или старше?

Анна, впервые за горькие месяцы берложного пленения, огляделась. И впрямь страшно похоже на Царское! И дворец, и деревья, и овал внутреннего двора…

Возвращавшийся Шилей их не заметил. Анна его окликнула. О чем друзья-соперники говорили, ни Гумилев, ни Шилейко ей не доложили, да Анна и не допытывалась. Вольдемар стал шелковым, не зарычал, когда объявила, что теперь ей приличней пожить у Срезневских и чтобы он там, пока она не позовет, не появлялся. Согласился и на это.

Однажды Анна сама выбралась на Фонтанку. Почки на липах уже проклюнулись, пели соловьи. Посидела на *той* скамейке, но в берлогу не торкнулась. Не заходил и Гумилев, только звонил, жаловался, что занят добыванием новых большевистских денег. Как только добуду, поедем в Бежецк. Деньги добылись к июню, в июне на Троицу и поехали. Слепнева больше не было, то есть пока еще было, но уже числилось не владением господ Гумилевых, а общенародным достоянием. Общее – значит ничье. И недели после декрета не прошло, а от дворянского гнезда остались только голые стены. Счастье, что Анна Ивановна на вырученные за царскосельский дом деньги успела купить жилье в Бежецке.

Город оказался уютным и вишневым, походил на большую деревню. Сады и огороды начинались сразу же за центральной почтовой площадью. Вишни еще только завязались, и дрозды,

тощие и взъерошенные, дрались за место у лучшей лужи, совсем как в Слепневе.

Гумилев про Шилейку не спрашивал, спросил про Модильяни и того человека – первую ее отчаянную влюбленность… Когда спрашивал, так волновался, что она не посмела соврать. О разводе решили пока ничего Анне Ивановне не говорить. И только утром, после завтрака, когда Левушка, проснувшись, рассматривал привезенную отцом из Англии диковинную игрушку, а они глядели на него, Николай внезапно поцеловал Анне руку и спросил: «Зачем ты все это выдумала?»

Через несколько дней после возвращения в Питер Гумилев, заглянув к Срезневским, сообщил: думаю-де жениться. Валерия Сергеевна решила, что Коля шутит: зачем ему, бродяге, новый хомут? Оказалось, не шутит и уже сделал официальное предложение Анне Николаевне Энгельгардт, двадцатилетней, очень хорошенькой, но, как вскорости выяснилось, препустейшей барышне, глупой, упрямой и самонадеянной. Ахматова, узнав об этом, столь же поспешно узаконила свою связь с гениальным ученым Шилейко.

Зачем она это сделала? А чем, кроме вранья про внезапную любовь, можно обелить, припудрить и нарумянить и тем вроде бы оправдать – не перед Богом и совестью, хотя бы перед людьми – то постыдное, что она натворила? Изменила! Какая измена? Всего-навсего сошлась с лучшим другом мужа, который, уж это-то Гумилев знал наверное, ей даже не нравился. Вот и пришлось, спасая реноме, несколько лет изображать на малой сцене домашнего театра заботливую супругу и верную помощницу большого ученого. Роль была не по ней, и Анна очень старалась. Перебеливала мудреные рукописи, писала под диктовку, лечила, добывала одежду и обувь, выгуливала его собаку, уверяя друзей, что сидит дома и нигде не бывает, потому что Володе ее домоседство приятно. Любопытный Корней Иванович Чуковский, заподозрив хорошую мину при плохой игре, напросился в гости. Анна Андреевна умудрилась обмануть даже его проницательность. Вернувшись из гостей, Чуковский внес в свой дневник такую запись:

«Вчера – у Анны Ахматовой. Она и Шилейко в одной большой комнате, за ширмой кровать. В комнате сыровато, холодновато, книги на полу. У Ахматовой крикливый, резкий голос, как будто она со мной говорит по телефону. Глаза иногда кажутся слепыми. К Шилейке – ласково, иногда подходит и ото лба отметает волосы. Он зовет ее Аничка. Она его Володя. С гордостью рассказывала, как он переводит стихами – à livre ouvert – целую

балладу – диктует ей прямо набело! "А потом впадает в лунатизм". Я заговорил о Гумилеве: как он ужасно перевел Кольриджа "Старого Моряка". Она: "А разве вы не знали? Ужасный переводчик". Это уже не первый раз, когда она подхватывает дурное о Гумилеве».

Запись Чуковского от 19 января 1920 года. В это время, как следует из воспоминаний самой А.А., она уже *жила не там* – не в шилейковской берлоге, а на улице Сергеевской, в своей комнате, которую получила, сбежав от *Володички* и устроившись на работу в библиотеку Агрономического института. В конце 1919-го Шереметевский дворец был национализирован. Шилейку выселили из садового флигеля, и Анна Андреевна, в благодарность за прежнее гостеприимство, пустила бездомника на свою «жилплощадь». Близких отношений у них уже не было, но на людях, не договариваясь, они по инерции продолжали вести себя как добропорядочные супруги. Анна Андреевна, дабы не выйти из роли, даже «подхватывает дурное о Гумилеве».

Впрочем, в январе 1920-го у Ахматовой была причина подхватывать дурное о бывшем муже. Николай Степанович отослал в Бежецк свою новую молодую жену и нового ребенка, а та из Бежецка быстрехонько улепетнула, отдав годовалую девочку в приют, и кажется, с согласия отца. Однако сама Анна Андреевна поступила ничуть не лучше, и знала это. Теперь, когда у нее своя большая комната и какая-никакая, а зарплата, она могла хотя бы на время взять к себе сына. Могла, но малодушно оправдывалась тем, что бабка слишком привязана к внуку, чтобы отпустить Леву к *дурной матери.* Была и еще одна причина, в силу которой Анна Андреевна считала себя не самой виноватой. Гумилев дал согласие на развод при условии, что мальчика она не отнимет у Анны Ивановны. Правда, с тех пор жизнь слишком уж *изменилась в лице*, и если б Ахматова, выйдя замуж за большого ученого, потенциального академика, кинулась в Бежецк и убедила свекровь, что у них Левушке будет лучше, что новый муж – человек надежный и семейственный… Увы, в ненадежности Вольдемара Казимировича она убедилась в первый же месяц их якобы семейной жизни. Георгий Чулков, встретив Анну Андреевну у Ольги Судейкиной (Ольга в ту пору, когда Анна еще жила на Фонтанке, была ее ближайшей соседкой), с недоумением писал жене: «Ахматова превратилась в ужасный скелет, одетый в лохмотья… Она, по рассказам, в каком-то заточении у Шилейко. Оба в туберкулезе».

Гумилев, когда и до него дошли разговоры о том, что бывший лучший друг держит Анну в *черном теле,* подумал, что его дурачат. Но подумал так, между прочим. Впервые в жизни ему

было не до нее. Он крутился как белка в колесе. Работал с полной отдачей у Горького в издательстве «Всемирная литература», редактировал чужие переводы и переводил сам, читал лекции в Институте искусств, преподавал теорию и практику стихосложения молодым поэтам, в том числе и пролетарским, организовывал разнообразные поэтические вечера и даже маскарады. А главное, не переставая, взахлеб писал свое. Ранним летом 1921-го, незадолго до ареста, умудрился пробраться в наконец-то освобожденный от «беляков» Крым. По собственной инициативе разыскал мать Анны Андреевны, узнал о судьбе ее братьев: старший Андрей покончил жизнь самоубийством, младший Виктор пропал без вести, сестра, последняя, в злой чахотке, и нищета немыслимая. Новости были такими ужасными, что Гумилев не сразу решился сообщить их Анне. А когда решился (в июле 1921 г.), явился на Сергеевскую, захватив на всякий случай, для приличия, приятеля – Георгия Иванова. О том, что Вольдемар Казимирович ревнует жену даже к дворнику, Гумилеву, естественно, также донесли. Впрочем, *такое* за своим полубезумным дружком он давно знал. Но чтобы Анна позволила какому-то Шилейке командовать, позволять-запрещать? Она же всегда делала только то, что хотела! На самом-то деле Анна Андреевна только потому и своевольничала, что ей всё и все всегда позволяли. Впервые встретив запрет, она растерялась и спасовала… Короче, разговора по душам, на что, видимо, рассчитывал Николай Степанович, не вышло. И не только из-за третьего лишнего. Анна Андреевна была слишком подавлена известиями из Крыма: и о смерти Андрея, и о бедственном положении матери и сестры. Все эти подробности известны из воспоминаний Георгия Иванова; память самой Ахматовой сохранила только финал (записано в дневнике Лукницкого): «А.А повела Гумилева и Г.Иванова не через 3-й этаж, а к темной (потайной прежде) винтовой лестнице, по которой можно было прямо из квартиры выйти на улицу. Лестница была совсем темная, и когда Николай Степанович стал спускаться по ней, А.А сказала: „По такой лестнице только на казнь ходить…“»

В поэзии Ахматовой именно эта встреча с Гумилевым (7 или 8 июля) отразилась как последняя:

От меня, как от той графини,
Шел по лестнице винтовой,
Чтоб увидеть рассветный синий
Страшный час над страшной Невой.

В действительности в последний раз Анна Андреевна и

Николай Степанович виделись еще раз, через три дня, 11 июля 1921 года на вечере издательства «Петрополис».

Это издательство только что выпустило ее маленький, изящный (и обложку, и издательскую марку, и фронтиспис выполнил сам М.В. Добужинский) «Подорожник» (тираж 1000 экз.). На подходе были «Anno Domini MCMXXI» в том же «Петрополисе» и в «Алконосте» – отдельное издание поэмы «У самого моря». Словом, 11 июля 1921 года, несмотря на революцию, разруху, нищету и почти голод, у Анны Андреевны были основания с торжеством вспоминать когда-то сказанные Николаем Степановичем слова – ей и о ней: «Ты победительница жизни». Она ведь даже из домашнего застенка, в который ее собирался заключить Вольдемар Казимирович, вырвалась. Как только увидела, что «мудрец и безумец» разжигает самовар рукописью «Подорожника». Как только поняла, что при всех своих гениальных задатках ассириолог с европейским именем элементарно, по-житейски «дурной человек»… Но винтовая лестница, по которой в погожий июльский вечер уходил Гумилев, и ее невесть из каких интуитивных потемок вырвавшиеся слова: «По такой лестнице… только на казнь…» – «вынули из памяти» этот нехороший вечер, вечер злого ее торжества. *Прожектор памяти* не высветит его во мраке забвения даже тогда, когда Павел Лукницкий покажет Анне Андреевне оставшиеся неопубликованными предсмертные стихи Гумилева, наверняка после презентации «Подорожника» набросанные: «Я рад, что он уходит, чад угарный…» И только в старости, перед самым закатом, Анна Андреевна вспомнит и эту действительно последнюю встречу с Николаем Степановичем, когда она, празднуя свою победу, упоенная успехом, не заметила, как подкрался *страшный август…*

В ночь с 3 на 4 августа арестован Гумилев.

7 августа умер Блок.

10 августа на Смоленском кладбище, в день похорон Блока, Ахматова узнает об аресте Николая Степановича.

25 августа по приговору ревтрибунала расстрелян Н.С.Гумилев.

1 сентября «Петроградская правда», расклеенная по всему вокзалу в Царском Селе, сообщит гражданке Ахматовой, что силами ВЧК раскрыт контрреволюционный заговор. Список расстрелянных участников Петроградской Боевой Организации, во главе которой якобы стоял профессор географии Н.А.Таганцев, был длинным. Но в тот день Анна прочтет его только до половины. Гумилев Н.С. значился в нем под номером 30.

В последний день августа 1921 года, еще не зная, что

Николая Степановича уже нет в живых, Ахматова, отдыхавшая в Царском по профсоюзной путевке, приехала к Рыковым за картошкой, у них и заночевала (отец ее общей с Валей подруги Наташи заведовал здешней опытной фермой и в сезон урожая чуток подкармливал знакомых своих дочерей). Ночь была знобкая, Наталья, заботница, принесла второе одеяло. Согревшись, уже в полусне, Анна хотела выпростать руку – рука не послушалась, придавленная чем-то тяжелым, темным, сырым, остро и страшно пахнущим. Она принюхалась: пахло… могильной землей, вот чем это тяжелое пахло! Могильщик ничем не выдавал себя, был незрим и бесшумен, незримо-бесшумно двигалась и его лопата, но Анна пересилила его, выбив и отшвырнув кирку той единственной силой, какою была сильна:

Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьет,
Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, жжет.

Упрямая, жду, что случится,
Как в песне, случится со мной,
Уверенно в дверь постучится
И, прежний, веселый, дневной,

Войдет он и скажет: «Довольно,
Ты видишь, я тоже простил».
Не будет ни страшно, ни больно…
Ни роз, ни архангельских сил.

Затем и в беспамятстве смуты
Я сердце мое берегу,
Что смерти без этой минуты
Представить себе не могу.

Руки ожили, стопудовое волглое одеяло сделалась невесомо-лебяжьим. Анна перевернула увлажненную чем-то соленым – потом? слезами? – подушку и провалилась в сон, легкий, без сновидений.

Утром 1 сентября 1921 года Анна Андреевна сидела с Наташей Рыковой на балконе, фермерский домик стоял на небольшом возвышении, отсюда, сквозь поредевший садик, было отчетливо видно, как Рыков открыл калитку, как младшая сестренка Натальи подбежала к отцу, чтобы помочь нести мешок с овощами. Он ей что-то сказал, она вскрикнула и закрыла лицо

руками…

Сестры Рыковы хотели проводить Анну хотя бы до поезда. Анна наотрез отказалась. «Правда» с сообщением о расстреле членов Петроградской Боевой Организации была наклеена на толстую, в два охвата тумбу. Желающих прочесть расклейку было множество. К счастью, знакомых она не увидела и отошла подальше, к их с Николаем месту, туда, где останавливался их любимый с детства хвостовой вагон, и сильно зажмурилась. И замелькали картинки, словно от руки раскрашенные. Самые старые совсем выцвели. Самые последние оказались смазанными. Ярче всех – первая из военных.

В августе четырнадцатого, не дожидаясь, пока будут оформлены призывные документы, Николай рванул в Слепнево, проститься с семьей. Вернулись в Петербург вместе. Ехать в Царское не хотелось: большой дом, как всегда, сдан на лето столичным дачникам, во флигеле сыро, плита дымит, кухарка уволилась. Николай Степанович переночевал у Лозинского, Анна – у отца, а вечером сошлись у Шилейки, у него и «прокантовались» до 4 августа. 4 августа Гумилев явился на Восьмую Рождественскую поздно, и уже не в цивильном, а в новенькой солдатской форме, и прямо с порога объявил, что зачислен охотником в гвардейский кавалерийский полк. Утром первым поездом поехали в Царское за вещами. В вагоне, несмотря на раннее утро, духота, видимо, еще вчерашняя. Кроме них, ни души. У Коли из-под фуражки сползают капельки пота. Анна протягивает ему носовой платок: хоть фуражку сними. Не снял. И дома не снял. Кажется, уже успел убедиться, что все военное ему к лицу. Вспомнила, как Модильяни говорил, стоя в Лувре перед Венерой Милосской: женщины, которых стоит лепить и рисовать, кажутся неуклюжими в платьях. Лучшее одеяние для настоящей женщины – нагота. А для мужчины? Неужели военная форма?

Осатанев от сухомятки, не стали завтракать в Царском. Решили потерпеть и пообедать в городе. На вокзале сразу же кинулись в ресторан и почти наткнулись на Блока. Растерявшись от неожиданности, она ляпнула: «Мы – обедать. Может, и вы с нами?» По красивому лицу «флорентийца эпохи Возрождения» пробежала легкая судорога раздражения, но, взглянув на Гумилева – солдатская форма его явно поразила, – Блок кивнул: «Я к вам подойду, у меня тут дело…» И действительно подошел, причем очень скоро, Коля не успел даже изучить меню. Официант подлетел как на крыльях – Блока здесь знали. Обедать не стал, посидел минут десять, мелкими глотками выпил стакан зельтерской, вяло пожаловался на жару, тщательно вытер белоснежной салфеткой руки и откланялся…

Дубовая двухстворчатая дверь в вокзальную ресторацию была заколочена крест-накрест чумазыми сосновыми досками. Один из гвоздей, наткнувшийся на скобу, торчал. Повесив на этот ржавый крюк врученную Рыковыми кошелку с овощами, Анна стала перетряхивать сумочку в надежде найти завалявшуюся папиросу – глаза обожгла яркость новой вокзальной картинки…

Когда ж это было? Ну да, недели за две до последнего отъезда Николая Степановича в Африку, в конце марта тринадцатого года. Гумилев, дождавшись ее на перроне (помнил, оказывается, каким поездом обещалась свекрови вернуться), предложил пообедать. Кажется, уже начинал заболевать, но храбрился. Увидев мужа, Анна слегка растерялась. Утром уговорилась с Недоброво, что вернутся в Царское Село вместе, из-за этого и приехала так точно. Делать нечего, авось Николай Владимирович догадается: что-то случилось и уедет без нее. От смущения расхрабрилась и пустилась во все тяжкие: Недоброво то, Недоброво се… 5 апреля первое собрание «Общества поэтов», Блок согласился читать «Розу и крест», потом омары и все такое… Николай Владимирович так занят, так занят, не заходит, не пишет… Коля слушал, слушал да как стукнет по столу рукой: «Не произноси больше его имени!» Замолчала. А через минуту, как бы робко-робко, девочкиным голоском: «А еще разок можно сказать…» Николай Степанович рассмеялся, заказал еще одну порцию сливок с клубникой и вдруг говорит: «Держу пари, сто моих против твоего рублика, что этот фарфоровый господин все еще ждет тебя на перроне». Думая, что Недоброво уже на подъезде к Царскому, она радостно кивает: за сто рублей она себе такое платье купит, что даже жене Недоброво нос утрет. Николай Степанович поднимается, выходит из ресторана, а вернувшись, докладывает: «Гони рубль!»

Дождались следующего поезда, вошли в вагон, сели, но Гумилев, что-то перерешив, выскочил уже на ходу: «Езжай одна, у меня завтра в городе с утра уйма дел, переночую у Володьки»…

И вот никого нет – ни Блока, ни Гумилева, ни Андрея, ни Недоброво, ни Коли-маленького…

К себе на Сергеевскую Анна идти не могла, пошла через разрытое под огороды Марсово поле в Мраморный. Огня в шилейковских окнах не было. Нащупав в подкладке прохудившегося кармана тяжелую монету, хотела было взять извозчика к Вале, на Боткинскую, и раздумала. Серебряный царский рубль дал ей когда-то на извозчика Николай. Оглянувшись, увидела женщину с мальчиком. Остановилась и, не спуская с мальчика глаз, опустила на тротуар навязанную Рыковыми котомку. Ветер переменился, угнал дождевую тучу.

Куда она дела, где сгинули небрежно просмотренные «Жемчуга»? Первый Колин настоящий, не за свой счет изданный сборник, свадебный его подарок? Кроме «Капитанов», не запомнила из него ни одной строчки! И вдруг кто-то незримый сухим суфлерским голосом стал медленно диктовать:

Орел летел все выше и вперед,
К престолу сил сквозь звездные преддверья,
И был прекрасен царственный полет,
И лоснились коричневые перья.

Где жил он прежде? Может быть, в плену,
В оковах королевского зверинца.
Кричал, встречая девушку-весну,
Влюбленную в задумчивого принца…

Не все ль равно? Играя и маня,
Лазурное искрилось совершенство,
И он летел три ночи и три дня.
И умер, задохнувшись от блаженства.

Он умер, да! Но он не мог упасть,
Войдя в круги планетного движенья.
Бездонная внизу зияла пасть,
Но были слабы силы притяженья.

Лучами был пронизан небосвод,
Божественно-холодными лучами.
Не зная тленья, он летел вперед,
Смотрел на звезды мертвыми очами.

Не раз в бездонность рушили миры,
Не раз труба архангела трубила,
Но не была добычей для игры
Его великолепная могила.

Защищаясь от механического голоса, Анна вцепилась в не замеченную прежде фразу: «Не зная тленья, он летел вперед». Неужели Гумилев не заметил, что присвоил пушкинское, из «Памятника»: «Нет! Весь я не умру! Душа в заветной лире мой прах переживет и тленья убежит»? Не мог не заметить! Стихи не проза, выдающая автора с потрохами, в стихах можно и душу вывернуть до дна, и скрыться, спрятаться от чужого и равнодушного взгляда, исчезнуть и при этом «напрочь остаться».

Вроде как шапку-невидимку надеть. Это от него, Коли, еще в ранней юности она узнала этот секрет. Потом не раз проверяла на собственном опыте – все верно! Железный закон действовал! Даже Валя Тюльпанова не угадывала. Даже Гумилев терялся в догадках и, спасая лицо, верил ей, виноватой. А она, наворачивая ложь на ложь, юлила: не надо, мол, ревновать, это же все слова, слова, слова. Конечно же, ревновал, ревновал и… верил! Как же все-таки был чист и наивен! Таким и остался. У Дориана Грея, хоть и грешил беспробудно, лицо оставалось красивым и юным. У Коли не старилась и не дурнела душа. *А душу можно ль рассказать?* Да он и не рассказывал, он прятал ее в стихи, свою навсегда шестнадцатилетнею душу, ни ей, ни другим женщинам не открываясь. Там, только там, среди рифмованных и нерифмованных строчек, Николай настоящий, такой, каким был наедине с собой, когда сбрасывал «панцирь железный»!

Я конквистадор в панцире железном…

О чем вспоминал он в свой последний земной август, когда его заковали в настоящий, уже не железный, а каменный панцирь? Думать об этом бытовыми, грубыми словами было выше ее сил, и Анна думала стихами:

Что лучшему из юношей, рыдая,
Закрою я орлиные глаза…

Какие они все-таки были разные… Ей почему-то всегда не хотелось собираться в Слепнево. Капризничала, находила тысячу поводов, чтобы оттянуть отъезд, но, приехав, чувствовала себя совершенно счастливой и уже с тоской думала о том, что осенью придется со всей этой благодатью расстаться на долгую-долгую зиму. С этим заросшим прудом, с этой одичавшей сиренью, с запахом изъеденного жучком некрашеного серого пола. С Колей наоборот. Он рвался в Слепнево, как застоявшийся конь в чисто поле, а через неделю, а то и день, начинал скучать. И почему-то никогда здесь ничего путного не написал, только в альбомы слепневских прелестниц всякую дребедень. Ей писалось, ему – нет. Даже «Старые усадьбы» в поезде, когда в новый полк ехал. Оттуда их и прислал. Анна, когда навещала его в Наволоках осенью, видела все это в окне вагона. Настурции и розаны уже отцвели, а гуси и все остальное мелькали, мелькали…

Дома косые, двухэтажные

И тут же рига, скотный двор,
Где у корыта гуси важные
Ведут немолчный разговор.

В садах настурции и розаны.
В прудах зацветших караси.
Усадьбы старые разбросаны
По всей таинственной Руси.

Той осенью Анна навсегда простилась и с собою прежней – «какою была когда-то», до 1 сентября 1921-го:

Заплаканная осень, как вдова
В одеждах черных, все сердца туманит…
Перебирая мужнины слова,
Она рыдать не перестанет.
И будет так, пока тишайший снег
Не сжалится над скорбной и усталой…
Забвенье боли и забвенье нег
За это жизнь отдать не мало.

В октябре 1921-го по Москве и далее везде пополз слух, что Ахматова, узнав о гибели Гумилева, покончила с собой. Больше всех, по свидетельству Цветаевой, горевал Маяковский. 28 октября в Симферополе прошел даже вечер ее памяти. Михаил Зенкевич, живший в ту пору в Саратове, даже тогда, когда узнал, что слух был ложным, не мог избавиться от тревоги – кинулся в Питер, отыскал Лозинского, от него и узнал новый адрес Анны – Сергеевская, 2. Ахматова не верила своим глазам. Уехал в восемнадцатом. Внезапно. Не простившись. Три года ни слуху ни духу, и вдруг – как снег на голову. Живой, здоровый, но решительно не похожий на того веселого Мишеньку, на золотых кудрях которого десять лет назад так красиво и уместно смотрелся лавровый венок. Развязывал холщовую котомку с саратовским гостинцем – двумя караваями черно-серого хлеба – совершенно по-крестьянски. Да и сам он внешне как-то уж очень опростонародился. Лишь голос да манера спрашивать – с затруднением, глядя не на собеседника, а на свои сцепленные пальцы, – были все те же. О Гумилеве Михаил Александрович не спрашивал: пока пытался узнать ее адрес, обошел всех питерских приятелей и собрал почти по свежим следам ходившие по Питеру факты, слухи и домыслы и о Николае, и о ней. Дескать, собирается эмигрировать. Вот и пришел – проститься. Анна

саратовского гостя разуверила: пусть уезжают, она остается.

И сам Зенкевич, с еще не сошедшим саратовским загаром, и котомка его, и хлебы странно смотрелись в ее нынешнем хотя и нищем, а все-таки дворце: два высоченных окна, в простенке – золоченое трюмо. Ни печи, ни буржуйки, зато роскошный, с причудами, под стать трюмо, камин.

По случаю появления гостя соседка, сослуживица Ахматовой, принесла несколько поленьев и помогла растопить камин. Выпили даже по чашечке шоколада из заграничной посылки (гуманитарная помощь голодающим гражданам красной России). Поленья горели ровно и споро. Глядя в огонь, Анна неожиданно для себя призналась Михаилу, что боится разжигать камин, когда в комнате никого, кроме нее.

– Знаете, тогда из зазеркалья, если не поворачивать головы, а смотреть левым глазом, скосив его к самому виску… Нет, нет, это не безумие, это что-то вроде сна наяву, и разговор без слов, мыслями! Я ему: зачем же снова в эту ночь свой дух прислал ко мне? А он… Он так чудовищно заикается, и все слова шиворот-навыворот, ничего не понять. Коля, спрашиваю, тебя там очень мучили? И зачем спрашиваю? Если б не мучили, разве бы так говорил?

Еще немного, и Михаил Александрович сказал бы Анне Андреевне, зачем и с чем приехал: спасти, увезти, защитить. Не успел. В комнату ворвалась Ольга Судейкина, за ней Артур Лурье. Нечего тебе здесь одной куковать, у нас на Фонтанке – теплота. Артур дрова привез и буржуйки достал. Две! Собирайся, извозчик внизу ждет. Артур и в больнице договорился – увезут твоего мучителя, и надолго, пусть Шилей свой ишиас лечит.

Анна растерялась и не заметила, что Зенкевич исчез. Ушел, как и тогда, в восемнадцатом, – по-английски. В ночь.

6 января 1922 года, получив уйму, как ей казалось, денег за «Подорожник», Анна поехала в Бежецк. Хотела или на старое Рождество, или хотя бы под Новый год – Артур не отпустил. Уговорил – что за манера праздновать Рождество по старому стилю? Поедешь шестого. В рождественские дни ей всегда хотелось быть с самыми родными. Когда Инна Эразмовна и младшая сестра Ия жили в Киеве, Ахматова старалась провести свой самый любимый праздник с ними, но теперь мать и сестра бедовали и голодали в Крыму, а туда в тот год и письма не доходили.

В Бежецке было тихо. В Бежецке старались жить так, как будто ничего страшного не случилось. Анна Андреевна расспрашивала свекровь о том, о чем не успела спросить, пока

Николай Степанович был жив, – о его детстве, отрочестве. Анна Ивановна рассказывала скупо и строго, но легко; после отъезда, фактически бегства старшего сына Мити за границу ей, кроме как с Анной Андреевной, не с кем было выговорить боль. Анна хотела войти в ту комнату, где три года назад она и Николай Степанович радовались радостью своего *Гумильвенка,* получившего в подарок новые игрушки. И не вошла. Не смогла войти. Из всех написанных на смерть Гумилева стихов «Бежецк» – самое пронзительное:

Там белые церкви и звонкий, светящийся лед,
Там милого сына цветут васильковые очи.
Над городом древним алмазные русские ночи
И серп поднебесный желтее, чем липовый мед.
……
Там строгая память, такая скупая теперь,
Свои терема мне открыла с глубоким поклоном;
Но я не вошла, я захлопнула страшную дверь;
И город был полон веселым рождественским звоном.

Колокольным рождественским звоном была полна и память. Аня Горенко познакомилась с Колей Гумилевым в Рождественский сочельник 1903 года. И ни он, ни она никогда об этом не забывали. И «Поэма без героя» явится к ней все под тот же неумолкаемый бежецкий колокольный звон – в декабре *года сорокового.* Гумилев говорил, и говорил твердо, что умрет в пятьдесят три года, то есть в 1939-м. Не раньше и не позже. Он и ее научил верить «умным числам» – «потому что все оттенки смысла умное число передает». И если бы в этот *гороскоп* не вмешались силы иного порядка, Рождество 1940-го было бы первой годовщиной их вечной разлуки… Числом гибели Гумилева *25 августа* Ахматова отметит и *Вступление к* «Поэме». Разогнав всех явившихся в Фонтанный Дом в ночь под Рождество ряженых – «краснобаев и лжепророков», всех, с кем «не по пути», героиня ждет «гостя из будущего». Он, правда, не герой, «не лучше других и не хуже», но он – *живой,* единственный, от кого «не веет летейской стужей». И вдруг чует: в Белый зал незвано и незримо явился и тот, кто «как будто» не значился в списках приглашенных, потому что попал в иной список. Не мог, а пришел, ибо не мог не прийти. Живому Гумилеву Анна не могла простить страсти к «перемене мест», называла «вечным бродягой», не любила и его африканской и восточной экзотики, казалось, что стихи мужа размалеваны «пестро и грубо». Мертвому простила все, даже странный, не выносимый в семейной жизни нрав:

Существо это странного нрава.
Он не ждет, чтоб подагра и слава
Впопыхах усадили его
В юбилейные пышные кресла,
А несет по цветущему вереску,
По пустыням свое торжество.
И ни в чем не повинен: ни в этом,
Ни в другом и ни в третьем…
Поэтам
Вообще не пристали грехи.

При раскрытой в смерть двери жить было нельзя. А Анна *старалась жить.* И некоторое время это у нее почти получалось: и Артур, и Ольга были людьми легкими, праздничными, умевшими радоваться и радовать. И вдруг к весне сначала Ольга, а за ней и Артур заговорили об отъезде. Сначала солировала Коломбина, Артур вторил – да, да, Оленька, надо тикать, но потом Ольга, видя, что Анна затомилась и молчит, молчит, заколебалась, а Лурье, наоборот, развил бешеную деятельность. Под его нажимом Ольга опять заговорила об эмиграции и стала полегоньку распродавать свой антиквариат – картины, серебро-злато, мебель… Уезжать вместе с Артуром наобум она все-таки не решалась. Пусть-де первым едет Лурье. На разведку, а я потом. А может, и Аннушка решится.

Может, и Анна бы решилась, если бы… Если бы на ее пути нежданно-негаданно не возник человек, от которого спустя двадцать лет она получит такое письмо: «Увидеть Вас когда-нибудь я, конечно, не рассчитывал, это было действительно предсмертное с Вами свидание и прощание. И мне показалось тогда, что нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна, – как Ваша; от первых детских стихов (перчатка с левой руки) до пророческого бормотания и гула поэмы. Я тогда думал, что эта жизнь цельна не волей – и это мне казалось особенно ценным, – а той органичностью, т. е. неизбежностью, которая от Вас как будто совсем не зависит. Теперь этого не написать, т. е. всего того, что я тогда (т. е. почти умирая в блокадном Ленинграде. – *А.М.)* думал, но многое из того, что я не оправдывал в Вас, встало передо мной не только оправданным, но и, пожалуй, наиболее прекрасным».

Когда еще через четверть века, в марте 1966-го, взрослая дочь этого человека, Ирина Николаевна Пунина, в день похорон Ахматовой будет вынуждена в поисках документов открыть сумочку, с которой Анна Андреевна никогда не расставалась – ни

в поезде, ни во сне, ни в больнице, она найдет в ней это письмо – пожелтевшее, обтрепавшееся по краям, многажды без свидетелей перечитанное – но сохранное.

Весенняя осень

Свой пятнадцатилетний союз с Николаем Николаевичем Пуниным, фактически гражданский брак, Ахматова после разрыва в 1937 году называла третьим «матримониальным несчастьем». Того же мнения, «пробегая мыслию прошедшее», придерживался *после всего* и Пунин. Себя он, естественно, ни в чем не винил, а корень беды видел в том, что Анна Андреевна не только его – вообще никого не любила: «Аня, честно говоря, никогда не любила. Все какие-то штучки: разлуки, грусти, тоски, зловредство, изредка демонизм. Она даже не подозревает, что такое любовь. Из всех ее стихов самое сильное: „Я пью за разоренный дом…“ В нем есть касание к страданию».

Что до самой Ахматовой, то на прямой вопрос Нины Антоновны Ольшевской, любила ли она третьего из своих Николаев, ответила: вот-де прожила с Пуниным еще два года. Ольшевская, уже после смерти Анны Андреевны, пересказывая этот разговор Эмме Герштейн, истолковала уклончивый ответ так: кабы не любила, не стала бы на долгих два года оттягивать развязку. Догадку Ольшевской-Ардовой косвенно подтверждает и дневниковая запись, сделанная в декабре 1964 года другой поздней подругой Ахматовой – знаменитой актрисой Фаиной Раневской: «В тот вечер мы вдруг заговорили о том, что в жизни каждого из нас было самого страшного. Зная ее жизнь, я замерла. Она рассказывала первой. Вспомнила, как однажды шла в Петербурге по Невскому – народу почему-то было немного – и вдруг увидела Пунина…

"У меня была доля секунды, чтобы как-то собраться, вытянуться, выглядеть так, как хотелось бы. Я успела. Пунин встретился со мною глазами и, «не узнав», прошел мимо. Вы знаете, Фаина, в моей жизни было много всего. Но именно эта невстреча оставила самое гнетущее чувство. До сих пор не могу от него избавиться. Вам это не кажется странным?"»

Нет, не кажется, ибо, в отличие от Раневской, предполагаю, что роковая *невстреча* произошла не до войны, а чуть позже. В предвоенные месяцы, в разгар романа с Недоброво, поведение Пунина, якобы ее не узнавшего, А.А. вряд ли восприняла бы как «страшное». Довоенную, нарядную, победительную Ахматову, спешащую на «верное свидание», мнимое неузнавание могло разве что удивить, в крайнем случае раздосадовать. Иное дело поздняя осень (не раньше 24 октября того же года). 24 октября, возвращаясь поездом из города в Царское Село, Анна Андреевна и Николай Николаевич, шапочно давно знакомые и как царскоселы,

и по «Аполлону», где Пунин печатался, впервые разговорились. Точнее, разговорилась Ахматова. Пунин же немо внимал, но внимал столь выразительно, что ей, видимо, показалось, что произвела на попутчика неизгладимое впечатление. В действительности впечатление было отнюдь не восторженным. Вот что записал Николай Николаевич в дневнике, когда, проводив мадам Гумилеву, добрался до «заветной тетрадки»:

«24 октября. Сегодня возвращался из Петрограда с А.Ахматовой. В черном котиковом пальто с меховым воротником и манжетами, в черной бархатной шляпе – она странна и стройна, худая, бледная, бессмертная и мистическая. У нее длинное лицо с хорошо выраженным подбородком, губы тонкие и больные, и немного провалившиеся, как у старухи или покойницы; у нее сильно развитые скулы и особенный нос с горбом, словно сломанный, как у Микеланджело; серые глаза, быстрые, но недоумевающие, останавливающиеся с глупым выражением или вопросом; ее руки тонки и изящны, но ее фигура – фигура истерички; говорят, в молодости она могла сгибаться так, что голова приходилась между ног. Из-под шляпы выбивалась прядь черных волос, я ее слушал с восхищением, так как, взволнованная, она выкрикивала свои слова с интонациями, вызывающими страх и любопытство. Она умна, она прошла большую поэтическую культуру, она великолепна. Но она невыносима в своем позерстве, и если сегодня она не кривлялась, то это, вероятно, от того, что я ей не даю для этого достаточного повода».

Замечательный по выразительности портрет Анны Ахматовой в момент первой славы, в год выхода «Четок»! По глубине проникновения в характер дамы в котиковом манто он не уступает знаменитой картине Альтмана и почти равен ей холодно-отрешенной обрисовкой внешнего облика. Пунин, как и Альтман, смотрит на Анну Андреевну глазами художника, а не мужчины: не интересную женщину разглядывает, а изучает великолепную модель. И тут воленс-ноленс «нависает» отнюдь не праздный вопрос: уж не эта ли дневниковая запись вызывала у Ахматовой «гнетущее чувство»? Дескать, потому и «не узнал», что не хотел поддерживать знакомство с кривлякой, «невыносимой в своем позерстве». Предположение, конечно, гадательное, однако ж не невероятное, поскольку известно, что Пунин показывал Анне Андреевне многие страницы своего дневника. К примеру, однажды, без связи с темой разговора, она вдруг произнесла странную фразу, настолько странную, что Пунин ее зафиксировал: «Я тебе не могу простить, что дважды ты прошел мимо: в XVIII веке и в начале XX». «Как, действительно,

случилось, – комментируя сказанное, недоумевает Пунин, – что в Царском мы не встретились, когда еще были в гимназии, как случилось и потом, что, будучи у Ан. раза три (у Гумилевых), прошел мимо, мало бывал, оттого, что…» Фраза оборвана. Очевидно, Николай Николаевич, зная, что Анна Андреевна время от времени читает, с его согласия разумеется, дневник, предпочитает и правде, которую знает, и неправде, которая была бы приятна ей, но неприятна ему, фигуру умолчания. Ахматова столь уклончивым выходом из положения, естественно, не удовлетворилась, и Пунину пришлось, видимо, показать и запись от 24 октября…

Тогдашней реакции Анны Андреевны на этот текст мы не знаем, но эта дневниковая запись не могла ее не задеть, иначе полвека спустя в разговоре с Раневской она бы не назвала *невстречу* с Пуниным в 1914 году самым страшным моментом в своей жизни.

Обидно, конечно, что твой избранник годами глядел мимо, не узнавая в девочке, барышне, а потом и мужней жене женщину своей судьбы. Но тогдашнее мимоглядение Ахматова могла понять, а значит, полупростить: не в характере Николая Николаевича зариться на заведомо чужое. Иное дело невстреча на Невском в декабре 1914-го. И двух месяцев не прошло с тех пор, как они чуть ли не час протетатетничали в полупустом вагоне дачного поезда и она выложилась, дабы очаровать и поразить милого спутника! А он…

Словом, сохраненный памятью Раневской сюжет позволяет, думаю, предположить, что, проживая сызнова свою жизнь, Ахматова пыталась вообразить, как сложилась бы женская ее судьба, если бы осенью 1914-го Пунин, еще не связанный узами брака, не прошел мимо. Если бы уже тогда сказал то, что скажет через десять лет, и не только ей, но и законной жене: «…Трудно мне Вам рассказать, до какой степени мне дорог и мил этот человек, ибо как Ваши, так и многие суждения о ней совсем неверны; неповторимое и неслыханное обаяние ее в том, что все обычное – с ней необычно и необычно в самую неожиданную сторону; так что и так называемые «пороки» ее исполнены такой прелести, что естественно человеку задохнуться; но с ней трудно, и нужно иметь особые силы, чтобы сохранить отношения, а когда они есть, то они так высоки, как только могут быть высоки "произведения искусства"; я не буду спорить, моя дружба с ней, может быть, и гибельна для меня, но не только я один предпочитаю эту гибель страху ее потерять или скуке ее не иметь».

Даже дата запомнившегося Раневской разговора – декабрь 1964 года, пятидесятилетняя годовщина *невстречи* на Невском, – наводит на мысль, что загаданная Пуниным загадка сильно волновала А.А. По ее логике, особа, которую Николай Николаевич отпортретировал в 1914 году, не имела шансов понравиться ему как женщина. Почему же спустя восемь лет так сразу, так пылко и так безоглядно ринулся навстречу, как только она сделала легкий, ни к чему не обязывающий знак – всего лишь уведомила, что ей приятно было бы его видеть?

При всем своем уме, наследственном ясномыслии и ироничности, Ахматова частенько рассуждала, как пушкинская Татьяна: «Онегин, я тогда моложе, я лучше, кажется, была». Меж тем разгадка загадки была не в ней, а в Николае Николаевиче. Хотя осенью 1922-го Пунину, как и А.А., исполнилось тридцать пять, в хорошие минуты, ничуть не насмешничая, она называла его *Мальчиком:* Пунин почему-то медленно и трудно взрослел. К тому же, застенчивый от природы, он смолоду, хотя женщины на него заглядывались, был с ними почтительно-старомоден. Даже из трех хорошеньких дочерей адмирала Аренса, приятеля своего отца, которых знал с детства, в жены выбрал самую незаметную, серьезную и покладистую. Больше того, осенью-зимой 1914-го ему было не до *великой любви.* Выросший в многодетной семье, еле-еле сводившей концы с концами, он только-только начинал вставать на ноги, еще только пробовал печататься (как «писатель по вопросам изобразительного искусства») в «Аполлоне», и тут на тебе: война! Старший, любимый брат уже несколько месяцев в действующей армии, вот-вот повестка достанет и его самого. Правда, на первой медкомиссии Пунина забраковали по зрению и чрезвычайной нервности. Однако отвлечься от мыслей о войне, от тревоги за брата, за друзей, от стыда за свою непригодность к воинской службе, смешанного со страхом: а вдруг опять вызовут и не комиссуют? – не так-то просто. В двадцатых годах Корней Иванович Чуковский, избежавший мобилизации как отец троих детей и единственный сын у необеспеченной матери, занес в дневник конспект разговора с поэтом Бенедиктом Лифшицем на тему: интеллигенция и война четырнадцатого года: «Был у Бена Лившица… Между прочим мы вспомнили с ним войну. Он сказал: – В сущности, только мы двое *честно* отнеслись к войне: я и Гумилев. Мы пошли в армию и сражались. Остальные поступили как мошенники. Даже Блок записался куда-то табельщиком».

Оказаться среди мошенников, даже в связке с Блоком, Пунин не хотел. Но при этом и в сражения не рвался, несмотря на то что терпеливая его невеста, Анна Евгеньевна Аренс, от направления в прифронтовой госпиталь не уклонилась, в результате чего период

жениховства сильно затянулся.

Словом, все судьбоносное в жизни Пунина наступало скорее поздно, чем рано, скорее медленно, чем быстро. Вот и до трудной любви к Анне Ахматовой Пунин дорастал восемь долгих лет. Чтобы дорасти, пришлось: упросить жену родить ему ребенка; улизнуть из цепких рук Лили Брик, положившей горяче-карий глаз на новоназначенного комиссара Эрмитажа; а главное – соскользнуть с опасной орбиты политически ангажированного левого искусства. Но прежде чем отступить в полутень, Николай Николаевич умудрился заполучить четырехкомнатную квартиру в жилой пристройке Фонтанного дворца.[43]

Впервые Пунин привел окоченевшую Анну Андреевну в свой дом поздней осенью 1922 г. – ну, хотя бы на полчаса, только чтобы согреться (той осенью истопники графа все еще отапливали конфискованный дворец стародавним способом)! Анна упиралась, но когда все-таки позволила себя уговорить и сняла пальто – отменила все неотложные дела: уж очень у Пуниных было тепло. Голод она переносила легко, а к холоду так и не сумела привыкнуть. Всю жизнь мерзла. Мерзла в гумилевском доме, который никогда не прогревался как следует. Зябла в Севастополе, потому что там было принято стойко, по-английски перетерпевать зимний сезон. Коченела в нищих своих дворцах, особенно жестоко на Сергеевской. Всегда холодно было и в Мраморном. Мерзла, увы, и в Фонтанном Доме, потому что к тому времени, когда наконец-то согласилась переехать насовсем в квартиру Пуниных, и там уже тоже стало как у всех. Жильцы срочно переделывали отопительную систему с дворцового на общежитейский манер, но печи получались прожорливыми, а дрова все дорожали и дорожали.

Ахматова, которая, как мы помним, уже жила здесь с Шилейко (в северном левом флигеле), увидела в этом совпадении вещий знак. Сказать про столь *странное сближение* вслух она не решилась, и Пунин понял ее по-своему: «Я почувствовал, как, действительно, тебе должно быть важно жить в районе Фонтанки, на Фонтанке, где много Петербурга: неважен свет и еда, а Петербург». Дочь Пунина Ирина, когда подрастет, заподозрит в особых чувствах *Акумы* к Фонтанному дворцу вульгарную корысть. Дескать, Анна Андреевна подселилась к ним вовсе не из любви к ее отцу, а просто потому, что ей уж очень хотелось жить именно в таком, как их, замечательном доме. Ахматова, в свою очередь, в злые минуты утверждала, что Пунин не разводится с женой только потому, что не хочет терять жилплощадь в Фонтанном дворце. Но все это там, впереди – *за горами горя*. А

пока дочери Пунина всего год, а Анна Андреевна бытует вместе с Ольгой Судейкиной в хорошо обставленной обжитой квартире, на той же, кстати, стороне Фонтанки, что и Пунин, и в ее чувстве к нему нет ни крупицы злокачественной примеси:

Небывалая осень построила купол высокий,
Был приказ облакам этот купол собой не темнить,
И дивилися люди: проходят сентябрьские сроки,
А куда подевались студеные, влажные дни?
Изумрудною стала вода замутненных каналов,
И крапива запахла, как розы, но только сильней.
Было душно от зорь, нестерпимых, бесовских и алых,
И запомнили все мы до конца наших дней.
Было солнце таким, как вошедший в столицу мятежник,
И весенняя осень так жадно ласкалась к нему,
Что казалось – сейчас забелеет прозрачный подснежник…
Вот когда подошел ты, спокойный, к крыльцу моему.

Стихи написаны в сентябре 1922-го, но что-то завязалось между ними еще в июле, на отвальном «пиру» в гостинице «Европейская». Пир этот устроил Лурье, сразу же после того, как выездные документы для его отъезда за границу, якобы на гастроли, были оформлены. Пришедшего без жены Пунина усадили за маленький, на четверых, столик между Ольгой Судейкиной и Лурье. Артур Сергеевич, обласкивая гостей, порхал по ресторанной зале, Ольгу вскоре увлек в уголок кто-то из обожателей. Посреди сильно захмелевшего многолюдья Ахматова и Пунин оказались как бы наедине. И Анна Андреевна, тряхнув стариной, стала по капельке подмешивать приворотное зелье в необязательный, через столик, разговор с нерешительным визави. Сначала от скуки, от досады, в пику «предавшему» и ее, и *родную страну* Артуру (она-то знала, что гастроли – фикция). Заметив, что Пунин, минуту назад индифферентный, начинает волноваться и как завороженный не может оторваться от ее лица, замолчала, потупилась… Подскочил Лурье, сообщил, что после официальной, ресторанной части будет продолжение по месту жительства, на Фонтанке, и что *Николаше* вменяется в обязанность проследить, дабы обе прекрасные дамы, Анна и Ольга, были доставлены «нах хауз» в целости и сохранности. Больше до 17 августа Ахматова и Пунин с глазу на глаз не оставались. На морском вокзале, когда провожали Артура, лишь издали перекинулись взглядами. Лица Анны Андреевны близорукий Пунин не видел, но платье угадал. То самое, что было

на ней в «Европейской», первое после голода, холода и разрухи нарядное платье. Ольга и Артур, которым было больно видеть Анну в обносках (ничего из Ольгиных туалетов из-за разницы роста и сложения она надеть не могла), исхитрились и на глазок сюрпризом преподнесли ко дню рождения выходной туалет. И вкус, и глазомер у Коломбины были точными. Купленная-перекупленная загранично-стандартная тряпочка сидела на Анне Андреевне чудо как элегантно, как будто платье специально для нее в единственном экземпляре сочинила сама госпожа Ламанова.

Лурье уехал. Втайне, ничего не говоря Ольге, Анна надеялась, что Пунин, которого Артур попросил не оставлять их без присмотра, забредет на огонек, благо жили они теперь рядышком, даже на трамвай тратиться не надо. Пунин не заходил. И тогда Анна решилась сделать пробный шаг. Если откликнется, значит, электрическая искра, вроде бы промелькнувшая меж ними, и в самом деле имела место быть. Не откликнется, значит, примерещилось. Шаг должен был быть коротенький, куричий. Чтобы ни к чему не обязывал. Ни ее, ни его. А тут и случай представился. Заглянув на какое-то сборище в «Дом искусств», она, зоркая, сразу же разглядела в дальнем углу Пунина и не мешкая передала по рядам записку: «Сегодня буду в "Звучащей раковине". Приходите. А.Ахматова». А чтобы не видеть его реакции, «улетучилась». Записка до Пунина добралась. Вернувшись в тот вечер домой, Николай Николаевич зафиксирует это событие в дневнике, аккуратно вклеив в тетрадь и саму записку: «Я сидел на заседании в "Доме искусств", когда мне подали эту записку: был совершенно потрясен ею, т. к. не ожидал, что Ан. может снизойти, чтобы звать меня».

Пригласив Пунина на полутайную сходку поэтического объединения «Звучащая раковина», организованного Гумилевым, Анна Андреевна поступила и опрометчиво, и нетактично. Собрание мыслилось как траурное. Ученики мэтра сошлись словно бы невзначай, конспиративно, средь бела дня, на квартире известного фотографа Наппельбаума, чтобы в годовщину гибели поэта почтить его память. Пунин здесь был лишним. И потому, что в число учеников (гумильвят) не входил. И потому, что вся «Раковина» знала: Гумилев и Пунин друг друга не любили. И потому, что арестованный по тому же делу, что и Гумилев, был почему-то освобожден. Анна Андреевна все эти обстоятельства сообразила не сразу. Сообразив, подосадовала на себя. Поэтому, придя к Наппельбаумам и не увидев среди собравшихся Николая Николаевича, вздохнула с облегчением. Но Пунин, слегка опоздав, все-таки появился. В комнату не прошел, стоял в дверях. Высокий, красивый, напряженный, в какой-то еще от

комиссарских времен оставшейся кожанке. Когда расходились, она быстро и ловко, вроде как поправляя юбку, сунула в обтерханный его карман записку: «Милый Николай Николаевич, если сегодня вечером Вы свободны, то с Вашей стороны будет бесконечно мило посетить нас. До свидания. Ахматова. Приходите часов в 8–9».

Приглашать занятого и семейного человека «на сегодня» было также не слишком прилично. Но *на сегодня* Анне было известно Ольгино расписание: раньше десяти домой не заявится. Значит, у них будет возможность хотя бы час-другой остаться наедине.

Как развивались отношения Пунина и Ахматовой в тот жаркий, не питерский сентябрь 1922 года, мы не знаем. За весь месяц Николай Николаевич вписал в дневник, без комментариев, всего два стихотворных фрагмента: первую строфу «Осени» и, с пропусками, следующий отрывок:

> И говорят, нельзя теснее слиться,
> Нельзя непоправимее любить…
> Как хочет тень от вещи отделиться,
> Так хочет дух..?
> Так я хочу теперь забытой быть.

Судя по характеру записи, отрывки воспроизведены по памяти, с голоса. Однако в самом скором времени специально для Николая Николаевича Анна Андреевна смастерит маленькую тетрадку, куда будут переписываться стихи. И те, что обращены к нему, и те, что созданы как бы в предчувствии встречи с ним.

Свой первый Новый, 1923-й год, как и условились загодя, они встречали поврозь. Пунин – в кругу семьи, Анна – дома и в полном одиночестве (Ольга была на гастролях). 30 декабря Николай Николаевич, отправленный домашними на поиски елки, забежав на Фонтанку, 18, застал там лютый холод: сломалась буржуйка. Анна пробовала пристроить рухнувшую трубу, но только перепачкалась. Пунин печку исправил, вышли из дома вместе – искать для Иринки елку. Нашли, дорогую, у Николая Николаевича не осталось ни копейки. Анна завела его в кондитерскую, накормила пирожными. Сама не ела, свои, шесть штук, попросила уложить в плетеную коробочку. Когда выходили, вроде как ненароком обмолвилась: вчера гости незваные были, четверо, обещали: явятся и 31-го, и он, Пунин, ежели заглянет, будет за столом шестым. Купила по дороге еще и бутылку красного, самого лучшего, на остатки гонорара за «Anno Domini». На обратном пути Пунин, несмотря на мороз, петлял, медлил. А

вдруг Анна, озябнув, пригласит к себе – топить буржуйку? Не пригласила. Иди, иди, дома заждались.

Ночью она дописывала «Новогоднюю балладу», конец не давался. Вспомнив, что обещала Чуковскому отыскать письма Блока, вывернула на пол содержимое всех укладок. Блок не нашелся. Нашлось присланное в Севастополь Колино парижское фото. В долгополом пальто и нелепой шляпе. Обнаружилась и пропавшая скатерть, тоже Колина – африканский подарок. Николай Степанович привез ее из Каира, будучи женихом. Разодрав упаковку, тогдашняя Анна фыркнула: он, что же, хочет сделать из *русалки* образцовую хозяйку, перекроить дикий ее норов по выкройке собственной матери? И если бы не кузина… Наничка, умница, растянув тканину, очаровалась вкусом африканских мастериц и долго-долго не выпускала узорное диво из гладящих и ласкающих рук… Надо же, вынырнула! И как уцелела, и с какой оказией переместилась из Киева в Петербург, и где таилась столько лет?

Передвинув стол, так, чтобы оказался под самой люстрой – лампочек в ней не было, Анна расстелила скатерть. Заглянув в буфет, наскребла из пока еще не проданного Ольгой фарфорового антиквариата шесть приборов. На каждую из десертных раззолоченных тарелочек положила по пирожному. И разлила вино. Поровну во все шесть бокалов. Глотнула из своего, и стихи пошли, сами, своим ходом:

И месяц, скучая в облачной мгле,
Бросил в горницу тусклый взор.
Там шесть приборов стоят на столе,
И один только пуст прибор.

Это муж мой, и я, и друзья мои
Встречаем новый год.
Отчего мои пальцы словно в крови
И вино, как отрава, жжет?

Хозяин, поднявши полный стакан,
Был важен и недвижим,
«Я пью за землю родных полян,
В которой мы все лежим!»

А друг, поглядевши в лицо мое
И вспомнив Бог весть о чем,
Воскликнул: «А я за песни ее,
В которых мы все живем!»

Но третий, не знавший ничего,
Когда он покинул свет,
Мыслям моим в ответ
Промолвил: «Мы выпить должны за того,
Кого еще с нами нет».

Пунин, хотя и дал слово, что объявится только после праздника, не вытерпел. 31-го, с утра пораньше, ввалился с охапкой выпрошенных у дворника дров. Это, Аня, вместо новогодних роз, и приготовился к вспышке гнева. Гнева не последовало. Кроме «Новогодней баллады» той же ночью случилось еще одно странное стихотворение. Оно ей нравилось даже больше, чем «Баллада». Вы расположены слушать стихи? Тогда слушайте! Прочла «Новогоднюю балладу» и, не взглянув на него, вполоборота, без разъяснений продолжила:

За озером луна остановилась
И кажется отворенным окном
В притихший, ярко освещенный дом,
Где что-то нехорошее случилось.

Хозяина ли мертвым привезли,
Хозяйка ли с любовником сбежала,
Иль маленькая девочка пропала,
И башмачок у заводи нашли…

С земли не видно. Страшную беду
Почувствовав, мы сразу замолчали.
Заупокойно филины кричали,
И душный ветер буйствовал в саду.

Николай Николаевич растерялся. Анна Андреевна Горенко-Гумилева-Шилейко загадочно улыбалась, одними глазами, ставшими вдруг пронзительно-зелеными. У вчерашней Ани были другие глаза – серые, матовые, бархатные. Вчерашняя сероглазка, ласковая и простая, по-сестрински кормившая его пирожными, такого написать не могла. Страшные стихи принадлежали другой женщине, всеведущей, бесслезной. Такой Пунин ее не любил, потому что боялся. Его Ан., Олень, Ноченька – нежность и беспомощность. А эта, пророчица и провидица, слишком похожа на примадонну Серебряного века, страшную, великолепную и мистическую, от которой в почтительном ужасе он отшатнулся в

октябре 1914-го.

Анна Андреевна, догадавшись, что *Николаша* «сдрейфил», тут же у него на глазах преобразилась из грозной и суровой *Акумы* в миловидную, хотя и не слишком ухоженную домоседку. Заставила выпить вина, пирожные, все шесть, сложила в коробку, коробку сунула ему в руки – *не пропадать же щам, ведь они посоленные!* И только в распущенной черной гриве (когда Николай Николаевич заявился, Анна Андреевна причесывалась) оставалось что-то вольное, дикое, неручное и приручению не поддающееся.

Спускался он по загаженной лестнице медленно и на ощупь – Анна бежала за ним, «перил не касаясь». Догнала и положила в карман новогодний подарок-воспоминание о зимнем Царском Селе. Неделю назад они долго бродили по городу своего детства и первой юности, удивляясь, что по-настоящему встретились так поздно:

Хорошо здесь: и шелест и хруст;
С каждым утром сильнее мороз,
В белом пламени клонится куст
Ледяных ослепительных роз.
И на пышных парадных снегах
Лыжный след, словно память о том,
Что в каких-то далеких веках
Здесь с тобою прошли мы вдвоем.

Напуганная неожиданно крутым оборотом дела, сразу же после Нового года Анна Андреевна укатила в Москву. Николай Николаевич, придя, как и было договорено, в первый же послепраздничный рабочий день на Фонтанку, 18, не застал там никого, кроме прислуги. Оленька, мол, все еще на гастролях, в провинции, Аничка уехавши и, когда будут, не сказывали. Пунин попробовал обидеться, но, по размышлении, обиду отменил. Он и сам был в состоянии легкой паники – что-то будет? А главное, не меньше, чем Анна, боялся пересудов.

Первой догадалась о случившемся Ольга Афанасьевна. Тайну случайно выдал сам Николай Николаевич. Сильно подвыпив, он вдруг, незваный, ввалился к ним в третьем часу ночи. Но эта оплошка случится с ним лишь летом 1923-го. Почти год они так искусно скрывали свои новые отношения, что даже жена Пунина, вернувшись как-то с ночного дежурства и увидев в столовой знаменитую замужнюю даму, которую ее муж любезно потчует кофием, ничего не заподозрила. Она еще помнила те горько-веселые времена, когда к ним валом валил голодный и

бездомный авангард обоего пола. Ситуация изменилась с отъездом Судейкиной, к лету 1924-го. Комната, в которой подруги обитали после того, как Ольга решила продать оставленные ей Судейкиным апартаменты, была казенной – от Ломоносовского фарфорового завода. Забрав остатки не реализованного Ольгой антикварного полулома, Анна вернулась в Мраморный дворец, в те две смежные комнаты, что пока еще числились за Вольдемаром Шилейко.

Отъезд Судейкиной совпал с концом относительно благополучного периода в жизни Ахматовой. С некоторой долей иронии сей промежуток краткий (с середины 1922-го по конец октября 1924-го) она называла prosperity. В сравнении с ужасом, который обрушил на колыбель революции «Прославленный Октябрь»,[44] ее существование в первые годы нэпа и впрямь можно было называть *процветанием.*

Три книги, вышедшие одна за другой («Подорожник» и два издания «Anno Domini»), хотя и не принесли обещанных жирных гонораров, сделали ее имя неуязвимым даже для улюлюканья пролетарских критиков. Когда один из литературных гегемонов не в меру распоясался, его поставила на место не кто-нибудь, а сама Александра Михайловна Коллонтай. Дескать, нет ничего опасного для пролетарской революции в том, что коммунистки плачут над томиками некоммунистки Ахматовой, ибо ценность и даже актуальность ее стихов в том, «что в них говорится о пробуждении женщины, о пробуждении в ней веками попранной гордости и человеческого достоинства, о стремлении обрести себя как личность».

Разумеется, тот факт, что ее как представительницу старого мира решительно отодвинули на обочину жизни, в том числе и жизни литературной, социальному оптимизму не способствовал. Однако литературная общественность Ленинграда, и прежде всего Николай Семенович Тихонов, лично к Анне Андреевне относится с величайшим пиететом. Ее стихи переводят на английский и немецкий, и это пока еще не считается преступлением, предполагающим общественное осуждение. Больше того, именно в те же самые годы изучением феномена Анны Ахматовой всерьез занялись будущие столпы советского литературоведения. В.В.Виноградов исследует язык ее лирики («Семантические наброски. Язык А.Ахматовой»), Б.Эйхенбаум – метод («Анна Ахматова. Опыт анализа»).

Как это объяснить? Почему Ахматовой так долго позволялось то, что не сходило с рук, к примеру, даже всеобщему баловню Сергею Есенину? Думается, прежде всего потому, что ее поэзия первых послереволюционных лет не укладывалась ни в

антисоветскую схему, ни в ортодоксальный канон. Это резко выделяло Ахматову среди писателей Серебряного века, художественно самоопределившихся до октября 1917-го. Все они, от Блока и Бунина до Есенина и Маяковского, восприняли революцию как явление тектонической силы, разломившее их творчество на *до* и *после,* тогда как в ахматовских стихах 1917–1924 годов следы разлома почти незаметны. Не находя ни открытой кровоточащей раны, ни свежего рваного рубца, ни трагической через сердце поэта трещины там, где по всем диагностическим показаниям должен быть революционный, со смещением, разлом, критика левого толка сделала вывод о социальной индифферентности автора.

Десятилетие назад она, кокетничая, говорила, что устала считать своих «пленников». В 1924-м, рисуясь и не замечая, как нейдет к ней «позерство», сообщает Чуковскому, что раздружилась с Эйхенбаумом из-за его книги. Чуковский в недоумении. Недоумение разъяснилось лишь после того, как Ахматова, привлеченная им к комментированию сочинений Некрасова, накорябала нечто столь непрофессиональное, что Корней Иванович обомлел. Сначала обомлел и только потом сообразил, что Анна Андреевна и теоретическая филология – две вещи несовместные. Оттого и с Борисом Михайловичем Эйхенбаумом рассорилась. Но когда, кинувшись к Лозинскому, попробовал посплетничать на сей счет, Михаил Леонидович Корнея Ивановича ласково-вежливо окоротил. Ей – можно. Все можно. Даже если будет рифмовать по схеме: губернатор – вице-губернатор, сделаем вид, что так и надо.

Неколебимая в своем наивно-простодушном эгоцентризме, Анна Андреевна связывала конец эпохи своего процветания с собственными выступлениями в Москве весной 1924 года, а еще конкретнее – с «Новогодней балладой», которую читала на поэтических вечерах и в которой якобы некто, там, наверху, увидел концентрат антисоветчины. В реальности крамола была не в ней, а в журнале «Русский современник». Сути рассказанного в балладе поначалу толком никто и не расслышал: нечто «торжественно-монотонное» «о мертвецах». А вот журнал…

Идея журнала для беспартийной, хотя и лояльной к советской власти интеллигенции принадлежала Горькому. Однако к тому времени, когда благая идея с наступлением нэпа сделалась осуществимой, Буревестника в советской России уже не было. Перестали действовать и подписанные им «охранные грамоты». Да и сам Алексей Максимович, обустраиваясь в безопасном далеке, от происходящего на родине дистанцировался. Перевалил ответственность за спровоцированный им проект на редсовет и

редакцию (К.И.Чуковского, Евгения Замятина и др.). Если бы «Русский современник» не двинулся из только что переименованного в Ленинград Петрограда на завоевание Москвы, он, может, и просуществовал бы еще некоторое время. Но Евгений Замятин, организовавший московский «пиар», включая афиши с портретом Ахматовой, оказался тем самым мудрецом, на которого довольно простоты. Слишком уж сильного ажиотажа, правда, не было. И тем не менее «пилотный» номер, попав под пристальное внимание партийной критики, вызвал неудовольствие, несмотря на то что ничего открыто антисоветского в нем, повторяю, не было. Крамольной была не конкретика, то есть тексты, а сама идея – идея беспартийного издания. Почуяв это, Горький, придравшись к пустякам (по требованию цензуры в его очерке «Владимир Ильич Ленин» пришлось сделать незначительные купюры), заявил во всеуслышание, что никакого отношения к несвоевременной журнальной затее не имел и не имеет.

Прямых и немедленных санкций не последовало. Возмущенные грубыми наскоками на *попутчиков* и их покровителя А.Н.Воронского, Алексей Толстой, Бабель, Пильняк и Зощенко отправили в ЦК РКП(б) письмо с требованием защитить их от огульных обвинений «во враждебности рабочему классу». Луначарский принял меры, кампания чуток поутихла. Но Горький запаниковал не зря: время переломилось. Рассчитанный на долгую жизнь «Современник» еле-еле дотянул до четвертого номера.

В «Записных книжках», которые заведутся у нее после 1958 года, Ахматова накрепко свяжет с этим переломом конец недолгого своего «процветания». Однако в 1924-м связи между своим и общим всем она пока еще не замечает. Даже Пунину жалуется, что перестала писать не потому, что изменились обстоятельства, а из-за него. Стихи, мол, требуют душевной свободы, а счастливая любовь – неволя. Сладкая, но неволя.

Впрочем, крупица правды в этих уверениях была. После того как Пунин летом 1924-го написал жене процитированное выше письмо о своем отношении к Ахматовой, униженная и оскорбленная Анна Евгеньевна (по-домашнему Галя) потребовала развода. Пунин обрадовался. Анна Андреевна отнеслась к новости скептически и оказалась права. Никогда больше ни Анна Евгеньевна, ни Николай Николаевич слова *развод* не произносили. В результате самим ходом вещей А.А. была неожиданно поставлена перед выбором: либо смириться с положением то ли официальной любовницы, то ли второй жены, либо сказать «нет!». Одно дело тайный роман и совсем другое –

известная всему Питеру связь с женатым человеком, который и не думает разрывать с женой. В иной жизненной ситуации, допустим, если бы Ольга Судейкина не надумала эмигрировать, А.А. наверняка выбрала бы второе. Однако теперь, когда после отъезда *Коломбины* осталась без крыши над головой, пришлось считаться не только с чувствами, но и с жизненными реалиями, и прежде всего с самой неразрешимой для советского человека проблемой – проблемой жилья. В Бежецк к бывшей свекрови и сыну она не могла уехать, поскольку тамошнее ее место заняла законная вдова Николая Степановича Анна Николаевна Энгельгардт с болезненной девочкой. У тетки под Киевом, где ютилась мать, ее тоже никто не ждал. У Шилейко, с которым де-факто она разошлась, но де-юре продолжала состоять в законном браке, появилась в Москве более солидная, нежели в Питере, работа. И хотя у него и там имелась служебная комнатенка, Вольдемар Казимирович регулярно наезжал в Ленинград, не желая терять ни здешние рабочие места (и в университете, и в Академии материальной культуры), ни жилплощадь. Единственным человеком, кроме Пунина, на которого Анна Андреевна могла бы теперь опереться, был давний друг и верный поклонник Михаил Михайлович Циммерман (в ту пору он заведовал «режиссерским управлением» в Ленинградском академическом театре оперы и балета, тогда еще Мариинском). Именно к Циммерману в первые годы их близости люто ревновал Пунин. Его дневниковые записи 1923–1924 годов, как болевыми спазмами, прострелены упоминаниями о свиданиях А.А. с Михаилом Михайловичем:

«Проводил до трамвая, поехала в театр, к Циммерману; расстался с уверенным чувством скорого разрыва и разлуки».

«Сегодня было так. Ан. обедала у меня. В шесть часов ей нужно было звонить Циммерману, у него умер отец, Ан. его очень жалко. Проводил ее в музей к телефону. Недолгий разговор, из которого до меня, стоявшего в коридоре, долетали отдельные слова, из них слово "завтра"».

«Я ее снова мучительно ревновал к М.М., разговаривали и мучились до 5 часов утра…»

«Целый день ничего не мог делать от боли… вот как складывались чувства-мысли: Ан. уверяет, что принесла мне в жертву М., а встречи ее с М. все чаще и длительней…»

Прибавлю к этим «воплям души» еще и коротенькую выписку из так называемой «Разговорной книжки» (Ахматова и Пунин, если оказывались в каком-то неудобном для устного диалога месте – кафе, ресторане, трамвае или прогулочном катере, – разговаривали «письменно»): «Ан., родная, Ноченька. Я не могу

больше так. Обещай мне, что больше никогда не будешь ездить в Мариинский театр и не видеть М.М.».

Пунин ревновал не на пустом месте. Родные Михаила Михайловича благосклонно относились к женщине его выбора. Когда у Ольги Судейкиной появилась надежда на получение заграничной визы, сестра Циммермана предложила Ахматовой переехать к ней. Об этом Пунин сообщает жене в письме от 5 июля 1924 года: «…Получено письмо от Лурье, в котором он обещает визу и деньги; квартиру они ликвидируют, А.А будет жить в комнате на Владимирском, у сестры Михаила Михайловича».

Словом, если бы М.М. Циммерман не слег с тяжелой формой туберкулеза, еще неизвестно, как развязался бы завязанный стечением житейских обстоятельств достаточно тугой и затейливый психологический узел. Был ли недуг внезапным обострением хронического ТБЦ, или Циммерман заболел внезапно, но с весны 1924-го состояние его здоровья резко ухудшилось. Летом Михаил Михайлович уехал в Одессу (см. письмо А.А.Ахматовой к Н.Н.Пунину от 23 июля 1924 г.). На юге он ожил, но ненадолго. В начале 1925-го процесс опять обострился. Верная данному Пунину слову ничего не скрывать от него в своих отношениях с Михаилом Михайловичем, Ахматова пишет уехавшему в отпуск Николаю Николаевичу: «Вчера была в Царском. Мать М.М. встретила меня на лестнице и сказала: не позволяйте ему говорить. Сегодня утром было кровохарканье. Я вошла, М. изменился мало, розовый, глаза блестят, но руки желтые и худые. Показал, чтобы села к нему на постель. Улыбнулся мне и зашептал (говорить не может): "А я о вас сегодня все время думаю". Сидела у него минут 20. В парк не пошла…» Больше ни в дневнике Пунина, ни в «Разговорной книжке» имя Циммермана не возникает. По-видимому, он, как и все туберкулезники, прибег к единственному относительно надежному лекарству от злой чахотки – уехал на южный берег Крыма…

Отъезд Циммермана отменил план подселения Анны Андреевны к его сестре, и ей ничего иного не оставалось, как вернуться в Мраморный, то есть туда, откуда она два года назад убежала. Кроме квартиры Вольдемар Казимирович оставил полубывшей жене огромную собаку, сенбернара по имени Тап, а также доверенность на получение полагавшихся ему в зарплатные дни денег. Сумма была ничтожной, еле-еле хватало на прокорм собаки и оплату жилья. А если что и оставалось, Анна Андреевна переправляла эти гроши в Москву, естественно, по настойчивым напоминаниям Вольдемара. Пунин тем не менее успокоился.

Ревновать к отсутствующему Шилейке было смешно, Циммерман в Крыму, а Мраморный дворец в десяти минутах ходьбы от Шереметевского дворца. Успокоилась и Анна Евгеньевна. Чуть было не разрушившая их семью соперница сильно похорошела и была в такой славе, всегда в окружении знаменитых литераторов, что, по разумению госпожи Аренс-Пуниной, ей ничего не стоило найти себе более подходящего мужа или, на худой конец, более надежного и состоятельного любовника, чем ее собственный незадачливый супруг.

Мир в душе Пунина продолжался недолго. В начале ноября 1924 года Анне Андреевне официально возобновили прописку в служебном корпусе Мраморного дворца, по адресу: ул. Халтурина, дом 5, кв. 12. А через месяц в дверь квартиры постучался пригожий молодой человек, Павел Николаевич Лукницкий, выпускной студент Ленинградского университета, филолог, выбравший темой дипломной работы творчество Николая Гумилева. Пришел по делу, но («по воле рока») случилось то, чего ни сам визитер, ни Анна Андреевна совершенно не ожидали. Молодой человек влюбился. Почти так, как в известном стихотворении Ярослава Смелякова:

Вам не случалось ли влюбляться,
Мне очень грустно, если нет,
Когда вам было чуть за двадцать,
А ей почти что сорок лет…

Влюбившись в Анну Андреевну, студент, естественно, невзлюбил Пунина. Причем с первой же встречи, когда и вообразить не посмел бы, чем обернется его сугубо служебный визит. По его мнению, вдове Гумилева (вдовство за второй женой Николая Степановича Павлик Лукницкий не признавал) не пристало заводить «амурные шашни» с каким-то «писателем по вопросам изобразительного искусства», да еще и женатым. Брак с Шилейко – другое дело. Вольдемара Казимировича Павел Николаевич почти готов был допустить, поскольку в университетских кругах тот был личностью легендарной, да и то лишь в роли бывшего мужа. Пунин на бывшего не походил. Это-то и вызывало неприязнь. Конечно, студент изо всех сил старался свои истинные чувства скрыть, даже от дневника, но неприязнь все-таки прорывалась. В мелочах. Например, в жеманных словечках, которые Николай Николаевич употреблял, а Павел Николаевич запоминал: «Спасибо, душенька», «Трамуси» вместо трамвай и т. д.

Пунин, поначалу не обращавший на «молокососа» внимания,

слишком поздно сообразил, что же на самом деле происходит. А сообразив, что происходит *любовь*, возмутился: да как он смеет, этот мальчишка? Но Анна, почти легко «уступившая» *Николаше* Циммермана, Павлика не отдала. Спокойно и четко, как второгоднику правила правописания, объяснила. Безнадежная любовь – та же ветрянка. Если не расчесывать, и следа не останется. И чем раньше ею переболеть, тем лучше. А ей без помощи этого мальчика пунинских вывертов не вытерпеть. И чем на пустом месте ревновать, лучше в церковь сходите, свечку Анне Пророчице поставьте. Это она его в мой дом привела. Мне в Сретенье знак был: пришел ниоткуда и уйдет в никуда. А вы, милый друг, еще долго-долго со мной будете. Но и вы уйдете, только потом, не скоро.

Павлик Лукницкий не *последняя жертва,* которую Анна Андреевна, хотя, видимо, и не без колебаний, принесла Пунину. Человека, который по своим данным вполне мог расстроить их странный союз, звали Борис Пильняк. В двадцатые и тридцатые годы Пильняк был не просто известным беллетристом. Среди тогдашних знакомых Ахматовой он был едва ли не самый знаменитый. Когда произошло их знакомство, точно неизвестно, но уже в 1922-м, как записал Лукницкий, она была в числе приглашенных на его чествование («А.А познакомилась с Фединым в 1922 году в ресторане на чествовании Пильняка»). В апреле 1924-го в Москве они вместе выступали на вечерах «Русского современника», в том числе и на том, на котором Анна Андреевна читала «Новогоднюю балладу». После этого вечера Пильняк написал в «Чукоккале» Чуковского, что Ахматова смотрелась на сцене «как черный бриллиант». Если это и положенное по жанру литературного комплимента преувеличение, то не слишком сильное. К весне 1924-го к ней, как уже упоминалось, вернулась воспетая ста поэтами красота, казалось бы, убитая годами горя и нищеты. Превратившаяся чуть ли не в живые мощи (наблюдение Георгия Чулкова) во время голода 1919–1920 годов, потрясенная казнью Гумилева, затурканная патологической ревностью Шилейки, она после встречи с Пуниным вновь расцвела.

Про то, что Пильняк был сильно неравнодушен к Анне Ахматовой, с уверенностью пишут многие мемуаристы. А вот о ее к нему отношении упоминают мельком и без деталей. Можно, однако, с достаточной определенностью допустить, что настойчивое внимание автора «Голого года» и «Красного дерева» не могло не импонировать Ахматовой. Ей всегда нравились уверенные и сильные мужчины, а Пильняк был из породы

уверенных. Вот каким запомнил его Корней Чуковский: «Был… у Пильняка. За городом. Первое впечатление: страшно богато, и стильно, и сытно, и независимо». Запись сделана 25 ноября 1930 года. Следующая от 27-го того же месяца и года: «Вчера за мной заехал к Кольцову Пильняк – в черном берете, – любезный, быстрый, уверенный – у него «форд», очень причудливой формы, – правит он им гениально, с оттенками. По дороге выскакивал несколько раз: "Разрешите вас на минуту покинуть!"… По дороге: "С писателями я почти не встречаюсь. Стервецы… " Опять ловко, быстро и уверенно в гастрономический магазин. Выбежал с бутылкой. В доме у него два писателя, Платонов и его друг, про которого он говорит, что они лучшие писатели в СССР… Сейчас же сели обедать… Гусь с яблоками… Платонов рассказал, что у него есть роман «Чевенгур»… роман этот запрещен… Его даже набрали в "Молодой гвардии", и вот он лежит без движения… Пильняк повторил, что мы живем в атмосфере теней, что Федерация пролетарских писателей, на кой черт она, только держится закрытым распределителем, а таких писателей, как Фадеев и Авербах, нету, таких газет, как "Лит. газета", нету… Тут Пильняка начала бить лихорадка. Малярия… Мы перешли на диван в кабинет. У Пильняка застучали зубы. Он укутался в плед. На стене в кабинете висит портрет Пастернака с нежной надписью… Заговорили о Пастернаке… Пильняк произнес горячую речь, восхваляя его. Речь была очень четкая, блестящая по форме… Я впервые слышал от Пильняка такие мудрые отчетливые речи. Все слушали как завороженные.

Вообще у всех окружающих отношение к Пильняку как к человеку очень хорошему, светлому, теплому, – и для меня это ново, ему, видимо, приятно излучать теплоту, и ко мне он отнесся очень участливо, даже подарил мне галстук, так как, по рассеянности, явился к нему без галстука… Я ушел обласканный…»

Несмотря на независимость, дружбу с «запрещенным» Платоновым и резко расходящееся с официальным отношение к советской действительности, Борис Пильняк долгое время пользовался особым вниманием не только партии и правительства, но и самого Сталина. Вот очень характерный случай. Весной 1932 года Пильняк, навестив разболевшегося Чуковского, жаловался Корнею Ивановичу, что Сталин посылает его в Японию, а ему хочется в деревню («засесть за роман», «месяца на два»). Но приходится ехать, потому как возражать «отцу народов» опасно. В тот же день Пильняк рассказал Чуковскому, что намеревался взять с собой в Японию Пастернака. Борис Леонидович без Зинаиды Николаевны любоваться сакурой

не захотел, а Пильняка не устраивало путешествие по Стране восходящего солнца в тесной компании с новоиспеченной мадам Пастернак («эта новая еще хуже прежней»). В результате Борис Леонидович, которого сильно «настрюкала» новенькая жена, надулся, и прекраснейший план расстроился.

Столь же легко, как заграничные паспорта, добывал Пильняк и нужные ему деньги. Отказавшись взять у казны валюту для поездки в Японию, он предложил ОГИЗу купить у него десятитомное собрание сочинений. Издавать пильняковский многотомник ОГИЗ по причине отсутствия бумаги не собирался, но 5000 рублей, сумму по тем временам невероятную, выдал. Пильняк деньги взял, но буркнул, и не под нос, а во всеуслышание: «Ничего себе издательство, которому выгодно платить автору 5000 рублей, не издавая его».

Конечно, ОГИЗу было совсем не выгодно выплачивать неиздаваемому автору бешеные гонорары. Зато крайне выгодно было другое: угодить человеку, которому «высшей властью» почему-то позволено жить не на общих основаниях. На сей счет и в те времена, да и теперь высказывается множество предположений. И все-таки, на мой взгляд, вероятнее всего допустить самое очевидное, пусть и невероятное. Дозволяя Пильняку разъезжать по заграницам, Сталин преследовал вполне определенную цель. Один внешний вид этого импозантного, обаятельного и явно состоятельного человека убеждал западный мир, что дела в СССР идут лучше лучшего.[45]

Анна Андреевна никогда не скрывала, что Пильняк несколько раз делал ей предложение и что каждый раз, бывая в Питере проездом, присылал корзину роз. Когда именно Борис Андреевич предлагал Анне Андреевне руку и сердце, неизвестно. Скорее всего в середине двадцатых – в ту пору он был в стадии развода с первой женой. К началу тридцатых Пильняк снова женат. Однако, судя по его письму к дочери Пунина, в котором он приглашает восьмилетнюю Иринку вместе с А.А., которую почему-то называет *Ваней,* к себе в гости («…в Москве будешь кататься на автомобиле и на мне. Будет очень весело, будем пить вино и каждый день делать Ванины именины»), он и в феврале 1930-го не оставил попыток сломать ее молчаливое сопротивление.

Кстати, о винопитии. Про то, что Ахматова, даже в старости, любила, что называется, «немножко выпить», и делала это весело, и никогда не пьянела, общеизвестно по многим и многим воспоминаниям. Но почему-то никто из мемуаристов не обратил внимания на то, что с людьми, которые не умели пить вино, не вообще, а именно с ней, неважно, по какой причине, у нее отношения либо необъяснимо разлаживались, либо

останавливались у какой-то черты и уже не развивались. Так было с Лозинским, с Лидией Корнеевной Чуковской, не всегда, но часто с Пуниным. С Пильняком тоже. Выпив, Борис Андреевич переставал быть *человеком для нее,* становился *человеком для всех.* И сразу грубел. Тяжелел. Дурнел. А ведь пил только хорошее, настоящее вино и толк в нем знал. Впрочем, один раз они все-таки выпили не по-пильняковски – по-ахматовски. В 1934 году Пильняк купил в Америке очередную машину и отправил ее в СССР морским путем. Получив извещение о прибытии ценного груза, заявился в Ленинград и, сделав по привычке очередное брачное предложение, уговорил Ахматову «покататься». Точнее, прокатиться до Москвы. На этот раз она не устояла – не перед самим Б.А., а перед его новеньким «"фордом" причудливой формы» (из всех технических достижений XX века А.А. признавала только автомобиль).

В Торжке, где путешественникам пришлось остановиться из-за неполадок в моторе, местные жители их чуть было не поколотили, приняв «не по-нашему» одетую пару за недорезанных буржуев.

Распатриотившихся обывателей Пильняк кое-как усмирил, но пассажирка, в которой экспроприаторы из Торжка мигом (да здравствует классовое чутье!) угадали «заразу из бывших», пережила несколько достаточно неприятных минут. В Торжке же выяснилось, что Пильняк, забегавшись и захлопотавшись, позабыл набить багажник съестным и хмельным. Пришлось, отъехав от города, остановиться и выпить прямо в машине ужасную, тошнотворную водку. Местную, сильно смахивающую на самогон.

Рассказывая Лидии Корнеевне Чуковской историю стихотворения «Все это угадаешь ты один…», посвященного памяти Бориса Пильняка, Ахматова, как бы между прочим, заметила: несмотря на брачные предложения и розы, вызывавшие у Пунина дикую ревность, особенной дружбы меж ними не было. После его смерти она, правда, скажет иначе: «Я о тебе, как о своем, тужу…» Но пока Пильняк был жив и вызывающе благополучен, в *своих* он не числился. Уже потому не числился, что был человеком другого круга. Рос в простой семье, долго жил в уездной Коломне, учился урывками, путал художника Юрия Анненкова с поэтом Иннокентием Анненским. Однажды спросил, кто такой Стасов. Кроме того, Ахматову, по-видимому, шокировало поразительное умение Бориса Андреевича устраивать свои денежные и разные прочие материальные дела. Корней Чуковский с присущей ему наблюдательностью неоднократно замечал, что Пильняк, хотя и имел в литературной

среде имидж кутилы и рубахи-парня, никогда не терял лица, даже пьяный был себе на уме. Казалось бы, после того как в 1929 году его повесть «Красное дерево» осудили «за антисоветизм» специальным решением партии и правительства (Ахматова в знак протеста против этой акции даже вышла из Союза писателей), его положение должно было пошатнуться. Не пошатнулось. Уйдя ненадолго в тень, точнее, изобретя себе очередное путешествие, Пильняк по возвращении в столицу продолжил свой победительный путь – все выше и выше, пока не рухнул, кстати по доносу люто завидовавшего ему коллеги писателя Павленко, автора пресловутого романа «Счастье» (в записях Ахматовой этот махровый сталинист фигурирует под кодовой кличкой «счастливец»).

Словом, при всех своих достоинствах Борис Пильняк был все-таки пусть и героем, но не ее романа. Тем не менее в 1936 году, оказавшись на даче в Старках, в гостях у переводчика Сергея Шервинского, Анна Андреевна, узнав, что хозяин собрался за продуктами в Коломну, попросила захватить и ее. В дневнике Льва Горнунга, гостившего в Старках одновременно с Ахматовой, этот день описан так: «Идти на первый поезд было уже поздно, но Сережа где-то выяснил, что в час дня со станции Пески на Коломну пойдет рабочий поезд. Сережа, Анна Андреевна и я отправились на станцию. Туман расходился, и начинало припекать солнце. После некоторого колебания Анна Андреевна решила, что все равно надо ехать… Коломна интересовала Анну Андреевну не только своей стариной. Ей хотелось посмотреть на город, в котором в 1919 или 1920 году на Старом Посаде одно время жил писатель Борис Пильняк. В его книге есть точное описание этого района и Заречья. Там он написал свою повесть «Колымен-град»… Анна Андреевна дружила с Пильняком в последние годы его жизни».

Чтобы решиться на путешествие в битком набитом рабочем поезде только для того, чтобы увидеть город, в котором Борис Вогау, рыжеволосый и близорукий молодой человек, с длинным лицом «немецкого колониста», стал блистательным Борисом Пильняком, надо было не только ценить его своеобразную прозу, но и с достаточным интересом относиться к нему самому. Во всяком случае, для Ахматовой, тугой на подъем и не переносившей жару (из-за больного сердца и щитовидки), поездка в Коломну была не просто утомительной, но и почти непосильной. Не будь Коломна городом Пильняка, она наверняка предпочла бы поездке за продуктами купание в Москве-реке – от Старков до июльской парной воды не более получаса хорошего хода…

Согласно данным Комиссии по реабилитации литераторов, репрессированных в период сталинского режима, Борис Андреевич Вогау (соц. происхождение: из немцев-колонистов; псевдоним: Борис Пильняк) умер в тюрьме в 1941-м. Ахматовой из надежных источников была известна другая, правильная дата. Декабрьской ночью 1938 года, по получении страшной вести, она написала посвященные ему стихи. Не о мертвом Пильняке написала – о живом. И не об удачнике, которым восхищались женщины и которому люто завидовали коллеги по цеху. Написала о человеке, излучающем свет и теплоту, то есть о таком Пильняке, каким Борис Вогау позволял себе быть только со своими:

Все это разгадаешь ты один…
Когда бессонный мрак вокруг клокочет,
Тот солнечный, тот ландышевый клин
Врывается во тьму декабрьской ночи.
И по тропинке я к тебе иду,
И ты смеешься беззаботным смехом,
Но хвойный лес и камыши в пруду
Ответствуют каким-то странным эхом…
О, если этим мертвого бужу,
Прости меня, я не могу иначе:
Я о тебе, как о своем, тужу,
И каждому завидую, кто плачет,
Кто может плакать в этот страшный час
О тех, кто там лежит на дне оврага…
Но выкипела, не дойдя до глаз,
Глаза мои не освежила влага.

1938
Фонтанный Дом. Ночь

Как свидетельствуют даты, не-роман Анны Ахматовой с Борисом Пильняком длился столько же лет, что и ее роман с Николаем Пуниным (19221937 гг.). И то, что он так и не состоялся, – еще одно доказательство неправоты Николая Николаевича, пытавшегося убедить себя, что «Аня его никогда не любила». Впрочем, кроме просто любви, того, что происходит между мужчиной и женщиной, когда они любят друг друга, в их отношениях слишком многое сошлось и смешалось. Да, в Пунине Анна неожиданно нашла то, чего напрасно искала в Шилейке: надежное постоянство, семейную, а не богемную жизненную установку, а главное, порядочность. Но тут-то и таился корень

беды!

Именно в силу порядочности, помноженной на бесхарактерность, связал Пунин свою жизнь с жизнью Ахматовой, не только не разойдясь официально с прежней женой, но как бы и не уходя из семьи. Анна Андреевна бытовала в его квартире на заведомо ненатуральных условиях. Вносила в семейный бюджет Пуниных «кормовые деньги», не мешала законной супруге Николая Николаевича в родственных кругах по-прежнему числиться и представительствовать в качестве мадам Пуниной… Выяснилось это, конечно, не сразу, но как только А.А. поняла, что сложившееся положение не временное затруднение, а способ существования, modus vivendi, пыталась, и не однажды, изменить ситуацию. Уезжала надолго в Москву, просила друзей подыскать ей комнату… И каждый раз Николай Николаевич заявлял, что без нее не может работать, а если он не будет работать, то все семейство погибнет от голода. И Анна Андреевна возвращалась, и они все – и Пунин, и его официальная, по документам, жена, и дочь – делали вид, что так и надо, что странный сей симбиоз в порядке вещей. Что же касается друзей Анны Андреевны, то они, похоже, придерживались правила: в доме повешенного не говорят о веревке. Зато уж недруги были в восторге: наконец-то они получили вечный сюжет для злословия.

В отличие от Шилейки Пунин не разжигал ни самовара, ни печки рукописями ахматовских стихов. И двери его дома были широко распахнуты для всех знакомых *Акумы.* Больше того, при всем том что бытовали они в бедности, куда беднее, чем многие в их кругу, все-таки и Пунин, и его жена ежемесячно получали зарплату. С некоторыми перерывами и перебоями получала, по болезни, пенсию и Ахматова, правда, половину тут же отправляла в Бежецк сыну и свекрови, а вторую делила между своей матерью и собакой Тапом (Шилейко, женившись, забросил своего пса). Оставалась от пенсии сущая мелочь: на папиросы, самые дешевые, и трамвай. Очень часто Анна Андреевна отказывалась и от публичных выступлений, и от приглашений и контрамарок в театр просто потому, что ей нечего было надеть. Однажды потеряла туфлю от единственной «выходной» пары – выронила из муфты, доставая мелочь, и эта потеря чуть ли не год стала главной причиной ее затворничества. И тем не менее по сравнению с бездомьем 1917–1922 годов квартира Пуниных была убежищем, хотя Анна Андреевна никогда не называла ее блаженным словом: дом. Всегда: Фонтанный Дом. Именно так – с большой буквы: Д и Ф. Она и Пунину не говорила на людях «ты», так же как и он ей. Вы, Николай Николаевич… Вы, Анна Андреевна… И даже если – Аня, все равно: вы.

Отчуждение вызывалось еще и тем, что Николай Николаевич не признал сына Анны Андреевны ребенком своего дома, а Анна Андреевна из гордости обходила этот крайне болезненный «пункт» их брачного договора молчанием. Считалось, что Леве лучше жить подальше от столицы. К тому же нельзя отнять у бабки, Анны Ивановны Гумилевой, ее единственную после смерти сыновей отраду (Дмитрий умер в сумасшедшем доме спустя год после расстрела Николая). Однако когда старшая (сводная) сестра Николая Степановича А.С.Сверчкова, жившая с мачехой в Бежецке, из тех же соображений предложила усыновить Льва Гумилева, Анна Андреевна наотрез отказалась. Пунин столь естественного в сложившейся ситуации решения никогда не предлагал, тогда как Ахматова относилась к его дочери, а потом к внучке как к родным, и эта разность сильно осложняла отношения. Между сыном и матерью – явно, между Ахматовой и Пуниным – тайно. Но даже в этих условиях они долго, в течение пяти лет, несмотря на размолвки, ссоры и неестественность бытования, умудрялись быть счастливыми. Встретив их в августе 1927 года в Летнем саду, жена художника Осмеркина была удивлена сиянием счастья, которое излучала эта пара (Пунина Осмеркина-Гальперина знала в лицо, Ахматову видела впервые): «Я увидела вдали две фигуры: женщину и мужчину. Они сразу приковали к себе мое внимание. Согласная ритмичность их походки, стройность, вернее, статность этих фигур поразили меня…

Он в светлом костюме, она в легком платье. Мне бросилась в глаза знакомая по портретам челка. Я никогда не видела живую Ахматову, но знала ее изображения… и всегда читала на ее лице выражение какой-то отчужденности и тщательно скрываемого богатства внутреннего мира. Но теперь к нам приближалась женщина, улыбка которой, сиянье глаз были полны радостью бытия. "Да, я счастлива, – читалось на ее лице, – счастлива вполне". Пунин был тоже в прекрасном настроении, но в его повадке сквозило самодовольство. Весь его вид, казалось, говорил: "Это я сумел сделать ее счастливой"». За описанием этой сцены следует такая фраза: «Мы постояли несколько минут. Осмеркин представил меня Ахматовой. Потом я встречала ее много раз в течение ряда лет, но никогда уже не видела в ее облике такого полного приятия жизни».

Действительно, такого счастливого года, как 1927-й, у них уже больше не будет. Во-первых, это был последний год, когда Анна Андреевна еще не полностью *квартирно* зависела от Пуниных. Прописали они ее еще в 1926-м, после того как, разойдясь официально с Шилейко, она потеряла право на

проживание в Мраморном дворце. Оформлялось прописочное дело в срочном порядке, и отнюдь не по настоянию Пунина: началась кампания по уплотнению избыточной жилплощади, и Анна Евгеньевна сама предложила мужу этот чисто советский вариант выхода из затруднительного положения. Однако Ахматова, дорожа независимостью, еще год с лишним тянула с окончательным переездом. Последние вещи из Мраморного Лукницкий помог ей перевезти на Фонтанку лишь ранней зимой 1928 года. К тому же в 1927-м Пунин надолго, почти на полгода, уезжал с выставкой в Японию… Все это вместе взятое создавало иллюзию как бы не окончательного решения проблемы.

Первый кризис произошел в году следующем. Летом их отношения, ставшие почти идиллическими в период полугодовой разлуки, стали незаметно, но портиться. Это еще не начало расставания, а расставались они долго («Не недели, не месяцы – годы / Расставались. И вот наконец / Холодок настоящей свободы / И седой над висками венец», 1940), но размолвки – все чаще, радости – все меньше, а жизнь на две семьи под одной крышей все мучительнее. Они все еще любят друг друга, но в отпуск по путевке в сочинский санаторий Николай Николаевич уезжает один, хотя Анна Евгеньевна также в отпускном отъезде. Пунина крайне беспокоит здоровье Анны Андреевны, об этом он даже пишет жене, но куда больше терзает его мысль о возможном осложнении быта. Ситуация в семье брата Анны, Виктора Горенко, после смерти его дочери Ивонны стала складываться так, что Инна Эразмовна запросилась назад, в Россию, но не к сестре, на Полтавщину, а к дочери, в Ленинград. Пунины запаниковали: и так теснота! Кроме них, четверых, еще и мачеха Николая, и отец Анны Евгеньевны, да и родственники – и Пунины, и Аренсы – подолгу и гостят, и проживают. Взять в дом и на полное иждивение чужую старую женщину Пунины никак не могли. Анна Андреевна, чувствуя это, съежилась и замолчала. И в прямом, и в переносном смысле: в течение пятнадцати лет, живя с Пуниным, Ахматова почти не писала стихов.

Разумеется, она не бездельничала. Изучила английский и итальянский языки, переводила для Николая Николаевича искусствоведческие статьи и книги, перевела по договору письма Рубенса. Четыре года вместе с Лукницким собирала и систематизировала материалы к биографии Гумилева. Всерьез занялась историей Петербурга и творчеством Пушкина. Однако ее собственные стихи почти перестали случаться. У нее и раньше были, как говорили врачи, проблемы со сном, но теперь сна вообще не было. Сплошные бессонницы, которые не разрешались, как прежде, стихами, словно вечный источник, питавший живою

водой ее душу, то ли иссяк, то ли его завалило обломками старого мира, в год Великого перелома доразрушенного до основания. В 1928-м, кроме стихов на смерть Михаила Михайловича Циммермана, Анна Андреевна написала только одно четверостишие. Зато какое! Фактически первые в своей творческой жизни гневно-гражданственные стихи – видимо, недаром первым поэтом, которого Аня Горенко самостоятельно прочла от корки до корки, был Некрасов:

Здесь девушки прекраснейшие спорят
За честь достаться в жены палачам.
Здесь праведных пытают по ночам
И голодом неукротимых морят.

Эмма Герштейн приводит в своих мемуарах свидетельство Н.А.Ольшевской, что в 1953 году, перед смертью, из лагеря Пунин передал Анне Андреевне записку («клочок оберточной бумаги»). Записка затерялась в архивных бумагах, но Нина Антоновна твердо запомнила из нее одну фразу: «Мы с Вами одинаково думали обо всем». Обо всем – конечно, преувеличение, но о главном Ахматова и Пунин и в самом деле думали одинаково. В августе 1925-го, вскоре после ареста лицеистов (выпускников пушкинского Царскосельского лицея), среди которых был и Валериан Чудовский, художественный критик, сотрудник «Аполлона», старый приятель Гумилева и Анны Андреевны, Пунин сделал в дневнике такую запись: «Вчера ездили с Ан. в Смольный монастырь. Случайно удалось проникнуть за ограду. Обошли собор, вышли в сад… Потом вышли на площадь, поросшую ромашкой, „где казнили людей до рассвета“, сказала Ан. Обедали у Федорова, потом поехали к Горному институту, сидели на ступеньках над Невой… Портик Горного стоял за спиной, тяжелый, молчаливый, погружаясь в темноту. Ан. много и долго на него смотрела, стала грустной; кажется, ей очень захотелось поехать за границу, вспомнила Ольгу, как провожали Артура три года тому назад. Мы – обреченные, очень часто в последние два года думаем мы о себе… Разговаривая о всем происходящем, Ан., между прочим, сказала: „Когда кругом каждый человек – рана“».

И далее, через день после поездки к Смольному: «О некоторых из осужденных по делу лицеистов позволено «хлопотать»; в числе их Валериан Чудовский; он запретил о себе «хлопотать», говоря: если нельзя обо всех, то не хочу, чтобы обо мне». Чудовского приговорят к высылке в Нижний Тагил, по возвращении из ссылки он вновь, в 1938-м, будет арестован и

расстрелян. Но и те, кто оставался до поры до времени «на воле», вольными себя не чувствовали. Очень точно выразил это состояние все тот же Пунин: «Хорошую тюрьму придумали, сразу для всех и без решеток» (запись от 14 февраля 1926 г.).

Не было меж ними никаких разногласий и в вопросах веры. Даже Нину Антоновну Ольшевскую-Ардову смущало, что Анна Андреевна «крестится на каждую церковь», а вот Пунин это понимал. Перед отъездом в Японию, к примеру, он написал Анне Андреевне из Москвы, что зашел к Иверской и молился со свечкой «за ее здоровье». Словом, об очень многом, важном и судьбоносном, Пунин и Ахматова и впрямь думали одинаково, а вот чувствовали, как оказалось в итоге, в дни разрыва, все-таки розно и разно.

Разность заключалась еще и в том, что для Пунина годы их союза были годами профессионального роста. Чем лучше относилась к нему Анна, тем лучше ему работалось, несмотря на то что внешние обстоятельства вовсе этому не способствовали. Его сердце безнадежно дряхлело не от счастья, а от уныния, причиной которого была абсолютная невозможность устроить жизнь так, чтобы все три дорогие ему женщины – и жена, и Анна, и дочь – были если не счастливы, то хотя бы покойны и благополучны, пусть в пределах допустимого в те трагические годы, когда, как выразилась Анна Андреевна, «каждый человек – рана».

На людях, при гостях, обе Анны – и Анна Андреевна Ахматова, и Анна Евгеньевна Аренс-Пунина – держали, что называется, фасон и выглядели чуть ли не подругами. Однако опубликованная недавно переписка Пунина с законной женой красноречиво свидетельствует, что условия, в которые поставил ее муж, приведя в семейный дом чужую, да еще и знаменитую женщину, были для Анны Евгеньевны мучительны.

Когда муж жил рядом, через стенку в общей квартире, а Анна Андреевна чутко и строго соблюдала дистанцию, ни жестом, ни словом, ни намеком не посягая на права хозяйки дома, такое положение еще можно было скрепя сердце терпеть. Но как только супруги разлучались, а разлучались они регулярно и надолго (практикующий врач, Анна Евгеньевна присоединяла к дням официального отпуска еще и отгулы за сверхурочные дежурства), засыпала мужа отчаянными письмами…

«Не теряйте отчаяния», – часто говорил Пунин Анне Андреевне. Она не только запомнила этот советский парадокс, но и использовала однажды как эпиграф. «Не терять отчаяния», чтобы не потерять мужа, – вот все, что оставалось и Анне Евгеньевне. А кроме того, не разумом, а женским инстинктом

госпожа Пунина, кажется, чуяла, что Николай не отпускает, держит ее при себе не только потому, что ради дочери хочет во что бы то ни стало сохранить видимость семьи и семейного дома, а потому, что, как и в юности, в начале их долгого и не слишком яркого романа, чувствует в ней, а не в Анне Андреевне, опору. Не в обычном житейском смысле опору, а в каком-то другом, высшем, словами невыразимом… И, как выяснится в дальнейшем, была права. Пунин сломался, утратив сопротивляемость невзгодам, не тогда, когда произошел разрыв с Ан. (ее место в его жизни, сменив, хотя и не заменив Ахматову, заняла другая прекрасная дама – Марта Голубева), а после смерти Анны Евгеньевны. А.Е.Пунина умерла в Самарканде осенью 1942 года, вскоре после возвращения Николая Николаевича из Ташкента, куда тот ездил, чтобы повидаться с Анной Андреевной… В день его отъезда, – а уезжал он не надолго, на неделю, не больше, – она была практически здорова, а когда вернулся, застал жену смертельно больной. Менее чем через месяц ее похоронили. Ни местные медики, ни сама Пунина, опытный врач, не могли даже приблизительно поставить диагноз.

Ахматова, которая, удивляя приятельниц, – как-никак, а соперница, – горько оплакивала эту смерть, была убеждена, что Анну Евгеньевну убила усталость, такая усталость, когда даже отчаяние представляется слишком агрессивным и «витальным» чувством…

Все так. И с подлинным почти верно. И тем не менее: ни мира, ни счастья не было в доме Пуниных не только потому, что узы, связавшие людей, деливших Фонтанный кров, были ненатуральны. Была и другая причина. «Меня, как реку, суровая эпоха повернула», – скажет Ахматова на пороге старости. Но прежде чем повернуть еще раз и наполнить новым полноводьем сил и чувств, эпоха заставила ее пережить мучительное для поэта с такой творческой энергетикой обескрыливание, что тоже, увы, будет поставлено в вину Николаю Николаевичу. В 1936 году, после почти десятилетней немоты (с 1923-го по 1935-й Ахматова написала всего двадцать стихотворений), она создаст такие обращенные к Пунину стихи:

От тебя я сердце скрыла,
Словно бросила в Неву…
Прирученной и бескрылой
Я в дому твоем живу. <…>
Только… ночью слышу скрипы.
Что там – в сумраках чужих?
Шереметевские липы…

Перекличка домовых…
Осторожно подступает,
Как журчание воды,
К уху жарко приникает
Черный шепоток беды —
И бормочет, словно дело
Ей всю ночь возиться тут:
«Ты уюта захотела,
Знаешь, где он – твой уют?»

На самом деле беда, шепоток, которой слышится Ахматовой в шорохе и шелесте старых петербургских лип, – это не только несложившаяся личная жизнь, одиночество вдвоем. И черный шепоток ее Анна Андреевна впервые расслышала не в 1928-м и не в 1917-м, а гораздо раньше. Может быть, в тот миг, когда «кто-то „Цусима!“ сказал в телефон». Или в январе 1905-го, когда к ним в Царское Село приехал из города студент-репетитор, попавший в обезумевшую толпу, которую расстреливали гвардейцы царя-батюшки. Молодой человек рассказывал, что делалось в столице в Кровавое воскресенье 9 января 1905 года, и «руки, – вспоминает Ахматова, – у него дрожали».

И все-таки до 1933 года *шереметевские липы* так страшно и так пророчески не шелестели.

Интермедия седьмая (1933–1938)

Это наши проносятся тени
Над Невой, над Невой, над Невой,
Это плещет Нева о ступени,
Это пропуск в бессмертие твой.

Анна Ахматова

В 1933 году Льва Гумилева, уже переехавшего в Ленинград, впервые арестовали. В квартире востоковеда В.А.Эбермана, куда он пришел, чтобы показать ученому арабисту свои переводы. И сам Лев Николаевич, и Пунины, и все их окружение убеждены: произошло недоразумение. И действительно – через девять дней его отпустили, выяснив, что в подозрительной квартире оказался случайно. Анна Андреевна в случайность не поверила. После четырехлетнего глухого молчания она пишет стихотворение «Привольем пахнет дикий мед…». Первый, «пробный» арест сына заставил ее «подняться с земли» и заговорить. И заговорить тогда, когда даже политически озабоченные литераторы вдруг успокоились и словно бы перестали слышать *шум времени.* Эмма Герштейн в документальной повести «Лишняя любовь» не без удивления вспоминает, что даже за несколько дней до ареста Мандельштама (май 1934 г.) и Осип Эмильевич, и его, казалось бы, сверхбдительная жена, да все вокруг, были на удивление беззаботны. Все. Но не Анна Андреевна.

Привольем пахнет дикий мед,
Пыль – солнечным лучом,
Фиалкою – девичий рот,
А золото – ничем.
Водою пахнет резеда,
И яблоком – любовь,
Но мы узнали навсегда,
Что кровью пахнет только кровь…

И напрасно наместник Рима
Мыл руки пред всем народом
Под зловещие крики черни;
И шотландская королева
Напрасно с узких ладоней
Стирала красные брызги
В душном мраке царского дома…

Считается, и не без оснований, что процитированные стихи возникли в ассоциативном поле работы А.А. над переводом «Макбета». Их злободневность стала проясняться постепенно, по мере того как *крики черни,* требовавшей казни врагов народа, становились все более *зловещими.* В своих «Записках» Л.К.Чуковская зафиксировала такой факт. 14 декабря 1939 года она сказала Ахматовой, что ее муж, якобы получивший десять лет без права переписки, расстрелян. Анна Андреевна выслушала скорбную весть в скорбном молчании, но на следующее утро пришла к Лидии Корнеевне и прочитала ей именно эти, написанные шесть лет назад стихи, хотя к декабрю 1939-го почти дописан «Реквием». Существует, на мой взгляд, и еле слышная перекличка между этой как бы первой главкой из *расстрельного* цикла с рассказом Э.Г.Герштейн о том, как в октябре 1935-го Ахматова, приехав в Москву хлопотать об арестованных вторично[46] сыне и Пунине, в состоянии почти безумия бормотала странную фразу. Что-то вроде: «Коля, Коля, кровь… кровь…» Лев Николаевич, которому Эмма Григорьевна пересказала этот эпизод, истолковал его (в одном из интервью в год столетнего юбилея Ахматовой) ревниво и пристрастно. Дескать, матушка испугалась не за меня, а за своего «муженька»: «Тогда шла в Ленинграде травля студентов из интеллигентных семей… В числе арестованных оказался и Николай Николаевич Пунин, искусствовед, сотрудник Русского музея. Мама поехала в Москву, через знакомых обратилась к Сталину, с тем чтобы он отпустил Пунина… Вскоре освободили нас всех, поскольку был освобожден самый главный организатор „преступной группы“ Н.Н.Пунин».

На самом деле поразившая Эмму Герштейн фраза опровергает версию Льва Николаевича. Николая Пунина Анна Андреевна никогда не называла *Колей. Колей* навсегда остался для нее Николай Степанович Гумилев. И в 1922-м, и потом А.А. тщетно пыталась отыскать его «безымянную могилу». И вот теперь, десять лет спустя, в состоянии почти пограничном (что-то вроде приступа ясновиденья), в бездне внутреннего зрения третьим глазом *(органом для шестого чувства),* словно бы *разглядела* и место, и сцену расстрела *(Коля, Коля… кровь… кровь…).* Ненайденная могила Гумилева, согласно христианскому канону, не позволяла Ахматовой совершишь символический «обряд погребальный» по «мученику сему». Позднее она сочтет возможным нарушить канон: «Непогребенных всех я хоронила их,

/ Я всех оплакала…» Но эта эпитафия создана в иных обстоятельствах, после 1956-го. В 1935-м масштаб *не знающего предела бедствия* еще неизвестен, поиск безымянной могилы незавершен, свидетелей нет, документов тоже, единственная надежда на указующие знаки – оттуда, «где знают все». («Теперь ты там, где знают все, скажи…», «Страх», 1922) И это, на мой взгляд, объясняет, хотя бы отчасти, не только поразившую Герштейн безумную фразу А.А., но и одно из самых темных мест в «Поэме без героя». Вот это:

Что ж вы все убегаете вместе,
Словно каждый нашел по невесте,
Оставляя с глазу на глаз
Меня в сумраке с черной рамой,
Из которой глядит тот самый,
Ставший наигорчайшей драмой
И еще не оплаканный час?

Первым читателям рукописно бытующей поэмы не нужно было объяснять, какие смыслы сцеплены с невесть откуда взявшейся в тексте *черной рамой.* Читателю нынешнему это уже непонятно. Дело же тут, по-моему, вот в чем. Известная всему Петербургу баронесса Икскуль (та самая красавица в красной гарибальдийке, портрет которой считается одной из лучших работ Репина) выставляла в своем литературном салоне в особой *черной раме* и для всеобщего обозрения портреты героев своего выбора, в каждый маскарадно-бальный сезон разные: то Распутина, то Горького и т. д. В ахматовской поэме в раму «вставлено» не лицо героя, а *так и неоплаканный час* его гибели.

Тем же способом – симпатическими чернилами, криптограммно – вписана в черную раму (в «Поэме без героя») и драма Мейерхольда. По закону странных сближений, с которым мы уже не первый раз сталкиваемся, Всеволода Эмильевича арестовали летом 1939-го в Ленинграде, куда режиссер приехал, чтобы начать работу над возобновлением старой постановки «Маскарада». Спустя две недели была зверски зарезана его жена – Зинаида Николаевна Райх. Поскольку это убийство квалифицировалось по статье «уголовное нападение», похороны были обычными, без музыки, малолюдные, но с цветами, и гроб для дочери старик Райх заказал дорогой, старорежимного фасона. Ахматовой в те дни в Москве не было, но слухи об этом ужасе – множество ножевых ран, антикварный *ковер, разбухший и почерневший от крови,* – гуляли по Питеру:

И была для меня та тема,
Как раздавленная хризантема,
На полу, когда гроб несут.

На сцене Зинаиду Николаевну даже в прославленном «Ревизоре» Ахматова не видела. Однако чрезвычайно эффектные фотографии Райх в роли городничихи широко печатались, особенно часто в парадном платье, с «брюлловскими плечами». Портрет красавицы с брюлловскими плечами А.А. использовала в триптихе, когда ей понадобилось «одеть в плоть» образ романтической поэмы:

А столетняя чаровница
Вдруг очнулась и веселиться
Захотела. Я ни при чем.
Кружевной роняет платочек,
Томно жмурится из-за строчек
И брюлловским манит плечом…

В сентябре 1939-го, в столетнюю годовщину сыгранного впервые в Москве, *сюрпризом* для Гоголя, «Ревизора», Зинаида Райх наверняка появилась бы на сцене Мейерхольдовского театра с кружевным платочком и в потрясающем платье с открытыми плечами, если бы с ними не произошло того, что произошло…

Прямых доказательств, что дело обстояло именно так, у меня, разумеется, нет. А вот косвенные имеются. Романтическая поэма, которая в ахматовском триптихе вроде бы напрочь привязана к зачинателям этого жанра – Байрону и Шелли, с роскошными брюлловскими плечами, кружевным платочком и манерной томностью вяжется плохо. Зато с трактовкой роли гоголевской городничихи, какую специально для обожаемой жены сочинил Мейерхольд, совпадает идеально.

Не записывая «Реквием» и прилегающую к нему лиро-эпическую крамолу, из «Поэмы без героя» секрета А.А. не делала. В отличие от потаенных текстов неопубликованный триптих в течение четверти века вел *белодневный* образ жизни – разлетался по градам и весям во множестве копий и вариантов. Способ шифровки был столь хитроумен и вместе с тем до того простодушно-старомоден, что Ахматова за судьбу «Поэмы без героя» почти не волновалась. Ну какой следователь смог бы угадать, кого в действительности хоронят под траурный марш Шопена в первом же Посвящении, датированном 27 декабря 1940 года? Ведь конспиративно (обманем же наших тюремщиков,

отправив ищеек по ложному следу!) оно обращено к *Вс. Князеву,* исполняющему в маскарадном действе роль отвергнутого любовника Коломбины:

И темные ресницы Антиноя
Вдруг поднялись – и там зеленый дым,
И ветерком повеяло родным…
Не море ли?
Нет, это только хвоя
Могильная, и в накипаньи пен
Все ближе, ближе…
Marche funèbre…
Шопен…

Первой о присутствии отсутствующего героя, спрятанного, как за ширмой, за фигурой героя присутствующего, но мнимого, догадалась вдова Мандельштама. Не в пример товарищам из органов, Н.Я. знала день и месяц смерти мужа – 27 декабря 1938 года, помнила, разумеется, и о том, что похоронный обряд под траурный марш Шопена чисто советское изобретение. Известны ей были и воспоминания Ахматовой («Листки из дневника»), где А.А. пишет, что при знакомстве с О.Э. ее внимание задержали его ресницы: «Я познакомилась с Мандельштамом на «Башне» Вячеслава Иванова весной 1911 года. Тогда он был худощавым мальчиком, с ландышем в петлице, с высоко закинутой головой, с ресницами в полщеки».

Но мы, заглянув в будущее, опередили события. Вернемся же в 1933 год.

У нас нет ни одной фотографии, запечатлевшей Ахматову в год первого ареста сына и создания стихотворения «Привольем пахнет дикий мед…», зато сохранился ее литературный портрет, любительский, снятый в 1933-м на скорую руку, но на удивление выразительный: «Столовая эта (речь идет о столовой Союза писателей. – *А.М.)* помещалась тогда на Невском проспекте… в помещении бывшей… кондитерской Филиппова… Там было так же неказисто, как везде в то время – время карточек. Когда мы, получив по карточкам свою еду, устроились за столиком, то увидели, что к кассе подходила женщина – высокая, очень худая, в пальто осеннем сером, но укутанная в большой шарф (плед) и платок теплый шерстяной на голове. Вера (детская писательница В.В.Смирнова. – А.М.) вдруг сказала: «Это же – Анна Ахматова!..» Мы продолжали следить за ней, когда она потом в другом окне получила свой обед. Как она бережно несла его к столу! И когда она за этим столом сидела одна, мы, всмотревшись, лишний раз

убедились, что это она – Ахматова! Ее глаза (их не спутаешь ни с чем) были полны такой скорби, такого глубокого горя, что становилось невыносимо тяжело на душе. От всего ее облика веяло скорбью, тяжелое впечатление чего-то покинутого, горького, заброшенного, одинокого производила вся ее фигура. И складки платков подчеркивали – скульптурно – это впечатление скорбной, одинокой фигуры».

К началу 1933 года вокруг Анны Андреевны действительно образовалась пустота. Одна за другой ушли из жизни ее ближайшие подруги – Наталья Викторовна Рыкова-Гуковская и Валентина Сергеевна Щеголева. Уехала вместе с мужем за границу, в Англию, и самая верная из заботниц – Людмила Замятина. Анна Андреевна в шутку называла ее *моя скорая помощь*. Замятина стремглав кидалась на помощь всякий раз, когда узнавала о недомоганиях Ахматовой. В тридцатом умерла мать и следом за ней Шилейко. В том же году застрелился Маяковский. Не ладились и отношения с Пуниным. Вокруг Николая Николаевича закрутилась хорошенькая и честолюбивая аспирантка, которая, по всем приметам, искала себе надежного мужа, и Анна Андреевна, осердясь, стала чаще уезжать в Москву. Благо теперь ей было где остановиться: Мандельштамы обосновались в столице и даже вот-вот должны были въехать в отдельную квартиру в кооперативном писательском доме в Нащокинском переулке. Летом 1933-го они приезжали в Ленинград, и Осип Эмильевич, прощаясь, сказал: имей в виду, Аннушка, мой дом – твой дом. В новом доме не было еще ни газа, ни воды, а телеграмма с приглашением на новоселье уже отправлена в Питер – лично А.А.Ахматовой. Анна Андреевна с приездом не замедлила. Той осенью Осип и прочел ей написанные еще июне в Коктебеле знаменитые антисталинские стихи. Они общеизвестны, но я их все-таки процитирую полностью:

Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлевского горца.

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются глазища,
И сияют его голенища.

А вокруг него сброд тонкошеих вождей.

Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет.

Как подковы кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
И широкая грудь осетина.

Стихи были, как выражалась А.А., *расстрельные,* однако особой тревоги они у нее поначалу не вызвали – она была уверена, что никто, кроме самых близких и надежных, никогда их и не увидит, и не услышит. Куда больше заинтересовала Анну Андреевну сделанная Мандельштамом работа о Данте, ведь она и сама уже несколько лет самостоятельно изучала итальянский, чтобы читать «Божественную комедию» в подлиннике. В ноябре Ахматова вернулась в Питер, но вскоре после Нового года снова пришлось брать билеты на поезд Ленинград-Москва. Давний ее знакомец поэт Бенедикт Лифшиц[47] пришел к ней с известием о самоубийственном поведении Осипа Эмильевича, вздумавшего, тайком от жены, читать стихи про кремлевского горца малознакомым людям.

Слухи оказались верными, и, хотя никаких грозных примет, свидетельствующих, что крамольный текст дошел до ОГПУ, в феврале 1934-го, видимо, еще не было, Анна Андреевна все-таки решила с Мандельштамом серьезно поговорить. В «Листках из дневника» этот эпизод описан так: «Несмотря на то что время было сравнительно вегетарианское, тень неблагополучия и обреченности лежала на этом доме. Мы шли по Пречистенке (февраль 1934 г.), о чем говорили, не помню. Свернули на Гоголевский бульвар, и Осип сказал: "Я к смерти готов". Вот уже 28 лет я вспоминаю эту минуту, когда проезжаю мимо этого места».

Разумеется, А.А. не *вдруг* вспомнила, а всегда помнила, о чем они говорили с О.Э. в феврале 1934-го, и вспоминала сакраментальную фразу до конца своих дней недаром. («Между помнить и вспомнить, други, / Расстояние как от Луги / До страны атласных баут».) В том феврале Мандельштам действительно чувствовал себя обреченным. Судьба как бы предлагала поэту (на выбор) несколько вариантов гибели. Его, причем в самом ближайшем будущем, наверняка погубила бы близость к Бухарину, при содействии которого он в конце двадцатых годов сумел издать несколько книг, в том числе

«Избранное» и «Шум времени». В мае 1934-го, когда Пастернак сообщил ему об аресте Мандельштама, Бухарин передал Сталину такую записку: «О Мандельштаме пишу еще и потому, что Борис Пастернак в полном умопомрачении от ареста Мандельштама и никто ничего не знает». В 1934-м Бухарин еще в силе, но уже отодвинут на второй план, и тень обреченности (пока краем) задевает и его.

И это не единственная опасность, отбрасывающая грозную тень в конце 1933 года. В те же самые месяцы Мандельштама вполне могли бы выслать из Москвы как сына купца первой гильдии, утаившего от органов буржуазное происхождение. (Кампания по выявлению проживающих по подложным документам купцов и их родственников началась весной 1932-го.) Реальной была и угроза «сухой гильотины», то есть бессрочной каторги, если бы поэта «засекли» как тайного эсера и сотрудника левоэсеровской газеты «Знамя труда», зачисленного в штат летом 1918 года, то есть в те дни, когда газета стала центром организации известного левоэсеровского мятежа. Казалось бы – преданья старины глубокой. И тем не менее по-прежнему опасные, ведь в феврале 1933-го арестован как тайно-упорный проводник эсеровской идеологии, давным-давно отошедший от политики, Р.В.Иванов-Разумник. В связи с этой акцией начались поиски ушедших в глубокое подполье левых эсеров, а это не могло не беспокоить Мандельштама, ибо в 1918-м Разумник заведовал литературным отделом газеты «Знамя труда» и был непосредственным его начальником. Сотрудничество с левыми эсерами на фоне июльского мятежа 1918 года, выстрела Фанни Каплан в Ленина, а затем Леонида Канегиссера в Урицкого перепугало даже Есенина, хотя тот всего лишь печатался в левоэсеровских изданиях, тогда как Мандельштам – штатный сотрудник их главного печатного органа, и притом в самое опасное время. Если бы, настаиваю, этот *давнишний страх* не терзал воображение Осипа Эмильевича, вряд ли бы он на первом же допросе в мае 1934 года признался в своей юношеской принадлежности к партии эсеров, а несколькими месяцами ранее стал бы рассказывать о своей службе в «Знамени труда» Анне Андреевне, а он рассказал. Этот факт А.А. сочла настолько важным, что не забыла упомянуть в «Листках из дневника»: «В Москве Мандельштам становится сотрудником „Знамени труда“. Таинственное стихотворение „Телефон“ (авторская датировка: 1 июня 1918 г.-*А.М.),* возможно, относится к этому времени». (Кстати: «Телефон» – единственное стихотворение О.М., которое в мемуарном очерке процитировано полностью.) И не исключено, что и об этом своем страхе, а не только о стихах про

кремлевского горца поэт говорил с Ахматовой в феврале 1934 года на Гоголевском бульваре, когда и произнес поразившую Ахматову фразу… В «Листках из дневника» А.А. намеренно разбила опасный сюжет на три якобы отдельных эпизода: 1) разговор об антиоде и о стихах, которые теперь должны быть гражданскими; 2) рассказ Мандельштама о своей работе в «Знамени труда»; 3) признание поэта в том, что он готов к смерти. Однако зимой 1934-го такого трагического исхода никто, повторяю, еще не ожидал. Даже Надежду Яковлевну, судя по воспоминаниям, больше всего терзало опасение, что мужа могут исключить из московской писательской организации, если Алексей Толстой даст ход делу о пощечине, которую в припадке ярости и обиды влепил ему Мандельштам. Дело было хотя и вздорное, но неприятное. Сосед Осипа Эмильевича по коммуналке, в которой они тогда обитали, одолжившийся у него 78 рублями, не желая возвращать долг, затеял скандал и потребовал товарищеского суда. Толстой, исполнявший полукомедийную роль мирового судьи, не разобравшись («по пьяни») в сути конфликта, «умыл руки».

Словом, тень неблагополучия, нависшего над Мандельштамом, о которой вспоминает Ахматова, была достаточно реальной. И тем не менее и Эмма Герштейн не ошибается, свидетельствуя, что за несколько дней до ареста и сам поэт, и его жена были крайне далеки от мысли о почти неминуемом, как скоро выяснится, событии. Почему? Видимо, потому, что к апрелю 1934-го стало ясно, что «красный граф» отнесся к инциденту с пощечиной с юмором, а благодаря экстренным мерам, принятым одним из братьев поэта, миновала и угроза высылки по причине нехорошего социального происхождения. Утратили остроту и опасения по левоэсеровской линии, так как Иванова-Разумника благодаря вмешательству видного партийца В.Бонч-Бруевича всего лишь сослали в губернский Саратов. Что до главной причины ареста, стихотворения «Мы живем, под собою не чуя страны…», то именно с этой стороны не только Надежда Яковлевна, но даже Анна Андреевна неминуемой и совсем скорой гибели почему-то не опасалась и в мае, получив от Осипа очередную телеграмму с приглашением в гости, впервые в жизни уезжала из Ленинграда без предчувствий, с надеждой прогостить у Мандельштамов весь май. Однако сразу же по приезде оказалась единственной, не считая Надежды Яковлевны, свидетельницей подробностей его ареста в ночь с 14 на 15 мая того же года и последующей ссылки… Пунктуально воспроизведенные в «Листках из дневника», они общеизвестны. Но при этом ни один из

биографов, что О.М., что А.А., не попытался ответить на неизбежно возникающий у читателей вопрос. Как же отнеслась Анна Андреевна и к самой сатире, а главное, к тому, что Мандельштам, сделав *расстрельные* стихи достоянием гласности, подставил под удар не только себя, но и ближайших друзей? В том числе и Льва Гумилева, который, как известно из протокола допроса Мандельштама, их одобрил – дескать, «здорово»?

История эта крайне запутанная. Не ясно, к примеру, читал ли Осип Эмильевич антиоду за общим столом у себя в квартире, то есть всем названным им при допросе лицам одновременно, или каждому в отдельности и под страшным секретом. Ахматова в «Листках из дневника» факт коллективной читки вроде бы не подтверждает: «О.Э., который очень болезненно переносил то, что сейчас называют культом личности, сказал мне: "Стихи сейчас должны быть гражданскими" и прочел "Под собою мы не чуем…"». Лаконизм этой сухой фразы, кое-как прилаженной к *разговору о поэзии,* приводит, честно говоря, в недоумение. Удивляет и явное нарушение (в «Листках») последовательности реплик. На самом деле Мандельштам, конечно же, сначала прочел А.А. сатиру на Сталина и лишь потом, поняв по ее реакции, что она Аннушке «не показалась», стал доказывать, что *в годину горя* поэзия должна быть гражданской. Момент очень важный, ибо сделанная Ахматовой рокировка априори исключает читательский вопрос: что же такое сказала автору А.А., если тот вынужден был защищаться ссылкой на некрасовское: *поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан?* Упоминая ключевое в судьбе героя «Листков» событие между прочим, Ахматова явно уклоняется от его обсуждения. Лаконизм сообщения о самом важном особенно бросается в глаза в сравнении с весьма пространным описанием людей, приходивших со словами соболезнования к жене арестованного поэта (женщин, мол, было много, а из мужчин один Перец Маркиш). Может быть, Анна Андреевна оттого и лаконична, и уклончива, что ее мнение на сей счет совпадает с мнением Пастернака, и не его одного? Напоминаю это замечательное по выразительности «соображение понятий»: «То, что вы сейчас мне прочли, не имеет никакого отношения к литературе, к поэзии. Это не литературный факт, но акт самоубийства, которого я не одобряю и в котором не хочу принимать участия. Вы мне их не читали, я ничего не слышал и прошу вас не читать их никому другому».

Полностью, думаю, все-таки не совпадает. Но, видимо, Анна Андреевна, как и Пастернак, не считала самоубийственную антиоду произведением, ради которого стоило рисковать жизнью поэту такого масштаба, как Мандельштам. *Верные Знаки* его

могущества рассеяны по тексту «Листков из дневника», и вряд ли эта стилистическая операция проделана без оглядки на спор о стихах про кремлевского горца, не обещающий ни перемирия, ни примирения и через три четверти века:

«У Мандельштама нет учителя. Вот о чем стоило бы подумать. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама!»

«Ни с чем не сравнимое огромное событие поэта, первые стихи которого поражают совершенством…»

«Трагическая фигура редкостного поэта, который и в годы воронежской ссылки продолжал писать стихи неизреченной красоты и мощи…»

Короче, хотим мы этого или не хотим, но придется признать или хотя бы допустить, что Ахматова проявила чудеса стилистической изобретательности, дабы уклониться и не сказать прямо: сатира на кремлевского горца, при всей ее злободневности, и «новая божественная гармония» – «вещи несовместные» и Мандельштам, настаивая, что антиода – литературный факт, «недостоин сам себя». Не желая открыто, в мемуарной прозе, осуждать великого поэта, чтобы не уподобиться заклятым врагам носителя *божественной гармонии,* А.А., предполагаю, все-таки зафиксировала в черновиках свое особое мнение. И о тексте, до сих пор рождающем споры, и о том, какими последствиями он чреват. Причем не только самому автору. Я имею в виду следующее четверостишие:

За такую скоморошину,
Откровенно говоря,
Мне свинцовую горошину
Ждать бы от секретаря.

В новых изданиях А.А. этот утаенный текст датируется 1937 годом, а не как прежде: *30-е гг.,* и это важное для нашего сюжета уточнение. В 1937-м, в мае, то есть к началу Большого террора и повторных арестов, у Мандельштама кончился срок ссылки и он вместе с женой вернулся в Москву. Разрешения на прописку в столице у супругов не было, но они упорно не желали с этим фактом считаться. Осип Эмильевич регулярно наведывался в правление Союза писателей, требуя у литературных чиновников разрешения на авторский вечер, и Надежда Яковлевна пустым и опасным хлопотам мужа не препятствовала, хотя и видела, что от Осипа шарахаются. Даже далекая от политических тонкостей

Эмма Герштейн понимает, что в теперешней ситуации О.Э. может спасти лишь бегство. Бросить квартиру, перестать цепляться за Москву и бежать, бежать, бежать без оглядки куда глаза глядят – в глушь, в провинцию. Она и потом будет считать, что Осип мог бы выжить, как выжил Николай Эрдман, если бы Надежда Яковлевна сразу же, немедленно по возвращении из Воронежа увезла полубезумного мужа в какой-нибудь глубынь-городок. В конце концов они так и сделали – спрятались в Твери. Но вдруг в январе 1938-го вернулись в столицу и опять замелькали, замаячили перед раздраженными глазами писательского начальства и до смерти испуганных коллег…

Но вернемся к стихам про кремлевского горца. Не тот жанр – не единственная причина, в силу которой, по моему убеждению, Анна Андреевна не приняла эти стихи. Она не могла согласиться с тем *заниженным* образом Сталина, на котором настаивала антиода: пахан, уголовник, собравший в кремлевской «малине» полулюдей, отбросы революции.

Пастернак в приснопамятных «Стансах» сравнил генерального секретаря с Петром Великим:

> Но лишь сейчас сказать пора,
> Величьем дня сравненье разня:
> Начало славных дней Петра
> Мрачили мятежи и казни.

Михаилу Булгакову, роман которого Анна Андреевна, по прочтении, примет восторженно и отнесет «Мастера и Маргариту» к высшим достижениям русской прозы, Сталин видится фигурой инфернальной и не лишенной отрицательного обаяния; отсюда и исповедальные письма Булгакова вождю, и его пьеса о батумской юности отца народов.

Что до самой Ахматовой, то и она с годами забирает все выше и выше. Фигура восточного деспота («падишаха») увеличивается и увеличивается в масштабе. Ей становится тесно в библейских пространствах. *Жмет* в регалиях царя Ирода.

> Скоро мне нужна будет лира,
> Но Софокла уже, не Шекспира.
> На пороге стоит – Судьба.

Устремление духа от низких истин к возвышающему обману в рассуждении феномена Сталина существует и по сей день. Злодей? Да, но каковы масштабы Зла! «Дьявол во плоти»,

«предводитель тайной полиции», «самый зловещий инквизитор двадцатого века». Закавыченные прозванья из предисловия Виктора Перельмана к книге Александра Орлова «Тайная история сталинских преступлений». (Огонек. 1989. № 46–50).

В этом непроглядном тумане (обмане), сбивающем с резкости и возвышающем кумира и *в злобе (его) и в любви (к нему)* подданных, стихи Мандельштама выглядят вызывающе чужеродно. Софокл, Дух Зла и «толстые пальцы», жирные, как кладбищенские черви? В предварительной версии (май-июнь 1933-го), в которой Сталин назван душегубцем, Мандельштам еще не порывает с общим мнением. Спорит, но не порывает. (Душегубцем в народных преданиях именуется Иван Грозный.) Во втором, окончательном варианте в образе кремлевского горца не осталось ни одной черточки, роднящей его с царственными тиранами и великими злодеями прежних эпох. И Пастернак, и Ахматова, а в наши дни М.М.Гаспаров придерживались мнения, что в антиоде Мандельштам снижает образ Сталина до грубой и вульгарной карикатуры.

Больше того. Если бы Анна Ахматова в рассуждении Сталина была одного мнения с Мандельштамом, она наверняка не стала бы к месту и не к месту упоминать, что ее вывезли из блокадного Ленинграда на военном самолете по личному распоряжению вождя, а в ее письме «глубокоуважаемому Иосифу Виссарионовичу» (осень 1935 г.) с просьбой о помиловании сына и мужа, о котором вспоминает Лев Николаевич (см. выдержку из его интервью, процитированную в начале главки), не было бы той доверительной интонации, которая, видимо, и подкупила генсека. При всем своем грубодушии, Сталин был наделен от природы музыкальным слухом и в звучании человеческого голоса моментально улавливал фальшивые ноты. В письме, которое осенью 1935 года с помощью Бориса Пильняка было передано «отцу народов», фальши не было. Цитирую: «Глубокоуважаемый Иосиф Виссарионович, зная Ваше внимательное отношение к культурным силам страны и в частности к писателям, я решаюсь обратиться к Вам с этим письмом. 23 октября в Ленинграде арестованы Н.К.В.Д. мой муж Николай Николаевич Пунин (профессор Академии художеств) и мой сын Лев Николаевич Гумилев (студент Л.Г.У.). Иосиф Виссарионович, я не знаю, в чем их обвиняют, но даю Вам честное слово, что они ни фашисты, ни шпионы, ни участники контрреволюционных обществ. Я живу в С.С.Р. с начала Революции, я никогда не хотела покинуть страну, с которой связана разумом и сердцем. Несмотря на то, что стихи мои не печатаются и отзывы критиков доставляют мне много горьких минут, я не падала духом; в очень тяжелых моральных и

материальных условиях я продолжала работать и уже напечатала одну работу о Пушкине, вторая печатается. В Ленинграде я живу очень уединенно и часто подолгу болею. Арест двух единственно близких мне людей наносит мне такой удар, который я уже не могу перенести. Я прошу Вас, Иосиф Виссарионович, вернуть мне мужа и сына, уверенная, что об этом никогда никто не пожалеет».

На копии сего прошения, слишком уж выпадающего из ряда типовых челобитных, Сталин наложил нетипичную резолюцию: «т. Ягода. Освободить из-под ареста и Пунина, и Гумилева и сообщить об исполнении».

Не полемизируя с ахматовской точкой зрения на стихи Мандельштама про Сталина по существу, хочу все-таки обратить внимание на поразительное сходство мандельштамовской якобы карикатуры с характеристикой Сталина, которую еще в 1928 году дал своему патрону его оргсекретарь Борис Бажанов:

«…О нем создавались мифы и легенды. Например, о его необыкновенной воле, твердости и решительности. Это миф. Сталин – человек чрезвычайно осторожный… Он следит за прениями, и когда видит, что большинство членов Политбюро склонились к какому-то решению… берет слово и от себя, в нескольких коротких фразах, предлагает принять то, к чему, как он заметил, большинство склоняется. Делает он это в простых словах, где его невежество особенно проявиться не может… Получается всегда так, что хотя Сталин и прост, и говорит плохо, а вот то, что он предлагает, всегда принимается. Не проникая в сталинскую хитрость, члены Политбюро начинают видеть в сталинских выступлениях какую-то скрытую мудрость (и даже таинственную)… Ничего остроумного Сталин никогда не говорит… К искусству, литературе, музыке… равнодушен. Женщинами… не интересуется и не занимается. Какие же у Сталина страсти? Одна, но всепоглощающая, абсолютная, в которой он целиком, – жажда власти. Страсть маниакальная, азиатская, страсть азиатского сатрапа далеких времен. Только ей он служит, ею все время занят, только в ней видит цель жизни… Тщательно разбирая его жизнь, его поведение, трудно найти в них какие-либо человеческие черты… Грубость Сталина… была скорее натуральной и происходила из его малокультурности… Резюмируя все сказанное о Сталине, можно утверждать, что это был аморальный человек с преступными наклонностями» (Огонек. 1989. № 41).

Перейдя границу с Афганистаном и получив политическое убежище во Франции, Борис Бажанов опубликовал (1929–1930 гг.) в русской эмигрантской прессе несколько газетных сообщений о том, чему был свидетелем на протяжении пяти лет, попав

«дуриком» в оргсекретари сначала к Молотову, а затем и к Сталину. Особого резонанса в Европе его статьи не получили. Интеллектуалы от социал-демократии сочли, что этот слишком молодой человек, дабы привлечь к своей особе внимание европейской общественности, упрощает и уплощает известные ему факты. Дескать, не может быть, чтобы и Сталин, и изобретенный им *механизм коммунистической власти* были до такой степени примитивны по форме и криминальны по сути. Зато сам «сатрап» отнесся к публикациям беглого секретаря более чем серьезно. «Самым усердным читателем моих статей, – пишет Бажанов, – был Сталин: позднейшие перебежчики из советского полпредства во Франции показали, что Сталин требовал, чтобы всякая моя новая статья ему немедленно посылалась аэропланом».

Я, разумеется, не утверждаю, что Мандельштаму было до тонкостей известно содержание доставляемых аэропланом в Москву газетных публикаций, но не утверждаю и обратного. Уж очень экстраординарным был случай Бажанова, чтобы и о нем, и о его откровениях, а главное, о персонаже, от которого он столь изобретательно «утек», а затем представил в натуральном, а не мифологизированном виде, не было толков. Чтобы слухи о приводимых беглецом фактах не просачивались сквозь щели железных ворот ГПУ? Чтобы кто-нибудь из побывавших на Западе писателей их не читал, а вернувшись, об этом не рассказывал? Если не в правительственной онемевшей Москве, то хотя бы в Ленинграде, ставшем очень даже говорливым в голодном 1933-м?

Летом этого года Киров, не спросясь ни у генсека, ни у *первого маршала,* изъял для нужд *своего* города содержимое принадлежащих военному ведомству продовольственных складов. Разразился скандал. «А почему, собственно, ленинградские рабочие, – спросил у Кирова генсек, – должны питаться лучше всех остальных?» По Ленинграду, обрастая оттенками, покатилась удивительная новость – слова *Мироныча,* якобы брошенные в лицо Сталину: «Давно пора отменить карточную систему и начать кормить наших рабочих как следует!» И чем напряженнее, в преддверии Съезда победителей (январь 1934 г.), становилось их противоборство, тем свободнее обсуждалась проблема кремлевского горца в вотчине Кирова, где его авторитет был непререкаем. Наркомы в Москве, по воспоминаниям современников, меньше значили для директоров ленинградских предприятий, нежели Киров.

Не забудем и том, что тем же голодным и взбаламученным летом Мандельштам надолго задержался в Ленинграде. И на его вечерах, как свидетельствует Анна Ахматова, и в гостинице, где

поэт с женой остановились, побывал весь город. В том числе Эйхенбаум, Тынянов, Гуковский,[48] то есть постоянные собеседники только что вернувшегося из Германии Федина, который в дружеском кругу рассказывал совсем не те западные новости, какие сообщал и толковал в официальных интервью. И если все эти, казалось бы, разрозненные факты соединить, сфокусировав на тексте антиоды, в ней, на мой взгляд, сквозь общеизвестные истолкования проступают и *незамыленные* смыслы.

Выясняется, к примеру, что Мандельштам написал не только о вконец перепуганных интеллигентах, которые сидят по своим углам и переговариваются шепотом. Да, стараются говорить вполголоса (ведь «стены проклятые тонки»), но говорят-то не о мелочах, а о главном, о том, что никто нынче не знает, о чем думает и как загибается с голодухи страна.

Легальные каналы информации, и прежде ненадежные, в год Голодомора перекрыты, и, видимо, всерьез и надолго. В такой ситуации единственно надежными, т. е. несоветским Информбюро, оказываются разговорцы и полуразговорцы, причем не только внизу, в «обывательской» или интеллигентской среде, но и наверху. Даже в коридорах высшей власти. Н.С.Хрущев, к примеру, пишет в «Воспоминаниях», что Маленков узнал о том, что Серго Орджоникидзе застрелился, а не умер от инфаркта, *из разговоров во время войны,* то есть спустя несколько лет после его загадочной смерти.

Ахматову, которая вывела стихи про кремлевского горца за границы изящной словесности, политические оттенки занимают мало. *Скоморошина,* с ее точки зрения, всего лишь *скоморошина.* Но почему Осип, человек скорее трусливый, нежели храбрый, не поступил так же, как она, не спрятал опасные стихи *в подвал памяти* – до лучших дней? Почему, зачем и какой целью стал читать их не только тем, в ком был уверен, как в самом себе, самым *своим,* но и чужим, посторонним? Сначала, до поездки в Воронеж, куда Мандельштама перевели из Чердыни, она, как и Бенедикт Лифшиц, объясняла странность поведения О.Э. состоянием его психики, то есть тяжелым склерозом, обострившим врожденную невыдержанность, неумение прирожденного «ожидальщика» терпеть и ждать. Допустить, что это был гражданский поступок и даже подвиг, обеспечивший автору скоморошины патент на благородство, Анна Андреевна не могла, поскольку неколебимо стояла на своем на сей счет убеждении: «пропуск в бессмертие» обеспечат ее *бесценному другу* другие стихи. Навестив Мандельштама в ссылке и убедившись, что с интеллектом, несмотря на склероз, у Осипа все в порядке и

что он пишет удивительные, исполненные силы и энергии вещи, даже отдаленно не предполагающие дементность и дистрофию мозга, нашла другое объяснение. Дескать, Осип не просто сохранил до пожилого возраста «сияющие глаза пятилетнего ребенка», но и до седых волос остался *глупым мальчиком,* как сказано в «Поэме без героя». Якобы о Вс. Князеве. Однако всем, кому надо, понятно: на фотопластинку по обыкновению сделаны два снимка. А это значит, что речь идет не только о всеми забытом самоубийце, запутавшемся в андрогинных амурах двадцать лет тому назад, и что дорога, открывающаяся перед *глупым мальчиком,* с драмой на маскараде тринадцатого года ничего общего не имеет:

Сколько гибелей шло к поэту,
Глупый мальчик: он выбрал эту, —
……
Он не знал, на каком пороге
Он стоит и какой дороги
Перед ним открывается вид…

Снятым с самолетной высоты *видом* этой более чем реальной *дороги* – во глубину сибирских руд, в эпицентр ГУЛАГа, «Поэма…», начавшаяся траурным маршем Шопена, и кончается траурным аккордом. Кончается, как и началась, – *погребально:*

И открылась мне та дорога,
По которой ушло так много,
По которой сына везли,
И был долог путь погребальный
Средь торжественной и хрустальной
Тишины Сибирской Земли.
От того, что сделалось прахом,
Обуянная смертным страхом
И отмщения зная срок,
Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток.

3 марта 1938 года Осип Эмильевич и Надежда Яковлевна приехали в Ленинград и прямо с вокзала ввалились нежданно на Фонтанку. Пунин, открывший незваным гостям дверь, так растерялся, что потерял дар речи. Анна Андреевна, воспользовавшись его замешательством, с преувеличенной

готовностью предложила Мандельштамам и стол, и дом. Вспоминая те мартовские ленинградские дни, Н.Я.Мандельштам пишет: «Мы провели в Ленинграде два дня. Ночевали у Пуниных… Все понимали, перед чем мы стоим, но не хотелось губить последние минуты жизни. Анна Андреевна казалась легкой и веселой. Николай Николаевич шумел и смеялся. Но я заметила, что у него участился тик левой щеки и века».

Пунин шумел и смеялся не потому, что не хотел губить последние минуты жизни, а чтобы скрыть и от гостей, и от Анны свой страх. О *расстрельных* стихах М. он наверняка ничего не знал, зато слишком помнил, что Бухарин, которого судили как раз в эти дни, покровительствовал О.Э. Да и веселость и легкость Анны Андреевны к визиту затравленных и обреченных друзей прямого касательства не имела. Накануне их приезда Анна Андреевна отпраздновала первую *веселую* годовщину своего знакомства с Владимиром Георгиевичем Гаршиным, ученым врачом и родным племянником знаменитого писателя, другом, который станет ее заботой и утешением на целых семь лет. Год назад, и именно 3 марта, А.А. выписалась из больницы, где и состоялось их знакомство, и теперь ждала еще одной незабвенной, с Гаршиным связанной даты: 10 марта – даты их первого прошлогоднего свидания после выписки из лечебницы. В том, что они обязательно встретятся и в эту счастливую годовщину, Анна Андреевна была уверена. Заранее условленное юбилейное свидание не состоялось. 10 марта 1938 года, в середине дня, Орест Высотский пришел в Фонтанный Дом со страшной вестью: Льва Николаевича арестовали. В ожидании обыска Ахматова стала в панике бросать в печь сомнительные бумаги. А все остальное, в том числе и листок с только что написанными и посвященными Гаршину стихами, засунула на дно служившего ей архивом Ольгиного старинного сундука. По счастью, стихи на годовщину не пропали, нашлись и даже были вскоре опубликованы в журнале «Звезда», вот только с другой, мнимой датой, заставившей в свое время поломать голову и внимательных читателей, и комментаторов, а главное – Льва Гумилева. Но об этом в следующей главе.

«Помощный зверь»

Датировка произведений Анны Ахматовой – головная боль публикаторов. Н.Я.Мандельштам, ссылаясь на Осипа Эмильевича, утверждала: А.А. использовала мнимую датировку как проверенное конспиративное средство (дабы скрыть от Гумилева, а потом от Шилейки и Пунина свои, так сказать, «левые шашни»). С той же целью, дескать, стягивала в циклы стихи, написанные в разное время и обращенные к разным лицам…

Меж тем не все так просто-вульгарно. Уже потому не просто, что Ахматова часто датировала автографы через два на третий. К тому же еще в юности она убедила себя, что проза, как и «трибуна», «обнажает», а лирика, как и сцена, «скрывает», напускает туманцу. Оттого и переадресовывала стихи. Даже те перепосвящала, в которых в момент создания, под «легких рифм сигнальные звоночки», *говорила с одним.* Впрочем, и этот *один* далеко не всегда обладал портретным сходством с конкретным лицом. Во всяком случае, нет серьезных оснований не доверять Ахматовой, предупреждавшей, что некоторые из ее лирических миниатюр не имеют адресатов. П.Н.Лукницкий, попытавшийся узнать, к кому обращено какое-то стихотворение из сборника «Четки», получил следующий ответ: «Ни к кому не обращено – просто было такое настроение».

В рассуждении подавляющего большинства произведений Ахматовой затейливая путаница датировок и посвящений вполне безобидна. Да, ставит в тупик публикаторов, но на доверительных отношениях поэта и читателя практически не сказывается. Возьмем, к примеру, цикл «Смятение». Так ли уж важно читателю знать, кому посвящено стихотворение?

Я, грешным делом, считаю, что Георгию Чулкову, с которым Анна Гумилева каталась по Булонскому лесу в 1911 году. А судя по ее «донжуанскому реестру» (продиктованному по просьбе П.Н.Лукницкого), не только каталась. Но это, естественно, не более чем допущение. Потому-то не исключаю и иной вариант: «Смятение» – всего лишь вариация на заданную Блоком тему:

> В кабаках, в переулках, в извивах,
> В электрических снах наяву
> Я искал бесконечно красивых
> И бессмертно влюбленных в молву.

Георгий Иванович Чулков и в самом деле был красив.[49] Но

красивых мужских лиц в кругу Анны Ахматовой в предреволюционные годы было немало. Даже бесконечно красивые попадались. И через полвека она не позабыла, как хорош был в юности Перец Маркиш: «Он был так фантастически красив, что когда в 13-м году остался в Париже совсем без денег, то пошел по объявлению на конкурс красоты и выиграл первый приз» («Смятение», кстати, – это 1913-й).

Конечно, если бы удалось выяснить, какой из вариантов и в данном, и в аналогичных случаях ближе к истине, в летописи жизни и творчества Анны Ахматовой стало бы одним пробелом меньше. Но и только. Текст не утратит эстетической безупречности, а силовые линии судьбы и творческого поведения автора не изменят вектора *(«Как твердо судьба ведет свою линию…»)*. Иное дело стихи второй половины тридцатых годов. Тут приблизительность, формально-текстологически, может, и допустимая, непоправимо искажает биографию Ахматовой, и прежде всего самую уязвимую из ее сюжетных составляющих – историю отношений с Львом Гумилевым.

Казалось бы, после опубликования «Записок» Л.К.Чуковской и мемуаров Эммы Герштейн яснее ясного: сын был не прав, обвиняя мать в том, что после его арестов, даже в те страшные годы, когда создавался «Реквием», она жила в свое удовольствие и ничего не делала, дабы вытащить его из «каторжной ямы». Дело, однако, в том, что Лев Николаевич не доверял почтенным дамам из материнской «свиты». Прирожденный историк и сын своего отца, Гумилев-младший верил только числам. Дескать, «умное число» точнее передает оттенки смысла, чем слова, слова, слова. Матушка, подсунув «Реквием», уговаривала: «Приговор» посвящен ему, Левушке. И написан в день, когда ей стал известен приговор по его *делу,* пересмотренному в июле 1939-го:

всего пять лет исправительно-трудовых лагерей за антисоветскую агитацию. А то, что стихи опубликовала «Звезда», истолковав как фиксацию очередного любовного фиаско, – чистой воды камуфляж, так же как и обманная датировка. Между тем даже в таком компетентном издании, как однотомник в «Библиотеке поэта», приводится иная дата: июнь, а не июль. Какой же вывод из сопоставления этих чисел мог сделать Лев Гумилев, а заодно с ним и вся антиахматовская рать? Стишок-де амурного происхождения и в «Реквием» вставлен для восполнения объема.

И в самом деле, о чем свидетельствует дата, проставленная под «Приговором» и в «Звезде», и в дальнейших публикациях, – 22 июня 1939 года? Если стать на точку зрения сына, то свидетельствует в его пользу, ибо 22 июня 1939 года жизнь

подследственного Гумилева, приговоренного к лишению свободы с содержанием в ИТЛ сроком на десять лет, висела на волоске. Его вернули из лагеря в районе Беломорканала в Ленинград, а дело отправили на доследование только потому, что прокурор нашел наказание недостаточным. Уж кто-кто, а она, мать, должна была твердо, на всю оставшуюся жизнь, запомнить: новый, *легкий* приговор маркирован 26 июля 1939 года (см. у Э.Г.Герштейн: «Лева был отправлен в лагерь всего на пять лет. Это считалось очень легким приговором. И объясняли его тем, что Ежова убрали, а на его место пришел добрый и справедливый Берия»).

Анна Андреевна, конечно же, ничего не забыла – *как можно забыть?* Однако и подозрения Льва Николаевича возникли не на пустом месте. «Приговор» психологически адекватен ситуации, как она складывалась *после* 26 июля 1939 года, но совершенно невозможен, кощунствен, ежели, поверив нарочито мнимой, сбивающей цензуру со следа датировке, соотнести его с состоянием дел и чувств матери и сына на 22 июня того же года. Прочитаем же внимательно этот текст:

> И упало каменное слово
> На мою, еще живую грудь.
> Ничего, ведь я была готова,
> Справлюсь с этим как-нибудь.

Справлюсь – с чем? 22 июня 1939 года вопрос стоял так: а что, ежели *добренький* Берия примет во внимание аргументы прокурора и подпишет Гумилеву еще более жестокий приказ, то есть те же десять лет, но без права переписки?

Словом, давным-давно пора бы датировать «Приговор», сообразуясь с оттенками смысла: *не раньше 26 и не позже 29 июля 1939-го.* Однако и в двухтомнике М.Кралина, и в многотомнике Н.В. Королевой под «Приговором» по инерции ставится все та же дата: 22 июня 1939-го.

И вот еще на какой момент, важный для заявленного сюжета, обращают наше внимание «умные числа». Считается, что покаянное стихотворение 1961 года «Так не зря мы вместе бедовали…» рождено муками совести за позорный, восхваляющий мудрость Сталина цикл «Слава миру».[50] Дескать, Ахматова решилась на этот шаг только после последнего, третьего ареста сына (в ноябре 1949-го), а до этого в отличие и от Мандельштама, и от Пастернака оставалась «чистой, словно перед Господом свеча». На самом деле под ноги «палачу» Анна Андреевна рухнула гораздо раньше. Это простодушная Эмма Григорьевна поверила сказочке про справедливого Берия. Ахматова звериным своим

нутром мгновенно почуяла: существует опасная, темная связь между внезапным интересом к ее творчеству со стороны журналов и издательств летом 1939-го (Константин Симонов лично пожаловал в Ленинград, чтобы выпросить у нее стихи для «Московского альманаха») и судьбой сына, точнее, *легким* приговором по делу Л.Н.Гумилева. Живой легенде давали понять, что готовы сохранить ее как национальное достояние, но в обмен на вещественные доказательства лояльности. Ахматова намек поняла. Ранним летом 1934-го, уже после ареста Мандельштама, но еще до ареста Пунина и Гумилева, она многозначительно промолчала в ответ на настойчивый совет Пастернака вступить в Союз писателей. А вот в 1939-м, дождавшись от сына открытки с сообщением, что он живым доставлен на место трудового исправления, она немедленно (11 сентября) подала заявление в ленинградское отделение Союза писателей с просьбой принять ее в число его членов. И тут же посыпались милости. Перечисление их заняло бы не одну страницу. Назову самые существенные. Президиум СП СССР в срочном порядке направил в ленинградский Совет народных комиссаров письмо с настоятельной просьбой предоставить А.А. Ахматовой отдельную от Пуниных жилплощадь, а также назначить персональную пенсию. В повышенной пенсии все-таки отказали, вот только вряд ли негативное решение имело персональный акцент: шла война с Финляндией, и программу социального обеспечения трудящихся вынужденно урезали. Что касается личной жилплощади, то от этого предложения А.А., видимо, сама отказалась. В чужой коммуналке – об отдельной квартире в те годы и речи не могло быть – слишком много всевидящих глаз и всеслышащих ушей. Зато в пунинских нищих хоромах за ней официально закрепили отдельную непроходную комнату.

Царственным жестом отказалась Анна Андреевна и от выхлопотанного К.И.Чуковским единовременного пособия. Не к лицу попрошайничать, ежели у тебя авансовый договор сразу с двумя издательствами, а телефон разрывается. Названивают изо всех, буквально всех, редакций! Ну прямо как в странном, не объяснимом тогдашними обстоятельствами стихотворении 1922 года: «Дьявол не выдал. Мне все удалось. / Вот и могущества явные знаки. / Вынь из груди мое сердце и брось / Самой голодной собаке».

Один из сборников по техническим причинам застрял, зато другой – «Из шести книг» – в мае сорокового мигом подписали в печать. Через две недели Ахматова уже сочиняла дарственные. К тому времени (до 20 мая 1940 г.) дописан и запрятан в самый дальний угол «подвала памяти» и «Реквием», и созданные

одновременно с этой мощной антисталинской бомбой крамольные и полукрамольные пехотные мины («Стансы», «Поздний ответ», «Уложила сыночка кудрявого…», «Памяти Булгакова»).

Прочитайте подряд первый том и первую книгу тома второго подготовленного Н.В.Королевой шеститомника, единственного на сегодняшний день солидного издания, где стихи Ахматовой расположены в хронологическом порядке. После 20 мая 1940-го и до августа 1946-го А.А. не зафиксировала на бумаге ни единой «антисоветской» строки. Вернувшись в 1944 году в Ленинград и удостоверившись, что милости продолжаются, она даже сожгла написанную в Ташкенте сатирическую драму в стихах «Энума елиш». Договор с *Дьяволом* надо было соблюдать.

Но вернемся в 1939-й. Как следует из «Записок» Л.К.Чуковской, 29 июля Ахматова прочитала ей не только «Приговор», но и еще одно стихотворение, разъяснив: оба, мол, новые, а про новые она никогда не знает, получилось или нет («Про свои старые я знаю все сама, словно они чужие, а про новые никогда ничего, пока они не станут старыми»). И еще спросила: какое из двух Лидии Корнеевне больше нравится. Та, смешавшись, на каверзный вопрос не ответила. «Приговор» ее ошеломил, а про другое, как, впрочем, и про все «безумно-любовные» опусы А.А., и она никогда ничего не знала. Но мы-то знаем: «Приговор», вписавшись в «Реквием», стушевался и потускнел, зато второе из прочитанных Чуковской 29 июля 1939 года стихотворений наверняка не потеряется и в блеске сокровищ алмазного фонда русской лирики. Если, конечно, его отреставрировать, вернув тексту первоначальный вид.

Годовщину веселую празднуй —
Ты пойми, что сегодня точь-в-точь
Нашей первой зимы – той, алмазной —
Повторяется снежная ночь.

Пар валит из-под царских конюшен,
Погружается Мойка во тьму.
Свет луны, как нарочно, притушен,
И куда мы идем – не пойму.

Меж гробницами внука и деда
Заблудился взъерошенный сад.
Из тюремного вынырнув бреда,
Фонари погребально горят.

В грозных айсбергах Марсово поле,
И Лебяжья лежит в хрусталях…
Чья с моею сравняется доля,
Если в сердце веселье и страх.

И трепещет, как дивная птица,
Голос твой у меня над плечом,
И внезапный согретый лучом
Снежный прах так тепло серебрится.

В процитированном виде *алмазный* шедевр света не увидел. Он сохранился лишь в черновом автографе 1939 года и, с незначительными вариациями, в дневнике обладателя дивного голоса Владимира Георгиевича Гаршина. Причин на то, на мой взгляд, несколько. При первопубликации («Звезда», 1940) Ахматова дипломатично изъяла третью строфу, предвидя реакцию редактора: *«Тюремный бред»* – это, позвольте, о чем? Царские конюшни также пришлось сделать желтыми, а Марсово поле – славным («в грозных айсбергах славное поле»). В «Беге времени» текст напечатан полностью. Без вынужденных подцензурных замен. Но, увы, с искажающей правдоподобие обстоятельств правкой: «веселая» годовщина превратилась в «последнюю» («годовщину последнюю праздную»). Так с тех пор и печатается, хотя и самый неискушенный, но от природы чуткий к слову читатель стиха наверняка на этой самой кочке непременно споткнется. Последние годовщины на столь высокой, ликующей ноте не празднуют. И мысли не допускаю, чтобы Ахматова не чувствовала антипсихологизм замены. А если чувствовала, почему испортила замечательную, совершенную вещь?

Н.В.Королева объясняет это тем, что после разрыва с Гаршиным (в 1944-м) А.А. «отредактировала», практически переработала, целый ряд обращенных к нему вещей, а некоторые перепосвятила. Перепосвятила, мол, и «Годовщину», как бы переадресовав ее Н.Н.Пунину. Переадресовка, по мнению Н.В.Королевой, потребовала и передатировки. Было (в автографе) 1939, стало (в «Беге времени») 1938. Логика комментатора на первый взгляд безупречна, поскольку окончательный разрыв с мнимым адресатом, то есть с Николаем Николаевичем Пуниным, действительно произошел в сентябре 1938-го; в 1939-м свои годовщины Ахматова и Пунин уже не отмечали. Неясно, правда, как быть со свидетельством Л.К.Чуковской, утверждавшей, что «Годовщина» была прочитана ей как новое стихотворение в июле 1939-го. Не умея разрешить эту неувязку, публикаторы

придумали текстологический кунштюк. Дескать, логичнее печатать текст, учитывая окончательную авторскую волю (по «Бегу времени»), то есть с заменой *веселой* годовщины на *последнюю,* но датировать все-таки не по последнему хотенью-веленью Ахматовой (1938), а по списку Дилекторской: *1939*.

Логика хотя и странноватая, но здравому смыслу вроде бы не перечит: так называемый список Дилекторской – документ авторитетный. Закавыка, однако, в том, что этот изобретательно найденный выход из текстологического тупика ни с истинностью страстей, ни с правдоподобием обстоятельств решительно не согласуется. Да и в сугубо формальном отношении относительно приемлемым он представляется лишь до тех пор, пока мы не прочтем все, без изъятий, первые главки «Записок» Чуковской, начиная с 10 ноября 1938 года, когда возвращенный с лесоповала Гумилев уже сидел в Крестах, и кончая 29 июля 1939-го. В зафиксированном Л.К.Чуковской перечне трудов и дней Анны Ахматовой в этот период нет ни одного светлого промежутка. «Вы знаете, что такое пытка надеждой? После отчаяния наступает покой, а от надежды сходят с ума». Ахматова так сосредоточена на своей беде, так измучена семнадцатью месяцами ожидания («Семнадцать месяцев кричу, зову тебя домой…»), что не может даже, порывшись в черновиках, составить журнальную подборку, слепить цикл. Из редакций звонят, умоляют, а она: «Не хочу я искать, рыться… Бог с ними… Да и остались одни безумно-любовные…» (запись от 18 мая 1939 г.). Какие стихи, до стихов ли! И из дома всю зиму ежели и выползает, то только по Левиным делам. Впрочем, бесконечная зима 1938/39 года, особенно февраль, не способствовала прогулкам: «Сухо, бесснежно, холодно» («Записки» Л.К.Чуковской). К тому же выглядит Ахматова так ужасно, что боится показываться на людях: «Лицо маленькое, сухое, темное. Рот запал». Даже Лидия Корнеевна пугается: «Вам надо почаще ходить гулять». На что Ахматова отвечает: «Что вы! Разве сейчас можно гулять!» Конечно, Л.К.Чуковская приходит на Фонтанку не каждый день, а великие поэты – создания не только творческие, но и чудотворческие. И все-таки, чтобы такое чудо, как «Годовщина», произошло, да еще в дни, когда пытка надеждой стала невыносимой и «безумие крылом души закрыло половину», Анне Андреевне, по крайней мере, надо справиться с глухим раздражением, какое на протяжении семнадцати месяцев вызывает у нее Владимир Георгиевич Гаршин. Разумеется, не только он, но он особенно, ибо ближе всех. «Знаете, – говорила она Л.К.Ч., -… я стала дурно думать о мужчинах», и, не слушая возражений, процитировала чьи-то слова: «Низшая раса» (запись от 18 мая 1939 г.).

Впрочем, на этом загадки, а значит, и наш диалог с «умными числами», не кончаются, поскольку не только в списке Дилекторской, но и в дневнике лирического героя «Годовщины» Владимира Гаршина под аккуратно переписанным текстом стоит еще более загадочная, нежели в «Беге времени», дата: 9-10 июля 1939 года.

Необъяснимо? Необъяснимо. «Умные числа» – и те запутались в показаниях. И все-таки попробую их распутать, дабы они, распутавшись, подтвердили, что Ахматова, датируя в «Беге времени» это таинственное стихотворение 1938 годом, не ошибается и не темнит. Оно, как я предполагаю и надеюсь доказать, и в самом деле написано в 1938-м, вот только не после, а до ареста сына, то есть либо в феврале, либо в первых, до десятого, числах марта.

10 марта 1938-го *в час один* переменило приоритеты жизни Анны Ахматовой. С ней, кстати, такое уже было. В августе 1914-го, в день вступления России в войну с Германией: «Мы на сто лет состарились, и это / Тогда случилось в час один…» И еще там же:

> Из памяти, как груз отныне лишний,
> Исчезли тени песен и страстей.
> Ей – опустевшей – приказал Всевышний
> Стать страшной книгой грозовых вестей.

И вот история повторялась. Какие любови, какие амурные годовщины, если сын в тюрьме? Архивы следует не хранить, а жечь!

«Годовщина», в отличие от иных ценных бумаг, в печь не попала, закатилась в щелку и протаилась *в нетях* целых семнадцать месяцев. До того самого срока, полагаю, таилась-пряталась невостребованная, пока, понуждаемая обстоятельствами, Ахматова не заставила себя перерыть архивный сундук. Смею предположить, что бесценная рукопись обнаружилась в интервале между 21 и 29 июля. И вот почему смею. По записи Чуковской, сделанной 21 июля 1939-го, Анна Андреевна в этот день была в очень плохой форме: «молчит – тяжело, внятно». До 29-го они не видятся, а 29-го, как уже упоминалось чуть выше, радостно-возбужденная охотно читает новые стихи – «Приговор» и «Годовщину», а главное, сообщает поразительную новость: несколько дней назад выпущен из тюрьмы Николай Давиденков, университетский приятель Льва, арестованный одновременно с ним и в одной связке. По-видимому, именно это чрезвычайное событие и вырывает Ахматову из «тюремного бреда», ненадолго, но вырывает.

Сделав усилие, она выныривает из безумия, чтобы наконец-то озаботиться неотложными и крайне важными, на данный момент наиважнейшими, литературными делами. Больше того, судя по тому, что вариант «Годовщины», сохраненный в дневнике Гаршина, в незначительных деталях, но все-таки отличается от процитированного (вместо *повторяется* (ночь) – *возвращается;* вместо *взъерошенный* (сад) – *и мечется,* вместо *вынырнув* (из тюремного бреда) – *вырвавшись),* стихи вручены Владимиру Георгиевичу в знак помилования сразу же по обнаружении пропажи, а окончательная доводка произведена позднее, при составлении подборки для журнала «Звезда». Предполагаю также, что тогда же нашлась и еще одна завалившаяся в щелочку пропажа. Я имею в виду поступивший в Музей Анны Ахматовой на Фонтанке в 1995 году от снохи В.Г.Гаршина русский «Вечер» (1912), спаренный самодельной обложкой с книжечкой ахматовских стихов, изданной, в переводе на английский, в Лондоне в 1927 году. В каталоге-приложении к сборнику «Владимир Георгиевич Гаршин» этот экспонат подробно описан, но не откомментирован, хотя поломать голову тут есть над чем.

На переплете английского издания одна дарственная: «*Моему Володе. Аня. Третье лето»,* а на авантитуле другая: *«Гаршину.* 28.10.41». В этой странной дате и заключена загадка, ибо 28 октября 1941 года Анна Андреевна вместе с семьей Л.К.Чуковской находилась в эшелоне Казань-Ташкент. Этот факт сомнению не подлежит. Не подлежит уточнению и следующий факт: из Ленинграда Ахматова улетела 28 сентября 1941 года на военном самолете, с одним узелком, оставив рукописи и прочие реликвии на попечение Гаршина. Как вспоминает Ирина Пунина, едва открылся снежный путь, Гаршин несколько раз являлся на Фонтанку и на саночках увозил к себе брошенное *Аней* имущество.

Можно, конечно, сделать фантастический допуск. Дескать, по дороге из Казани в Ташкент 28 октября 1941 года Ахматова вручила кому-то из попутчиков случайно оказавшуюся в невесомом ее багаже уникальную книжечку, дабы тот с оказией переслал ее Гаршину, оставшемуся в осажденном Ленинграде. И все-таки, на мой взгляд, реалистичнее допустить, что русско-английский «Вечер» неожиданно вынырнул из бумажных завалов в июле 1939-го, когда Анна Андреевна перерывала свои архивы, дабы составить подборку для «Звезды». Отсюда и первая дарственная: *Третье лето,* поскольку лето 1939 года действительно было третьим летом их союза. По какой причине Гаршин не получил приготовленный ему подарок, мы не знаем, но если бы этот уникальный экземпляр Ахматова подарила ему в

1939 году, на нем не появилось бы второе посвящение. Значит, почему-то не подарила… А вот дальше, по моей гипотезе, произошло (или могло произойти) следующее. Сортируя перед отлетом из Ленинграда – а было это, напоминаю, 28 сентября – оставляемый «помощному зверю» архив, А.А. снова наткнулась на русско-английский сборничек и, отметив неврученный когда-то подарок датой своего отлета, в спешке и панике перепутала нумерацию месяца. С ней, кстати, такое частенько случалось. Например, подписывая Исайе Берлину сборник «Из шести книг» 5 января 1946 года, ошиблась и числом (4 вместо 5), и даже годом: 45, а не 46.

Но вернемся к «Годовщине» и продолжим диалог с «умными числами». Ежели эти стихи написаны в 1938-м (до ареста сына, то есть до 10 марта), а подарены никак не раньше 29 июля 1939-го, то откуда же взялась не вытекающая из всего выше изложенного дата (9-10 июля!) в гаршинском дневнике? Ни перепутать, ни взять ее с потолка Владимир Георгиевич наверняка не мог. Патологоанатом и коллекционер, он был до чрезвычайности аккуратен и к тому же, боготворя Гумилева, по завету мэтра с числами обходился с величайшей осторожностью. Гаршин и на знакомство с Ахматовой напросился потому только, что та когда-то была женой его кумира. Незадолго до смерти, перечитав «Звездный ужас», сделал горестную замету: «Эх, Аня, Аня! Кого ты бросила!»

Словом, датировка 9-10 июля появилась в его щегольской, в кожаном переплете дневниковой тетради не по ошибке. Не являясь ни датой дарения, ни датой написания, она, видимо, было числом особым, из рода «незабвенных дат», то есть все тех же «умных чисел», что передают содержащийся в них смысл лишь тем, для кого они незабвенны. Это предположение подтверждает и дата, проставленная на обороте фотографии, подаренной Гаршину летом 1940 года:

Моему помощному зверю Володе.

10 июля 1940

Начнем, однако, не с лета, а с зимы, с февраля 1937-го, в память о котором Анна Андреевна не задумываясь подарила Гаршину самый эффектный из своих портретов – репродукцию с работы Юрия Анненкова с многозначительной надписью, самоцитатой из давнего, двадцатилетней давности, стихотворения, посвященного Борису Васильевичу Анрепу: «Памятен мне будет месяц вьюжный, северный встревоженный февраль». Дарственная, правда, не датирована, однако февраль 1937-го действительно выдался на редкость вьюжным. В записочке, отосланной Анне Андреевне в больницу накануне дня

ее ангела, Николай Николаевич Пунин писал: «Никто не звонил, ничего не произошло, кроме того, что солнечные дни сменились вьюжными» (записка от 14 февраля 1937 г.).

Позвольте, может возразить дотошный, а главное, неприязненный читатель, с Владимиром Георгиевичем Гаршиным Анна Андреевна действительно познакомилась в феврале 1937 года. Однако и в ее биографиях, и в «Летописи жизни и творчества Анны Ахматовой» В.А.Черныха черным по белому написано: знакомство было легкокасательным и переросло в настоящий роман лишь к осени 1938-го. А осень 1938 года – это как раз те месяцы, когда Ахматова, судя по ее автобиографической прозе и «Реквиему», сутками простаивала в тюремных очередях с передачами в надежде узнать хоть что-нибудь об арестованном сыне. Что может быть циничнее в такой ситуации, чем перерастание необязательных, как бы дружеских отношений в настоящий роман? К тому же в «Годовщине» речь идет о зимней ночной прогулке, маршрут которой ритуально точно повторен ровно через год, а Анна Ахматова с 11 февраля по 3 марта 1937 года находилась в Мариинской больнице и, следовательно, разгуливать с Гаршиным вдоль Мойки по ночам никак не могла.

Отвечаю. В феврале 1937-го ей было куда сподручнее отлучиться из больницы, чем сбежать на свидание с интересным знакомым из пока еще вполне семейного дома и из-под неусыпного надзора ревнивого Пунина. Ведь в Мариинскую больницу к знаменитому на весь Союз эндокринологу профессору Баранову ее устроили не на лечение, а всего лишь на обследование, и притом по блату, через приятельницу законной супруги Пунина Анны Евгеньевны. Приятельница, в свою очередь, оказалась сослуживицей Гаршина. Следовательно, Владимиру Георгиевичу, при его-то властности и обаянии, ничего не стоило «похитить» Анну Андреевну из больничной неволи хотя бы на несколько прогулочных часов. Он в этой больнице свой человек, заведует, по совместительству, патологоанатомическим отделением. Да и повод для совместной прогулки не надо выдумывать, повод прямо-таки навязывает себя. Благовидный, солидный, равно уважительный для обеих заинтересованных сторон: столетие со дня гибели Пушкина. Самый первый день памяти поэта 10 февраля 1937 года Ахматова провела дома, в тоске, одиночестве и в смертной обиде. Ее не пригласили на юбилейное заседание в Пушкинский Дом! А на следующее утро пришлось ложиться в больницу. Отсюда, полагаю, и маршрут, по которому следуют наши герои: от Конюшенной площади к Мойке (в Конюшенной церкви, напомним, Пушкина наскоро отпели и

уже мертвого отправили во вторую, посмертную Михайловскую ссылку, а на Мойке была его последняя квартира).

Думаю, с этим скрытым сюжетом связано и выражение «фонари погребально горят». Предполагаю также, что на память о юбилейной прогулке по пушкинским местам вскоре после выписки из больницы (3 марта 1937 г.) Анна Андреевна сделала Владимиру Георгиевичу «царственный подарок»: первый том «Временника» Пушкинской комиссии, где опубликована ее ученая работа «"Адольф" Бенжамена Констана в творчестве Пушкина». Чтобы оценить и безоглядную щедрость автора, и градус увлечения Гаршиным, надо принять во внимание, что двойные экземпляры даже самых важных публикаций у Ахматовой не заводились и в более денежные времена.

Разумеется, отнюдь не все биографы Ахматовой педантично придерживаются общепринятой, зафиксированной в «Летописи» версии. И тем не менее даже Т.С.Позднякова, составитель и комментатор книги о Владимире Гаршине и автор тонкой и умной статьи о нем, полагает, что роман Гаршина и Ахматовой начался хотя и в 1937 году, но все-таки не зимой, а поздней весной. Следовательно, зима 1938-го – первая зима в хронике их романа, а праздник Годовщины – зима 1939-го. Т.С.Позднякова – исследователь щепетильный, и ее заметно смущает «веселость» Анны Андреевны в ночь Годовщины, то есть в ситуации «ожидания приговора сыну». Чтобы смикшировать «нехорошие смыслы» и спасти репутацию Ахматовой, она призывает на помощь Пушкина. Дескать, это то веселье, что «у бездны мрачной на краю». Но это, увы, не более чем натяжка. Нет в «Годовщине» никаких «бездн»! Да и о каком пире во время чумы может идти речь, если Большая беда (ранней зимой 1938-го) еще обходит стороной и ее, и самых близких? Лев Николаевич восстановлен в университете. Мандельштамы вот-вот вернутся из Воронежа, Пастернака печатает «Знамя». И страх, от которого сжимается сердце, совсем иного сорта, то есть, по ироническому выражению Ахматовой, – «безумно любовный». Но все сразу становится ясно-прозрачным и, главное, отодвигается от края бездны, как только мы восстановим правильную датировку: первая прогулка вдоль Мойки – февраль 1937-го (до 3 марта), вторая, через год и тем же маршрутом, – февраль 1938-го (до 10 марта).

А теперь отвлечемся на несколько минут от леденящей ужасом даты 1937, год ведь только начинается, перечитаем «Годовщину» еще раз и вслушаемся в ритмику снего– и сердцекружения.

Раз-два-три… Идеально правильный, вальсовый, сентиментальный трехстопный анапест:

Го-дов-щи-иу ве-се-лу-ю празд-нуй…

Женские рифмы словно бы делают реверанс, мужские как бы прищелкивают каблуками. И распев, и размер, и взволнованный голос повторяют самые ахматовские стихи – прелестный шлягер тринадцатого года: «Вижу выцветший флаг над таможней / И над городом желтую муть».

Раз-два-три… Не пожилой импозантно-старомодный профессор и знаменитая, но, увы, немолодая поэтесса – снежный вальс исполняют их молодые двойники: пригожий, *высокий и статный,* молодой человек, веселый оттого, что перевод из Петербургского университета в Киевский наперекор всему состоялся, и почти хорошенькая петербуржанка, вынужденная по семейным обстоятельствам записаться на женские курсы в опостылевшем ей Киеве, раздобревшем на «сахарных» сверхдоходах. Курсистка-юристка и студент-медик…

Т.С.Позднякова внимательно проследила место и время «таинственных невстреч» Гаршина и Ахматовой. Киев 1908–1910 годов, где оба учились, где могли встретиться и не встретились. Петроград двадцатых (первая жена доброго знакомого Ахматовой литературоведа Б.М.Энгельгардта – двоюродная сестра Гаршина), где они также могли пересечься и не пересеклись. Позднякова же обратила внимание и на таинственный параллелизм их житейских судеб: венчались в одном и том же месте – Владимир Георгиевич в самом Киеве, Анна Андреевна под Киевом, а главное, в одном и том же году, 1910-м.

Число странных сближений можно увеличить. Лев Гумилев и старший сын Гаршина почти ровесники. Как и младшего брата Анны Андреевны, Виктора Горенко, белого военврача В.Г.Гаршина красные чуть было не расстреляли «на Малаховом кургане». Как и Виктор Горенко, военврач Гаршин служил в Кронштадте. Как и Борис Анреп, воевал в Галиции. И уж совсем-совсем странное совпадение: Ахматова и Гаршин еще и одной крови – «капелька новогородской» в сложной смеси с южнорусской…

Невероятные скрещенья судеб наши герои обнаружат, конечно, позднее. В начале знакомства с петербургской знаменитостью профессор по понятным причинам о щекотливых подробностях своей биографии не распространяется. К тому же *роковая женщина* Гумилева оказалась решительно не похожей на свои прославленные красивые портреты. Вот какой непривлекательной увидела Анну Андреевну в 1936 году, то есть за несколько месяцев до встречи с Гаршиным, Руфь Зернова, в ту пору семнадцатилетняя первокурсница филфака ЛГУ:

«…Вышла женщина, такая худая, каких я никогда не видела, с выпученными огромными светлыми глазами, с длинной шеей, с длинной головой и с длинной сизой челкой, непричесанная, в каком-то халате безнадежного цвета. Из того, что я ожидала, подтвердилось одно: тишина. И то не тишина – молчание. Никакой светской беседы. Вообще никакой беседы. Мы сидели рядом на диване… и я что-то лепетала, даже мне самой неинтересное, и только пялилась, пялилась на живую Ахматову, страшную, как баба-яга, которой детей пугают. Потом Гуковский мне сказал, что у нее базедова болезнь».

Страшной, как баба-яга, Анна Андреевна, конечно, не была, и тем не менее даже Пунин в одной из февральских больничных записочек 1937-го спрашивает: «Ты все такая же жалкая?»

К весне 1937-го от февральской «жалкости» и следа не останется. Т.С.Позднякова приводит в своей книге о Гаршине следующий фрагмент из дневника второй жены Б.М.Энгельгардта, Л.М.Андриевской:

«В прошлом году (запись сделана летом 1938-го. – *А.М.)* Анна Андреевна меня спрашивала:

– Как вы ощущаете в этом году весну?

– Никак.

– А я слышу ее, и вижу, и чувствую. Мне хорошо.

И когда однажды они вдвоем с Вл. Георг. Гаршиным пришли к нам под дождем, оба насквозь промокшие, но веселые и ребячески шаловливые, и Анна Андреевна переоделась в мою юбку и кофточку цвета палевой розы и сразу стала вдруг молодой и похорошевшей, а Вл. Георг. смотрел на нее добрым и смеющимся, почти счастливым взглядом, – я поняла тогда, как, и почему, и с кем она чувствует, слышит и видит весну».

В хорошие минуты Анна Андреевна любила прихвастнуть: «Я всю жизнь могла выглядеть по желанию, от красавицы до урода». Ахматова, это отмечают многие современники, и впрямь и хорошела, и дурнела внезапно и, на взгляд со стороны, беспричинно. Вроде как по собственному желанию. В реальности по желанию как раз и не выходило. Ежели начинала хорошеть, значит, на горизонте ее женской судьбы появился некто *дарованный тайной.* Или случайно принятый за того, кто дарован тайной. Гаршин 1937 года вполне вписывается в «эталон суженого». Правда, в «Записках» Л.К.Чуковской он выглядит невыразительно: «помощный зверь» в самом что ни на есть прямом бытовом смысле. До такой степени невыразительно, что до появления составленной Т.С.Поздняковой книги рядовому читателю ничего не оставалось, кроме как принять на веру версию Нины Ольшевской. Дескать, никакой любви меж ними не

было, а был вынужденный союз пожилых и одиноких людей, в трудный час притулившихся друг к другу. («Не думаю, чтобы она любила Гаршина. Это была уже привязанность старых людей друг к другу».)

Не доверять Нине Антоновне Ольшевской-Ардовой вроде бы невозможно, ведь это ей Ахматова, как уже упоминалось, подарила «Бег времени» с надписью: «Моей Нине, которая знает обо мне все». Материалы, обнародованные Т.С.Поздняковой, говорят о другом. О том, что любимая фрейлина «королевы в изгнании» знала о своей госпоже только то, что та соблаговолила ей сообщить. Судя по приводимым Поздняковой фактам, доблокадный Гаршин был человеком неотразимо обаятельным и даже «победительным», а для А.А. еще и неожиданным и поэтому «таинственным». И не потому только, что образован, одарен и порядочен. В тогдашнем ее окружении и образованных, и порядочных, и талантливых «мужиков» вообще-то хватало. Но это все были люди слишком понятных ей профессий и судеб: поэты, художники – словом, гуманитарии. Гаршин из привычного ряда выпадал. Уже тем выделялся, что, понимая в живописи не меньше, чем Пунин, и разбираясь в поэзии не хуже, чем она сама, был профессором медицины. *Профессор медицины* – говорила о своем муже Валя Тюльпанова-Срезневская. И в эти два слова вмещалось все, что после удачного замужества у закадычной подруги было, а у нее, Анны, не было: уют и достаток. Не кичливый, не бьющий в глаза, а как бы растворенный в чистом и теплом воздухе благополучного дома. Вдобавок профессор Гаршин в отличие от профессора Срезневского был еще и доктором. И даже Доктором.

Известно, что Анне Ахматовой «Доктор Живаго» решительно не понравился. В факте как таковом ничего непонятного (и неприятного) лично для меня нет. Но я долго не могла понять причину упрямства, с каким А.А. возвращалась к этой теме в самые неподходящие моменты, пока, перечитывая в который раз «Записки» Чуковской, не задержалась подольше на следующей ее реплике: «Доктор Живаго незаслуженно носит эту фамилию… И – вы заметили? – никакой он не доктор. Пресвятые русские врачи лечили всегда, всех, а этот никого, никогда…»

Среди русских врачей, с которыми жизнь сводила Анну Ахматову, в герои романа о пресвятом докторе, кроме Гаршина, не годился никто. Чтобы убедиться в этом, достаточно прочесть собранные Т.С.Поздняковой воспоминания коллег о докторе Гаршине, а особенно внимательно его блокадное эссе «Там, где смерть помогает жизни». Кстати, в сокращенном виде его мужественный рассказ о том, как вымирал Ленинград, был

опубликован в 1945 году в «Звезде», так что до Ахматовой наверняка дошел. Больше того, судя по подобранным Т.С.Поздняковой воспоминаниям современников, не одна Ахматова считала, что жизнь доктора Гаршина – целый роман и прямо-таки напрашивается в книжку. В рабочих тетрадях Веры Инбер, к примеру, сохранилась такая запись: «Кончу поэму… А потом уже взяться за книгу прозы… Для книги: Гаршин, патологоанатом». Упоминает Позднякова и роман Юрия Германа «Дело, которому ты служишь», в котором медики распевают жестокий романс на стихи Гаршина. Убедительно, на мой взгляд, и предположение Т.Б. Журавлевой, что «в высоком человеке в жреческом кожаном фартуке и черных перчатках», которого Николка Турбин встречает в киевском военном госпитале, можно угадать черты В.Г. Гаршина (автор «Белой гвардии» окончил медицинский факультет Киевского университета тремя годами позже Гаршина).

Впрочем, все эти манипуляции по литературному обогащению образа, как я уже предупреждала, будут произведены Ахматовой некоторое время спустя. При первом же, визуальном контакте *сработала на интерес* иная механика, безотказная. Вошедший в палату, где бедовала Анна Андреевна, неожиданный гость поразил ее тем, что оказался человеком того же типа, что и Борис Васильевич Анреп. Вроде бы большой и тяжелый, а легкий в движениях и статный. А главное, обладающий чем-то таким, от чего женщины в его присутствии начинали почему-то волноваться. Хорошенькая жена одного из его коллег, за которой Гаршин слегка, по привычке («такая у него была манера»), «немного ухаживал», свидетельствует: «Женщины в него влюблялись – смотреть было противно». А вот еще один эпизод из той же серии: «Часто заходил Гаршин. Когда он пришел в первый раз, женщины нашей квартиры переполошились: „Какой красивый“…»

К моменту встречи с Ахматовой Гаршин был уже не тот, не прежний: и слегка располнел, и немного обрюзг. Как-никак, а в 1937-м ему стукнуло пятьдесят. И тем не менее все еще держался, умудряясь выглядеть не только моложавым, но и элегантным. А когда, читая лекции в первом ленинградском меде, молодым движением откидывал густые пряди каштановых, без единой сединки волос, женская половина аудитории замирала…

В мае Гаршин и Ахматова уехали в Москву, и здесь профессор, подозреваю, вновь удивил Анну Андреевну сходством с Анрепом. Как и Анреп («любимец девушек, наездник и игрок»), Владимир Георгиевич «необычайно любил красивое», в том числе и отменно изысканные интерьеры для тайных свиданий. Вот

несколько выписок из его майского московского дневника.

Интерьер первый:

«Узкая комнатка на первом этаже. Стол у окна от стенки до стенки – не стол, а американское бюро, однако всегда открытое. Много бумаг в мелких отделениях. Пресс-папье – розовый мрамор. Шторы тяжелые, нет, не шторы, гардины – красные, на кольцах, сдвигаются с шумом. Слева у двери софа, узкая зеленая. Лампа с непрозрачным бумажным абажуром. Густые тени по углам. Тона – зеленые, красные, тоже густые, с переходом в черное. На столике около софы ветка цветущей яблони. Справа шкафы. На стенках полки с книгами, беспорядочно».

Интерьер второй:

«Светло: окно широкое – в небо и на реку.

Слева, поперек, – кровать карельской березы. По стенке – диван, карельской же березы с бронзой.

Перед ним стол. Ландыши, кекс, чай светлый.

Стол справа письменный, карельский – убрано все, только карточки стоят.

Шкаф – книги – много книг; много стихов.

Люстра елизаветинская с синим стеклом и наивными подвесками».

Ландыши, кекс, чай светлый? Уж не этот ли акмеистический натюрморт посреди отнюдь не праздничной, кровавой Москвы 1937 года оказался той мышкой, которая вытащила-таки репку?

За ландышевый май
В моей Москве кровавой
Отдам я звездных стай
Сияние и славу.

Проясняющие суть сведения о конкретных интерьерах, точнее, о владельцах этих интерьеров в биографии Ахматовой, думаю, искать бесполезно. Описанные комнаты наверняка принадлежали московским знакомым не Ахматовой, а Гаршина. В мае 1937-го, до сентябрьского разрыва с Пуниным, она еще не решалась афишировать свои встречи с Гаршиным. Зато предшествующая описаниям интерьеров страница дневника и впрямь связана с биографией Ахматовой. Собственно, это единственный документ, позволяющий хотя бы одним глазком заглянуть за «заветную черту». Туда, куда А.А. и сама не любила заглядывать – ни в автобиографической прозе, ни в беседах с

друзьями, ни даже в самых вроде бы откровенных поэтических признаниях. И дело тут не только в застенчивости. Этот ее врожденный *порок* с годами сделался компенсированным. Рано, раньше сверстниц повзрослев, Ахматова, при всем своем умном и насмешливом уме и «окаянстве», с мужчинами своей судьбы вела себя отнюдь не умно. В «Климе Самгине» дурнушка говорит о красавице: *Х. в сущности дура,* на что поклонник красавицы отвечает: *женское в ней умное.* В этом отношении Анна Андреевна сродни не любимой героине Максима Горького, а Маяковскому, с той лишь разницей, что Владимир Владимирович все-таки признался публично, что *Маяковский внутренний* и *Маяковский внешний* – разные люди. Вот-де даже *Лилечка* не враз сообразила. «Пришла деловито, за рыком, за ростом» и, только вглядевшись, «разглядела просто мальчика». Что-то похожее происходило, по-видимому, и с Ахматовой. Волочились, влюблялись, обожали. Вот только кого обожали и в кого влюблялись? В звезду, победительницу жизни, Клеопатру Невы, а не Анну Андреевну, урожденную Горенко, по первому мужу Гумилеву, во втором браке Шилейко. И притом издалека. Приблизившись вплотную, некоторое время пребывали в эйфории, но очень скоро радость победы над неприступной крепостью по имени *Анна всея Руси* начинала перерождаться в хорошо скрываемое разочарование. Гумилеву хватило медового месяца, Пунин держался целое десятилетие. История с «помощным зверем Володей» несколько выпадает из общего всем сюжета.

Как уже упоминалось, по натуре Владимир Георгиевич был эстет, причем эстет особого рода. Один из его приятелей запомнил, что в предвоенные годы тот полушутя утверждал, что на свете есть только четыре идеальные вещи:

– роза срезанная в стакане с водой,
– хороший микроскоп Цейса,
– стакан чая с лимоном,
– рюмочка холодной водки.

Ахматова столь неординарные отношения с миром вещей очень даже могла оценить, а вот для домашних Гаршина, и прежде всего для его жены Татьяны Владимировны, у которой был, как вспоминают приятели, угрюмый, нелюдимый, тяжелый характер, все эти изыски были за гранью понимания. Какая роза в стакане воды, если семья ютится в трех крохотных комнатушках заурядной коммунальной квартиры, в день стирки жилье превращается в сушилку, спит наш эстет на железной койке, покрытой солдатским одеялом, и т. д. и т. п.

Племянница второй жены Гаршина, вышедшая замуж за младшего его сына Алексея, свидетельствует: «Жили тесно:

Владимир Георгиевич, Татьяна Владимировна, Юрий, Алексей. Году в 36-м старший сын – Юрий женился и привел сюда жену. С Гаршиным жила также приехавшая откуда-то сестра Владимира Георгиевича – Юлия с дочерью. Юлия Георгиевна была психически нездорова – тяжелая истеричка. Так что в сближении Гаршина с Ахматовой сыграло роль не только то, что она была необыкновенной женщиной, но и то, что он просто бежал из дома от этого кошмара».

Праздник Встречи с необыкновенной женщиной длился, как мы уже знаем, целый год. Правда, впервые придя к Ахматовой в легендарный Фонтанный Дом, Гаршин был несколько шокирован царящим там беспорядком. Но не растерялся. Договорился с краснодеревщиками, те привели в порядок доставшуюся от Ольги Судейкиной антикварную мебель; пользуясь умением производить впечатление на женщин самого разного возраста и статуса, уговорил строптивую домработницу Пуниных стряпать за отдельную плату и для А.А. Так прошел год. А потом, после ареста Льва Гумилева, кошмар начался и на Фонтанке, и Гаршину в течение полутора лет пришлось жить между двумя кошмарами, исполняя на два дома одну и ту же роль: помощного зверя Володи.

Впрочем, Владимир Георгиевич был недаром замечательным диагностом. Судя по дневниковым записям, сделанным в Москве весной 1937-го, он уже тогда предвидел, что ноша, которую взвалил на свои плечи, будет нелегкой.

Однако вернемся к предшествующим описанию интерьеров страницам гаршинского дневника.

Латынь:

Procul a Jove, procul a fulmine – nune atque semper.[51]

Sint ut sunt, aut non sint![52]

Satis superque.[53]

22-го. Странное…

«Но я не могу так говорить». Это и есть и начало и решение.

Это было на вешнего Николу. 30 лет! Никто не отпразднует.

Как рано начато!

«Вы что же, лекцию по физиологии читать хотите?» Только слова, не мысли. Это – 27-го.

27– го. Но было, вероятно, и 24-го. Даже наверно. Вероятно, тогда – об агате: белая рука, быть может, гипсовая на агате. Этот бред так страшен. Но 27-го все ясно и светло, совершенно императивно.

«Ты меня не будешь обижать?!» Это ужасно по беззащитности.

28– го – пусто: это ужасно.

29– го дважды: светло – река, ясность какая!

30– го. Nevermore[54] – какая чепуха!
Too late?[55]
In spite if too late!

Прекрасно понимаю, почему Т.С.Позднякова обошла соображениями процитированный текст, ограничившись сообщением, что гипсовая белая рука на черном агате никакого отношения к «страшному бреду» не имеет, поскольку Ахматова наверняка имела в виду всего лишь гипсовый слепок своей кисти, который еще в двадцатых годах сделала художница и скульптор-минималист Наталья Данько. Уж слишком текст интимен! Больше того, я далеко не уверена, что подобного рода вещи следует печатать. Но раз уж дневник опубликован без изъятий, попробую, не оглядываясь на то, на что оглядываться не следует, сделать из него кое-какие выводы.

Со дня неожиданного знакомства с Ахматовой прошло два с половиной месяца, а Гаршин уже понял главное: их союз отнюдь не союз равных. Роли заданы априори: она небожительница, а он всего лишь «помощный зверь». И если этому зверю не удастся сохранить дистанцию, громов и молний не избежать. В «Поэме без героя» Ахматова скажет об одном из персонажей: «Не обманут притворные стоны, ты железные пишешь законы». То же самое можно сказать и о ней самой.

Несмотря на «ужасную беззащитность», *императив* (повеление, требование, закон и т. д.) почему-то всегда исходит не с мужской, защищенной, а с ее женской, слабой и беззащитной стороны. И это притом, что в романе с Гаршиным сорокавосьмилетняя Анна Андреевна отнюдь не уверена в себе как в женщине. И от неуверенности делает одну ошибку за другой.

Пытается внушить «последнему» любовнику, что встретились они слишком поздно, но при этом явно ожидает опровержения, что Гаршин и делает: «Слишком поздно? Неверно!» Но ей этого мало! Она зачем-то рассказывает ему о своем первом мужчине.

Никогда и ни с кем подробностями давней этой истории не делилась, и правильно делала, и вдруг разоткровенничалась: «Это было на вешнего Николу. 30 лет!» Смущенный Гаршин пробует шутить: «Как рано начато!» Анна Андреевна шутку не подхватывает, реагирует с неприличной возрасту (и ситуации) серьезностью: «Вы что же, лекцию по физиологии читать хотите?»

Больше того, судя по некоторым деталям, почти вынуждает

Владимира Георгиевича рассказать об отношениях с женой. Застигнутый неожиданной бестактностью вопроса, Гаршин правды ей не сказал. Повторил лишь то, о чем говорил под горячую руку в минуту злую самым близким друзьям. Дескать, не раз заводил с Татьяной Владимировной разговор о разводе, но каждый раз получал один и тот же классический (для женщин всех времен) ответ: «Только через мой труп».

Ахматова, естественно, спешит уверить друга Володю, что подобным образом никогда себя не вела: «Но я не могу так говорить». И Гаршин, при всем своем жизненном опыте, ей верит. Верит, что необыкновенная женщина не станет вести себя так, как обыкновенные, ибо понимает: ничего более основательного, чем «влюбленная дружба», он ей предложить не может. Словом, не только Анна Андреевна, но и Владимир Георгиевич, при всем своем солидном мужском опыте, «обманываться рад»: «Это и есть и начало и решение».

Словом, если бы не война и блокада Ленинграда, разлучившие Ахматову и Гаршина на два с лишним года, и не смерть Татьяны Владимировны от блокадной дистрофии, их поздняя, перед закатом связь со временем наверняка бы перешла в стадию просто дружбы. Что-что, а другом Ахматова была замечательным. Природа, обделив ее талантом любви, даром дружбы, к счастью, не обнесла.

Разумеется, в «ландышевом мае» 1937-го, несмотря на то что и в Питере, и в Москве уже идут повальные аресты, немолодые любовники такого банального поворота судьбы не предполагают. Ахматовой даже мнится, что она готова отдать за встречу с Гаршиным сияние и славу своих «звездных стай». Правда, Эмма Герштейн утверждает, что слышала процитированный майский экспромт гораздо раньше, в 1935-м, но это явная ошибка памяти. В мае 1935-го Анна Андреевна действительно несколько раз приезжала в Москву, но всегда по своим издательским делам. Весной 1935 года она даже заключила договор с издательством Московского областного союза советских художников на публикацию статьи «Светский быт и салоны» для предполагаемого сборника «Пушкинская Россия». Да, встречалась и с Э.Г.Герштейн, вот только беседовала с милой Эммой не о себе, а о сыне, у которого были какие-то «учебные осложнения». Впрочем, не только учебные. «Однажды, – вспоминала Эмма Григорьевна, – ночевала у меня и занята была мыслью о моих отношениях с Левой. Говорила только о нем… Вдруг ни с того ни с сего исступленно: "Эмма, я хочу внука". Кроме того, весной 1935 года Анна Андреевна собиралась ехать в Воронеж, к сосланному туда Осипу Мандельштаму. Но поездка требовала денег, которых

ни у нее, ни у Мандельштамов не было…»

Согласитесь, при таком настрое не до ландышей. Иное дело май 1937-го. По свидетельству Н.Я.Мандельштам, как раз тогда приехавшей из Воронежа, в Москве у Ахматовой было объяснение с Гаршиным, которое и подтолкнуло ее к решительному разрыву с Пуниным.

Впрочем, подробностей не знает и Надежда Яковлевна. Анна Андреевна, хотя и приехала в Москву якобы для свидания с вернувшимся из Воронежа Осипом Эмильевичем, остановилась не у Мандельштамов, а у Толстой-Есениной, и уследить за ее встречами-невстречами мудрено.

«Ландышевый май» 1937 года, видимо, и в самом деле был для Ахматовой судьбоносным. И все же, думаю, решительное объяснение с Гаршиным произошло не в мае и не в Москве, иначе бы этот момент нашел отражение на московских страницах его дневника. Исходя из вышеизложенного, реальнее допустить, что решительное объяснение, подтолкнувшее Ахматову к разрыву с Пуниным, произошло позднее, уже в Ленинграде, и, как я предполагаю, в ночь с 9 на 10 июля. Почему так думаю?

Во-первых, потому, что тем же «умным числом» – *10 июля* – датирована дарственная Гаршину на фотографии 1936 года. Та самая, в Старках, в черном платье с круглым вырезом и поджатыми ногами, которую Анна Андреевна считала самым удачным из своих фотопортретов тридцатых годов. Лев Горнунг, снимавший ее на даче Шервинских, сделал множество отпечатков. Анна тут же их раздарила. Гаршину, *10 июля 1940-го,* был подарен чуть ли не последний.

Во-вторых, потому, что мое гипотетическое предположение, при всей его вольности, если и не объясняет, то хотя бы проясняет (растуманивает) загадочную дату под «Годовщиной» в дневнике Гаршина (9-10 июля 1939 г.), превращая лист пожелтевшей дешевой бумаги в драгоценную «вещицу», почти в шкатулку с «тройным дном». В ларец, в который как бы вложены приглашения на празднование трех *незабвенных дат:* отмененная арестом Льва, но зафиксированная в стихотворении веселая годовщина знакомства – февраль 1938 года; год 1939-й – третье лето их любви; день и месяц (9-10 июля) – юбилей окончательного решения и, видимо, чуть ли не «присяги в пожизненной верности». В том, что такого рода присяга имела место быть, на мой взгляд, убеждает следующий текст:

Соседка – из жалости – два квартала,
Старухи – как водится – до ворот,
А тот, чью руку я держала,

До самой ямы со мной пойдет.
И встанет над ней один на свете,
Над рыхлой, черной, родной землей,
И громко спросит, но не ответит
Ему, как прежде, голос мой.

15 августа 1940

Итак, к 10 июля 1940 года Владимир Георгиевич окончательно восстановлен в правах и даже получает высший придворный чин: *помощный зверь*. Лидия Корнеевна Чуковская, наблюдавшая их отношения в период полуопалы, как уже указывалось, воспринимает Гаршина как заместителя отсутствующей домработницы. Но это лишь его побочная функция. И Анна Андреевна, даря *зверю Володе* самую трогательную свою фотографию, имеет в виду совсем иную помощь – подмогу (помочь!) в главном деле ее жизни. Так сильно, крупно, уверенно Ахматова уже много лет не работала. Обратим внимание на даты созданных после освобождения от страха за судьбу сына стихотворений:

Январь
«Ива», «Подвал памяти», «Когда человек умирает…»
Февраль
«Клеопатра»
Март
«Маяковский в 1913 году»
Последние две главки «Реквиема»
Апрель
«Стансы»
Май
«Надпись на книге»
Август
«Лондонцам»
«Тень»
Осень
Из цикла «Юность»
«Так отлетают темные души…»
«Один идет прямым путем…»
«Но я предупреждаю вас…»
«Уж я ли не знала бессонницы…»

Менее чем за год Анна Ахматова написала главные стихи для новой книги и даже нашла для нее удачное, на редкость удачное

имя – «нечет». «Нечет» наверняка получил бы продолжение, так силен был разгон, и стал бы полноформатным сборником, если бы среди стихотворений года сорокового не оказались тексты, беременные, как вскоре выяснилось, «Поэмой без героя». Один из текстов с растущей поэмной почкой общеизвестен – это посвященная Саломее Андрониковой знаменитая «Тень». Записанная, как следует из авторской датировки, 9 августа 1940 года, но явившаяся, судя по деталям, ранним летом, в пору позднего цветения сирени:

О тень! Прости меня, но ясная погода,
Флобер, бессонница и поздняя сирень
Тебя – красавицу тринадцатого года —
И твой безоблачный и равнодушный день
Напомнили… А мне такого рода
Воспоминанья не к лицу. О тень!

В августе Ахматова к себе эту лишнюю, как ей казалось, тень не подпустила. Тень, однако, не отступилась, а привела с собой («к изголовью!») целую вереницу воспоминаний. И Анна Андреевна уступила напору. Вживила, слегка переиначив, заменив Гомера на Флобера, в свой текст строку из стихотворения Осипа Мандельштама «Бессонница. Гомер. Тугие паруса». А мандельштамовский *Гомер* неизбежно, силою вещей потянул за собой «Современность» Гумилева, которая, в свою очередь, подсказала и название для уже стучащейся в двери «Поэмы…»:

Я закрыл «Илиаду» и сел у окна.
На губах трепетало последнее слово.
Что-то ярко светило – фонарь или луна.
И медлительно двигалась тень часового.
……..
Я печален от книги, томлюсь от луны,
Может быть, мне совсем и не надо героя…
Вот идут по аллее, так странно нежны,
Гимназист с гимназисткой, как Дафнис и Хлоя.

Не забудем и еще об одной важной детали: тот же самый, любимый с детства экземпляр «Илиады» Николай Пунин видел в руках у Николая Гумилева, когда столкнулся с ним в тюремном коридоре в роковом августе 1921 года…

В итоге, видимо, и родилось несколько странное, спаренное с «Тенью» «Уж я ли не знала бессонницы…». Странное, ибо

невнятное, если не разглядеть в нем один из тех незначительных на первый взгляд фактов, которые, как пишет Ахматова, предшествовали появлению «Поэмы без героя». Во всяком случае, упоминаемый в этом стихотворении «топот конницы» ни с чем иным, кроме воспоминаний о коннице, что мчалась по Невскому в день генеральной репетиции «Маскарада», не связывается. Словно в зерне, почти проклюнулись многие мотивы «Поэмы без героя»: мотив чужих зеркал, мотив бродящих по опустелому, брошенному дому теней бывших его хозяев.

Уж я ли не знала бессонницы
Все пропасти и тропы,
Но это как топот конницы
Под вой одичалой трубы.
Вхожу в дома опустелые,
В недавний чей-то уют.
Все тихо, лишь тени белые
В чужих зеркалах плывут.
И что там в тумане – Дания,
Нормандия или тут
Сама я бывала ранее,
И это переиздание
Навек забытых минут?

…Новый, 1941 год Анна Андреевна, судя по тексту «Поэмы…», встречала без Гаршина. В новогоднюю ночь Владимир Георгиевич, разумеется, вырваться из дома не мог. Но это ничего не меняло в их отношениях. Если бы не он, не его помощь, А.А. и на этот раз не смогла бы «подняться с земли».

Интермедия восьмая (июнь 1941 – декабрь 1942)

И глядит из всех окон – смерть.

Анна Ахматова

Первой в квартире номер 44, что на Фонтанке, речь Молотова 22 июня 1941 года услышала Анна Андреевна. В ее комнате приглушенный репродуктор разговаривал даже по ночам, а то и дни напролет, если хозяйка читала что-нибудь не совсем обязательное. Он выполнял сразу две функции. Во-первых, заглушал звуки за стеной, у Пуниных. Слов Анна Андреевна не различала, да и не хотела различать – интонации были информативнее слов. Особенно после того как ее место если не в сердце, то в жизни Николая Николаевича уверенно заняла Марта Голубева. Во-вторых, радиоголос поддерживал иллюзию не полного, не беспросветного одиночества и при этом ни во что не вмешивался, ибо был лишен телесности и, следовательно, императива. В воскресное утро 22 июня 1941 года у невидимки появилось и то и другое. Завернувшись в останки когда-то привезенного Пуниным из Японии парадного халата, Ахматова кинулась от этого страшного голоса прочь, туда, куда, как оказалось, еще не совсем отвыкла кидаться, – к Николаю Николаевичу. За сына ей можно было не беспокоиться, из тех погибельных каторжных мест под немецкие пули, снаряды и танки не посылали. Иное дело Пунины. Немедленной мобилизации подлежал юный супруг Ирины Николаевны, отец Ани-маленькой…

Когда первый шок прошел, Пунин записал в дневнике: «Вспомнились первые впечатления от войны… Речь Молотова, о которой сказала вбежавшая с растрепанными волосами (поседевшими) в черном шелковом китайском халате А.А.».

С середины июля литературная Москва начинает эвакуировать писателей и их семьи[56] в глубокий тыл (Урал, Сибирь, Средняя Азия). В Ленинграде эвакуация проводится в явно замедленном, по сравнению с Москвой, режиме и темпе. 30 августа немецкие войска перерезают последнюю железную дорогу, соединяющую город с Большой землей. В результате вопрос: уезжать или оставаться – для ленинградцев, в том числе и для Анны Ахматовой, перестает быть вопросом свободного выбора. Впрочем, в день получения страшное это известие всерьез

взволновало лишь самых осведомленных. Анна Андреевна не из их числа. До первого артиллерийского обстрела еще целых три дня, до первой бомбежки – четыре.

Биографы любят рассказывать, как Ольга Берггольц, зайдя проведать Анну Андреевну, застала ее бодрой, дежурившей с противогазной сумкой на боку у ворот Фонтанного Дома. Охотно цитируется и следующий отрывок из документального повествования П.Н.Лукницкого «Ленинград действует»: «Заходил к Ахматовой… Встретила меня очень приветливо, настроение у нее хорошее, с видимым удовольствием сказала, что приглашена выступить по радио. Она – патриотка, и сознание, что сейчас она душой вместе со всеми, видимо, очень ободряет ее».

Процитированная запись датирована 25 августа, а уже 31-го, то есть еще до массированного артобстрела и первой бомбежки, Анна Андреевна позвонила своим друзьям Томашевским и, сославшись на то, что Пунины всей семьей переселились в подвалы Эрмитажа, попросила забрать ее к себе. Томашевские жили в писательском доме на канале Грибоедова, где было почти настоящее бомбоубежище. На этой же дате – 31 августа или 1 сентября – настаивает и дочь Томашевских, Зоя Борисовна. Однако не исключено, что ее подвела память. Во всяком случае, сама Ахматова рассказывала Лукницкому, что еще 10 сентября во время бомбежки «сидела в щели, у себя в саду, держала на руках какого-то маленького ребенка. Услышала "драконий рев" летящей бомбы, затем умопомрачительный грохот, треск, скрежет, щель трижды двинулась и затихла».

Дневник Николая Николаевича ни этого факта, ни жалобу Анны Андреевны на Пунина, который якобы увез семью в подвалы Эрмитажа, не подтверждает. Вот его запись от 12 сентября: «8-го вечером был первый налет. Началось около 11-ти. Дома были Малайка (дочь Ирины. – *А.М.),* Галя (жена Пунина. – *А.М.),* Тика (МА.Голубева. – А.М.) и я. Разрушен дом Голубевых на Фонтанке, 22».

Сейчас уже трудно выяснить, до или после первых бомбежек Ахматова перебралась из Шереметевского дворца на канал Грибоедова. Да это не так уж и важно. Куда важнее, что все без исключения свидетели сходятся в одном: Ахматова запаниковала, причем настолько, что, после того как очередная бомба разорвалась поблизости от писательского дома, отказалась выходить из убежища даже после окончания воздушной тревоги. Томашевские, спустив в подвал какой-то лежак, упросили дворника принять на житье высокую гостью. В такой просьбе резон был. Воздушные тревоги с середины сентября участились, порою следовали одна за другой, спускаться и подыматься на

высокий пятый этаж по нескольку раз в сутки А.А. с ее больным сердцем непосильно. Дворник, человек добрый, согласился на уплотнение (все дворницкие каморы писательского дома выходили в широкий и прочный коридор с каменными сводами). И все-таки на решение Анны Андреевны уехать из осажденного города повлияли не столько эти, общие для всех ленинградцев обстоятельства, сколько один-единственный случай, который, как полагала Ахматова, мог произойти только с ней. Известен он нам по рассказу Зои Томашевской, сама Анна Андреевна о нем никогда не рассказывала.

«17 сентября случилась беда. Анна Андреевна попросила дворника Моисея купить ей пачку «Беломора». Он пошел и не вернулся. У табачного ларька на улице Желябова разорвался дальнобойный снаряд».

Когда эта весть дошла до Берггольц, Ольга Федоровна, написавшая стихи об Ахматовой, которая-де дежурит на улице во время воздушных налетов, сообразила, что сильно преувеличила ее храбрость.

До конца жизни Ахматова полагала, что ее вывезли из блокадного Ленинграда по распоряжению Фадеева, за которым ей смутно мерещилась инициатива Сталина. На самом деле честь ее спасения принадлежит Берггольц. У Ольги Федоровны были какие-то свои пути наверх, в кабинеты партаппаратчиков, и она быстро и решительно провернула невероятно трудное в ситуации конца сентября мероприятие. Этот факт, кстати, подтверждают и воспоминания П.Н.Лукницкого: «Вчера узнал, что по решению горкома партии А.А.Ахматова должна уехать наутро…»

Проект Берггольц был многосоставным. Прежде всего она передала в редакцию «Ленинградской правды» бодро-патриотическое стихотворение Ахматовой «Вражье знамя / Растает, как дым…», а главное, настояла, чтобы оно было срочно опубликовано. А когда принципиальное согласие горкома было получено, организовала выступление Анны Андреевны по Ленинградскому радио. До радиокомитета Ахматова добираться побоялась, запись ее *Слова к ленинградцам* пришлось делать в квартире Михаила Зощенко (Зощенко жил в том же *грибоедовском* доме, что и Томашевские).[57]

Произошло это событие то ли 25, то ли 26 сентября, а 28-го Ахматова чуть ли не последним самолетом вылетела вместе с М.М.Зощенко в Москву.

В самолете было написано еще одно стихотворение из цикла «Ветер войны» – оно будет опубликовано лишь двадцать лет спустя. Чтобы понять, почему этот текст так долго оставался не напечатанным, комментарий не требуется, достаточно

внимательно его прочитать:

Птицы смерти в зените стоят.
Кто идет выручать Ленинград?

Не шумите вокруг – он дышит,
Он живой еще, он все слышит:

Как на влажном балтийском дне
Сыновья его стонут во сне,

Как из недр его вопли: «Хлеба!» —
До седьмого доходят неба…

Но безжалостна эта твердь.
И глядит из всех окон – смерть.

И стоит везде на часах
И уйти не пускает страх.

Улетала А.А. из Ленинграда со смятенным сердцем.

Все произошло так быстро, что А.А. даже не успела попрощаться с Пуниным. 25 сентября Николай Николаевич сделал в дневнике такую запись:

«Днем зашел Гаршин и сообщил, что Анна послезавтра улетает из Ленинграда. Сообщив это, Гаршин погладил меня по плечу, заплакал и сказал: "Ну, вот, Н.Н., так кончается еще один период нашей жизни". Через него я передал Анне записочку: "Привет, Аня, увидимся ли еще когда, или нет. Простите; будьте только спокойны"».

Надежд на «увидимся» 25 сентября 1941 года у Николая Николаевича было мало. Но они все-таки увиделись…

Пунины прожили в осажденном городе самую страшную из блокадных зим – первую. Вместе с сотрудниками Ленинградской академии художеств их вывезли из вымирающего города лишь в феврале 1942-го. Через ладожский ад, прозванный журналистами Дорогой жизни. Добирался блокадный эшелон до Самарканда больше месяца. Родные Николая Николаевича опасались, что до места назначения живым он не доедет. Ирина Пунина в недавно появившихся фрагментах из неопубликованной книги «В годы войны» описала подробности их первой ташкентской встречи. Поскольку издание, в котором ее воспоминания опубликованы, малотиражно, всего 1000 экземпляров, процитирую этот

любопытный документ возможно полнее. Он дает несколько иное представление о ташкентских буднях Анны Ахматовой, чем уже известные и неоднократно публиковавшиеся свидетельства современников, включая таких осведомленных, как Лидия Корнеевна Чуковская и Надежда Яковлевна Мандельштам.

«В Ташкенте наш эшелон загнали на какой-то запасной путь… Повозившись в своем купе (я с Малайкой ехала отдельно в служебном купе этого же вагона), я заглянула к родителям – там сидела Акума!.. Акума была обеспокоена папиным состоянием: рука у него была на перевязи и совсем не действовала. Она спрашивала, кто остался в Ленинграде. Как они? Мы рассказывали о страшных последствиях нашей жизни в ледяной квартире на Фонтанке. Как умирали от голода близкие и друзья. Жив ли Владимир Георгиевич? Представить себе, как живут сейчас в Ленинграде, было трудно даже нам, а не пережившим там блокадную зиму – невозможно.

Оглядывая купе, Акума медлила уходить, лицо ее было грустным, вопросы вялыми… Уходя, Акума уговорила Галю со мной прийти завтра к ней домой. На следующее утро мы с Галей пошли к А.С.Готлибу узнать, сколько будет стоять эшелон в Ташкенте… Тот ответил, что сегодня отправки не ожидается: вагоны не заправлены водой… Мы с Галей ушли в город к Акуме. Она ждала нас. В небольшой комнатке мы присели к маленькому длинному столику, стоявшему… недалеко от окна. Акума стала поить нас чаем, все делала сама. Изобилия не было, чувствовался паек. Разговор снова пошел о Ленинграде, ленинградцах, о нашей дороге через Ладогу. Когда мы вернулись на вокзал, нашего эшелона не было… Мы бросились искать, думая, что его перевели на другой путь. Однако оказалось самое страшное: его отправили в Самарканд. Вскоре мы встретили еще несколько спутников… Положение было ужасное. Для нас… оно отягчалось еще и тем, что папа был тяжело болен, он не вставал, а Малайке не было и трех лет. Потом рассказывали, что она сидела в коридоре у окна и повторяла: "Наши остались". Кроме того, у нас не было ни денег, ни какого бы то документа. Мы вернулись к Акуме, накормить нас она не могла. Она вызвала каким-то образом Лидию Корнеевну Чуковскую и поручила ей устроить все для нас. Мы ушли на вокзал. Вечером Лидия Корнеевна принесла нам талоны на хлеб, выписанные на наше имя. Вероятно, она их достала из-под земли. Уходя, сказала, что завтра придет устраивать наш отъезд. Ночевали мы на вокзале. Утром она принесла нам железнодорожные билеты – это было совершенно невероятно. Я все щупала эти закомпостированные картонные билеты с отметкой "до Самарканда". Она посадила нас в поезд, и,

полные тревог за своих, мы поехали. Наш эшелон мы нагнали только в Самарканде. Он стоял на запасных путях, разгружали его медленно. Все продолжали еще жить в поезде… Папу мы увидели издали, он сидел на ступеньках вагона, греясь на солнышке. Он очень волновался, беспокоясь, что не дождется нас. По состоянию его здоровья было решено прямо с поезда отправить в больницу. Николай Борисович Бакланов, много раз бывавший в Самарканде до войны, ушел в старый город (7 км), пообещав найти транспорт для папы. Через некоторое время Ник. Бор. приехал на извозчике и повез папу в нашу Ленинградскую военно-медицинскую академию, которая осенью 1941 года перебазировалась в Самарканд. Папе сразу же сделали операцию, вскрыли флегмону, заражение крови миновало, но его общее состояние оставалось еще очень тяжелым. Потом он рассказывал, что с трудом вспоминал собственное имя, названия окружающих предметов и долго еще проходил путь возвращения к жизни, воскрешение. Ленинградские врачи с необычайным вниманием следили за восстановлением его организма, не только по долгу службы, а по-ленинградски, сами уже пройдя стадию дистрофии, но впервые встретившись с такой тяжелой формой, которая казалась сначала необратимой. Из больницы папа написал Акуме в Ташкент. Это письмо она очень берегла и сохраняла его все время при себе, показывая только самым близким людям».

И смущенную связанность А.А., и вопросы, которые она задавала Пуниным (даже Ирина Николаевна почувствовала, что вопросы Акумы про Ленинград и ленинградцев были какими-то «вялыми»), объяснить можно. Анна Андреевна не без высокомерия, сильно и даже с вызовом гордилась тем, что не отклонила «от себя ни единого удара» («и ни единого удара мы не отклонили от себя»)! А в только что оконченном «Реквиеме», оглянувшись на пушкинский «Памятник», заявила, что долго будет любезна народу, что всегда была там, где народ, «к несчастью, был»! И вот в итоге выходило, что и удар отклонила, и *не стояло ее там,* где погибал ее город (если употребить любимое выражение Ахматовой, услышанное в какой-то очереди: «Вас здесь не стояло»).

Формально греха за *уклонисткой* вроде бы и не было. Отъезд из блокадного Ленинграда организовали не по ее просьбе. Однако и Пуниным, и Гаршину яснее ясного: кабы Анна Андреевна всерьез воспротивилась проекту Ольги Берггольц, никакой горком не смог бы ее принудить к перемене участи. Отпал при свидании и самый главный аргумент в пользу отъезда: дескать, если б осталась, непременно погибла бы. Пунины-то выжили, все, даже крошечная *Малайка.* Впрочем, неизвестно, остались бы Пунины в

живых, если б к собственному возу пришлось бы им пристегнуть столь тяжкий, столь неподъемный груз, как беспомощная в житейских делах Акума.

Труднее понять поведение Ахматовой, когда Анна Евгеньевна и Ирина Пунины возвратились с вокзала к ней – голодные, без копейки денег и в полном отчаянии. Не накормила, не приютила на ночь, не проводила, переложив заботы о попавших в беду женщинах на Лидию Корнеевну Чуковскую. Да, конечно, если б в ее сумочке были деньги, А.А. не поскупилась бы и последнюю продуктовую *заначку* тоже не пожалела. Как раз в эти месяцы, как писал родным сын Марины Цветаевой Георгий Эфрон, Ахматова очень о нем заботилась.

И деньгами помогала, и продукты «подкидывала», и даже, подняв на ноги людей своей свиты, прикрепила сироту к столовой для писателей. На нет и суда нет? Как бы не так! И деньги, и что-нибудь из съестного Анна Андреевна вполне могла одолжить у многочисленных соседей. Ведь к весне 1942-го, как вспоминают очевидцы, Анна Андреевна уже была окружена неусыпными заботами и почитанием всех обитателей писательского дома на улице Маркса. Тайные недоброжелатели и те старались не выказывать неодобрения, поскольку теперешняя Ахматова была не вдовой расстрелянного Николая Гумилева, не матерью сосланного Льва Гумилева и не опоздавшей умереть декаденткой. Она была автором стихотворения «Мужество», опубликованного не где-нибудь, а в «Правде» (номер от 8 марта 1942 года)! Стоит ли отказывать в такой мелочи, как ташкентская лепешка и несколько кусков сахара столь важной персоне? Но Анна Андреевна не любила одалживаться и вообще не любила делать усилия, если их можно было не делать. Найдется очередной «помощный зверь», выскочит как бог из машины, вот и хорошо. Не найдется – обойдемся и так, перетерпим, скукожимся, отлежимся. В Ташкенте, исключая первые недели после приезда, Ахматовой *обходиться* практически не пришлось. В течение двух с половиной лет вокруг нее в изобилии кучковались желающие попасть в круг ее «сияния». Чуковская к числу кучковавшихся не принадлежала. В отличие от людей свиты, а это были в основном пожилые, бездетные писательские жены, у Лидии Корнеевны и своих забот полон рот: дочь, осиротевший племянник, немолодые и не слишком приспособленные к тяжелому быту родители. Плюс работа, отнюдь не богатырское здоровье и неизбывная тоска по сгинувшему в сталинских застенках любимому мужу. Но она – человек долга. И даже Долга. Корней Иванович Чуковский (еще в ту пору, когда старшей из двух его дочерей было всего семь лет, понаблюдав за ней, занес в свой знаменитый дневник такую

запись: «Вчера с Лидочкой по дороге (Лидочка плакала с утра: отчего рыбки умерли): – Нужно, чтоб все люди собрались вместе и решили, чтоб больше не было бедных… Пусть богатые будут богатыми, а бедные немного бы побогаче. Если бы один человек собрал побольше денег, а потом и раздал бы всем, кому надо. И много такого. Этого она не слыхала, сама додумалась и говорила голосом задумчивым, – впервые. Я слушал, как ошеломленный. Я первый раз понял, какая рядом со мною чистая душа, поэтичная. Откуда? Если бы написать об этом в книге, вышло бы приторно, нелепо, а здесь, в натуре, волновало до дрожи».

В 1942-м *Лидочке* было тридцать пять, но душа ее оставалась все такой же, младенчески чистой. Анну Андреевну душевная чистота младшей подруги и волновала, и восхищала, и раздражала. Рядом с ней она резче ощущала свою собственную «черноту» и «всякость». Позднее, в пору окончательных итогов, когда сотворители ахматовианы начнут лепить из нее «прекрасную старую даму», безупречную во всех отношениях, она возмутится: «Оставь, и я была как все, И хуже всех была…» Впрочем, до предварительных итогов пока еще ох как не близко, и Ахматова хотя и раздражается, но и безотказностью Лидии Корнеевны, и ее благородством, увы, пользуется. Воспользуется, а потом сердится! *Юпитер, ты сердишься, значит, ты виноват!*

Но мы опять нарушили последовательность событий и посему вернемся на семь месяцев назад.

30 сентября 1941 года Ахматова прилетела в Москву и первые несколько дней прожила у Маршака, затем ее увезла к себе сестра Ольги Берггольц, Мария.

Сама Мария Федоровна эвакуироваться не собиралась. Бомбежек она почему-то не боялась, а в то, что немцы могут войти в Москву, не верила. По-видимому, и А.А. колебалась, инстинкт самосохранения подсказывал ей, что в столице, да еще рядом с такой твердой и решительной женщиной, как Ольгина сестра, ей будет лучше, надежнее, чем где-то там, в неизвестном месте, среди совсем чужих людей. К тому же в первых числах октября в столице, несмотря на дурные вести с фронтов и ежевечерние воздушные тревоги, было относительно спокойно. Известная художница Татьяна Маврина, к примеру, еще 21 сентября делает в дневнике вполне деловую запись: *«21.9.41.*

Я получила… народные картинки домой. Завтра буду делать копии. Читаю Библию».

И только начиная с десятых чисел октября характер записей в дневнике меняется, после 15-го они уже сильно *пахнут войной: «15.10.41.*

Издательство. Пустота, бегство. Все едут. *17.10.41.*

Холодно. Я сижу в валенках. Очереди. Машины. Люди, тюки. На мосту закутанная упитанная девочка и ответственные родители, все с чемоданами. Широкий носатый человек и слезы, по щекам. Старушка на узлах. Еврей с красной грудью еле толкает. Две еврейки с кастрюлями сзади. Люди с рюкзаками, у некоторых лыжи. Пушки на углу. *18.10.41.*

Банк. Удача. Сберкасса – неудача. Достали 1/2 икры. Катерина целый день стояла за хлебом.

К. (Н.Кузмину, мужу Т.М. – *А.М.)* дали деньги в «Молодой гвардии». Эфрос вешался, но спасен. *19.10.41.*

Ходила в баню. Снег. Слякоть. Муж, жена и ребенок – тащат тележку с вещами. Повесился муж Сары Шор. *1.11.41.*

Закрылись комиссионные магазины, голодно. Баррикады».

Цветаевой в праве на поселение в Чистополе отказали еще в начале октября. Ахматову уважили. По распоряжению Фадеева в порядке исключения ее присоединили к группе писателей, направлявшихся в закрытый город к уже живущим там семьям (поездом до Казани, а там пересадка на пароход и далее по Каме). Видимо, и поезд, и пароход продвигались на восток по особому, привилегированному расписанию. Путь от Москвы до Чистополя занял всего четыре дня, и уже вечером 18 октября Лидию Корнеевну, снявшую угол в деревенской, на окраине, избе, разбудил громкий стук в запертые ворота. Предупрежденная телеграммой Корнея Ивановича, она была готова к встрече с Ахматовой, но того, что та за четыре дня доберется до Чистополя, не ожидала никак. Не ожидала, а все-таки на стук выскочила – лихой человек так отчаянно средь ночи не барабанит:

«Анна Андреевна стояла у ворот с кем-то, кого я не разглядела в темноте… В чужой распахнутой шубе, в белом шерстяном платке, судорожно прижимает к груди узел. Вот-вот упадет или закричит… Вскипятить чай было не на чем. Я накормила ее всухомятку. Потом уложила в свою постель, а сама легла на пол, на тюфячок».

Долго спать на полу Чуковской не пришлось. Она сидела на чемоданах, ждала вызова от отца – в Ташкент. Бумаги пришли на следующий день. У Ахматовой ни вызова, ни соответствующих бумаг, да и денег не было, но она тут же решила, что поедет с Чуковскими, и Лидия Корнеевна, разумеется, согласилась, хотя и понимала, что без бумаг Анну Андреевну вполне могут или снять с поезда, или не прописать в Ташкенте.

За билетами на пароход до Казани они пошли вместе, той же дорогой, по которой два месяца назад Чуковская провожала Цветаеву, когда та, за два дня до самоубийства, появилась в

Чистополе в надежде снять жилье и получить разрешение на переезд из Елабуги:

«Сегодня мы шли с Анной Андреевной вдоль Камы, и я переводила ее по жердочке через ту самую лужу-океан, через которую немногим более пятидесяти дней назад помогла пройти Марине Ивановне… Странно очень, – сказала я, – два месяца тому назад на этом самом месте, через эту самую лужу я переводила Марину Ивановну. И говорили мы о вас. А теперь ее нету и мы говорим с вами о ней… Анна Андреевна ничего не ответила, только поглядела на меня со вниманием».

Ответить на эту реплику Анне Андреевне 21 октября 1941 года и впрямь было трудно, проще – промолчать. Уж очень непростые отношения сложились у нее с Цветаевой. Заочно они как бы пересеклись еще в 1916 году, когда Марина приезжала в Петербург. Потом были стихи, много восторженных стихов, на которые Ахматова не откликнулась. Ни словом, ни жестом. В 1921-м, после гибели Гумилева, Цветаева снова стала ей писать длинные, захлебывающиеся от обожания письма, к собственным прилагались и детские, Алины, и даже символические подарки. Ахматова через силу, с натугой, отвечала. Нельзя же вообще не откликнуться на столь выразительные жесты дружества? Вскоре Цветаева эмигрировала, а некоторое время спустя, когда по эмигрантской Европе поползли слухи, что и Ахматова собирается «оставить свой грешный край», она получила от Цветаевой конверт с зарубежной печатью. Марина Ивановна спрашивала, одна А.А. приезжает или с семьей, и обещала и встречу на вокзале, и поддержку в дальнейшем. Слухи оказались неверными, обещание помощи не удостоилось даже вежливого: «Спасибо, но…» Личное же их знакомство произошло лишь ранним летом 1941 года.

Встреч было две. Ахматова утверждает, что первая (7 июня 1941 года), на Ордынке, у Ардовых, по инициативе Цветаевой, вторая – на следующий день в квартире у литературоведа Николая Ивановича Харджиева, в Марьиной Роще, на людях. Однако, судя по всему, впервые Анна и Марина, не договариваясь, лицом к лицу столкнулись как раз у Харджиева, где Ахматова ожидала Эмму Герштейн, чтобы вместе идти в Театр Красной Армии. В тот вечер там давали «Сон в летнюю ночь», в котором играла жена Ардова Нина Ольшевская.

Диалога не получилось. Говорила не останавливаясь Цветаева. Рассказывала о Париже, о том, как Пастернак в 1935-м попросил помочь ему купить подарки для жены. Это была чистой воды литература, ибо, приехав в Париж на Международный

конгресс писателей, Борис Леонидович по магазинам женского белья и платья ходил не с Мариной, а с ее дочерью, Алей, Ариадной Эфрон. Анна Андреевна молчала, а когда Цветаева ушла, сказала, что рядом с Мариной чувствует себя телкой. Харджиев хмыкнул: «Ваше счастье, что вы не виртуозны». Эмма Герштейн, при легендарной сшибке двух великих женщин присутствовавшая, была так напряжена, что, несмотря на отличную память, подробностей поединка не запомнила. И когда потом, после смерти Ахматовой, стала спрашивать у Николая Ивановича, что же помнит он, оказалось, что и у того в памяти осталось лишь общее впечатление: «До чего чужды они друг другу, чужды и несовместимы».

Про фатальную несовместимость с Мариной Анна поняла давным-давно, поэтому и молчала. Цветаева, одумавшись, позвонила Пастернаку и попросила устроить ей свидание с Ахматовой – наедине, без посторонних. Ахматова не отказалась и, как только Марина Ивановна появилась на Ордынке, тут же, с порога, увела к себе, в крохотную комнатушку, в которой всегда жила, приезжая в Москву.

Проговорили они долго, часа полтора. Цветаева вышла из гостевой кельи с напряженным, раскрасневшимся, перевернутым лицом и тут же попрощалась, резко-решительно отказавшись присесть за стол, красиво, как всегда, и аппетитно накрытый. Хозяева ждали подробностей, но высокая гостья их ожиданий не оправдала. Ни тогда, ни после всего. Правда, в одну из последних «Записных книжек» все-таки внесла (для «оценки поздней») следующую заметку, не датированную, но явно относящуюся к встрече с Цветаевой у Ардовых 7 июня 1941 года:

«Когда в июне 1941 г. я прочла М.Ц. кусок поэмы (первый набросок), она довольно язвительно сказала: "Надо обладать большой смелостью, чтобы в 41-м году писать об арлекинах, коломбинах и пьеро"».

От этой смертной обиды Анна Андреевна оттаивала целых двадцать лет – до стихотворения «Поздний ответ».

Стихи, спору нет, из лучших ахматовских, хотя с точки зрения «низкой жизни» в них все неверно.

Все, начиная с первой даты – *16 марта 1940,* – якобы фиксирующей момент возникновения «замысла». Но прежде чем разбираться в причинах побега от истины, прочитаем стихи:

Поздний ответ

Белорученька моя, чернокнижница…
М.Ц.

Невидимка, двойник, пересмешник…
Что ты прячешься в черных кустах? —
То забьешься в дырявый скворешник,
То блеснешь на погибших крестах;
То кричишь из Маринкиной башни:
«Я сегодня вернулась домой,
Полюбуйтесь, родимые пашни,
Что за это случилось со мной.
Поглотила любимых пучина,
И разграблен родительский дом».
……
Мы сегодня с тобою, Марина,
По столице полночной идем.
А за нами таких миллионы
И безмолвнее шествия нет…
А вокруг погребальные звоны
Да московские хриплые стоны
Вьюги, наш заметающей след.

16 марта 1940, 1961
Фонтанный Дом – Красная Конница

Сомнительна, подчеркиваю, уже первоначальная дата, ибо именно в марте 1940-го Анне Андреевне было решительно не до Цветаевой. Во-первых, ее роман с Гаршиным, чуть не оборвавшийся из-за ареста сына, вновь разгорается. Вдова Мандельштама пишет одному из своих приятелей не без ехидства: «Она уже третий год переживает любовь, а это в ее возрасте очень вредно». Во-вторых, как раз в этом месяце полным ходом идет работа над сборником «Из шести книг», в журналах то и дело появляются ее стихи. В марте же написаны стихи, посвященные Маяковскому («Маяковский в 1913 году», 3-10 марта). В день окончания этого стихотворения умирает Михаил Булгаков, с которым Ахматова хорошо знакома, и она тут же, подчеркиваю, в марте 1940-го, создает стихотворение его памяти «Вот это я тебе, взамен могильных роз…». Кроме того, опять же в марте, 13-го, заключен мир с Финляндией. Отметив этот факт в дневнике, сын Марины Ивановны Георгий (Мур) связывает с этим обстоятельством надежду на то, что теперь, после войны, и их жизнь переменится к лучшему: «Мне все больше кажется, что наши дела (мои, мамины, отца и сестры) шагают по хорошей дороге».

А почему бы, кстати, не казаться? Марина Ивановна завалена

переводами, живет в подмосковном Голицыне, при Доме творчества, – не в самом Доме, на плохонькой частной квартире, без удобств, но живет, – здесь же и столуется вместе с сыном, и даже привередливый Мур считает, что «еда вкусная». А главное, дочь пишет; муж не пишет, но передачи на его имя принимают – значит, жив. Словом, ситуация что у Цветаевой, что у Ахматовой на март месяц 1940 года такова, что строка из «Позднего ответа» – «Поглотила любимых пучина» – звучит несвоевременно, а то и кощунственно.

Не соответствует истине и такая фраза: «Мы сегодня с тобою, Марина, / По столице полночной идем». По ночной Москве вдвоем Цветаева и Ахматова никогда не бродили. Да и вернулась Марина Ивановна на родину не *сегодня,* не в марте сорокового, а в июне 1939-го, о чем Ахматовой, разумеется, известно.

Короче, утверждать, что «Поздний ответ» в окончательном виде завершен в 1961-м, можно почти наверняка, а вот дата создания первого чернового варианта гадательна. Что касается лично меня, то, на мой же взгляд, первый набросок сделан зимой 1957-го, после встречи с вернувшейся из Туруханской ссылки дочерью Цветаевой Ариадной (отсюда и зимний антураж: вьюга, заметающая след). К той поре А.А., конечно, запамятовала, в каком именно году Цветаева вернулась из эмиграции, а вот встреча с Алей Анну Андреевну наверняка поразила. Поразила отношением Ариадны Сергеевны к родителям. В отличие от Льва Гумилева, всего год как вернувшегося из той же, что и Аля, страны – архипелага по имени ГУЛАГ, она не просто боготворила мать – она ее ни в чем не винила.

Естественно, правды о своих сложных отношениях с Мариной Ивановной такой удивительной дочери Ахматова сказать не могла. Вместо правды рассказала красивую небыль. Ариадна пересказала сочиненную для нее Ахматовой сказку в своих воспоминаниях: «Она (Цветаева. – *А.М.)* передала Борису Леонидовичу, что хочет со мной повидаться, когда я буду в Москве. И вот я приехала из Ленинграда, узнала от Б.Л., что Марина здесь, дала для нее свой телефон, просила ее позвонить, когда она будет свободна. Но она все не звонила, и тогда я сама позвонила ей… И вот она приехала. Мы как-то очень хорошо встретились, не приглядываясь друг к другу, друг друга не разгадывая, а просто. М.И. много мне рассказывала про свой приезд в СССР, про вас и вашего отца, про все то, что произошло. М.И. читала мне свои стихи, которых я не знала. Вечером я была занята, должна была идти в театр на «Учителя танцев», и вечер наступил быстро, а расставаться нам не хотелось. Мы пошли вместе в театр, как-то там устроились с билетом и сидели рядом.

После театра провожали друг друга. И договорились о встрече на другой день».

Поразительный документ… О муже и дочери Цветаева никогда и ни с кем не говорила. Даже с сыном. Даже с женой критика Анатолия Тарасенкова, того самого Тарасенкова, который первым в СССР стал собирать изданные в десятых и двадцатых годах сборники и ходящие в рукописи стихи М.Ц. Маша Белкина-Тарасенкова не услышала от Марины Ивановны ни единого слова на сей счет. И это при том, что Цветаева регулярно бывала у Тарасенковых, не мимоходом, вместе с Муром, держала в их доме самое ценное из своего архива. Никогда не упоминала она и о щекотливых обстоятельствах, в силу которых оказалась в СССР. Этот сюжет был также отмечен знаком табу, и Анна Андреевна была бы последней, кого Марина Ивановна к нему бы подпустила.

С точностью до наоборот следует, на мой взгляд, читать и такой пассаж: «Мы как-то очень хорошо встретились, не приглядываясь друг к другу, друг друга не разгадывая, а просто». На самом деле в квартирке у Харджиева Марина и Анна только и делали, что приглядывались, пытаясь разгадать друг друга. И никакой простоты меж ними не было, как не было и уюта, а было что-то похожее на прикосновения (касания) дамскими кинжальчиками (метафора принадлежит Н.И.Харджиеву). Что до свидания в квартире у Ардовых,[58] то на сей раз, видимо, и впрямь имел место то ли поэтический турнир, то ли выставка «Наши достижения». Вот только вряд ли Цветаева все это время читала свои стихи. Устный жанр она не слишком любила и, готовясь к свиданию с соперницей, собственноручно переписала для нее «Поэму воздуха». Зато Ахматова, конечно же, стихи свои читала, ибо всегда непременно, не чинясь, это делала, даже если не просили. И ежели как-то уж слишком долго не просили, сама спрашивала: «Хотите, прочитаю новые стихи?» Естественно, так было лишь в узком, своем кругу. С выходом на эстраду, несмотря на опыт «Бродячей собаки», у нее всегда были проблемы: раз на раз не попадало. Наверняка тот же вопрос – *Хотите, почитаю стихи?* – был задан и Цветаевой. Вряд ли А.А. решилась озвучить «Реквием», ибо была достаточно осведомлена о характере деятельности Сергея Эфрона. Основная ставка на выигрыш – «Поэма без героя» (в довоенной, первой редакции). Этот козырной ход Ахматова, видимо, приберегла на самый конец поединка, иначе, нарвавшись на решительное неприятие, тут же и спрятала бы свои «листочки», и мнимый разговор «по душам» на том бы и оборвался…

Словом, в формат «пластинки», в котором Ахматова себя

чувствовала как рыба в воде, ни жизнь, ни смерть Цветаевой не укладывались. Эту особенность своей подопечной Лидия Корнеевна за два с лишним года знакомства успела уразуметь и переменила тему, перевела разговор с трагического на насущное, бытовое…

До Казани Капитан (так в шутку называла Ахматова свою младшую подругу) довезла свою команду без злоключений. Маршрут был местного значения, особого разрешения на него не требовалось. А вот в Казани начались осложнения. Столица Татарии оказалась набитой беженцами. С великим трудом устроились на ночлег в Доме печати. И что было бы дальше, и представить невозможно! Но тут откуда ни возьмись появился везунчик Маршак с документами на два плацкартных писательских вагона в эшелоне Казань-Ташкент. Считать, сколько же в эти вагоны набилось писателей, а еще и проверять, у всех ли имеется направление в Ташкент, железнодорожное начальство не имело ни охоты, ни возможностей. И все-таки Маршак, человек предусмотрительный, на первой же остановке переселил нелегальную Ахматову в свой мягкий вагон – у сверхответственной публики проездные бумаги не проверялись. Никаких затруднений не возникло и с пропиской в Ташкенте, Алексей Толстой уладил сие затруднение мгновенно, и 10 ноября 1941 года Ахматова без хлопот и вне очереди получила «жилплощадь» – отдельную комнату в доме по адресу: ул. Карла Маркса, 7.

Об убогости ташкентского «жилья» написано немало сентиментальных страниц. Однако Ирине Пуниной после блокадного измора жилище Ахматовой – восьмиметровка с отдельным входом – «лепрозорием» не показалось. Не показалось оно таковым и Марии Белкиной. С грудным младенцем и родителями она жила за занавеской; вторую часть разделенной одеялами комнаты занимала развеселая супруга модного драматурга. Куда более безотрадное впечатление производила в ноябре столица солнечного Узбекистана – «Ташкент, город хлебный…». Голые деревья, промозглый воздух и какая-то особая, не русская, вязкая грязь… Там, в Чистополе, наверняка уже выпал снег, забелив и облагообразив непригожую позднюю осень. Там остались истинные друзья, настоящие собеседники – Пастернак, Федин…

Я время от времени сама себе задаю вопрос: как повернулась бы судьба Анны Ахматовой, и творческая, и личная, проживи она эвакогоды «во глубине России», «в глуши лесов сосновых»? Какие образы, какие мысли вошли бы, вместе со снегами и вольным

течением могучей Камы, в ее ум? Пастернак уж точно не написал бы провинциальные сцены «Живаго» так, как он их написал, если бы не чистопольское «сидение»…

Но вышло так, как вышло. «Лепрозорием» окрестила место своего проживания именно Ахматова, хотя, повторяю, это был обычный для Ташкента жилой дом, расположенный к тому же в самом центре города, рядом со зданием Совнаркома. Прежде чем отдать его под общежитие для эвакуированных деятелей культуры, туземных жильцов оттуда выселили, рассовав по углам и родственникам. И если уж сравнивать, то реальнее будет уподобить его муравейнику, ибо населенцы общежития либо стучали на пишмашинках, либо тащили в свой муравейник все, что можно было раздобыть, день-деньской рыская по базарам, продуктовым распределителям и прочим полезным для поддержания жизни местам: саксаульный лом для буржуек, лепешки, рис, изюм, клубки и косы из сушеных нарезок чарджуйской дыни… Ахматова вполне могла бы стать в этой муравьиной куче-буче чем-то вроде «муравья с того берега», но этого, то ли к счастью, то ли к несчастью, как посмотреть, не случилось. Она стала чем-то вроде «муравьиной матки», которой муравьи всех расцветок, и рыжие, и черные, несли кто чем раздобылся: тот – бидон или банку с питьевой водицей, эта – горячие бараньи котлетки. А однажды муравьи замерли, пораженные невиданным зрелищем. По шаткой лестнице, тяжко дыша и трудно неся нездоровую тучность, карабкался сам Алексей Толстой. Естественно, порожняком, корзины с дарами щедрого Востока несли, отступив на почтительное расстояние, телохранители. Насладившись произведенным эффектом, «муравьиная матка», сделав знак муравьям, отдала в их распоряжение содержимое живописных корзин. Нужно ли добавлять, что через минуту ивовыми изделиями местных умельцев можно было загружать ненасытную буржуйку…

Время меж тем шло, круг общения Ахматовой становился все шире и шире. Вместе с непредсказуемой, великолепной Фаиной Раневской в него втиснулись и ее отнюдь не великолепные товарки, почти навязав Анне Андреевне непривычный ей стиль жизненного поведения: грубо-богемный, с вином, обменом тряпками, сальными анекдотами. Лидия Корнеевна ужасалась: непогрешимую, строгую и суровую «музу плача» остроумная «похабель» развлекала! Впервые в жизни А.А. чувствовала себя отбившейся от дома старой девочкой, попавшей ненароком в дурное общество. И когда А.Н.Тихонов, в ту пору директор эвакуированного в Ташкент издательства «Советский писатель», по просьбе Алексея Толстого нашел для «Аннушки» в доме со

всеми удобствами прекрасную, теплую и светлую комнату, она, не посоветовавшись со своим Капитаном, наотрез отказалась. Дескать, дорого платить. Двести рублей. Откуда у нее такие деньги? Тихонов от возмущения побагровел. Да вам стоит перевести по подстрочнику двадцать строк любого из узбекских поэтов! Десять рэ за строчку, вот и все. Но Анна неколебимо стояла на своем: не умею переводить, и все тут. Пробовала – не получается. И впрямь: пробовала, получилось на четыре с минусом. В искусстве перевода, даже если перевод делается с подстрочника, как и во всяком искусстве, все решает «чуть-чуть». Этого таинственного *чуть-чуть* не будет в ее переводных текстах, когда она в пятидесятых годах, оказавшись в безвыходном положении, начнет переводить «километрами». С польского, древнеегипетского, китайского, итальянского, сербского и т. д. и т. д. Тем не менее и редакторы, и друзья-советники будут делать вид, что работа выполнена превосходно, на пять с плюсом, по-ахматовски. То же самое наверняка произошло бы и в Ташкенте. Здешние авторы, хотя и владели главным языком империи, в тонкостях словоупотребления не разбирались, редакторы гнали план, в начальниках сидели все свои, но…

Муравейник возликовал: *муравьиная матка* не бросила свой рабочий обслуживающий персонал! С энтузиазмом восприняло решение Ахматовой и ближайшее окружение Фаины Раневской. Стихов хозяйки комнаты с отдельным входом они, разумеется, не помнили, кроме самых расхожих типа «О как ты красив, проклятый…», но местом, где можно было собираться и «пировать на просторе», дорожили. Их собственные жилищные условия такой свободы не позволяли.

Лидия Корнеевна, напротив, огорчилась. И не только потому, что переселение А.А. в теплую комнату со всеми удобствами сняло бы с нее множество забот, в зимние месяцы ставших почти непосильными. В голодные двадцатые годы, когда на счету была каждая копейка, Корней Иванович усадил старших детей за английские переводы, а потом до одурения бессонными ночами правил, доводя до ума не слишком умелые их опыты. Как может А.А. отказываться от работы, тем более что за ней не надо бегать, если она сама плывет тебе в руки?

Ахматова недоумевала: ну, как это Лидия Корнеевна не понимает, что комната со всеми удобствами удесятерит тайно мучающее ее чувство вины перед теми, кто там, в Ленинграде, – *умирать остался?* А неужто не помнит самых важных ее стихов?

На пороге белом рая
Оглянувшись, крикнул: «Жду!»

Завещал мне, умирая,
Благостность и нищету.

Она и так недостойна сего Завещания. Благостность ей не по силам, нищета – другое дело. Нищета не проклятие, а единственное смягчающее вину обстоятельство. Для Высшего, Божьего суда. И для «оценки поздней» тоже.

Кто-кто, а Лидия Корнеевна все это очень даже могла понять, если бы Анна Андреевна удосужилась перевести сей сюжет со смутного языка чувств на общепонятный язык слов. Однако Ахматова не желала ничего разъяснять своему верному Капитану. Дескать, догадайся сама. «Мысль изреченная есть ложь…»

На первый раз разномыслие, вылезшее как шило из мешка, обошлось без ссоры. И тем не менее квартирный вопрос (наложившийся, увы, на *тайную недоброжелательность* Лидии Корнеевны к Фаине Раневской) стал постепенно разлаживать их отношения. И к концу первого ташкентского года (осень 1942 г.) разладил настолько, что пустяковая размолвка кончилась не доброй ссорой, а злым, нехорошим разрывом. Долгим-долгим – длиною в десятилетие. Со стороны и вчуже полный разрыв дипломатических отношений выглядел необъяснимым. Видимое отсутствие причин столь сильной распри неизбежно, силою вещей привело к возникновению нескольких мифологизированных версий. Одна из самых завлекательных – миф о женском соперничестве. Дескать, Ахматова и Чуковская обе были по-женски заинтересованы одним и тем же человеком – польским графом Юзефом Чапским, которому, как утверждала Чуковская, посвящено знаменитое стихотворение Ахматовой «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…» и с которым якобы и у Лидии Корнеевны было что-то такое-этакое, иначе Чапский лет двадцать спустя не передал бы ей (с оказией, из Парижа) весьма выразительный подарок: изысканную серебряную брошь.

В недавно вышедшем сборнике стихотворений Натальи Аришиной эта версия возведена в ранг «незыблемого мифа»:

Потчевать польского графа чарджуйскою дыней,
Ропот цикад уловляя с чужого баштана.
Свет предвечерний. Волос нескрываемый иней.
Долгие проводы. Чары. Ахматовиана.
Чем это кончится? Для чужестранца – Парижем.
Брошку пришлет чаровнице. Припишет другая
сладость вниманья себе, но на общий нанижем
счет – недомолвки, не споря, не предполагая
зависти тайной к сопернице. В этом ли дело?

Брошка парижская, кажется, не уцелела.
Ломтем нетронутым в небе – чарджуйская дыня.
Хоры цикад отзвенели на лоне баштана.
За горизонтом палящая дышит пустыня.
Мифы незыблемы. Ахматовиана.

Мифы, как и все земное, незыблемыми не бывают, рано или поздно и они превращаются в руины. Но в данном конкретном случае истинной причиной разрыва Ахматовой с Лидией Корнеевной Чуковской и в самом деле был вполне реальный человек, не граф, но тоже отчасти поляк. Его жена пишет в своих воспоминаниях (к сожалению, до сих пор целиком не изданных), что музыка пришла к ее мужу «из XIX века от прадеда – виолончелиста Антона Онуфрия Шиманского. Участник первого польского восстания, он вынужден был, во избежание каторги, бежать из России во Францию, где прожил немало лет. В Париже он нашел дружескую поддержку Шопена. Шиманский был виолончелистом высокого класса и концертировал во многих столицах Европы под именем Бартолоччи».

Не отрывались от романтической прародины и потомки Шиманского – Бартолоччи. Его внучка, старшая сестра матери нашего героя, окончила Варшавскую консерваторию. Не забывал о прадеде-поляке и ее племянник. Об этом свидетельствует такой случай из его биографии. После окончания Московской консерватории он был приглашен К.С.Станиславским для участия в постановке оперы Чайковского «Евгений Онегин». Верный своей теории, Константин Сергеевич заставил молодого музыканта не только вести спектакль в качестве помощника дирижера, но и танцевать. Увидев, как стильно необученный молодой человек танцует, балетмейстер несколько удивился, на что тот, смеясь, ответил: «Так я же чуточку поляк, а они народ танцующий».

О соперничестве на сей раз и речи быть не может. О том, какую роль сыграл в жизни Анны Андреевны Ахматовой правнук знаменитого на всю Европу виолончелиста Алексей Федорович Козловский, Лидия Корнеевна не подозревала. Так, может, и не будем эту красивую легенду трогать? Может, не нужно заглядывать слишком уж глубоко под ее поверхность, отполированную до почти гламурного блеска? На мой взгляд, очень даже нужно. И не только для того, чтобы прояснить ускользающие, двоящиеся смыслы множества стихотворений Ахматовой, и тех, что доведены до издательских кондиций, и тех, что так и остались в черновиках. Нужно прежде всего потому, что история, о которой речь пойдет в следующей главе, избавила

Ахматову от двух мучительных комплексов.

Мир музыки, родной, обжитой для Пастернака, Мандельштама, Цветаевой, для нее, от рожденья лишенной и музыкального слуха, и музыкальной памяти, был миром неведомым. О том, как мучило А.А. неравенство, неравенство возможностей, никто, кроме Гумилева, не знал – ни Артур Лурье, ни Оленька Судейкина, ни Пунин. Пунин только удивлялся, почему Анна угрюмо и резко отказывается выходить из дома, если им неожиданно перепадали билеты в филармонию. Да и Гумилев догадался не сразу, только тогда, в Слепневе, когда они с матерью вдруг запели. Начала Анна Ивановна, а Николай, схватив забытую Ольгой гитару, мигом подобрал аккомпанемент. Второй романс мать с сыном пели уже на два голоса. Голоса у Николая не было, но вторил он красиво и точно. Анна сжалась – такого напряженного, несчастного лица Гумилев у нее никогда не видел.

Зато ее молодой ташкентский друг – дирижер, композитор, не человек, а земное воплощение духа музыки, – понял сразу, что Анна Андреевна в музыкальном отношении – калека: слепонемоглухая. Любой другой бы на его месте отступился, он этого не сделал, ибо в придачу ко всем своим талантам был еще и прирожденным учителем. Чуда, конечно, не произошло, но бездарная ученица благодаря его урокам через два с половиной года стала слышать музыку. Не ушами – а словно бы ощупью, и запоминала тоже не слухом, а каким-то иным органом – может быть, «органом для шестого чувства».

С тех пор слово это – *Музыка,* никогда прежде не употреблявшееся, не исчезает из ее поэтического словаря. Больше того, в год создания стихотворения «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…» был задуман цикл «Музыка». Он, правда, остался в набросках, но один катрен проясняет главную мысль замысла:

Когда уже к неведомой отчизне
Ее рука незримая вела,
Последней страстью этой черной жизни
Божественная музыка была.

На зов Божественной музыки она и ушла:

А как музыка зазвучала,
Я очнулась – вокруг зима:
Стало ясно, что у причала
Государыня-смерть сама.

Мелодия для голоса и азийской свирели

Но почему же Лидия Корнеевна уверена, что стихотворение «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…» обращено к польскому графу? Почему даже не предполагает, что в ташкентские годы у ее великой подруги были романтические отношения с другим человеком, который к тому же, как и Юзеф Чапский, имел, пусть отдаленное, касательство к Польше? Для того чтобы найти ответ на этот закономерный вопрос, во-первых, прочитаем внимательно таинственный текст, а во-вторых, соберем по сусекам все то немногое, что известно об адресатах – и мнимом, и настоящем.

В ту ночь мы сошли друг от друга с ума,
Светила нам только зловещая тьма,
Свое бормотали арыки,
И Азией пахли гвоздики.

И мы проходили сквозь город чужой,
Сквозь дымную песнь и полуночный зной, —
Одни под созвездием Змея,
Взглянуть друг на друга не смея.

То мог быть Стамбул или даже Багдад,[59]
Но, увы! не Варшава, не Ленинград, —
И горькое это несходство
Душило, как воздух сиротства.

И чудилось: рядом шагают века,
И в бубен незримая била рука,
И звуки, как тайные знаки,
Пред нами кружились во мраке.

Мы были с тобою в таинственной мгле,
Как будто бы шли по ничейной земле,
Но месяц алмазной фелукой
Вдруг выплыл над встречей-разлукой…

И если вернется та ночь и к тебе,
Будь добрым к моей запоздалой мольбе,
Пришли наяву ли, во сне ли

Мне голос азийской свирели.

1 декабря 1959 Ленинград.

Красная Конница

С Юзефом Чапским, художником и публицистом, и Анна Андреевна, и Лидия Корнеевна познакомились во время войны в Ташкенте. Ахматова впервые увидела его в доме Алексея Николаевича Толстого.

Эвакуированный в Ташкент «Советский писатель» запланировал что-то вроде антологии польской поэзии. Акция была политической. Под Ташкентом расквартирован штаб генерала Андерса, с которым Сталин ведет хитроумную двойную игру. Чапский, чудом избежавший судьбы своих соотечественников, – 15 тысяч пленных польских офицеров, расстрелянных войсками НКВД, – официально ведает культурной работой, а неофициально, по поручению генерала, пытается разыскать (на *бесчеловечной земле)* хотя бы их следы. «Красный граф» и автор «Обороны Царицына» о политической подоплеке проекта наверняка знал, но у него была своя игра. Собрав за очередным литературным ужином, «за роскошно накрытым столом», потенциальных переводчиков, Толстой не только декорировал парадный фасад. Он еще и материально обеспечивал литераторов своего выбора – издать не издадут, а за заказные переводы заплатят.

О первом благородном собрании в графской гостиной в «Ташкентской тетради» Л.К.Чуковской рассказано так: «На днях, вечером, NN рассказывала мне о вечере у Толстых, на который она была приглашена. Там был поляк и читались польские стихи – Слонимского и еще чьи-то. Она говорила о них с восторгом, пыталась вспоминать строки».

Следующая запись в «Записках» Чуковской на сей счет датирована декабрем 1959 года: «Прочитала мне три стихотворения, одно мудрейшее: о том, что наследницей оказалась она. Наследницей "величия и муки". Другое о Ташкенте и обращено к тому высокому поляку, которого я встречала у нее».

Свидетельство хотя и категорическое, но сомнительное, поскольку решительно противоречит диалогу, зафиксированному в тех же «Записках» четыре года спустя, когда между Лидией Корнеевной и Анной Андреевной возник спор, кому из них господин Чапский передал символический презент – серебряную брошь.

«Это, наверное, вам, – настаивала я. – Я-то видела его, помнится, всего дважды. Когда Паустовский мне сказал, что

привез мне подарок "от высокого поляка" – я клялась и божилась: за всю мою жизнь не познакомилась ни с единым! Он назвал фамилию, тогда я вспомнила. И решила, что подарок через меня – вам. Ведь я-то видела Чапского всего два раза… Анна Андреевна с сердцем:

– А вы думаете, я – больше?

– Но ведь стихи-то ему написали – вы!»

Вместо ответа Ахматова просит отыскать в ее легендарном чемоданчике какую-то старую тетрадь и показывает Лидии Корнеевне вариант с такой концовкой:

> Будь добрым к моей запоздалой мольбе,
> Пришли наяву ли, во сне ли
> Мне голос азийской свирели.

Вариант со свирелью давным-давно опубликован. Однако Чуковская, по ее утверждению, первопубликацию не заметила. Слова Ахматовой (своего рода тест: догадается или нет, что «высокому поляку» отведена роль ширмы?[60]): «Если там (на броши. – *А.М.)* есть свирель, мне, если нет – вам» – вызывают у нее недоумение. При чем тут свирель, если высокий поляк не музыкант? В ответ на этот немой вопрос А.А. и попросит приятельницу разыскать черновик…

Эпизод с брошью – еще одно подтверждение, что запись от декабря 1959 года – позднейшая реконструкция, так как не только в «Неве», но и в том варианте, какой в 1959 году Ахматова прочла Чуковской, *азийская свирель* должна была быть. Впрочем, не исключаю, что Лидия Корнеевна просто не придала музыкальной детали значения, списав ее на «местный колорит». Но вот момент поосновательнее: свидетельство Чуковской – *встречала-де* высокого поляка у Анны Андреевны (не встретила однажды, а встречала неоднократно) – никак не стыкуется с ее же утверждением, что видела Чапского всего дважды (в сноске уточнение: один раз мельком, на людях, второй раз наедине, в гостинице, в номере генерала Андерса, куда никто из литераторов, званных на польский прием, в том числе и Анна Ахматова, кроме Чуковской, простодушной и обязательной, не явился). По-видимому, этот факт и запомнился Чапскому, тем более что под влиянием минуты Чуковская разоткровенничалась с практически незнакомым, чужим и опасным человеком, правда, все-таки умолчав о самом больном – аресте и гибели мужа, за что, полагаю, и получила памятное (наградное!) серебро двадцать лет спустя. Подвиг вроде был невеликий, но это на послесталинский взгляд. Во всяком случае, Анна Андреевна, даже если бы и

оказалась в гостинице, вряд ли решилась бы и на такую – пусть и ограниченную – откровенность.

Напомним также, что в тексте, опубликованном в «Неве» в 1960 году, строфа, указующая на польское происхождение адресата, отсутствовала; этот вариант процитирован в начале главы.

Для сборника 1961 года Ахматова переработала заключительный катрен, вынув из него свирель. Однако в стихотворении не упоминалась и Варшава. Породившие догадку Чуковской строки в промежуточном варианте, в добавленной третьей строфе, выглядели так:

> То мог быть Каир или даже Багдад,
> Но только не призрачный мой Ленинград.

Слово *Варшава* будет впервые произнесено при следующих обстоятельствах – они также увековечены в «Записках» Чуковской (запись от 3 декабря 1960 г., при подготовке к печати ахматовской книжечки 1961 года): «Интересно мне было подтверждение одной моей догадки: я давно подозревала, что стихотворение "В ту ночь мы сошли друг от друга с ума… " посвящено тому высокому поляку, который в Ташкенте бывал у нее и, помнится, провожал ее откуда-то из гостей домой – не от Толстых ли?.. И вдруг она сказала, взглянув на меня плутовски: "Давайте-ка сделаем вместо "Но только не призрачный мой Ленинград… " – "Но не Варшава, не Ленинград… " Догадка моя верна – тому поляку в Ташкенте… Чапскому».

Как видим, всего лишь догадка… Тем не менее Лидия Корнеевна настолько утвердилась в своей прозорливости, что ни появление в печати другого суждения о том, к кому в действительности обращены стихи,[61] ни тот факт, что в сборнике 1961 года Ахматова ничего не изменила, ее ничуть не поколебали.

Понять Лидию Корнеевну можно: если данное суждение принять хотя бы для дальнейшего размышления, надо признать – Анна Андреевна умудрилась таить и утаить от дорогого и уважаемого Капитана истинное содержание своей внутренней жизни в течение не только ташкентских лет! Больше того, автору «Записок» пришлось бы допустить, что именно этим, то есть целомудренно-суеверным, желанием спрятать от слишком пристального наблюдения свои отношения с истинным героем этих стихов объясняется и ее непонятное и неприличное поведение в течение всей второй половины 1942 года. Да,

конечно, у женской ревности и у женской обиды, как и у страха, глаза велики, любая соринка может вырасти до размеров бревна. Но и с такой поправкой ничего не остается, кроме как согласиться: Анна Андреевна явно нарывалась на ссору, почти провоцировала разрыв.

Авторитет Л.К.Чуковской столь самовластен, что даже Н.В.Королева в пространной биографии А.А.Ахматовой (Собрание сочинений: В 6 т. – М.: Эллис-Лак) не решилась на него «восстать». Единственное, что она себе позволила, это процитировать (петитом, в комментариях, выборочно) следующий документ – письмо Г.Л.Козловской, жены Алексея Федоровича Козловского, направленное в редакцию «Альманаха поэзии» Центрального телевидения. Правда, цитировала с оглядкой: дескать, стихи (может быть) имеют «как бы двойную адресацию»:

«В один из жарких дней последнего лета Анна Андреевна пришла к нам и собралась уходить уже поздно. У меня на столе стояли белые гвоздики, необычайно сильно и настойчиво-таинственно пахнувшие. Анна Андреевна все время касалась их рукой и порой опускала к ним свое лицо. Когда она уходила, она молча приняла из моих рук цветы с мокрыми стеблями. Как всегда, Алексей Федорович пошел ее провожать. Это было довольно далеко, но все мы тогда проделывали этот путь пешком. Вернулся домой он нескоро и, сев ко мне на постель, сказал: "Ты знаешь, я сегодня, сейчас пережил необыкновенные минуты. Мы сегодня с Анной Андреевной, как оказалось, были влюблены друг в друга, и такое в моей жизни, я знаю, не повторится никогда. Мы шли и подолгу молчали. По обочинам шумела вода, и в одном из садов звучал бубен. Она вдруг стала расспрашивать меня о звездах (Алексей Федорович хорошо знал, любил звезды и умел их рассказывать.) Я почему-то много говорил о Кассиопее, а она все подносила к лицу твои гвоздики. От охватившего нас волнения мы избегали смотреть друг на друга и снова умолкали". Его исповедь я запомнила дословно, со всеми реалиями пути, чувств и шагов. Поняла, что это был как бы акме в тех их отношениях, которые французы называют quitte amoureux… И я, ревнивейшая из ревнивиц, испытала чувство полного понимания и глубокого сердечного умиления… И когда годы спустя Алексей Федорович впервые прочел эти стихи ("В ту ночь мы сошли друг от друга с ума… " – *А.М.*), он ошеломленно опустил книгу и только сказал: «Прочти». Я на всю жизнь запомнила его взгляд и оценила *всю высоту и целомудрие этого его запоздалого признания».*

Выделенные курсивом слова – *высота и целомудрие запоздалого признания* – на первый взгляд противоречат

сказанному выше – что Козловский во всем признался жене в ту же «волшебную» ночь (в мае 1944 г.) и даже дал слово, что *такое* с ним больше не повторится. Прошло шестнадцать лет (напомним: журнальная книжка, которую «ошеломленно опустил» Алексей Федорович, вышла в 1960-м), и его застигнутый врасплох взгляд невольно и случайно выдал Галине Лонгиновне тщательно скрываемую от нее тайну: *такое* не повторилось, но иное длилось… длилось… длилось… И не оборвалось даже в марте 1966-го.

Эту тайну Козловский, и тоже, похоже, невольно, выдал в беседе с В.Д. Дувакиным в 1974 году, за три года до смерти. Виктор Дмитриевич задал супругам Козловским традиционный, вовсе не требующий предельной откровенности вопрос: как долго продолжалась их дружба с Ахматовой. Сначала Галина Лонгиновна ответила общими словами: «Эта дружба в нашей жизни была очень большая, очень наполнившая жизнь и как-то никогда не меркла». Затем, перестав смущаться, попыталась подобрать более точные, единственные слова. И нашла-таки их – «высота собеседничества»: «…Затрудняешься просто рассказать вот эту высоту собеседничества… В моей жизни я встречала много очень интересных людей… но я знала только двух великих собеседников. Это были Анна Андреевна и Михаил Фабианович Гнесин». К этому сюжету Г.Л.Козловская вернулась еще раз, уже в конце интервью:

«Да, вот два собеседника великих. Конечно, они были совершенно разные. И если Михаил Фабианович – это был мудрец, философ, поэт одновременно… Он мог говорить до пяти часов утра, причем вы погружались в такие глубины… вот уж, действительно, человек без дна… Так вот и Анна Андреевна, она имела такие стороны, которые если и приоткрывались, то вы все равно не можете передать ни их значение, ни их значимость. Это просто невозможно. Вот это трагедия людей, которые теряют тех, кто были замечательны».

На этот монолог жены Алексей Федорович отреагировал так: «Я не потерял нисколько» (почти дословно совпав с Мандельштамом, который, скрытно от жены, признавался А.А., что на звездной высоте может собеседовать только с ней, живой, и еще – с мертвым Гумилевым).

Все вышеизложенное позволяет, на мой взгляд, прояснить, пусть и в порядке предположения, два темных и недатированных наброска: «Обыкновенным было это утро…» и «О! из какой великолепной тьмы…». Комментаторская версия, которой придерживается и Н.В.Королева, упорно привязывает их к 1956 году, подгоняя диптих (две вариации на одну тему) под

канонизированный сюжет.

Логика комментаторов такова: в августе 1956-го Ахматова узнала о предполагаемом приезде в Москву Исайи Берлина и начала-де грезить, разыгрывая в воображении сцену встречи с ним десять лет спустя. Могу обрушить на читателя *поток доказательств* неправоты берлинистов, но, думается, хватит и трех.

Во-первых, в словах героя, вернувшегося «из самой окончательной разлуки», лирическую героиню второй части диптиха поражает то же, что и Г.Л.Козловскую в позднем признании мужа: немыслимая, несовременная чистота:

…….
Ты говорил о том, о чем помыслить
Уже немыслимо. И ты пришел сказать,
Что ты дал клятву и ее исполнил.

И это было… так прекрасно,
Так бескорыстно, так великодушно!
и чистотой посмертной
Звучал твой голос – в бездны чистоты,
Казалось мне, я окунула душу.

Во-вторых, в диптихе точно обозначено время действия: не роковой август, а поздняя весна: «Обыкновенным было это утро / Московское и летнее почти что».

В-третьих, в ночь на 16 ноября 1945 года в долгочасовом разговоре Ахматовой и Берлина Данте не возникал, тогда как в диптихе, точнее, в первой его части и присутствие Данта («…так нам его описывает Дант»), и связанные с высоким присутствием ассоциации – значимые элементы несущей «арматуры». Н.В.Королевой они описаны, но не объяснены и, конечно же, не соотнесены с дантовскими вечерами в ташкентском доме Козловских. Правда, и Галина Лонгиновна описывает ташкентские дантовские чтения, не вникая в подтекст: «Я не понимала слов, когда она читала Данте, но меня завораживала музыка слов и ее низкий чарующий голос. Я глядела, как чудесно поднимается ее верхняя губка и как ее удивительная рука, маленькая и изящная, иногда отмечает в воздухе ритмы терцин».

И тем не менее описанный Н.В.Королевой источник скрытых полуцитат (ожидание Беатриче, приближение Беатриче, встреча с Беатриче, описание Беатриче), то есть те фрагменты «Божественной комедии», которые Ахматова особенно любила и часто читала наизусть, – еще одно подтверждение, что к Берлину

данные тексты не имеют ни малейшего отношения. Единственный окололитературный комплимент, который поздней ноябрьской ночью 1945-го английский гость ей сделал, – сравнение с Донной Анной, и то – не пушкинской: «Внимая истории любовной жизни, он сравнил ее с Донной Анной из "Don Giovanni" и рукой, в которой была сигара, воспроизводил в воздухе моцартовскую мелодию». В ответ на этот жест Анна Андреевна, по-видимому, и выхватила из книжного беспорядка байроновского «Дон Жуана», естественно, на языке оригинала.[62]

В течение полувека Исайя Берлин будет рассказывать всему свету по секрету, что английский язык почтенной русской дамы был настолько чудовищен, что он не узнал ни единого слова, даже не угадал, какие именно фрагменты из «Дон Жуана» услышал в ее исполнении.

Неужели дама этого не знала? Знала, и еще как знала (этот момент они с Козловской-Герус еще в Ташкенте выяснили). Так почему же так подставилась? И вообще, зачем было читать аглицкому гостю Байрона, а не русских, не известных ему поэтов? Скажем, Гумилева, которого Берлин, по его же признанию, совершенно тогда не знал? И какие именно фрагменты из «Дон Жуана» она выбрала, хотя, повторяю, прекрасно знала, что ее английское произношение из рук вон плохо? Да и времени было в обрез – до полуночи засиделась какая-то ученая особа, а в три ночи уже вернулся Лев Николаевич. Смею предположить, что, вероятнее всего, читана была та часть второй песни романа, где речь идет о потерпевших кораблекрушение, которые, сходя с ума от голода, убивают и съедают одного из спутников Жуана. Перечтите эти октавы в переводе Татьяны Гнедич – лично я ничего страшнее в европейской поэзии XX века припомнить не могу. Известный сюжет из клюевской «Погорельщины», где односельчане засаливают синеглазого Васятку, – детская сказочка по сравнению с этими жесткими и жестокими сценами, особенно если учесть, что Байрон неоднократно подчеркивал абсолютное соответствие своего рассказа с реальными фактами, и Анна Андреевна это знала. О случаях людоедства в блокадном Ленинграде, о том, что сосед Пуниных, Женя Смирнов, умирая от голода, спрашивал у жены, кого из детей они съедят сначала, а кого потом, впрямую, как с Людмилой Шапориной,[63] Ахматова с иностранцем, естественно, говорить не осмелилась. А вот намекнуть, использовав известный литературный сюжет, очень даже могла, как намекнула в «Поэме без героя», сравнив блокадный Ленинград с осажденным Тобруком: «Это где-то там – у Тобрука, / Это где-то здесь – за углом». (Смысл сравнения убедительно разъяснен в мемуарах Э.Г.Герштейн.[64])

Впрочем, будем снисходительны к господину Берлину: он ничего не понимал в стихах, ни в русских, ни в английских, как, впрочем, и в художественной прозе. Да, почти завидовал яркости и колокольной силе публицистики Герцена, но для внутреннего пользования предпочитал *чего попроще:* в романистике – Тургенева, в музыке – Верди, то есть все то, что его собеседница хуже чем не любила – не замечала. Гость из будущего, конечно, запомнил, что Ахматова решилась прочитать ему две песни из «Дон Жуана», «поскольку они имеют отношение к последующему», а вот какое именно отношение – не сообразил, хотя за декламацией последовало чтение «Поэмы без героя»: на поверхности «святочный карнавал», а по сути памятник ее друзьям, их судьбам, своего рода «ныне отпущаеши»…

Но мы несколько опередили события. Оставим пока в покое сэра Берлина и вернемся к графу Чапскому и к стихотворению «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…».

Согласившись, что свидетельские показания Галины Лонгиновны Козловской подтверждаются реалиями ахматовского стихотворения, Н.В.Королева тем не менее наиболее достоверной считает догадку Л.К.Чуковской, так как она «поддержана самой Ахматовой». На самом деле сама Ахматова, сужу по ее «Записным книжкам», эти стихи с именем Чапского не связывала. В ее тетрадях он упоминается в числе тех, кто по достоинству оценил и понял «Поэму без героя», как «некто Ч.<апский>, который в Ташкенте в 1942 году (после того как была прочитана «Поэма без героя». – *А.М.)* церемонно становится на одно колено, целует руки и говорит: «Вы – последний поэт Европы»».[65]

По воспоминаниям той же Э.Г.Герштейн, столь же лично, *сливая в одно* «где-то там» и «здесь за углом», смотрела Анна Андреевна итальянский фильм «У стен Малапаги». Сначала несколько раз одна, потом зазывала друзей, поясняя: *Это наше. Это и про нас.*

Поскольку на первом, майском вечере у Толстых, где Чапский читал стихи польских поэтов, а Ахматова молчаливо, сквозь слезы на глазах, слушала, о ее собственном чтении «Поэмы без героя» нет и речи, иначе об этом было бы непременно доложено Капитану, Толстой устраивал и еще одну русско-польскую посиделку. Видимо, в том же, 1942-м, но уже в самом конце года, после того как 11 декабря между Л.К.Чуковской и А.А.Ахматовой надолго, на целых десять лет! – были разорваны дипломатические отношения…

Что же касается предположения жены А.Ф. Козловского, то оно, по моему убеждению, подтверждается не только реалиями трех выше разобранных текстов. Я вовсе не утверждаю, что

именно Козловский – главный герой всей ахматовской лирики начиная с 1941-го по 1965 год, «той странной лирики, где каждый шаг – секрет», но именно его скрытое присутствие в ней и делает ее странной. И вот что знаменательно: хотя «Явление луны» датировано 25 сентября 1944 года, Анна Андреевна сделала так, что оно явилось в Ташкент не когда-нибудь, а аккурат 31 декабря, то есть в четвертую годовщину их встречи. В мемуарном очерке Г.Л.Козловской-Герус, опубликованном в многотиражных, еще «совписовских» «Воспоминаниях об Анне Ахматовой» (1989), об этом новогоднем подарке сообщается достаточно пространно, однако в устном варианте, в сборнике «Анна Ахматова в записях В.Д.Дувакина» (1999) имеется подробность, представляющаяся мне многозначительной. С последнего военного предновогодья прошло почти тридцать лет, а Алексей Федорович не забыл, что прилетевшая в канун 1945-го открытка со стихами была *забрызгана дождем:*

Г.К.…когда она уехала, то был Новый год, первый Новый год, на котором она не присутствовала, и я перед Новым годом вышла в прихожую, смотрю – лежит квадратик какой-то: открытка…

А.К. Смоченная дождем.

Г.К. Переворачиваю – и стихи Анны Андреевны, знаете, «Явление луны»…

А.К.

Из перламутра и агата,
Из задымленного стекла,
Так неожиданно покато…

И так далее, и так далее. Она написала: «Это стихи ташкентские, посылаю их на их родину».

В последнем за 1944 год номере ленинградской «Звезды» кроме «Явления луны» опубликовано и еще одно ташкентское стихотворение Ахматовой (в дальнейшем оно получит весьма выразительное имя: «Измена»), датированное 22 февраля 1944 года. Однако эти стихи Анна Андреевна на родину не отослала – уж слишком прямо они называли то, что «Явление луны» изящно полускрывало:

Не оттого, что зеркало разбилось,
Не оттого, что ветер выл в трубе,
Не оттого, что в мысли о тебе
Уже чужое что-то просочилось, —
Не оттого, совсем не оттого
Я на пороге встретила его.

Судя по воспоминаниям Г.Л.Козловской, Ахматова и Алексей Федорович действительно впервые взглянули в лицо друг другу именно на пороге: «В первый раз Ахматова переступила порог нашего дома в новогодний вечер, чтобы вместе с нами встретить свой первый в Ташкенте Новый год. Снимая с нее ее негреющую шубку, Алексей Федорович воскликнул: „Так вот вы какая!“ Вероятно, в его веселом молодом голосе было что-то, что заставило ее улыбнуться и, разведя руками, в тон шутливо ответить: „Да, вот такая. Какая есть“. И исчезла вся напряженность первого мгновения знакомства. Алексей Федорович поцеловал ей руку, сначала одну, потом другую, и так уж затем повелось навсегда, что при встрече и прощании он целовал ей обе руки. Она направилась к печке, стала к ней спиной и начала греть руки. И тут мы увидели, что она по-прежнему стройна и прекрасна. В тот вечер глаза у нее были синие».

Еще Гумилев заметил, что глаза его Примаверы, обычно серые, зеленоватые или голубые, синели, когда скупая на дары судьба вдруг, без предупреждения расщедривалась. А в тот вечер злодейка и злыдня не поскупилась: на диво хороши были не только хозяин и хозяйка дома, но и сам дом, и друзья их азийского дома – первая жена Пастернака Евгения Владимировна, с которой Галина Лонгиновна, похоже, была знакома еще по Москве, и сын поэта – тоже Женя. Вот каким запомнил Евгений Борисович Пастернак ту новогоднюю ночь у Козловских: «Ярким был праздник 1942 года. Мы вместе с Ахматовой были приглашены к Козловским, где был настоящий, сваренный мастером-узбеком плов, вино и закуски. Потом братья Козловские в четыре руки играли Вторую симфонию Бетховена. Просидели до утра…»

Тем, кому покажется подозрительным столь изобильное застолье, поясню: на сцене Ташкентского оперного театра только что, в ноябре 1941 года, состоялась премьера музыкальной драмы «Даврната», музыка к которой написана А.Ф.Козловским, правда, в соавторстве с Т.Садыковым. Кроме того, ташкентских меломанов и поклонников *соловьиного пения* Халимы Насыровой в январе 1942 года ожидал и еще один сюрприз – музыкальная драма «Шерали». Текст Хамида Гуляма, музыка А.Ашрафи, С.Н.Василенко и А.Ф.Козловского. И это только начало его славы, местного значения, но все-таки славы, ибо в ноябре того же, 1942-го, на той же сцене и с участием той же звезды Востока будет представлена собственная опера Козловского «Улугбек» (по

мнению рецензента «Правды Востока» – «наиболее значительное из произведений, ранее поставленных на этой сцене»).

Следующий, 1943-й, Новый год Анна Андреевна проведет в больнице,[66] а вот последний ташкентский, 1944-й, встретит опять у Козловских и к этому полупрощальному празднику приготовит ташкентским друзьям, нежным своим утешителям, затейливый подарок: спасет от медленного исчезновения свою «тень» («ее великолепный профиль», по словам Г.Л. Козловской), которую Алексей Федорович когда-то обвел сначала карандашом, а потом углем и полушутя доказывал, что когда А.А. уходит, «то профиль живет своей странной ночной жизнью». Уголь по беленной известью стене – материал непрочный, и после отъезда Анны Андреевны из Ташкента Галина Лонгиновна завесит тень куском серебряной старинной парчи; консервант (средство от забвения), изобретенный Ахматовой, увековечит и самое тень («знак вечной верности»), и атмосферу приютившего ее тень дома:[67]

…В том городе (название неясно)
Остался профиль (кем-то обведенный
На белоснежной извести стены),
Не женский, не мужской, но полный тайны.
И, говорят, когда лучи луны —
Зеленой, низкой, среднеазиатской —
По этим стенам в полночь пробегают,
В особенности в новогодний вечер,
То слышится какой-то легкий звук…

На мой взгляд, с ташкентскими реалиями, а не только со «Сказками Гофмана», как предполагает В.Н.Топоров, связано и еще одно странное стихотворение Ахматовой той же поры – «Стеклянный звонок», написанное уже в Ленинграде одновременно с «Явлением луны», то есть накануне Нового года, но опубликованное лишь в 1979-м: «Стеклянный звонок / Бежит со всех ног. / Неужто сегодня срок?»

Поскольку в «заметках для Лиды» в списке произведений, которые «печатать нельзя», под номером 15 рукой Ахматовой наряду с «Реквиемом» обозначен и «Стеклянный звонок», Лида, то есть Л.К.Чуковская, предположила, что у «стеклянного звонка» имеется общеизвестный зловещий подтекст. Думается, что это не так и что запрет на публикацию вызван совсем другими причинами, а именно тем, что это стихи – из тех, что «поймут только двое». Такие стихи А.А., как правило, не публиковала, оставляла в черновиках – для «оценки поздней». Что же касается

именно «Стеклянного звонка», то дело тут, на мой взгляд, вот в чем. Как вспоминает Г.Л.Козловская, Анна Андреевна и Алексей Федорович при каждой их встрече что-то дарили друг другу от себя, что-то такое, к чему другому не дано прикасаться. Тем не менее к одному из таких подарков Галина Лонгиновна все-таки прикоснулась. Я имею в виду следующий эпизод: «Однажды меня не было дома, и она, придя вдруг, сказала Алексею Федоровичу: "Хотите, почитаю страшненькие стихи?" И она прочла ему пять стихотворений Гумилева, обращенных к ней… Алексей Федорович слушал их, потрясенный».

Какие именно стихи Николая Степановича прочла в тот вечер Ахматова, Козловский жене не доложил. Однако, зная, что он в то время писал оперу «Улугбек», главная героиня которой – любимая наложница хана китаянка Син Дун-фам, можно предположить, что одним из пяти было стихотворение Гумилева «Я верил, я думал…». В сборнике «Чужое небо» им открывается цикл «Посвящается Анне Ахматовой». Китайские эти стихи любил Блок, вообще-то Гумилева не любивший.

Я верил, я думал, и свет мне блеснул наконец.
Создав, навсегда уступил меня року создатель.
Я продан! Я больше не божий! Ушел продавец,
И с явной насмешкой глядит на меня покупатель.

Летящей горою за мною несется Вчера,
А Завтра меня впереди ожидает как бездна,
Иду… но когда-нибудь в бездну сорвется гора,
Я знаю, я знаю, дорога моя бесполезна.

И если я волей себе покоряю людей,
И если слетает ко мне по ночам вдохновенье,
И если я ведаю тайны – поэт, чародей,
Властитель Вселенной – тем будет страшнее паденье.

И вот мне приснилось, что сердце мое не болит,
Оно – колокольчик фарфоровый в желтом Китае
На пагоде пестрой… висит и приветно звенит,
В эмалевом небе дразня журавлиные стаи.

А тихая девушка в платье из красных шелков,
Где золотом вышиты осы, цветы и драконы,
С поджатыми ножками смотрит без мыслей и слов,
Внимательно слушая легкие, легкие звоны.

Стеклянный звонок… сердце – фарфоровый колокольчик… легкий звук… легкие звоны… большие лондонские часы с серебряным звоном, которые били новогоднюю полночь…

Не стану даже предполагать, что шелка, в которые узбекские костюмеры одели Халиму Насырову, когда та пела свою последнюю арию в опере Козловского, были красными (стараясь удержать власть, Улугбек уступает Син Дун-фам сыну, но это не спасает ему жизнь, он гибнет, а вместе с ним добровольно идет на смерть и красавица китаянка). А вот в том, что Анна Ахматова и впрямь загодя чуяла беду и горе – не сомневаюсь ничуть. Не успел Козловский отторжествовать первый крупный успех, как тяжкой горою на него навалилось его *Вчера.* Блистательно одаренный музыкант, который к тому же непростительно молод и непозволительно хорош собой, сосланный в южную провинцию в относительно «вегетарианском» 1936-м, Алексей Федорович, не в пример Осипу Эмильевичу, сделал из случившегося мудрый вывод: осторожное отступление в *тень,* в *тишину,* в *исчезновение* с авансцены, а значит, и из зоны повышенного риска, – единственный, в его сверхрискованных обстоятельствах, шанс на выживание. Вдобавок он ведь не просто спрятался «в великолепной мгле чужого сада», а искренне полюбил страну своего изгнания, да еще и сумел укорениться в ее музыкальной культуре, стать ей, культуре, необходимым. Благодаря его усилиям, и узбекский оперный театр, и солисты этого театра неизменно занимали первые места на парадных смотрах, льстивших честолюбию Сталина. Однако в 1944-м, когда началось великое переселение ненадежных народов (калмыков, крымских татар, чеченцев и т. д.), даже эта «охранная грамота» утратила надежность, и в соответствующих органах сразу же «вспомнили» о нехорошей анкете гражданина Козловского А.Ф.: мало того что ссыльный, так еще и женат на особе, выросшей в Америке… В разгар решающего наступления на внутренних врагов, осложненного вынужденно-тесными контактами с Америкой и американцами, эта биографическая подробность была смертельно опасной. Если не для автора «Улугбека» лично (его хозяева Страны белого золота, может, и смогли бы отстоять), то для Галины Лонгиновны, дочери члена царской Думы – наверняка… И Алексей Федорович, видимо, сделал то единственное, что он мог сделать в данной ситуации, чтобы спасти жену: написал симфоническую поэму о Сталине. В феврале 1944-го она была исполнена на декаде советской музыки республик Средней Азии. Если вспомнить, что Анна Андреевна, удивляясь всесторонней одаренности Козловского, говорила о нем: «Наш Козлик – существо божественного происхождения», легко представить себе,

как могли потрясти его стихи Гумилева: *Я продан! Я больше не божий!*

Впрочем, и пяти лет не пройдет, как линии судеб Ахматовой и Козловского снова трагически сблизятся: спасая арестованного осенью 1949-го сына, Анна Ахматова опубликует в «Огоньке» посвященный Сталину цикл верноподданнических стихов «Слава миру». Когда журнал дойдет до сосланного в Заполярье Николая Пунина, он отзовется на эту публикацию так: «Стихи в «Огоньке» прочитал: я ее любил и понимаю, какой должен быть ужас в ее темном сердце» (из письма к М.Л. Голубевой от 17 ноября 1950 г.). И еще раз, в более позднем письме к дочери: «Акума висела на волоске. Вероятно, ее спасли стихи в "Огоньке"».

Предполагаю также, что к Козловскому, точнее к Козловским, вначале, в замысле обращено и знаменитое «Так не зря мы вместе бедовали» (21 июня 1961 г.). В первом варианте строка «вместе с ними я в ногах валялась у кровавой куклы палача» звучала более интимно – «вместе с вами», то есть была теснее связана с первой строкой: мы вместе бедовали, а потом вместе с вами я в ногах валялась…

В записях, сделанных Дувакиным, есть и еще два момента, на которые, по-моему, необходимо обратить особое внимание. В уже упоминавшемся «совписовском» сборнике Г.Л.Козловская вполне подробно рассказала и о том, как ее муж к шестидесятилетию получил от Анны Андреевны еще один «бесценный дар» – только что вышедший сборник «Бег времени» в знак «вечной верности». Однако из печатного текста исчезла немаловажная подробность – уточнение, что Анатолий Найман с подарочным экземпляром «Бега времени» был послан Ахматовой в Ташкент «специально», чтобы успел точь-в-точь ко дню рождения юбиляра – 15 октября 1965 года (на этот раз Ахматова, видимо, не понадеялась на пунктуальность уже не сталинской, а брежневской почты).

Больше того: по наблюдению Г.Л.Козловской, весной 1944 года Ахматова вовсе не торопилась уезжать из Ташкента, «где ей было очень хорошо», Гаршин ее «сорвал», и уезжала она «даже с каким-то внутренним сопротивлением». Конечно, это только мнение, но оно, во-первых, подтверждается упомянутой выше «Изменой», а во-вторых, хоть как-то, но объясняет недовольство Н.Я.Мандельштам, которая чуть ли не в каждом письме Б.С.Кузину жалуется на подругу. Дескать, все давно разъехались, Ташкент опустел, даже Пунины уже несколько месяцев как сдвинулись с места, а Анна Андреевна все медлит и медлит… Объяснение, не спорю, косвенное, и его, при желании, вполне можно было бы «дезавуировать», если бы не ахматовские стихи, датированные 28 сентября 1945 года. Те самые, где она называет

свои ташкентские годы «волшебными»:

Я восемьсот волшебных дней
Под синей чашею твоей,
Ляпислазурной чашей
Тобой дышала, жгучий сад…

Л.К.Чуковская не любила ташкентских стихов Ахматовой. Ее честная и простая душа, ее здравый и ясный ум терялись и оступались в несоответствиях: каким образом, где – в грязном, замордованном, перенаселенном населенном пункте, в этой помойке – можно увидеть «жгучий» сад? Между тем именно по таким волшебным местам Козловский прогуливал Анну Андреевну, когда отступала, умерялась жара. И этот старый, вечный Ташкент ничуть не отличался от того волшебного города, от той «голубой Азии», какую двадцать лет назад высмотрел в нем Есенин: «Уводя ее в дебри Старого города, он пытался приоткрыть ей все, что он смог сам полюбить, всю прелесть и очарование узбекской народной жизни… Привел он ее однажды в тот „рай“,[68] где мы прожили три года до войны. Два дома, два сада с черешнями и персиками, которые то цвели, то плодоносили. У стены серебристая джида, у которой одно из самых благоуханных цветений на земле. Урючина и огромный тополь укрывали половину сада и мангал в углу, где почти всегда тлел огонек. Там было все – и виноградная лоза, и розовый куст, и арык, бегущий вдоль дорожек, где притаилась душистая мята всех оттенков и ароматов. Все чисто, все полито».

Козловские, похоже, все-таки настаивали, доказывая, что для ее сердца постоянные мотания между Москвой и Ленинградом опаснее, чем два часа на «Ту»… Но и отказываясь, и сердясь, Анна Андреевна каждый раз, встречаясь с Галиной Лонгиновной, «с пристрастием расспрашивала о саде, о прудике, о деревьях, просила даже снова и снова рисовать ей планировку дома и усадьбы». А может быть, и сравнивала как бы свой *азийский дом* («Он прочен – мой азийский дом») с арендованной у Ленинградского литфонда унылой полуказенной Будкой. Во всяком случае, существованием в ее судьбе этого Дома может быть, на мой взгляд, объяснено появление в записных книжках, заполнявшихся в 1958–1959 годах, в комаровском одиночестве, следующего наброска:

……
Стеклянный воздух над костром
Струится и дрожит,

И сквозь него я вижу дом
……
Не мне принадлежит.

Неожиданный в применении к воздуху эпитет «стеклянный», ничуть не менее неожиданный, чем в применении к междугородному телефонному звонку, звучащему, правда, несколько иначе, чем городской, по-моему, также наводит на ташкентский след…

Впрочем, и опубликованный в «совписовском» сборнике вариант воспоминаний «Шехерезады» – так, любуясь, называла жену Козловского Анна Андреевна, – если читать внимательно, а главное, непредубежденно, позволяет рассекретить и еще некоторые догадки «странной лирики», на мой взгляд, куда более странной, чем все вместе взятые криптограммы «Петербургской повести». Возьмем, к примеру, такой мемуарный фрагмент: «Помню я один холодный февральский день. Дул ветер, и вести с фронта были печальными. Анна Андреевна пришла почти в сумерки. Войдя, она сказала почти повелительно: "Сядьте, я хочу прочесть то, что написала вчера". Это было стихотворение «Мужество». Она понимала, что мы не могли заговорить обычными словами восхищения. *Этот стих был как отлитый колокол*… (курсив мой. – *А.М.).* Алексей Федорович поцеловал ей руки и сидя рядом молчал… Потом, присев перед ней и глядя ей в лицо, спросил: «Что вы сегодня хотите?» Она ответила: «Давайте сегодня побудем с Шопеном». Он много в тот вечер играл, больше всего этюды, эти самозабвенные порывы славянской гордости и любви. Играл хорошо, словно в концертном зале. Как часто бывало в те времена, погасло электричество, и Алексей Федорович играл при свете старого индусского светильника…»

А теперь внимательно прочитайте оставленные в черновиках наброски, сделанные в то же самое время, что и «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…». Привожу не все, а только самые выразительные:

Ты, крысоловьей дудкою маня,
Был тоже там, где и другие тени…
Но музыка рыдала без меня
И без меня упала на колени.

Вариант:

Там зори из легчайшего огня.

Там тени,
Там музыка рыдала без меня
И без меня упала на колени.
[Ташкент]
Затворилась навек дверь его.
А закат этот символ разлук…
Из того ж драгоценного дерева —
Эта скрипка и этот звук.
* * *
И не дослушаю впотьмах
Неконченную фразу.
Потом в далеких зеркалах
Все отразится сразу.

Не правда ли, процитированный выше абзац – вполне самодостаточный реальный комментарий к этим осколкам, особенно ежели знать, что Козловский виртуозно играл на многих инструментах, в том числе и на азийских дуделках?

В февральский Ташкент 1942 года, то есть к тому образному определению, какое Козловские дали ее «Мужеству» – «Этот стих был как отлитый колокол…», – отсылает нас и строка из стихотворения «Истлевают звуки в эфире» – «Сквозь почти колокольный звон…» («колокольный», конечно, не в прямом, а в лермонтовском значении: «Как колокол на башне вечевой во дни торжеств и бед народных»).

Эти стихи, как известно, открывают ахматовский цикл 1946 года с таинственным названием «Cinque», якобы обращенный к Исайе Берлину. Между тем основные *опознавательные знаки* если и не всего цикла, то по крайней мере трех из образующих его «песен» наводят на след другого адресата, уже хотя бы потому, что повторены в стихотворении «В ту ночь мы сошли друг от друга с ума…». Образ ночного звездного *(под созвездием Змея)* разговора естествен при общении со спутником, который знал, любил и умел рассказывать звезды (заметьте: не рассказывать о звездах, а рассказывать звезды), и совершенно неуместен в литературном собеседовании с профессиональным славистом. В первом случае выражения типа «Отторгнутые от земли, / Высоко мы, как звезды, шли» психологически, а значит, и художественно обоснованы, тогда как применительно к размену мыслей с человеком книжной, кабинетной выучки выглядят не просто дикими, а что еще хуже – дурновкусными. А кроме того, очень значим глагол: шли, проходили, как с Козловским, а не сидели на разных концах стола, как с Берлиным. К тому же в случае с

последним «сводившая с ума тьма» была вовсе не январской, а ноябрьской. Кроме того, сразу же по завершении первых трех стихотворений из «Cinque» Ахматова создает самое сильное, самое глубокое стихотворение из азийского (ташкентского) цикла. Вот это:

Это рысьи глаза твои, Азия,
Что-то высмотрели во мне,
Что-то выдразнили подспудное,
И рожденное тишиной,
И томительное, и трудное,
Как полдневный термезский зной.
Словно вся прапамять в сознание
Раскаленной лавой текла,
Словно я свои же рыдания
Из чужих ладоней пила.

Интермедия девятая (1944–1946)

Лучше б я по самые плечи
Вбила в землю проклятое тело,
Если б знала, чему навстречу,
Обгоняя солнце, летела.

Анна Ахматова

К чести И.Берлина надо признать, что он в течение полувека решительно отбивался от навязанного комментаторами звездного антуража, хотя, как свидетельствует А.Г.Найман, «к своей роли в ахматовских циклах „Cinque“, „Шиповник цветет“ и в „Поэме без героя“ относился ревниво».[69]

Признаем также, что решительность Берлина в данном вопросе, вопросе космических преувеличений (отторжения от земли), опиралась на весьма веские основания. Ни один из вариантов его воспоминаний – ни тот, краткий, что изложен с его слов английским журналистом Майклом Игнатьевым, ни тот, пространный, что составлен им самим (причудливая контаминация личных впечатлений и внимательного чтения ахматовских материалов), – отторжения от земли ни со стороны Ахматовой, ни с его не фиксирует. Наоборот! Даже от своего биографа Берлин не скрыл, что в ту промозглую, гнилую, беззвездную ночь ему было не до воспарений: позарез требуется туалет, а где у этих советских отхожее место? Не умолчал он и о том, что в послеблокадном Ленинграде оказался по достаточно прозаическому поводу: согласно информации, какой располагали сотрудники иностранных посольств, в городе его детства книжный антиквариат значительно дешевле, чем в столице. И в гости к Ахматовой напросился отнюдь не из интереса к ее творчеству, с которым был практически незнаком, а по сугубо казенной и нелитературной надобности: срок годичной командировки истекал, а специалист по России все еще не выполнил поставленной перед ним задачи – составить аналитический отчет о настроениях российского общества.

Заметим кстати: назвав Берлина «английским шпионом», Сталин был не так уж далек от истины. Сведения, которые тому надлежало добыть, не только в «империи зла», но и в демократических государствах относились к числу секретных. Во всяком случае, в те годы, когда бывшие союзники Сталина должны были в срочном порядке решить, что делать с оплотом коммунизма. Больше того, автор апологии «Сэр», окружив своего

героя целым выводком рыцарей и не-рыцарей разведки, и вымышленных и реальных, а других окрест него в наймановском «Сэре» попросту нет, поставил под сильное, прямо-таки сокрушительное сомнение утверждения Берлина, что он «никогда не работал для Intelligence».

А что иное мог он сказать, тем паче перед самым-самым закатом?[70]

Особенно выразительны рассказы Берлина о Лазаре Кагановиче. Как следует из этих рассказов, в 1945 году Каганович говорил с Берлиным по-свойски, как умный еврей с умным евреем, обнаружив при этом доскональное знание мельчайших подробностей его биографии.

Так что хочешь не хочешь, а придется признать: *падишах* взъярился на свою черную овцу совсем не на пустом месте. Это во-первых. Во-вторых, Берлин не скрывает (не в воспоминаниях о встречах с Ахматовой, а в предсмертных разговорах с А.Г. Найманом), что и в 1945-м, и в 1956-м находился под неусыпным наблюдением соответствующих органов. О чем не просто догадывался, а знал доподлинно. В связи с этим обстоятельством невольно возникает вопрос: чем объяснить, что столь осведомленный господин не избавил Ахматову от опасных для нее визитов? Одно из двух: либо это крайняя степень эгоцентризма, что, судя по всему, также имело место. Либо… либо те, кто засылал специалиста по зарождению свободомыслия в России в Москву таким дорогим кружным путем (через Америку), прекрасно знали, что представляет собой и сама жилица квартиры номер 44, и круг постоянных посетителей этой квартиры и что более надежного способа внедриться в интеллектуальную среду послеблокадного Ленинграда у них нет, поскольку такого «салона», как, к примеру, был одно время в Москве у английской жены драматурга Афиногенова, в Питере не существовало.

Но оставим Берлина и задумаемся над странным поступком Ахматовой.

Впрочем, в самом начале ничего опасного не предвиделось. Владимир Орлов, попросивший Ахматову удостоить вниманием английского слависта, был стопроцентно советским критиком, и Анна Андреевна это знала. Странности начались полчаса спустя: во дворе Шереметевского дома внезапно появился некто несоветский, и уже по тому, как он выкрикивал имя ахматовского гостя, было ясно, что этот некто, во-первых, не совсем трезв, а во-вторых, они с господином Берлиным давние приятели. Даже ежели, убегая, Берлин не сообщил Анне Андреевне, что человек с истошным голосом не кто иной, как сын самого Черчилля, как

могла она, такая осторожная, такая пуганая, принять иностранца без соответствующего сопровождения, да еще и позволить остаться до утра? Что-что, а такое ЧП не могло не быть незамеченным ежели не топтунами, так охранником на пропускной! Не забудем и вот о каком моменте: роковой визит совпал с возвращением сына, которого Анна Андреевна по известным причинам не видела целых восемь лет, а извиняющийся звонок Берлина был поздним, по островному обычаю не предполагавший приглашения в тот же вечер. И тем не менее Анна Андреевна сказала: «Приходите сегодня же».

Необъяснимо?

Необъяснимо. Но может быть, необъяснимая неосторожность именно этим обстоятельством – приездом сына – и спровоцирована? Вот какую запись в дневнике сделал 16 ноября 1945 года Николай Пунин: «Приехал с фронта Лева Гумилев. Он приехал два дня тому назад, поздно вечером. Акума пришла в страшное возбуждение, бегала по всей квартире и плакала громко».

Лев Гумилев был убежден, что мать забыла об осторожности «из тщеславия», из желания покоролевствовать перед иностранцем. Может, и не без этого, но главное, по-моему, все-таки *страшное возбуждение*… Будь Николай Николаевич вечером 15 ноября дома, он бы наверняка предостерег, но его не было, а Лев пришел только в три ночи, когда изменить что-либо было уже нельзя.

А.Г.Найман, ссылаясь на то, что Пунин ни разу не упомянул в дневнике имя Берлина, считает, что Анна Андреевна скрыла от него визит опасного гостя, и даже видит в этом доказательство огромного впечатления, какое тот произвел на нее. Допускаю, что скрыла. Она и в годы их любви не выносила, когда допрашивали: «где были и что делали». Но думаю, что на этот раз скрыла совсем по другой причине – потому что слишком знала:

Николай Николаевич такую вольность не одобрит. Когда почти год назад, в январе 1945-го, арестовали Татьяну Гнедич, Пунин крайне обеспокоился тем, что та «бывала у Ани». Что касается Ирины Николаевны, то она была в курсе ночной посиделки на акумовской половине, и, может быть, именно этим объясняется ее уверенность в том, что подругу детства Ахматовой Валерию Сергеевну Тюльпанову-Срезневскую взяли в самом начале 1946-го, хотя на самом деле Срезневская будет арестована годом позже. Впрочем, и без подсказки Ирины Пуниной Анна Андреевна не могла, одумавшись, не испугаться. Об этом недвусмысленно свидетельствует текст, созданный вскоре после первых трех якобы обращенных к Берлину стихотворений (26

ноября: «Как у облака на краю…»; 20 декабря: «Истлевают звуки в эфире» и «Я не любила с давних дней»):

На стеклах нарастает лед.
Часы твердят: «Не трусь!»
Услышать, что ко мне идет,
И мертвой я боюсь.
Как идола, молю я дверь:
«Не пропускай беду!»
Кто воет за стеной, как зверь,
Кто прячется в саду?

Судя по деталям («на стеклах нарастает лед»), эти стихи написаны скорее всего все-таки в самом начале февраля, когда после теплой осени и сиротской зимы вдруг грянули тридцатиградусные морозы, а первой реакцией на явление пришельца из стран Запада был текст, датированный 27 января 1946 года, при жизни Ахматовой света не увидевший, а после ее смерти приобщенный к английскому мифу:

И увидел месяц лукавый,
Притаившийся у ворот,
Как свою посмертную славу
Я меняла на вечер тот.

Теперь меня позабудут,
И книги сгниют в шкафу.
Ахматовской звать не будут
Ни улицу, ни строфу.

Логика мифологов проще простого: сильнее смерти любовь с первого взгляда и стрелы ея, стрелы огненные. Между тем как раз из этого текста такое истолкование никак не следует, а следует иное, к нежным чувствам отношения не имеющее. Ведь если сейчас, сей день ее возьмут, как Таню Гнедич прошлым годом, как Валю Срезневскую через год, то «Поэма без героя» не будет дописана, а незаписанный «Реквием» пропадет вместе с ней! И как она могла, как смела совершить столь неэквивалентную сделку? Пустой вечер в обществе залетного краснобая в обмен на труд и смысл всей жизни?

Хорошо, согласится со мной непредубежденный читатель, а как же быть с тем текстом, который Ахматова вписала в подаренный Берлину при втором, прощальном его визите 5

января 1946 года сборник «Из шести книг»? Отвечаю: Анна Андреевна никогда не дарила друзьям своих подцензурных книг, не вписав в них какое-нибудь или неподцензурное, или просто новое стихотворение, причем каждому разное и по возможности соответствующее моменту. «Истлевают звуки в эфире…», на беглый, поверхностный взгляд, моменту соответствовали – что-то вроде карнавального комплимента, как-никак, а канун Крещенья…

В навсегда онемевшем мире
Два лишь голоса: твой и мой.

А кроме того, учитывая время и место, не исключаю и «литературную шутку» в стиле розыгрышей «Бродячей собаки». Клюнет – не клюнет? Догадается, что загадали загадку на всю оставшуюся жизнь?

Не догадается. Даже фрагмент из окончательного варианта «Поэмы без героя», где Ахматова фактически поставит оксфордского профессора «на горох», четко обозначив его, так сказать, проходную роль в драме ее жизни («Я его приняла случайно / За того, кто дарован тайной…»), воспримет как подтверждение «лирического аванса». Даже в язвительном «он не лучше других и не хуже» язвительности не расслышит, не сообразит, что это лукавая отсылка к ершовской сказочке: «Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак».

Хочу также заметить, что в случае с Берлиным Анна Андреевна, как и в случае с Блоком (для оценки поздней!), написала и еще один парный портрет, напомнив нам, невнимательным, что недаром слыла «насмешницей». Он корректирует, гасит чрезмерную серьезность «Поэмы без героя». На этом портрете они, то есть Гость из будущего и Дама в Кружевной шали, сильно шаржированы, почти столь же сильно, как в скетчах и пародиях Фаины Раневской. Самые действительные члены *Ахматовки,* конечно, сомневаются в авторстве: дескать, сонет неловко построен. На мой же взгляд, это не аргумент, ибо А.А. никогда не претендовала на первые места в этом искусственном и чуждом ее поэтическому дыханию жанре.

О! Из какой великолепной тьмы
Тебя я повстречала на пороге.
Тебе благоприятствовали боги,
Ты перешел порог моей тюрьмы.

Едва освоившись в моем чертоге,
«Как Сафо, вас перелагаем мы»,
Сказал, и руки были напряженно строги,
Глаза опущены, уста немы.

Ты произнес на русском языке
Слова, во сне услышанные дважды,
И это было утоленьем жажды,
А я была ещё в немой тоске.

Я знала всё, что после совершится,
Но не могла навек с тобой проститься.

Впрочем, даже если это подделка, то: а) остроумная; б) сделана человеком, который имел допуск к ахматовским черновым наброскам: первая строка «О! Из какой великолепной тьмы…» достоверно ахматовская; в) некто неизвестный знал об Анне Андреевне очень многое, и в частности то, что выражение рук было для нее ничуть не менее *значно,* чем выражение глаз. И неподвижно строгие, то есть невыразительные, руки – деталь более чем красноречивая. Замечу кстати, что имаж «выражение рук» принадлежит не мне, а Г.Л.Козловской. Вот что пишет она о руках Анны Ахматовой: «Ее руке характерен не жест, а, я бы сказала, выражение. Его чуть заметил Модильяни на ее портрете. Три полусогнутых от мизинца пальца, чуть поднятый указательный и слегка опущенный большой. И в спокойном состоянии, и в разговоре руки в движении были красноречивы, ахматовски прелестны и неповторимы. Это были удивительные руки!»

27 декабря 1965 года «Поэме без героя» исполнялось 25 лет. К этому серебряному юбилею Анна Андреевна Ахматова сообразила для своих друзей, тех, кто не предал и не забыл, небольшое домашнее празднество. Естественно, воображаемое. Как бы ими для нее озвученное и оформленное. Жанр этого «проекта» определить не берусь, поэтому лучше процитирую:

Триптих
Поэма без Героя
(Юбилейное издание)
1940–1965
С предисловием Анатолия Наймана.
Музыкой Артура Лурье и Алексея Козловского.
Оформление: Борис Анреп, Натан Альтман, Дмитрий Бушен.
Историко-архивная справка о Фонтанном Доме Анны

Каминской.

Ленинград, Ташкент, Москва.

Как видим, закордонные гости – ни художник Чапский, ни блистательный говорун Исайя Берлин – приглашения на участие в юбилее «Поэмы…» не получили.

Сосредоточившись ради классического триединства – места, времени и действия – на романтических обстоятельствах, связанных с личностью Алексея Козловского, я, конечно же, сузила пространство забот и тревог Анны Ахматовой в период ее ташкентского бытования. Самой потаенной, но и самой мучительной была тревога за сына. Ее друзья и знакомые: Корней Чуковский, Павел Антокольский, Виктор Шкловский – один за другим получили похоронки на своих мальчишек. В сравнении с этой трагедией ее собственные страхи за Левушку, когда перерывы между открытками из мест отдаленных становились бесконечно долгими (в 1943-м А.А. не получала от сына ни единого слова целых семь месяцев), были, мягко говоря, преувеличенными. Разделить столь обыкновенную беду можно было лишь с теми из приятельниц, у кого не было ни мужей призывного возраста, ни сыновей. В промежутках между весточками из Норильска на Ахматову наваливались и болезни, причем такие, какие почему-то обходили людей ее непосредственного окружения: тиф, ангина, скарлатина…

Очень долго не получала она известий и от оставшегося в Ленинграде Гаршина. О том, что он пережил блокадную зиму, узнала лишь из письма И.Н.Томашевской (Томашевских, как и Пуниных, вывезли из Ленинграда в феврале 1942 г.). Вестей же от него самого все не было и не было; без отклика остались и ее телеграммы, «множество телеграмм». Ответ на них пришел лишь в июле. Еще раньше, когда ташкентцы собирали продуктовые посылки для ленинградских друзей, Анна Андреевна приняла участие в этой акции. Подарок, как сообщала телеграмма от Гаршина, дошел до адресата в целости и сохранности. Запись об этом событии в дневнике Л.К.Чуковской датирована 9-11 июля 1942 года. В те же июльские дни Надежда Яковлевна Мандельштам пишет своему другу Б.С.Кузину: «Анна Андреевна – неузнаваема – так молода и хороша. Много стихов. Скоро выйдет книга. Стихи горькие и прекрасные».

Эйфория длилась недолго: в августе и Гаршин, и Левушка снова замолчали, книгу вычеркнули из плана, и Анна занемогла. Подозревали «брюшняк». Диагноз оказался ложным, и к сентябрю, получив наконец-то письмо от Гаршина, Анна Андреевна снова ожила и опять похорошела. Ложной оказалась и тревога за судьбу

книги: в начале октября сборничек все-таки втиснули в план. Однако и на этот раз промежуток между бедами оказался коротким. 20 октября 1942 года Ахматова получила от Гаршина телеграфное сообщение о смерти его жены, и ее тут же подкараулил недуг, на этот раз почти смертельный: тиф. Удивив врачей, она все-таки выжила и в начале января 1943 года вернулась в свой «муравейник». И сразу посыпались радости: груды телеграмм и писем от Гаршина, и даже большое, подробное, бодрое письмо от Левы – первое настоящее письмо с начала войны. И главное, и главное: 18 января 1943 года наконец-то прорвана блокада Ленинграда! Анна Андреевна немедленно, с первой же подвернувшейся оказией, переслала Гаршину рукопись ташкентского варианта «Поэмы без героя», над которой продолжала работать все это время, пользуясь краткими интервалами между «ударами судьбы». Добрый приятель и коллега Владимира Георгиевича В.П.Михайлов пишет в своих воспоминаниях, что весной 1943 года Гаршин разрешил ему сделать копию с «Поэмы без героя» и что к лету 1943-го он, всю зиму после смерти жены находившийся на грани смерти от алиментарной дистрофии, физически несколько окреп. Однако, судя по свидетельствам более наблюдательных коллег, «это был уже не тот Гаршин, что до войны или даже в начале войны. Он был сломленный, точнее, по-видимому, психически надломленный». Могла ли заметить этот надлом Анна Андреевна, сказать трудно. Свою переписку с дорогим другом Володей она, как известно, уничтожила. Скорее всего не заметила. И его явно неуместное, в ситуации 1943 года, предложение руки и сердца и даже последовавший за ним телеграфный запрос, согласна ли она при регистрации брака взять его фамилию, восприняла не как тревожный симптом, не как знак душевной смуты, а всерьез. Настолько всерьез, что, заводя речь о Гаршине, стала именовать его не иначе, как «мой муж». И если бы только подругам так говорила! В амплуа мужа он фигурировал и в ее разговорах с Пуниным, когда тот приезжал в Ташкент из Самарканда. Даже мечтания Гаршина о новой квартире, в которой они якобы будут жить, когда она вернется в Ленинград, не насторожили. Не усомнилась, что ведомственный дом от ВИЭМа, в котором профессору обещана квартира, существовал только в проекте, причем весьма отдаленном. Какое строительство, если для того, чтобы вставить стекла в уцелевших домах, «раздевали» портреты деятелей культуры, развешанные по стенам Публичной библиотеки! Анну Андреевну словно бы покинули и ее фирменный насмешливый ум, и ее врожденный здравый смысл, и даже благоприобретенная привычка сомневаться решительно во

всем. Не исключено, кстати, что временная потеря ориентации была не чем иным, как осложнением после тифа, не замеченным ни местными врачами, ни подругами, ни самой Анной Андреевной. Она, к примеру, охотно сообщал а (всему свету и не по секрету), что ждет от Гаршина вызова в Ленинград, хотя прекрасно знала, что об этом по инициативе все той же заботницы, Ольги Берггольц, ходатайствует Союз писателей, а лично у Владимира Георгиевича такой возможности нет и быть не может.

В конце концов, не дождавшись нужных бумаг, Анна Андреевна решает ехать в Москву и уже там дожидаться разрешения на въезд в Ленинград (с весны 1944-го чрезвычайных хлопот московский вызов уже не требовал, во всяком случае, для тех, кто уезжал в эвакуацию из столицы).

13 мая 1944 года ее на аэродроме случайно встретила Маргарита Алигер. Вместе с Маргаритой Иосифовной в октябре 1941-го Ахматова плыла до Чистополя в одной каюте. В мае 1944-го Алигер еле узнала свою спутницу: «Она была оживленная, преображенная, молодая и прекрасная… Больше я никогда не видела ее такой откровенно счастливой».

Что почувствовал, о чем подумал и к какому решению пришел восемнадцать дней спустя Владимир Георгиевич, когда «оживленная, преображенная, молодая и прекрасная» Ахматова ступила на выщербленный перрон Московского вокзала? Об этом профессор Гаршин не поведал ни своему дневнику, ни ближайшим друзьям, даже Михайлову, с которым еще несколько месяцев назад покупал для Анны Андреевны и чайные чашки, и теплое одеяло. Что касается фактов в рассуждении дальнейшего, то они практически общеизвестны. Но я все-таки напомню некоторые, надеясь, что в моем освещении, при самой незначительной перемене ракурса, в них проявятся не замеченные ранее смысловые оттенки.

Встретив Ахматову, «жених» церемонно поцеловал ей руку и сразу же спросил, куда ее отвезти. Что ответила «невеста», неизвестно, но ответила, видимо, что-то такое, после чего ему не оставалось ничего другого, как повернуться и уйти. К счастью, в поезде Ахматова ехала не одна. Попутчики, найдя левую машину, доставили Анну Андреевну в тот единственный в Питере дом, про который она знала, что там ее непременно примут, и где она, по причине просторности некогда богатой квартиры, не будет стеснять хозяев, – к вдове и дочери своего давнего знакомца А.И.Рыбакова, известного в городе удачливого юриста с обширной частной практикой и еще более удачливого коллекционера.

У осиротевших Рыбаковых Анна Андреевна прожила почти до

конца августа. По свидетельству Ирины Николаевны Пуниной, она даже надеялась, что ее там и пропишут на постоянное жительство, – по-видимому, хозяева побаивались «уплотнения». Надежда не оправдалась, поскольку жилец, занявший ее собственную комнату на Фонтанке, незадолго до возвращения хозяйки умер.

Пока Ахматовой не перевели из Ташкента «лимитную книжку» и пенсионное обеспечение, Гаршин являлся ежедневно, принося в судках еду из ведомственной столовой. Недели две Анна Андреевна смиренно принимала посильную помощь, не делая попыток выяснить отношения, думая, что Владимир Георгиевич сам заведет разговор. Но Гаршин молчал. И Анна Андреевна не выдержала. Задала-таки вопрос, какой на ее месте задала бы любая обыкновенная женщина: да понимает ли он, что поставил ее в нелепое, унизительное положение! Ее, Ахматову! Пробормотав нечто невразумительное, дескать, их отношения к ее великому имени никакого касательства не имеют, и получив в ответ взрыв ярости, Гаршин удалился. Молча, не попрощавшись с хозяйками. Ольга Рыбакова утверждает, что после этой безобразной сцены Владимир Георгиевич и Анна Андреевна никогда не виделись, что она в тот же день навсегда вычеркнула его из своей жизни. На самом деле это далеко не так, даже если сбросить со счетов ходивший по ВИЭМу слух: Ахматова-де приходила к Гаршину на работу, и вроде бы не один раз. Вообще слухи ходили разные – от самых нелепых (Гаршину-де во сне, накануне приезда А.А., явилась покойная жена и запретила жениться на Ахматовой) до вполне правдоподобных. Шепотком, по цепочке – запомни и передай соседу – говорилось, что Гаршин во время блокады продолжал свою коллекционерскую деятельность. Приходил, мол, даже к умирающим сестрам Данько за какой-то коллекционной вещью, которую приметил еще до войны, и что именно этого Ахматова ему не простила. Сестер Данько, и Наталью и Елену, А.А. любила, любила и сделанную Наташей фарфоровую фигурку, находя в ней куда больше сходства с собой, чем в знаменитой работе Альтмана. О том, что обе умерли весной сорок второго – Елена по дороге через Ладогу, а Наташа чуть позже, уже в больнице, – она узнала, только приехав в Ленинград. Ее и прежде, в их лучшие годы, пугал хищный, алчный огонек, загоравшийся в глазу «помощного зверя», когда в нем просыпался злой дух коллекционерства. Впервые Анна увидела этот неприятный *огнь,* когда Гаршин, чуть ли не впервые придя на Фонтанку, не отступился, пока Ирина Пунина не отдала ему доставшуюся ей от бабушки коллекцию старинных монет. И когда Лидия Яковлевна Рыбакова рассказала

об обстоятельствах смерти жены Гаршина,[71] заглянула куда-то в себя и усмехнулась. Криво, жестко, бесслезно:

– Да как он мог Татьяну Владимировну отпустить за какой-то капусткой, зная о состоянии ее сердца? И что за капустка гнила у них там, дома, если они давно уже жили при больнице? За коллекцию свою беспокоился! За ту часть, что еще не успел перевезти! К себе под бочок. Он ведь и от эвакуации отказался из страха остаться без своего антикварного барахла! И он понял, что я об этом догадываюсь, и не возражайте, Лидия Яковлевна, не защищайте, – понял. Потому и терзается, что виноват, и Татьяну-покойницу во сне видит…

Словом, к концу июня 1944 года Анна Андреевна вполне отдавала себе отчет в том, что ее упования на другую, не одинокую жизнь безнадежны. Умный ее ум, очнувшийся от тифозной мороки, снова, как встарь, наводил на жесткую резкость лица и положения. И все-таки, и все-таки «глупое сердце» не переставало надеяться. На что? *На чудо в Июле!*

Но прежде чем рассекретить и эту тайну тайн, то есть доказать, что и на сей раз А.А. «скрыла сердце» («словно бросила в Неву»), нам придется, слегка изменив формат повествования, позволить себе чуточку занимательной текстологии.

В 1959 году, когда Ахматову наконец-то стали полегоньку-потихоньку публиковать и замаячила надежда на издание полноценного сборника, перерыв черновики, она сконструировала два текста, якобы посвященные Вольдемару Шилейко. Причем поначалу, как утверждают комментаторы, хотела их «слить в одно», но потом отказалась от этого намерения. Получилось вот что:

Опять подошли «незабвенные даты»,
И нет среди них ни одной не проклятой.

Но самой проклятой восходит заря…
Я знаю: колотится сердце не зря —

От звонкой минуты пред бурей морскою
Оно наливается мутной тоскою.

И даже сегодняшний ветреный день
Преступно хранит прошлогоднюю тень,

Как тихий, но явственный стук из подполья,
И сердце на стук отзывается болью.

Я все заплатила до капли, до дна,
Я буду свободна, я буду одна.

На прошлом я черный поставила крест,
Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест,

Что ломятся в комнату липы и клены,
Гудит и бесчинствует табор зеленый.

И к брюху мостов подступает вода? —
И все как тогда, и все как тогда.

Все ясно – кончается злая неволя,
Сейчас я пройду через Марсово поле,

А в Мраморном крайнее пусто окно,
Там пью я с тобой ледяное вино,

И там попрощаюсь с тобою навек.
Мудрец и безумец – дурной человек.

Лето 1944–1945. 21 июля 1959
Ленинград

Летний сад

Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой.
А я их под невскою помню водой.

В душистой тени между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника.

И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.

И шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.

Там шепчутся белые ночи мои
О чьей-то высокой и тайной любви.

И все перламутром и яшмой горит,
Но света источник таинственно скрыт.

9 июля 1959
Ленинград

Июль 1959 года Ахматова, как видно из датировки процитированных текстов, прожила в Комарове, изредка по делам наезжая в Ленинград. В середине августа переехала в Москву, взбудораженную слухами о злоключениях и «Доктора Живаго», и его автора. Не добившись от супруги Бориса Леонидовича приглашения в гости, она все-таки увиделась с ним – как оказалось, в последний раз.

21 августа на переделкинской даче Ивановы праздновали день рождения своего младшего сына Вячеслава. Среди званых и избранных оказалась и Анна Андреевна. Пастернак был в ударе – много и удачно читал. Решив «перепастерначить» Бориса Леонидовича, Ахматова не придумала ничего лучшего, как продекламировать только что написанный «Летний сад». Будь Пастернак здрав и спокоен, наверняка отделался бы необязательной галантностью. Но он был уже тяжко болен, измотан, взвинчен и позволил себе суждение нелицеприятное. Гости смутились. Анна Андреевна застыла в позе оскорбленной гордыни. Между тем Борисик – так иногда, в доброту дней, называла его Ахматова – был совершенно прав. Не рассуждая, он мигом почувствовал и психологическую, и фактическую, и эстетическую недостаточность услышанного: последние (два) двустишия, яшмово-перламутровые, в смеси с высокой и тайной любовью, были не просто банальны – они были оскорбительно профанны. Анна Андреевна, как сама признавалась, в только что написанных, свежих своих вещах ничего не понимала. Ей, видимо, казалось, что и на сей раз она удачно и изобретательно скрыла все, что ей хотелось скрыть. Скрыла, что, отрезав от «Летнего сада», посвященного прощанию с Шилейко, три двустишия, перенесла их в стихи, обращенные к Гаршину. Начатые летом 1944-го, оконченные через год, а в июле 1959-го перелицованные. Подрезанный «Летний сад» выглядел куцым, и А.А. на скорую руку «присобачила» к остатку ту самую гламурную концовку, которая слащавой своей красивостью возмутила

Пастернака. Но все становится на свое место, если читать стихи в том виде, в котором они соответствуют правде чувств и обстоятельств – и двух послевоенных июлей, и Июлю 1959-го. Допускаю, что эта гипотеза возмутит правоверных «ахматовцев», но, так как она восстанавливает эстетическую состоятельность одного из подлинных шедевров русской любовной лирики, я, хотя и не без колебаний, решаюсь ее обнародовать.

Сначала, как уже повелось, прочитаем сами тексты – как я их вижу, – а потом приведу несколько аргументов в защиту своей дерзости.

Текст первый (июль 1944– июль 1945):

Опять подошли «незабвенные даты»,
И нет среди них ни одной не проклятой.

Но самой проклятой восходит заря…
Я знаю: колотится сердце не зря —

От звонкой минуты пред бурей морскою
Оно наливается мутной тоскою.

И даже сегодняшний ветреный день
Преступно хранит прошлогоднюю тень,

Как тихий, но явственный стук из подполья,
И сердце на стук отзывается болью.

Я все заплатила до капли, до дна,
Я буду свободна, я буду одна.

На прошлом я черный поставила крест,
Чего же ты хочешь, товарищ зюйд-вест,

Что ломятся в комнату липы и клены,
Гудит и бесчинствует табор зеленый.

И к брюху мостов подступает вода? —
И все как тогда, и все как тогда.

Текст второй (июль 1959):

Летний сад

Я к розам хочу, в тот единственный сад,
Где лучшая в мире стоит из оград,

Где статуи помнят меня молодой,
А я их под невскою помню водой.

В душистой тени между царственных лип
Мне мачт корабельных мерещится скрип.

И лебедь, как прежде, плывет сквозь века,
Любуясь красой своего двойника.

И замертво спят сотни тысяч шагов
Врагов и друзей, друзей и врагов.

И шествию теней не видно конца
От вазы гранитной до двери дворца.

Все ясно – кончается злая неволя,
Сейчас я пройду через Марсово поле…

А в Мраморном крайнее пусто окно,
Там пью я с тобой ледяное вино,

И там попрощаюсь с тобою навек,
Мудрец и безумец – дурной человек.

Не правда ли, стихи обрели психологическую убедительность? Да и топологическую тоже, равно как и единство времени, места и действия. Лирическая героиня в июле 1959 года идет от Летнего сада к Мраморному дворцу, где когда-то жила с Вольдемаром Казимировичем, отыскивает глазами свое окно и наконец-то, спустя почти тридцать лет со дня смерти своего мучителя, находит-таки формулу, в которую, как в прокрустово ложе, втискивает свое второе «матримониальное несчастье»: «Мудрец и безумец – дурной человек».

Избавился от несостыковок и предыдущий текст. Стихи без навязанной им чужой концовки уже не заставляют проницательного читателя задавать недоуменные вопросы типа: если героиня находится внутри помещения, в которое рвется

зеленое буйство лип и кленов, а в городе вот-вот объявят наводнение (ведь «к брюху мостов подступает вода»!), то каким образом и зачем она оказывается посреди Марсова поля? Уж не хочет ли топиться? Больше того, ежели на прошлом уже поставлен черный крест, с какой стати еще раз совершать процедуру почти ритуального прощания с прошлым?

Не забудем и о том, что гипотетическая реконструкция первоначального варианта стихотворения «Опять подошли "незабвенные даты"…» позволяет, на мой взгляд, прояснить и еще одну туманность в биографии Анны Ахматовой. Может быть, и не значительную, но выразительную. В одну из «Записных книжек» (1962 г.) А.А. внесла такую запись: «В Ташкенте я… сочинила пьесу "Энума елиш", которая была сожжена 11 июня 1944 в Фонтанном Доме».

Комментарий на сей счет гласит: «Дата и место уничтожения рукописи вызывает сомнение, поскольку в июне 1944-го А.А. жила не в Фонтанном Доме, а у Рыбаковых на набережной Жореса, а 11 июня участвовала на митинге в г. Пушкине».

Дата и впрямь вызывает сомнение, впрочем, сугубо формальное, ибо Ахматова наверняка всего лишь описалась (написала *июнь*, имея в виду *июль)* и не заметила этого: ее «н» в скорописи часто бывает очень похожим на «л». Зато и число и место указаны точно, ибо акт сожжения, судя по всему, был произведен не где-нибудь, а действительно в Фонтанном Доме, и рукопись сочиненной в Ташкенте драмы отправилась в печь не в гордом одиночестве, а заодно и кстати с перепиской с Гаршиным. За этими письмами, как известно из воспоминаний Ольги Рыбаковой, Ахматова посылала ее мать и свою подругу Лидию Яковлевну домой к Гаршину уже после 11 июня 1944 года. Сжечь их в квартире Рыбаковых она не могла – там было центральное отопление.

Но тут возникает вот какое затруднение. Согласно свидетельству Ирины Пуниной, когда они всей семьей вернулись из эвакуации 19 июля 1944 года, их квартира была опечатана. Пришлось обратиться к управдомше Пересветовой… Казалось бы, этот факт опровергает и утверждение Ахматовой, что рукопись сожжена в Фонтанном Доме, и мое предположение, что символический акт был совершен не 11 июня, а месяц спустя. На самом же деле не опровергает, а подтверждает. За комнаты Пуниных в их отсутствие платил оставшийся в городе отец Марты Голубевой, поэтому они и оставались нетронутыми. За помещение, закрепленное за Ахматовой, не платил никто, поэтому его и заселили. Когда вторичный жилец умер, управдомша их опечатала. Так что же могло помешать ей

распечатать их снова по требованию законной жилицы? А предъявить свои права на осмотр собственной жилплощади Анна Андреевна могла уже в начале июля, когда была восстановлена – официально оформлена – ее прописка по месту прежнего жительства. Товарищ Пересветова была просто обязана показать гражданке Ахматовой А.А. ее помещение – на предмет произведения необходимого ремонта. Помня, какой *незабвенной датой* была для Ахматовой ночь с 9 на 10 июля, допустимо, по-моему, предположить, что до этого срока она еще и ждала, и надеялась, что Гаршин опомнится, – недаром же, вернув Рыбаковой ее письма, он не отдал фарфоровую статуэтку-фигурку Ахматовой работы Наташи Данько.

Гаршин *незабвенную дату* проигнорировал. У него, и как раз в эти памятные для Ахматовой дни, были иные заботы и иной вариант устройства личной жизни. Но Анна Андреевна, видимо, не могла в это поверить. Ирина Пунина вспоминает: «Мы шли пешком от вокзала в Фонтанный Дом. Неожиданно на набережной Фонтанки увидели Анну Андреевну с букетиком цветов. Она не могла знать времени нашего приезда».

Как объяснила А.А. свое появление на Фонтанке 19 июля 1944 года, Ирина Николаевна не запомнила, вот только на сей раз «ведьмячество» Акумы было наверняка ни при чем. Скорее всего Анна Андреевна надеялась, что Гаршин, возвращаясь с работы, свернет налево с Аничкова моста. Свернет и увидит ее – с цветиками в руке!

Но не слишком ли я отступаю от истины? Как-никак нашей героине только что стукнуло пятьдесят пять! Увы, не слишком. Вот что пишет на сей счет Игнатий Ивановский, поэт, переводчик, *ученый малый* и ученик Михаила Леонидовича Лозинского, «плотно» общавшийся с Ахматовой десятилетием позже:

«В колдовском котле постоянно кипело зелье из предчувствий, совпадений, собственных примет, роковых случайностей, тайных дат, невстреч, трехсотлетних пустяков. Котел был скрыт от читателей. Но если бы он не кипел вечно, разве могла бы Ахматова в любую минуту зачерпнуть оттуда, вложить неожиданную поэтическую силу в самую незначительную деталь? Лучше всего об этом сказано в ее стихах:

> Когда б вы знали, из какого сора
> Растут стихи, не ведая стыда…
>
> Примет было много…»

Ну, ладно, согласится иронический читатель, колдунья так

колдунья, котел так котел, зелье так зелье. Но Владимир Георгиевич, врач, патологоанатом. Мог ли такой серьезный человек играть в столь затейливые «криптограммы»? Очень даже мог. Его вторая жена Капитолина Григорьевна Волкова вспоминает:

«31 июля 1944 года у директора ВИЭМа… было совещание. Владимир Георгиевич сидел рядом с ним за председательским столом, а мы, сотрудники, на своих обычных местах… Перед концом заседания Владимир Георгиевич прислал мне записку. Он нередко присылал такие записки: то с каким-то деловым замечанием, то жаловался на головную боль и просил выйти вместе с ним на воздух… Но на этот раз записка была другого содержания, в стихах. Вот они:

Я очень скромный человек,
Нужна мне только чуточка,
Но уж зато нужна навек,
На век, не на минуточку.

Я быстро расшифровала слово «чуточка» (Капочка-капелька-чуточка)… Владимир Георгиевич смотрел в это время на меня и, увидев по моему лицу, что я поняла, сделал знак, чтобы я вышла из кабинета. Он вышел вслед за мной. Мы поехали на могилу Татьяны Владимировны, и тут Владимир Георгиевич рассказал мне, что когда Татьяна Владимировна серьезно заболела и заговорила о смерти, она сказала Владимиру Георгиевичу: «Если я умру, женись на Капитолише (так она называла меня за глаза), она тебе хорошей женой будет»».

Анна Ахматова так никогда не узнала, что *ее Володя* предал ее в самый последний день их месяца – Июля. Не узнала она и о том, что женщина, которую «взял с собой» в марте 1917-го Борис Анреп, тоже была Волкова. Вдобавок к однофамильству соперницы Ахматовой, Капочка и Маруся Волковы, были невероятно похожи, ну прямо горошинки из одного стручка. Во всяком случае, на молодых фотографиях. Профессиональный художник, которому я их фотопортреты показала, глянув, обознался: одно и то же лицо, только сфотографированное в разные годы и при разном освещении.

Но как же нам с вами повезло, что Анна Ахматова ничего этого не узнала! Иначе в ее лирике появилось бы куда больше искореженных строк и строф. Первоначальное посвящение Владимиру Гаршину «Поэмы без героя» оказалось бы совсем иным. А оно, на наше счастье, осталось прежним, навсегда связанным с солнечным Июлем, Июлем с большой буквы. Эта

удивительная поэма, как известно из ахматовской же прозы о ней, явилась к Анне Андреевне в самом конце 1940 года, но, явившись, заявила:

Вовсе нет у меня родословной,
Кроме солнечной и баснословной,
И привел меня сам Июль.

Переписав после разрыва с Гаршиным лирическое отступление с посвящением «Городу и Другу», этой строфы Ахматова не тронула даже в последней, итоговой редакции. И никогда и никому не то что не объяснила, но и не намекнула, откуда же взялась у трагической зимней гостьи солнечная и баснословная родословная.

После разрыва с «помощным зверем» Ахматова вообще так засекретила свои *думы* о нем, что никто из комментаторов не догадался, что Гаршину посвящено оставленное в черновиках четверостишие, написанное в августе 1946-го:

Дорогою ценой и нежданной
Я узнала, что помнишь и ждешь,
А быть может, и место найдешь
Ты – могилы моей безымянной.

Цена, которую Гаршин заплатил за никогда при их жизни не публиковавшиеся стихи, и впрямь была дорогой. Одна из младших коллег профессора вспоминает: «Он был какой-то удивительно порядочный человек. После этого знаменитого постановления сорок шестого года у нас было собрание преподавательского состава. Я была в то время аспиранткой, но почему-то нас тоже пригласили на это собрание. И мы должны были проклинать, предавать анафеме. Все молчали. Опустив глаза, абсолютно все молчали. Выступил только Владимир Георгиевич Гаршин. Он сказал: „Я был другом Анны Андреевны, я остаюсь ее другом, и я буду ее другом“. Это я слышала собственными ушами».

Но вернемся в лето 1944-го.

Переждав август, козней которого она с юности остерегалась, в первых числах сентября Анна Андреевна перебралась-таки с набережной Жореса на Фонтанку. К той поре на ее половине с помощью Ольги Берггольц был сделан косметический ремонт и даже вставлены оконные стекла. У Пуниных столь энергичных

помощников не было, и побеленная синькой с мелом комната Акумы стала как бы общесемейной. Связующим звеном и ангелом общего места была Малайка, осиротевшая дочка Ирины Николаевны. Давно мечтавшая о внуках и вообще любившая детей в возрасте гениальности – от трех до пяти, Анна Андреевна привязалась к ней и не изменила этой привязанности до конца жизни. Николай Николаевич, у которого после смерти жены и осложнившихся в войну отношений с Мартой Голубевой, тоже, кстати, овдовевшей, иссякла воля к жизни, складывающемуся порядку не сопротивлялся: тропа, мол, умнее нас. Не сопротивлялась и Анна Андреевна: поживем – увидим. Как-никак, а это была ее семья, единственный в ее нелепой и злой судьбе семейный очаг. Странный, предосудительный, с вечно засорявшимся и чадившим дымоходом, но очаг. 25 сентября 1944 года, в двадцать вторую годовщину горестного союза, в память об их первой весенней небывалой осени 1922 года она даже сделала Николаю Николаевичу такой подарок:

И как всегда бывает в дни разрыва,
К нам постучался призрак первых дней,
И ворвалась серебряная ива
Седым великолепием ветвей.

Нам, исступленным, горьким и надменным,
Не смеющим глаза поднять с земли,
Запела птица голосом блаженным
О том, как мы друг друга берегли.

В течение пятнадцати лет, когда и сила, и удача были на его стороне, Николай Николаевич старался беречь Анну Андреевну – как мог, как умел, но старался. Теперь положение изменилось. Не только сам Пунин, но и Ирина, и Малайка никак не могут оправиться от последствий блокадной дистрофии. Из четверых населенцев квартиры номер 44 Ахматова была теперь самой сильной и даже, на удивление, самой здоровой. Казалось бы, пришла пора взять на себя хотя бы часть общесемейных забот, но Анна Андреевна по-прежнему уклоняется. Больше того, той же осенью, как свидетельствует пунинский дневник, «благодаря благосклонному в то время отношению властей», выхлопотала для себя, в придачу к уже имевшейся, еще одну комнату. Ту, что до войны занимала семья Жени Смирнова, сына старой, еще с допрежних времен, прислуги Пуниных. Пунин не возражал, понимая, что, если, дай бог, вернется Лев Николаевич Гумилев, жить с ним в одной комнате Анна не сможет. И все-таки элемент

горечи чувствуется даже в этой лаконичной фразе. Горечи и удивления, ибо Ахматову и впрямь ласкает власть! И она, Ноченька, Олень, Затворница, которую в годы совместной их жизни невозможно было вытащить «в люди», просто купается в омолаживающих волнах успеха! Словно царица Савская в молоке белых ослиц!

Успех и правда с каждым часом молодил Анну Андреевну. Одна из ее юных поклонниц, познакомившаяся с ней еще в 1920-м, случайно оказавшись на вечере (22 июня 1944 г.), на котором выступали блокадные и фронтовые поэты, была поражена ее теперешней внешностью: «На днях у нас в Доме писателей был устроен "Устный альманах"… Среди всех, как солнце среди звезд, выделялась Анна Андреевна. Вот кто изумительно похорошел за эти годы! Глаз не оторвать!»

Не мог оторвать глаз и Николай Николаевич, когда за полночь, открыв Анне дверь, – ключи она либо теряла, либо забывала, – помогал скинуть нищенское пальтишко. С досадой пристраивал ветхую одеву на столь же ветхую, замотанную бинтом вешалку и, мысленно оглядывая прожитую жизнь, сокрушался: красивые платья у Ан все-таки случались, туфельки тоже, а вот приличной верхней одежды никогда не было. Но еще больше пугало его это родное и чужое вместе лицо утром следующего дня – мертвое, желтое, безразличное. Если случалось заполучить кофе, Пунин прятал его в письменном столе, чтобы Ирка ненароком не извела на подружек. Если в доме был кофе, а ему не надо было спешить на работу, можно было, как встарь, по-кошачьи поцарапавшись в дверь, промяукать, шуткуя, над изголовьем: кофе в койку не желаете ли? Лицо оживало, мягчело, добрело, но это было совсем не то лицо, с каким Анна Андреевна возвращалась после своих жалких, да-да, жалких триумфов. Однако она вовсе не считала их жалкими. И тут было что-то, чего Пунин не понимал. Неудобное, как сердечная боль, чувство было чем-то сродни тому ужасу, который он испытал давно-давно, когда Анна впервые прочитала ему те непонятные стихи: «Дьявол не выдал, мне все удалось, вот и могущества тайные знаки»… С каким дьяволом и во что она играет теперь? Тогда он люто, до потери достоинства ревновал, нынче ревности не было. Он только по привычке фиксировал очевидные знаки ее якобы могущества:

Декабрь 1944: 12.12. Договор с Гослитиздатом на издание сборника стихотворений.

21.12. Введена в Правление Ленинградского отделения СП СССР.

В конце месяца. Творческий вечер в клубе ССП.

Март 1945: Медаль «За оборону Ленинграда».

Апрель 1945: Персональная, пожизненно, пенсия. 400 руб. в месяц. Это больше того, что Пунин может заработать, даже если здоровье позволит ему совместительство.

3 мая 1945. Президиум Пушкинской комиссии уведомляет А.А.Ахматову, что она избрана членом сей высокой комиссии. В этом качестве в день рождения Пушкина 6 июня 1945 года она на торжественном заседании в Пушкинском Доме.

9 мая 1945. На банкете в честь Дня Победы А.А. отводят место рядом с самим Александром Прокофьевым.

20 мая 1945. «Правда» опубликовала стихотворение А.А.Ахматовой «Победа».

А призрак прежних дней, вдруг объявившийся в лапах новогодней елки, принесенной Анне кем-то неизвестным в офицерской шинели, вместе с осыпавшейся хвоей как-то незаметно то ли забился в щель, то ли незаметно отлетел. Уже в феврале 1945-го Пунин с горечью констатирует: «Ссоримся с Аней (Акумой) по бытовым вопросам: трудный человек; я не в силах обслуживать взрослого человека как ребенка».

И все-таки до возвращения Льва Николаевича с фронта еще можно было предполагать, что *призрак прежних дней,* в течение этого года нет-нет да объявлявшийся в Фонтанном Доме, – не что иное, как знак того, что и Пунину, и Ахматовой вместе выживать и вместе стареть.

С возвращением Льва Гумилева этот фантом напрочь исчез, и, когда в августе 1953-го на мгновение вернулся, Николая Николаевича Пунина уже не было в живых.

Катастрофа сорок шестого года

В письме из Самарканда – оно уже упоминалось в нашем повествовании – Пунин признался, что «виноват перед Левой». Его внучка, комментируя эту фразу, утверждает: вина деда состояла в том, что в 1929 году, когда Льву исполнилось семнадцать, Николай Николаевич настоял на его переезде из Бежецка в Ленинград. Дескать, затерявшись в глуши, Лев Гумилев не попал бы в поле зрения ОГПУ. Это утверждение решительно не отвечает правде жизни. Пунин вовсе не жаждал заиметь еще одного иждивенца. Он лишь уступил желанию Анны Андреевны, которая понимала, что сыну надо учиться всерьез. Уступил скрепя сердце. Сопротивление было чревато разрывом, а в 1929-м Николай Николаевич жизни без Анна не представлял. Правда, когда переезд совершился, все-таки уговорил брата, директора одной из ленинградских школ, взять Льва к себе, в выпускной класс.

Постоянно на Фонтанке Гумилев не квартировал. То уезжал в экспедицию на целое лето, то подселялся к кому-нибудь из товарищей. И все-таки основным местом его жительства был закуток с сундуком вместо кровати в коридоре пунинской квартиры. Почти через тридцать лет, по возвращении из второй каторжной «норы», в письме к любимой женщине Лев Николаевич слепнет от ярости, характеризуя отношения с жильцами квартиры номер 44: «Иру я знаю как облупленную… Мы с ней, действительно, как брат и сестра, вроде царя Петра и царевны Софьи. Я не рассказывал тебе о тех годах, которые я прожил, будучи зависим (материально и квартирно) от папаши (Пунина)… Морду надо бы набить прохвосту, а Ирка еще черствее. Она любит маму, как пьявка любит лягушку, к которой она присосалась, и заботится о ней только потому, что у мамы много денег. Помнишь, как мама болела в 49-м году? Где тогда была Ира? А меня она всегда терпеть не могла… Меня всегда отшибали к чертовой матери…»

Гумилев, как водится, преувеличивает. К *черту* его не *отшибали*, его терпели, но ничего иного предложить сыну Анна Андреевна не могла. Своих денег, кроме пенсионных грошей, у нее не было, а от Пуниных она зависела не только *квартирно и материально,* но и морально. Они имели полное право считать, что *кукушка* не только оттяпала половину их гнезда, но и навязала им своего *кукушонка.* В 1945-м ситуация переменилась. У А.А. был свой лицевой счет, две отдельные комнаты, большая персональная пенсия (400 рублей – это четыре оклада

неостепененного младшего научного работника). При такой раскладке были основания предполагать, что возвращение сына не разрушит хрупкий мир, наладившийся между ней и Николаем Николаевичем. Я уже цитировала запись в дневнике Пунина, сделанную через два дня после появления Льва. Напомню этот текст: «Приехал с фронта Лева Гумилев. Акума пришла в страшное возбуждение, бегала по всей квартире и плакала громко». *Страшное возбуждение* и слезы бесслезной А.А. – что это, как не взрыв тщательно скрываемого напряжения, в котором она находилась, с тех пор как сын в декабре 1944-го «проследовал» через Москву на Запад – в действующую армию? Друзья Ахматовой, отыскавшие его эшелон, успели выяснить обстановку. В Норильске позарез нужны были рабочие руки, и Гумилева, у которого кончился «каторжный срок» в марте 1943-го, охотно задержали бы в Заполярье, в «вольняшках». Но он то ли заставил, то ли уговорил гражданина начальника отпустить его на фронт. Узнав об этом, Анна Андреевна замерла: началась самая страшная из пыток – пытка надеждой. Надеждой на то, что с Левой не случится того, что случилось с сыном Марины Цветаевой, погибшим чуть ли не в первом бою, уже на исходе войны.

Надежда не обманула. Левина бабка, ахматовская свекровь, в который раз оказалась права: Гумилевых вражьи пули не брали. Левушка вернулся. Невредимый. Если не считать перебитого носа, сделавшего его профиль слегка похожим на материнский. И не из лагеря возвратился, из поверженного Берлина. С медалью «За победу над Германией». В военной одеве и в солдатской обувке. Но как только возбуждение улеглось и глаза просохли от непривычных слез, Анна Андреевна запеленговала взгляд сына, направленный на вошедшего в комнату Пунина. Во взгляде было столько ненависти, неизбывной, неизлечимой, что стало яснее ясного: мира не будет и ей придется выбирать – либо Пунины, все, включая маленькую Анюту, либо сын. И она выбрала. Сына.

Почти год мать и сын были почти счастливы. Лев экстерном сдал госэкзамены на истфаке и поступил в очную аспирантуру. Теперь они не только не голодали, они зазывали знакомых на настоящий чай. А к чаю прилагались не серые каменные баранки, а что-нибудь вкусно-сладкое, – как и отец, Гумилев-младший вырос сластеной. Наконец-то пригодились чашки, подаренные Гаршиным. Все шесть. Анна Андреевна, угощая, шутливо возмущалась: у тебя, Левка, сервировка лагерная. Возмущалась, хвастая, для вида. Ей нравилось наблюдать, как по-мужски, грубовато, но ловко сын управлялся с их нехитрым хозяйством…

Как и все прочие краткие периоды преуспеяния, и этот,

послевоенный, оказался коротким. Длиной менее года. С ноября 1945-го по август 1946-го. До Постановления Оргбюро ЦК ВКП(б) о журналах «Звезда» и «Ленинград». Константин Симонов утверждает (в постперестроечных мемуарах «Глазами человека моего поколения»), что идея Постановления была спущена сверху; там же, в самых верхах, сформулировали и цель мероприятия, рассчитанного на общесоюзный охват: «Прочно взять в руки немножко выпущенную из рук интеллигенцию, пресечь в ней иллюзии, указать ей на ее место в обществе и напомнить, что задачи, поставленные перед ней, будут формулироваться так же ясно и определенно, как они формулировались и раньше, до войны, во время которой задрали хвосты не только некоторые генералы, но и некоторые интеллигенты, словом, что-то на тему о сверчке и шестке».

Словом, по сведениям К.Симонова, – а его компетенции в данном отношении можно доверять, – в высших эшелонах власти была выработана лишь идея, право же указать (поименно) на особо зарвавшихся интеллигентов предоставили партийному руководству местных творческих союзов. И когда писательской организации Ленинграда предложили назвать зарвавшихся, запрыгнувших не на свои шестки сверчков, литературная общественность (особо обиженная успехом послевоенных выступлений Ахматовой и Зощенко) назвала именно их. Особенно досталось Ахматовой. Просидела тихоней, золушкой, замарашкой, смиренницей целых пятнадцать лет, по *пролетарской улице* не то что по праздникам, в будние дни передвигалась бочком, к стенке жалась, чтобы забыли, не вспомнили, чья она вдова и чья мать, и вдруг вылезла в юпитеры и срывает аплодисменты. И где? В больших аудиториях, собирающих не только интеллигентскую нищую публику, но и сливки советской элиты!

И у Зощенко, и у Ахматовой действительно были преданные и восхищенные читатели, и тайные и явные, даже среди правоверных коммунистов. Это они, ахматовцы, в 1946-м, когда шли ее первые послевоенные выступления, встретили Ахматову стоя – под несмолкающие, целых пятнадцать минут! – аплодисменты. То же самое происходило и с Михаилом Зощенко. Константин Симонов не преувеличивает, когда, описывая их выступления в Москве и Ленинграде, употребляет выражение *головокружительный триумф*. Сама Анна Андреевна, правда, считала, что коренная причина Постановления 1946 года – ее встречи с Исаей Берлиным, которые были замечены органами и квалифицированы как непозволительные контакты с иностранными шпионами. Однако Михаил Зощенко, напарник

Ахматовой по зловещему докладу Жданова, ни тогда, ни позже с подозрительными иностранцами не встречался. Тем не менее и он приговорен к «гражданской смерти». По той же самой статье: как идеологически чуждый элемент. Так что хочешь не хочешь, а возникает предположение, что Ахматова и Зощенко попали в число «задравших хвосты» не за те грехи, какие отыскал в них А.А.Жданов, а совсем за другое – за то, что им досталась вся народная любовь.

О том, что решающую роль в изгнании Ахматовой из СП СССР сыграла именно самодеятельность ее земляков, свидетельствует и фактография ждановского доклада. Услужливо подсунутый Жданову и его референтам обличительный материал – пожелтевшие вырезки из газет и журналов двадцатилетней давности. Набрать более свежий криминал было негде: после 1925 года Ахматова публиковалась с большими перерывами, и то, что все-таки печаталось – тщательно процеженная любовная лирика и стихи военных лет, – ничего предосудительного, даже по самым строгим пролетарским меркам, в себе не содержало. Цель тем не менее была достигнута. Интеллигенция притихла, круг общения А.А. резко сузился. Внезапно, мигом, еще до того как последовали санкции, аннулировавшие предоставленные ей льготы.

Но нет худа без добра. Отменив и персональную пенсию, и писательские пайки,[72] а значит, и гостей, и чаепития, отношений сына и матери август 1946 года не испортил. Даже, кажется, сделал их более теплыми. Из очной, со стипендией, аспирантуры Гумилева, естественно, выставили. Помыкавшись, он устроился библиотекарем при психиатрической больнице. Жалованье было грошовым, а так как ленинградские ревнители социалистической нравственности оставили Ахматову без продовольственных карточек, то почти месяц мать с сыном голодали. Но уже к концу сентября положение поправилось. Когда в столичном литературном ЦК узнали, что ленинградские активисты лишили автора известного всей стране, вошедшего во все хрестоматии стихотворения «Мужество» хлебных и продовольственных карточек, московское начальство слегка растерялось. Ему, и тоже сверху, было настойчиво *порекомендовано* вступить в переговоры с патриотически настроенными эмигрантами (Бунин, Тэффи). А как вести такие переговоры, если Ахматова, которая не уехала, хотя имела такую возможность и даже осудила уехавших как отступников, ныне поставлена вне закона? К тому же и Симонов, и Алексей Сурков, и набирающий административный вес Федин были тайными ахматовцами. Короче, спустя месяц после исключения из Союза

писателей Фадеев, властно обойдя питерских ретивцев, восстановил Ахматову в членах Литфонда СССР. Она снова стала получать пенсию, хотя и не прежнюю, персональную, а главное – рабочую карточку. Лев тоже старался подзаработать, устраиваясь в сезон землекопом в геологоразведочные экспедиции. Теперь не он зависел от матери, а мать от него. Впервые в жизни он был кормильцем и главой семьи. И то, что статус хозяина положения ему льстит, чувствуется даже по добродушно-иронической интонации его воспоминаний: «Денег у нас не хватало. Мама, надо сказать, очень переживала лишение возможности печататься. Она мужественно переносила это, она не жаловалась никому… У нее были жуткие бессонницы, она почти не спала, засыпала только под утро, часов так в семь, когда я собирался уходить на работу. После чего я возвращался, приносил ей еду, кормил ее, а остальное время она читала французские и английские книжки, и даже немецкую одну прочла (хотя она не любила немецкий язык) и читала Горация по-латыни. У нее были исключительные филологические способности. Книги я ей доставал самые разнообразные. Я брал себе книги из библиотеки домой, и когда она кричала: „Принеси что-нибудь почитать“, я давал ей какую-нибудь английскую книгу, например эпос о Гэсере или о Тибете. Или, например, Константина Багрянородного она читала. Вот таким образом все время занимаясь, она очень развилась, расширила свой кругозор. А я, грешным делом, тоже поднаучился».

В 1948 году в их маленькой семье произошло несколько знаменательных событий. Они в сумме давали шанс на перемену участи к лучшему. Во всяком случае, были восприняты именно так. Лев Николаевич, несмотря на чинимые препятствия, блестяще защитив кандидатскую диссертацию и получив работу по специальности, встретил девушку, на которой, ни минуты не сомневаясь, решил жениться. Девушка была так красива и к тому же умна, что Анна Андреевна, впервые не ревнуя, одобрила выбор сына. Она даже растрогалась, узнав, что сын называет свою избранницу Птицей. В лучшие их минуты «такой красивой птицей» называл ее Николай Степанович. Она чуть было не сказала об этом Льву, но вовремя остановилась…

Чуточку распогодилось и в ее жизни. Николай Николаевич, почти год смотревший мимо, – они, даже столкнувшись в коридоре, не здоровались, – после Постановления, проведав, что Анну лишили и пенсии, и продовольственной карточки, сам предложил вести общее хозяйство. Обрадовал и Пастернак: выхлопотал единовременное пособие, целых 3000 рублей, и она после долгого затворничества стала выезжать в Москву, в люди.

К тому же опальная Ахматова не только читала запоем мудреные книги, она еще и перевела, и притом замечательно, невероятно трудный в стилистическом отношении текст – французские, из острога, письма Радищева; продолжила и пушкинские *расследования.* Нина Ольшевская вспоминает: «Замечательно, что в первые месяцы после августовского постановления, подвергшего ее остракизму, Ахматова написала свою лучшую исследовательскую работу „Каменный гость“ Пушкина. Набело переписанная ее рукой статья датирована 20 апреля 1947 г.». Наблюдение Нины Антоновны подтверждают и воспоминания В.Я.Виленкина, неоднократно навещавшего А.А. в эти горькие годы: «Среди книг, как всегда повсюду разбросанных, было много библиотечных – о Моцарте… На мой вопрос, почему у нее сейчас такое скопление „моцартианы“, Анна Андреевна сказала, что… ее с некоторых пор „заинтриговал“ Моцарт, как личность».

23 июня 1949 года Ахматовой исполнилось шестьдесят. Она и эту неприятную во всех отношениях дату развернула оптимистической стороной: никогда, мол, не думала, что задумана так надолго. А что стихи отлетели – ну что ж, и с Пушкиным такое было: *лета к суровой прозе клонят, лета шалунью рифму гонят…*

Словом, хотя биографы Ахматовой и настаивают, без вариантов, что Постановление 1946 года, предавшее ее творчество анафеме, было катастрофой, отнявшей почти десять лет творческой жизни, в реальности оно лишь переменило способ существования и род занятий, не лишив осужденную на «гражданскую смерть» ни воли к творчеству, ни «охоты преодолевать трудности». Много позднее Анна Андреевна скажет о суде и ссылке Иосифа Бродского в ответ на сетования его друзей: «Какую биографию делают нашему рыжему!» И вряд ли эта фраза относится только к Бродскому. Инициированная Ждановым катастрофа *делала* Анне Андреевне славную биографию. Жданов, не подозревая об этом, вмешавшись в ход вещей, исправил чуть было не ставшие необратимыми «оплошки» в узоре ее Судьбы. Если б не этот «наезд», чем бы отличалась ее биография от биографии тех, кому она, власть, поманив пряником, подрезала и крылья, и хвостовое оперенье. Дабы, приручив, приспособить к своим надобностям. Представим альтернативное будущее Анны Ахматовой, на склоне лет возведенной в ранг «живого классика». Дожившая до перестройки Лидия Корнеевна Чуковская опубликовала бы и «Реквием», и «Поэму без героя», и прочие не проходящие прежде в узенькое цензурное ушко потаенные ахматовские тексты. Но прозвучали бы

они так, как прозвучали, если бы их появлению в белодневной печати не предшествовала вошедшая чуть ли не в каждый интеллигентный дом легенда о мученичестве и изгойстве Анны всея Руси?

Впрочем, одной «ждановщины» для сотворения легенды все-таки недостаточно. Напарник Ахматовой по катастрофе 1946 года Михаил Зощенко в герои народной легенды не попал. Не попала бы, предполагаю, и Ахматова, кабы в костер злосчастного Постановления не подбросила хворосту настоящая, нелитературная катастрофа 1949 года – арест сначала Пунина в августе, а затем и Льва Гумилева – в ноябре. А без легенды не было бы ни оксфордского и сицилийского триумфов, так красиво, так стильно завершивших ее *житие.* Но если бы этого не было, что бы тогда было? А были бы вместо оксфордской шапочки с кисточкой, итальянских почестей и комаровской нищенской Будки двухэтажная дача в Переделкине, личный шофер или бесплатные талоны на такси, как у Пастернака, да и у самой А.А. в первый послевоенный год. И все это в придачу к бесконечным переизданиям *Избранного* – той самой рассыпанной после 14 августа книги, сигнальный экземпляр которой А.А. получила в июле 1946-го. А тиражи все бы росли да росли, потихоньку увеличивался бы и объем за счет включения ранних стихотворений…

Чтобы убедиться, что после публикации «Мужества» руководство СП и впрямь *пробовало* Ахматову на роль «живого классика», а потом, после смерти Сталина, вернулось к этой идее, вчитаемся повнимательней в хронику ее жизни и творчества в последнее двадцатилетие.

Уничтоженный августом 1946 года ленинградский сборник был относительно малотиражным. Всего десять тысяч? Капля в бескрайнем море жаждущих, и Москва с нетерпением ждет, когда же запустят в печать уже подготовленное Алексеем Сурковым многотиражное *Избранное* (издательство «Правда», тираж 100 тысяч экземпляров!).

8 марта 1946-го в «Ленинградской правде», в «Правде», а не в «Труде» или «Литгазете», в рубрике «Знатные женщины нашей страны» публикуется ее фотография – та, где Анна Андреевна сфотографирована с внучкой Пунина.

В те же самые месяцы без нее не обходится ни один поэтический вечер что в Москве, что в Питере, и, разумеется, в самых престижных аудиториях: Колонный зал, Дом кино, Коммунистическая аудитория Московского университета, Школа-студия МХАТ и т. д. и т. д.

Лично Александр Фадеев особых чувств к поэзии Ахматовой

не питает. Но, как опытный организатор литературных сил, не может не учитывать, что на страже ее интересов высятся козырные фигуры его ведомства: Алексей Толстой, Константин Федин, Алексей Сурков. Учитывает Фадеев и «положительное» мнение Ильи Эренбурга, к голосу которого прислушивается просоветски настроенная западная интеллигенция. Фадеев и рад бы предложить другую кандидатуру, но таковой нет. В результате Большого террора и Великой войны «строчечный фронт», «как вырубленный, поредел», а фронтовой подлесок не густ и пока еще жидок, каждое крупное, вошедшее в поздний возраст дерево на счету. Не исключаю, что именно этими, а не иными соображениями руководствовалась администрация СП СССР, когда, выждав приличное время и не вступая в открытый конфликт с *высшей властью*, стала исподволь, потихоньку возвращать имя Ахматовой в литературный обиход.

19 января 1951 года, и снова по предложению Фадеева, ей восстановили членство в Союзе писателей. «Красного графа» уже нет в живых, но Алексей Сурков действует. Пока в основном по бытовой части. Регулярно, каждый год, выбивает двойные путевки в лучший в стране кардиологический санаторий в Болшеве, для простых смертных недосягаемый, тем паче в летний сезон. Этот странный секретарь обладает редким для литературного чиновника свойством: он не просто ценит стихи Ахматовой, он их любит. Уже в октябре 1953-го, воспользовавшись смутным, после смерти Сталина и устранения Берия, междуцарствием, договаривается в издательстве «Художественная литература», что там примут к рассмотрению рукопись Анны Ахматовой. Рассмотрение слегка затянется, но переводами ее буквально завалят. Через год, в 1954-м, и тоже по настоянию Москвы, Ленинград вынужден будет делегировать Ахматову А.А. на Второй съезд писателей, обставив сей литакт по высшему разряду: номер в гостинице «Москва», поезд «Красная стрела», мягкий вагон и т. д. И Анна Андреевна не откажется от сомнительной чести. Ей все еще мнилось, что изменение социального статуса может оказать воздействие на тех, от кого зависела судьба Льва Николаевича. А в году следующем, 1955-м, произойдет и вовсе неожиданное. Вне очереди, на зависть жаждущим и хлопочущим, ленинградский Литфонд предоставит ей (в аренду, пожизненно) финский домик в писательском поселке Комарово, неподалеку от Дома творчества. В ее бездомной и бесприютной жизни это станет событием невероятной важности. Свою комаровскую «дачу» Анна Андреевна окрестила Будкой, подразумевалось: «собачьей» – в память о «Бродячей собаке», с которой связано столько дорогих,

незабвенных воспоминаний. На крошечном «приусадебном» участке сама посадит простенькие цветы и будет беспокоиться, если выдавалась неудачная зима. Как-то перезимуют ее милые многолетники? Вести дачное хозяйство ей одной уже не под силу. Но Дом всегда открыт для желающих подсобить, в летний сезон наезжают и «девочки Пунины»…

Лев Николаевич, до смерти «вождя народов» ни от кого, кроме матери и Эммы Герштейн, писем не получавший, теперь, когда в переписку с каторжником осмелилась вступить бывшая невеста, недоумевает. Письма Натальи Варбанец Гумилев ей вернул. Та их уничтожила, но, судя по тем двум, что уцелели, Птица в курсе столь важных изменений в жизни несостоявшейся свекрови. Почему при столь явных знаках могущества мать не может добиться пересмотра его дела? Ему оттуда, из далекой Сибири, мнится, что, занятая собой, она небрежно, недостаточно упорно хлопочет. На самом деле Ахматова, конечно же, хлопотала и не уставала хлопотать. И не от лица престарелой матери челобитничала. Включила в число ходатаев и Шостаковича, и Шолохова, и многих видных ученых – тех, кто не побоялся письменно подтвердить, что работы Льва Николаевича Гумилева имеют научную ценность. Казалось бы, при таких высоких заступниках низовые чины реабилитационной комиссии должны разобраться в составе его преступления как можно быстрее, а то и вне очереди. А они почему-то мешкают и мешкают. Совместники по лагерю, даже те, за кого никто, кроме родственников, не хлопотал, один за другим получают «вольную», а Лев Николаевич все сидит и сидит…

В письмах к Эмме Герштейн Гумилев, не умея разрешить эту головоломку, находит новый повод для обвинения и осуждения матери. Дескать, матушка по обыкновению, не разобравшись в ситуации, подключила к его делу людей слишком уж *высокого званья.* При кажущейся нелогичности в предположении Гумилева был резон. Во всяком случае, его собственное лагерное начальство, видимо, и впрямь углядело в необъяснимом обстоятельстве нечто подозрительное. Ежели движению дела Гумилева не помогает заступничество таких важных персон, значит, он опасный преступник, и непонятные его бумаги лучше засунуть в самый дальний ящик. На самом деле ни Гумилев, ни лагерное начальство, ни видные деятели культуры, включая Шолохова, принявшие в сыне А.А. участие, не знали, что истинная причина внезапной приостановки реабилитационного процесса в том, что приказ об освобождении ложно осужденных сразу же после смерти Сталина подписал Лаврентий Берия, расстрелянный летом 1953 года. Вот что пишет на сей счет

Никита Сергеевич Хрущев:

«Часть заключенных была освобождена сразу после смерти Сталина. Берия уже тогда поднял этот вопрос, подработал, внес предложение, и мы согласились, но оказалось, что освобождены были уголовники: убийцы, грабители, мерзавцы и всякие подлые люди… Ропот пошел среди народа… К этому времени уже был разоблачен и осужден Берия. Поэтому нам приходилось давать объяснения. Мы сами видели, что это было сделано неправильно…»

Разумеется, ропот народа тут ни при чем. В краткий промежуток – между мартом (смерть Сталина) и июнем (расстрел Берия) – освободили не только «подлых людей», но и тех политических, у которых более короткие, чем у Гумилева, сроки. И все-таки приказ расстрелянного наркома кое-какие перемены произвел: лагерный режим утратил стальную строгость. В оставшиеся три года каторги Лев Николаевич сумел написать докторскую диссертацию и даже вчерне одну из своих будущих знаменитых книг. Тем не менее, несмотря на послабления, последние годы неволи были для него непосильно тяжелыми. И не только потому, что смерть Сталина, а следовательно, упования на скорую перемену участи застигли его в год сорокалетия – возраст критический и для ученого, и для мужчины.

Первая каторга, как ни цинично это звучит, в каком-то смысле оказалась небесполезной. Кем он был до ареста в марте 1938-го? Одомашненным Гумильвенком, выросшим под крылом обожавшей его бабушки, наивным, застенчивым, романтически настроенным книжником и мечтателем. И если б его не *замели* в пору Большого террора, в 1938-м, он наверняка попал бы в состав студенческих бригад, почти поголовно раздавленных танками на подступах к Ленинграду.

В первый же месяц войны. Да, условия выживания за полярным кругом бесчеловечны, но отнюдь не более бесчеловечны, нежели на фронте. В Норильске молодых и грамотных зэков использовали в основном в поисковых партиях, наравне с полувольняшками. В такой ситуации молодой человек с воображением, а Гумилев был человеком с богатым воображением, в особо трудных ситуациях мог утешать и даже развлекать себя мыслью, что он, как Седов, Брусилов или капитан Скотт, затерялся в белом безмолвии… К тому же в 1938-м Льву Николаевичу в Питере нечего было оставлять, кроме студенческих, пока отнюдь не блестящих успехов и бытовых неустройств. В 1949-м он терял все. Научную карьеру и научную будущность. Друзей. Отдельную комнату в центре города. А главное, любимую женщину. В первые четыре года его второй

каторги *такая красивая птица* не написала ему ни одного письма. Переписка, далеко не откровенная, можно сказать, уклончивая, возникла, как уже упоминалось, лишь после марта 1953 года. Никаких обещаний Льву Николаевичу *неневестная его невеста* не давала, но, так как инициатива переписки исходила от нее, он надеялся. Надеялся, что успех почти готовой работы, которую не сегодня-завтра привезет в Питер в сколоченном из досок рундуке, преодолеет ее нерешительность, ее страх перед неопределенным будущим. Но месяц тянулся за месяцем, месяцы складывались в года…

Короче, сорокадвухлетний мужчина с искореженной психикой, помятым лицом и топорно подстриженной седеющей гривой, возникший 15 мая 1956 года на пороге ардовского дома, был, что называется, на пределе. На грани нервного срыва. Если бы телефонным звонком с вокзала или телеграммой с дороги он предупредил мать об освобождении, она к его приезду наверняка успела бы собраться, приготовиться – кто-кто, а Анна Андреевна знала, как легко *встречи* превращаются в *невстречи.* Но Лев Николаевич застал родительницу врасплох. В самом прямом смысле. Нездоровую, невыспавшуюся, раздраженную. Приехав накануне из Ленинграда, А.А. полдня провела в редакции. Хотела сразу сделать два дела: сдать завершенные переводы и получить гонорар за прежние. И то и другое не удалось. Работу условно приняли, а день оказался невыплатным. Конечно, она ожидала, чуяла, что Лев вот-вот вернется. А вот того, что возникнет внезапно, вставши на пороге, как тень отца Гамлета, допустить не могла. После восьми лет разлуки – без телеграммы? И как бы потом Гумилев ни объяснял странно-холодное поведение матери 15 мая 1956 года, в одном, видимо, он прав: Ахматова неузнаваемо изменилась. Изменилась настолько, что сын не нашел в ней, нынешней, даже отдаленного сходства с той, *какою была когда-то,* восемь лет назад. Взаимное неузнавание разночувствующих душ, помноженное на долгое, слишком долгое напряжение, разрешилось истерикой и скандалом. На следующий же день первым дневным поездом Гумилев уехал в Ленинград. Анна Андреевна, хотя и понимала, что Лев сбежал не от нее, закаменела во гневе. К тому же яснее ясного, до унизительных мелочей, представляла, что в Питере его ждет, ибо давным-давно поняла главное. Эта выдуманная Львом Птица, эта избалованная мужским вниманием слишком красивая женщина не любит ее сына. Конечно, все бывает. В жизни бывает все. Даже то, чего по всем приметам не должно бы случиться.

С Львом невероятного не случится. Случится очевидное. Вместо *женщины с прекрасным лицом, единственно дорогим во всей*

вселенной, он, как когда-то и его отец, обзаведется несколькими заместительницами. Получит, хотя и не сразу, через год, как реабилитированный, комнату в коммунальной квартире. И с головой окунется в работу.

Первое время Ахматова все-таки пыталась растеплить охладевшие, до ледниковых, отношения. Предлагала сыну переводить в две руки и в два уха восточных поэтов, заманивала в Будку – тщетно.

С годами, пообжившись на воле, Гумилев, конечно же, понял то, чего не понимал, глядючи из Сибири: мать и впрямь не могла отхлопотать его. Понял и простил. Не простил другого: что не приехала к нему на свидание – туда, *во глубину сибирских руд.* Не решилась. Испугалась тягот долгого пути. Другие, и матери и жены, решались. Одолевали, безденежные и беззащитные, больные, немолодые, всякие, тыщи километров – только бы глянуть в глаза, прикоснуться. Удостовериться, удостоверить: любим, помним, ждем…

Бабушка и тетка Александра там, в Бежецке, когда заходила речь о матери, ругали ее за бессмысленную щедрость. За доброту к чужим. За неумение сжать кулак, ежели на ладони оказывалась денежка. Ругала, правда, в основном тетка. Бабушка больше сокрушалась, жалела дуреху. Теперь бы ругать не стали.

Пока не устроился на работу, она, конечно, разжимала кулак, выдавала ему деньги. Но – всегда в обрез. И с натугой. Даже по тому, как открывала сумку, как морщилась, доставая перетянутую резинкой пачку купюр, чувствовал: радости эта процедура ей не доставляет. А ведь когда-то, до его последнего ареста, радовалась, если, получив пенсию, умудрялась незаметно засунуть во внутренний карман его пиджака половину полученного! В сердцах, подвыпив, он как-то назвал Анну Андреевну «старухой процентщицей».[73]

Но может быть, подозревая мать в скупости, Лев Николаевич наводит тень на плетень? Конечно, преувеличивает, возводит в превосходную степень. Но преувеличивает реальное, не мнимое. На склоне лет, когда Анна Андреевна стала не получать, а зарабатывать – бесконечными переводами, и не между своим делом, а вместо него, и с большими усилиями, – ее отношение к деньгам стало иным. Да, свидетельства ахматовской патологической щедрости многочисленны и общеизвестны. В Ташкенте Л.К.Чуковская приходила в отчаяние: все продукты, какие ей удавалось добыть для А.А., та тут же раздавала. И К.И.Чуковский не забыл описать в дневнике, как Ахматова в самые голодные годы отдавала ему и молоко, и крупу для его маленькой дочери. Передаривались, причем немедленно, и более

ценные подарки. Однако Сильвия Соломоновна Гитович, соседка А.А. по комаровской даче, замечала за ней и другое: «Не то чтобы она была скупа – у нее не было и тени обывательской мелочности, но щедрости под старость тоже не осталось. Она любила повторять с оттенком какого-то вызова: "Деньги – вздор!" Она могла выбросить деньги просто так, на ветер, но вдруг неожиданно начинала пугаться больших трат, жаться и не решалась купить себе что-нибудь действительно нужное и необходимое».

Не решилась Ахматова на *большие траты* (и в прямом, и в переносном смысле) даже тогда, когда Лев получил комнату. Казалось бы, самое время помочь единственному сыну как-то ее обустроить, хотя бы для того, чтобы сколоченные из неструганой доски топчан и книжные полки не напоминали ему каторжные нары.[74]

И не по бедности не решалась! В 1958-м у Ахматовой хватило бы денег не только обставить берлогу сына пусть и совдеповской, дешевой и топорной, но новой мебелью. Могла бы даже купить либо ему, либо себе кооперативную квартиру. Похоже, что именно это и имела в виду Сильвия Гитович, наблюдая с вежливым недоумением нищенскую обстановку, окружавшую Большого Поэта и на даче, и в городе. Спать на продавленном трехногом пружинном матрасе, несмотря на то что как раз в эти месяцы (в ноябре 1958 года) у нее вышел сборник стихотворений – массовым, для поэзии, 35-тысячным тиражом? Сильвия Гитович не из тех, кто считает в чужих карманах чужие деньги. Но как жена профессионального переводчика знает, что у Анны Андреевны одна за другой появляются и переводные книги, и не где-нибудь, а в издательстве «Художественная литература», где за стихотворные переводы платили не просто хорошо, а щедро, щедрее, чем, допустим, в «Советском писателе» за стихи оригинальные. Те, кто был допущен к этой «кормушке», не только не бедствовали, но и посматривали несколько свысока на литераторов, вынужденных жить «на общих основаниях». Разумеется, для этого надо было превратиться в род переводческой машины, чего Ахматова, конечно же, и не могла, и не хотела. К тому же ей явно не хватало изобретательной ловкости, какой отличались работы чемпионов якобы «художественного перевода». И тем не менее она переводила, переводы печатались и оплачивались по высшей в диапазоне принятой «вилки» ставке.

Все-таки, думается, дело было не в прижимистости, а в давно сделанном выборе – установке на «божественную нищету». И когда едва ли не весь гонорар за переведенную пьесу Гюго

ухнула, чтобы купить автомобиль «москвич» старшему сыну Нины Антоновны Алексею Баталову, наверняка сделала это не в припадке щедрости, а чтобы исполнить данный когда-то зарок: «У своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому».

Живи как пишешь и пиши как живешь…

Лев, даже если бы мать и попробовала разъяснить странные свои резоны, ничего бы в столь тонких тонкостях не понял, посчитав, что «старуха процентщица» лукавит. Четырнадцать лет тюрьмы и ссылки сделали его подозрительным, а основания для подозрения, скажем правду, были. Ахматова, к примеру, всем своим друзьям объясняла, что вынуждена скитаться и жить то в Доме творчества, то в приживалках по чужим углам, потому что в квартире на Красной Коннице для Льва нет комнаты. И если он там ночует, ей приходится и спать, и работать в проходной. А это всем неудобно, и ему в первую очередь. На самом деле в просторной профессорской квартире на улице Красной Конницы, куда Анна Андреевна вместе с семьей Ирины Николаевны Пуниной переехала в 1952 году, все без исключения двери комнат выходили в коридор.[75] И той крайней, где жила одинокая соседка, и тех четырех, какие заняли переселенцы из Фонтанного Дома. В двух небольших разместилась Ирина Николаевна с мужем и подрастающей дочерью. В двенадцатиметровке – Ахматова. Большая считалась общей. Сюда приходили гости, здесь обедали и чаевничали.

При такой старинной планировке, особенно если учесть размеры профессорской кухни и деликатность интеллигентной соседки, легче легкого, заделав всего лишь один межкомнатный проем, превратить общую эту залу в отдельную комнату с отдельным входом. Хотя бы временно, пока Гумилев как незаконно репрессированный не получит жилье. Лев Николаевич заговорил об этом с матерью еще летом 1956-го, когда она, вернувшись наконец в Ленинград из Москвы, занялась его пропиской. Анна Андреевна от этого плана отказалась наотрез. И по обыкновению ничего не объяснила. Хотя и этот ларчик открывался проще простого: она считала семью Пунина своей семьей. Плохой ли, хорошей, но семьей. Многие здравомыслящие люди из дружеского окружения и в глаза и за глаза порицали ее за это. Ахматова пропускала «соболезнования» мимо ушей. У нее были свои резоны относиться к сиротам Николая Николаевича как к своим. Она столько тяжких лет пользовалась их гостеприимством! Это из-за нее детство у Ирины оказалось двусмысленным. Вот только как признаться в этом сыну? Невозможно…

Впрочем, очень скоро Лев Николаевич, свидетель

неприязненных отношений матери с Пуниным (перед его арестом в 1949 году), убедится, что ее чувство к этому ненавистному человеку было куда более сложным, чем он по неопытности полагал. 23 августа 1956 года, вернувшись домой раньше обычного, Гумилев увидел, что *Ирка* в одиночестве сидит за общим столом, а перед ней – открытая и уже не совсем полная бутылка водки. Картина была столь необычной, что он почти машинально присел к столу. Ирина Николаевна, достав из буфета фужер, налила и ему – полный – и, придвинув тарелку с «закусью», сказала – каким-то не своим, глухим, огрубевшим материнским голосом:

– Давай, Левка, заключим перемирие и помянем! Отцов, говорю, помянем – август все-таки. Мой день – сегодня, 23-го, твой – 25-го, послезавтра. Акума не зря августов боится. Вот и тогда, в 53-м, будит меня 22-го, с утра, поедем, поедем. К полковнику, мол, поедем. К братцу Николаши поедем. А зачем, спрашиваю, – не отвечает, и уже одетая. А на лице – ужас. Потом разъяснилось. Папа двадцать третьего умер. От разрыва сердца. Акума, когда узнала, стихи написала.

И сердце то уже не отзовется
На голос мой, ликуя и скорбя.
Все кончено, и песнь моя несется
В глухую ночь, где больше нет тебя.

Кроме Пунина и вообще Пуниных было и еще одно обстоятельство, ладу между Ахматовой и Гумилевым не поспособствовавшее. Но оно было столь неприятным, что Гумилев даже в воспоминаниях о нем умолчал. Анна Андреевна, хотя и знала от Эммы Герштейн, что сын пишет стихи, и даже кое-что из написанного читала, сама первой разговора об этом не заводила. И никогда не просила его прочесть что-нибудь из нового. Не просила из деликатности. Дипломатничать, как с другими, не могла, сказать всю правду не считала возможным. Солженицыну скажет, что он не поэт, хотя и пишет нечто зарифмованное и ритмизованное, Льву – не сказала. Отделалась общими словами. Дескать, как странно: нам параллельно приходят в голову одни и те же мысли и слова.

А.А. не промахнулась в наблюдении. Параллельность имела место быть, но именно параллельность, а не подражание. Ахматова была последней, кому ее сын хотел бы подражать:

Когда мерещится чугунная ограда
И пробегающих трамваев огоньки,

И темный блеск встревоженной реки,
И запах листьев из ночного сада,
И теплое осеннее ненастье
На мостовой, средь искристых камней,
Мне кажется, что нет иного счастья,
Чем помнить Город юности моей.
Мне кажется… Нет, я уверен в этом!
Что тщетны грани верст и грани лет.
Что улица, увенчанная светом,
Рождает мой давнишний силуэт.
Что тень моя видна на серых зданьях,
Мой след блестит на искристых камнях.
Как город жив в моих воспоминаньях,
Так тень моя жива в его тенях!

Что сын талантлив, Анна поняла еще в 1921-м, когда приезжала в Бежецк на Рождество. Но это был какой-то странный талант, в чем-то сродни отцовскому. Ничего на поверхности – все под спудом. Мощное, дерзкое – но из-под глыб. Под напором клокочущей подземно, подспудно энергии глыба приподымается и снова всей тяжестью заваливает огонь. Заваливает, но не гасит, он, *огнь,* копит, копит силу… И какие жернова завертит? Поэтом ему не быть, не тот состав души, и слуха абсолютного на слово нет. То попадет в прицел – *улица, увенчанная светом.* Ей так не сказать. Да тут же и сфальшивит: *искристые камни.* И где это он в Петербурге таковые увидел? И все-таки что-то будет… Что?

В 1960-м вышла в свет книга Гумилева «Хунну», а в ноябре года следующего он защитил докторскую диссертацию. И книга, и диссертация («Древние тюрки: История Срединной Азии на грани Древности и Средневековья») были не совсем то, чего Анна Андреевна ожидала от сына. Но сам факт успешной защиты свидетельствовал: Лев вполне приспособился к существованию в пространстве воли, и она наконец-то вправе освободить усталое свое сердце от *дум* о его быте, о его личной жизни, о его научных гипотезах и идеях. Сын отвечал тем же. И каждый из них при этом полагал: он(а) не был(а) таким(такой), это *они* его(ее) таким(такой) сделали.

К тому же Гумилев убедил себя, что родительница, в отличие от той беспомощной и всеми брошенной женщины, которую он оставил в полном одиночестве в ноябре 1949-го, теперь в его опеке и даже декоративных заботах не нуждается. Вокруг нее, будто вокруг театральной королевы в изгнании, шла какая-то суматошная, и впрямь похожая на придворную, суетня. И

противнее (на его взгляд) всего было то, что насмешливая его мать, не выносившая ни лести, ни подобострастия, воспринимала это кружение, эти приседания, эти фрейлинские ужимки и замашки людей свиты всерьез. Всерьез приняла и молодых людей, ленинградских гениев, которые вслед за Анатолием Найманом вошли сначала в ее городской дом, а потом зачастили и в Будку. Эти быстрые мальчики и Будку, и ее хозяйку вроде как приватизировали, присвоив право являться туда во всякий час и в любом составе. Лев Николаевич с детства помнил, как тщательно охраняла мать непересекаемость своих внешних границ – и в Бежецке, и на Фонтанке. Ее нынешняя неразборчивость его решительно возмущала. Как же так? Ирка Пунина и та сникала, ежели ненароком, во гневе или разбеге, перемахивала через невидимую границу, как через плетень. А эти, сопляки и высокомерцы, дистанции не чувствуют. Вроде как с ровней. И ей это нравится? Она даже, кажется, гордится своим демократизмом? Своей общедоступностью? «Мама, – шептал, наклоняясь к ее правому, не вовсе глухому уху, – не королевствуй». Не поворачивая головы, А.А. поднимала все еще очень красивые ладони к вискам – дескать, не слышу, и в голове шум.

Такого рода сцены случались не часто, но случались. Однажды Лев Николаевич даже позволил Горнунгу, пришедшему с новым аппаратом, сфотографировать его сидящим рядышком с матерью, по-семейному, в домашней расслабленности и затрапезе. В тот день он принес ей свою первую книгу…

Но бег времени все убыстрялся, а вот хороших минут становилось все меньше и меньше. Сыну мнится, что мать из «зловредства» якобы не так – слишком холодно и спокойно – поздравила и с защитой докторской, и с выходом книги. Но и Лев, с ее точки зрения, не лучше. 5 ноября 1958 года, через четыре дня после того, как большое собрание московских писателей исключило Пастернака из Союза, вышли ее «Стихотворения». В нелепом нищенском оформлении, зато 25-тысячным тиражом. Гумилев это событие воспринял как нечто само собой разумеющееся. Анна Андреевна, расстроившись, затолкала пачки с книгами подальше. А удивившимся Ардовым сказала: негоже торжествовать в такие скорбные дни. Первые дарственные на сборнике «Стихотворения» она сделает лишь в конце декабря 1958 года.

Но даже такой, худой мир продолжался недолго. В 1963-м мать и сын окончательно потеряли друг друга и больше, при жизни, никогда не увиделись. Младший из детей Нины Антоновны Ольшевской и Виктора Ефимовича Ардова Михаил,

автор книги «Легендарная Ордынка», вспоминает: «В марте шестьдесят шестого состоялся наш с ним (Л.Н.Гумилевым. – *А.М.)* единственный разговор об его отношениях с матерью, о причинах ссоры с ней. Было это на девятый день после смерти Анны Андреевны, мы поехали к нему домой после панихиды в Гатчинской церкви. Он мне сказал такую фразу:

Я потерял мать в четвертый раз

И далее он перечислил: первый – какое-то отчуждение в 1949 году; второй – в пятьдесят шестом, сразу после освобождения; третий – последняя ссора, когда они перестали встречаться».

В 1949-м отчуждение, как мы уже знаем, возникло потому, что Лев считал, что его посадили из-за матери, которая из тщеславия допустила в их дом подозрительного иностранца. И вообще – красовалась, участвуя в поэтических вечерах. Кабы не это, о нем бы забыли. Читай, мол, своего Пушкина: «Люди премудрые тихо живут…»

В 1956-м, сразу после освобождения, их развел квартирный вопрос – не посмела заявить *Ирке,* что он тоже имеет право претендовать на *койко-место.* Он, семь лет валявшийся на нарах, пока они тут жили нормальной жизнью!

Что послужило причиной последней ссоры, мы не знаем. То ли Гумилев Ардову не объяснил, то ли Ардов-младший решил не уточнять. Но судя по тому, что длилась эта ссора около трех лет, Гумилев и Ахматова начали крупно ссориться в 1963-м, то есть как раз в те месяцы, когда Бродский был выделен из стайки, что кончилось, как известно, судом и ссылкой будущего нобелевского лауреата. С точки зрения Льва, унаследовавшего от отца вдобавок к прочим свойствам еще и дар «черной ревности», мать неоправданно восторженно говорит о стихах этого молокососа и слишком уж близко к сердцу принимает его невзгоды.[76] Вот-де так за единственного сына не беспокоилась, как за этого якобы гения. «Старик Державин нас заметил и, в гроб сходя, благословил»? Она что, и это восхотела унаследовать?

Чтобы проверить это предположение, присмотримся, как уже делали не раз, к «умным числам». Статья в газете «Вечерний Ленинград», давшая начало делу о тунеядстве и тунеядцах, появилась в конце ноября 1963 года. До этого весь октябрь Бродский, видимо, сняв в Комарове дачу, почти каждый день бывал в ахматовской Будке. 20 октября Л.К.Чуковская записывает: «… В разговоре Анна Андреевна с благодарной нежностью поминала о Бродском: "Иосиф воды натаскал… Рыжий печку истопил…"»

Анна Андреевна – недаром слывшая провидицей – сразу почуяла: проработкой в прессе не кончится. Больше того, раньше

других сообразила: если бы ленинградское литначальство, у которого в Комарове роскошные, не чета Будке, загородные особняки, не обратило внимание на сей подозрительный факт, Рыжего вряд ли бы взяли на заметку. Лидия Корнеевна зафиксировала и этот сюжет (запись от 2 декабря 1963 года): «Анна Андреевна встревожена и от тревоги больна. Терзается: она полагает, что в глазах начальства Бродскому повредила его дружба с ней».

Все начальство, полагаю, инициатором не было. Наверняка первыми подсуетились персоны рангом помельче. Завистники, затаившие досаду на московских покровителей, не давших им, землякам, добить эту гадину в сорок шестом. И все-таки убеждена: терзала Анну Андреевну не только невольная вина перед Бродском. Дело *Рыжего* подтверждало: Лев был прав, утверждая, что в его последнем аресте виновата она. Если бы не встречалась с английским умником да не высовывалась, его бы, может, и не взяли… Что же касается Бродского, которого всего лишь выслали из Питера за тунеядство, – она-то боялась тюрьмы и лагеря, – то на сей счет особой тревоги после приговора у нее не было. Иначе бы не произнесла уже процитированную выше фразу: «Какую биографию делают нашему Рыжему!» Не слишком обеспокоили ее и рассказы друзей, навестивших Бродского в его северной ссылке. Наоборот – разгневали. Цитирую все ту же свидетельницу – Л.К.Чуковскую (запись от 22 апреля 1964 года):

«…был у нее Миша Мейлах, навещавший Иосифа в ссылке…

– Вообразите, Иосиф говорит: "Никто для меня пальцем о палец не хочет ударить. Если б они хотели, они освободили бы меня в два дня".

("Они" – это мы!)

Взрыв. Образчик ахматовской неистовой речи:

"За него хлопочут так, как не хлопотали ни за одного репрессированного… И Фрида, и я, и вы, и Твардовский, и Шостакович, и Корней Иванович, и Самуил Яковлевич. И Копелевы. Это на моих глазах, а сколькие еще, именитые и не именитые, в Ленинграде! У него типичный лагерный психоз – это мне знакомо: Лева говорил, что я не хочу его возвращения и нарочно держу в лагере…"

Я подумала: Лева пробыл в тюрьмах и лагерях лет двадцать без малого, а Иосиф без малого три недели. Да не в тюрьме, не в лагере, а всего лишь в ссылке.

Анна Андреевна задыхалась от гнева. Вот почему она сегодня больная».

Во гневе Анна Андреевна не оглядывалась…

Впрочем, и печалилась, и гневалась Ахматова не слишком долго. На роль молодого друга в отсутствие Рыжего был утвержден его приятель – Анатолий Найман. На него же были возложены обязанности литературного секретаря. Дошла ли до Льва Николаевича весть о временной опале Бродского, неизвестно, а вот слухи о новоназначенном секретаре дошли. И он возненавидел ни в чем не повинного молодого человека лютой ненавистью прирожденного ревнивца.

Анне Андреевне Ахматовой, какой она станет в пору *плодоносной осени* (5 ноября 1958 – 5 марта 1966-го), будет дивоваться не только сын. Артур Лурье, когда до Америки долетят-доплывут устные рассказы смельчаков, перешагнувших за «железный занавес» и получивших аудиенцию у Серебряной королевы, первым слухам просто-напросто не поверит. Чтобы Аннушка, какой он ее помнит, с удовольствием купалась в волнах фимиама? Аннушка, которая страдала от стыда и неловкости, если в глаза начинали захваливать, через край – безмерно? Быть не может! Она, господа хорошие, просто вас разыграла! Господа смущались и замолкали. Через сезон их сменяли другие путешественники, и Лурье поверил в неизбежность печальной метаморфозы. «Как мир меняется, и как я сам меняюсь…»

Понаблюдав в течение нескольких месяцев во время длительных остановок ее в Москве, как Анна Андреевна, ежедневно с удовольствием, несмотря на усугубляющееся нездоровье, принимает поклонников и поклонниц, которые записываются на прием загодя, по телефону, на строго определенное время, Лидия Корнеевна взмолилась. Дескать, это ужасно, это бесцельно. Бессмысленно растрачивать себя впустую, пускать по ветру! Анна Андреевна расплакалась. Чуть не впервые в жизни, не в подушку – прилюдно. Призналась, оправдываясь, что больше всего на свете боится одиночества. «Одиночество такое, хоть сейчас в музей».

Лидия Корнеевна отступилась, перестала звонить, но размолвка продолжалась недолго. А.А. позвонила сама. Кроме как *с Лидой,* ей не с кем было играть в свою любимую игру: составлять, пересоставлять воображаемые сборники. Придумывать им имена. Разбивать, расцикливать некогда собранные на живую нитку циклы, перенизывать стихи на другую циклонитку, покрепче и позатейливей. Лидия Корнеевна вежливо и деликатно скучала и оживлялась только тогда, когда Анна Андреевна спрашивала: «А как вы считаете, Лидия Корнеевна, это можно отнести в „Новый мир“ Твардовскому? Или лучше не дразнить цензуру? Береженого Бог бережет!»

С цензурой между тем происходило непонятное. Цензура

пропустила в печать «Один день Ивана Денисовича». И не только в «Новом мире»!

Осенью 1961 года полумиллионным тиражом в мягкой обложке «Роман-газеты» крамольная повесть Солженицына разлетелась по всему СССР. И жизнь Анны Ахматовой – *река времен в своем стремленьи,* – сделав еще один поворот, вышла на последнюю прямую.

Первым делом она записала «Реквием». Сначала на бумагу, а затем на магнитофонную ленту, взяв, правда, с Льва Алексеевича Шилова обещание не обнародовать запись до того, как «Реквием» будет опубликован на родине. По-прежнему главной ее заботой была «Поэма без героя». Нужно было перенести на бумагу потаенные строфы – либо пропущенные, либо замененные из осторожности точками. Много времени, как всегда, отнимали переводы, а также воспоминания – о Блоке, Мандельштаме, Модильяни, Лозинском. Продолжается и оборвавшаяся было пушкиниана. Именно в эти годы, годы «плодоносной осени», созданы «Пушкин в 1828 году», «Пушкин и Невское взморье», до сих пор фактически не оцененные ревнивыми пушкинистами. Впрочем, их можно понять. Чтобы понимать и чувствовать Пушкина, как понимала и чувствовала его Ахматова, нужно быть Ахматовой. Однажды она сказала, что Пушкин в «Евгении Онегине» опустил за собой шлагбаум, перекрыв дорогу подражателям. Нечто подобное можно сказать и об ахматовской пушкинистике: ни подражать, ни следовать ее дорогой невозможно.

Июнь 1962-го преподнес Ахматовой к 73-летию неожиданный символический подарок. Ее стихи как замечательное явление русской культуры были выдвинуты на Нобелевскую премию. «Нобеля» Ахматова не получила и была этим обрадована. После того что случилось с Пастернаком, которого власть вынудила отказаться от Нобелевской премии, присужденной за роман «Доктор Живаго», ее вовсе не устраивала такая перспектива. Однако и советское руководство было, видимо, смущено и обеспокоено принявшим международную огласку скандалом с Пастернаком, особенно после его преждевременной смерти. И когда по инициативе Италии Анне Ахматовой присудили международную литературную премию «Этна-Таормина», благоразумно отстранилось. Не прореагировало даже на заграничные издания и «Поэмы без героя», и «Реквиема». Для вида, разумеется, пожурили. Но и только.

Торжества по случаю вручения премии Великой Княгине Русской Поэзии (титул, торжественно преподнесенный Анне Андреевне хозяевами празднества – итальянцами) состоялись в

декабре 1964 года. На этот раз в свите Ахматовой светила тогдашней официально признанной советской литературы: Микола Бажан, Константин Симонов, Алексей Сурков, Александр Твардовский. Шесть лет назад, узнав, что в Италию впервые после долгих десятилетий существования за «железным занавесом» отправилась делегация советских писателей, Анна Андреевна написала горькие стихи:

Все, кого и не звали, – в Италии,
Шлют домашним сердечный привет.
Я осталась в моем зазеркалии,
Где ни Рима, ни Падуи нет…
……
Никому я не буду сопутствовать,
И охоты мне странствовать нет…
Мне к лицу всюду стало отсутствовать
Вот уж скоро четырнадцать лет.

И вот она в Италии, и не рядовым туристом. В ее почетном эскорте все те лица, от которых еще недавно зависело, жить ей или сгинуть от хронического недоедания, смертельного при ее базедовой болезни и разбитом инфарктами, истощенном и наследственно, по отцовской линии, уязвимом сердце. Ей бы возликовать, а ей грустно. И еще грустнее оттого, что конец поэтического праздника совпал с сочельником, который в ее личном календаре был днем Гумилева. А еще пуще оттого, что она опять, как и полстолетия назад, проведя почти месяц в Италии, ничего не смогла в ней увидеть. Тогда, в 1912-м, из-за трудной беременности. Сейчас – из-за больного, смертельно уставшего сердца. Единственным местом, где бы Анна Андреевна хотела в этот римский, чужой праздник оказаться, была комаровская Будка, окруженная высоченными, ровесницами века, соснами:

Заключенье небывшего цикла
Часто сердцу труднее всего,
Я от многого в жизни отвыкла,
Мне не нужно почти ничего, —

Для меня комаровские сосны
На своих языках говорят
И совсем, как отдельные весны,
В лужах, выпивших небо, стоят.

В Италии же до нее дошла и еще одна приятная вроде бы новость. 15 декабря 1964 года Оксфордский университет принял постановление о присуждении Анне Ахматовой степени почетного доктора наук. Сбывалась, таким образом, и еще одна ее мечта – увидеть своими глазами «остров зеленый», откуда в 1915 году явился «царевич» – Борис Васильевич Анреп. Врачи засомневались – выдержит ли? Ахматова выдержала, точнее, вытерпела и это испытание, непосильное для ее возраста и состояния здоровья…

На обратном пути в Россию Анне Андреевне, по счастливому стечению обстоятельств, удалось на несколько дней задержаться еще и в Париже. Здесь она встретилась с приятелями и приятельницами молодости – художником Дмитрием Бушеном, участником слепневских шоу, сестрой Машеньки Кузьминой-Караваевой Ольгой, которой посвящено стихотворение «Побег», учеником Николая Степановича поэтом и критиком Георгием Адамовичем и даже со своим начисто забытым портретом, который перед самым отъездом в эмиграцию написал Юрий Анненков, теперь этот портрет висел на почетном месте в его парижской мастерской. Были и еще две встречи: одна с Борисом Анрепом, неудачная, и другая, трогательная, с героем ее мимолетного, легкого, молодого почти романа графом Валентином Зубовым. Никита Струве, внук Петра Струве, издателя и редактора дореволюционной «Русской мысли», в ту пору сам и издатель, и профессор Сорбонны, в июне 1965 года оказался случайным свидетелем их встречи. Вот что он пишет в своих воспоминаниях «Восемь часов с Анной Ахматовой»: «После чтения стихов разговор уже не возобновлялся. Вскоре послышался стук в дверь. Вошел граф З., близкий друг Ахматовой по Петербургу, с которым она не виделась 50 лет. На прощание Анна Андреевна сказала: "Позвоните мне еще". Перед тем как выйти из комнаты, я еще раз обернулся. Анна Андреевна пристально и ласково смотрела на своего, совсем уже старенького на вид посетителя и сказала: "Ну, вот, привел Господь еще раз нам свидеться…"»

Валентин Платонович Зубов в 1965 году и впрямь был стар: Анне Андреевне через несколько дней исполнится семьдесят шесть, а он старше на пять лет. *Старенький на вид* посетитель, когда-то, до всего, чуть ли не первый в Петербурге богач и известный покровитель искусств, пережил Анну Андреевну на три с лишним года. Отношения с ним – один из тех сюжетов ее личной жизни, который Анна Андреевна не посчитала нужным с кем-либо обсуждать. Даже полвека спустя…

Но самым главным итогом зарубежных успехов Анны

Ахматовой была удивительная по тем медленным временам быстрота, с какой прошел сквозь рогатки цензуры и производственные препоны ее последний и самый объемный прижизненный сборник. Очень красивый, с портретом работы Модильяни на белоснежной суперобложке «Бег времени». 8 мая 1965 года рукопись сдали в набор, в октябре Ахматова уже подписывала элегантные томики своим друзьям.

А через месяц ее свалил четвертый инфаркт. Даже самые опытные врачи не верили, что Анна Андреевна поднимется. Она поднялась. 27 февраля Ахматову выписали из больницы с направлением в лучший, 4-го Главного (правительственного) управления кардиологический санаторий. Под Домодедовом. Там она и скончалась.

Словом, *судьба так твердо вела свою линию,* что даже смерть словно бы твердила наизусть полвека назад написанные Ахматовой стихи: «А как жизнь началась, пусть и кончится так…» Венчалась с Гумилевым в Николаевской церкви украинского села Никольская слобода – отпевали в Никольском соборе, именовавшемся в народе Николой мокрым. Умерла 5 марта 1966 года – ровно через тринадцать лет после смерти Сталина, но день в день. Гражданская панихида в Москве, как уже упоминалось, волею случая состоялась в Странноприимном доме Шереметевых, построенном графом в память Параши Жемчуговой, умершей в его петербургском Фонтанном Доме. Да и похоронили *Анну всея Руси* среди сосен и сосенок, на полпути между комаровской Будкой и камнем, с которого, если погода случалась ясная, виден Кронштадт – город, в котором родился Николай Гумилев и где когда-то служили и ее младший брат, и Владимир Георгиевич Гаршин. Да и камень у моря, «среди сосенок», тоже уже был – давно, в начале жизни:

По неделе ни слова ни с кем не скажу,
Все на камне у моря сижу…

Хочешь не хочешь, а вспоминается разгаданная Пуниным загадка ее судьбы: «Нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенна – как Ваша».

Но эта удивительная жизнь будет неполной, если мы обойдем вниманием, не выделим в особую главу те особенные отношения, которые возникли у Анны Андреевны Ахматовой с Николаем Степановичем Гумилевым – после его трагической гибели.

Эпилог. Другая жизнь

Поэма опять двоится.
Все время звучит второй шаг.
Что-то идущее рядом…

Анна Ахматова. Из прозы о «Поэме без героя»

В 1958-м, когда у Ахматовой вышла книжечка, плохонькая, почти стыдная, но все-таки книжка, к тому же 25-тысячным тиражом, едкоязыкий Ардов, перелистав, невесело пошутил: *«Пропуск в бессмертье,* Regina, вам и так обеспечен, а эта халтурка – пропуск в печать, а заодно и в Литфонд. Но главное – в кассу».

На деньги, полученные за нелюбую книжицу, Анна Андреевна, перестав пересчитывать рубли-копейки, кое-как обустроила Будку, и у нее наконец-то появились и время, и место, чтобы *сызнова, на старости,* прожить свою уже почти прожитую жизнь – тайно, скрытно, так, чтобы никто, кроме ее «Записных книжек», об этом не подозревал.

Юго-западная сторона петербургских пригородов (Царское Село, Павловск и т. д.) сильно пострадала во время войны и блокады, и ленинградские дачники стали полегоньку обживать северо-восточную часть области. Поначалу мрачноватые финские угодья Ахматову разочаровали: ни царскосельских роскошных лип и столетних дубов, ни павловских веселых куртин, ни дворцов, ни парков – *песок зыбучий по колено* да сосны. Чужие сосны и чужой песок. Прежние знаменитости, те, что до революции дачничали здесь, считались людьми другого круга: Леонид Андреев, Илья Репин, Корней Чуковский. Их невозможно было представить среди «нарядной скуки Царского Села».

Лидия Корнеевна Чуковская, приехав в комаровский Дом творчества, после долгих колебаний решила добраться до Репина. В Репине, бывшей Куоккала, у Чуковских в старые годы, до всего, был загородный дом. Там, по соседству с репинскими *Пенатами,* прошло ее детство. Вернулась в печали: где стол был яств, там гроб стоит. Призналась, что наконец-то поняла отца. Корней Иванович после Гражданской войны и мирного договора с Финляндией тоже съездил туда. Дом был еще цел, но разграблен, осквернен, загажен. Плакал, рассказывая: «Я не люблю вещей, мне нисколько не жаль ни украденного комода, ни шкафа, ни лампы, ни зеркала, но я очень люблю себя, *хранящегося в этих вещах.* Пойдя к себе в баню, я и забыл, что у меня была баня, баня

провалилась и сгнила, я вдруг увидел легкое жестяное ведерко, в котором я таскал с берега камни, воздвигая свою знаменитую «кучу», и чуть не поцеловал эту старую заржавленную рухлядь…»

Что-то похожее говорил и Николай Николаевич, когда незадолго до ареста ездил в Царское Село. И ее звал. Она не поехала. Не ездила и потом. Анна Андреевна тоже любила не вещи, а себя и свое, хранящиеся в этих вещах. Вот только поступала с ними умнее, чем Корней. Превратив в воспоминания, складировала. В погожем сентябре 1958-го, впервые заночевав в Комарове, включила прожектор памяти. Прожектор внимательно ощупал сваленную без всякого порядка, навалом, впрок «заржавленную рухлядь» и не обнаружил ни одной вещи, с которой было бы ностальгически связано ее новое местожительство.

В июне 1959-го, отказавшись от присутствия на вечере в честь своего шестидесятилетнего юбилея, Анна Андреевна спряталась в комаровскую Будку уже надолго. Выйдя из такси, мысленно поклонилась стерегущим ее обитель соснам – сосны не ответили на поклон, даже не поздоровались, царскосельские липы и слепневские березы куда вежливее. Впрочем, вскоре они с ней все-таки подружились. Недели через две, обходя *дозором* свой «участок», Анна Андреевна ахнула: у подножия самой старой и самой важной из ее сосен густо высыпали маслята. Одинаковые, как веснушки. Нагибаться хозяйке «дома сего» было уже трудно, деревья это понимали, но она все-таки, стянув с головы парижский платок, собрала грибы. Все, до единого. Не вырывая, а тихохонько, как в юности, выкручивая коротенькие ножки, чтобы не навредить грибнице. И почистила так, как делали это в Слепневе: *на златом крыльце сидючи,* снимая ловким, особым, грибным ножиком липкую маслянистую шкурку. Сосны порозовели. Радуются, что лесной подарок принят столь благосклонно! Они розовели в каждый погожий день, когда солнце склонялось к закату, но раньше Анна Андреевна этого почему-то не замечала…

В то же долгое юбилейное лето выяснилось, что от Комарова совсем недалеко до Щучьего озера, а от него до залива, откуда в хорошую погоду виден Кронштадт. Дмитрий Хренков, редактор ленинградского отделения издательства «Советский писатель», вспоминает: «Обычно я приезжал в Комарово на машине, и Анна Андреевна часто спрашивала меня, достаточно ли в баке бензина. Это значило, что она хотела бы куда-нибудь прокатиться. Не раз ее и Сильву Соломоновну Гитович я возил на Щучье озеро, спускались мы и вниз, на берег залива. Если день выпадал теплым, Ахматова подолгу сидела на облюбованном камне и

зорко всматривалась в очертания недалекого Кронштадта, словно хотела увидеть что-то очень важное для себя. Ведь в свое время она бывала в Кронштадте, куда возил ее Гумилев».

Камень… Кронштадт… Сбывалось предсказание, сделанное кем-то невидимым в маленькой поэме «Путем Всея Земли», пришедшей к ней ранней весной 1940-го:

Сюда ты вернешься,
Вернешься не раз,
Но снова споткнешься
О крепкий алмаз.

Лирическая героиня этой странной поэмы (А.А. именует ее китежанкой), как и «двойник» Гумилева в «Заблудившемся трамвае», убегая от страшной действительности двадцать первого года, пытается добраться до града Китежа (ахматовский аналог гумилевской «Индии духа»). Но, как и Гумилев, вместо сказочного острова попадает в тот же самый дощатый переулок Царского Села, где стоял когда-то дом ее детства, а неподалеку другой, замужний ее дом, не менее памятный:

«Так, значит, направо?
Вот здесь, за углом?
Спасибо!» – Канава
И маленький дом.
Не знала, что месяц
Во все посвящен.
С веревочных лестниц
Срывается он,
Спокойно обходит
Покинутый дом,
Где ночь на исходе
За круглым столом
Гляделась в обломок
Разбитых зеркал
И в груде потемок
Зарезанный спал.

«Зарезанный» хозяин покинутого дома – прямая отсылка к известной строфе все из того же «Заблудившегося трамвая»: «В красной рубашке, с лицом, как вымя, / Голову срезал палач и мне…»

«Путем Всея Земли» не первое и не второе возвращение в

незабвенное прошлое. Впервые Ахматова рванулась *назад* в сентябре 1921-го, но задержалась там ненадолго. Уж очень плотно было заселено пространство тогдашнего ее существования: разрыв с Шилейко, связь с Лурье, начало романа с Пуниным, и все это на фоне *лебедью плывущей славы…*

Вторая эпоха воспоминаний, главным героем которой также является Николай Гумилев, длилась четыре с лишним года: с декабря 1924-го по конец 1929-го. Все это время вместе с Павлом Лукницким А.А. работала над материалами к «Трудам и дням Н.С.Гумилева». Затем в их посмертном общении наступил семилетний перерыв, продлившийся до первой попытки разрыва с Пуниным. Тем летом она подарила Эмме Герштейн автограф «Заклинания», написанного в день пятидесятилетия Николая Степановича, 15 апреля 1936 года:

Из тюремных ворот,
Из-за охтинских болот,
Путем нехоженым,
Лугом некошеным,
Сквозь ночной кордон,
Под пасхальный звон,
Незваный, несуженый,
Приди ко мне ужинать.

Ужин, споткнувшись об «острый алмаз» *могучих обстоятельств,* уже не личных, а общих всем, не состоялся, пришлось его отложить. В посмертном диалоге Ахматовой с Гумилевым вновь наступил долгий промежуток. *Третья эпоха воспоминаний* совпала с ее шестидесятилетием, кончилась вместе с жизнью, а началась с *возвращения* в Слепнево в последнее, в 1917-м, лето, когда А.А. ждала обещанного мужем вызова в Париж или хотя бы письма от него. Готовая в любую минуту сорваться, набила вещами, своими и Левушкиными, парные дорожные баулы (свадебный подарок кузины Нанички). Слишком хорошо зная, что без крупного разговора Анна Ивановна внука из рук не выпустит, тщательно скрывала от свекрови и дорожные сборы, и чемоданное нетерпение. Но конверт с парижским штемпелем, как мы уже знаем, пришел только в октябре, за неделю до выстрела «Авроры», на адрес Срезневских, своего у нее теперь, после того как Гумилевы продали дом в Царском Селе, уже не было…

В проекции ахматовских ретроспекций превращенный в воспоминание Гумилев («ты превращен в мое воспоминанье») стал больше, лучше и даже прекраснее себя живого –

единственный из любивших ее мужчин, он с блеском выдержал экзамен на Героя, а все остальные с треском провалились. Почти все друзья и приятельницы поздних ахматовских лет свидетельствуют: в старости Анна Андреевна вспоминала Гумилева чаще, чем других мужчин своей жизни, и как-то иначе. Действительно, в последние свои годы, вроде бы заласканная поклонницами и поклонниками и тем не менее такая же одинокая, какой была в первую послереволюционную зиму, когда Николай Степанович «забыл ее на дне», Анна Андреевна нет-нет да и ловила себя на том, что в минувшем ее волнует только то, что имело или все еще имеет отношение к Николаю Степановичу, остальное еле брезжило на грани тьмы и полусвета. «Нет настоящего, прошлым горжусь…» В 1922-м, когда случились эти строки, у нее было и настоящее, и будущее, но стихи, обогнав время, предсказали ее теперешнюю жизнь, присыпанную, как пылью, мелочевкой, суетой, праздным духом милого ардовского дома…

И родные Николая Степановича, и друзья были уверены: Гумилев, как и остальные офицеры русского экспедиционного корпуса, в красную Россию не вернется. Гумилев вернулся. В 1921-м Анна Андреевна объясняла неразумный поступок мужа тем, что Николай Степанович совершенно не разбирался в политике. Толстой, тогда еще не классик советской литературы, а просто Алешка, по дружбе попытался втолковать *Аннушке,* что возвращение Николая в большевистскую Россию – авантюра в высшем смысле, «у бездны мрачной на краю», что Гумилев из той породы мужественных безумцев, кому близость гибели дарит «неизъяснимы наслажденья». Анна версию Толстого не приняла, «замкнула слух»: мужество, мол, не в том, чтобы лезть под удар, а в том, чтобы ни единого удара не отклонить от себя. Потом, лет через сорок, она придумает новое объяснение: дескать, Коля вернулся из-за нее. В душную августовскую ночь с 3 на 4 августа 1961 года (напомню: Гумилева арестовали в ночь с 3 на 4 августа 1921 года) Ахматова написала такие стихи:

Всем обещаньям вопреки
И перстень сняв с моей руки,
Забыл меня на дне…
Ничем не мог ты мне помочь.
Зачем же снова в эту ночь
Свой дух прислал ко мне?
Он строен был, и юн, и рыж,
Он женщиною был,
Шептал про Рим, манил в Париж,

Как плакальщица выл…
Он больше без меня не мог:
Пускай позор, пускай острог…
Я без него могла —
Смотреть, как пьет из лужи дрозд
И как гостей через погост
Зовут колокола.

При публикации, столкнувшись с непониманием, она сняла последние три строки. У текста появилась условно-приблизительная цельность, но понятнее он не стал, ибо ключ к зашифрованному сюжету именно в последних строчках: через погост, когда спадал зной и на колоколенке ближайшего монастыря начинали звонить к поздней обедне, из Борискова и из Поддубина шли и ехали в Слепнево гости… Однако в 1961-м очередной выход на связь с Гумилевым (Ахматова как-то призналась Лукницкому, что ее разговор с Гумилевым не прерывается никогда) объясняется не только внезапным приступом ностальгии. И не для жалоб на постылое настоящее вызван его дух. В 1961-м у Ахматовой были причины многое в своем прошлом переосмыслить, и прежде всего – отношение к «уехавшим», а значит, как бы обсудить с Колей эмигрантский вариант их судьбы. В двадцатых годах для тех, кто «бросил землю», у нее было одно негативно окрашенное слово: отступники. В шестидесятых, когда приоткрылись границы и слово *эмигрант* перестало быть бранным, Ахматова впервые представила себе, как могла бы сложиться и ее жизнь, и жизнь Гумилева, а главное, Левушкина судьба, если бы Николай Степанович успел вызвать семью в Париж месяцем раньше. Или наоборот: случись революция несколькими месяцами позже, и они воленс-ноленс осели бы во Франции. Николай наверняка не уцелел бы в большой войне, но за почти двадцать мирных лет из поэта великих, но не до конца реализованных возможностей стал бы великим поэтом. Ахматова была убеждена: Николаю не хватило для этого всего нескольких годов жизни. Кроме того, именно Гумилев, при его феноменальных организаторских способностях и столь же феноменальной контактности, наверняка сумел бы поставить издательское и вообще литературное дело русского зарубежья так широко и профессионально, что оно не замкнулось бы на проблемах своей диаспоры, самолюбиво и провинциально отгородившись от культурной жизни Европы. А в скольких экспедициях – географических, этнографических, археологических и т. д. и т. п. – он мог бы принять самое

деятельное участие, и сколько открытий чудных принесла бы науке его странная склонность к нестандартным идеям и решениям! И Гумилев-младший не в пятьдесят, а в тридцать доказал бы миру, что он блистательный историк. И пятнадцать лет каторги, и десятилетия изгойства не изуродовали бы его психику. Им всем троим *подменили жизнь,* но не без их же помощи – и у Николая Степановича, и у нее была возможность спрыгнуть с подножки «заблудившегося трамвая». Гумилев понял это раньше, чем она, и все-таки слишком поздно, когда уже ничего нельзя было изменить:

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскользнули сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трем мостам…

Был, был у Николая страшный и прекрасный дар – прозревать грядущее. Даже спустя жизнь Анна помнит, где и когда он ей про это говорил, – в Крещенье в 1904 году, когда провожал, высмотрев на катке.

«Я из породы волхвов, в детстве говорили: колдовской ребенок, помните, у кристального Пушкина: грядущие годы таятся во мгле, но вижу твой жребий на светлом челе… Про других, чужих – не знаю, и про Вас тоже – не ведаю, а свой жребий чую…»

О том, что в шестидесятые годы проблема эмиграции сильно занимала А.А., свидетельствует и еще одно странное четверостишие той же поры. Вот это:

Меня бы не узнали вы
На пригородном полустанке
В той молодящейся, увы,
И деловитой парижанке.

Судя по мемуарным заметкам, оно удивило даже ближайших подруг несостоявшейся деловитой парижанки. Лидия Корнеевна, хотя и догадывалась, что А.А. подобрела к *бросившим землю,* была почему-то уверена, что в ахматовском случае этот вариант невозможен. И вдруг… Спросить, правда, не осмелилась. Да Ахматова и не смогла бы ответить что-нибудь внятное, если бы Чуковская все-таки спросила: а что стало бы с вашей поэзией, если бы вы оказалась там… Проще всего было решить раз и навсегда: на чужбине она перестала бы писать. Но это – игра в

поддавки, потому что лучшие свои вещи Цветаева создала не здесь, а там; вернувшись, Марина замолчала: молчание и накинуло на певчее ее горло самоубийственную петлю. И Георгий Иванов из *Жоржика* в эмиграции стал поэтом. А Набоков? А Бунин? Ни стихов, ни прозы молодого, еще здешнего Бунина Анна Андреевна не любила, и не только потому, что не могла простить злую и мстительную эпиграмму, в которой Иван Алексеевич с какой-то бабьей истеричностью изобразил ее костлявой мегерой. Стихам недоставало силы, прозе – энергии. Нобелевскую премию Бунина она считала сугубо политическим актом, и тем не менее, читая его эмигрантские вещи, вспоминала Мюссе: «Я пью из небольшого стакана, но он мой». «Полынью пахнет хлеб чужой»? Литература не хлеб, полынная горечь ей не противопоказана…

Из страны воспоминаний в белодневность Ахматову выдернул процесс Бродского, и вряд ли в ближайшее время она бы туда вернулась, если бы к ней на Ордынку не пришел Зенкевич. Неожиданно – Анна Андреевна его совсем не ждала. Впрочем, Зенкевич всегда приходил неожиданно, редко, но регулярно. Приносил очередной сборник переведенных стихов. Кажется, были и свои, но Ахматова их не читала, только перелистывала, потому что они были написаны человеком с запечатанным сердцем. Потом книжечки таинственным образом исчезали. Она их не искала и о пропаже не жалела, уверенная, что у тех, кто «стибрил», сохранятся лучше, нежели у нее. Но в 1964-м Михаил Александрович принес не стихи, а прозу – машинопись беллетристических мемуаров «Мужицкий сфинкс». Вручая аккуратную папку, коротко изложил историю рукописи: начал писать в 1921-м, после казни Гумилева. В 1926-м окончил вчерне и отложил, не до того было: женился, поступил на службу, потом достал из-под спуда и колдовал над текстом еще год. А.Н.Тихонов, в ту пору директор издательства «Федерация», помнивший и автора, и его героев по совместной работе во «Всемирной литературе», собирался издавать, расходы на перепечатку оплатил, но не издал.

…Дождавшись, пока Ардовы утихомирятся, Анна Андреевна плотнее прикрыла дверь и сдвинула лампу на самый край прикроватной тумбочки. За сорок лет подпольного прозябания машинопись пожелтела и стала хрупкой, но шрифт четкости почти не утратил. Читать внимательно и с самого начала про «мужицкого сфинкса» не хотелось, она раскрыла *мемуар* наугад. Оказалось, однако, что именно на той странице, где Михаил Александрович вспоминал совсем не про мужицкое, а, судя по деталям, подробности их мимолетного, полувековой давности,

коротенького полуромана:

«…Беглые, урывками встречи (она всегда куда-нибудь торопилась) и неожиданное для обоих сближение, сладостное и мучительное, короткое, после поездки на острова, в кабинете ресторана, под электричеством, с губами, пахнущими свежестью невского ледохода и настоем только что выпитого ликера… Испугавшись неожиданного сближения, она стала избегать меня… Я мучительно ревновал, добивался свиданий, а тут еще вечер в "Бродячей собаке" и ухаживания Гумилева… Может быть, в этом не было ничего особенного. Но в подвале "Бродячей собаки", где терялись представления о времени, где в ароматах духов и сигар еще прела плесень щелока и застарелого ревматизма прачек, где на сырой штукатурке стен изысканнейшими художниками были намалеваны яркие извращенные изображения женщин, птиц и плодов, там все, особенно перед рассветом, принимало необычайные, фантастические размеры, такие же, как моя ревность. С отчаянием блоковского Арлекина смотрел я, как усадил Гумилев мою подругу в извозчичью пролетку… Во что бы то ни стало я хотел увидеть ее и объясниться. Объяснение ни к чему не привело… Ее рассказ о том, что она обещала Гумилеву быть у него в четыре дня в редакции «Аполлона», еще более воспалил мою дикую ревность… На Морской я зашел в охотничий магазин и неторопливо, советуясь с приказчиком, чтобы не выдать себя… выбрал длинный кинжал, каким прикалывают затравленного волка или кабана… Ровно в четыре часа я позвонил по телефону ей. Нежным усталым голосом она жаловалась на дурное настроение, говорила, что не будет у Гумилева… Я чувствовал себя как приговоренный к смертной казни при объявлении о помиловании. В редакцию «Аполлона»… я все же зашел. Как ни в чем не бывало, сидел и дружески разговаривал с Гумилевым. Только раз при взгляде на его цветной жилет вспомнил, что вот сюда, распарывая материю, должен был вонзиться глубоко тот охотничий кинжал, что лежит у меня там, в боковом кармане пальто…»

И перо, и память у автора «беллетристических мемуаров» были точными, и попади ей эта проза лет тридцать назад… Но сейчас Анне Андреевне сделалось скучно, глаза слипались… Длинный охотничий кинжал – какая бульварщина! Она с натугой затолкала рукопись под подушку, достала из сумочки нитроглицерин и выключила лампу. Но уснуть не удалось.

…Она уже замужем была, все свои знали, Мишенька же, как всегда, не в курсе. Кинулся к ней, лестница в «Аполлоне» мраморная, дорожка ковровая, они внизу, Гумилев наверху. *Не*

поднимайтесь, Аничка, я – мигом. Коля ей на людях и после свадьбы иногда «вы» говорил… Но тогда еще и «Собаки»-то не было… А вот цветной жилет у Гумилева и впрямь был, надо же, запамятовала, ей не нравилось, да-да, был, наверное, в Париже тайком от нее купил. Дорогой, модный, Николаю не шел, она его Блоком язвила: «Шотландский плед, цветной жилет, ваш муж презрительный эстет»… Сколько же лет между смешной сценой в «Аполлоне» и поездкой на острова пролетело? Три? Четыре? Выходит, четыре… В ресторане, на островах, когда целовались, сказала… Как-то так сказала. Кажется, так. Мне теперь все можно, мы с Николаем Степановичем разошлись. Пока, мол, у подруги поживу, квартира огромная, детей нет, мы с ней с детства дружны. И телефон Срезневских продиктовала. Мишенька его на меню записал. Туда, наверное, и звонил. После ресторана она действительно старалась избегать его. В «Собаке» садилась подальше, не за свой столик. Благо и граф Зубов в ту зиму зачастил в их богемный уют. За графом, как за оградой, не перемахнешь, не присоседишься. И вдруг Гумилев заявился, два дня пропадал. Ни в Царском, ни на Тучке. Ищи-свищи. А в «Собаке» сразу к ней кинулся. Зубов скривился и откланялся. Гумилев просветлел и закавалерился. Еще бы! Виноватый. И к Вале отвез, когда попросила – *у меня жар, Коля.* Вот Зенкевич и взревновал. Как долго она ничего такого в его поведении не замечала? А когда заметила… Дату, как и весь тот день, точнее, ночь в «Собаке», а потом в мерзком ресторанчике на островах, поутру, проснувшись, «вынула» из памяти. Тогда у нее такие фокусы замечательно получались. И всю жизнь спокойно и ясно глядела Михаилу Александровичу в глаза, как если бы меж ними ничего и никогда не было. И только через полвека… Надо же, как совпало, ровно через полвека!

Почти месяц пожелтевший «Сфинкс» дремал на подоконнике. Перед самым отъездом в Ленинград Анна Андреевна, усовестившись, все-таки заставила себя хотя бы его полистать. И сразу же наткнулась на такое, что тут же попросила Нину Антоновну обменять билет… Она же уже почти доказала и граду и миру, что Николай Степанович никакого отношения ни к «заговору Таганцева», ни к Кронштадтскому мятежу, ни к созданной «профессором географии» Петроградской Боевой Организации никакого отношения не имел, а в «Сфинксе» именно Гумилев, а не краснобай Таганцев – главный организатор и координатор боевых операций. Таганцев в «беллетристических мемуарах» Зенкевича только витийствует, а действует Гумилев, не сам, конечно, через надежных людей. По Зенкевичу выходило, что и убийство Урицкого (осенью 1918 года), и действия Ленечки

Канегиссера, приговоренного к смертной казни за выстрел в председателя Петроградской ЧК, – звенья одной цепи, которую и закручивает, и раскручивает Николай Степанович. И везде рядом с ним некая Эльга, *мистическая и великолепная.* Господи, да это же чуть ли не цитата из пунинского дневника! В панике А.А. вызвонила Лукницкого – на конец года запланирована ее поездка в Италию: а вдруг *там,* где проверяют документы, обнаружат что-нибудь подобное тому, что насочинял Зенкевич? Лукницкий ее успокоил: в деле Гумилева, помимо уже известного, ничего крамольного нет. Анна Андреевна вздохнула с облегчением и, возвращая Зенкевичу рукопись, сказала самым вальяжным, самым королевским из своих голосов: «Какая неправдоподобная правда!»

Правда, как выяснилось с годами, оказалась очень даже правдоподобной. После смерти Зенкевича его вдова А.Н.Зенкевич вынула из письменного стола мужа тот самый длинный охотничий кинжал, который А.А. сочла беллетристической выдумкой, а его внук, публикуя рукопись, обнародовал следующие слова Александры Николаевны: «При жизни автора я была связана словом: "Рукопись не читать!" Тем сильнее книга произвела на меня впечатление теперь… Кто Эльга? Конечно, Ахматова: точнее, она стала прообразом этой демонической героини. С ней у Михаила Александровича связана, по-видимому, лирическая история предреволюционных лет, едва не закончившаяся трагедией. Долгие, долгие годы в нашем доме сохранялся кинжал (охотничий нож). Его истории я не знала. В 1973 году Михаил Александрович скончался. И когда я впервые вынула нож-кинжал из стола – потемневший, страшный, мне стало не по себе».

В потайном ящике вдова Зенкевича обнаружила не только страшный кинжал, показавшийся Ахматовой беллетристической выдумкой, но и много прекрасных стихов, ей посвященных, причем не только дореволюционной поры. Например, такое:

Богиня к смертному на ложе
По прихоти небес сошла,
Слилась на миг в любовной дрожи
И вознеслась, чиста, светла.
Она – с богами в светлом круге,
А он блаженством с ней сожжен
И не найдет себе подруги
Средь девушек земных и жен.

Однотомник М.А.Зенкевича «Сказочная эра» вышел в свет в 1994 году, а через десять лет «Молодая гвардия» опубликовала

книгу младшего сына Николая Гумилева, Ореста Высотского «Николай Гумилев глазами сына», включив в приложение сенсационный документ – до сих пор в России неизвестное письмо Бориса Сильверсвана А.В.Амфитеатрову от 20 сентября 1931 года. Выдержка из него, которую я сейчас процитирую, ставит под сильное сомнение общепринятую ныне версию гибели Н.С.Гумилева:

«Дорогой Александр Валентинович!.. Прочитал вашу статью в «Сегодня» о Гумилеве и хотел бы сообщить вам кое-что известное мне. Гумилев, несомненно, принимал участие в таганцевском заговоре и даже играл в нем видную роль; он был арестован в начале августа, выданный Таганцевым, а в конце июля он предложил мне вступить в эту организацию… он сообщил мне тогда, что организация состоит из «пятерок»; членов каждой пятерки знает только ее глава, а эти главы пятерок известны самому Таганцеву; вследствие летних арестов в этих пятерках оказались пробелы, и Гумилев стремился к их заполнению; он говорил мне также, что разветвления заговора весьма многочисленные и захватывают влиятельные круги Красной армии; он был чрезвычайно конспиративен…»

Но неужели Анна Андреевна не допускала, что Николай и в самом деле *принимал участие в таганцевском заговоре и даже играл в нем видную роль?* Лично я в этом сомневаюсь. Кто-кто, а она-то знала, что отец ее сына никогда и никому ни своих истинных чувств, ни тайных мыслей не открывал. А если знала, с какой стати не уставала повторять, ссылаясь на *слова* Гумилева, произнесенные вслух, прилюдно, что политика его не интересует и что для большевиков он ясен как стеклышко: у них своя линия – коммунистическая, а у него своя – поэтическая? И неужели не сопоставляла два подозрительных числа: возвращение Николая Степановича из безопасного Лондона в красную (опасную) Россию – май 1918-го – и выстрел Ленечки Канегиссера – август того же года? А его неожиданный приход к ней летом 1921-го вместе с уже решившим для себя вопрос об эмиграции Георгием Ивановым? Ведь тем же летом – через Латвию – утекли за границу и брат Николая с женой, и Ольга Кузьмина-Караваева, и вообще все их слепневские соседи… Больше того, в те же самые дни Гумилев, по свидетельству Василия Ивановича Немировича-Данченко, обсуждал с ним план бегства из «советского рая»:

«Я хотел уходить через Финляндию, он через Латвию… Накануне своего ареста он еще раз заговорил о неизбежности уйти из России: "Ждать нечего. Ни переворота не будет, ни Термидора. Эти каторжники крепко захватили власть. Они опираются на две армии: красную и армию шпионов. И вторая

гораздо многочисленнее первой. Я удивляюсь тем, кто составляет сейчас заговоры… Слепцы, они играют в руки провокации. Я не трус. Борьба моя стихия, но на работу в тайных организациях я теперь бы не пошел"».

Обратим внимание на уточнения. Гумилева удивляют не вообще все те, кто составляет заговоры, а те, кто делает это *сейчас;* и на работу в тайных организациях он бы не пошел именно *теперь.* Сейчас – то есть после подавления Кронштадского мятежа, в подготовке которого, судя по свидетельству Бориса Сильверсвана, были задействованы и влиятельные круги Красной Армии; *теперь* – значит после ареста Таганцева, который *выдает…*

Мемуары Немировича-Данченко опубликованы в 1924 году в зарубежной печати, но осенью 1921-го он еще был в Петрограде и, разумеется, из своих бесед с Гумилевым накануне его ареста тайны не делал. Сама Анна Андреевна с Немировичем в те месяцы не общалась, но Зенкевич, приехавший в Питер осенью 1921-го, разыскивая Анну, наверняка слышал своими ушами многое из того, что по известным причинам в печать либо не попало, либо попало в сильно адаптированном виде…

Больше того, разве могла Ахматова, при ее сверхзоркости, не обратить особого внимания на самое последнее стихотворение Гумилева – Павел Лукницкий нашел этот текст, разбирая его бумаги:

После стольких лет
Я пришел назад,
Но изгнанник я,
И за мной следят…

«Белодневная», многолюдная «Поэма…», которая, по словам А.А., сгущаясь, словно волшебный напиток, превращается в биографию автора, вернее, в ее внешнюю, как бы парадную биографию, оставлена *без героя.* Зато в другой – *рядом с нею идет иная, в которой* – героиня всегда говорит *с одним,* и этот *один* не просто герой в значении центральный сюжетообразующий *персонаж,* он и в самом деле – Герой. Публикуя «Китежанку» («Путем Всея Земли») Ахматова предпослала ей разъяснение:

«В первой половине марта 1940 года на полях моих черновиков стали появляться ни с чем не связанные строки… Смысл этих строк казался мне тогда темным и, если хотите, даже странным, они довольно долго не обещали превратиться в нечто целое и как будто были обычными бродячими строчками, пока не пробил их час и они не попали в тот горн, откуда вышли такими,

какими вы видите их здесь. Осенью того же года я написала еще три не лирических вещи. Сначала хотела присоединить их к «Китежанке» и написать книгу "Маленькие поэмы", но одна из них, "Поэма без героя", вырвалась, перестала быть маленькой, а главное, не терпит никакого соседства; две другие – "Россия Достоевского" и "Пятнадцатилетние руки" претерпели иную судьбу: они, по-видимому, погибли в осажденном Ленинграде, и то, что я восстановила по памяти уже здесь, в Ташкенте, безнадежно фрагментарно. Поэтому «Китежанка» осталась в гордом одиночестве, как говорили наши отцы».

«Китежанка» в гордом одиночестве не осталась. «Поэма без героя» и в самом деле вырвалась, отделилась, «переселилась» в столицу, зато две другие ее «соседки», хотя и изменили и название,[77] и жанр (не найдя этому странному жанру имени, Ахматова назвала их «элегиями»), но родства с «Путем Всея Земли» они не утратили. Первой части «Поэмы без героя» Ахматова дала подзаголовок «Петербургская повесть» – «Северные элегии» повествуют о допетербургском, царскосельском периоде жизни героини; здесь, как и в «Китежанке», как и в гумилевском «Заблудившемся трамвае», центральным местом поэтического пространства, его центром является мир Царского Села, то есть тот мир, который был их общим с Гумилевым миром. Недаром с таким старанием Ахматова искала и находила царскосельские реалии даже в самых ранних его стихах. Многозначительны и эпиграфы, выбранные А.А. для «Северных элегий»: ко всему циклу – из Пушкина: *«Все в жертву памяти твоей»*, а к элегии второй «О десятых годах» – из Гумилева: *«Ты – победительница жизни, И я – товарищ вольный твой».*

Все это вместе взятое, думаю, объясняет загадочное, непонятное название одного из самых сильных, а на мой взгляд, самого сильного из последних ахматовских стихотворений – «Через 23 года». Стихи не просто замечательные – они пронзительные. Но почему названы так? Думаю, потому, что это не что иное, как Эпилог к созданному весной 1940-го *в жертву памяти* Гумилева *царскосельскому триптиху* – «Китежанка», «Россия Достоевского», «Пятнадцатилетние руки», то есть ровно 23 года тому назад:

Я гашу те заветные свечи,
Мой окончен волшебный вечер, —
Палачи, самозванцы, предтечи
И, увы, прокурорские речи,
Все уходит – мне снишься ты,
Доплясавший свое пред ковчегом.

За дождем, за ветром, за снегом
Тень твоя над бессмертным брегом,
Голос твой из недр темноты.

И по имени! Как неустанно
Вслух зовешь меня снова… «Анна!»
Говоришь мне, как прежде, – ты.

13 мая 1963
Комарово

В последние свои годы Ахматова довольно аккуратно ставила под стихами даты, обозначала иногда и место их рождения. Но только в этом, единственном, кроме места и времени, указано, какая погода была в Комарове, когда она, во сне, услышала вырвавшийся из недр темноты голос, когда за дождем и ветром обозначилась «безутешная тень»: *холодно, сыро, мелкий дождь.*

Список литературы

Ахматова А. Собрание сочинений: В 2 т. – М.: Правда, 1989.

Ахматова А. Собрание сочинений: В 6 т. – М.: Эллис Лак, 19982000.

Ахматова А. О Пушкине: Статьи и заметки. – М.: Книга, 1989.

Записные книжки Анны Ахматовой (1958–1966). – М.-Torino, 1996.

Агеева А. «Петербург меня победил…»: Документальное повествование о жизни Е.Ю.Кузьминой-Караваевой – матери Марии. – СПб.: Издательство «Журнал „Нева“», 2003.

Алексеева А. «Я часто скачу по полям, крича навстречу ветру ваше имя…» (О переписке Н.С.Гумилева и Л.М.Рейснер) // Хроно граф-89. – М.: Московский рабочий, 1989.

Амедео Модильяни в воспоминаниях дочери и современников. – М.: ГАЛАРТ, 1995.

Анна Ахматова в записях Дувакина. – М.: Наталис, 1999.

Анна Ахматова и русская культура начала XX века. Тезисы конференции. – М., 1989.

Ахматовские чтения. Выпуски 1–3. – М.: Наследие, 1992.

Ахматовский сборник / Сост. Сергей Дедюлин (Париж) и Габриэль Суперфин (Мюнхен). Вып. 1. – Париж: Институт славяноведения, 1989.

Бабаев Э. Воспоминания. – СПб.: ИНАПРЕСС, 2000.

Белкина М. Скрещение судеб. – М.: Книга, 1988.

Берберова Н. Курсив мой. – М.: Согласие, 1996.

Блок Л. Две любви, две судьбы. Воспоминания о Блоке и Белом. – М.: XXI век – Согласие, 2003.

Блоковский сборник. Труды научной конференции, посвященной изучению жизни и творчества А.А.Блока, май 1962. – Тарту, 1964.

Верболовская И. Горькой любовью любимый: Петербург Анны Ахматовой. – СПб.: Издательство «Журнал „Нева“», 2002.

Виленкин В. В сто первом зеркале… – М.: Советский писатель, 1990.

Виленкин В. Модильяни. – М.: Терра – книжный клуб, 2001.

Вильмонт Н. О Борисе Пастернаке: Воспоминания и мысли. – М.: Советский писатель, 1989.

Виноградов В. О поэзии Анны Ахматовой (стилистические наброски). – Л., 1925.

ВишневецкийИ. Евразийское уклонение в музыке 1920-1930-х годов: История вопроса. Статьи и материалы А.Лурье, П.Сувчинского, И.Стравинского, В.Дукельского, С.Прокофьева,

И.Маркевича: Монография. – М.: Новое литературное обозрение, 2005.

Воспоминания об Анне Ахматовой. – М.: Советский писатель, 1991.

Вспоминая Ахматову. Иосиф Бродский – Соломон Волков. Диалоги. – М.: Независимая газета, 1992.

Высотский О. Николай Гумилев глазами сына / Сост. Г.Н.Красникова, В.П.Крейда. – М.: Молодая гвардия, 2004.

Герцык Е. Воспоминания: Мемуары, записные книжки, дневники, письма. – М.: Московский рабочий, 1996.

Герштейн Э. Мемуары. – М.: ИНАПРЕСС, 1998.

Гиппиус З. Живые лица. Воспоминания. – Тбилиси: Мерани, 1991.

Голлербах Э. Встречи и впечатления. – М.: ИНАПРЕСС, 1998.

Гордин Я. Перекличка во мраке. Иосиф Бродский и его собеседники. – СПб.: Издательство «Пушкинского фонда», 2000.

Григорьев С. Балет Дягилева / Пер. с англ. Чистяковой Н.А. – М.: АРТ СТД РФ, 1993.

Громова Н. Все в чужое глядят окно. – М.: Коллекция «Совершенно секретно», 2002.

Гуль Р. «Я унес Россию…»: Апология эмиграции в трех томах. – М.: Б.С.Г.-Пресс, 2001.

Гумилев Л. Поиски вымышленного царства. – М.: АСТ, 2002.

Гумилев Н. Стихи. Поэмы / Предисл. Енишерлов В.П.; авт. биогр. очерка и коммент. Лукницкая В.К. – Тбилиси: Мерани, 1988.

Давидсон А Николай Гумилев. Поэт, путешественник, воин. – Смоленск: Русич, 2001.

Демин В. Лев Гумилев. – М.: Молодая гвардия, 2007.

Зенкевич М. Сказочная эра: Стихотворения. Повесть. Беллетристические мемуары / Сост., подгот. текста, прим., краткая биохроника С.Е.Зенкевича; вступ. ст. Л.А.Озерова. – М.: Школа-Пресс, 1994.

Зубов В. Павел I / Пер. с нем. В.А.Семенова. – СПб.: Алетейя, 2007.

Зубов В. Страдные годы России. – М.: Индрик, 2004.

Иванов Г. Собрание сочинений: В 3 т. – М.: Согласие, 1994.

Кац Б., Тименчик Р. Анна Ахматова и музыка: Исследовательские очерки. – Л.: Советский композитор, 1989.

Козловская Г. Дни и годы одной прекрасной жизни. Воспоминания об Алексее Козловском. – Ташкент, 1990. (Рукопись из личного архива М.А.Давыдова.)

Кралин М. Артур и Анна. Роман без героя, но все-таки о любви. – Томск: Водолей, 2000.

Кралин М. Артур и Анна: Роман в письмах. – Л., 1990.

Кузин Б. Воспоминания. Произведения. Переписка (Дополнения Мандельштам Н.Я. 192 письма к Б.С.Кузину). – СПб.: ИНАПРЕСС, 1999.

Луговская Т. Как знаю, как помню, как умею: Воспоминания, письма, дневники. – М.: Аграф, 2001.

Лукницкая В. Николай Гумилев: Жизнь поэта по материалам домашнего архива семьи Лукницких. – Л.: Лениздат, 1990.

Лукницкий П. Встречи с Анной Ахматовой. – Париж-Москва: Русский путь, 1924–1927.

Мандельштам Н. Воспоминания: В 2 т. – М.: Вагриус, 2006.

Мок-Бикер Э. «Коломбина десятых годов…»: Книга об Ольге Глебовой-Судейкиной. – Париж: Издательство Гржебина; СПб.: Арсис, 1903.

Муратов П. Образы Италии. – М.: Республика, 1994.

Н.Гумилев и русский Парнас. Материалы научной конференции 17–19 сентября 1991 г. – СПб., 1992.

Найман А Рассказы о Анне Ахматовой. – М.: Вагриус, 1999.

Найман А Сэр. – М.: ЭКСМО-Пресс, 2001.

Недошивин В. Прогулки по Серебряному веку: Дома и судьбы. – СПб.: Литера, 2005.

Никитин А. Неизвестный Николай Гумилев // Вопросы литературы. – 1994.

Об Анне Ахматовой: Стихи, эссе, воспоминания, письма / Сост. М.М.Кралин. – Л.: Лениздат, 1990.

Одоевцева И. На берегах Невы. – СПб.: Азбука, 2006.

Одоевцева И. На берегах Сены. – СПб.: Азбука, 2006.

Орлова Е. Литературная судьба Н.В.Недоброво. – М.-Томск: Водолей, 2004.

Оцуп Н. Океан времени: Стихотворения. Дневник в стихах. Статьи и воспоминания. – СПб.: Logos, 1994.

Петербург Ахматовой: Владимир Георгиевич Гаршин. – СПб.: Невский Диалект, 2002.

Петербург Ахматовой: семейные хроники. Зоя Борисовна Томашевская рассказывает. – СПб.: Невский Диалект, 2001.

Попова Н., Рубинчик О. Анна Ахматова и Фонтанный Дом. – СПб.: Невский Диалект, 2000.

Примочкина Н. М.Горький и журнал «Русский современник» // Новое литературное обозрение. – № 26 (1997).

Пунин Н. Мир светел любовью. Дневники. Письма. – М.: Артист, 2000.

Пунин Н. О Татлине. Архив русского авангарда. – М., 2001.

Пяст В. Встречи. – М.: Новое литературбное обозрение, 1997.

Раневская Ф. Судьба-шлюха / Авт. – сост. Д.А. Щеглов. – М.:

Олимп: АСТ, 2002.

Тименчик Р. Анна Ахматова в 1960-е годы. – М.: Водолей, 2005.

Фарджен А Приключения русского художника / Пер. с англ. Нины Жутовской // Звезда. – 2003.

Хейт А Анна Ахматова. Поэтическое странствие: Дневники, воспоминания, письма А.Ахматовой / Пер. с англ. – М.: Радуга, 1991.

Хренков Д. Анна Ахматова в Петербурге-Петрограде-Ленинграде. – Л.: Лениздат, 1989.

Черубина де Габриак. Исповедь. – М.: Аграф, ЛТД, 1999.

Чуковская Л. Записки об Анне Ахматовой: В 3 кн. – М.: Время, 2007.

Чуковский К. Дневник (1901–1902). – М.: Современный писатель, 1997.

Чуковский. К. Дневник (1930–1966). – М.: Современный писатель, 1997.

Чулков Г. Годы странствий / Вступ. статья, сост., подгот. текста, коммент. М.В.Михайловой. – М.: Эллис Лак, 1999.

Шилейко В. Пометки на полях. Стихи. – СПб.: Издательство Ивана Лимбаха, 1999.

Шилейко В. Последняя любовь: Переписка с Анной Ахматовой и Верой Андреевой. – М.: Вагриус, 2003.

«Я всем прощение дарую…». Ахматовский сборник. – М.-СПб.: Альянс-Архео, 2006.

Анна Горенко. Евпатория, 1906

Родители: Андрей Антонович Горенко и Инна Эразмовна

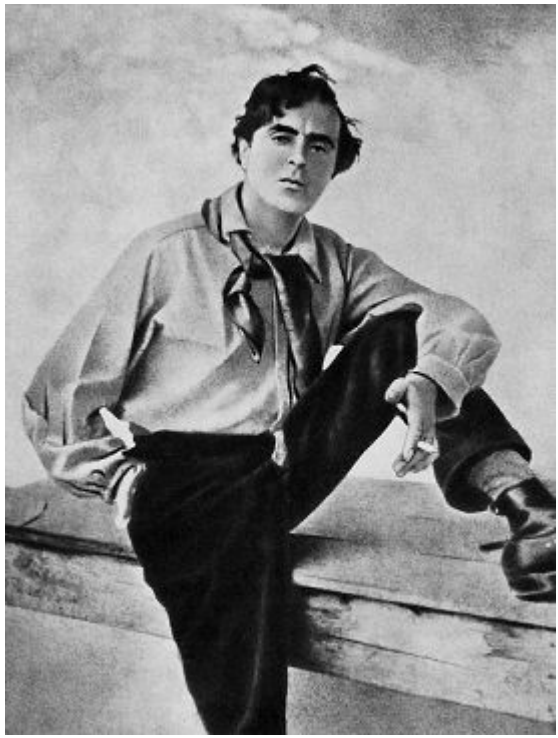
Горенко (Стогова)

Анна Горенко в 16 лет

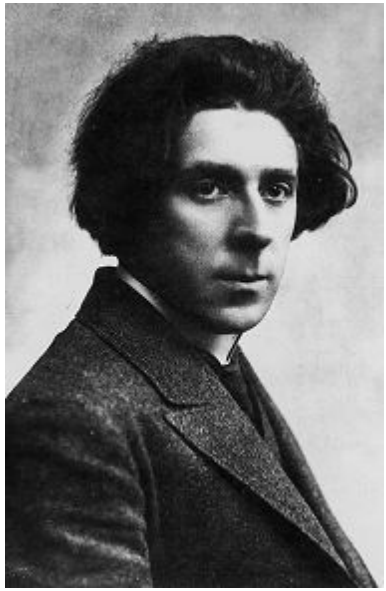
Николай Гумилев и Анна Ахматова с сыном Львом. 1915

Лев Гумилев. 1932

Заключенный Б-739



Амедео Модильяни



Георгий Иванович Чулков

Анна Ахматова. Рисунок А.Модильяни. 1911

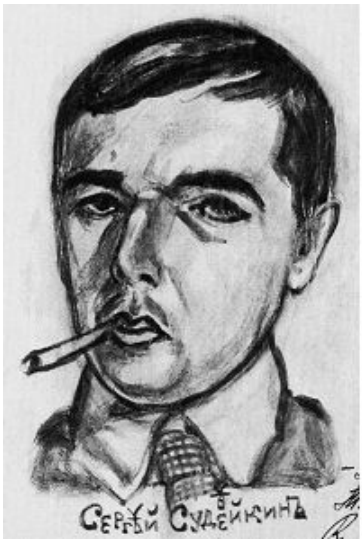
Фронтиспис книги А.Ахматовой «Вечер». Художник Е.Лансере

Александр Блок. Портрет работы К.Сомова

«Башня» Вяч.Иванова (Таврическая ул., 35)

Анна Ахматова. Фото М.Наппельбаума

Анна Ахматова и Ольга Глебова-Судейкина



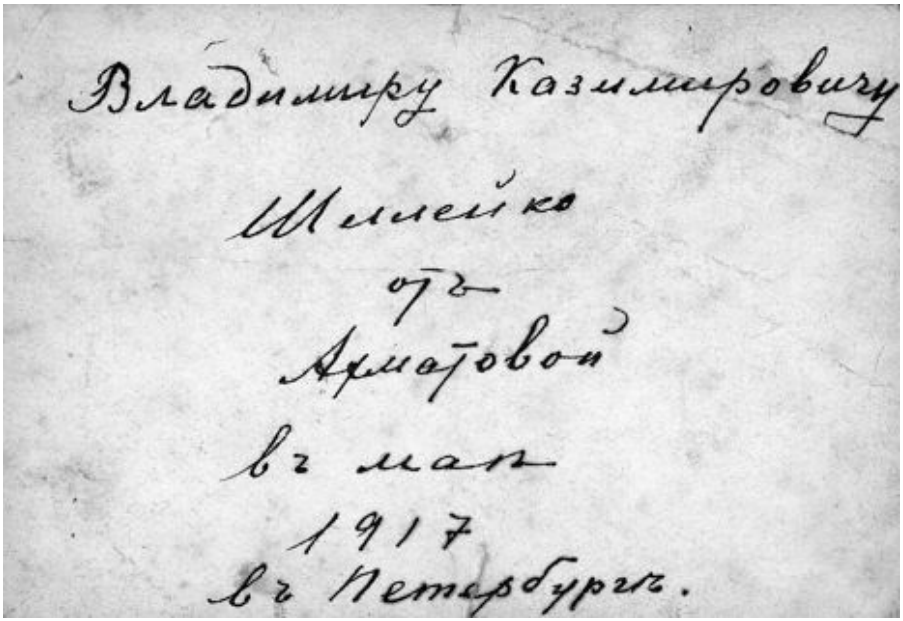
Сергей Судейкин. Автопортрет

Всеволод Князев

Михаил Кузмин. Рисунок С.Судейкина

Фото М.Наппельбаума

На обороте фотографии дарственная надпись:


Владимиру Казимировичу
Шилейко
отъ
Ахматовой
въ мае
1917
въ Петербурге.

Борис Анреп

Артур Лурье. Портрет работы П.Митурича

Владимир (Вольдемар) Шилейко. Рисунок М.Фармаковского

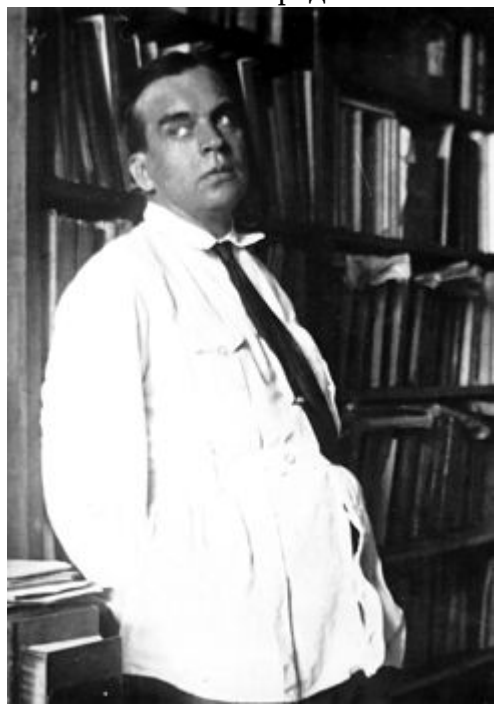
Николай Недоброво. Царское Село, 1914

В Фонтанном доме. Фото П.Лукницкого. 1925

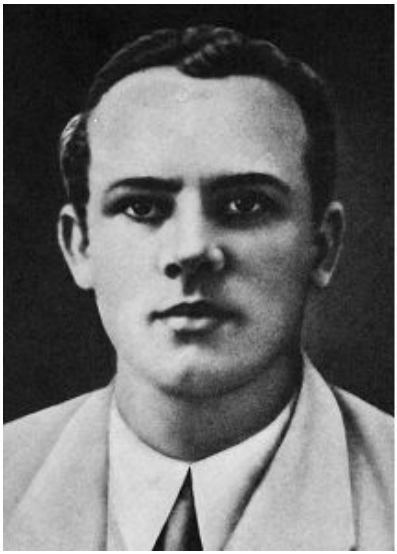
Павел Лукницкий. 1920-е

С Николаем Пуниным. Фото П.Лукницкого

Накануне войны. Фото В.Виноградова



Владимир Гаршин, «помощный зверь». 1940



Супруги Козловские: Алексей Федорович и Галина Лонгиновна

Ташкент, 1942

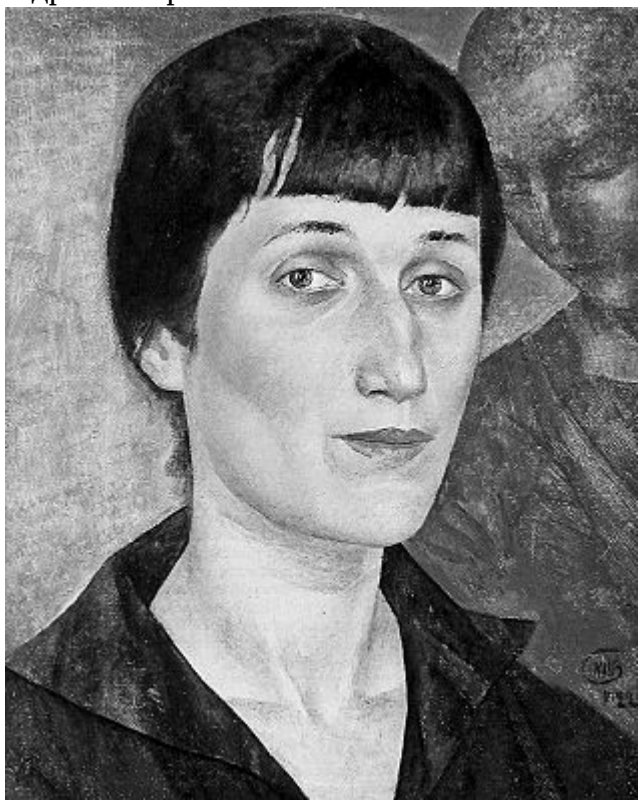
Анна Ахматова на Съезде писателей в Москве. 1946 Фото В.Славинского

Николай Тырса. 1927

Нина Коган. Эскиз скульптурного портрета. 1930

Натан Альтман. 1914

Александр Тышлер. 1943



Николай Петров-Водкин. 1922

Фото Н.Глен

notes

Примечания

1

Шилейко был специалист по шумерской цивилизации и безнадежный «кофейник», кофе заменял ему и завтрак, и обед, и ужин. В годы их неожиданного романа и еще более неожиданного брака отражения фонарей в Фонтанке казались Анне Андреевне «золотой клинописью».

2

«В середине девяностых годов в Павловск… стремился весь Петербург. Свистки паровозов и железнодорожные звонки мешались с патриотической какофонией увертюры двенадцатого года, и особенный запах стоял в огромном вокзале, где царили Чайковский и Рубинштейн. Сыроватый воздух заплесневевших парков, запах гниющих парников и оранжерейных роз и навстречу ему – тяжелые испарения буфета, едкая сигара, вокзальная гарь и косметика многотысячной толпы» (Мандельштам О. Четвертая проза. М., 1991. С. 45).

3

Среди состоятельных дачников херсонесская часть севастопольской дальней окраины стала особенно популярной, после того как был достроен Владимирский собор, заложенный здесь еще в начале шестидесятых на месте крещения и бракосочетания князя Владимира.

4

Так как Сиденсер приветствовал Верещагина, приветствовали лишь императорское семейство, когда Николай Второй, с чадами и домочадцами, прибывал в Севастополь, чтобы морем добираться до южнокрымской своей резиденции.

5

Дредноут – в данном контексте: броненосец. – А.М.

6

Ранней весной 1907 г., отослав Анне свою фотографию, а также бодлеровские «Цветы зла», Н.С. сделал на книге такую надпись: «Лебедю из лебедей – путь к ее озеру».

7

Александра Экстер, художница. Одна из «амазонок авангарда» начала века.

8

Наничка – Мария Александровна Змунчилло, кузина Ахматовой.

«Будь доброй, будь нежной» (франц.).

10

«Побрякушки должны быть дикарскими» (франц.).

11

Хотя во время свадебного путешествия молодые всюду появлялись вместе, несколько свободных вечеров у новобрачной А.А.Гумилевой все-таки было. Известно, например, что Гумилев на встречи с французским интеллектуалом Шюзевилем жену не брал, так как Шюзевиль и служил и жил в какой-то иезуитской коллегии, куда женщинам входить запрещалось. Впрочем, если нечто подобное и впрямь случилось, то об этом наверняка тогда же, в десятом, стало известно Гумилеву. У Анны Андреевны имелась странная привычка докладывать мужу о своих женских победах. Лукницкий, к примеру, приводит с ее слов забавный эпизод, на мой взгляд, характерный: «…В 1910 году, на обратном пути из Парижа, в Берлине, А.А. должна была почему-то пересесть в другое купе. Вошла. В купе сидели три немца… Потом два немца легли на верхние полки, а третий на нижнюю – напротив А.А… Говорил ей, что хочет ехать за ней, куда бы она ни поехала, болтал долго, и А.А. стоило большого труда объяснить, что она едет в деревню, к родным, и что за ней нельзя ехать… И этот немец не спал и восемь часов смотрел на нее… Утром А.А. рассказала о нем Николаю Степановичу, и тот вразумительно сказал ей: „На Венеру Милосскую нельзя восемь часов подряд смотреть, а ведь ты не Венера Милосская!..“»

Очень характерно в этом плане свидетельство Д.Е.Максимова. Вспоминая кумиров поэтической молодежи конца двадцатых – начала тридцатых годов, Максимов приводит длинный список тогдашних «властителей дум», от Блока до Вагинова. Ахматовой в этом элитном списке нет. Конечно, Ахматова в нем все-таки присутствует, но незримо, на правах какой-то аномалии: «Эпоха расцветала невиданной поэзией, связанной с поэзией предшествующей и противопоставленной ей. Блок, Мандельштам, Пастернак, конечно, Маяковский, подальше – Хлебников, позже – Заболоцкий притягивали с особенной силой. Любопытствовали к Вагинову, интересовались символистами, Гумилевым, Анненским, Клюевым и наряду с ними – Тихоновым, Асеевым, Сельвинским…»

13

Мы не знаем, на каком этапе работы над повестью «Слепые» Чулков решил дать своему автобиографическому герою фамилию Лунин, а также наделить его «лунной зависимостью». Но не исключено, что и эта подробность навеяна рассказами Анны Андреевны об ее отроческом лунатизме, из-за которого Гумилев называл ее «Девой Луны», а она его – «собеседником луны» (в «Поэме без героя»). Лунин у Чулкова тоже в своем роде «собеседник луны». Поскольку последние дополнения в повесть «Слепые» Чулков вносил до середины октября 1910-го, а монолог младшей сестры героини поразительно похож на описание внешности юной Ахматовой в воспоминаниях Валерии Тюльпановой, можно, на мой взгляд, предположить, что Анна Андреевна уже ранней осенью 1910 г. познакомила свою подругу, почти сестру, с эффектным поклонником, первым любовником литературного Петербурга. Предполагаю также, что и таинственные намеки Тюльпановой-Срезневской (в известных мемуарах) на «богатую личную жизнь» в первые месяцы ее замужества опираются на тот же эпизод – роман с Чулковым, а может быть, и на его повесть.

Заметим кстати: в той же позе сохранит образ юной Анны и память Гумилева. Я имею в виду фрагмент стихотворения 1921 г. «Я рад, что он уходит, чад угарный…». С «воздетыми руками» Анна Андреевна не раз позировала и Пу– нину, когда Николай Николаевич решил освоить художественную фотографию.

15

22 августа 1911 г., Г.И.Чулков – Н.Г.Чулковой: «Ни Гумилева, ни Гумилевой нет в Петербурге. Анна Андреевна, по словам Маковского, была в Петербурге не так давно, но куда-то уехала, кажется, в деревню».

Май 1913 г., Г.И.Чулков – Н.Г.Чулковой: «Гумилев в Африке, а Гумилева в деревне».

16

За участие в студенческом движении Г.И.Чулков сослан в Сибирь, по возвращении в начале 1900-х стал желанным гостем в самых модных петербургских литературных сообществах. Сначала двадцатипятилетнего каторжанина обласкала заинтригованная его романтическим прошлым чета Мережковских, затем затискали в объятиях и на Башне у Вячеслава Иванова. Мудрым Чулков мог показаться разве что юным дарованиям, в том числе и А.А., но смелым и даже лихим не только слыл, но и был. Первым в Петербурге стал печатать побиваемых толстожурнальными критиками символистов. Показательно и его поведение в годы революции 1905 г., когда Мережковские, перетрусив, бросили на Чулкова основанный ими журнал «Новый путь». «8 января, – свидетельствует поэт Владимир Пяст, – Георгий Чулков ходил по довольно просторной комнате квартиры в Саперном переулке крупными шагами, ероша сзади и тогда уже длинные и весьма густые волосы. – Итак, – говорил он, – революция в России начинается…» Пяста, принесшего в журнал робкие свои стихотворные опусы, Георгий Иванович видел второй раз в жизни, не знал о нем ровным счетом ничего, однако не задумавшись поделился редакционной тайной – широким жестом пододвинул лежащие на краю редакционного стола корректуры «совсем нелегальных „сказочек“» Федора Сологуба, одна из которых кончалась так:

Погаснул свет, погасло электричество,
И спрятался его величество.

17

Об этом, как уже упоминалось, есть краткая запись в Дневнике П.НЛукницкого: «1915–1916. Зима. Встречи с Г.И.Чулковым, который живет в Царском Селе на Малой улице – в расстоянии одного квартала от дома Гумилевых».

18

Ни разу при жизни Ахматова эти стихи не публиковала, их обнародовали лишь в перестроечные годы в сборнике «Встречи с прошлым» по автографу начала шестидесятых годов с авторской неопределенной датировкой: «Из черновиков 10-х годов».

19

Про содержание подарочной коробки, которую, уезжая в Африку, Гумилев оставил племяннице, мы знаем со слов Ирины Одоевцевой. В 1920-м, в пору их «амуров», Николай Степанович достаточно подробно рассказывал о своем первом браке. Видимо, в очередной раз пытался добраться «до самой сути», до первопричины «взаимных болей, бед и обид».

20

С младшей сестрой Чулкова Анной Ивановной, с осени 1911-го по 1922-й женой поэта Владислава Ходасевича, Ахматова и впрямь подружилась и всю жизнь вспоминала с удовольствием их совместные прогулки по Парижу и общий успех у мужской части парижской публики: «Она была прелестная… Она выделялась даже на фоне парижской публики. Все-таки ужасно с ней поступил Ходасевич… 11 лет! И потом эта Нина Берберова… Несчастная она… Мне ее очень жалко» (Лукницкий П.Н. Встречи с Анной Ахматовой).

21

Впрочем, скрыть свои отнюдь не чисто дружеские отношения им всё-таки не удалось. Когда через год, летом, 1912 г. переводчик Ф.Ф.Фиглер, приехав в Париж, навестил семейство политэмигранта Минского, поэта и публициста, приятеля Зинаиды Гиппиус Дмитрия Мережковского, ему как последнюю литературную новость рассказали, что «Ахматова и Чулков влюблены друг в друга». (Фидлер Ф.Ф. Из мира литераторв. М.: НЛО, 2008. С. 528).

22

О том, что А.А. обожает ходить по грибы, было доложено даже Борису фон Анрепу, герою любовной ахматовской лирики 1915–1917 гг. Однажды, вспоминала Ахматова, Анреп сказал: «Вам бы, девочка, грибы собирать, а не меня мучить». Об особых чувствах Анны Андреевны к грибам пишет и Анатолий Найман в «Рассказах о Анне Ахматовой»: «Уже тяжело больная, с простреленным инфарктом сердцем, Ахматова и в Комарове чуть ли не с каждой прогулки умудрялась приносить грибы; как и многое живое, природное, она их не видела, а чуяла». Как-то сказала назойливому посетителю, без приглашения заявившемуся в Будку, что не может его принять, потому что чистит грибы. Из всех домашних дел только чистка грибов никогда не казалась ей докучной. А началось – в Слепневе.

23

В Сан-Ремо издавна существовала русская колония, нечто вроде острова Надежды, куда привозили из холодной России туберкулезных больных. В нескольких случаях, увы, немногих, итальянское солнце помогало. Машеньку солнце не спасло.

24

«"Аполлон" был вполне корректным журналом, напоминавшим лучшие европейские ежемесячники… Ближайшие сотрудники щеголяли особым видом аристократизма… На вечерах журнала появлялись дамы в прекрасных туалетах, декольтированные, как на балах. Многие мужчины были во фраках… Впрочем, надо отдать справедливость „Аполлону“, на его вечерах были не только фраки… здесь выступали молодые талантливые композиторы, изысканные стихотворцы и весьма изящные говоруны эпохи; здесь, между прочим, познакомился я со Скрябиным, и слышал, как он играл свои шедевры» (Чулков Г.И. Годы странствий).

25

Словечко сие привезла из Парижа Ахматова, позаимствовав его у Модильяни. Правда, Антиной вкладывал в него несколько иной смысл: мещане, обыватели, живущие брюхом и в искусстве не нуждающиеся. Петербургские фармацевты были господами иного сорта, скорее просвещенными знатоками, нежели невежественными толстосумами.

26

Тэффи (урожденная Надежда Александровна Лохвицкая) – самая знаменитая из писательниц предвоенной поры. Крайне популярными в предвоенном Петурбурге были и ее «синие вторники». Главным украшением этих собраний, как вспоминала сама Тэффи, считались три грации: Саломея Андроникова («соломинка» из стихотворения Мандельштама, она же «красавица тринадцатого года» из ахматовской «Тени»), Анна Ахматова и жена поэта-акмеиста Сергея Городецкого. (У мадам Городецкой имелось обычное имя: Анна Алексеевна – но иначе, как Нимфа, ее не называл никто.) Все три дамы были моложе очаровательной хозяйки почти на двадцать лет. Тем не менее Надежда Александровна, слишком уверенная в себе, чтобы завидовать молодости и красоте, преподносила прелестную троицу гостям, словно авторскую икебану: «Мне нравилось усаживать их вместе на синий диван и давать каждой по розе на длинном стебле. На синем фоне дивана и синей стены это было очень красиво». Кстати, не где-нибудь, а в синей гостиной Тэффи Ахматова поймала на лету и присвоила, сделав фирменным, слово пластинка, в значении короткого, хотя и устного, но неизменяемого при повторе, отшлифованного до запятой прозаического текста. Вот что пишет Тэффи: «Саломея… умела, вернее, любила… говорить. Как-то раз она высказала желание наговорить пластинку, которую могли бы на ее похоронах выслушать ее друзья».

27

Закавыченные слова – из письма Блока к Н.Н.Скворцовой. Вот что он писал ей вскоре после знакомства с Ахматовой: «Демон самолюбия и праздности соблазняет Вас воплотиться в случайную звезду 10-й величины с неопределенной орбитой… В нашем веке возможность таких воплощений особенно заманчива и легка, потому что существует некая „астральная мода“ на шлейфы, на перчатки, пахнущие духами, на пустое очарование… Вам угодно встретиться со мной так, как встречаются „незнакомки“ с „поэтами“. Вы – не „незнакомка“»… О существовании этого письма А.А. узнала, видимо, в начале шестидесятых, когда стал выходить восьмитомник Блока. Иначе вряд ли бы появилась странноватая деталь во втором стихотворении упомянутого выше триптиха: «И в памяти черной пошарив, найдешь / До самого локтя перчатки… И в сумраке лож / Тот запах и душный и сладкий…» Внимательно прочитанное послание к Скворцовой, видимо, стало еще и «прожектором», который, осветив «подвал памяти», добавил в план расширенных воспоминаний Ахматовой о Блоке, казалось бы, позабытую подробность: «Разговор о „Незнакомке“». Роль незнакомки – звезды десятой величины – Ахматову не прельщала и прельщать не могла.

Обыкновенный роман с Блоком ей был совершенно не нужен. Наоборот! Нужно, чтобы такого романа не было.

28

В одной из затверженных поз увековечили Ахматову независимо друг от друга, но, по странному сближению, чуть ли не одновременно два великих поэта. Осип Мандельштам: «Вполоборота – о печаль!..» – явно, открыто в «Бродячей собаке» 6 января 1914-го, и «скрытой камерой» Блок: «Вполоборота ты встала ко мне…» – 2 января того же года. Ту же поэ– тофотку, как самый удачный свой портрет тринадцатого года Ахматова вклеит в «Поэму без героя»: «И как будто припомнив что-то, / Повернувшись вполоборота, / Тихим голосом говорю…»

29

Блоковский сборник. Тарту, 1964. С. 465, 480. Эту книгу Ахматова, видимо, успела заполучить, и не исключено, что именно в награду за морское воспоминание Надежде Павлович подарена заветная реликвия – портсигар Блока. Этот факт отмечен в ее «Записных книжках».

30

На Бестужевском вечере 25 ноября 1913 г. никаких роз, ни красных, ни черных, ни в волосах, ни в букетах от публики, разумеется, не было. А шаль и в самом деле была. Пусть и не испанская, а восточная, только что привезенная Гумилевым, но накинула ее Анна Андреевна действительно и лениво, и неумело – уж очень была большой, прямо-таки огромной. Вышло – эффектно. Бестужевки ахнули, и шаль навсегда связалась с образом Анны Ахматовой. В той же самой, кстати, шали изображена она на знаменитом холсте Натана Альтмана, который, в отличие от блоковского словесного портрета, никогда ей не нравился. Точнее, она себе на нем не нравилась. В молодости об этом предпочитала помалкивать, уж очень все восхищались, а в старости с помощью фотографий той поры (1914) доказывала, что ничего общего с костистой дамой в синем у нее нет и не было.

И.Ивановский, ученик М.Л.Лозинского, переводивший в то время английских романтиков, видел в Чуковском, считавшем переводы Лозинского недостаточно выразительными, и соперника, и слишком уж авторитарного лидера московской переводческой школы.

32

«…Об одном почтенном литераторе, только что получившем докторскую степень не то в Кембридже, не то в Оксфорде, Ахматова сказала вполне доброжелательно, но в точности таким тоном, каким говорят о малых детях:

– С ним все обстоит превосходно. У него теперь шапочка с кисточкой. И он каждую секунду летает в Англию».

33

Раздувание маленького Есенина до размеров «русского гения» было для А.А. тем неприятнее, что среди тех, кто «раздувал», – наивернейшие из ее почитателей: Алексей Толстой, Тихонов, Пастернак. Мандельштам и тот дрогнул, восхитившись известным двустишием: «Не злодей я и не грабил лесом, не расстреливал невинных по темницам».

Фарджен А. Приключения русского художника / Пер. с англ. Нины Жутовской. СПб.: Изд-во журнала «Звезда», 2003.

35

Даже Нине Ольшевской-Ардовой, хозяйке гостеприимного дома на Ордынке, А.А. никогда об Анрепе не рассказывала, хотя и презентовала ей в 1966 г. «Бег времени» с такой дарственной: «Моей Нине, которая обо мне знает все». Ничего существенного не сообщает о нем и Эмма Герштейн. Предполагая, что Анреп – один из прототипов «гостя из будущего» в «Поэме без героя», она, как выясняется, совершенно не представляет себе подробностей его реальной жизни. К примеру, пишет, что «герой лирики Ахматовой шестнадцатого года» появился в столице лишь в конце 1914-го, то есть принимает коренного петербуржца за чужестранца – англичанина русского происхождения.

36

Вернувшись в феврале 1916 г. в Англию, Анреп добивается назначения в лондонский Русский Комитет, созданный на предмет «содействия экспорту английского оружия» для безоружной русской армии. До февраля 1916-го он приезжал в Петербург с фронта на побывку. После февраля появляется в столице по важной служебной надобности – в качестве начальника отдела взрывчатых и химических веществ.

Единственное исключение – неопубликованное собрание сочинений, подготовленное с помощью П.ЛЛуницкого в 1928 г., затем застрявшее в издательстве и возвращенное автору спустя много лет. По настоянию Лукницкого, стихи в неосуществившемся издании были выстроены в хронологическом порядке. Лидия Корнеевна Чуковская видела многострадальную рукопись:

«Анна Андреевна взяла из кучи книг, лежащих в кресле, толстую тетрадь, переплетенную в черное, и протянула мне, пояснив: – Это то, что мне вернули. Друзья отдали ее в переплет. И я теперь пишу на пустых страницах».

Эта черная тетрадь, на мой взгляд, и есть тот таинственный черновик, на котором будет начата «Поэма без героя» и о котором в поэме же сказано: «И так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике». Бумаги в предвоенные годы не хватало всем пишущим. Что же касается нежелания Ахматовой признать этот черновик своим, то оно вполне объяснимо и ничуть не противоречит моему предположению. «Та, какою была когда-то» до такой степени не Я, что А.А. встретиться с ней не хочет. И все, что нарядной дамой в кружевной шали и в «ожерелье черных агатов» написано, – дамский дневник, то есть буквально: черновик. Теперешней Анне предстоит превратить его «в волшебный напиток», который, «лиясь в сосуд, вдруг густеет и превращается в мою биографию, как бы увиденную кем– то во сне или в ряде зеркал».

38

Из книги Аннабел Фарджен известно, что Б.В.Анреп в 1912 г. приезжал из Англии в Петербург на военные сборы (тогда говорили: учения). Тем же летом, скупая книжные новинки, в числе прочих поэтических сборников он, видимо, приобрел и книжечку Ахматовой. Когда же, после знакомства с Анной Андреевной (зима 1912/13 г.), Недоброво засыпал его письмами с восторженными откликами на ее стихи, Анреп переслал другу из Лондона в Петербург «Вечер», которого у того не было. Уехав сразу же после выхода «Вечера» в Италию и начав выезжать в свет лишь поздней осенью 1912 г., после родов, Ахматова осталась без своих книг. Только в 1914-м ей удалось разыскать на каком-то книжном складе случайно затерявшуюся пачку. Из этих-то почти чудом нашедшихся экземпляров, ставших в 1916 г. библиографической редкостью, и было компенсировано Борису Васильевичу его дружеское пожертвование. С «Четками» подобного не было: в 1916 г. вышло второе издание, ожидалось и третье.

В какое из свиданий и при каких обстоятельствах «Четки» были подарены Анрепу, неизвестно, а вот «Вечер» (сужу по содержанию дарственной – «Одной надеждой меньше стало, одною песней больше будет») скорее всего вручен заморскому гостю в день разлуки, 13 февраля 1916 г.

39

См. у Лукницкого: «Во время войны Б.В. (Анреп) приехал с фронта и пришел к ней, принес ей крест, который достал в разрушенной церкви в Галиции. Большой деревянный крест…»

40

См. стихотворение «Ведь где-то есть простая жизнь и свет…». Получив эти стихи, Гумилев отправил А.А. восторженный отзыв. Николая Степановича смутила лишь концовка: «И голос Музы еле слышный». Анна Андреевна доверяла его оценкам, и все-таки в данном случае предложенную мужем правку не приняла: самые важные слова о самых тонких вещах ее Муза всегда, неизменно произносит еле слышным голосом.

41

См. стихотворение «Небо мелкий дождик сеет…», датированное 30 мая 1916 г.

42

См. письмо А.А.Ахматовой М.Л.Лозинскому от 31 июля 1917 г.: «Крестьяне обещали уничтожить Слепневскую усадьбу 6 августа, потому что это местный праздник и к ним „придут гости". Недурный способ занимать гостей».

43

После революции последний владелец исторической усадьбы граф Сергей Шереметев передал ее вместе с коллекциями в дар народу. Нарком Луначарский распорядился объявить Фонтанный дворец филиалом Русского музея. Садовые флигели в музейный фонд не входили, и Н.Н.Пунин как сотрудник музея получил здесь квартиру на третьем этаже правого из парных флигелей. С 1926-го по 1952-й на этой жилплощади (почтовый адрес: наб. Фонтанки, 34, кв. 44) будет прописана и Анна Ахматова.

44

Вспоминая то страшное время (с зимы 1917-го до начала нэпа), Ахматова писала: «Это были годы голода и самой черной нищеты. То странное „пособие“, которое я получала, я делила между мамой и Левой и жила на несколько рублей в месяц».

45

Высокий рейтинг Пильняка в высших эшелонах советской власти окажется решающим, когда Анна Андреевна в 1935 году кинется в Москву хлопотать об арестованных сыне и Николае Пунине. Борис Андреевич был не единственным, кто помог их освобождению. Горячее участие в этой истории приняли и Борис Пастернак, и Лидия Сейфуллина. И все-таки самой увесистой оказалась гирька, которую быстро и уверенно положил на чашу весов их судьбы Борис Андреевич Пильняк (он был лично знаком с секретарем Сталина Поскребышевым, в те годы уже всесильным).

46

Пунина, напоминаю, впервые арестовали по таганцевскому делу в августе 1921-го, но, как и Михаила Лозинского, отпустили. Он был, кстати, последним, кто видел Николая Гумилева живым. Они столкнулись – лоб в лоб, при разводке, в тюремном коридоре. В семействе Пуниных считалось, что Николая Николаевича спасла жена. Несмотря на то что была на последнем месяце беременности, Анна Евгеньевна кинулась в Москву и умолила Луначарского поручиться за мужа.

47

См. его письмо к М.А.Зенкевичу от 14 января 1934 г.: «До меня дошли слухи, внушающие мне опасения за его душевное состояние. Верны ли эти слухи? Ахматова обещала мне позвонить по возвращении из Москвы, но пока я не на шутку встревожен».

48

«В то время (1933 г.) О.Э. встречали в Ленинграде как великого поэта… к нему в Европейскую гостиницу на поклон пошел весь литературный Ленинград (Тынянов, Эйхенбаум, Гуковский), и его приезд и вечера были событием, о котором вспоминали много лет и вспоминают еще и сейчас».

49

В начале двадцатых годов московские литераторы, дабы не пропасть поодиночке, учредили нечто вроде мини-клуба при Книжной лавке «Содружества писателей». Владимир Лидин в своих воспоминаниях сделал как бы групповой портрет завсегдатаев этого клуба: «Маленькая комнатка позади Книжной лавки… служила и складом, и своего рода писательским клубом; я помню за овальным столом и писателей старшего поколения – Андрея Белого или Федора Сологуба… и смуглого, несколько восточного облика, поэта Константина Липскерова, и красивого, с пасторским лицом писателя Георгия Чулкова (курсив мой. – А.М.), и совсем простодушного, когда он появлялся один, Сергея Есенина».

50

«…Стихотворный цикл „Слава миру“… всю оставшуюся жизнь жег Анну Андреевну как незаживающая рана. После этого выступления у нее навсегда появилась фальшивая интонация в разговоре на людях… Она отреклась от нравственной чистоты своей поэзии ради спасения сына, а получила одни плевки с разных сторон и от того же сына… Если кто-нибудь думает, что это не пытка, он ничего не знает о страданиях творческой личности». Процитированный отрывок взят из воспоминаний Эммы Григорьевны Герштейн, которая в силу стечения обстоятельств лучше других конфиденток Ахматовой знала, как надломило А.А. это «грехопадение».

51

Далеко от Юпитера, далеко от молнии – нынче и всегда.

52

Пусть они будут какие есть, или пусть вовсе не будут! – иезуит Риччи в ответ на предложение изменить устройство ордена.

53

Достаточно и более чем достаточно.

Никогда. (англ.)
– Слишком поздно? (англ.)

– Несмотря на то, что слишком поздно! (англ.)

56

28 июля из Москвы в Чистополь уезжает Л.К.Чуковская с дочерью, няней и племянником, 8 августа – Цветаева с сыном. Разница в десять дней оказалась для Марины Ивановны роковой… Чистополь, второй по величине город Татарской АССР, перевыполнил план по размещению эвакуированных литераторов, для Цветаевой места там уже не нашлось. Пришлось согласиться на Елабугу, маленький городок, расположенный сразу же за Чистополем, если плыть пароходом вверх по Каме. 18 августа она с сыном высадилась в Елабуге.

Пленка эта не сохранилась, остались лишь воспоминания О.Ф.Берггольц:

«Мы записывали ее не в студии, а в писательском доме, в квартире М.М.Зощенко… Я записала под диктовку Анны Андреевны ее небольшое выступление, которое она потом сама выправила… Через несколько часов после записи над вечерним, на минуту стихшим Ленинградом глубокий, трагический и гордый голос "музы плача". Но она выступала в те дни совсем не как "муза плача", а как истинная и отважная дочь России и Ленинграда».

58

Ардовы – самые надежные из друзей Ахматовой последнего, как она шутила, «призыва». Анна Андреевна познакомилась с ними в середине тридцатых, когда, приезжая в Москву, останавливалась у Мандельштамов в Нащокинском переулке – Ардовы были соседями Осипа Эмильевича. Подружилась, правда, позже, в конце войны, когда Ардовы уже жили на Большой Ордынке. Больше всех в этом гостеприимном семействе Анна Андреевна любила хозяйку дома – красавицу актрису Нину Антоновну Ольшевскую и ее старшего, от первого брака, сына киноактера Алексея Баталова. С самим Ардовым – писателем-юмористом – особо близких отношений у А.А. не сложилось, но она очень ценила возможность посостязаться с ним в остроумии. Об остротах Виктора Ефимовича Ардова ходили легенды. Один из артистов эстрады, в середине двадцатых годов входивший в труппу знаменитого кабаре «Нерыдай», пишет в своих воспоминаниях: «Подлинной грозой нерыдайских конферансье был В.Ардов, постоянный посетитель литературно-артистического стола. Его каверзные реплики настолько донимали нас, что в конце концов мы вынуждены были капитулировать» (Советская эстрада 1917–1929. С. 316).

59

При первопубликации («Нева», 1959) этой строфы не было. А.А. вставит ее при работе над сборником «Бег времени», но одновременно изменит и заключительный катрен: вычеркнет из него «азийскую свирель».

60

Ширма – в данном контексте не метафора, а термин, имевший хождение в тридцатые годы XIX века в великосветской среде. Даже среди людей пушкинского круга бытовало мнение, что в той амурной игре, какую вел Дантес, Наталья Николаевна Гончарова была лишь дамой-ширмой.

Я имею в виду не только свидетельства вдовы композитора А.Ф.Козловского, но еще и опубликованное, правда позднее, соображение Б.Каца в книге «Анна Ахматова и музыка» (Кац Б., Тименчик Р. Советский композитор. 1989). Б.Кац также связывает эти стихи с А.Ф.Козловским, «героем ряда стихотворений, написанных Ахматовой в Ташкенте, в атмосфере, о которой лучше всего говорят такие строки, как „В ту ночь мы сошли друг от друга с ума“ и „Мы музыкой бредим…“».

62

С переводчицей «Жуана» Татьяной Гнедич Анна Андреевна была не только хорошо знакома, но и тесно общалась по возвращении в Ленинград, вплоть до ее внезапного ареста в январе 1945-го. Не исключаю, что запомнившийся Берлину томик ей и принадлежал, так как никаких указаний на то, что Анна Андреевна читала легендарный роман в подлиннике в довоенные годы, у нас нет. Предполагаю также, что визиты Гнедич в Фонтанный Дом были связаны именно с задуманным переводом; эту работу Гнедич начнет несколькими месяцами позже, оказавшись в одиночной камере. Не имея ни чернил, ни бумаги, ни текста – в уме. Спустя двадцать лет Корней Иванович Чуковский, не склонный к преувеличениям, оценит перевод «Жуана» как «подвиг» и «чудо».

63

«1944 сентября 22. Встретила на улице Анну Ахматову… Разговорились: „Впечатление от города ужасное, чудовищное. Эти дома, эти два миллиона теней, которые над нами витают, теней умерших с голода… Со мною дверь в дверь жила семья Смирновых, жена мне рассказывала, что как-то муж ее спросил, которого из детей мы зарежем первого. А я этих детей на руках вынянчила“» (Ахматовский сборник-1. Париж, 1989. С. 206–207).

64

Комментируя «Поэму без героя», С.А.Коваленко приводит такое высказывание Э.Г.Герштейн: «Если верить комментариям, Ахматова назвала порт Тобрук, потому что там "шли ожесточенные бои между английскими и немецко-итальянскими войсками… Бои действительно шли под Тобруком, но с апреля по декабрь 1941 года длилась осада этого порта. Анна Андреевна… не могла пройти мимо… испытания людей, запертых в городе, подвергавшихся обстрелу с моря и воздуха, переносивших голод, страх и смерть. Всю весну и лето мы с трепетом разворачивали газеты, надеясь узнать, что блокада Тобрука уже кончилась, но она продолжалась. Ахматова успела испытать начало блокады в Ленинграде. Теперь эти ужасы были не „где-то там“, а здесь, за углом».

Не утверждаю, но предполагаю, что мазурочный, декоративно– польский жест Чапского аукнулся многие годы спустя в следующем фрагменте:

И наконец ты слово произнес
Не так, как те… что на одно колено, -
А так, как тот, что вырвался из плена.

Галина Лонгиновна об этом забыла, а вот Алексей Федорович помнил твердо: в одну из трех новогодних ташкентских ночей Ахматова была тяжко больна.

Можно без всякого преувеличения сказать, что в бездомной скитальческой судьбе Анны Ахматовой лишь этот азийский дом был органически соразмерен самому прекрасному из многочисленных двойников, ибо соответствовал Замыслу и Предопределению. Точнее и тоньше соответствовал, чем иные модели Дома (артистический вариант – квартира Судейкиной-Глебовой на Фонтанке, 18; профессорский вариант – квартира Срезневских на Моховой и т. д.).

68

В конце пятидесятых Козловские переедут из городской квартиры в новый «райский» дом, уже не съемный, а свой собственный, и каждый раз и при встрече, и письменно, и телефонно-телеграфно будут настойчиво приглашать А.А. погостить, удрать из «Ахматовки» к солнцу, пережить в блаженном, азийском осеннем тепле всегда тяжелое для ее сердца гнилое северное предзимье… По-видимому, ответом на эти уговоры объясняются оставленные в черновиках сердитые, почти раздраженные строки, датированные 24 декабря 1959 года. Вот эти:

Я давно не верю в телефоны,
В радио не верю, в телеграф.
У меня на все свои законы
И, быть может, одичалый нрав.

Всякому зато могу присниться,
И не надо мне лететь на «Ту»…

69

Имеется в виду следующий фрагмент из книги А.Г.Наймана «Сэр»: «За полгода до смерти Берлина… я спросил его о постоянно присутствующем надмирном пространстве, или, как она сама подобные вещи называла, „звездной арматуре“, среди которой оказываются оба героя „Cinque“, а потом и „Шиповника“. „Высоко мы, как звезды, шли“, „Истлевают звуки в эфире“, „Легкий блеск перекрестных радуг“, „Иду, как с солнцем в теле“… „Под какими же звездными знаками“ и следующее за этой строчкой четверостишие. „Незримое зарево“, „звездных стай осколки“, „недра лунных вод“… Есть ли у него какое-то объяснение этому? – Никакого».

Приведу только один пример, подтверждающий, что господину профессору было что скрывать. В «Воспоминаниях», опубликованных к столетию Ахматовой, Берлин уверяет, что появление Рандольфа Черчилля в Шереметевском саду 15 ноября 1945 года было для него полнейшей неожиданностью: «Я не видел Рандольфа с наших студенческих дней в Оксфорде». А вот что он говорит в предсмертной исповеди: «"Animal Farm"… мне ее подарил Рандольф Черчилль, там, в России, в 45-м году. Он привез с собой эту книгу. Она только что вышла, он ее привез, я ее прочел в посольстве, где работал, – и оставил на скамеечке парка, значит, этого московского большого парка, в надежде, что кто-то найдет, что-то с этим сделает».

Согласитесь, такое могло произойти только летом, то есть до знакомства с Ахматовой. Оставлять покет-бук в ноябре или декабре на лавочке под дождем, под ветром и снегом и глупо, и бесполезно: ну кто же в этакие поры по послевоенным паркам гулял-разгуливал, кроме шпаны?

71

Татьяна Владимировна умерла в октябре 1942 г. от сердечного приступа, прямо на улице, по дороге к дому, куда ходила, чтобы принести мужу «капустки». Ее труп, когда его спустя несколько дней чудом отыскали, был так объеден крысами, что Гаршин опознал жену только по остаткам пальто.

72

По свидетельству Ирины Пуниной, до августа 1946 г. Ахматовой кроме рабочей карточки в Союзе писателей выдавали лимит на 500 рублей, пропуск в закрытый распределитель и книжку для проезда в такси на 200 рублей в месяц. Думаю, нет необходимости напоминать, что не только рядовым, но и достаточно заслуженным членам СП СССР подобные привилегии не полагались.

Эта неожиданная подробность известна из воспоминаний Виктора Ардова, мужа Нины Ольшевской. По-видимому, она так поразила обитателей дома на Ордынке, что Виктор Ефимович поспешил ее нейтрализовать, истолковав в духе легенды в своем интервью, данном им В.Д.Дувакину.

Вот каким увидит в июне 1967 года жилье Гумилева его жена Наталья Викторовна Симоновская:

«Перед домом мы остановились, и Лев сказал:

– Вот здесь я живу, на шестом этаже, видишь, вон то окошко?.. Надо сказать, я ожидала, что он живет скромно, но то, что я увидела, превзошло мои предположения. Комнатка – 12 квадратных метров, узкая, длинная… Народу там (в квартире. – А.М.) было много, детей тоже. Но к нему они все очень хорошо относились. Был пьяница Павел – поэт, который его любил и сколотил ему, как мог, книжные полки, которые в конце концов рухнули на меня… Эта комната была его первым собственным пристанищем, где он до меня прожил 10 лет и уже много написал и защитил докторскую диссертацию».

75

См. воспоминания А.К.Анаксагоровой, соседки А.А.: «В течение 1954–1961 годов мы прожили с семьей А.А. А.А. называла нашу квартиру „Дом открытых дверей“. Все пять комнат выходили в коридор; двери не закрывались».

Реакция А.А. на всю эту историю, на взгляд со стороны, видимо, и впрямь была не совсем адекватной. Люди, не очень к ней близкие, остались при убеждении, что арест Бродского и суд над ним бросили мрачную тень на последние годы Ахматовой.

77

«Россия Достоевского» названа «Предысторией», а «Пятнадцатилетние руки» – «О десятых годах».